

НА КАТОРГЕ ЛЮБВИ

<i>Глава 1. ВОЙНА</i>	<i>1</i>
<i>Глава 2. УСПЕТЬ РАССКАЗАТЬ</i>	<i>10</i>
<i>Глава 3. АНКЕТА (Марковы, Степановы, Бусыгины, Лебедевы)</i>	<i>45</i>
<i>Глава 4. ЙЕМЕН, ВОЙНА</i>	<i>106</i>
<i>Глава 5. РАБОТА И ВСЯКАЯ ДАЛЬНЕЙШАЯ ЖИЗНЬ</i>	<i>115</i>
<i>Глава 6. ФОЛЬКЛОР, ТВОРЧЕСТВО, ПЕСНЯ...</i>	<i>185</i>
<i>Глава 7. ДУХОВНАЯ БРАНЬ</i>	<i>194</i>
<i>Глава 8. Церковь. ДРУЗЬЯ и ВРАГИ</i>	<i>249</i>
<i>Глава 9. ПРОЦЕСС</i>	<i>257</i>
<i>Глава 10. ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД</i>	<i>265</i>
<i>Глава 11. ВРЕМЯ и БЫТИЕ</i>	<i>272</i>
<i>Эпilog. СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ</i>	<i>282</i>

Она ушла, а я пока остался. Зачем? Да вот надо бы собрать рукописные кусочки её жизни, чтобы положить в храм (при свечах, у кануна) и попросить: помяни нас, Господи, во царствии Твоем...

Знающие люди говорят: в древнем греческом романе человек в конце концов приходит в храм и перед лицом божества рассказывает обо всём, что он «содеял и претерпел». Затем свой рассказ он возлагает на алтарь и оставляет навсегда в храме. В таком романе нас слушает Бог (наверное, тот самый неведомый Бог афинян, коего имел в виду апостол Павел); рассказ носит форму молитвы, обращённой к Богу – слушателю и зрителю. Пред Его лицом протекают события. Это рассказ о самом рассказчике, как отчасти и всякая молитва. Его содержание – деяния и претерпевания. Эти два противоположных элемента и составляют суть древнего рассказа-мифа, передаётся ли он в словесной или обрядовой форме. В таком мифе сам рассказчик идентичен своему рассказу. Здесь герои только и делают, что ведут борьбу или «претерпевают», а потом снова побеждают, как и в любом эпосе. На этом обыкновенно рассказ ставит точку. Но в греческом романе сохранены более архаичные следы. Рассказ становится той жертвой, которую возлагают на алтарь... Но мы-то знаем: жертва Богу – дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничтожит.

Горький отчёт о прожитой жизни. Исповедь с покаянием. Говорят, перед смертью вся жизнь очень быстро проходит перед умирающими очами. Прости нас, Христе: не всё получалось как должно. Ты-то знаешь нас лучше, чем сами, – грешные, падшие, порченые. Но ведь и не без света Твоего, Господи? «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Да? Вот про неё точно знаю, что Ты сберег свет Свой в её душе.

Она получила на этой земле имя Мария. А фамилия Тебе не нужна.

Глава 1. ВОЙНА

Я помню войну. Не ту, конечно, где были подвиги и смерть, где погиб мой отец, которого я не помню (в сорок первом мне было два года). Я помню нашу комнату в бараке: две железные кровати, ящик с углем (большой ящик, как комод), буржуйка прямо посреди комнаты и шкаф, почему-то белый, больничный; на полочке лежали сосновые щепки, которые глодала мать. Чтобы не съела цинга. Всё это и многое другое тоже было войной, и всё это я помню. Помню улицу нашу — Сакко и Ванцетти, и хлебный подвальчик на углу Куйбышева, и мать возле него в рёве: украли хлебные карточки. Там же строго стоял немецкий солдат с протянутой рукой – просил хлеба. Помню эвакуированную из Ленинграда даму Ирму Эрнестовну, её меховые шубы, её пальцы в золотых кольцах, её золотую улыбку и большой портфель бумаги — для отопления, которым она отблагодарила мать за приют. Помню другую эвакуированную — без улыбки, её звали Таней, она почему-то оказалась с маленькой дочкой нерасквартированной, и мать пустила её, и они жили, постоянно ссорясь с матерью из-за моей вредности, но вместе пилили дрова, вместе ездили куда-то на разгрузку — всё вместе. Помню соседку, которая приходила к нам и искренне делилась: «Я гадала: мой Ванчик жив, а ваш Лёнчик погиб». Она не чувствовала, что похоронка движется к ней, только задержалась где-то в пути...

Иногда я вижу повторяющиеся сны... Всегда одно и то же: будто я подымаюсь по раскачивающимся лестницам нашего деревянного дома — без перил, без опоры, кое-как пробираюсь в коридор, который уж теперь не коридор, а зияющая пустота, но в ней, однако, проложены доски к нашей двери — к комнате номер семнадцать. Туда я стремлюсь, там мне будет хорошо. Но беззвучно открывается дверь, и сердце моё заходится: в нашей комнате тоже нет пола — лишь несколько досок проложены над комнатой нижних соседей, где что-то шьют и тихо разговаривают. Тут я всегда просыпаюсь, и состояние тоски сохраняется весь день.

В один из таких дней я пошла на свою улицу с магнитофоном...

Наверное, сейчас своевременно сказать, чем я занимаюсь профессионально, иначе непонятен магнитофон. На областном радио, в доме под телевизионной башней, с 1977 года ежемесячно я готовила передачи о прошедшей войне. Искала своих героев сама. Иногда я высматривала их на улице, в магазине. Подходила и начинала разговаривать. Они не сторонятся магнитофона, вернее, не обращают на него внимания. Что им магнитофон... Почему-то так случилось, что среди моих фронтовиков нет Героев Советского Союза, но имеет

ли это значение? Все они, «мои» и «не мои», в одном звании — защитники Родины. Только вот теперь часто на коробку с передачей — вот еще и еще — приходится клеить черную ленточку.

...Я иду по майской улице, кричат воробьи, из окон — музыка, кого-то провожают в армию. Играют дети: «Божья коровка, улети на небо...»

Я иду на своей улице тех, кто помнит войну, кто помнит Победу. Улица старая, все дома — у земли. Они выходят, как в деревне, — прямо из ворот: Мария Дмитриевна Шляпина — погиб муж и два брата; Матрена Александровна Целищева — погиб муж; Александра Афанасьевна Коновалова — два племянника и два брата; Фролова — муж, отец; Ванчугова — муж, сын... Я иду от дома к дому и меня начинает покачивать, как в том странном сне, где нет половиц, и не за что ухватиться, но сердце все равно болит и любит. И в ушах моих на разные голоса: «Погиб, убит, погиб, убит».

Как-то раскрыла молодежную газету. Юные читатели рассуждают о ветеранах: одни рады, что ветеранов в магазинах пропускают без очереди, а другие — лучше бы их в очередь... Ефрейтор Леонид Дмитриевич Семенов, который прошел войну и пережил такое, что участникам вышеупомянутой дискуссии не приснится в самом кошмарном сне, сказал мне, поначалу чрезмерно любознательной журналистке, с легкостью задавшей вопрос о пресловутом «фронтовом эпизоде»: «Самый тяжелый фронтовой эпизод — это полустанок, через который с передовой шел товарный состав с помешанными мальчиками. Их везли в госпиталь». Я хотела получить «эпизод» — и я его получила. Это была одна из первых моих передач, и урок на всю жизнь.

Для меня все они — родные и близкие. Живые и павшие... Конечно, не расскажешь про всех, кто был в моих передачах. Вот лишь некоторые... лишь некоторые.

НИНА ВАЛЕЕВА

— Родилась я в Майкопе, отец был как будто красный командир, мама умерла с голоду. Мне было три годика тогда, у меня был еще брат на пять лет старше меня. Ну, и нас там соседи отдали в детдом, а тогда детдома только организовывались — ни кроватей, ни постелей, ничего, спали на полу, напokat. А по полу мыши бегают, я все боялась, да и сейчас еще боюсь, что они мне ухо отгрызут. Кормили нас — ну голод же, голод! — нам дадут вот такой кусочек хлеба, и мы так хотим, чтобы он продлился дольше, этот хлеб... Началась война — мне было уже двадцать два года, работала на почте. Потом с наркомата связи присылают письмо, чтобы с нашей почты послали двоих работать в полевую почту. Вот. Ну, а кто поедет... все боятся, война. У многих дети. Я начальнику говорю: Михаил Федорович, давай, я поеду, по мне некому, говорю, будет плакать...

Мы смотрим старые фотографии... Призрачные девочки в гимнастерках и шинелях, странное сочетание пилотов и кос...

— Наташа это, Кикоть. Я ее схоронила на Малой земле. А это вот Люба — вышла из госпиталя. Она так... она не могла верить, что в двадцать лет осталась без ноги. Написала мне: «Вышла из госпиталя без...», а «ноги» уже не могла написать. А это моя подружка, с которой работали вместе. Она и сохранила все фотографии мои. На Малой земле когда я была, она письма нам писала, хорошие такие, с прибаутками. Солдаты всегда любили, когда я получу от нее письмо. Они говорили: «Нина, от Тамары получила? — читай вслух!» Я читаю вслух, и мы все смеемся... Однажды, когда читала, начался обстрел. А у меня нервы уже расшатанные. Когда немец бомбит или стреляет, я не могла сидеть где-то в уголке и ждать. Я вылезаю из землянки, стою и смотрю, куда падают бомбы или снаряд. Я должна обязательно это видеть. И вот вы знаете... вот как будто бы я его притянула, этот снаряд, и он — гах! — прямо к нам... Наташа как сидела — ей прямо вот сюда... Надо хоронить, а некуда нести. Мы прямо в землянке выкопали могилку, ямочку, там ее схоронили. И все... Я люблю песни, вот и сейчас пою. Вечер, тихо когда — с Наташей сядем и поем песни. Вот когда мы второй раз пошли с ней в разведку боем... окончился, значит, бой, мы остались с ней вдвоем на нейтральной полосе, и нам говорят солдаты: «Там, девушки, еще один остался». Мы с ней полезли, положили на шинель и поволокли. И когда приползли на передовую — так у меня руки... все руки в крови. Так оно всё было — песня, кровь...

— А может, вы сейчас споете, Нина Ивановна?

— Сейчас спою (поёт, смеётся и плачет). И вот мы эту песню запели солдатам и морякам этим, а они и говорят: «Девочки, сестрички, спойте нам еще». Нет, говорю, нам идти надо, раненых своих надо определять. Поползли мы, значит, с Наташей...

ВАСИЛИЙ ЧЕТИН

Я позвонила — и мне открыла седая женщина. Наверное, жена.

— Здравствуйте, Василий Степанович дома?

— Дома, проходите, он у нас именинник сегодня.

В красном углу комнаты сидел, торжественно положив на колено руку, Василий Степанович Четин — вся грудь в орденах! Он не ждал меня и, наверное, только для себя да для Клавдии Александровны в день своего рождения надел ордена и медали. Я объяснила, что хочу рассказать по радио о его жизни, и он, бесхитростно подтверждая, что выбор сделан правильно, и в то же время в оправдание плохой дикции — сказал:

— Пяти ребер нет, и правой руки нет, и скулы вынеты — я очень много пострадал... Вы понимаете, я когда шел к западу — я не рассчитывал, что меня убьют, и как непокоренный, понимаешь, писал домой, что меня пуля не берет. Мария Кирилловна, вот в чем дело: когда я увидел, что все разорено, я дал клятву, что отомщу полностью. Ну, правда, многие погинули, но что сделать?! У нас от дивизии-то осталось, наверное, человек двести пятьдесят.

— А дивизия — сколько?

— Дивизия — много!.. Как было: наши разведку послали, разведка не попала, понимаешь, на немцев, а немцы-то нашу разведку заприметили. Только подошли к передовой, а за имя уже немцы — их и накрыли, наших-то. Я когда осмотрелся — тут, значит, никого нет. Я как пулемет нажал, понимаешь, по первому-то, а по второму... Второй — по мне — раз, второй раз... Как третий дал — руку мне и оторвало. Ее полностью не оторвало, я беру эту руку, повертываю сюда, налаживаю в зубы кусать пальцы, смотрю: они почернели, у меня кровь потекла. Мне надо отползать. Тут самоходки немецкие, они ведь сейчас меня накроют, придавят меня, понимаешь. Я вынимаю две гранаты, снимаю с крючка, чтобы меня разорвало — я знаю, что они будут надо мной издеваться, — и стал отползать. Примерно метров десять или пятнадцать отполз — по мне вторым снарядам как дали, и вот у меня с пятого по десятое ребра — нет, вышибло ребра-то. Когда вышибло — а маленький снежок напал, — я тогда свалился. И откуда-то возьмись, бежит с правой роши, с правой стороны боец. Я: подойди сюда! Я говорю: достань с правой стороны бинт, перевяжи мне руку, чтобы кровь не шла. Он бинт мне достал, а самоходки-то движутся на нас, он бросил меня — клянусь честно — и убежал. Эхе, мне тут было обидно... Я набрал снега так немножко в ладони, поел — жар, и пополз. Метров сто отполз, и у наших траншей, ночью-то которые мы освободили, меня сразу подхватили, перетащили и положили на носилку. В медсанбате спрашивают: ну что не раздевались? А я уже сознание теряю.

Вернулся Василий Степанович в родную деревню с войны. Жена его не дождалась. И двоих детей бросила. Вот при таких обстоятельствах он и повстречал свою дорогую Клавдию Александровну.

— В воротах обнял ее, поцеловал и прихожу к дяде Степану, говорю: вот девка хорошая, дядя Степан, как? «Василка, бери, она ягодница, девка-то, корова есть, огород. Иди сватайся». Я пришел, поговорил, потом ее пригласили, она дала согласие, мы свадьбу там сделали, я отсюда тетку Анисью и сестренку взял — у меня фотокарточки есть...

Тут и Клавдия Александровна:

— Ну, я сперва вроде думаю: Господи, как же это за него я пойду? Руки нет, а ребра — я не знала, что и их нету, если бы знала, я бы не пошла.

Они родили троих детей, всего стало пятеро.

— Вот так и жили. Он у меня даже дворником работал. Я дворником — он дворником. Вот сюда делает метелку — и пошел туды-сюды. И вахтером работал, а теперь — все уже, я не отпускаю его.

— Я дома сидеть не могу, мне что-то нужно делать. Летом я на рыбалке. Там отдохну, рыбки домой привезу, грибов привезу, за ягодами, за клюквой езжу. Все это я одной рукой беру, потому что труд любит...

-Труд любит – что?

-Чистоту.

-А что любите больше – грибы или ягоды брать?

-Грибы. Срежешь, сложишь в корзиночку... Домой приду - засолим или, понимаешь, это... пирожок с грибом... знаешь, да...

-Василий Степанович, как это получилось, что сегодня я к вам пришла – и у вас день рождения? Вы мне объяснить можете?

-Могу. Видите, какое дело-то... Мы решили скромно сделать, я сходил и пива купил четыре литра...

-Три литра.

-Четыре. Сейчас пирог будем пекчи из картошки, маку она сделала, у нас есть мясо, у меня есть консервы, у нас есть огурчики... Придет сын, потом тут старушка одна придет. И вот готовлюсь, смотрю – вы заходите. Ну, выходит, вы счастливее меня...

АНФИСА ЛЯЛИНА

Чуть не каждый летний выходной много лет подряд я проезжаю станцию Баженово. Здесь был госпиталь, где парикмахерша по призванию Анфиса Николаевна Лялина проходила свои университеты.

— Плакали первое время, а потом уже вроде привыкли. Вызовут в перевязочную, там сестры не могут обработать раны, а у меня же острый инструмент. Я приду, у меня слезы текут, а я раны на головах обрабатываю. Все разбито, у меня руки-ноги трясутся, а куда деться? Обрабатываю. Посмотри-ка, сколько они пережили, что кушали, в чем одевались. Ведь посмотришь, сейчас молодежь седые волосы себе наделает, а тогда приезжали с седыми волосами. Вот в госпиталь-то он придет, ему 20 лет, и седые волосы. Кто в атаку сходил — тот и с седыми волосами. Посмотри-ка, с Ленинградского фронта каких привозили нам. Заходишь в вагон — пахнет, нельзя зайти, слышишь — обморожены. Привезут их — ломают, ломают, у них культы одни останутся на руках и ногах. Отломают — у него снова загнивает, снова загнивает — гангрена. А первую смену когда принимали в госпиталь — у них в карманах и овес, и пшеница. Это их продукты были, ленинградцев. Последнее время уже стали приезжать танкисты. Нос у них, всё — забинтовано. Они же все обгорелые, лица-то. Сам-то целый, а руки и лицо обгорелые, руки забинтованы, глаза тут прорезаны, если целые глаза. Так они ни кушать, ничего сами не могут. Придут ко мне, стучат костылем – иди, покорми нас... У нас Ручьев был, мальчик. До того он был худой, мы его на руках носили, а потом его отправили в Еланск, он нам пишет письмо: пришлите мне, пожалуйста, ложку да хоть что-нибудь вкусного покусать. Я поехала к этому Ручьеву, увезла подарок, и платочки ему сделали, и навывшивали, все отправили — конфеток даже, у него не было никого... А потом еще Птица мне запомнился. Так звали его все — Птица! Приехали — он из вагона вышел, в тапочках, в халате по снегу пляшет. В руку был тяжело ранен. И все пел, и все пел — больно ему, не больно — поет, и

только. Не знаю, — вернулся живой, нет... Как привозили, мы сразу наголо всех обстригали — и командиров, и всех. Капитан сразу им говорил: снимайте волосы все, у нас добрая парикмахерша, она вам наростит красивых причесок... А сейчас еще с молодежью вот это — лохматые стали ходить. Ведь эта наша, русская прическа. Мы ведь их осуждаем — косматые, такие, сякие. Старики-то у нас раньше, дедушки-то, ведь кружки эти носили. Это наша настоящая прическа. Только надо за ней следить, они не умеют за ней следить. Придут они ко мне в парикмахерскую, эти ребята, я им говорю негромко, но не ругаю их. У меня вырезки из журнала «Служба быта», я все время выписывала, у меня этот журнал лежит. Что ты хочешь: «канадку» или там «молодежную»? Если ты хочешь «молодежную», я тебе ее вот такую сделаю, молодежную. А потом слышу — придут подстригаться, в очереди стоят: к старухе садись, к старухе (смеется). К старухе, говорят, садись...

Да-да...

БОРИС ДЕМЬЯНОВ

Я стою на улице. Небо я не вижу, потому что уже темно. Я вижу окно в первом этаже благоустроенного дома: лампочка с самодельным абажуром, подвешенная, наверное, прямо к раме... В ее свете пучками торчит какая-то зелень. Через это окно он видит небо. То самое небо, в котором прошла его жизнь.

- Вам шестьдесят седьмой?

- Шестьдесят семь...

- Я должна вам сказать, что выглядите старше.

- Старше? Ну, вот видите как — это ведь все изрезано...

- Вы выглядите значительно старше...

— Да? Там море, там страшно летать... Там мотор даже не так работает, как обычно, потому что влаги много. Там вот посадишь самолет на живот — и сразу он тебя в глубину утащит, в пучину. Так вот успевай выпрыгнуть из кабины. Там все хищники, все едят друг друга... От летчика там ничего не останется. На море страшно... Но летать я умел. Я знаю, когда он меня убьет. Я должен на пулеметную очередь наскочить... а ты возьмешь да и не наскочишь. У меня приятель — он уберет газ, а немец с бухты-барахты, с такими вот вытаращенными глазами проскакивает! Друг мой тут и стреляет. Я тоже научился. Артисту надо играть, когда умеет. А не умеешь — тут нечего и играть...

- Проигрыш сразу?

- Проигрыш сразу, я вам точно говорю. Там ведь надо видеть всё, там ведь не стесняйся, там — кто кого. Что умеешь, то и выкладывай: силы, разум. Там отбирали людей... Мало ли — может и с ума сойти.

- Бывало, что с ума сходили?

- Сходили. От нервов... Ну, были всякие, что говорить. Всякое было на войне... Ведь мы видим, скажем, с берега его, море-то. Понимаете, оно хорошее такое, ласковое, тут купаются. А ведь оно настоящее, море-то, вы знаете, какие ходят волны! Вот подальше-то залетишь... как будто горизонт сходится с водой. И кажется тебе, что оно действительно как шар. Там страшно. Даже компас показывает не так, он всё куда-то бьётся, бьётся в сторону... Вот Петров упал — командир штурмового полка, немцы его сбили. Так он проплавал-то минут, наверное, 12 или, может, 10 поплавал — у него ноги отнялись сразу. Видите, северное море какое — ноги отнялись, и всё. Плюс четыре градуса зимой и летом. Так она, жизнь, устроена. Там надо иметь, понимаете, натуру. Если такой натуры нету — не подходишь, я вам правду говорю.

Мой магнитофон работает на предельных уровнях, записывая тихую речь капитана морской авиации. Я смотрю на его огромные в очках глаза, на худые руки и раскручиваю в голове фразу, которую он сказал как самую обычную, — как, впрочем, и все, что он говорит. Он сказал: «Наши парни управляли своими ЯКами так, что позвонки растягивались»...

— Борис Анатольевич, можно китель ваш посмотреть?

— А пожалуйста.

— Три Звезды Красных...

— Да, три Звезды. Ну, вот один Красного Знамени, вот «За боевые заслуги», это за Ленинград, это за Северный флот, вот это за Японию.

— Ранений у вас не было?

— Нет, не попали, не попали. Стреляли, и оторвут хвост — а в меня никак не попадут. Изрешетят, но впереди мотор-то тянет, идешь да идешь. Один раз в цилиндр попала пуля, так и цилиндр оторвало, мотор греется — по кабине даже вижу, что греется. Вода выбежала, масло выбило все — я иду, иду, иду. Сел когда — так все бегут: как же ты дошел? Я сам ему не мешал — везет и везет, в кабине жарко, понимаешь. Ну, довел. Вот ведь как жизнь устроена.

— А цветы-то сами разводите, один живете?

— Сам, один живу, сам...

— Ну, вроде бы не мужское занятие...

— Да, не мужское, да вот приходится. Я люблю их, цветы-то. Расцветут, да много их, вон они такими маленькими цветут — так у-у-у! Потом еще сажу такие вот голубенькие. Чем проще жить — так ведь лучше. Вот сейчас пересаживать их буду, вон эти надо пересаживать, земли принес... Оттаяла земля-то, видишь, пересаживать буду. Вот весна будет — опять соседи начнут заглядывать: дайте, Борис Анатольевич... ну, я даю...

— Что будут просить — отводку?

— Отводку. Я говорю: «Берите, много их». Много их, целые шапки висят — прямо некуда деваться.

Разрастутся – одна голубизна. Пошел в поле, взял васильков, знаете, набрал васильков, раскрошил в карман ромашек. Ну, а весной тут начали садить — набросал в клумбу, они выросли да все расцвели...

АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ

Александр Николаевич Герасимов — хирург, кандидат медицинских наук, подполковник медицинской службы. Как живет он в мирной жизни? Делает зарядку, надевает каракулевый «пирожок» — поглубже, на седые виски; берет портфель и идет в переулок Воеводина к студентам Второго медицинского училища — читать хирургию.

— Нужно именно жить всеми горестями и радостями, которые приносят вам операции. Во время операции нужно помогать хирургу и советом, и руками, и всем, чем только можно помочь, понимаете? Но, к сожалению, есть сестры, которые только так... исполнители приказаний. «Дай то» — даст, «дай это» — даст, а сама даже не смотрит, что делается в операционной.

Я... понимаете, беда-то в чем... Вот не могу я... Даже отметку ставишь девчужке... Думаешь: живет там она где-то в общежитии или у какой-то бабушки на квартире, получает не так много, бежит на занятия, опоздала. Все вот говорят: почему ты пускаешь опоздавших? Ну, посмотришь: зайдет такая несчастенькая, и думаю — ладно, пусть заходит...

За войну, за целую свою жизнь на войне, Герасимов сделал 18 тысяч операций. Это ему товарищи по медсанбату такой итог подвели — после, когда все кончилось.

— Вы знаете, кого оперируешь, — того и любишь. Я никак не могу забыть одного раненого. Лежит солдатик... А мы даже гимнастерку не снимали, некогда было — закроем стерильными простынями, ногу обмажем йодом и оперируем. И вот он у меня спрашивает: скажите, доктор, я тяжело ранен или легко? Кость у меня повреждена? Я говорю: милочек, к сожалению, повреждена. Он какой-то симпатичный такой мальчишка, отвечает так спокойненько: ну вот и хорошо. Я говорю: чего же хорошего? Ведь кость-то долго будет срастаться. «А может, я останусь живой...» Я говорю: милочек, думаю, что останешься живой, война-то уже на исходе... Ну, а сестра тут одна говорит: ты что, боишься, что ли? Он говорит: да нет, я не боюсь, я уже много раз ранен... Я откинул простынь... А в то время уже давали нашивки за ранения... так у него нашивки шли от погона до кармана — штук восемь. Я говорю: «Слушай, а ордена есть?» — «Нет, говорит, доктор, нету». Я говорю: «Ну а медали?» — «Стыдно сказать, доктор, нету», — отвечает. Понимаете, как получается, — он герой, без сомнения герой, и мы перед пехотой должны стать на колени и поклониться ей. Но его ранит — в госпиталь пошлют, может, наградной лист есть, но он ходит где-то, не находит его. Орден... ну, орденов много и у меня, слава Богу, и у других, но есть люди, которые вот не награждены. Так получилось, но они герои, они истинные герои, которые войну тащили на себе.

Пять раз Герасимов выходил из окружения и вел за собой сначала роту, а потом батальон. Он воевал на передовой первые полгода — так уж решил его судьбу страшный бой, когда кроме него командовать стало некому. Тогда никто и не вспоминал, что он врач...

— Александр Николаевич, в открытке, которую мы получили от Тамбеева, вашего фронтового товарища, из которой, собственно, о вас узнали, он рассказывает о совершенно исключительном случае. О том, как однажды вы убитой женщине сделали кесарево сечение, — это было?

— Вы знаете, это я вышел из окружения, это было после Полоцка. Знаете, что такое — движутся беженцы? Кто везет коляску, кто гонит корову, кто просто на тачке везет старика какого-то. Отца или деда — тут не разберешься. Вся дорога от начала и до конца забита. И вдруг кричат: «Воздух!» Налетели немцы. Они методично это делали, на бреющем полете: и-и-и-пах-пах-пах. Ну, земля всегда скроет от смерти. Я упал в воронку, рядом со мной еще кто-то. Вдруг слышу, как говорят, душераздирающий крик. Вскочил, смотрю: женщина, у нее волос черный, длинный волос, и, ну... в общем — все, мертвая уже. И смотрю, живот у нее какой-то большой оголился. Я стою, еще не могу все осознать, а мне кричат: ей нужно вскрыть живот, вскрыть живот. Я не знаю, кто мне дал перочинный нож... я, значит, перочинным ножом — раз! Вытащил ребенка. Обрезал пуповину, и тут женщина одна, полная такая... Наверное, она знает это дело... И вот ребенка она взяла на руки, по попке его похлопала, что-то во рту у него поковыряла, и он заплакал, заплакал...

— Кто был, девочка или мальчик?

— Вы знаете, честное слово, не знаю, не знаю... Черненькие волосики были, почему-то у меня мелькнула мысль: как мать, как мать...

ЛИЗА ДРАНОВА

Мне открыла старая женщина, такая крошечная — будто ненастоящая. Она смотрела на меня снизу вверх водянистыми, когда-то, наверное, голубыми глазами, и так, не отрывая взгляда, ввела в маленькую чистую комнату.

— Я расскажу вам... Конечно, расскажу. Закончила университет — словесники мы были, словесники... В октябре сорок первого года я оказалась в тюрьме. Пришел немецкий прокурор и говорит: «А почему вы в таких условиях? Везде лежит солома, а у вас даже соломы нет». Я говорю: «Значит, я очень большой преступник». Тогда он сейчас же зовет начальника полиции — такой... Мерзость была такая, ой! — чтобы мне принесли солому. Принесли мне три снопа, один положила под себя, другим накрылась и третий под голову. И вот, Мария Кирилловна, дорогая, что такое счастье... Думаю: какая же я счастливая. Я такой счастливой еще никогда не была. Я так улеглась хорошо... я самый счастливый человек на свете...

Потом посадили меня в какую-то камеру, и там высоко нужно было лезть по лестнице, чтобы мыть окна. И какой-то уж очень оголтелый нацист-охранник меня ударил. Я упала с лестницы... и до сих пор вот эта рука и эта... обе были сломаны... Ну что же, упала и валяюсь, никто меня не подбирает, а я сама ничего не могу сделать. Наверное, сутки я так пролежала. Потом меня направили... как он назывался, этот лагерь... по-нашему назывался «для придурков», вроде того... Там мы обитали, большие-небольшие. Делать ничего не можем.

Нас было триста человек в бараке. Это немного. А потом все прибавлялось, прибавлялось... Уже негде ложиться. И так почти друг на друге. Всё думаешь: как бы не наступить. И что еще страшно было - у меня развелись вши. Вот не думайте, что от грязи. Нет. А вот откуда-то изнутри. Со мной немка была... Я говорю: что мне делать? Она: у нас, мол, худосочие, вот это всё...

-Значит, вы всю войну пробывали в лагерях?

-Тысячу триста двадцать дней... А в сорок пятом году... Приближалось тридцатое апреля, и мы уже знали, что наши вот-вот... Скоро освободимся. Но только перед этим мы четырнадцать суток сидели, и не было возможности даже водички нам дать. Но это чепуха, конечно, что мы не евши не пивши. Для меня и сейчас... Я даже на это внимания не обращаю. Можно сорок дней ничего не есть.

И вот открывается дверь... Ноги-то не ходят уже. И куда идти — неизвестно. Все умерли, все погибли в войну. Погибли два брата... Замуж я вышла поздно, мужа сейчас же взяли в армию, там он погиб. Жизнь прошла... Никого у меня нет, это так плохо. Тоску залечить очень трудно.

Ничего у меня нет и не было никогда, потому что я все копейки берегла, чтобы отправиться в плаванье по реке. Каждый год... Сажу на палубе, смотрю на широкую воду... и мне кажется, что я действительно счастлива и живу.

ВЛАДИМИР КУДИН

Дом для престарелых и инвалидов на Семи Ключах... Решетская, 55... В его просторном вестибюле я очутилась в «час пик», после завтрака. Потом рядом со входом в столовую увидела линии фотокарточек — «Они сражались за Родину» — и быстренько пересчитала: тридцать одна... Ну конечно же! — он был в самом центре. Кудин Владимир Иванович, бывшая 369-я Карачнинская дивизия. Через два дня он позвонил мне по телефону и добавил: краснознаменная.

— В каких войсках вы были?

— Станковый пулеметчик. Мы стреляли до тех пор, что наш пулемет, как паровоз, пыхтел паром, вода кипела в кожухе! Вот тогда меня наградили, получил первую медаль «За отвагу». Ведь все не расскажешь, со дня на день не расскажешь. Ну вот, меня уже ранило 24 ноября... нет, октября... Оторвало мне ногу ниже колена. У меня были пакеты, бинты, сам же все перебинтовал..

— Так она у вас на чем держалась-то?

— Ни на чем. Ее не было у меня. Штанину... Тут была порвана, я вместе со штаниной замотал. Я еще полз, наверное, метров сто пятьдесят. Полз, потом подобрали. Газовая гангрена пошла... Ну, два раза резали, дошло до бедра, хожу на протезе. Обижаться нечего, защищали Родину (задыхается, кашляет).

Когда мне оторвало ногу, я домой не писал об этом. Мать даже не знала. Когда вернулся с фронта, на протезе... мать до вечера все ходила, косилась, смотрела. И уж спать ложиться — так она еще выглядывает в дверь, что я буду делать. Как увидела, что снимаю протез — вот она уже закричала, заревела. Ну, ничего — обошлось. Поплакала, заплакала — уговорил: на то фронт, война, ладно хоть живой пришел... Жил я в Тугулымском районе, работал в леспромхозе — сначала плотником, потом пилоправом, электромехаником. У меня сила была и ловкость, ничего мне не страшно, здоровье было хорошее. На одной ноге поступил плотником, строил дома, таскал бревна. Что здоровый мужик, то и я — таскал одинаково, роли никакой — лазил по стенам, как кошка. Конечно, сейчас не залезти уж мне, а раньше лазил. Даже народ удивлялся. Ну, надо было после фронта где-то мне приютиться, надо было начинать с чего-то жить. Семья, дети вот пошли — шестеро их у меня. А в лесу работал — снег такой был... Где ползешь, где идешь. Работал, работал...

— Это вам было 22 года, когда вернулись с войны? Да?

— Да, да, да...

— А жена ваша оттуда же?

— Да-да, из той же деревни...

— У вас ведь любовь, наверное, случилась после фронта?

— Да-да, по любви... Хорошо жили. Только в последнее время у нас что-то... Не повезло. Астма теперь у меня, работать я сильно не могу физически. Ну, а там надо работать. Ругань пошла. Ну, а я... зачем мне это... ругаться... Я сюда приехал. У меня часто были приступы астмы, а сейчас живу здесь уже два года — и ни одного. Тридцать пять лет прожил я с ней. Вот так.

— Ну, а здесь как у вас жизнь протекает?

— Живу хорошо, по силе возможности работаю парикмахером на общественных началах. Образовали мы тут небольшую ферму, за год сдали для общего питания две тонны восьмьсот килограммов свиного мяса. И приплод получили 37 штук поросят, да еще сколько поросят персоналу продали. Привык, доволен всем: кормят хорошо, ни один не похудел, уже в кожу не влазят. Государство кормит хорошо, обиды нет на это дело, ну и я старался — продовольственную программу выполнял (смеется). Чистенька постель всегда, спи, сколько влезет, никто не будит (смеется).

— А можно посмотреть на ваше хозяйство?

— Можно, но в родильное отделение не запущу, нет.

— А если я халат надену?

— Хоть что вы надевайте, но есть люди — урочат. А у меня там маленькие дети, маленькие поросята.

— Я знаю, что нельзя охать.

— Хоть что ты знай — не запущу.

— Я не глазливая.

— Сказал — не запущу, обижайся—не обижайся. Даже директор — и тот не обижается на меня. Его, если пускаю,— заставляю по старинке спичку в зубы взять.

— Горящую, что ли?

— Нет, нет, не горящую, не горящую (смеется) — такую, натуральную спичку, чистую...

Владимир Иванович, кажется, не очень-то хотел приглашать меня к себе домой, в комнату №314: не прибрана и сосед болеет. А потом (видимо, удовлетворенный моей реакцией на его хозяйство) все-таки пригласил. И мы сидели у окна, смотрели на сугробы, на березы и сосны, слушали тяжелое похрапыванье соседа и тихо разговаривали.

—»Враги сожгли родную хату...»

—Эту песню любите?

—Да... Приезжало к нам с концертом общество слепых, я дал им заявку, попросил... Ну, они пообещали. Говорят: в следующий раз... Они дважды у нас были. С ними дети. Такие махонькие, а играют как! Плачу, но слушаю... плачу... Люблю я эту песню. Это — Правда. Правильно? Это — правда...

Я уходила из дома Кудина длинным, чистым коридором. Поздоровалась с представителями санинспекции: была какая-то профилактика. Выслушала старушку Марию Алексеевну в беленьком платочке. Они втроем, восьмидесяти- и девяностолетние, поджидали меня за поворотом коридора. Мария Алексеевна о чем-то рассказывает — больше себе, чем кому-то:

— А у меня характер-то какой хороший... Я говорю: когда кержовы-то штаны носил — тогда нравилась? А теперь, говорю, не нравлюсь? Вот дорога, говорю... Ты видишь — дорога? Это другая, на мою не вставай. И я, говорю, на твою не встану...

Звуки пугались во мне, голоса сливались, я чувствовала, что пора уходить. Мы обменялись с Владимиром Ивановичем телефонами, адресами. Простились.

— Где-то нонче сосед пообещал сделать скворечников, чтобы скворцы у нас тут приземлились. Это надо, птица хорошая, поет шибко хорошо, на всякие голоса... Они же гости, к нам... прилетают. Только выведут птенцов — и всё, уже улетели (кашляет, кашляет).

Скоро он умер.

ВАСИЛИЙ СУНЦОВ

...Жена увела его в соседнюю комнату:

— Все в порядке, все в порядке, ты не волнуйся, мы просто поговорим о тебе. Не плакать! Подожди, я тебе сейчас дам лекарства. Не нервничай давай..

— Со Сталинградского фронта он пришел домой в декабре, а сам в этой, как она называется... пилотке. Мороз крепкий — градусов, наверное, около сорока, а он в этой пилоточке и английская на нем шинелка. Вот в этом он ко мне пришел со Сталинградского фронта. Я все сохранила. Сегодня вытащила из чемодана вам показать. Ложка сохранилась с надписью ЛГ — это мое имя.

Его ЛГ — Людмила Григорьевна — белёхонькая. Неумолимая седина...

— В сорок восемь лет такая стала, все ведь на мне сказывалось, я же человек... Он ведь остался в земле закопан. Его контузило, землей засыпало. Он на привязках лежал долгое время, у него же ноги-то были отбиты. Вот такого я, значит, в двадцать четыре года получила мужа... Я работала бухгалтером в Катайске, и когда мне его привезли, я обратилась к врачу. Он мне говорит: «Знаете что? Его нужно в одиночество». И вот я пошла просить директора, чтобы меня отправили на сенокос. И увезла его в одиночество — в лес. Кругом — лес... Совершенно ничего не слышал. Потом трясло его, здорово трясло, ой как трясло! Если я на работе, мама бежит за мной. У меня мама была очень строгая, она ставила вопрос так: раз муж — значит, муж. У двух сестер вообще мужа не пришли. Одна у меня с пятерыми осталась сестра, другая — с двумя, а я, значит... У меня дочка была первая — умерла, потом вот эта народилась. И он сам принимал, между прочим, роды первого мая. Шла демонстрация, я начала рожать — куда побежишь? Сам принимал...

По правую руку от Людмилы Григорьевны — Тамара, их дочь.

— Первого мая как раз день рождения, а девятого мая мы ее чуть не задавили. Как объявили, что День Победы — знаете ведь, что было, ой, что было, ой, радости-то! Кто ревет, кто поет, кто играет — жутко что было! Ну вот, и один товарищ чуть на нее не сел. Я говорю: да там же ребенок!

Василий Семенович притих в другой комнате — может быть, уснул. Тамара говорит:

— Рассказывал, как они отражали танковую атаку. Он же был в отдельном истребительном противотанковом дивизионе. Танк плясал над ним, крутился. Еще бы раз прокрутился — он бы уже не встал из окопа. И когда встал, ему сказали: «Комбат, у тебя пилотка на волосах стоит». Так это было страшно... Больше всего вспоминает, конечно, Сталинград, Орловско-Курскую дугу и Белоруссию. Особенно Белоруссию, болота, болота, болота... Папа, ведь, собственно, вообще мог не воевать.

— У него бронь была?

— Да, бронь.

— В Сталинград он поехал. Пришел и говорит: «У меня командировка в Сталинград, я должен ехать».

Я говорю: «Нет!» — «А у меня уже билет куплен». Уже после войны он прошел полностью весь путь, каким они шли. Нашел даже свой окоп на окраине Волгограда. Рассказывал, как подошла к нему женщина и спросила: что вы здесь, мол, ищете. Он ей сказал, что вот... Женщина заплакала... А когда приехал сюда обратно — сразу свалился почти на три месяца. Невропатолог от него двое суток вообще не отходил. Он только спросил его: «Где ты был?» — «В Сталинграде». — «Ну, тогда все понятно...» Даже врачи поражаются, сколько в нем энергии... Он падает и тут же встает. Час сорок, самое меньшее час, делает зарядку для того, чтобы только ему встать. И всегда говорит: есть люди, которые хуже нас живут. Почему я должен требовать того или этого? Он всегда стоял в очереди, вот только когда прикрепил к магазинам, стал пользоваться льготами... Говорит: что ж я вас мучаю? А потом тут же шутит: к девкам поеду, в деревню, девки там меня ждут. Я ему тоже шуткой: давай-давай — я тоже замуж выйду. Надо же чем-то развлекать его.

Вот такие у нас дела. Морковь садим, свеклу, картошку. Картошка, значит, у нас есть на свою семью, а остальное весной сдаем государству. Я не стаивала на базаре ни с одной картошкой. Все мы сдаем. Вот в этот раз наняла за десять рублей машину, дочка съездила в совхоз, в Златогорово, там приемный пункт. И сдала четырнадцать мешков. Разгрузили прямо на ферме, скот кормить нечем было... Мы не гонимся за деньгами, у нас вся семья такая, наверное. Вот мы — два пенсионера... Я получаю 57 рублей. Не густо? Ему дали первую группу — 145 рублей. Дочка зарабатывает — вот так и живем. За коврами, за мебелью, за стенками не гонимся, сами видите в нашей квартире... видите только чистоту. И все. Знаете что? Я считаю, что вот сейчас для меня нет ничего ценней мужа. Приходится просто-напросто беречь его. А берегу для себя...

— Василий Семенович, я ухожу, до свиданья, поправляйтесь.

— Скоро поправлюсь, на работу пойду, — он снова находит силы на шутку. — Я бы хорош был — сам бы всё лучше рассказал...

— Вам не надо это вспоминать, не надо. Мне Людмила Григорьевна и Тамара рассказали, они всё помнят.

ИВАН ОРЕХОВ

Орехова Ивана Сергеевича, бывшего бойца полковой разведки, я высмотрела в коридоре перед кабинетом участкового врача. Дверь в кабинет открывалась, выпуская или впуская кого-то, — и он вытягивал худую шею и напряженно вслушивался. Дверь закрывалась — и он застывал на своем стуле. Во всей его фигуре, в добрых, часто мигающих глазах, были готовность, согласие.

Его вызвали тогда довольно быстро. Сестра объяснила зашелестевшей очереди — почему: ветеран войны, фронтовик. Я не спросила тогда в больнице его фамилию: видимо, не знала еще сама, что буду помнить о нем так остро. И вот полгода спустя хожу под его окнами — и все не могу застать дома. Хотя сам его дом по этой улице Хохрякова, где когда-то жила семья моего деда (даже какая-то родственница Орехова живет теперь в одной из комнат бывшего нашего дома... это недалеко, возле пятой школы)... Хотя сам дом, осколок старого Екатеринбурга, — каменный нежилой низ, деревянный верх, простые, в пол-окна задергушки, клетки с птицами на южных окнах и бесстрашный лай крошечного (судя по тембру) собачьего существа в недрах его... сам этот дом уже рассказал мне много, и во многом именно он, этот дом, определил тон моего рассказа. Моих песен...

— Мне было семнадцать лет и шесть месяцев... И вот поехали мы на фронт. Стояла... сорок первая, по-моему, эсэсовская дивизия «Великая Германия»... Вначале страшно было. Каждый разрыв — просто боль в душе. Молодежь опыта, конечно, не имела. Пожилой — если снаряд разорвался рядом — он не бежит. Тут же — раз! — в эту ямочку, и копать не надо. Как клоп, извините за выражение (смеется). Молодежь наоборот — если здесь разорвался снаряд, то он думает: здесь убьет — бежит туда. Ну, а когда бежит, его ж видно, можно под снаряд попасть...

Мы сидим с Иваном Сергеевичем в нетопленном доме. Девять часов вечера, он только что пришел с работы из своей сапожной мастерской, где его, обувщика с 28-летним стажем, назначили сейчас замещать заведующего. Среди фотокарточек, среди военных и гражданских наградных листов — спичечный коробок. В нем завернутый в несколько бумажек (так прячут детям подарки) ржавый осколок с острыми краями. На последней бумажке крошечными буквами: «12 марта 63 года извлечен осколок хирургом Шигориным Борисом Константиновичем, остатки после ранения 17 ноября 44 года».

— Я посмотрел когда на осколочек — вспомнил, когда вот, значит, ранило... Меня мысль первая сразу ударила: ну, неужели это всё закончено, закончена навряде жизнь — когда произошло осколками... Вот — и сразу так быстро, моментально, от самого детства и до настоящего прошла, понимаешь, жизнь. Всё вспомнилось сразу. Думаю: быстро-то как... Когда демобилизация подошла, замполит Баталов, майор, до самого вокзала проводил, все уговаривал: оставайся на сверхсрочную. Оставайся на сверхсрочную, будешь офицером. Я ему сказал: я еще жизни не видел, хочу посмотреть ее.

— И какую же вы увидели жизнь?

— Ну как — разнообразную. Работать я сразу устроился. Через две недели. Трудность насчет квартиры была, по квартирам ходил я около 16 лет. Я после армии сразу пошел в райисполком. Посмотрел, полно женщин многодетных, все они без жилья, ладно, думаю, перебьюсь. Сейчас вот комнатешка, правда, неблаго-

устроенная, но светлая... Ну, и работаю, значит...

— Сегодня две смены?

— Ну, так задерживаться приходится, когда надо... Ну, как бы сказать... Когда занимаешься работой, не замечаешь, как улетает время...

Была глубокая ночь. В клетке кенаря повисла луна, и он спал. И второй кенарь спал, и чижик спал. Бодрствовал вместе с нами другой Чижик – маленький и лохматый пес, так и не взявший в толк причину перемены регламента.

-С утра ты меня ждал, с утра, - бормочет Орехов и поглаживает собаку.

-Он на меня-то, по-моему, смотрит с отвращением, ваш Чижик...

-Нет-нет... Ну, сейчас, сейчас, Чижик... Вообще-то иногда жалко, что вот ушло... Ну хотел бы по-другому, но сама жизнь диктовала: вот так! Думаешь: ну что ж, куда не денешься, раз уж так – ну ладно и так. Пусть будет так, что сделаешь.

ГЕОРГИЙ ЧЕБКАСОВ

Я таскала её письмо в своей записной книжке почти два года: у меня не было песен, которые могли бы помочь словам. А потом они появились: «и тянется плач, и унять его нечем...» Тут я, наконец, взяла магнитофон и пошла к бывшей школьной его подруге.

-А в ночь на седьмое ноября – это был уже сорок третий год – мне сон приснился, будто открытку, которую написала, мне принесли обратно. И я от него перестала получать... Его мама мне говорит: «Лидочка, ты от Гореньки письмо получила?» Я говорю: «Нет, я не получила письмо, но разве вы не знаете?» Она отвечает: знаю, но я его жду.

А последнее его письмо мне тоже очень запомнилось. Он мне написал: «Может быть, я тебя люблю, я сам этого не знаю. Сейчас такое трудное время, а я начинаю больше и больше любить музыку, хоть лишаюсь слуха. С каждым днем я слышу меньше и меньше...»

До этого были просто товарищеские письма, а тут вот такое... Он никому не сказал «люблю», никого не поцеловал. Потом мне рассказали: его убили, а через три дня пришел приказ о его демобилизации. Могли бы вылечить, могли бы спасти... Он был артиллерист... ведь там держать глухого нельзя. Пришел приказ о демобилизации, а он уже погиб. И... строки из его письма я все время слышала, они меня не оставляли.

Мне соседка говорит: «В твоём возрасте ты хорошенько покушай и как следует выпишь. И всё пройдет». Мальчики погибли. И Георгий. Мы ведь не натанцевались... не напелись... Ничего эти мальчики не успели.

Я никогда не завидую - ни тряпкам, ни мебели. Но когда вижу: идёт семейная пожилая пара – завидую белой завистью.

ГРИГОРИЙ УДИЛОВ

За проволочной оградой, опершись на лопату, стоял на вскопанной грядке человек в смешной самодельной панаме и глядел, как наш «газик» пристраивается на стоянку к воротам его дома. Улица Трудовая, 33, поселок Верхнее Дуброво. Я представилась, назвала, как пароль, имя его однополчанина, давшего мне адрес, и переступила порог дома бывшего командира орудия Григория Яковлевича Удилова.

— Тогда, знаешь, как спешили. Оно шесть месяцев надо бы учиться — а там быстрее, быстрее, скорее на фронт, надо людей. Меня ведь спрашивали: куда ты желаешь — или на фронт, или в тылу здесь работать. Я говорю: куда пошлете, значит...

Семь раз был тяжело равен Удилов — в голову, в ноги, в грудь — и все равно возвращался на фронт.

— Наумов Александр Петрович — вот он меня спас. Вот немец, значит, пикирует на нас и бомбы опустил. Они летят, визжат... Упади куда-то бомба, да не так далеко от пушки. Пушку-то убрало воздухом — метров на 20, значит, с места. Что-то она две тонны, что ли, весом, пушка-то, да. А тут рядом штабель лесу — пушку-то убрало, а это все на меня. Ну меня и прижало. И вот слышу: по мне где-то кровь льется — просто так и булькает. Память не вышибло, а душит. Потом как-то головой пошевелил, и у меня земля-то просыпалась сюда, сверху-то, мне как вроде облегчило дыхание. А это Наумов Саша растаскал бревна-то, он здоровый парень, растаскал, узнал меня: Гриша, ты? — говорит. А я выговорить-то ничего не могу, у меня изо рта, из ушей кровь подалася. Он взял меня под мышку — и к санитарам, только притащил — опять налет... А соловьи как поют там! Они не считают, что война, люди погибают. Ой, как они там!.. Как мы из госпиталя шли... в новый полк шли из госпиталя, и вот остановились ночевать — тут деревушка такая небольшая — а соловьи заливаются, поют. Думаешь: вот птичка-то, она ничего не знает, а ты куда идешь и что будет завтра из тебя?.. Дома ребяташки, мать-старуха, жена, она техничкой работала, у нее трое иждивенцев на руках, а у ней тридцать рублей оклад был — ну что? Куда деваться-то? Ну ничего, всё пережили. Всё пережили. И не должны мы никому — ни живым, ни мёртвым. Всё, что с нас требовалось, — всё мы сделали.

Теперь уж многие ушли. Кудин умер, Четин... Упокой, Господи, их души. Я и сама скоро отправлюсь за ними. Может быть, снова встретимся?

А пока спасибо, что есть эти страницы.

Глава 2. Успеть рассказать...

МАША, МАШЕНЬКА...

Помню, как мы с матерью во время войны (она была геолог, таскала меня за собой по всему Уралу, отец погиб на фронте) приехали к маминому брату, дяде Сене. Как называлась та станция, где он жил в какой-то жуткой барачной комнате, я не помню. И почему-то не спросила об этом у матери за всю жизнь. Впрочем, и комната, и сам дядя Сеня, и вообще вся эта поездка - в тумане. Кроме одного резко отпечатавшегося случая. Оставшегося, скорее, не в памяти, а в сердце.

Почему-то мы с матерью шли одни на станцию - ночью по этому чужому поселку. И вдруг провалились в яму. Не помню подробности - как мы вылезали, но хорошо помню (и до сих пор в каких-то случаях, вроде бы внешне не похожих, - испытываю) то же чувство, как тогда, в той ночной яме. Описать это трудно. Вроде бы это не страх, скорее - какое-то ощущение тяжелой неотвратимости, одиночества. Обреченности?

Лет восьми-девяти отроду я попала в санаторий Патруши. Мама в командировке, но должна вот-вот приехать. И, конечно, ко мне - близится родительский день.

При санатории был сад. Ничего там особенного не росло - яблоньки-полудички да трава по пояс, цветы полевые. И вот мы с подружкой Олей решили сходить в этот сад, чтобы нарвать цветов к приезду наших мам. Идти в обход, через ворота, не хотелось, и мы пролезли в дыру. Таким же образом назад.

Кто-то из ребят увидел нас, и, когда мы появились с букетиками в своем корпусе, нас встретили следующим образом: «Воровки! Вы лазили в сад за яблочками!» Оскорбление было смертельное, несправедливость ужасающая... Кое-как дождавшись «мертвого часа», мы бежали с Олей из санатория. Я подговорила ее разыскать все того же дядю Сенью, царство ему небесное. Он жил на мельзаводе №3, неподалеку от Нижне-Исетска. Я представляла, что от нашего санатория это очень далеко, за тридевять земель (на самом деле оказалось 18 километров).

Бежали мы очень долго. Помню, что без конца запинаясь и крестились. Все-таки мы разыскали мельзавод №3 и явились к дяде Сене. Разъяснили, в чем дело, и он одобрил мой поступок: «Правильно, что не дала позорить свою фамилию».

Я вообще безумно любила жить у дяди Сени. В войну он усыновил троих детей и жил с ними и женой тетей Ниной в жутком распадающемся бараке на берегу запруженной Исети, в которую огромный город пускал без всякого стеснения всякую дрянь. Клецки этой дряни плавали целыми архипелагами, пивки так и кишели. А я там блаженно плавала летом. Ума не приложу, что привлекательного видела я во всем этом, но факт налицо: жизнь у дяди Сени была самым счастливым временем в моем детстве.

И тут я получила очередную порцию волюшки вольной: дядя Сеня устроил нас на сеновале, и мы впятером до одурения обсуждали наше приключение (трое его ребятшек и мы с Олей).

Однако нас все-таки разыскали, приехали из санатория. Помню состояние полной обреченности, горя отчаянного, когда мы поняли, что нас заберут назад. Не шевелясь, мы слушали, как за фанерной перегородкой барака дядю Сенью отчитывали за непедagogичный поступок, как он доказывал нашу правоту. Большой ребенок... Оказывается, все эти дни нас с овчарками искали в лесах, была поднята на ноги милиция. Счастье еще, что мама задержалась в командировке - и приехала, когда все уже было позади.

Единственное, чего добился дядя Сеня, - самому привезти нас в санаторий. Начальники уехали, и он сказал: «Делать нечего, они за вас отвечают, придется возвращаться. Поедем на лошади».

Он сходил на завод, взял лошадь, разложил на телеге сено и какие-то телогрейки, и мы тронулись в путь. Я очень хорошо помню, с какой внутренней силой мы с Олей всю дорогу пели «Сулико» («Я могла милой искать, сердце мне томила тоска...»). Это была любимая песня Сталина, а год был 1947 или 48-й, она часто звучала по радио, и мы знали все слова. Дядя Сеня слушал, и из глаз его капали слезы. Он ехал медленно и долго, но все-таки доехал и сдал нас с рук на руки.

А на другой день приехала мать и забрала домой. И через пару дней увезла с собой в «поле». За этим моим поступком стоит, наверное, гордыня. Она стоит по сей день - и что с ней делать? Каяться? Церковь учит терпеть, когда обижают...

Идем с матерью по лесной дороге, моя рука в ее руке, и я говорю: «Так бы и шла всю жизнь...» Упокой, Господи, ее душу. Отношения с ней впоследствии были очень сложные. Мы не могли вместе и не могли друг без друга. Когда мужу дали на работе двухкомнатную квартиру, мы прожили в ней один день - и вернулись к матери. Год она стояла пустая, пока мы не съехались...

Вспомнила вдруг, как меня крестили в нашей церквушке Иоанна Предтечи. Она единственная в городе уцелела после революционных бурь. Мать крестила меня в четыре года, когда я была обречена. У меня была дыра в легком, и врачи ничего, кроме поддувания с последующей отправкой на тот свет, придумать не могли. Потом увезла на два месяца в деревню, и я ожила. Так вот хорошо, прямо осязаемо помню сладкий (сладостный!) вкус чего-то, что мне дал священник с ложечки. Больше ничего не помню: ни купель, ни молитв - только вот этот миг. И очень хорошо помню, что дело тут не в сладкости, а именно в какой-то сладостности, каком-то томлении, омывшем душу. Оно бывает часто и сейчас - вот именно это чувство. Вдруг придет - и вспомнишь, как крестилась.

Я вспомнила вдруг: торчу в окне нашего барака и слышу неопишимо страшный, незнакомый крик. И вижу в тоннеле, который ведет в наш двор и просматривается из окна, ... мать. Это она кричит. В руках у нее ведро с водой, она идет с колонки. Что было потом и почему она кричала - не помню. Может быть, именно тогда пришла похоронка на отца.

Сегодня было событие, к которому я очень готовилась... и боялась. Вечером, засыпая, увидела мать - только лицо, крупно, как бы портрет. Он медленно двигался на меня, а укрупнившись - как-то деформировался, расплылся. В церкви мне было очень трудно, слезы лились сами, большого облегчения после причастия не получила, сознание греховности, может быть, даже усилилось.

Вспомнила: мы с матерью в больнице, у нее опухшие до бревен ноги, синие, в огромных язвах (в войну она сильно голодала, была дистрофия). Не могу сказать: синие-то отчего? То ли так болели, то ли лечили синим светом или кварцем. В общем, синий, нездешний свет...

Еще: лежим с матерью на железной кровати под сиротским одеялом, и мать рассказывает мне сказки. А сама засыпает, и несет какую-то ерунду. Я - в восторге, тычу ее и прошу: «Мама, побредь!» И она бредит уже нарочно, чтобы посмешить меня. Господи, упокой ее душу...

Однажды я чуть не сгорела. Мать закрыла печку и не заметила, как выпал уголек. Ушла на работу, меня оставила под замком с тряпичной куклой и тарелкой ненавистной манной каши. Эту тарелку, единственную в доме, я задвигала под шкаф - в надежде, что к маминому возвращению кашу съедят мыши. И так изо дня в день.

Уголек зашаял, комната наполнилась дымом. Я залезла под одеяло - чтоб не задохнуться. Не получив спасенья, вылезла и увидела, что в кухне разгорается славный костерок. Ладно, мать не успела вынести помой. Я навалилась на ведро и опрокинула на костерок. Если бы не это - через десять минут гореть бы фанерной перегородке и мне вместе с ней.

В нашем дворе три деревянных барака и один каменный трехэтажный дом. Это все там, все в той давно ушедшей жизни... Каменный дом был, по моим представлениям, примерно таким же оазисом благополучия и роскоши, как потом обкомовские партийные квартиры, а сейчас какой-нибудь буржуазный «евростиль». Во-первых, он был каменным. Во-вторых, там были подобия кухонь. В-третьих, подобия ванных комнат, хотя, насколько я помню, не действующих, так как все мы - и барачные, и каменные - ходили за угол на колонку.

В этом доме жила семья, в которой мать после пожара очень редко, но все же оставляла меня в безвыходных ситуациях. И вот однажды там случилось ЧП. В ванной, которую использовали три семьи (в общей сложности в квартире набиралось пятеро детей, и я, приходя, была шестой), кто-то съел сметану. Время военное, сметана - неслыханное лакомство... Мне пять лет, остальным детям чуть больше, чуть меньше. Почему-то подозрение пало на меня. Когда мать пришла за мной, ей так и заявили категорично: «Ваша Маша съела нашу сметану!» Это было сказано прямо над моей головой. Помню, как сглотнулась слюнка: вкусна, верно, эта самая сметана...

Молча, рука в руке, мы прошли через наши украшенные дровяниками дворы в свой барак. Мать затопила углем печь, и когда комната стала понемногу нагреваться, спросила: «Ты не ела?» - «Нет». Мать покачалась на табурете: «Маша, ты должна сказать, что ела. Нужно повиниться». Я заревела. Мать рассердилась: «Ты должна слушать, что тебе говорит мама». Я заревела громче. Мама сказала, сама размазывая по лицу слезы: «Я тебя очень прошу. Признайся. Так надо. Вырастешь - поймешь»...

На другой день она привела меня в ту «сметанную» квартиру. Не поднимая глаз, я во всем повинилась. Чего-то обещала сквозь туман сознания. Хозяева остались довольны своей прозорливостью, умением читать в душах людей.

Я выросла, и в самом деле кое-что поняла, как предвещала мать. Все, что понимала она про безысходность и безвыходность. А может быть, теперь и больше?

Это было совсем в другой жизни. В нашем бараке военная и послевоенная беднота жила одной семьей, и не мешали ей в этом ни длинные стылые коридоры (барак был двухэтажный), ни количество дверей, ни стопроцентная слышимость. Тайн друг от друга не имели. Если за одной дверью ревели - за другими либо молча сочувствовали, либо тут же шли утешать. Никто никого не осуждал - это я помню очень хорошо. Наверное, поэтому мать и не выгнала меня, когда я притащила Марсика.

Был сильный дождь. Щенок пытался реализовать свою находчивость в водосточной трубе. Еле держась на коротеньких лапках, он карабкался в железную дыру, из которой хлестала вода. Меня эта беспросветная младенческая глупость так растрогала, что я решила и, прижимая мокрый рахитичный комочек к груди, окаменела на пороге.

«Господи помилуй! Чем мы будем его кормить!» - сказала сердито мама, однако спешно начала заворачивать щенка в старое байковое одеялко. Я поняла, что нас теперь в нашей комнате номер семнадцать проживать будет трое.

Марсик оказался удивительной собакой. Единственным недостатком, ставящим под вопрос его необыкновенность, была сверхбдительность. Тем не менее, никто в бараке не называл его пустолайкой. Марсик гавкал, когда хотел - невзирая на лица. При коридорной сверхслышимости эта его черта была, мягко говоря, обременительна. Но соседи не бунтовали, и я понимаю теперь - почему. Из уважения к таланту.

Марсик потрясающе пел. Он любил Алябьева и Лякме. Все подозрения, что его талант есть не что иное, как рефлекторная реакция на высокие звуки, опровергались этими именами. Другие не волновали.

Из фортепьянных авторов он уважал Шопена. Особенно «Революционный этюд». Заслышав первые аккорды в черной настенной «тарелке», пес бежал за фанерную перегородку к матери «на кухню» и неостановимой скулежкой выжимал из нее слова: «Да, Марсик, это Шопен. «Революционный этюд». После этого он мчался назад к «тарелке», укладывался под ней, торжественно вытянув передние лапы, и начинал с глубокомысленным видом слушать Шопена.

Соседи ходили к нам, как в кино. «Марсик, дай лапку!», «Марсик, спой!» Он был прост, никогда не ломался. Махал своим кудреватым рыжим хвостом, доставшимся по линии предков-двортерьеров, и с радостью выполнял несложные просьбы барака.

Он прожил у нас несколько лет. Мать таскала нас за собой повсюду - во все командировки, во все геологические экспедиции. Отца убили в первый год войны, и она ни на минуту не расставалась с тем, что от него осталось - со мной. Марсик шел приложением ко мне.

Когда мы возвращались из очередного путешествия, постоянно простуженные, но какие-то неунывающие - барак на все голоса гудел: «Марсик приехал! Марсик, спой!»

Только прожив жизнь, можно оценить все это. Только прожив жизнь.

Болезнь человеку дается для приращенья силы? Ты болен телом – значит постоянно сопротивляешься болезни, крепишь свой дух. Помню, на кардиологической койке доктор держит мою руку. У меня дикий приступ стенокардии. Доктор покачивает головой, мерцающая бриллиантами: «Вы должны смириться с тем, что ваше сердце здоровым уже не будет, привыкайте к этой мысли». - «Ну уж нет!» - проносится где-то в сдавленной груди мгновенный протест. На все воля Божия. Разве может один человек знать, что суждено другому человеку через минуту? Через час? Через месяц?

Тому прогнозу уже девять лет. Одряхлел, иссох. Вчера иду по снежку - два, три... пять кварталов подряд. А ведь было время - за полчаса по стенке собственной комнаты проползала. Господь, слава Ему, не дает мне передышку. «Кого люблю, того обличаю и наказываю...» Рак теперь. Врач-онколог в обморок валится, глядя на мою опухоль (шучу... какой уж там обморок). Два года назад резать велели, говорили, что меня «еще можно спасти». Что такое - спасти? Это значит сначала выпотрошить, как курицу, а потом реанимировать радиоактивной пушкой и химической терапией - до полного выпадения волос и сдвига сознания. Так не согласна. Я хочу по-Божески. Как Ему будет угодно - так и стану помирать.

В той ушедшей жизни поселок Елизавет был чем-то далеким, куда долго добираются на грузовой машине. Геологическая экспедиция стояла у самого леса. Не очень далеко был - опять же двухэтажный - барак, где нам выделили комнату.

Мы быстро разложили вещички: на две подушки, сложенные горкой, легла кружевная накидушка, которую мать возила с собой. Это была семейная реликвия - клочок, вырванный из революционных бурь. Где применяла такие кружева моя бабушка, я не знаю. И мать не помнила. Может быть, это был кусочек штора, может, - часть белья. Может быть, незаконченное рукоделье. Наш дом был разворован перестройщиками семнадцатого года подчистую, дед Дмитрий умер от тифа, когда уехал в Сибирь из Екатеринбурга вместе с отступающими частями белой армии. Эвакуировал на двух телегах всю свою семью. Один его сын-гимназист тоже помер в Омске, там они и похоронены где-то, а моя двенадцатилетняя мать Елизавета, младший брат ее Леонид и бабушка Татьяна еле-еле вернулись домой в санитарном поезде, где служил знакомый врач. Мать долго ходила (лежала?) в гипсе - повредила позвоночник, потому что в товарном вагоне на нее обрушились верхние нары с людьми. Долго боролись со вшами и гнидами, которые тошнотворно плодились в вате и марле под гипсом. Это был 1920 год, шла гражданская война.

Вернувшись, долго жили с дядей Сеней, пока не сломали дом. Нужна была земельная площадь для войск ГПУ. Тогда уже платили денежную компенсацию в размере две с половиной тысячи рублей на человека. Моя бабушка Таня к тому времени померла. Дядя Лёня, Лёничик, купил тогда себе кожаную куртку и велосипед, а жил по общежитиям или у друзей... И Лиза, моя мать, стала бездомной. Недавно я нашла в ее сумке старый документ: «Форма №27. «Стройбюро» П.П. ОГПУ по Уралу. Служебная записка №31. Кому: наследникам Семёновым, Хохрякова, 34. 24 мая 1931г. От кого: прораба 5 группы. В дополнение к ... категорично ставлю Вас в известность, что с 25 мая с.г. на основании распоряжения Стройбюро ПП ОГПУ приступаю к строительству дивизиона ВО ОГПУ и начало работ с участка на коем находятся Ваши строения. А потому, благоволиите своевременно озаботиться об очищении жилых и не жилых строений, за всеми могущими для Вас справками и недоразумениями прошу обращаться в Стройбюро Полномочного Представительства ОГПУ. Производит. работ Стройбюро ПП ОГПУ Сл-нин». Везде так и вылезает 25 мая, день моего рождения. И никакого хамства: благоволиите озаботиться об очищении... Железная поступь батальонов революции.

И вот после всех этих землетрясений остался реликтовый кружевной клочок.

Мать оставила меня в бараке, приказав закончить уборку, а затем явиться в столовую, которая тут же, в центре. «К нам в экспедицию приехали гости из Москвы, - сказала она. - Займи столик».

Мне было восемь лет. Я была очень ответственным ребенком и часто принимала самостоятельные решения. К готовым же заданиям относилась творчески.

Мама ушла, а я осталась, оглушенная этим известием, - гости из Москвы!! Что еще можно для них

сделать, кроме занятого столика? Мой взгляд упал на бабушкины кружева. В предвкушении похвалы я натянула соломенную шляпку и нарылась накидушкой. Получилась настоящая вуаль. Московские гости не сразу поймут, кто перед ними - девочка Маша с битыми треугольными коленками или представительница знаменитого уральского рода.

Окостенев спиною, вышагивая, как цапля, боясь дуновения ветерка, я двинулась по зеленой, устланной конотопом дорожке, - к столовой.

Дальше все было, как во сне. Сидя за столиком в своем великосветском сооружении, я увидела ужас на мамином лице. Никак не связав его с моим видом, церемонно протянула руку гостям - двум милостивым женщинам и широколицему коренастому мужчине. Царственным жестом пригласила садиться.

Хорошо помню горькое недоумение, когда почувствовала материн подтык в бок: «Сними сейчас же эту тряпку!» Я не понимала предательства. Почему единственная ценность нашего барачного быта названа вдруг тряпкой? Представительница знатного рода вышла из повиновения, забыв о прозаической судьбе Маши с битыми коленками. Не дожидая кусок, продолжая держать спину перпендикулярно, я встала и сообщила, что меня ждет экипаж.

Как я выплыла из столовой, как рассталась со своим украшением - не помню. Помню только, что нагоняй потом был очень сильный.

С той поры не участвую в официальных приемах.

(Трудовая книжка свидетельствует, что Елизавета Дмитриевна работала в Елизаветинской геологоразведочной партии треста «Уралметаллпромразведка» с января по декабрь 1950 года. То есть Маше тогда исполнилось 11 лет. Тогда же, 27 мая, мать защитила диссертацию и стала кандидатом геолого-минералогических наук.

Потом, с декабря 50-го по апрель 51-го мать работала в Кировградской партии, затем (до мая 52-го) - в Учалинской партии, позднее (до июля 54-го) - в Уфалейской партии. Переводили в основном для «петрографической обработки геологических материалов». Машу, конечно, везде таскала за собой...)

АВТОБИОГРАФИЯ Елизаветы Дмитриевны Семеновой

Родилась 9 апреля 1907 года в г. Екатеринбурге в семье служащего. Отец был приписан к крестьянам села Шарташ Березовской волости, но никогда не крестьянствовал, жил в Екатеринбурге и работал агентом страхового общества «Якорь» до 1919 года. В 1919 году отец вместе с семьей эвакуировался с белыми, но у белых не служил. В 1920 году умер в Омске. Семья вернулась в Екатеринбург. С 1920 по 1929 год я находилась на иждивении брата Семена, который работает с 1920 года по настоящее время в Свердловске. Никогда не судился. В белой армии служил мобилизованным. На иждивении брата находились еще моя мать и младший брат Леонид. Мать занималась домохозяйством, умерла в 1927 году. Младший брат закончил геологоразведочный техникум и в настоящее время работает техником-геологом.

Мать имела наследственный дом от своей матери Ксении Михайловны Половниковой - по улице Хохрякова 34. После смерти матери дом перешел к нам, в нем мы жили до 1931 года. В 1931 году он был снесен стройконторой ОГПУ, а нам, наследникам, выдана денежная компенсация.

В 1920 – 1929 гг. я закончила школу второй ступени и музыкальный техникум. С 1929 по 1932 год работала пианисткой и коллектором. В 1932 году поступила в Свердловский горный институт, который закончила в 1938 году.

В 1933 году в институте получила выговор за сокрытие эвакуации отца. В 1938 году по окончании института была направлена Наркомтяжпромом в комбинат «Колбаново» (Восточный Казахстан) в качестве прораба. Проработав на Алтае три летних месяца, я уволилась по собственному желанию, так как за время своего пребывания в комбинате я вышла замуж и вместе с мужем должна была поехать на Урал.

Семенова. 13 ноября 1938 г.

Добавление. Родственников за границей не имею. Муж Кирилл Иванович Макаров - студент Московского геологоразведочного института. В партиях никогда не была, не судилась. При распределении путевок Наркомтяжпром был поставлен в известность о том, что я получила выговор за сокрытие социального прошлого.

МУЗЫКА, или ОБРАЗЦЫ СПРАВОК эпохи раннего СОЦИАЛИЗМА

Уральская областная контора ВГО «Заготзерно». 27.01. 1933г.

СПРАВКА

Дана сия гр-ке Елизавете Дмитриевне Семеновой в том, что ее брат Семен Дмитр. Семенов действительно работает в хлебозаготовительных организациях с 1922 года по настоящий день. Тов. Семенов в настоящий момент работает Экономистом Сектора Заготовок и состоит в ударной бригаде. За время своей работы тов. Семенов был несколько раз премирован. Настоящая справка дана на предмет представления во ВГУЗ (высшее техническое учебное заведение. - Б.)

ПОДПИСИ: местком, председатель бюро ИТС, начальник отдела кадров, бригадир ударной бригады сектора заготовок.

Настоящим удостоверяю, что я, нижеподписавшаяся, работала одновременно с тов. Елизаветой Дмитриевной Семеновой в Уральск. обл. статист. управлении с 23.02. 1927 по 15.09.1927 г. Л.Рожкова, ул.Ленина, 13а, кв.33. 21. 03. 39г.

СПРАВКА

Дана тов. Семеновой в том, что она действительно работала в качестве подменной пианистки в Объединении кинопредприятий (г. Свердловск) с 15 декабря 1929 г. по 1 марта 1930 г., и с 15 мая 1930 г. по 1 сентября 1930 г. Свидетели: быв. зам. упр. УКП Л. Тальновский. Подпись тов. Тальновского заверяю (печать, подпись).

Уральское районное геологоразведочное управление. Дегтярская геологоразведочная партия Свердловской базы. 10 марта 1932 г. №53.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Выдано настоящее тов. Семеновой в том, что она работала в Дегтярской геологоразведочной партии с 6 октября 1931 года по 1 марта 1932 года в качестве младшего коллектора. Поручаемую ей работу т. Семенова выполняла добросовестно и аккуратно, достаточно быстро усваивала сущность и технику выполнения геолого-документационных работ. Нач-к партии: И.Соболев.

Свердловский областной трест по кинофикации при ОБЛИСПОЛКОМЕ, звуковой кинотеатр МЮД. 15 января 1939 г. №1333.

СПРАВКА

Дана настоящая справка тов. Семеновой в том, что она работала в кт МЮД в должности пианистки с октября 1930 года по апрель м-ц 1935 года и уволилась ввиду озвучания кинотеатра. Подпись - директор...

РСФСР, Свердловский областной исполком СОВЕТА Рабоч.,Крестьянск. и Красноарм. Депутатов. Комитет по радиовещанию при президиуме Свердловского исполкома С. Р. К. и К. Д., 29.01. 1939 г. Свердловск, ул.8 марта 26. Телефон Д1-21-71.

СПРАВКА

Дана настоящая Семеновой Е.Д. в том, что она действительно работала в Свердловском областном радиокомитете в должности пианистки с 21.10.1932г. по 1 февраля 1933 г. и с 22 июня 34 г. по 16 августа 1934 г. ПОДПИСИ: управделами, секретарь.

СПРАВКА

Отдел искусств Свердловского облисполкома, Свердловская детская музыкальная школа, 17 января 1939 г. Площадь Народной Мести.

Дана настоящая Семеновой Е.Д. в том, что она работала в Свердл. дет. муз. школе педагогом по классу фортепиано с 13 октября 1935 г. Ввиду невозможности использования в ДМШ от работы освобождается с 15 февраля 1936 года, что и удостоверяется. Директор школы: О. Бернацкая.

Лет двадцать, до самой смерти, в комнате Елизаветы Дмитриевны стоял шредеровский черный рояль. Маша его потом подарила ребятишкам детского дома. Даже я научился играть на нем то, что в две руки играл Антоша:

На зеленом лугу, их-вох!
Раз нашел я дуду, их-вох!
То не дудка была, их-вох!
Веселуха была, их-вох!

Играл, правда, одним пальцем, но все-таки... А Елизавета Дмитриевна мечтала, что «на фортепьянах» будут играть ее внуки - Антон и Юлия. По ее просьбе я как-то целую зиму водил Антошу домой к учительнице. Или только осень? Не помню, с тех пор прошло тридцать с лишним лет... Помню лишь, как бродил по двору, ожидая конца урока. Мог бы, конечно, молиться, но голова тогда была совсем пустая - даже и Бога не знающая и молитв не ведающая. Разочарованная голова, потерявшая очарование. Бога, мол, нет, а Государство измельчало. Осталось музыкальное очарование. Вселенская симфония, музыка сфер... Над головой осенняя листва огромных тополей... А потому учебный антонов час длился томительно долго.

Юля ходила в музыкальную школу - на горку возле Вознесенской церкви. Тогда это был краеведческий музей с чучелами. Или чучела стояли в соборе святого благоверного Александра Невского? Не помню... Но очень скоро ей надоело сольфеджио. Правда, нотная грамота ей все-таки пригодилась в отрочестве - когда училась играть на гитаре. Мы жили тогда на Лермонтова, под Вознесенской горкой, где стоял ипатьевский дом... Почему-то в музей мы не ходили ни разу. Играли с ней в большом парке при харитоновском доме, ходили по мостику на остров с разрушенной беседкой. В сквере возле куда-то шагающих металлических комсо-

мольцев тогда стояли еще и каменные медведжата. Юлька с ними разговаривала и, наверное, кормила травой, как сейчас кормит в соседнем дворе деревянного медведя и деревянного же полуразбитого крокодила ее дочка (а моя внучка) Маша. Потом на Вознесенской горке стали строить огромный административный параллелепипед газопроводного управления Бухара-Урал, и медведи исчезли. Недавно прочитал, что они восстали из пепла и появились на южной окраине города, возле Ботанического сада.

Если бы нержавеющие комсомолы могли перейти через дорогу, то обязательно уперлись бы в дом Ипатьева, где их предки-интернационалисты стреляли и кололи штыками русского царя и его детей. Там одно время тоже был музей, даже содержались в плену мощи праведного Симеона Верхотурского, смиреннейшего русского святого (даже имя его было забыто и явлено людям в сонных видениях только лет через пятьдесят после успенья, когда гроб показался над землей и стали происходить исцеления)... Лебяжий пух пустили по ветру еще в 20-е годы... Белый лебяжий пух из раки праведника.

Не знаю, что здесь, в этом советском музее, было основной экспозиции. Может быть, чучела палачей в величественных позах? Восковые фигуры? Но в конце 60-х железные двери подвала были крепко заперты, теперь уж стало немодно бахвалиться истреблением детей.

Впрочем... речь шла о музыке. Елизавета Дмитриевна самозабвенно пела русские романсы, голос был удивительный: «И прошлое кажется сном...» Она пела: «Не кажется...». Она не хотела превращать прошлое в сон. «Мне некуда больше спешить, мне некого больше любить...» Она всю жизнь помнила своего Кирилла, погибшего в феврале 42-го. Маше дурного слова о нем никогда не сказала. Нет, не сказала. Маша любила его...

Пела, конечно, сидя за роялем. Может, инфаркт бы не случился, если бы... Пришла поздравить с днем рождения гостя - ставшая взрослой соседка из давно исчезнувшего барака. Дочь давно умершего летчика... Эх, была — не была! Хотя и после гипертонического криза, но как без фортепьяно. Форте!!! Спела романс... Потом помиралась в больнице скорой помощи на Большакова, которую недавно почему-то упразднили в ходе перманентной революции. Это рядом с Зеленой рощей, которая была кладбищем - а сейчас здесь бегают трусой, гоняют футбол и творят всевозможные мерзости. Рядом с музеем, который был когда-то огромным собором Александра Невского и в притвор которого смотрела пушка зеленого музейного танка Т-34. Рядом с уничтоженными могилами её деда Семёна Романовича Половникова и бабушки Ксении Михайловны... Где мы в последний раз соборовались с Машей. Где она в последний раз ходила по храму и прикладывалась к образам... А на втором этаже там лежали взятые в плен иконы. На стеллажах. Может, когда-нибудь их вернут Церкви, как вернули мощи святых? Все посягающие на церковные святыни прокляты на древних соборах...

В 50-х годах, по просьбам сослуживцев, баба Лиза иногда давала уроки музыки. Сиживал там за роялем и Стасик Иг-в - потом, через четверть века, читавший лекции внучке Елизаветы в том самом горном институте. В том самом, который закончила она сама в 38 году двадцатого столетия. Он невозмутимо сидел за роялем... «Стаська, открой рот - закрой глаза!» Это Маша, будущая моя жена, дочка Елизаветы, которой нет уже здесь, на этом развеселом свете. Нет ни Елизаветы, ни Марии... Стасик невозмутимо открывает рот, куда влетает ложка с солью, невозмутимо встает, выплевывает соль в раковину и продолжает играть гаммы. Тридцать лет спустя внучка Елизаветы на геологической практике в Сысерти принесет ему розовый минерал. Ах, студенты... Не могут определить... Так-так... Ми-не-рал! Пэсчаник... Оччень интересно! И к концу дня становится ясно: «Бэ-тон!» Почему-то замешан на розовом песке... На розовом песке...

Как правило, песок серый. А тут исключение из правил. Мария сама была исключением из правил. Мария, дочка Елизаветы и мать моей Юльки, студентки факультета геофизики. Хотела стать геологом, как бабушка, да я отговорил.

Мария тоже училась музыке и тоже недоучилась. Брала домашние уроки в доме супротив кинотеатра «Салют». Пришли времена недоучек. Легкие времена развитого социализма, когда можно делать дела кое-как. Уже не висели над головой голод и смерть. Помню: она садилась к расстроенному роялю (после смерти Елизаветы его уже не настраивали)... Садилась к роялю и: — «Пошел купаться Уверлей (Уверлей!). Оссоставил дома Доротею...» Впрочем, времена тоже были по-своему тяжелые. Если пытаться жить честно, то любые времена - тяжелые.

Что же касается музыки... Если Бога нет, то всё позволено, в том числе - услаждение музыкой. Годится любой наркотик, чтобы забыться и уснуть. Попса, Бетховен, марихуана... Эстетический гуманизм. Совпадение добра и красоты. Какая, мол, разница? Конечно, Бетховен благороднее. Лидеры красного и коричневого террора и даже комендант Освенцима упивались классической и всякой другой музыкой. Так ли? Уж чересчур прямолинейно...

Лиза, кажется, верила в Бога, у нее даже была бумажная маленькая икона Богородицы. Но в церковь не ходила, а только в филармонию. Иногда с внуками в консерваторию на бесплатные концерты. Впрочем, раз в год она все-таки появлялась в церкви, чтобы поставить свечу. В свой собственный день рождения она шла к могиле матери, а потом - в храм Иоанна Предтечи. Не знаю, молилась ли она там или просто ставила свечу. Она пела романсы и музицировала, но музыкой не спасти душу? Душа буйствовала, особенно под старость. Груз, наверное, был непосильный. Столько лет одиночества...

Ах, кто бы взял за руку, кто бы поставил нас в храме... Кто бы отпел нас и отчитал. Однако... Насильно мил не будешь. Не вязать же нас по рукам и ногам. Не складывать же поленицей в храме. Мы будем орать и буйствовать, так что придется еще и кляп изобрести. Одержимые... Некоторые предлагают нас в таком виде и в рай отнести. В ад, мол, после телесной смерти тащить негуманно. Так и будем лежать в раю поленицей, дико вращая глазами. У кого ад в душе, тому и рай становится геенной огненной.

Вскоре после успения Марии мы с Юлей пошли в храм и заказали 10-летнее поминовение Елизаветы. До 2004 года - на деньги, которые остались после похорон Маши. Вечная память... Прости нас, Господи. Прости Бориса, Марию и Елизавету. Ах, как она любила резаться со мной в шахматы! Сто раз переаживала, чуть не на десять ходов возвращала партию... Я, правда, ей не перечил. Одиннадцать лет мы с ней развлекались игрой. С перерывами на размолвки. Я с ней, конечно, никогда не ругался, просто помалкивал, молчал. В 69-м году Мария подарила мне шахматы на день рождения.

Неужели мне было когда-то 28 лет? В 69-м Маше удалили кисту, я навесил её в посленаркозном бреду, но она меня выгнала (лежат, мол, бабы после операции, тебя стесняются), а в 70-м вырубил костную опухоль мне. Память о йеменской Сане. Смерть ходила вокруг, но я ее не видел... Недавно нашел в старых бумагах у матери свою давнюю записку из больницы: «Мама! Я жив, здоров и невредим. После операции слегка подташнивало. Подремал, поел супу, пюре с мясом и сейчас — как огурчик. Борис».

Тошнило и во время операции; врач посоветовал дышать глубоко, чтобы прошла тошнота. Надо было убрать осколки костей из лобной пазухи (опухоль вырубали зубилом — голова подпрыгивала), но отказал прибор, с помощью которого промывали рану. Хирург стал лить какой-то раствор просто так — благо, пазуха хорошо сообщалась с носом, всё вытекло. Думаю, прибор отказал из-за моей ссоры с операционной сестрой — по поводу открытой форточки. Врач сказал: никогда не отказывал... Забыл его имя. Господи, помяни его, помоги ему, упокой его душу. Он уже тогда был старым...

Мария ворвалась тогда ко мне в палату, разметав все преграды... В палаты там посетителей не пускали. Посидела пять минут, по голове погладила... Хирургическое отделение располагалось на Эльмаше, недалеко от трамвайной остановки. Отец с матерью тоже приезжали. Отец, кажется, тогда поскользнулся и упал на улице. Он был грузный мужик. Я их принимал в вестибюле — с опухшим и синим лицом. А на брови, кажется, был валик. Так искусно зашил хирург, что ничего не видно. Только лоб онемел с одной стороны, потому что пришлось перерезать нерв. А я спрашивал: чувствительность восстановится? Молодость... Кажется, что всё можно восстановить. Что всё можно исправить, поправить, сделать, как было раньше.

Всё прошло. Осталась песенка на клочке бумаги... старая песенка... Маша ее воспроизвела — ту песенку, которую когда-то напевала мать:

Мой Лизочек так уж мал, так уж мал,
что из крыльев комаришки
сделал он себе штанишки — ...
и летал... (Летал? Не помню... У Маши нет этой строки.)
Что из грецкого ореха
сделал стул, чтоб слушать эхо —
и кричал...
Что из листика сирени
сделал зонтик он для тени —
и гулял...
Что надувши одуванчик
заказал себе диванчик —
тут и спал...
Тут и спал... тут и спал...

Это Аксаков... Наверное, Марию во сне вижу я каждую ночь, только не всегда помню сон... В последний раз я сел на кровать в нашем кашинском деревенском доме... в рубашке было прохладно... Маша сидела на лавке возле стола, говорит: накинь чего-нибудь... И мы с ней вместе отправились за пиджаком... Ей было не лень отправиться за пиджаком, чтобы согреть меня в моем сне.

Что же касается музыки... «Музыкальные звуки, возбуждая особым образом душу человека, способны приводить ее в некое возвышенное и приятное расположение, напоминающее райское блаженное состояние и в какой-то мере восполняющее его отсутствие, на краткое время позволяя забыть ей о тяжелых заботах мира. Таким образом, музыка, являющаяся неким заменителем или эрзацем нетленной райской пищи, могла возникнуть и стать необходимой только в результате утраты человеком райского блаженства вообще и способности слышания пения ангелов в частности.

Естественно, что столь противоположные явления, как богослужбное пение и музыка, не могут иметь единой истории и развиваются отдельными, самостоятельными путями, то соприкасаясь друг с другом, то расходясь и существуя независимо один от другого».

Наши предки Сиф и Каин... Авель-то был убит. «Путь сифитов и путь каинитов — это разные реакции человеческого сознания на грехопадение и изгнание из рая. Желание вновь обрести утраченное блаженное райское состояние стало основным и всепоглощающим желанием всего человеческого существа, однако практическое осуществление этого желания было разным. Сифиты пошли по пути призвания имени Господа, то есть по пути попытки личного примирения с Богом и покаяния перед Ним в надежде получить когда-нибудь прощение и возвращение утраченного состояния.

Каиниты пошли окольным путем и попытались «воссоздать» само райское блаженное состояние земными средствами, «устроиться на земле без Бога», следуя примеру своего прародителя Каина, который после убийства Авеля «пошел от лица Господня», построил первый город и заложил основание материалистической цивилизации.

...Тишина души, или особое душевное молчание, есть начало богослужебного пения.

...Возбуждение бестелесного, душевного начала с помощью начала материального и с помощью физических усилий роднит музыкальную стихию со стихией наркотических опьяняющих веществ, ибо и там и здесь душа возбуждается различными физическими действиями и образованиями. С особой силой это единство проявляется в древнеиндийском культе Сомы и в древнегреческом культе Вакха-Бахуса-Диониса, в которых пение, танец и опьянение являются необходимыми составляющими состояния экстаза. Душа как бы опьяняется музыкальными звуками и в этом опьянении получает некие «сверхсилы».

...В истории есть общая тенденция к размыванию богослужебного пения музыкой, что связано со слабостью человеческой природы и подверженностью ее «зовам плоти» и «зовам мира сего».

После того как «открылась дверь» для индивидуального композиторского творчества, богослужебное пение сделалось открытым для различных новаций и изменений. Встав на путь постоянной смены различных школ, направлений и стилей, оно стало определяться не каноном, освященным Церковью, но полетом фантазии того или иного композитора.

...Все великие композиторы Запада: Бах, Моцарт, Бетховен, Верди — писали произведения для Церкви, но произведения эти ничем, кроме богослужебного текста, уже не отличались от их светских сочинений, что позволяет говорить о том, что с ХУІІ века богослужебное пение на Западе вообще прекращает свое существование, уступая место некоему эрзацу — церковной музыке, написанной по современным светским образцам композиторами, преследующими свои личные творческие цели.

...Современное состояние музыки (рок-н-ролл?) есть логическое продолжение единого музыкального исторического процесса, уводящего сознание все дальше и дальше от Церкви. «Современная музыка» и «классическая музыка» есть лишь различные стадии этого процесса, в котором каждая из исторических стадий удаляет сознание от Церкви и несет за это равную ответственность со всеми другими стадиями» (В.И.Мартынов. История богослужебного пения. М., 1994).

Есть о чем подумать? Музыка... В так называемой классической музыке много изнаночных элементов... Что это такое? А вот если шубу вывернуть мехом наружу... Так изображали во время игрищ нечистую силу. Вот эта операция, вот этот выворот наизнанку называется так — инверсия. Если есть две стороны явления (лицо и изнанка), то его нормальное состояние — когда в «числителе», на главной позиции, располагается лицо, а в «знаменателе» — изнанка. Однако враг рода человеческого все время пытается любое явление мира сего вывернуть, подвергнуть инверсии, поменять местами лицо и изнанку, числитель и знаменатель. Если Бог ставит, например, в числитель душу и дух, а в знаменатель — тело, то сатана все время пытается вывернуть соотношение. Пытается поставить на главную позицию плоть со всеми ее чрезмерными претензиями. А в музыке композитор использует инверсию вполне сознательно. О чем и пишут умные люди:

«Ритм, обращенный во времени, звучащий от конца к началу, в музыкальной литературе принято называть инверсией, или обращением, исходного ритма. ...Обращения мелодий подразделяются на два типа: зеркальное отражение и инверсию. ...Инверсию мелодии можно подвергнуть отражению относительно горизонтальной зеркальной оси, но можно поступить и иначе: сначала построить зеркальное отражение исходной мелодии, а затем его обращение. Результат в обоих случаях получится один и тот же. Полученная вариация исходной мелодии называется отражением инверсии или инверсией отражения».

Построение разнообразных отражений мелодии было излюбленным РАЗВЛЕЧЕНИЕМ композиторов прошлого. Полученные вариации (а различные отражения в определенном смысле можно считать вариациями исходной мелодии) в свою очередь служили исходной темой для последующих вариаций. Чтобы написать мелодию, которая не только прекрасно звучала бы сама, но и оставалась бы эстетически привлекательной при зеркальном отражении и инверсии или даже допускала художественно полноценное исполнение на два голоса, один из которых вел бы исходную мелодию, а другой — ее инверсию, композитор должен был обладать поистине виртуозной техникой. Наивысшего расцвета это искусство достигло в творчестве Баха. Слушая его «Музыкальное приношение», «Искусство фуги» или «Хорошо темперированный клавир», трудно поверить, что эта великолепная музыка написана по столь сложным «правилам игры».

Искусство построения симметричных мелодий не было предано забвению и композиторами последующих эпох. Множество примеров тому мы находим в современной музыке» (Б.Варга, Ю.Димень, Э.Лопариц. Язык, музыка, математика).

Православное богослужебное пение... Да, конечно, это Небо, однако небо — на земле. Но тут я должен всё-таки воздать должное высокой классике. И даже высокой песенной культуре. «Земля — юдоль изгнания, юдоль непрекращающегося беспорядка и смятения, юдоль срочного страдальческого пребывания существ, утративших свое первобытное достоинство и жилище, утративших здравый смысл». Это св. Игнатий Брянчанинов — «Слово о смерти». Великая классическая музыка — это, наверное, и есть наша трагическая Земля, исполненная страданий и скорби. А уж рок-н-ролл, конечно, — подземелье. Если земля забывает про Небо, то подземелье получает власть на земле, вылезает наружу, становится преисподней. Защита земле — наше Небо, наша Церковь с её богослужебным пением, с её исцеляющими душу таинствами. И литературная наша речь погибнет без церковно-славянского богослужебного языка — станет жаргоном. А без Церкви... Без Церкви и сама земная трагедия становится бессмысленной. Зачем страдаем, если в конце концов не спасаем душу, очистившись страданиями? Если земная трагедия нелепа и бессмысленна, то единственный путь на земле — отдать преисподней комедии, где всё позволено — вплоть до растления души.

Так что живая структура здесь такова (если говорить на языке греческой античности): МИСТЕРИЯ и ТРАГЕДИЯ/комедия. Здесь комедия в знаменателе, в подземелье, то есть на своём месте. Но подземелье

становится преисподней, когда надмеается и вылезает в числитель, на главную позицию. Это ж понятно: даже и в цирке клоун не может быть главной фигурой, он лишь вспомогательный элемент при трагически-прекрасной, смертельно-опасной воздушной акробатике. Он здесь нужен в силу нашей немощи – чтоб нам не задохнуться на трагически-высокой ноте.

Общество умирает, когда властителем его когда-то высоких дум становится эстрадный клоун, трикстер, забывший своё место. Мы все тогда становимся духовно мертвыми, только не знаем об этом. В православных церковных Таинствах бьют источник живой воды, а мы не знаем об этом. И знать не хотим. Лишь воцерковлённые люди могли создать высокую классику. И слушать её – тоже. А мы... Пьем мёртвую воду мира сего... Пепси-колу и рок-н-ролл. «Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, и сам хозяин не знает, где лежит она. Эта Церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся со своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с Неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, ... — и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!»

Это Гоголь написал полтора столетия назад... Гоголь, которого Белинский за эти слова изругал чуть не матерно. И это «Письмо Белинского к Гоголю» запоем читала и почитала российская интеллигенция. Это, конечно, симптом. Симптом страшной болезни. Красная сыпь. В конце XIX века почтенные мужи Екатеринбурга основали публичную городскую библиотеку и нарекли ее именем неистового Виссариона. Сами на головы свои призвали раскаленные угли... Сыпной тиф... Подвалы чрезвычайки...

Мы всё время забываем: оригинальные идеи Ивана Карамазова реализует его брат Смердяков.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. Воспоминания Леонида Дмитриевича Семенова (28.05.1912-10.03.1995 гг.), написанные по просьбе его племянницы Марии Кирилловны в мае 1986 года

Мои дед и бабушка, со слов матери, были беглые крепостные из Вятской губернии. Дед Семен Романович Половников помер еще до моего появления на свет, а бабушка Ксения Михайловна - когда мне было шесть или восемь лет, и я очень плохо ее помню. Моя мать была приемышем из очень бедной семьи, они ее удочерили, поскольку своих детей не было.

По словам матери, бабушка была большая мастерица выпекать вкусный хлеб и готовить хороший квас с изюмом, что помогло ей скопить небольшие деньги и вместе с дедом организовать бакалейную торговлю. Дед Семен тоже был мастер на все руки - производил всевозможные латунные детали для посуды, оловянные ложечки для ушей и прочее. Очевидно, его ремесло было доходным, и они при очень экономной жизни скопили небольшой капитал. В конце концов дед стал купцом первой гильдии. Он похоронен в ограде монастыря около собора Александра Невского, где сейчас краеведческий музей. Бабушка упокоилась рядом в хорошей оградке с памятником, но после революции кладбище ликвидировали. Сейчас на этом месте просторный двор военного городка.

Мать говорила, что дед и бабушка были очень набожные люди и часто ходили молиться в собор женского монастыря. Причем на месте нынешнего стадиона «Юность» было такое болото, что они ходили по сляням. Рано утром они там часто поднимали диких уток, и кругом стоял крик лягушек.

Дед был заядлый охотник и в свободное время ходил с ружьем на Плешивую горку, где была «магнитная и метеорологическая обсерватория». В те давние времена (в девятнадцатом столетии) около этой горы обитало множество косуль, рябчиков, глухарей, косачей и т.д.

Свои капиталы дед израсходовал на покупку четырех домов, два из которых были каменные двухэтажные: один на углу Покровского проспекта и улицы Тихвинской (сейчас это улицы имени революционера Малышева и революционного матроса Хохрякова, там надстроили этажи и разместили какие-то магазины, книжное издательство и журнал «Урал». - Борис.), а другой рядом по улице Тихвинской, он стоит до сих пор. Эти дома дед отдал в приданое матери - из расчета, что угловой она сдаст в аренду под гостиницу, а в другом будет жить с семьей. Для себя дед и бабушка построили два деревянных дома напротив: №34 и 36. Каменные дома отобрали после революции, а в доме №34 поселились мы с матерью. Там еще были два небольших флигеля и бывшая лавка, заселенные квартирантами. А во втором деревянном доме в 20-е годы поселился после женитьбы мой старший брат Николай.

В начале 30-х годов мы все развеялись по чужим углам, а твоя мать, Маша, оказалась в 1939 году вместе с тобой в бараке по улице Сакко-и-Ванцетти, рядом с Зеленой рощей. Раньше улица называлась Усольцевская, ее заселяли в основном татары и крупные татарские купцы - такие, как Агафуровы, которые имели магазины по всей России. Для молений они построили мечеть.

Улица, где мы жили до революции, называлась Тихвинская в честь Ново-Тихвинского женского монастыря. На этой улице жили в том числе и евреи, которые иногда ходили в молельню, стоявшую на месте нынешней школы №5. Она однажды сгорела, и в ее остовах наш бывший сосед Мокрушин организовал кузницу, в которой умер по неизвестной причине, а его труп сильно поглотили крысы. Их было там полным-полно. Сын Мокрушина сейчас жив, но уже очень стар. Он всю жизнь занимался фотографией, снимая Екатеринбург с дореволюционного времени. Этих фотографий у него тысячи, большой стеной шкаф весь забит альбомами.

Жена его увлечена сбором каслинского литья. Когда я случайно был у них дома, то был поражен изобилием каслинских барельефов и статуэток.

Возле дома №36 был хороший сад-огород, где мы сажали овощи и даже запасали их на зиму. Там была небольшая березовая аллея, две сиреневые аллеи, а в центре - маленькая беседка, окруженная плотным кольцом акаций.

Соседями справа от нас были очень зажиточные евреи, у которых была крупная торговля мясом на базаре и еще пекарня, где наемные рабочие пекли крендели и сушки. В доме слева был постоянный двор, хозяйка которого вышла замуж за попа-расстригу. Изменив Богу, он работал в угрозыске, сильно пил и при этом бил жену. Иногда открывал стрельбу из нагана по картинам и фотографиям, которые висели у них в гостиной. У них был сын Сергей, мой ровесник, который прибегал ко мне, поскольку отец во хмелю грозился застрелить их с матерью.

Летом, когда приезжали крестьяне с продуктами для базара, мы с Сергеем просили у них лошадей, чтобы съездить на Исеть к «сплавному мосту» - напоить лошадей, искупать их, а потом промчаться от реки к дому. Нас набиралось человек восемь-десять, и мы устраивали гонки до постоянного двора.

Дружил я и с другими ребятами на нашей улице. Они были евреи, учились вместе со мной в школе и техникуме. Многих война не вернула домой. Мирка Гандельсман, Оська Линович жили недалеко от нас, мы повседневно бегали друг к другу - поиграть в перышки или на марки.

Улица Малышева, где вы сейчас, Маша, живете, называлась раньше Покровский проспект. На пересечении его с улицей Уктусской стояли две церкви: Большой и Малый Златоуст. В Большом Златоусте крестили всех нас. Когда я пошел в школу и мне понадобилась метрическая выписка из церковной книги, то там я значился уроженцем села Шарташ Березовской волости Екатеринбургского уезда. Это отец мой Дмитрий Андреевич, приехав на Урал, приписался к крестьянскому сословию. Большой Златоуст стоял на месте нынешнего памятника революционеру Малышеву, а Малый Златоуст - на месте фонтана у комбината «Рубин». На колокольне Большого Златоуста висел огромный колокол, язык которого весил одну тонну. Вместе с колоколом он был отлит из серебра и бронзы, а раскачивали его два звонаря - и звон был слышен за двадцать километров.

Улица Радищева именовалась Отрясихинская, а попросту - Отрясиха. В дождь она была малопроезжая, порой там застревали телеги, надрывались лошади, везущие груз. Улица Вайнера именовалась Успенская, а в шутку ее называли Лягушка, потому что она подходила к болоту, через которое были проложены сани к монастырю. Улица Куйбышева именовалась Сибирским проспектом, она заканчивалась знаменитым Сибирским трактом. Вот такова картина района, где обитало наше семейство. А сейчас перехожу к биографиям.

Отец мой Дмитрий Андреевич Семенов, уроженец Воткинского завода, приехал в Екатеринбург, по-видимому, в конце 80-х годов XIX века для коммерческой деятельности и в поисках богатой невесты. Он был очень энергичным, темпераментным человеком. Хорошо играл на гармошке и струнных инструментах, обладал приличным баритоном и хорошим слухом. Сначала он пытался создать кустарное производство и сапожную мастерскую, но погорел с этой затеей и пошел маклером на биржу. Тут ему тоже не повезло, и он оформился агентом страхового общества «Якорь». Об этом мне рассказывали мать и брат Семен. Какое отец получил образование, я не знаю. Знаю лишь, что он отслужил в армии с воинским званием ефрейтор.

Был он страстный охотник, очень любил лошадей. Одно время держал двух рысаков и хороших охотничьих собак. Вместе со старшими сыновьями часто выезжал на охоту.

(Недавно я взял в публичной библиотеке справочную книгу за 1903 год и обнаружил там в рекламных объявлениях:

«Магазин и мастерская обуви Д.А.Семенова в Екатеринбурге, Покровский проспект, дом бывш. Половникова. Прием заказов на всевозможные сорта обуви, как-то: мужских сапог, штиблет, ботинок дамских и детских на резине и пуговицах, разных туфель, скороходов и т.п. Тут же имеется для продажи в большом выборе валяная, чесаная обувь и резиновые галоши Российско-Американской мануфактуры. (При каждой паре галош прилагаются металлические буквы бесплатно.)»

Агентами страхового общества «Якорь» тогда значились Михаил Леонардович Бяллезор и Александр Макарович Мишин. А дед Марии состоял, кроме того, в «Обществе покровительства животным» — был одним из десяти членов правления, вместе с Виктором Александровичем Ардашевым, двоюродным братом будущего вождя революции... Его, кажется, потом расстреляли большевики.

Агентом страхового общества «Якорь» Дмитрий Сергеевич значится в справочнике за 1911 год. Там же можно узнать о существовании гостиницы «Метрополь» (Покровский проспект, угол Тихвинской, дом Семенова, тел. №379) и комиссионной конторы «Д.Семенов и А.Пермин» (Покровский проспект, дом Семенова, тел. №325), преобразованной затем в товарищество: «Комиссионеры по покупке и продаже недвижимостей, товаров, земельных участков и пр.». Обувного магазина, принадлежавшего Семенову, в справочнике уже нет. — Борис.)

Когда в 1919 году к городу подошли красные, мой отец почему-то решил эвакуироваться на Дальний Восток. Купил двух лошадей с облегченными телегами и поехал вместе с женой, младшими сыновьями и дочерью Елизаветой (старшие сыновья Николай, Семен и Сергей были мобилизованы в белую армию). Мы с утра до вечера ехали по Сибирскому тракту, миновали множество городов и деревень, в конце концов доехали до станции Тайга (недалеко от Томска) и... повернули обратно. В Омске мы остановились, потому что заболели тифом. Во время гражданской войны тиф свирепствовал на просторах России. Помню, что мы лежали в

каком-то большом доме, за нами ухаживали незнакомые мне люди. Они приносили пищу, делали уборку, выносили горшки и судна. Сам я перенес три вида тифа: сыпной, возвратный и брюшной. И еще острое осложнение паратиф с опухолями за ушами. Опухоли мне оперировал мой будущий шурин Александр Вениаминович Тимофеев - без наркоза. Я орал, что, мол, ножик тупой, а он только бормотал: «Терпи, Ленчик, терпи...»

В момент кризиса я сидел на горшке - и упал без сознания. Отец решил, что я умер, и стал просить людей, ухаживающих за нами, чтобы мне заказали гробик. Но смерть меня тогда пожалела, и я очнулся после обморока.

Вскоре после этого случая умер мой брат Андрей. Его задавила желтуха. И тут подвернулся как раз санитарный эшелон, где врачом был Тимофеев, вместе с которым когда-то учился в медицинском институте мой старший брат Николай (позднее Коля женился на его сестре Августе, Авочке). Тимофеев нас выручил, увез домой. Отец был в таком тяжелом состоянии, что его не рискнули везти в Екатеринбург вместе с нами в товарном вагоне-телятнике. По приезду мы получили из Омска известие, что отец умер и его похоронили вместе с Андреем. О Сергее получили сведенья, что он пропал без вести, а Семен вернулся раненым (ему до кости вырвало бицепс, так что рука стала впоследствии постепенно сохнуть).

Однако закончу про отца. Он был весьма неглупый и дальновидный человек, но очень вспыльчивый (мы все, наверное, в него: и я, и ты, и твоя мать Елизавета Дмитриевна). Из-за этого часто ссорился с женой, твоей бабушкой. Во время ссор он со старшими сыновьями уходил на первый этаж дома, а мать с малышами оставалась на втором этаже - до очередного перемирия.

Дальновидность его проявилась, например, в том, что еще до революции (в 1891 году, когда умер первый его сын — младенец Виктор) на Ивановском кладбище он сделал капитальную оградку для захоронения всей нашей династии. Она существует до сих пор (ограда, а не династия; единственный продолжатель рода на сегодняшний день - внук Семена Александр, который живет в Бишкеке; впрочем, по женской линии есть твои, Маша, потомки и внуки Верочки, дочери Николая - фамилии исчезают, а род остается). В оградке похоронены наша мать, две моих сестры, три брата, племянник и старшие Тимофеевы - Вениамин и Антонина. (Кроме того, там упокоились Александра Фоминых и Елена Фоминых-Шуберт. Саша жила недолго и упокоилась в 90-е годы XIX столетия, а Лена — уже в двадцатом веке. Леонид Дмитриевич полагал, что это совсем чужие люди. Но в справочнике И.Симанова за 1889 год в приказчиках у Семена Половникова значится Фоминых Федор Алексеевич, крестьянин Вятской губернии. Может быть, они вместе бежали в Екатеринбург еще до реформы 1861 года? И потом больше не расставались... даже и на кладбище... — Борис.)

Кроме того, он приобрел для летнего житья большой и малый дом в живописной деревне Кашина. Отец вывозил туда на лето всю семью и приучал детей к работе на небольшом участке, примыкавшем к дому. По сей день там стоит «малуха», которая служила кухней для нашей громадной семьи и гостей-дачников. Они наезжали каждое лето и арендовали комнаты у соседей-крестьян (иногда до 10-15 квартир). У нас в доме ютилось ежегодно до 25-30 человек.

(Добавлю от себя: эту малуху купила потом Елизавета Дмитриевна - когда в 1962 году вышла на пенсию. Там все мы блаженствовали летом вплоть до 1988 года, когда переехали в другую деревню. - Борис.)

Твою мать Елизавету, брата Бориса и меня нянчила добрая старушка. К сожалению, я даже не знаю ее имени, так как в малолетстве мы все трое звали ее «няня». Мы бродили с ней в лесу около кашинского дома. Найдя ягоду в траве, я обязательно спрашивал: «Няня, мосьно ягоду съесть?» Клад ее в рот и, щелкнув языком, провозглашал: «Вкусько!»

В последние годы она оставалась на зиму в Кашине в компании индюка и кота, с которыми по вечерам устраивала чаепитие. Все трое садились за стол с кипящим самоваром (наверное, тот самый самовар стоит сейчас у вас в прихожей; ты ведь достала его из кашинского ларя). Садись за стол, и она угощала кота теплым молочком, а индюка - сладкой водичкой. Вела с ними вечернюю беседу, а потом ложилась спать. Няня отправлялась на голбчик (это маленькие полаты у печки), кот - на печку, а индюк - на брус у полатей. Однажды ночью он, сонный, упал со своего наместа и сломал себе шею. Няня пролила слезы по его кончине и с почестями похоронила.

Моя мать, а твоя бабушка Татьяна Семеновна умерла 2 августа 1927 года от рака желудка и похоронена на Ивановском кладбище. В молодости приемные родители приготовили ей хорошее приданое, но она изъявила желание пойти в женский монастырь. Ее мать Ксения Михайловна была, очевидно, умным, спокойным и проницательным человеком. На ее просьбу она ответила так: «Ты, Танюшка, сходи и поживи, присмотришься. И если тебе понравится монашеская жизнь, то оставайся с Богом и служи Ему, как все насельницы монастыря». Собрав узелок необходимых вещей, они вместе пошли в монастырь к старшей его наставнице. По-моему, она именовалась игуменьей. Та определила ее к пожилой монахини. После вечерних поклонов и молитв они улеглись спать. Часов в 11 вечера мать услышала через стенку, где жили молодые послушницы, шумные разговоры, смех, мужские голоса, веселый перепляс. Заиграла гармошка. Веселье длилось почти до утра.

(Полагаю, что это купцы Половниковы не захотели расставаться с приемной дочерью, а потому устроили за стенкой инсценировку. Вряд ли в конце 80-х годов девятнадцатого столетия в православном женском монастыре можно было устроить перепляс под гармошку. Однако... Что ж это я так смело сужу... Сочиняю, предполагаю, грех беру на душу. Скорее, вовсе и не Половниковы. Может, бесы в сонном видении. И такое бывает иногда.

Кстати, вот недавно прочёл в журнале «Москва» под рубрикой «Домашняя церковь»: «Гармоники и грамофонные пластинки в Оптиной были вещами обиденными – петь любили и умели, а многие ещё интере-

совались и серьёзной классической музыкой, и пением Шаляпина (с радостью ставили послушать паломникам». – Борис.)

Монахиня по-стариковски спала и храпела, а мать, уткнувшись в подушку, тихо плакала. Утром пришла навестить ее бабушка, и наша Татьяна Семеновна сразу ей сказала: «Мама, я хочу домой». И они ушли. После рассказа про ночной кошмар бабушка спокойно ей ответила: «Живи, Танюшка, мирской жизнью, выходи замуж и обзаводись детьми, которые будут для тебя большой радостью». (Радости не получилось ни у нее, ни у ее детей... Мир наш устроен так, что неожиданно рушатся семьи и государства. Мы здесь в гостях у немилосердного князя мира сего. «Не собирайте сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкопывают и крадут... « Наши с Марией предки потеряли в конце концов все свои немудрящие земные «сокровища», Бог пожалел нас. - Б.) Вскоре моя мать вышла замуж и родила до революции 12 детей. Вот их поименный список. 1. Виктор (умер грудным младенцем в 1891 году и похоронен на Ивановском кладбище). 2. Виктор (умер младенцем в 1893 году, похоронен там же). 3. Николай (родился 19 февраля 1894 года, в тридцатые годы провел 10 лет в концлагере на Беломорканале, умер 10 апреля 1978 года). 4. Сергей (год рождения не знаю, очень хотел стать священником, но пропал без вести во время страшной гражданской войны 1918-1920 гг.). 5. Семен (родился 1 августа 1899 года, был мобилизован в белую армию, ранен, последние 20 лет своей жизни работал начальником планового отдела на мельзаводе №3 под Свердловском, похоронен на Кольцовском кладбище в июне 1966 года).

6. Андрей (год рождения не знаю, умер от тифа и похоронен вместе с отцом в Омске). 7. Григорий (год рождения не знаю, был вместе с нами в эвакуации, пропал без вести во время Великой Отечественной войны, когда ехал к сыну Леке в Душанбе, где тот учился в суворовском училище). 8. Борис (родился в 1909 или 1910 году, умер шести лет от кори и похоронен на Ивановском кладбище в нашей семейной оградке). 9. Леонид (родился 28 мая 1912 года, имею приемную дочь Наташу, скоро тоже надену деревянный бушлат). - Он умер 10 марта 1995 года, прах в урне захоронен в могиле его матери Татьяны Семеновны. 10. Ксения (год рождения не знаю, умерла ребенком в 1903 году, похоронена на Ивановском кладбище). 11. Екатерина (год рождения не знаю, умерла лет восемнадцати 30 августа 1918 года и похоронена на Ивановском кладбище. В той же могиле через 9 лет похоронена моя мать. Смерть Кати была загадочна, о чем скажу позднее). 12. Елизавета (родилась 9 апреля 1907 года, вышла замуж в Вост. Казахстане и родила тебя, Маша. Умерла после инфаркта в больнице 6 мая 1976 года, похоронена на Широкореченском кладбище).

Нашу мать не испортило образование, она была малограмотной, очень отзывчивой и доброй. В Кашино по медицинской книге Андреева она лечила всех, кто к ней обращался. Ее советы всегда были достаточно квалифицированными, правильными. Для воспитания нашей многолюдной орды она имела двух помощников: няню и домработницу. Няня присматривала за мной, Борисом и Лизой. Она прожила у нас до глубокой старости, а незадолго до смерти ушла жить к своей дочери и внуку. Лиза ей часто помогала из благодарности. Еще у нас жила домработница Мария с маленькой дочкой. Она помогала матери делать уборку, готовить еду, стирать и чинить белье. Когда отец повез нас в Сибирь, Мария осталась в нашем доме, который, впрочем, сразу же конфисковали красные. Дальнейшая участь ее и дочки мне не известна.

Мать наша была честным и трудолюбивым человеком, испытавшим в жизни много горя. Особенно тяжело перенесла она раннюю смерть своей восемнадцатилетней дочери Екатерины, ушедшей от нас 30 августа 1918 года. По словам матери, она была очень скромная, умная, послушная девушка. После окончания гимназии Катя стала работать в библиотеке, где познакомилась с молодым революционером. Отец наш был против их дружбы. Скорее всего, к революции и революционерам он относился плохо.

(Наверное, не без оснований... Вот некоторые книжные цитаты, характеризующие обстановку в Екатеринбурге:

«...Показание Капитолины Агафоновой, которая передает свой рассказ со слов брата своего Анатолия Якимова, служившего в охране дома Ипатьева. По ее словам, как-то в июле месяце Якимов пришел к ней в утомленном и измученном виде. На расспросы он в сильном волнении заявил, что минувшей ночью «Николай Романов, его семья, доктор, фрейлина и лакей убиты» при следующих обстоятельствах: в первом часу ночи всех заключенных разбудили и предложили сойти вниз. Здесь им объявили, что в Екатеринбург скоро придет враг и что поэтому они должны быть убиты; вслед за тем последовали выстрелы, и первыми были убиты Государь и наследник; остальные оказались только ранеными, и потому, по словам Якимова, их «пришлось» пристреливать, добивать прикладами и прикалывать штыками; особенно «было много возни» с фрейлиной; она металась, прикрывалась подушкой; на теле ее оказалось потом 32 раны. Великая княжна Анастасия Николаевна упала в обморок; когда же ее стали осматривать, она «дико завизжала», после чего ее убили штыками и прикладами. Вообще сцена убийства была так кошмарна и жестока, что, по словам свидетеля, «ее трудно было вынести, и он не раз выходил на воздух, чтобы освежиться». Этому показанию ... нельзя было не верить, так как даже к вечеру того же дня, то есть после убийства, когда он пришел проститься, вид его был прямо поразителен: лицо осунувшееся, зрачки расширены, нижняя губа во время разговора тряслась, ясно было видно, что за минувшую ночь он пережил что-то потрясающее» (там же. С.211-212).

В 18-м году городок был небольшой, и то, что знала Агафонова, знал весь Екатеринбург. Про бойню, устроенную мясниками Юровского, наверняка знал и Дмитрий Андреевич Семенов, что не прибавило симпатий к возлюбленному Екатерины.

«Когда вошел в комнату, где находилась царская семья, то они все уже были расстреляны и лежали на полу, в разных положениях, около них была масса крови, причем кровь была густая, «печенками»; все, за

исключением сына Царя Алексея, были, по-видимому, уже мертвы, Алексей еще стонал. Юровский еще два или три при нем, Медведеве, выстрелил в Алексея из нагана, и тогда он стонать перестал. Вид убитых настолько повливал на него, Медведева, что его начало тошнить, и он вышел из комнаты» (Н.Соколов. Убийство царской семьи. Петрозаводск, 1991. С.255).

Было бы несправедливо, конечно, валить всю вину на банду Юровского, Свердлова и Троцкого - Бронштейна. Прежде них Государя и Государство предали высшие военные и гражданские чины Империи - и даже члены императорской фамилии. «Образовалось совершенно открыто пять очагов революционного брожения:

1) Государственная Дума с её председателем М.В.Родзянко; 2) Земский союз с князем Г.Е.Львовым; 3) Городской союз с М.В.Челноковым; 4) Военно-промышленный комитет с А.И.Гучковым; 5) Ставка с генералом Алексеевым, нанёсшая самый сильный удар русскому монархическому строю.

...Совершенно непонятно, почему члены Императорской Фамилии, высокое положение и благосостояние которых исходило исключительно от Императорского Престола, стали в ряды активных борцов против Царского режима, называя его режимом абсолютизма и произвола по отношению к народу, о котором они, однако, отзывались, как о некультурном и диком, исключительно требующим сильной власти. В таковом их мышлении логики было мало, но зато ярко выступало недоброжелательство к личности Монарха: даже после отречения Государя от Престола, Великий Князь Сергей Михайлович, между прочим, пишет своему брату, Великому Князю Николаю Михайловичу: «Самая сенсационная новость – это отправление полковника со всею семьёю в Сибирь. Считаю, что это очень опасный шаг правительства – теперь проснутся все реакционные силы и сделают из него мученика. На этой почве может произойти много беспорядков».

Странно, что в такие трагические минуты Великий Князь Сергей Михайлович, родственник Государя, настолько равнодушен к Его судьбе, что думает о могущих произойти неприятностях для захвативших власть врагов отрекшегося Царя.

Тон, принятый перед революцией членами Императорской Фамилии, невольно передавался как высшему обществу, так и представителям народа» (С царём и без царя. Воспоминания последнего дворцового коменданта Государя Императора Николая II В.Н. Воейкова. М., 1994. С.109, 115).

Уже в 19-м столетии в стране совершилась духовная катастрофа, когда вне традиционной России и Церкви оказалось так называемое образованное общество. Дворяне даже говорить-то по-русски перестали. Трудно забыть и зарубежных «друзей» России, помогавших ей умереть. Следователь Н.Соколов так заканчивает свою книгу: «В общем ходе мировых событий смерть Царя, как прямое последствие лишения его свободы, была неизбежной, и в июле 1918 года уже не было силы, которая могла бы предотвратить ее». - Борис).

Однажды вечером, вернувшись поздно с работы, Катя пожаловалась на головную боль и легла спать. Кровать ее стояла в углу за роялем, а у ног висело большое зеркало. Отец рано утром подошел к зеркалу, чтобы причесаться, и взглянул на спящую дочь. Он удивился бледности ее лица, взял ее за руку, потрогал лоб и в ужасе отшатнулся, увидев, что она мертва. Отец быстро пошел к матери, поднял всех детей и вызвал врача, который только и мог констатировать смерть. В тумбочке рядом с ее кроватью был обнаружен пустой пузырек. Так и осталось неизвестным: умерла она от сердечного приступа (головная боль могла свидетельствовать о чрезвычайно высоком давлении) или покончила с собой от несчастной любви. В городе уже месяц были белые, и ее друг, наверное, скрывался или отступал с частями красной армии. Похороны были очень богатые, а мать долгие месяцы плакала, временами даже теряла сознание.

(В день смерти Кати Семеновой, 30 августа 1918 года, в Петрограде было совершено покушение на вождя революции Ульянова-Ленина. В него стреляла социалистка Фанни Каплан. В тот же день был убит начальник петроградской чрезвычайки Урицкий. Его застрелил социалист Леонид Каннегисер. В ответ друзья Урицкого стали уничтожать ни в чем не виноватых «буржуазных» заложников. Вот что пишет Сергей Мельгунов: «Это было время, названное одним из очевидцев «дикой вакханалией красного террора». Тревожно и страшно было по ночам слышать, а иногда и присутствовать при том, как брали десятками людей на расстрел. Приезжали автомобили и увозили свои жертвы, а тюрьма не спала и трепетала при каждом автомобильном гудке. Вот войдут в камеру и потребуют кого-нибудь «с вещами» в «комнату душ» - значит на расстрел. И там будут связывать попарно проволокой. Если бы вы знали, какой это был ужас! Я сидел в эти дни в тюрьме, и сам переживал эти страшные кошмары. ... Не только Петербург и Москва ответили за покушение на Ленина сотнями убийств. Эта волна прокатилась по всей советской России... За Урицкого и Ленина действительно погибли тысячи невинных по отношению к этому делу людей. Тысячи по всей России были взяты заложниками. ...)»Мы не ведем войны против отдельных лиц, - писал Лацис в «Красном терроре» 1 ноября 1918 г. - Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал ДЕЛОМ или СЛОВОМ против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого» (Сергей Мельгунов. Красный террор//Наш современник. 1991. №1 и 3).

Сегодня это называется «геноцид» - когда человека уничтожают не за его преступление, а за национальное или социальное происхождение. Или за вероисповедание. Впрочем, на колени были поставлены сразу же все сословия, в том числе рабочий класс. Чья ж это была диктатура?

«В марте (1919 года) в Астрахани происходит рабочая забастовка. ...В центр полетели телеграммы о восстании. Председатель Рев. Воен. Совета Республики Л.Троцкий дал в ответ лаконичную телеграмму: «расправиться беспощадно». ...В подвалах чрезвычайных комендатур и просто во дворах расстреливали. С паровозов и барж бросали прямо в Волгу. Некоторым несчастным привязывали камни на шею. Некоторым вязали

руки и ноги и бросали с борта. Один из рабочих, оставшийся незамеченным в трюме, где-то около машины, и оставшийся в живых, рассказывал, что в одну ночь с парохода «Гоголь» было сброшено около ста восьмидесяти (180) человек. А в городе в чрезвычайных комендатурах было так много расстрелянных, что их едва успевали свозить ночами на кладбище, где они грудами сваливались под видом «тифозных» (там же).

Вот так обстояли дела в стране и Екатеринбурге в 1918 и 1919 году... Вряд ли можно осуждать деда Марию за то, что в конце концов он собрал семью и побегал вместе с белыми на восток. Но послушаем дальше Леонида Дмитрича...)

За два года до смерти Кати умер от кори мой шестилетний брат Борис. Мне было тогда всего 4 года, я не понимал семейной трагедии. Он лежал на столе в гробу, а я в это время, как рассказывала позднее Лиза, в соседней комнате играл с котятами и беззаботно распевал: «Кисаньки, вы милые мои мурысенки...» Он был очень скромный и тихий мальчик, а я - задира и буян. Няня рассказывала: мы сидим на полу, играем в кубики, разделив их пополам. И вдруг я начинаю хватать его кубики, а он жалобно говорит: «Леонид, отдай...» А я ору на него: «Болис, отстань!» - и запускаю в него кубик, который при ударе по лбу вызывает сильную боль и появление шишки. Няня хватает Бориса, растирает лоб холодной ложкой и успокаивает его. Я же с победоносным видом забираю все кубики и спокойно строю домик, который вскоре разрушаю равнодушным пинком ноги, потому что играть одному мне становится скучно... Сейчас я очень жалею этого тихого бедного брата, которому до самой его смерти чинил массу неприятностей и обид, хоть был его младше.

Вскоре после смерти Кати пропал без вести где-то на фронтах гражданской войны брат Сергей. Хотя Лиза считала, что не на фронте. В общем, в семье никто так и не узнал, где и когда он погиб. По словам матери, он был человек не от мира сего. С детских лет он мечтал стать священником, и все его игры заключались в богослужении. Сергей делал себе из газет соответствующее одеяние, кадило из консервной банки на нитках, головной убор - и мог часами изображать священника, который служит обедню или всенощную, поет молитвы и читает их перед воображаемым алтарем (священным местом в храме). Временами он и нас призывал молиться, совершать поклоны и учить молитвы, но мы были непослушной паствой и старались увильнуть от его богослужений. Будучи гимназистом, он говорил, что пойдет учиться в духовную семинарию и обязательно станет священником.

Еще он очень любил делать искусственные цветы. Люди не могли отличить их от натуральных и удивлялись, откуда среди зимы у нас появились в вазах букеты роз, сирени, ромашек...

В общем, как мать все претерпела - не представляю. А тут еще отец с Андреем умерли во время нашего бегства в Сибирь. Обрушилась вся наша страна, а вместе с ней и вся наша семья. По словам матери, Андрей был умным, способным, послушным юношей, обладал хорошими музыкальными способностями, отлично учился в гимназии, которую не успел закончить, поскольку отец потащил нас в эвакуацию. Чего он боялся? Если бы остались дома, то все бы выжили, в том числе и он сам. Наверное. Однако кто знает... После драки кулаками не машут. Мать говорила, что у Андрея было большое будущее. Было бы... Если бы тиф и желтуха не задушили его. Он обладал большим даром речи, прекрасно декламировал классические стихи, хорошо пел, аккомпанируя себе на рояле, на гитаре. Он остался вместе с отцом в Омске, где похоронен на каком-то кладбище. При расставании я был маленьким больным мальчиком, а потому больше рассказать про него ничего не могу.

Вернувшись в Екатеринбург, мы пережили тяжелое время. В начале 20-х годов ели отруби, лебеду, всякую подножную зелень, а картошка была для нас деликатесом, если ее удавалось выменять на одежду или домашнюю утварь. Из-за голода мы с Лизой шибко болели, какой-то катар кишок, и нас удалось устроить на три месяца в санаторий, где хорошо кормили. После этого мы стали нормальными детьми.

Мать делала все, чтобы мы выжили. Когда пришло время учиться, она отдала меня в ученье к псаломщику Златоустовского собора, который жил недалеко от нас в полуподвальном помещении на улице Малышева (тогда - Покровский проспект). У него были два сына-спортсмена, которые стали впоследствии известными футболистами. Они играли в одной команде с Анатолием Брагиным, мужем Лены Цигель, подруги твоей матери Лизы.

Мать снарядила меня для учебы по всем правилам. Купила мне новые аккуратные лапти (лучше обуви в то время не было), сшила мне холщовую сумку, куда положила букварь, тетрадь, пенал и прочие школьные принадлежности. Однако псаломщик начал мое обучение не с букваря, а с общепринятых молитв. После нескольких посещений мать передумала и отдала меня в школу первой ступени на берегу Исети (на Второй Набережной). Там нам тоже сначала преподавали Закон Божий, но потом отменили. Затем меня перевели в Нелькинскую школу, которая размещалась в одноэтажном здании на улице Тургенева (в сторону краеведческого музея). А в пятый класс я пошел уже в Тургеневскую школу (на разветвлении улиц Вайнера, Октябрьской, Февральской революции и 9-го января).

Но я отвлекся от повествования о нашей матери. Она была честным и трудолюбивым человеком, почти не видевшим радости. Революции, войны, в том числе гражданская война, болезни и смерть детей, голодные двадцатые годы... Выращенные ею до совершеннолетия дети тоже умирали, а оставшиеся в живых особой радости не давали, но приносили огорчения, поскольку каждый из нас имел свои недостатки и житейские промахи.

После смерти отца главным нашим кормильцем стал брат Семен. Конечно, он был такой же неудачник, как и все Семеновы. Он успел закончить лишь реальное училище (теперь там, кажется, музыкальная школа на улице Ленина). Вскоре началась гражданская война, и он был призван в белую армию - рядовым в артиллерийскую часть. Когда они ушли с Урала, Семена перевели на бронепоезд. В бою у станции Тайга он был тяжело

ранен, красные захватили бронепоезд, он сдался в плен и был отправлен на Урал. После выздоровления его посадили в ЧК, чтобы выяснить, как он попал и чем занимался в белой армии. Через полгода его освободили, и он стал работать в Губпродкоме плановиком-экономистом. Вся наша семья (бабушка, мать, брат Григорий, Лиза и я) тогда средств существования не имели - за исключением квартплаты квартирантов, которой, конечно, не хватало на прожиточный минимум. Поэтому Семен работал по 10-12 часов, чтобы поддержать нас материально. Друзья уговаривали его поступать в горный институт, но он сказал, что надо кормить семью и себя. Григорий долго состоял на бирже труда, но работы получить не мог. На тяжелую работу он идти не хотел, а на канцелярскую вакантных мест не было. Поэтому он тоже кормился возле Семена и матери.

Семен был страстный любитель природы, заядлый охотник, рыбак. Обожал живые домашние цветы, полевые ромашки, незабудки, васильки, фиалки, подснежники... Он и меня стал натаскивать, с восьмилетнего возраста заставляя совершать полную подготовку для выезда на рыбалку или охоту. Он держал двух собак и поручил мне за ними ухаживать: кормить и выгуливать. Однако хозяином они считали Семена и не подпускали меня к кровати, когда он ложился отдыхать. Вместе с ним укладывалась Леди, а под кроватью лежала Пальма. Родителями нашей Леди были чистокровные пойнтеры, обладатели золотых медалей. Хозяином ее отца по кличке Крок был артист оперного театра Донец, а матери - юрист Виницкий. Вторая собака (сеттер-лаверак) была без родословной и обитала у нас приживалкой. Для охоты она не годилась, поскольку в прошлом была стреляна. Если со стены снимали ружье, она молниеносно бросалась под кровать, дрожа от страха.

Ледку Сеня принес в трехдневном возрасте, так как мать ее по кличке Думка принесла 12 щенят. Хозяин за большие деньги отдал щенка Сене, который обязал меня выхаживать. Уход был весьма сложный. Десять дней она была слепая и спала в небольшой корзиночке на клочьях ваты, тряпок и т.д. Днем и ночью, когда она запищит и начнет возиться, я обязан был чуть-чуть подогреть молоко и кормить ее через соску. Потом легонько помассажировать живот, сменить мокрую подстилку и снова уложить ее в корзинку. Через полмесяца пришлось сделать ей коробку с высокими бортами, чтобы не вылезала. Однако все эти процедуры Леди мне не засчитала, хозяином признавала только Семена.

Однажды, будучи взрослой, она лежала на кровати, положив лапы ему на грудь, и Семен говорит мне: «Ленька, подойди и стукни меня». Я пошел к нему, а он спокойно говорит: «Леди, меня обижают». Она сразу зарычала и приготовилась к броску, но я отступил, а Сеня рассмеялся - очень довольный, что только он считается хозяином.

Собаки присматривали за домом. В 20-х годах в Екатеринбурге еще ходили ночью квартальные сторожа, брэнчали деревянной колотушкой, а потом собирали деньги со всех обитателей квартала. Семен как-то ночью вернулся с охоты и все свое снаряжение бросил на стол. А утром ушел на работу, ничего не убравши. В том числе красивый охотничий нож, ножны которого были отделаны гравировкой по серебру. Мать вышла из дома, а в комнате остались только собаки: одна на кровати, а другая - под нею. Тут вошел старичок-сторож и тихонько позвал мою мать: «Семеновна, Семеновна...» Не получив ответа, решил посмотреть охотничий нож, а потом отправился к выходу. И тут Леди выбросила передние лапы ему на грудь и зарычала, а Пальма схватила зубами за ногу, чтобы не шагал. Хорошо, что в это время вошла мать. Она крикнула: «На место!» - и рассмеялась, потому что старичок от страха сделал лужу. Мать заплатила ему положенную сумму за его ночные дежурства и предупредила, чтобы в следующий раз стоял у двери и ничего не трогал.

У Леди была деревянная миска, которую она брала в зубы и ходила за мной до тех пор, пока не дам еды. После женитьбы Сени собака осталась мне и Лизе, потому что он переехал к своей жене, которая собак не любила. Как-то рано утром я выпустил Ледку гулять, и она убежала к Сене. Лиза тогда ночевала у них, а потому привела ее домой. И я не обратил внимания, что на задней холке у нее была небольшая ссадина. Потом выяснилось - это был укус бешеной собаки. Через две недели Ледка взбесилась и померла, а мне и детям Григория ставили уколы от бешенства.

Надо сказать, что Семен женился уже после смерти нашей матери. Она умирала от рака очень медленно и мучительно. Ничем не могли помочь знаменитые врачи (Шамарин, Ратнер и др.), поскольку в те времена медицина не могла уменьшить страдания. Ела понемногу только жидкую кашу да бульон из наварной ухи. Я раз или два бегал на Шарташ к знакомому Семена, у которого клянчил лодку - порыбачить. За часик-другой я набивал трехлитровый бидон окунями, чебаками и пескарями, а потом сломя голову мчался домой, чтобы маме сварили уху.

Перед ее смертью я разбил ногу о камень, в рану попала грязь, нога опухла до колена. Мне стали делать припарки из отрубей, привязывать подорожник, алоэ и т.д., но в момент смерти матери я лишь с трудом передвигался на костылях, а потому и до церкви, где маму отпевали, и до могилы меня везли на извозчике. При возвращении с кладбища меня все жалели, потому что я остался круглым сиротой: отец умер, когда мне было всего восемь лет, а мать потерял в пятнадцать. Родителей мне заменили Семен и Елизавета, мои брат и сестра. Они помогли мне закончить школу.

После смерти матери все хозяйственные заботы легли на плечи двадцатилетней Лизы. Я заметил, что она грустит, иногда потихоньку плачет. В то время ей нравился к тому же какой-то парень, не обращавший на нее внимания. Я заподозрил неладное, стал шарить по всем закуткам и обнаружил три флакона уксусной эссенции. Схватив их да еще большой солдатский ремень, я подошел к ней, глянул в упор и заорал злым, хриплым голосом: «Ты что? Надумала погубить себя и бросить нас без нашей матери?!» Она заплакала и сквозь слезы сказала: «Леня, прости меня, больше такого не повторится...» Я швырнул эссенцию на пол и два раза сильно ударил ее ремнем. Лиза даже не вскрикнула, только вздрогнула и продолжала плакать. Пришлось ско-

рей собирать битое стекло и затирать лужу, так как на крашенном полу сразу стали появляться пятна. Их могли заметить братья, жившие вместе с нами. Я пообещал, что никому не скажу о случившемся, и в дальнейшем старался не напоминать ей об этом. Не знаю, рассказывала ли она тебе, но в моей памяти этот случай остался на всю жизнь.

Вот так мы остались одни. Основным нашим кормильцем стал Сеня, но Лиза тоже зарабатывала на пропитание. Они дали мне возможность закончить семилетку, а потом я поступил в училище на ВИЗе. Там мы учились 4 часа и столько же работали, специализируясь на прокатке динамного железа. Это была адская работа, смена в динамном цехе длилась всего 4 часа 48 минут, медкомиссия установила, что рабочий выделяет за это время вместе с потом до 60 граммов соли. Поэтому кадровые рабочие после прокатки двух-трех пакетов съедали 10-15 граммов соли и выпивали поллитра воды. Нам, ученикам, давали по 400 граммов воблы, поскольку тоже приходилось ворочать клещами тяжелые пакеты железа, раскаленного до 1100 градусов. От перегрева организма и без пополнения жидкости и соли могло произойти свертывание крови, что я и наблюдал в сентябре, когда пришел в цех.

В январе нас осматривала медкомиссия, и один пожилой врач по фамилии Упоров посоветовал мне сменить профессию, поскольку за сентябрь - декабрь я успел получить порок сердца. Я сказал Сене и Лизе, и они дали согласие, чтобы я продолжил учебу в школе. Мои школьные друзья Валя Уфимцев, Боря Попов, Петя Валов учились в это время в визовской школе с геологоразведочным уклоном (этот двухэтажный кирпичный дом стоит и сейчас на углу Московской и Радищева). Они нарисовали мне шикарные картины из жизни геологов, которые все лето живут в больших палатках возле лесных водоемов, ездят верхом на лошадях с ружьями, геологическими сумками и молотками. А занимаются целое лето сбором образцов горных пород и их изучением. Для восемнадцатилетнего юнца такая перспектива была заманчива, и, как визовский производственник, я был зачислен туда учеником восьмой группы в январе 1930 года. Летом я уже был направлен на практику в качестве младшего коллектора в село Боевка на разведку вольфрамита, шеелита и флюорита. Начальником партии был Сергей Петрович Колодкин, очень умный и добрый человек. Я многому у него научился, когда мы вели ручное бурение по берегам речушки Багаряк. Моим непосредственным начальником был студент горного института Сергей Тимофеевич Глотов, с сестрой которого я учился еще в семилетке. С ним жили мы дружно, в свободное время охотились по лесам, а дичь сдавали в нашу столовую (партия была большая).

После практики всех учеников нашей школы зачислили студентами Уральского геолого-гидро-геодезического техникума (возле плотинки, рядом с нынешней консерваторией), который я и закончил в конце 1933 года. Годом раньше твоя мать Елизавета поступила в горный институт - наверное, по моему примеру. Она же работала коллектором до института. В 38-м году она распределилась на работу в Восточный Казахстан, под Усть-Каменогорск. Там мы вместе с ней трудились три месяца, там она познакомилась с твоим отцом Кириллом и вышла за него замуж. Я его плохо знал, потому что работали в разных отрядах. Он был умницей, учился в Московском геологоразведочном институте и был здесь на практике. Осенью Лиза уволилась и вернулась в Свердловск, а Кирилл, кажется, уехал в Москву. Все прочее тебе, наверное, рассказала мать.

(Недавно я нашел на чердаке старую книжку Елизаветы Дмитриевны — «Английскую хрестоматию для геологов», изданную в 1933 году. В ней оказался кусочек бумажки: «ХАРАКТЕРИСТИКА. Тов. Семенов Леонид за пребывание на произв. практике с 1.01 по 1.02.1931 г. в Первомайской гл.-р. партии показал себя на производстве как лучший ударник. Общественную работу вел недостаточно и относился к ней, не чувствуя за собой ответственности. Пред. разведкома имя рек». Круглая печать Синарского отряда Каменско-Сухоложской геологоразведочной группы. — Борис.)

Да, расскажу еще про Семена и Николая. На мой взгляд, Семен женился неудачно. Жена была с большим сомнением, тяжелым, эгоистичным характером. Во времена студенческой голодухи, когда я пытался у них подкормиться и переночевать, она давила на Семена, чтобы он меня не привечал. Он кормил меня на кухне без ее ведома. Во время войны к ним подселили какого-то эвакуированного гражданина, с которым эта особа завела серьезный роман. Семен чуть не убил этого ловеласа. Забрав сына, которому было тогда лет четырнадцать, он уехал на Украину, уже освобожденную к тому времени нашими войсками. Правда, там они прожили недолго, вернулись на Урал, и Сеня устроился в плановый отдел на мельзавод №3 недалеко от города. Сын Дима закончил там школу и пошел учиться в горный институт - на маркшейдерский факультет.

Когда я отвоёвался и в конце 1946 года приехал в Екатеринбург, то, конечно, посетил Сению и удивился его образу жизни. Комната его в бараке была грязная, захламленная, без всякой мебели - только кровать, стол и две табуретки. Сеня и сын его были в замусоленной, грязной одежде, полуголодные, даже и не замечающие той убогости, в которой живут. Сеня мне говорит: «Знаешь, Ленка, рядом со мной живет хорошая женщина, но у нее две дочери и сын, а муж погиб на фронте. Как ты думаешь - может, нам сойтись, чтобы вместе подышать ребят?» Я согласился. Под старость, мол, у вас будет надежная опора. Так получилась семья из шести человек. Жена его Нина работала в детских яслях мельзавода. Они сумели дать всем своим детям высшее и среднетехническое образование. Ты знаешь, что Сеня умер 3 июня 1966 года в больнице от болезни сердца. (Маша тогда ждала Юльку, до ее рождения оставалось полтора месяца, а тут помер любимый дядька. Похороны... Помню, как мы брели на кладбище вслед за машиной, путь был долгий, день солнечный...).

Другой дядюшка твой Николай родился в феврале 1894 года, а умер в апреле 1978-го. Он был самым старшим в семье, отец определил его учиться в гимназию (сейчас девятая школа возле плотинки), после окончания которой он отправился в Казань, в медицинский институт, где учился с Сашей Тимофеевым, братом своей будущей жены. Он-то и спас нас в 1920 году, во время гражданской войны.

Когда началась Первая мировая война, Николая мобилизовали с четвертого курса, присвоив офицерское звание. Был медиком. Есть у его дочери Веры фотография, где он сидит в компании знакомых - в военной форме, вместе с сестрами Тимофеевыми. Чем он занимался после окончания германской войны вплоть до начала 20-х годов, я не знаю. Все 20-е годы Коля работал во Внешторге - ездил на север закупать пушнину. Однажды привез беспризорного голодного татарчонка, которого он подобрал в низовьях Оби вместе с братом. Правда, брата оставили у себя местные жители, поскольку он был постарше, физически крепче и лучше владел русским языком.

Привезенный в Екатеринбург мальчуган называл себя Вася, а когда его просили назвать настоящее имя, он с гордостью сообщал: Шарафи Ахмед Исмагилович Фаткулин. Его родители умерли с голоду, и они с братом решили податься на север, где их и нашел мой брат Николай. Сначала Вася очень плохо говорил по-русски, но потом даже научился читать и писать. Правда, иногда путался, говоря «Николай Димитрич сказала» или «Августа Вениаминовна сказал». Он очень увлекся Жюль Верном, Майн-Ридом, рассказами Джека Лондона. В феврале 1924 года родилась Вера, и Вася помогал Авочке с нею нянчиться. Он был мне другом во всех наших проказах, за которые Семен меня крепко порол. А Васька выслушивал от Коли лишь нравоучительные морали.

У Николая он прожил пять или шесть лет, а потом стал проситься искать брата. Коля охлопотал ему нужные документы (тогда ему было лет 16-17), дал ему денег и необходимые вещи. И он уехал. Через полгода написал письмо: устроился, мол, очень хорошо, поступив на китобойное судно гарпунером. Брата не нашел. После этого писем больше не было, Шарафи Ахмед Фаткулин исчез навсегда.

Коля женился в начале 20-х годов, причем они с Авочкой венчались в церкви, и было по тем временам богатое застолье. Ведь совсем рядом еще оставались голодные годы, когда люди умирали прямо на улицах. Я запомнил, что все приглашенные ездили в церковь и обратно на извозчиках (это был единственный транспорт). Среди угощений запомнил торт из отрубей, в котором вместо сахара использовали сахарин. Еще был жареный гусь с брусничным вареньем, что мне показалось странным: как так - жирное мясо со сладким?! Однако блюдо мне понравилось, и я попросил еще, но получил отказ, потому что могло не хватить гостям.

Как я уже сообщил, мать отдала молодым второй деревянный дом (рядом с нашим), где они жили втроем: Коля, Авочка и Вася. Потом родилась Верочка, и я в двенадцать лет получил почетный титул дяди, который при мне и по сей момент.

В начале 30-х годов Николая арестовали и судили по 58-й статье. За что и по какому параграфу этой статьи - я не знаю. Я тогда был студентом техникума, ходил к нему на свиданье, и на мой вопрос он ответил только одно: «Я виноват, и мне дали десять лет лагерей». Кажется, Коле повезло, и он попал фельдшером на Беломорканал. После освобождения он никогда никому ничего не рассказывал. В Свердловске ему жить не разрешили, и он поселился на Троицко-Байновском руднике возле станции Богданович (это недалеко от нашей дореволюционной кашинской дачи). Долго заведовал там медицинским пунктом, исполняя обязанности фельдшера и врача. После реабилитации и восстановления гражданских прав Коля вернулся в Свердловск к жене и дочке, которые жили с семьей Тимофеевых. Когда дом снесли, всем жильцам было предоставлено новое жилье. Коля с Авочкой получили хорошую однокомнатную квартиру на Бажова - возле штаба военного округа. Из нее и похоронили сначала Авочку, а потом Колю на Широкореченском кладбище.

(Авочка умерла восьмидесятилетней 24 июля 1974 года, я тогда работал в стройотряде на геофизической базе в Артях. Ломал камень, валил лес, загибал какие-то загогулины в кузне... Маша вызвала меня телеграммой, я приехал и отправился в наше кашинское поместье, где перепугал Елизавету Дмитриевну. Она увидела из окна идущего в горку черного (загорелого) человека со стриженной наголо головой и приужахнулась: ээк! Хорошо, восьмилетняя Юлька тут же успокоила: это ж папа... папа...

Николай Димитрич был болен - на ногах трофические язвы, сам ходить не мог, а потому попросил мою Марию купить Авочке розу и положить ей в гроб. Прекрасную белую розу - на прощанье. Они любили друг друга. Помню: мы всей семьей ходили к ним на дни рождения, Николай Димитрич прекрасно готовил селедку «под шубой», как-то по особому кипятил ароматный желто-коричневый чай в большой колбе. После угощения они с Елизаветой Дмитриевной обязательно играли в шахматы. Всё ушло... Иногда я прихожу к их могиле на Широкореченском кладбище, убираю сухие листья и траву. Молюсь о упокоении. Грустно... Почему-то я люблю этих моих семеновских родственников, которые все ушли. Это часть моей жизни. - Борис).

Был у нас еще один брат - Григорий (Гриба), флегматичный парень, по характеру - противоположность брату своему Андрею. Мать рассказывала: когда их во младенчестве высаживали на горшки, то Андрей, выполнив задание, сразу вскакивал и требовал привести себя в порядок, а Гриба спокойно засыпал на горшке и его приходилось будить, чтобы проверить содержимое. Он был немного глуховат вследствие какой-то детской болезни, давшей осложнение на уши. Возмужав, он обладал приятным сильным басом, причем любил петь арии из опер - совсем без всякого аккомпанемента.

Был он большой неудачник, поскольку всегда искал себе работу полегче. Он неплохо печатал на машинке, долго работал делопроизводителем и секретарем-машинистом. Однажды он продал эту не принадлежащую ему машинку, но его разоблачили и пришлось оплатить ее стоимость (отделался легким испугом).

После смерти матери он женился на женщине, у которой уже была 6-летняя дочка Риммочка. Я помню ее очень маленькой, ласковой и послушной. Сейчас она пенсионерка и зовут ее Лариса. В 29-м году родился сын Олег. Григорий и Наташа жили бедно. Гриба стал злоупотреблять выпивкой, в конце концов совсем спился, совершил какой-то проступок и перед войной попал в лагерь.

Жена его в начале войны отправила сына Леку в Сталинабад, где жила ее сестра. Там он вместе с двоюродным братом (мать которого жила в Челябинске) поступил в подростковую артиллерийскую школу - типа суворовского училища. А сама вместе с Риммочкой уехала в Москву, где и получила работу.

Гриба освободился где-то в 1943 году, в армию его не взяли из-за глухоты, которая после лагеря усилилась. И поэтому в середине войны он поехал к сыну в Сталинабад, чтобы устроиться там на работу. Однако до города он не доехал - пропал без вести. То ли помер с голоду, то ли его убили - так никто и не узнал. Я в это время был на фронте, а потому понятия не имел, что он исчез бесследно.

Однако продолжу собственное жизнеописание. Техникум я закончил в 1933 году и был направлен в Полевскую геологоразведочную партию, где работал с геологами Н.А.Спасским, Н.А.Никольским и В.И.Белостоцким. С последними двумя я познакомился еще на преддипломной практике, когда трудился на Северном Урале, на реке Вишере. Никольский консультировал мой проект по Берзинскому месторождению серного колчедана.

Студенческие годы были трудные, поскольку я к тому времени вел самостоятельный финансовый баланс. Получая повышенную стипендию (75 рублей 00 копеек), платил за общежитие, стирку и т.д. Тридцатые годы тоже были голодные. Нам давали суп из сечки, кашу из нее же и бутерброды с повидлом. Но все это в мизерных порциях. Иногда после учебного дня нам удавалось подхалтурить на разгрузке вагонов или на копировке чертежей - и тогда мы закупали хамсы, кильки, хлеба. И наедались «от пуза».

В те годы, когда процветал коллективизм, существовал так называемый звеньевой метод проработки всех учебных материалов. (А.Казинцев: «В те годы даже у пролетарских писателей была популярна концепция «коллективного Льва Толстого». Шедевры должны были создаваться, так сказать, в складчину, путем объединения творческих сил. Самокритично не рассчитывая на качество, мечтали покорить вершины искусства за счет количества. Одновременно пытаюсь извести – доносами, травлей в прессе – злостных «индивидуалистов»...). На вопрос отвечал один человек, а оценку получало все звено. У меня в звене были хорошие, способные девушки, которым я давал для подготовки наиболее сложные вопросы, а себе брал самые легкие. Капа Кисельникова, мать-одиночка, по сей день бывает у нас, иногда даже с ночевкой. Люся Писаревская вышла замуж и родила двух сыновей. До самой своей смерти растила внука. Вера Силина тоже родила двух сыновей, но муж оказался подлецом и бросил ее на произвол судьбы. Не знаю, жива ли она сейчас. Четвертой девушкой в моем звене была первая наша красавица Рита Ананьина, отличная спортсменка (велосипед, мотоцикл, стрельба, лыжи, коньки). Отцом ее был главный бротмейстер (?) Свердловской области.

Однажды мы были на буровой практике в селе Окулово Каменского района. В один прекрасный день я вместе с Ритой и колхозным конюхом поехал на базар за продуктами. На практике нам платили полноценную зарплату... Причем ребята еще попросили купить водки - иногда мы позволяли себе пропустить стопочку-другую в свободное от работы время. Таким образом, кроме макарон, картошки, крупы и селедки, я приобрел еще четверть водки (это емкость на три литра), которую поставил в сено, в кошечку.

Рита была властная девушка, так как парни ходили вокруг нее хороводом и выполняли все ее прихоти. Правда, я не особенно подчинялся ее приказам, но чаще поступал наоборот. Увидев водку, она заявила: «Леонид, ты не смеешь пить эту гадость!» Но я ответил: «Ты мне пока не жена», и дал команду кучеру: «Трогай!» Он радостно хлестнул свою клячу, и она побежала рысцой.

В то время было в моде американское пари: проигравший исполнял любой приказ победителя. И мне пришла в голову шальная мысль: «Рита, спорим на американку - мы не будем пить огненную воду...» Она хихикнула и согласилась, возчик разнял наши руки. Я вытащил четверть из сена и разбил ее вдребезги. Водки как не бывало. Рита улыбнулась и спросила: «Что мне исполнить?» Я говорю: «Сейчас вернемся и зарегистрируем законный брак в сельсовете». Наш возчик Андрей заржал как жеребец, завернул свою клячу и с шиком подкатил к сельсовету. Там мы предъявили свои студенческие удостоверения, и нам сразу выписали брачное свидетельство. Тогда сойтись-разойтись было проще пареной репы.

Правда, по дороге я получил от нее пару подзатыльников за свою сногшибательную американку, а друзья отругали за разбитую четверть водки. Однако затраты мои компенсировали и хохотали до упаду.

После возвращения в техникум многие принимали всерьез мой шуточный брак, а я с важным видом принимал поздравления. На второй или третий день учебы наше звено сидело за одним столом - слушали лекцию по горному делу. А впереди расположился Митька Койфман, который выпросил наше брачное свидетельство и стал его рассматривать. Рита увидела документ, мгновенно выхватила его и молниеносно разорвала на такие мелкие кусочки, что ни о какой реставрации не могло быть и речи. С этого момента наш брак был расторгнут, и поздравления прекратились.

Рита вышла замуж за инженера-геолога Валентина Махинина, родила ему двух детей, а умерла, кажется, в 60-х годах...

Сам я стал чистокровным горняком, работал до войны сменным техником, начальником участка, помощником начальника шахты. Иногда день да ночь приходилось торчать под землей, к тому же по совместительству приходилось исполнять обязанности взрывника и горноспасателя. Зарабатывал я приличные деньги, вел бесшабашный образ жизни и не имел ни малейшего желания обзаводиться семьей, поскольку вокруг всегда было множество женщин, готовых крутить со мной временный роман. В свободное от тяжелой и опасной работы время я увлекался еще и зельем Бахуса - большие деньги, как правило, портят человека. За пристрастие к выпивке меня даже два раза увольняли, хоть и ценили как опытного и добросовестного работника.

Сначала я устроился на шахту «Центральная» Пышминского рудоуправления. Она была очень во-

доносная, шел приток воды из карьера, где плавающая драга добывала золото. В нашу шахту поступало 360 кубометров воды в час. Работая сменным техником, я спускался туда, надев поверх нательного белья брезентовую и резиновую спецодежду. После смены выходил мокрый до нитки. Кроме того, шахта была настолько аварийна, что редкий день проходил без обрушений, без травм. Я тоже немного пострадал, получив камнем по голове (шесть- семь килограммов с двухметровой высоты). Меня спасла каска, так что пролежал в больнице всего дней десять, а потом вскоре уволился и перешел на рудник Зюзелька. Здесь я увлекся «зеленым змием», за что получил пенделя и ушел в Полевское приискское управление - на добычу золота. Меня направили на Шабровский участок, где трудились 120 старателей. Я стал там начальником-десятником. Старатели, как кро- ты, рылись в своих шурфах и дудках. Иногда даже я не знал, где они ковыряются. Весь добытый металл они были обязаны сдавать мне. Я должен был следить и за соблюдением техники безопасности при проходке, а потому с утра до вечера разъезжал по участку на лошадке с кучером. Все кучера по договору с приискским управлением были засчислены в штат и подчинялись мне.

Кстати, на соседнем участке Горнощитском (у начальника Гасникова) был найден артелью из трех человек самородок на 13 кг 687 г. В ознаменование сего был устроен грандиозный банкет, куда были приглаше- ны все начальники участков с парторганами и профгруппорганами. Банкет состоялся в городе Полевском - в клубе имени товарища Кикюра. Угощение было шикарное, а спиртного - море разлитое, так что по участкам нас развозили, как трупы. Мероприятие обошлось в сорок тысяч рублей: приискское управление ассигновало 15 тысяч, да старатели внесли двадцать пять (они получили 18 тысяч золотом плюс богатые вещевые премии). На современные деньги банкет потянул бы тысячи на четыре. Найденный самородок был подарен товарищу Сталину, фотографию поместили в центральной газете с надписью: «подарок от уральцев».

В этой системе я поработал меньше года, а потом опять подался на Зюзельку...

(Письмо из маленького архива Лизы, сестры Леонида Дмитриевича: «Елизавета Дмитриевна! Хоть Ваше письмо и было для меня неожиданным, но мне не было, конечно, забавно и досадно. Ваша забота о Лене вполне естественна и понятна для меня. Не удивительно, что Вы обратились именно ко мне, к человеку, кото- рый здесь на руднике знает и понимает Леню лучше других людей, хотя бы и больше с ним общаемся.

Мне ясна истинная подоплека странных поступков, которые он иногда выкидывает. То, что одним ка- жется забавным, другим - хулиганским, третьим - гнусным, мне представляется совсем в другом свете. Леонид в сущности хороший, неиспорченный парень, и вся беда его в том, что он легко поддается дурным влияниям, легко втягивается в компании, злоупотребляющие водкой. А в связи с водкой неприятности почти неизбежны. Ясно, что ему водки надо избегать, а для этого необходимо здоровое общество, здоровая обстановка.

На эту тему мы говорили с ним неоднократно, он и раньше это признавал, но не мог сразу резко из- менить образ своей жизни. Неприятное положение в связи со старой историей его удручало и еще усугубляло его психологические вывихи. Последняя «гадкая история» дала сильный моральный толчок. Он заявил мне о своем твердом решении бросить пить совершенно, поскольку окончательно понял, на какой путь его может толкнуть пьянство.

Кроме того, он решил по получении документов уйти с Зюзельки и поселиться в Свердловске у брата, первое время отдохнуть и поохотиться, а затем найти работу в Свердловске или поблизости от него. Я, конеч- но, это одобрил.

Последнее время я был сильно загружен и виделся с ним очень редко. Но он действительно не пил и предался общему для Зюзельки увлечению - бильярду. На днях он покончил со всеми делами, получил до- кументы и расчет и 27 числа уехал в Свердловск.

Итак, мне кажется, Леня стал на верный путь. Советую Вам не тревожиться очень, поменьше ругать его. Но, конечно, ему нужно оказывать моральную поддержку, удерживать его на правильном пути. Ваши страхи (конечно, обоснованные) я все же считаю преувеличенными и советую Вам успокоиться, смотреть на дело в не столь мрачном свете.

Простите, что написал мало и неубедительно, я просто не умею выражать свои чувства. Всегда буду рад помочь Вам, насколько это будет в моих силах.

29 августа 1936 г. В. Белостоцкий».

В 1956 году Елизавета Дмитриевна с Машей переехала из барака в новый пятиэтажный дом с вы- соким потолками, где получила комнату в двухкомнатной квартире - с видом на старую деревянную улочку Лермонтова (одна ее сторона сохранилась до сих пор, а на другой - пустырь). И в соседнем подъезде жили близнецы Белостоцкие, дети. Может быть, внуки того Белостоцкого? Или Зеленецкие? Забыл... Дом-то был ведомственный, геологический...

ПИСЬМО Леонида сестре Елизавете: Добрый день, Лизушка! Получил твое письмо по возвращении из Полевского со слета стахановцев. Там встретил Сергея Николаича Данилова, который работал со мной на Левихе. Ты, наверное, его помнишь - такой черненький, маленький. Он очень хорошо меня встретил и рекомендовал как очень способного работника некоторым инженерам-геологам. За декабрь месяц сдал все дела в полном порядке и получил поощрение от главного инженера. Вечер стахановцев был очень прилич- ный. Сначала была торжественная часть, на которую я опоздал, а потом была постановка «Чужой ребенок», которой я застал два действия. После всего этого был товарищеский ужин, где кормили нас всякой всячи- ной: осетриной, колбасами, икрой. Была выпивка, но я деликатно выпил два стакана пива и стакан вина. И за мой благообразный вид получил похвалу от директора «Уралзолота». Вот мое последнее сообщение о моем поведении.

Теперь я попрошу тебя черкнуть мне о своих делах на сессии, как идет твоя сдача. Передавай привет на Гоголевскую (наверное, брату Семену. - Б.), пусть что-нибудь напишут. Привет всем - Ленья. 7 января 36 г.

Леонид - Елизавете (без даты): Добрый день, Лизушка! Я очень и очень рад за твое сообщение насчет стипендии - ведь теперь ты сможешь спокойно заниматься и сосредоточить свое внимание на учебе. В отношении твоего лечения, я думаю, можно сделать так: ты летом приедешь ко мне и отдохнешь как следует. Летом здесь будет хорошо в лесу. Для меня большая гордость, что у тебя такие хорошие отметки, и ты на хорошем счету в институте.

В отношении моей работы порадовать совсем нечем, так как выполнение на сегодняшний день - 69 процентов. Так что это меня немного беспокоит, т.к. в Управлении, наверное, будут пробирать.

Ты писала: когда я смогу приехать на обещанные тобой пельмени. Я затрудняюсь ответить, поскольку не знаю, когда смогу вырваться. По всей вероятности, в первых числах марта, так как нужно клеймить весы.

Ну, ладно - пока писать нечего, да я и тороплюсь ехать на участок. Поэтому вторую сторону письма оставлю пустой. Извини, что долго не писал. Привет всем, кого видишь из знакомых мне. Ленья.)

Летом 1938 года я работал с твоей матерью и с твоим отцом в Восточном Казахстане, а в 39-м заключил договор с Московским отделением Дальстроя НКВД и отправился на Колыму в качестве прораба горных работ. От Москвы до Владивостока я ехал в международном поезде со множеством иностранцев. Во Владивостоке мы жили две недели в гостинице НКВД, ожидая пароход до Магадана. Наконец на теплоходе «Феликс Дзержинский» под звуки духового оркестра мы отчалили из бухты Золотой Рог и поплыли по Японскому морю. Рыбьи косяки пролетали в воздухе несколько метров и снова исчезали в морской пучине. Недалеко резвились дельфины, а на горизонте показался кит - в бинокль было видно, как он пускает из головы свои фонтаны. К ночи мы подошли к заливу Лаперуза, острова Японии светились тысячами огней, а дно пролива - голубым сиянием. Моряки нам объяснили, что на дне скопилось множество моллюсков, богатых фосфором.

В Охотском море нас накрыл девятибалльный шторм. Высота бортов была 17 метров, однако волны иногда перекатывались через нижнюю палубу, угрожая смыть самолеты и автомобили, крепко привязанные стальными тросами и укрытые брезентом. Короче говоря, волны были выше пятиэтажного дома, многие из нас заболели морской болезнью. Мой новый московский знакомый, главный бухгалтер по специальности, три дня не ел — не пил и пожелтел, как лимон. Его все время тянуло на рвоту, и он дал мне адрес своей семьи в Москве, чтобы в случае чего сообщить о его гибели. Но все обошлось благополучно, после трехдневной качки наступил штиль, и мы прибыли в Магадан.

Я был отправлен на прииск Чай-Урья. Это 1200 километров к северу от Магадана. Мне поручили руководить работами в карьере и проходить штольни в его бортах. Рабочая сила - заключенные с большим сроком отсидки (до 25 лет). Тут были и так называемые контрики (контрреволюционеры), осужденные по 58-й статье уголовного кодекса, в которую входят восемь или десять параграфов - вплоть до высшей меры наказания. Другая группа заключенных состояла из матерых уголовников, осужденных за особо тяжкие преступления.

Климат на севере очень суровый. В праздник Октябрьской революции я был назначен дежурным по карьере - и температура опускалась до минус шестидесяти градусов. За все эти трудности нам платили большие деньги. Люди, отработавшие по договору три с половиной года, получали полугодовой отпуск и 200-250 тысяч рублей на сберкнижку.

Однако через семь-восемь месяцев я заболел цингой и острым суставным ревматизмом. Тогда я подал рапорт в политотдел, чтобы меня отправили добровольцем на финский фронт (в это время шла война с Финляндией). Однако мне отказали: «Стране необходимо золото, поэтому продолжайте работать. А когда нужно будет - мы вас призовем служить Родине». После этого я пошел к медикам, которые вынесли заключение: выехать с Колымы в местность с более мягким климатом. Я подал заявление об увольнении, но мне сказали: поскольку вы расторгаете договор, то платите неустойку в размере четыре с половиной тысячи рублей - и выезжайте за свой счет.

Я уплатил неустойку, а потом сидел без дела в Магадане около месяца - ждал начала навигации. Все это вместе с проездом до Урала обошлось мне в копейку - еще тысячи в четыре.

Отдохнув недели две после своего увлекательного путешествия, приступил к работе на руднике Левиха, потом - на самой крупной шахте «Центральная», откуда и ушел на фронт. В конце декабря 1941 года, в ночную смену, обойдя ряд забоев по нижним горизонтам, я встретил своего помощника. Он сообщил: меня и моих забойщиков вызывают «на-гора», пришла повестка из райвоенкомата. Наверху бухгалтерия крутила арифмометры, готовя нам окончательный расчет. Кладовщики принимали спецовку, а начальство говорило о необходимости хранить честь шахтера.

21 декабря 1941 года к шести часам утра мы прибыли на сборный пункт для отправки на фронт. Однако нас сначала привезли в Невьянск, пропустили через баню, сняли под машинку наши шевелюры, надели на нас обмундирование б/у (бывшее в употреблении): буденновки, бушлаты, гимнастерки, полугалифе и ботинки с обмотками. После этого отправили в Свердловск на Сортировку, где мы около трех недель проходили курс молодого красноармейца. Нас муштровали по 10-12 часов: уставы, оружие, тактические и строевые премудрости. В голове иной раз бродили мысли, что от такой муштры недолго и помереть: не только скудно кормили, но даже и не давали съесть что положено - приходилось вылетать из столовой по команде «выходи строиться». Или ночью в сорокаградусный мороз поднимали по тревоге на пятикилометровый марш-бросок, а

на ногах ботиночки с одной портянкой. Я и решил: если вся моя служба в армии будет протекать в таком духе, то, несомненно, придется погибнуть во цвете лет.

Однако все-таки наступил торжественный день воинской присяги, после которой нас отправили в Нижний Тагил, где поселили в громадных казармах вместе с танкистами. Тут уж нам выдали новенькое добротное обмундирование: ушанки, шинели, телогрейки, валенки, теплое белье, полотенца, фланелевые рукавицы с указательным пальцем для стрельбы и т.д. Около недели снова изучали оружие, уставы, строевую подготовку. И однажды рано утром горнист сыграл «подъем», нас построили в две маршевые роты и под духовой оркестр повели на вокзал. Один эшелон должен был отправиться на Ленинградский фронт, а наш - на Воронежский.

На вокзале нас провожали нижнетагильские родственники и друзья. Женщины плакали, пытались ухватиться за теплушки, их оттаскивали, они с плачем падали на перрон. Надо сказать, что в Свердловске меня не отпустили попрощаться с родственниками... Меня никто не провожал, а поэтому я улегся на нары нашего «пульмана», чтобы не видеть эти трагические проводы. Многие из нас, конечно, не вернулись домой.

Наш эшелон шел «зеленой улицей» до Пензы - без остановок. От Пензы до Воронежа мы сами расчищали пути от снежных заносов. Немцы к тому времени уже заняли город, и нас выгрузили на станции Графской - для пополнения 83-го железнодорожного батальона. У меня под командой в отделении оказались в основном шахтеры с нашей шахты Центральной: Ждановский, Глинских, Отпущенко и др. Вскоре я попросился на курсы минеров-взрывников, после которых попал писарем в технический отдел батальона. В Курске меня откомандировали в штаб фронта, где под руководством майора я оформлял альбом для товарища Сталина. Рисовал схемы разрушенных железнодорожных мостов, впоследствии восстановленных нашими войсками. Возвратившись в штаб батальона, я попросился на курсы снайперов. После недельной подготовки меня перевели в команду технической разведки, которая должна была фиксировать все железнодорожные разрушения. Разведка состояла из тридцати солдат боевого охранения, группы связи, минно-подрывной группы, группы пути и станционных зданий. Я был в группе искусственных сооружений (мостов, путепроводов, виадуков и пр.).

Помню тех, кто погиб. Младший сержант Веня Шилов подорвался в десяти метрах от меня на mine, а ефрейтор Миша Баширов пропал без вести, когда пошел с донесением в штаб батальона (подорвался на mine или попал под бомбежку).

Когда линия фронта замирала, нашу группу снайперов из восьми человек отправляли на передовую - в пехотинские части, и мы начинали «охоту на фрицев». За четыре снайперских охоты мы уничтожили полторы сотни фашистов. Однажды под Ковелем нам предложили вместе с пехотинской разведкой взять языка. Вылазка была неудачной: нас было двенадцать человек, трое погибли, трое были тяжело ранены. Причем пострадал мой друг снайпер Петя Шалаев. Ему гранатой раздробило конечности ног, и он заполз в воронку. Мы с Мишей Башировым вытащили его и по-пластунски потащили до своих окопов. Мы тащили Петра по нейтральной полосе под настильным огнем из пулеметов и минометов. Потом командир разведки приказал доставить его на лошади в полевой госпиталь. Она в упряжке стояла за кустами. В госпитале нас выгнали из палатки, но мы сразу-то не ушли и поэтому видели, как санитар вынес две отрезанные ноги...

Салют Победы мы устроили в двенадцать часов ночи по берлинскому времени. Я умудрился выпустить весь диск дегтяревского пулемета. В этот момент как раз подписывали акт о капитуляции, и весь Берлин содрогался от залпов орудий, минометов и катюш. Рано утром я взобрался на Рейхстаг и громадными буквами написал: «Пепелев - Семенов - Урал». Пепелев - мой земляк из поселка Сусанна под Алапаевском. Он в это время сидел в нашей полуторке.

Потом нам пришлось пройти не один десяток километров по берлинскому метрополитену, где мы фиксировали подвижной состав, повреждения путей, стрелочных переводов и попутно разминировали тайники, которые были замурованы и завалены разным барахлом. Там были огромные склады одежды, обуви, хрусталя, ковров и пр. А за нами шли трофейные команды.

Вскоре нас привезли в Познань, где весь батальон погрузили в эшелон, и мы покатали в Россию-матушку. На Урале нашу техразведку расформировали, и я прослужил в техотделе штаба до ноября 1946-го. После демобилизации я сразу женился. О моей жене Валентине и моей семейной жизни ты, Маша, знаешь хорошо, поскольку тебе и моей приемной дочери Наташе было по шесть лет, когда мы с Валею поженились.

По мужской линии в нашей династии сегодня жив только Дмитрий - сын брата моего Семена. У него дочь Ольга и сын Александр. Саша закончил в Прибалтике авиаконструкторский институт, отслужил два года в армии и сейчас живет в городе Фрунзе под крылышком у родителей. Это умный, внешне интересный парень. Но на переписку ленив - за многие годы я так и не дождался ни одного письма. Когда его отец приезжает в Свердловск, мы отправляемся с цветами на могилку Сени, поминаем его добрым словом.

Сын Григория Олег умер в сентябре 1977 года, прожив на земле сорок восемь годков. Он с юных лет сам себя ставил на ноги, без родителей. Крохой лет двенадцати он учился в военной школе, а потом был направлен в Харьковское военное училище. Закончил его с отличием и поступил в военную академию на факультет кибернетики. Там получил тоже диплом отличника и выбрал для прохождения службы Москву, где жили его мать и сестра. Служил военпредом, умер в звании полковника. Детей у них с женой не было, может быть из-за этого он шибко пил. Наверное, потому и помер преждевременно. Иногда он приезжал в гости, у Лизы в деревне летом 1965-го гостила его мать. Что говорить: ты его знала, он был твоим любимым двоюродным братом...

Теперь немного про твою мать Елизавету Дмитриевну. Она была одаренным человеком, имела при-

родно поставленный голос. Помнишь, как пела «Утро туманное»... Как-то муж твой Борис записал ее на магнитофон, и я дал послушать эту запись своему ныне покойному другу. Он слушал раскрыв рот, а потом сказал: «Леонид Дмитрич, это же выше любого профессионала, зря твоя сестра не преподнесла свой талант людям».

Во время войны был голод, и она страдала дистрофией, от которой умерли сотни тысяч людей. Но тебя сохранила от этой страшной болезни. Она отчаянно боролась за твою жизнь, недоедала свой скудный паек, была донором, несмотря на истощение. Работала, училась... Вообще, я удивляюсь, как она вынесла такую нагрузку и спасла тебя от верной гибели.

А ты была фантазерка. Я хорошо запомнил такой случай. После войны я служил на Урале, и меня отпустили в Свердловск на протезирование зубов. Сидел у вас в бараке, и ты уронила маленький игрушечный глиняный горшочек. Он разбился вдребезги, а ты стала уверять меня, что сейчас склеишь йодом. Я тебе сказал: ЙОД НЕ КЛЕИТ ГЛИНЯНЫЕ ЧЕРЕПКИ, надо подмести обломки и выбросить в поганое ведро. Но ты начала мазать йодом осколки горшка и складывать, подгоняя друг к другу. Твоя фантазия и настойчивость имели плачевный результат: ты вся испачкалась, а потом с плачем все-таки отправилась к помойному ведру.

(Маша тогда запомнила совсем другое: с войны приехал дядя Ленья и стал качать ее на своей ноге. Ее никто никогда не качал на ноге... А потом дядя Ленья стал качать всех других ребят во дворе - даже тех, у кого был свой собственный отец. Стало так обидно...)

А вот другой случай твоего фантазерства. Ты была уже замужем, родила Антона. Однажды пошла с ним на прогулку, положила его в коляску, а когда вернулась домой, сообщила матери: «Подошел ко мне внешне приличный гражданин и, заглянувши в коляску, стал уговаривать, чтобы я продала Антошу за 25 тысяч рублей». Испугавшись дикого предложения, ты поспешила домой и рассказала матери об ужасном происшествии. Лиза приняла твой рассказ за чистую монету, а потом рассказала мне. Я расхохотался и сказал, что это просто шутка, фантазия. Лиза на меня сильно обиделась. Маша, мол, не фантазерка, а очень правдивая дочь, которая ничего не скрывает, всем делится с матерью. Ты проказничала, а она тебя все время защищала. Помню ее рассказы: то на все оставленные тебе деньги закупишь семечек (вместо питания), то домой цыганок приведешь, и они утащат весь подаренный матери хрусталь (она расстелила скатерть, сложила хрусталь и отдала цыганкам; гипноз?). А я был сторонник того, чтобы наказывать тебя за глупые выходки - вроде игры на университетских лекциях.

(Однажды Маша с подругой пошла сдавать экзамен. Учились они на заочном отделении факультета журналистики. О предмете Маша имела очень смутное представление, а потому решила разжалобить преподавательницу - и положила себе подушку на живот. Уже уселась отвечать, а в это время вкатывает себя Люська Вахмянина - рыжая, с ярко-красной помадой на губах и тоже брюхом вперед, с подушкой на животе. Экзаменаторша говорит печально: - У вас весь курс нынче... беременный?)

А за «игры на университетских лекциях» Мария вылетела с филологического факультета. Туда она попала сразу после школы в пятьдесят шестом году вольнослушательницей, потому что чуть-чуть не прошла по конкурсу (сдала на тройку историю СССР, хотя за сочинение была пятерка - из двухсот сорока лишь три отличных оценки). Тогда десятиклассникам отводили только пятую часть мест, а остальное - так называемым производственникам, то есть людям с двухгодичным производственным стажем. Вот Маша и оказалась в универе на птичьих правах. Недавно Юлька обнаружила письмо Елизаветы Дмитриевны заместителю министра высшего образования товарищу Прокофьеву: «Факт нарушения дисциплины заключался в следующем: на лекции по логике одна из трех девочек принесла карты и предложила сыграть в неазартную игру. «Игра в карты» звучит страшно, в данном же случае это была просто смешливая, глупая забава. Она заключалась в том, что при открытии дамы надо было говорить «бонжур мадам», при валете «пardon мосье», королю отдавать честь и при тузе положить палец на стол... Других девочек не только не исключили из университета, но даже не сделали выговора и не поставили на вид.

...А дочь узнали из вуза, и она пошла в редакцию областной молодежной газеты «На смену», где, работая курьером, быстро проявила свои способности и стала печататься. Ей неоднократно поручали достаточно серьезные задания, с которыми она справлялась. Прилагаю её статьи».

Летом Маша снова сдавала вступительные экзамены, но её взяли только на заочное отделение. Опять припомнили ей «пardon мосье» и «бонжур мадам»? Потом Мария работала и училась, рожала детей, уходила в академический отпуск, так что получила диплом только в 68-м году, вместе со мной. - Борис).

Меня до сих пор удивляет: вы с Лизой - люди с высшим образованием, однако обе суеверны и набожны, то есть убеждены в том, что есть Бог и что какие-то приметы могут быть причиной человеческих несчастий. Например, кто-то может сглазить, нагнать хворь и т.д. Лиза была очень нервная, мнительная, часто ссорилась со мной и с Колей, считая, что она права во всем... Вся ее жизнь прошла в хлопотах, волнениях и переживаниях за тебя (частично и за меня). Спокойной и нормальной личной жизни она не имела. А я верю только в гениальный ум человека и собственные силы, которые получил от рождения и буду использовать до конца жизни, которая, к сожалению, приближается к концу. Не за горами тот день, когда мне придется переехать в урну с постоянной пропиской на кладбище.

(Он умер после Марии - через полгода. Чуть не поссорился со мной из-за дореволюционных семейных фотографий, принадлежавших Елизавете и Марии. Я их не хотел отдавать. А он придумал завещать их единственному Семенову (Александру, внуку Семена, живущему в Бишкеке), но потом передумал, и его доченька передала альбом мне на похоронах. Я тогда работал сторожем, торопился на дежурство и не пошел сопровождать его тело в крематорий - только поцеловал его последним целованием и перекрестил. Да мне и не

хотелось сопровождать его тело в крематорий. Церковь не советует жесть... При жизни он решительно отметал всякие разговоры о Боге, а после смерти явился больной и несчастный, проник в сон моей дочери: жалобно стоял под дождем у ворот нашего деревенского дома. С тех пор я поминаю его на проскомидии и в своих ежедневных молитвах.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих Симеона и Ксении Половниковых, Дмитрия и Татианы и деток их Виктора, Виктора, Ксении, Бориса, Андрея, Сергия, Екатерины, Григория с Олегом - о них же некому молиться. Некому молиться. Я не знаю, станут ли мои потомки их поминать... Как можно знать заранее... Помяните кто-нибудь... кто сейчас читает их имена.

Упокой, Господи, душу любимого дядюшки моей Марии — Симеона, Леонида с женой Валентиной, Николая с женой его Августой, с братом ее Александром, который спас Татьяну с детьми во время гражданской войны, с их родителями Тимофеевыми Вениамином и Антониной. Они тоже упокоились на Ивановском кладбище — рядом с Татьяной и Екатериной. Под огромным тополем недалеко от главной аллеи. И родителей жenuшки моей Кириллы и Елисавету с ныне почившей девочкой их Марией. Прости им, Господи, согрешения вольные и невольные и даруй им Царствие Небесное.)

ДЯДЯ КОЛЯ

Недавно догадался позвонить внучке Николая Дмитриевича Семёнова. А это дядя моей Марии. Её зовут Елена Кирилловна Костоусова, ей пятьдесят лет, недавно защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук («Полиэдральные аппроксимации в задачах гарантированного управления и оценивания»). Мы с ней встретились, поговорили, она подарила мне копии писем, семейных документов, из коих я узнал много новых для себя вещей. Например, что Татьяна Семёновна Семёнова, бабушка моей Кирилловны, родилась в 1869 году (по моим подсчётам примерно так и получалось). Кое-что узнал и про Александра Вениаминовича Тимофеева, который вывез Татьяну Семёновну с детьми из Омска в родной Екатеринбург в 1920 году. Он служил врачом в санитарном поезде Красной армии (тоже, по-видимому, по мобилизации, как его однокурсник Николай Дмитриевич, коего в 18-м году призвали фельдшером в Белую армию). Если бы не он, то маленькая Лиза (мать моей Марии) могла бы погибнуть в Омске от тифа, как её отец и брат Андрей. Я благодарен ему.

Александр Тимофеев, к слову, — брат Августы Вениаминовны Тимофеевой, жены Николая Семёнова. Он родился 30 августа 1892 года, а умер 2 октября 1960-го. Вот коротенькая семейная справка: «Врач. В гражданскую войну был начальником эшелона для раненых. В годы Великой Отечественной войны заведовал военным госпиталем в Свердловске. Полковник. Его женой была Тимофеева Наталья Прокопьевна (ум. 01.01.1964), родом из цыган. Работала сначала медсестрой, а потом — зубным врачом в Суворовском училище. Их дочь Тимофеева Нина Александровна (24.01.1921 — 28.09.1974) — тоже врач, кандидат медицинских наук. С детства было больное сердце. После гибели на войне первого мужа Виттена вышла замуж за В.И.Циркуна. Детей не было».

Есть фотография, где Александр Вениаминович сидит у стола за микроскопом, а за ним стоит его жена (кажется, красавица) возле штатива с пробирками. Упокой, Господи, их души.

А вот что можно прочесть про Авочку, Августу Вениаминовну, жену Николая Дмитриевича Семёнова, про него самого, про их семью: «А.В.Тимофееву (23.11.1894 — 24.07.1974) после ареста мужа приютил брат Александр Вениаминович. Летом 1931 года им с Николаем пришлось развестись. Это, в частности, позволило дочери получить высшее медицинское образование. По её словам, мама наказала ей говорить всем, что у неё нет отца, и она не делилась горем даже с лучшей своей подругой Таней Косминенко. Не вступила в комсомол, хоть и очень хотелось».

После развода Авочке предлагал руку и сердце некий юрист, но она отказала. Посылала посылки мужу, ездила к нему на свидания на Север, один раз даже с дочкой, а потом — в Богданович, где Николай Дмитриевич был вынужден жить долгие годы после освобождения из Кольлага. О нежных и глубоких взаимных чувствах свидетельствует переписка тех тяжёлых лет. Остаток жизни они были вместе.

В молодости Авочка перенесла туберкулёз лёгких (в 1919 году, а в 1926-м — обострение). Потом ещё шесть раз болела воспалением лёгких (1941, 54, 55, 56, 57, 58 годы). С 1935 года она работала в Свердловском мединституте (лаборантом и секретарём деканата). В 1959 году с кафедры школьной гигиены ушла на пенсию (49 руб. 50 коп.).

Её муж закончил три курса медицинского факультета Казанского университета, обучение в котором так и не довелось завершить из-за революционных и последующих событий. При Колчаке служил лекаром (помощником лекаря) при 8-м охранном железнодорожном батальоне. В 1920 году был арестован органами ОГПУ, но через полтора месяца освобождён. До ареста в 30-м году работал доверенным по пушным заготовкам в Уралохотсоюзе, жил в Свердловске на улице Хохлакова 36. В архивной справке написано так:

«Семёнов Н.Д. был арестован полномочным представителем ОГПУ по Уралу в ночь с пятого на шестое ноября 1930 г. по обвинению в участии в контрреволюционной вредительской группе, созданной и руководимой центром контрреволюционной вредительской организации инженеров на Урале (ст. 58, пп.7, 11 УК РСФСР). Состав семьи на момент ареста: жена Августа Вениаминовна, 35 лет, домохозяйка; дочь Вера, 6 лет. По решению судебного заседания Коллегии ОГПУ по Уралу от 8 августа 1931 г. был приговорён к заключению в концлагерь сроком на 10 лет. Был освобождён 5 ноября 1940 г. в Мурманске из Кольлага НКВД за отбытием срока».

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. заключением про-

куратуры Свердловской области дело в отношении Семёнова Н.Д. было прекращено за отсутствием состава преступления. По данному делу он полностью реабилитирован. Основание: УГААОСО, ф.1, оп. 2, д. 43932».

Свердловск был «режимным городом», а потому дяде Коле жить там после освобождения из концлагеря не разрешили. Жил возле города Богдановича на руднике, где добывали огнеупорную глину. Заведовал медицинской амбулаторией, помогал семье продуктами во время войны, в 1947 году награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В 53-м году перенёс инфаркт миокарда, переехал в Свердловск, работал статистиком в лечебно-физкультурном диспансере. С 1961 года ушёл сначала на пенсию по инвалидности (вторая группа), потом получал по старости 45 рублей. Кстати, в 1955 году он получил справку о снятии судимости. В последние годы жизни страдал трофическими язвами, в конце концов решился на ампутацию ноги. Умер 10 апреля 78 года – осложнение после операции. Причиной смерти указаны гангрена кишечника, атеросклероз. Похоронен на Широкореченском кладбище вместе с женой (9-я секция). Общий мраморный памятник, две фотографии.

У Авочки и Николая были сын Дмитрий, умерший в младенчестве, и дочь Вера, в замужестве Власова. Она родилась в 1924 году, в 41-м поступила в Свердловский мединститут, который закончила с отличием. Тринадцать лет работала врачом клиники Института гигиены труда и профзаболеваний, занималась и научной работой. Наблюдала и обследовала людей, работавших на плавке кремния (Уральский алюминиевый завод, Челябинский завод ферросплавов), – и доказала вредность этого производства. О своих исследованиях она и Б.Т.Величковский писали в Москву, в результате чего рабочим увеличили отпуск, уменьшили рабочий день.

В 1959 году Вера Николаевна перешла в Городской врачебно-физкультурный диспансер (туда потом тёща моя Елизавета Дмитриевна частенько водила сына нашего малолетнего Антошу, страдавшего скалиозом. – Б.С.). Там она 20 лет практиковала лечебную физкультуру. Больные её очень любили, а правительство наградило медалями «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» (1982), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1992), «50 лет победы в Великой Отечественной войне» (1995).

В 1955 году В.Н. вышла замуж за К.Б.Власова (род. 04.04.1920), а в 1956 году у них родилась дочь Елена. Кирилл Борисович Власов – известный физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины по науке и технике (1986). Давным-давно закончил Уральский политехнический, во время войны работал инженером-инспектором на заводе №76 Наркомата танковой промышленности. В 45-м стал аспирантом Института физики металлов Уральского филиала АН СССР, где потом работал 53 года, пока тяжёлая болезнь не приковала его к постели. Около пятнадцати лет он возглавлял лабораторию электрических явлений, заложил основы вращательно-инвариантной теории магнитоупругих сред, развил теории высокочастотной магнитоакустики, магнито-акустических аналогов эффектов Фарадея, Керра, Коттон-Муттона и др. Вместе с учениками экспериментально обнаружил все эти эффекты. Награждён орденом «Знак почёта» и медалями.

Кирилл Борисович уже семь лет как парализован, Вера Николаевна тоже тяжело больна, Лена ухаживает за ними – совсем почти от них не отходя. Мы с ней разговаривали о том о сём, разговор как-то коснулся мировоззрения. Говорит: я материалист. Милая Леночка, вы никак не можете быть материалистом, потому что Бог есть любовь. А как же сильно надобно любить своих близких, чтобы годами и безропотно ухаживать за ними. Бог-любовь живёт в вашем сердце, хоть рассудок и пытается уверить себя в атеизме. «Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём... Не любящий брата пребывает в смерти... Станем любить не словом или языком, но делом и истиною... Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев». Это апостол Иоанн Богослов. Надо бы вот ещё воспользоваться помощью нашей русской святой церкви, потому что без неё силы часто оставляют нас... оскудевает любовь... может нагрязнать отчаяньем. Особенно когда теряем тех, кого любим. Я испытал это, поверьте: депрессия однажды чёрным колпаком накрыла мою душу. И только в таинствах и обрядах Православной церкви освободился от неё.

Вот кусочек воспоминаний Кирилла Борисовича: «У моего прихода в физику и ИФМ были, как у марксизма, три источника: оригинальные лекции академика И.К.Кикоина, физическая олимпиада и встреча с В.И.Дрожжиной... После окончания института я работал на заводе. Начальницей была женщина, требующая беспрекословного подчинения, часто бессмысленного. Однажды там я встретился с Валентиной Ивановной Дрожжиной – сотрудницей ИФМ, занимавшейся дефектоскопией. Я увидел другую женщину – и по отношению ко мне, и по отношению к работе: эрудированную и внешне привлекательную. Она показалась мне похожей на Марию Склодовскую-Кюри...

И вот мне тоже захотелось заняться научной работой, стать учёным-физиком. Я решил поступить в аспирантуру ИФМ. Экзаменационную комиссию возглавлял И.К.Кикоин. На экзамене я сразу не смог ответить на вопрос, что такое магнитострикция. (Ну, чёрт его знает, что такое магнитострикция, когда я работаю день и ночь на заводе, подготовиться не могу!) И.Г.Факидов задаёт наводящие вопросы: «А почему гайки откручиваются? Почему гудят трансформаторы?» Ну, тут я начинаю чертить силовые линии токов Фуко, их взаимодействие, которое также приводит к деформации листов трансформатора. Вот Кикоин и говорит: «Да... Ведь не знает, а пытается ответить! Поставим ему отлично». (Вот это и есть настоящий подход к научному сотруднику: неважно, знает человек что-нибудь или не знает. А важно, пытается ли он что-то сделать или не пытается.)

Аналогичный случай произошёл у меня и с С.В.Вонсовским. Я отвечал у доски на вопрос по теории относительности. Резко обернулся и спросил у Сергея Васильевича: «А куда же делась вот эта величина?» Он растерялся и ответил: «Не знаю»... Эти учёные ценили не заученные знания, а процесс их создания.

Сдав экзамены, я поступил в аспирантуру. По закону меня должны были отпустить с завода, но дирек-

тор отнёсся к этому... неправильно. И я подал жалобу в суд. А там простые люди (судья и народные заседатели: вахтёр завода и ленинградская коммунистка) поняли моё желание учиться. На суде заседатель (вахтёр) спросил: «Ты что, учиться хочешь?» «Да,» – говорю. И суд принял решение в мою пользу. Когда я показал директору решение суда, он гневно сказал: «Я обжалую это решение». Я ответил, что десятидневный срок обжалования истёк. Тогда он грубо закричал: «Почему же ты не сказал мне об этом?» А об этом должен был уведомлять не я, а его юристы...

Мне всё время очень везло: я попадал в такие коллективы, где была творческая атмосфера. Сначала меня принял в лабораторию Я.С.Шур. Здесь я получил большую закалку, научился экспериментальному мастерству, стал кандидатом физ.-мат. наук. Затем перешёл в отдел теоретической физики С.В.Вонсовского. Сергей Васильевич оказал на меня неизгладимое влияние. Я очень его любил, и он отвечал мне взаимностью, стал моим неформальным руководителем, у меня появились теоретические работы. ... Тут у нас между сотрудниками, вообще говоря, было соревнование. Но это было не «бумажное» соревнование (беру, мол, обязательство то-то и столько-то сделать). Соревнование, не конкуренция! Потому что мы делились своими результатами. Зачастую что-то, полученное одним, другой использовал в своей области. Вот это считаю важным: должна быть не только конкуренция, не только экономические стимулы, а ещё вот и такие... не знаю, как их лучше назвать... может быть духовные.

...Многие мои работы стали результатом коллективного труда. Один в поле не воин. Я очень благодарен всем моим ученикам, а потом и сотоварищам по научной работе (и просто сотоварищам) за совместные труды. Одним из главных моих успехов я считаю, что удалось воспитать много учеников (пятнадцать из них защитили кандидатские диссертации). Как-то Б.Н. Филиппов пошутил, что из-за меня страна потеряла много новых открытий. Он рассказал, как полный энтузиазма решал предлагаемые уравнения и всегда находил новые явления, а я заставлял его попробовать решить это другим методом. И в результате иногда получалось так, что действительно явление зависело от того метода, которым оно было получено. И почему-то величина открытого эффекта уменьшалась и даже «занулялась». Я действительно рекомендовал получать искомый результат несколькими способами, чтобы сделать его достоверным. Но, конечно, я не всегда «закрывал» открытые Борисом Николаевичем закономерности, и очень рад его крупным, интересным достижениям.

Ещё несколько слов об идеале. Я всё-таки считаю и сегодня, в 2000 году, что должны быть коммунистические идеалы. По крайней мере, важен такой принцип: труд должен быть не обязанностью, а потребностью, должен доставлять человеку радость. И мне кажется, что научные сотрудники уже приближаются к этому идеалу.

Я тоже, пока мог, продолжал работать. После инсульта оказался прикован к постели, лежу плашмя. Мои ученики и коллеги и теперь не бросают меня, навещают и держат в курсе научных работ. Конечно, и мне хочется ещё поработать».

Сегодня, после второго инсульта, Кирилл Борисович уже не может говорить. Но я, грешный Борис, считаю его главным жизненным достижением простой факт: дочь и жена любят его. Наверное, и он любит их очень сильно. Это и в семейных традициях.

«Любовь побеждает смерть», - писали древние христиане в катакомбах. Вот Николай и Авочка: «13.01.1932 г. Милый папуля! Здравствуй! Как здоровье? И самочувствие? Не знаю, с чего начать. бранить тебя или жалеть... Ты молчишь – а у меня душа изболелась... Не знаю, что с тобою. Может быть, ты от меня так же ничего не получаешь? А надо знать, и как можно скорее, так как числа 25-го января мне дают отпуск, – как его использовать? Хочется видеть тебя. От М.М. у меня сведения, что ты нездоров. Что с тобой? Лечись, папуля. Врачи у вас есть. Помни, что мы с Верулькой часто-часто о тебе говорим. Ложимся и встаём, садимся за стол и встаём с разговорами о тебе. И ждём тебя.

Скажи: получил ли ты деньги, правда немного – 15 рублей, посланные ещё в последних числах октября или первых числах ноября по адресу: Соловки, правление Слаг, твоё имя. И две посылки, отправленные 12.12., 03.01 на 10-е отделение. И заказное письмо от 13.12 с нашей фотографией? И несколько открыток. Черкни, в чём ты нуждаешься. Что привезти?

Верулька наша отличается в эту зиму: перенесла в тяжёлой форме корь. Выдержала я её после болезни основательно, дело кончилось без осложнений. Но организм стал, очевидно, более восприимчив к простуде. То она примется кашлять, а тут грипп подхватила. Опять выдерживала её в кровати несколько дней. Но нет как-то уверенности, что снова не заболит.

Ученье ей даётся легко. Читать сразу как-то научилась – не тянула по слогам. Считает тоже прилично. Вот писание... Это она не особенно любит, тут она спешит, ей некогда выводить. Вытянулась – ростом от Ниночки не отстаёт. С Ниношкой и Лёкой по-прежнему большие друзья.. Все они ещё совсем ребята, с ними и самой становится веселей. В обществе ребят я отдыхаю...

Ниночка занимается в музшколе. С Верулькой я сама понемножку. Ноты она уже знает. Вот пальчики плохо слушаются. В материальном отношении мы живём неплохо. Я служу, зарабатываю около 200 рублей. Бабуля ведёт хозяйство. Нам хватает... Только тебя не хватает. Изредка хожу в театр и кино – сижу и глотаю слёзы, всё напоминает тебя.

Подробнее про всех наших напишу в следующий раз. Лизочка и Лёня учатся. Верушка на днях сказала: мы с Лёкой (с Леной? – Б.С.) равны – у неё мамы нет, у меня – папы...

Целуем крепко. Ава и Верочка».

«Мурманск, 10-е отделение ББК НКВД, 1-й лагпункт (Кислая губа). Н.Д.Семёнову. 19.02.35 г. Колюша, дорогой, здорово!! Тревога о твоём здоровье всё растёт и растёт. С 5.12.34 г. ничего не получаю и не знаю. Не знаю даже, получил ли ты посылочку с варежками, больные руки и ноги надо держать в тепле, в мягком и сухом.

Мы с Верулькой собираемся тебя видеть-навесить. Она по тебе очень скучает. Вчера был день твоего и Верулькиного рождения. Поплакала я с утра (так, чтобы никто не видел), отдаваясь воспоминаниям. Пробежалась по городу: природа – мой вдохновитель»... Прямо на тексте письма круглая печать: ББК №23.

«30.11.47 г. Милые, дорогие Верочка и Авусик! Доехал до Богдановича великолепно. На Северной пришлось подождать до часу ночи. Прибыл на рудник в начале второго. Справился в амбулатории – всё ли благополучно. Оказывается (по словам дежурной сестры) здесь без меня ничего не случилось. Значит, могу отдыхать и спать спокойно. Но, прежде чем ложиться в кровать, хочется с вами поговорить хоть ещё немного, и лишний раз мысленно представить себе ту и другую такими, какими видел сегодня. По всей вероятности, те же образы будут вставать до новой встречи. Жаль только, что долго, слишком долго мы опять не увидимся. Но что станешь делать, если жизнь складывается для меня таким образом?

Сейчас в комнате чувствуется ветерок, который гуляет на улице. свежо, но печку топить нельзя, а поэтому заберусь под шубу и одеяло – и мне снова будет тепло. К тому же, повидавши вас, на душе стало как-то теплее и легче. А это много значит. Правда, виделись мельком, говорили мало, но этого с меня пока на сегодня довольно. Я счастлив, что видел любимых. Но как и чем помочь, мои дорогие? Верулька (вторая мама) угостила меня на славу и успела сунуть в сумочку хлеб и значительную часть гостинцев, которые я привёз больной и ей. Выходит – привёз вам, а съел сам. Это нехорошо. Но что будешь делать, если дочурка подвела? Крепко-крепко целую всех. Коля».

«05.03.1945 г. Свердлов. область, ст. Богданович, Байновское рудоуправление. Больница. Н.Д.Семёнову. (Штамп: «Просмотрено военной цензурой. 13 000»). От кого: Семёнова Елизавета Дмитриевна.

Дорогой Коля! Не писала тебе долго по трём причинам: 1. Переживаю обиду на тебя за то, что ты ни разу в течение года не удосужился заглянуть ко мне, хотя и был в Свердловске неоднократно. 2. Маша всё продолжает серьёзно болеть; по данным рентгена у неё состояние следующее: инфильтрован корень и прикорневая зона, задето левое лёгкое, причём инфильтрат в лёгком упорно держится. Смотрел её ещё на рентгене профессор Виленский и сформулировал свой диагноз так: «Бронхооденит и левосторонний первичный комплекс в фазе медленной организации». Аппетита у девочки по-прежнему нет, можно не кормить сутками, часто потеет, опять очень похудела. (Представляешь, каково у меня должно быть на душе. Если кончится жизнь Маши, кончится и моя. Человеческому сердцу – его жизни – тоже должен быть предел в страданиях и огорчениях.) 3. Несмотря на то, что Маша болеет, я не могу не работать. Этого требует жизнь и в особенности Машина болезнь (хотя и не совсем (неразб.) работать и девочку оставлять одну, но ничего не поделаешь). Так вот в институте продолжаю заниматься, несколько дней тому назад сдала английский, свой первый кандидатский экзамен. Сдала на хорошо (огорчена, что не отлично). После экзамена время чуточку разгрузилось, с обидой на тебя с грехом пополам справилась (особенно после твоей маленькой записки и сладкого пирога).

Состояние же Машиного здоровья побуждает ещё раз обратиться к тебе с одним предложением (хотя начиная с июля прошлого года ты оставался инертным при обращении к тебе с просьбой или советом). Вся трагедия в смысле ухода заключается в том, что я не могу полностью соблюдать требуемый режим – в силу того, что обязана работать. Доверить чужому человеку я её тоже не могу. Отдать её в санаторий, при её постоянной потливости и незакалённости, я также не могу. Положила бы я её к тебе в больницу. Говорят, она образцовая – с добавочной обеспеченностью жирами, крупами, хлебом. И рублей 500-600 денег в месяц (на молоко). Есть ли в твоей больнице подходящие для Маши условия? Пожалуйста, напиши.

Спасибо за предложенную картошку. На март месяц с грехом пополам растяну, а в апреле может быть и смогу приехать, хотя почти невозможно это сделать.

Давно ничего не получаю от Сени. Не заболел ли? Самое большое огорчение сейчас: от Лёни нет писем. Получила письмо из части от командования, что он награждён орденом «Красная звезда», что часть гордится им, но от него ничего нет. Письмо написано 7 февраля, часть в то время стояла меньше чем в ста км от Берлина! А от Лёни ничего нет. С ноября нет писем и от Грибы. Но переживаю ужасно за Лёню. Каждую ночь снятся кошмары, и целые дни сумерки на душе из-за Маши и Лёни. Прошу – ответь не задерживаясь.

Целуем – Лиза и Маша. Помни, что ты – единственное хорошее и светлое, что осталось от моего прошлого.

Лиза».

СТАРЫЕ ПИСЬМА

Летом 38-го Лиза Семенова поехала после института в Восточный Казахстан - прорабом. Там познакомилась с Кириллом, попавшим туда из Москвы на практику. Они виделись там не больше двух-трех месяцев и, наверное, любили друг друга. По крайней мере тогда... Впрочем, Лиза полюбила его навсегда. Всегда и никогда — такие страшные слова. Хорошо хоть, что не имеют смысла друг без друга.

Можно сказать: случай... Да? Случайно встретились два человека на необозримом пространстве России – в центре Евразийского континента, чтобы потом появилась на свет маленькая Мария. Они зарегистрировали брак и расстались. Она вернулась осенью в Свердловск-Екатеринбург, он - в Москву. Но что же значат вот эти простые факты: через сорок дней (православные поймут меня) после успенья Марии Церковь

вспоминает Марию и Кирилла, святых родителей преподобного Сергия Радонежского. Мы не знали, но именно они оказались святыми покровителями моей Марии Кирилловны. Память Кирилла празднуют недалеко от дней рождения Елисаветы, дочери ее Марии, внучек ее Марии и Ольги. За 280 дней до моего рождения (31 января) Церковь опять вспоминает Кирилла и Марию, святых родителей преподобного Сергия... 280 дней мать вынашивает свое дитя. Наверное, нам было назначено Богом спасти друг дружку... А мне – опекать дочь Кирилла - то единственное, что от него осталось на земле. И вот ещё какой намёк мне: 31 января – как раз посередине между днём рождения моей матери (3 февраля) и днём её упокоения (28 января).

Значит, не случай, но Бог? Он вел нас навстречу друг другу. А до этого соединил Кирилла и Елизавету? Ах, если бы они сумели соединиться...

Кирилл - Елизавете: «2 июня 1939 г. Моя дорогая Lisbette! Сколь счастлив я был, получивши твое последнее! Я очень обрадован тем, что родилась дочка. Не бойся, что у нее крупные черты - это к лучшему: гаденький утенок расцветает в прекрасного лебедя, это ты должна понимать. Прости меня, я счастлив и беспечен. Назови ее (мое мнение - а там - как хочешь) Марьей Кирилловной (в честь Троекурова Марии). Красиво и хорошо. Просто... Не беспокойся, что она некрасива. Значит, она в меня - такова наследственность: все наши скрывали с детства под неприглядной наружностью широкое и красивое сердце... Прости, я говорю о «наших», не о себе...

Лиза, прости меня. Я обрадован отличным завершением твоего экзамена и взволнован в то же время... Мне так же, как и, наверное, тебе, хочется о многом поговорить..... Ты знаешь, наверно, что мы с тобой плохая пара: ради тебя... порвал я... с «Северным Кавказом», оставя в недоумении своих... Считаю меня за типичного, горьковского босяка, бродящего по жизни и по стране... Хотя ты и говоришь (и пишешь), что поняла меня, - этому нелегко поверить! Ибо, по моему мнению, меня понять нельзя: слишком много противоречивых черт я в себе заключаю - и сам не могу себя понять до конца... Одинокая доля мне суждена...

Прости меня, если я в чем перед тобой неправ... Прости, если можешь понять. Сейчас я питаюсь сам, питаюсь Языковым и Жуковским, Белинским, Гоголем и Тредьяковским, et cetera, et cetera... Пойми, что сейчас я не являю собой сколько-нибудь целостного человека!» (текст обрывается, поскольку исписаны обе стороны почтовой карточки без адреса; наверное, существовало и продолжение).

Кирилл-Елизавете: «18 марта 1940 г. Весьма странное положение создается, когда мне запрещено называть тебя тем, чем хочешь, и всякое откровенное высказывание вызывает целую кучу обидных до крайности соображений и подозрений в неискренности... Чем это я заслужил? Тем ли, что не кривя душою, «декларировал», что люблю ... (край письма оборван)? А знаешь ли ты, что такое... (обрыв). Любишь ли меня ты? Уверен, что... (тот же обрыв, и на сгибе несколько слов не разобрать) ...как всеобъемлющее, вполне искреннее сильное чувство, неразрывно связанное с самопожертвованием, готовностью посвятить всю себя, всю жизнь своему любимому человеку. Это своего рода религия, полный отказ от своего «я», согласование мыслей и побуждений, каждого дня и часа с идеей служения своему божку. Он должен быть полное совершенство; его недостатки не должны ни замечаться, ни обсуждаться, они служат для отображения его добродетелей, как тени на рельефной карте оттеняют повышенные места... Иной любви я не могу назвать этим словом. Должны же слова быть приведены в соответствие с понятиями?!

Ты пишешь, что мне изменить невозможно. Не верю. Попробуй, и узнаешь, что не только возможно, но и весьма не трудно. 2000 километров слишком хорошее расстояние для легко изменяющегося чувства.

Ну, довольно дразнить! Знаю, верю, чувствую, понимаю. Но дразнишь же ты меня, говоря, что мне, должно быть, до Маши дела нет, до твоего здоровья - никакого?! Расстанься с глупой маской и пиши подробно о ней и себе - прошу. На письма, где этого не будет - отвечать не стану, имей в виду. Это не значит, что мне неинтересна бытовая и моральная стороны твоего повествования.

Относительно предполагаемой поездки в Киев, если спрашиваешь серьезно, - не советую. Дальние поездки в наше время не представляют сколько-нибудь легкого или приятного занятия, поверь. Тем более с таким багажом, как Петровна... Вряд ли ты подумала и о Маше - ведь ее угробят вагонные и вокзальные сквозняки. - Не благословляю.

Ну, о себе писать нечего - одно слово - дипломник... Жду с нетерпением времени, когда закончится вся эта, столь надоевшая волынка с дипломом. Сие надо ожидать в июне месяце. (Порвано на сгибе.)

Ну, береги себя, Машу. Привет Петровне. До скорого. Крепко-крепко целую».

Кирилл - Елизавете: «11 и... (кусочек письма оборван; может быть оно писано 11 июня 1940 г.). Петрографа сразу можно узнать: им даже собственные чувства и впечатления изображаются в виде шлифа! Неужели они настолько же неглубоки! В каждом письме упоминаемые темные пятна и отрицательные моменты концентрируются как нечто самодовлеющее и первостепенное, используя все остальное в качестве фона («идиоморфного!»). Так же частое упоминание о том, что я все меньше тебе нравлюсь, заставляет меня пересмотреть создавшееся впечатление о том, что ты тяжело переносишь разлуку. Действительно, ты пишешь об этом, как о чем-то уходящем («еще люблю крепко, но...»).

Очень рад, что ты делаешь успехи на служебном поприще. Согласен, что твои доводы против оставления Свердловска достаточно основательны. В Новосибирске, как пишет сестра, ничего нет.

Протекцией, столь любезно тобою предлагаемой, воспользоваться не могу, во-первых, потому, что уже ничего изменить нельзя, а во-вторых, к услугам К. Л. я ни в каком деле никогда не прибегну.

Вопрос о назначении теряет свое (кусочек письма оторван; «значение»?), ибо, по непроверенным сведениям, военнообязанным из Москвы выезжать (на работу?) в этом году не придется. Официально это об-

стоятельство будет разъяснено через неделю-полторы. (После института в 1940 году его взяли на два года во флот на Дальний Восток, а в сентябре 1941-го перевели на западный фронт; так что даже при очень большом желании Кирилл и Елизавета не смогли бы соединиться: сначала институт, диплом, потом армия, война и гибель в феврале 1942-го. - Борис.)

Сейчас работаю над дипломом - без всяких признаков воодушевления (нижняя часть письма повреждена). Тем не менее работать нужно порядочно. Очень, очень паршиво у меня на душе. А тут еще твое письмо... Не реакция ли это на нескладные внешние обстоятельства, и почему этого не объяснить, если осознано?

Но не придавай моим словам серьезного значения, я несколько расстроен и не хочу расстраивать тебя, причин к тому у тебя должно быть довольно и без меня. Напиши, как устроишься с прислугой; ПОЦЕЛУЙ КРЕПКО Машу за меня... До скорого, пиши не задерживаясь. К. «

Кирилл - Елизавете: «12 апреля 1940 г. Дорогой друг! Спасибо за откровенное письмо... Мне очень понятно твое положение в этой жизни, и я искренне тебе сочувствую. Клянусь себя всячески и ругательски ругаю за свою чрезвычайную легкомысленность. Но что делать? Русский человек задним умом крепок. Твое замечание об измене принимаю как шутку, правда горькую. Чувства мои неизменны. Маша же будет либо живым укором, либо единственной радостью и поддержкой - кто, знающий, скажет?!»

ИНСТИТУТ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И МЛАДЕНЧЕСТВА

Фамилия матери ... Семенова Е.Д.

История болезни ее ... 2831

Время выписки ... 6-го июня 39 г.

Вес ребенка при рождении ... 4120,0

Вес ребенка при выписке ... 4200,0

Длина ребенка при рождении ... 51 (две латинские литеры, кажется Si) 33

Окружность головки ... 35

Окружность груди ... 34

Примечание ... Девочка доношенная

Адрес института: Площадь Коммунаров.

(25 мая 1939 года в Институте ОММ Елизавета Дмитриевна Семёнова родила Машу, которой суждено было прожить на белом свете 55 лет. В том же институте Маша потом родила Антона, а в роддоме на Эльмаше - нашу дочку Юлю. На рубеже тысячелетий городские власти этот роддом закрыли за ненадобностью... А 25 мая, между прочим, ныне поминают святого праведного Симеона Верхотурского.)

ИЗВЕЩЕНИЕ. Первое: матери Макаровой А.О., г.Москва. Второе: жене Семеновой Елизавете Дмитриевне, Свердловск, Сакко-Ванцетти, 114, корп.1, кв.17.

Ваш муж красноармеец Макаров Кирилл Иванович, уроженец Калужской области, Бабынинский р-н, село Подолуйцы (он родился там и жил с родителями три месяца. - Борис), находясь на фронте, пропал без вести в феврале 1942 г.

Кирилл - Елизавете; открытка, писанная, наверное, в феврале 1940 года: «Mon amie Lisbet! (всегда вспоминайте, милые мои, что ему всего-навсего 23 года - это студент, мальчишка, пижон). Письмо твое получил. Очень сожалею о тяжести и скуке твоего настоящего. Но что ж делать? Наступает пост, хотя и не Великий, но продолжительный. Бодрись!

Как самочувствие Маши? Не пробовала ли выносить ее гулять? В Москве - солнечная морозная погода. Жизнь обитателей проходит в очередях и службе. Тем же занимаюсь и я. Диплом еще не принимался писать - нет должного подъема духа. В институте усиленно занимаются с нами - допризывниками. Во что сие выльется? Живу скучно, тревожно и постно... Надеюсь, что в ближайшем будущем удастся вплотную заняться дипломом и заполнить сим безрадостным занятием пустующие будни свои.

Напрасно ты думаешь, что от Свердловска у меня осталось скверное впечатление. Напротив, я ужасно рад, что такая славная дочка, что ты здорова. Крепко целую».

Кирилл - Елизавете: «Доехал полуголодный. «Относительно благополучно доехал» по причине задержки поезда на 10 часов. Чулок оставил по рассеянности. Нужды в нем не испытывал. Сюртучки же в дороге и дома не нужны: я надеваю их в особо-торжественных случаях, когда бываю в гостях.

Разговор с мамой был о Маше (какая?) и о тебе (здоровье, работа, быт).

Брат Николай уехал на Восток накануне моего приезда в Москву.

Немедленно сообщай о ходе Машиной болезни - беспокоюсь. Тебе скучно - чувствую, верю. Невесело и мне, но приходится переживать. Занят по-прежнему мелочами жизни и изысканием питательных средств. За диплом примусь на днях. Относительно квартирантки ничего радикального посоветовать не могу - не знаю доподлинно ее характера.

Ну, пока, до свиданья. Будь благоразумна, не рви с огня. Береги свое и Машино здоровье. Не поддавайся влиянию весны, будь верна; Машу весной особенно береги. Крепко целую. К.»

Кирилл - Елизавете: «Москва, 26 апреля 1940 г. Неожиданностью для меня явились твои письма. Казалось, что столь категорически заявленное «табу» могло просуществовать на свете по крайней мере недели 3-4. О, непоследовательность женская!

Пишу тебе довольно аккуратно - грех бы жаловаться. Два-три дня противу назначенных сроков опоздания - за счет НКПТеля. Подробнее поговорим летом - сейчас слишком трудно все выяснить без личной беседы.

Крепко целую.

P.S. Если тебе не трудно, пришли мне свою фотокарточку, скучно так долго тебя не видеть. К. «

(Свою фотографию он прислал. Она есть у его внуков - Антона и Юли. Как хорошо, что можно посмотреть в глаза давно ушедшему человеку — отцу, деду... представить, каким он был).

Кирилл - Елизавете (из последнего письма, отправленного 1 июля 1940 года): «Я, как выяснилось, в ближайшее время иду во флот, может быть по выходе оттуда через два года и увидимся. Прощай».

Маша прочла эти письма лишь после смерти своей матери в 1976 году...

Надвигающаяся война оставила ему год и семь месяцев - до февраля 42-го. Они больше не увиделись никогда. Наверное, он погиб под Москвой. Недавно я узнал, что ядро будущей 25-й гвардейской дивизии составляла морская пехота с Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Там ли он воевал? Под Москвой? Сегодня можно прочесть в газете: «Пять морских бригад сибиряков прославятся у Белого Раста, Яхромы и Дмитрова. Пять бригад, пять тысяч моряков. У Белого Раста моряки сбросили полушубки и остались в бушлатах. Из-за пазух они достали бескозырки и бросились вперед. Они неслись на пулеметный огонь, по снежному полю, в бешеном беге, не желая ничего слышать и замечать среди разрывов, бежали. Пока не сошлись в рукопашную в передней линии траншей... Бригада сибиряков в тельняшках стояла полнокровной дивизии по боевой ярости и стойкости. Из пятисот тысяч бойцов морской пехоты добрая половина приходилась на тихоокеанцев и амурцев».

В феврале 1942 года, когда пропал без вести Кирилл, шли бои за Можайск. Где-то там лежат его косточки? Он ведь в начале войны служил на Тихоокеанском флоте.

Однако вернусь к его последнему письму Елизавете. Чувствуется, что оно писано в лихорадке, нервной рукой: беглый почерк, не все ладно с запятыми и т.д. Откуда этот нервный срыв? Лиза задержалась с ответом... Ну и что? Получив это письмо, она сразу послала телеграмму, которую получил отец Кирилла. И ответил почтовой карточкой, а потом подробнее написала мать:

Москва, 21 августа 1940 г. Очень была бы рада, если б Вы ЗАЕХАЛИ В МОСКВУ и остановились у меня - раз уж я приняла кого-нибудь в сердце свое - оттуда не выбрасываю и равнодушной к Вашей судьбе, как бы она не сложилась, оставаться не могу, не говоря уже о Мае (наверное, в год с небольшим так называла себя Маша. - Б.П.). Собираюсь уходить с работы в октябре по болезни сердца - тогда времени будет больше заняться «третьим поколением».

На днях я написала своей сестре в г. Касимов просьбу узнать, не берет ли ее город посылки в дальние края. Если берет - то изыщу способ передать ей для Маи продукты - она отправит. Т. ч. не удивляйтесь, если получите из г. Касимова. Хотелось бы иметь список желательных продуктов. Относительно мануфактуры - дело плохо. Надо стоять в очереди с вечера, причем разгоняет милиция. Мы все страшно обносились из-за невозможности чего-либо достать. Кир. поехал (простите) почти без невыразимых, и не знаю, как вышел бы он из положения, если бы не Красная Армия.

На Вас я совершенно не сержусь, Достоевский сказал: понять - значит простить, смею думать, что Вас я поняла. Очень прошу Вас беречь себя: перемелется - мука будет. На днях вышлю Вам денег, КОТОРЫЕ ПРОСИЛ КИРИЛЛ ВАМ ПЕРЕДАТЬ, ЕСЛИ ЕГО ЗАБЕРУТ В АРМИЮ. Мае - нежный поцелуй. А.Макарова.

Москва, 26 января 41 г. Я задержала ответ Вам на несколько дней, т. к. бюллетеню уже вторую неделю...

Напрасно Вы забрасываете музыку: в тяжелые минуты душевной слабости я всегда прибегала к ней, и она давала мне силы переносить непереносимые утраты...

Как здоровье девочки? Это ужасно, что она не выходит из круга болезней. Как у Вас с продуктами? Как с дровами?

По всей вероятности, мне придется стать пенсионером - сердце не слушается моих желаний и бастует. 1940 год дал много тяжелого. М.б. обстоятельства так сложатся, что буду иметь полную возможность и единственную цель в кусочке оставшейся жизни воспитывать своих внуков - буду благодарна и рада, если доверите мне воспитание Маши...

Крепко целую Машу, привет и маме. А. М.

Почтовая карточка: 4 февраля 49 г. Меня волнует Ваше молчание. Здоровы ли Вы, благополучна ли Маша? Вот уже и февраль, а Вы не едете в (Москву?), я ждала Вас целый январь...

Чувствую себя скверно, опять сердце. Хотелось бы увидеть перед смертью Машу. Передавайте ей мой нежный поцелуй. Ответьте, пожалуйста, о Вашем и ее здоровье. Макарова. (В свердловском адресе уже квартира №7, Лиза с Машей путешествовали по своему барраку.)

Письмо-треугольник со штемпелями: д.114, корп.1, кв. 16. Семеновой Марии Кирилловне. 17 февраля 48 г. Милая Машенька! Спасибо тебе за твое милое письмо. Постараюсь тебе ответить на все вопросы.

1. Погода. Ученые говорят, что Средиземное море шлет нам свои теплые туманы-испарения и поэтому у нас теплая зима. В Москве так же, как и у вас.

2. Как мы живем? Мы любим друг друга и поэтому живем хорошо: не ссоримся, не дуемся, у нас всегда весело, даже тогда, когда не хватает на хлеб.

3. Маме передай привет и скажи ей, что я еще не получила никакого ответа. (Возможно, речь идет о справке из Краснопресненского райвоенкомата. - Борис.)

4. Наша квартира тоже не очень-то хороша: холод, окна в коридорах дырявые и вечные сквозняки. Будь здорова, кушай хорошенько. Бабушка.

В конце апреля 1949 года мама Лиза поехала в Одессу - подлечиться в санатории, а Машу наконец-то привезла в Москву к бабушке Августе Оттокарровне (из обрусевших немецких фон-баронов, как потом говорила Мария). Оставила им пачку почтовых открыток со своим адресом.

Августа - Елизавете: 3 мая 1949 г. Вы ведете себя плохо и никогда не поправитесь, если будете себя волновать дикими мыслями. Если, не дай Бог, Маша заболит - сейчас же сообщу телеграммой - даю слово. Она говорит мне «ты», целуется беспрестанно, требует еды, вообще несколько не стесняется. Ложится спать в 9-10 часов, получает на ночь по две страшные сказки и, не дослушав, усypяет. Но неслух она порядочный, и мы уже с ней поскандалили из-за того, что она не хотела одеваться. Перезнакомилась со всеми детьми во дворе и играет там большую часть дня. Так что все нормально, поправляйтесь, а я прикладываю все старания, чтобы и Маша поправилась. Макарова.

Маша - своей маме Лизе: «Нап(исано) письмо 1 мая. Здравствуй, мамочка! У бабушки мне очень хорошо. Сегодня я ходила на демонстрацию. Очень там было интересно! В небе самолеты строили слово «СТАЛИН», как говорил дядя сидевший с нами в одном купэ. Целую тебя дорогая мамуся. Отдыхай получше. Маша». (Сверху, в рамочке: Пиши мамочка чаще.)

4 мая 49 г. Здравствуй дорогая мамочка! Мамочка! Почему ты мне не написала не одного письма? Ведь я пишу тебе уже 2-е письмо, а ответа все нет. Напиши мне получила ли ты 1-е письмо. У бабушки мне очень хорошо. Кушаю досыта. Часто прошу днем кушать. Пиши чаще. Целую крепко-кр. Маша.

5 мая 1949. Здравствуй дорогая мусенька! Мамочка! Вот я тебе пишу уже 3-е письмо, а ты написала только одно письмо. Пиши чаще. Чувствую я себя очень хорошо. Сегодня наш кот Кисай ТАК (обрати внимание) наелся, что не мог устоять на ногах. Он покачиваясь отправился на кухню и залез в медный таз. Когда пришла бабуся он разтянулся на полу.

Мамочка я каждый день съедаю по 5-6 кусков хлеба с свиным салом.

Крепко целую. Маша.

9 мая 1949 года. Здравствуй дорогая, милая моя мусенька. Извини, что так долго тебе не писала. Я жива и здорова. Большое спасибо за письмо, открытку и (ЦВЕТОЧЕК) листочек.

Мамочка! Я хочу тебе писать письма подробнее, но не хватает бумаги. Открытки кончаются. Целую кр., кр.

Здравствуй дорогая мамочка! Почему милая долго нет от тебя письма? Я начинаю беспокоиться... Ответь мне на это письмо которое получишь на днях.

Мамочка! Напиши как ты живешь в Одессе, хорошо ли тебе там, нравится ли. Если можешь и если есть время напиши бабушке.

Ну пока мамуся. Желаю тебе: лучше поправляться, быть здоровой и жить богато. Напишу тебе послезавтра. Целую тебя детка крепко, крепко, крепко.

Пиши чаще, твоя очка Маша. 11 мая 1949 года.

(На обороте нарисован дом с воротами и река, поворачивающая вверх, за крышу. Ворота зеленые, а крыша красная. Да, еще трава - от угла через речку. Надписи: «рисунок», «дом», «ворота», «река», «трава»; «Катя купила мне тетрадь для рисования и карандаши цветные. Маша». Катя - это сестра Кирилла.)

19 мая 1949 года. Здравствуй дорогая мамочка!

Получив твое письмо, была очень огорчена тем, что ты не приедешь к 25-у маю, и мое ден-рождения пройдет без тебя мамочка.

Мамочка! Я работаю сторожем. Сторожу клумбу которую мы сделали для того, чтобы озеленить двор. Мамочка. Ты не думай что я стою около клумбы. Я играю с ребятами, но мимо-ходом поглядываю на нее. Вот

какой я сторож! Мы с бабушкой наверное скоро поедem к тете Паше. Постараюсь вести себя лучше-некуда. Спасибо за ракушку и за письмо. Мамочка! Собираешь ли ты ракушки? Ну пока досвиданья мамочка моя любимая. Целую кр. кр. Маша.

ДВА ПИСЬМА из больницы (начала 50-х годов)

Е.Д.Семеновою. Милая моя мамочка! Какая ты у меня беспокойная! Я лежала у окна только 4 часа - и то под ТРЕМЯ одеялами. Потом пришел доктор (отец Стасика) и велел меня перевести в «салон». Здесь всего одно окно и от меня оно за тридевять земель. Почему-то на меня положили два одеяла. Все врачи очень внимательны ко мне. Каждую минуту подходят, спрашивают о здоровье. Сегодня я уже совсем чувствую себя прекрасно. Кормили утром очень вкусной манной кашей, но пока еще без хлеба. Мне можно кушать мандарины, и прошу тебя, мамочка, сделать мне морсу. Только его нужно хорошенько отжать и не делать приторным (но сладким).

Сегодня у меня температура была 37,2 - между тем как у других 38,5 и выше. Вообще врач сказал, что у меня легкий случай.

Меня торопят с письмом, поэтому больше не буду писать. Привет всем.

Какого цвета котята и сколько их?

Целую крепко, крепко, крепко. Мария Кирилловна Семенова.

Другое письмо, кажется, написано гораздо раньше. Почерк более... детский. По-видимому, в больницах Маша леживала не раз... Рассказывала: однажды в пионерлагере засолила в консервной банке грибы, поставила в тумбочку, а утром - съела. На скорой увезли в больницу...

«Здравствуй дорогая мамочка. Спешу сообщить о том, что я вернусь домой обязательно в субботу. Только с тем условием, чтобы дома лежать еще неделю, то есть третью. Я очень рада и думаю, что завтра ты меня встретишь.

Мамочка! Почему ты ходишь в больницу на наш этаж, почему пишешь в каждом письме все ОБ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ: говори правду врачам - болит голова или нет. Ведь я мамочка тебе написала, что голова очень в хорошем состоянии, то есть - НЕ БОЛИТ. Привет дяде Лене.

Мамочка! В следующем письме напиши о том: веришь или не веришь ты, что я чувствую себя хорошо. Лото мне очень нравится. Когда вернусь домой - будем играть вместе, мамусенька. Карандаши тоже очень понравились мне. Температура: 36,5. Целую крепко-крепко-крепко, крепко-прикрепко. Завтра приди и спроси во сколько часов меня возьмешь домой. Маша».

На обороте: 2 декабря. И нарисована кукольного вида девочка с бантом, стрелка и рядом со стрелкой: ЭТО Я! Рисунок из новых карандашей «Спартак».

Судя по стилистике и почерку, письмо написано 2 декабря 1949 года... Того же 49-го, когда Маша гостила у бабушки в Москве. (Бабушка Августа в 50-х годах сорвалась при посадке в электричку и погибла под поездом...) Упокой, Господи, души Иоанна, Августы и сына их Кирилла, прости им согрешения вольные и невольные и даруй им Царствие Небесное... Помогите им, Господи, обрести вечный покой.

Вечный покой...

ШКОЛА

Лист бумаги, узорчато обведенный по краю цветным карандашом, внизу три цветочка:

«Дорогая Машенька! Поздравляю тебя с праздником. Желая тебе, дочка, здоровья, хорошей учебы и всех благополучий, каких только тебе хочется. Желая, чтобы твоя любовь к Родине росла и крепла вместе с твоим ростом. И чтобы ты выросла у меня в здоровую, отважную женщину, готовую всегда выступить на защиту мира, за счастье своего народа. Для этого нужно быть хорошей пионеркой и каждый день стараться делать так все хорошо, как делают хорошие пионерки. Я думаю, заповеди их ты знаешь. Еще раз желаю тебе успеха, здоровья (т. к. в здоровом теле здоровый дух) и счастья.

Целую тебя крепко. Мама. Март 1950 г.»

До сих пор где-то на полке стоит старая книжка Квитко с поломанной коркой. Даже в эпоху борьбы с международным сионизмом Мария не решилась выбросить его стихи. Это детство... Это уверенность в том, что в случае беды Сталин пришлёт на выручку танк. Лучше б, конечно, знать, что Бог не оставит. Однако...

ПИСЬМО затворника ГЕОРГИЯ, бывшего поручика Казанского драгунского полка, - монахине Д.

Почтеннейшая матушка! простите моему молчанию.

Вы сами знаете, что все истинно-христиане здесь странники и пришельцы на земли, мимоидущие путем тесным и прискорбным, покуда достигнут своего отечества на небеси. А в дороге чего не встречается и не приключается? Повсюду опасно: то на гору, то под гору, где скользко, а где ломко как по льду; того и гляди, чтоб не обломиться: непрестанная нужна осторожность и молитва, да сохранит Господь до конца, чтобы пройти и внити узкою дверью в пространство небесное.

На спасительном пути нужно хранить совершенное незлобие, благое смирение, святое послушание и во всякой вещи и деле руководствоваться словом Божиим: жизнь духовная действует верою, а вера свидетельствуется делами.

Когда хотите побеждать бесов, уступать должно человекам. Оскорбил ли кто? - уступи ему, и наступит мирная тишина, избавляющая душу от смущения. В духовной жизни не воздается зло за зло, но побеждается зло благочестием. Добро творите ненавидящим вас, - молитесь за творящим вам напасть и всю печаль возлагайте на Господа. Он заступник и утешитель страждущих. Стяжание духовного богатства приобретается в терпении, терпение же испрашивается непрестанно повторяемой молитвой: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя - и помилует!

Милости хочет, а не жертвы; милостивии помилованы будут и ублажатся. Имже судом судите, судят вам, и в ноже меру мерите, возмеритесь и вам: яко хотите, да творят вам человецы, и вы творите им такожде; да любите друг друга, яко же Аз возлюбих вас. Христос глаголет: аще любовь имате между собою, мои ученицы есте. Блажени чистиим сердцем, яко тии Бога узрят: и так очистим чувства и узрим - в неприступном свете блистающего Христа...

И за праздное слово воздать надобно будет ответ в день судный: блюдите бо, как опасно ходите. Не можно служить вкупе Богу и миру. Спасайтесь о Господе! Матерь Божия да сохрани вас под кровом своим! Добрый путь вам! Блажени подвизающиеся о Господе. Радость вечная примет вас. Прошу смиренных молитв ваших и о моем недостойнстве. Христос посреди нас!

Сентября 5-го, 1833 г.

(«1818 года сентября 7-го, накануне Рождества Пресвятыя Богородицы, во время малого повечерия, Георгий прибыл в Задонскую обитель, поступив туда послушником по определению Преосвященнейшего Елифания, Епископа Воронежского. Тогда ему было 29 лет - возраст цветущей молодости, где, в пылу страстей, большая часть молодых людей менее всего думают о спасении души и стремятся питать плоть свою, а не умерщвлять ее»).

Почему-то решил переписать это письмо... Как укоризну мне и Марии? Нет... В силу обстоятельств большую часть жизни мы были вне Церкви и даже не думали о ней. Впрочем, Мария никогда не забывала причастия, вернувшего ей жизнь. Первого своего причащения... во время Великой войны... когда умирала от туберкулеза... Думаю: искреннее покаяние, её кроткие последние два месяца и последнее причащение Телу и Крови Христа, за три дня до потери сознания, даровали ей жизнь вечную. Иначе зачем подарил ей Бог исцеление в детстве? Зачем?

ХАРАКТЕРИСТИКА

окончившей 10 классов Семеновой Марии Кирилловны

(средняя школа №9 г. Свердловска)

Семенова Мария, 1939 года рождения, член ВЛКСМ с 1956 года. В школе №9 училась в течение 2-х лет.

Семенова - дисциплинированная, выдержанная девушка, хороший организатор, в школе была избрана председателем учкома. К работе своей относилась со всей ответственностью. Особую склонность проявила к литературе, принимала активное участие в школьной художественной самодеятельности, писала стихи, басни, которые обсуждались не раз на занятиях литературного кружка. Старостой этого кружка в 10 классе также работала М. Семенова. За активное участие в общественной жизни школы Семеновой не раз выносились благодарности с занесением в личное ученическое дело.

Завуч школы Иванова. 28.06.1956 г.

О ее школьной жизни я почти ничего не знаю. Точнее, очень мало. Шесть классов закончила в пятой школе (там учились потом наши дети, а сейчас уж и внуки). Впрочем, есть газетный текст:

«Улица Тихвинская... Просто потрясающе, как Господь прочерчивает линию каждой человеческой жизни. Здесь, в двухэтажном кирпичном доме, родилась моя мать. ...За углом, на задворках – Пятая школа. Когда-то я была ребенком, и мы жили в бараке на Усольцевской, Тихвинская (Хохрякова) не была заасфальтирована, и я обожала ранние птичьи утра, когда бежишь в школу, а гранитные плиты под кожаными подошвами – скрип-скрип...

Намедни один знакомый юрист давай меня подначивать: пока дядька жив, займитесь домом, собственность должны возратить. Или дурачка валяет, или в самом деле не понимает, что из нынешних-то квартир вот-вот начнут выкидывать, а не то что дом возвращать. Да и потом даже если: а куда семьи, которые в нём натолканы? На улицу?

В школе у нас была железная дисциплина. Попробуй со старшими не поздороваться. Или на перилах проехать. И хотя меня без конца подвергали обструкции, особенно по линии пионерской организации, школу я любила.

Была в нашем классе девочка, звали её Тамара Китаева. Она носила крест. Мы все – красные галстуки, а она одна – крест. Была тихая, не вредная. Безответная. Приходили не раз какие-то комиссии, пытали её перед классом: «Сними!» Она молчит. Очень хорошо помню, как я мысленно обращалась, сама не понимая к кому: «Помоги ей не сдать!» Может быть, ещё из-за Тамары я так любила Пятую школу, в которой с ней не содрали крест – это в те-то времена! Любила наш класс, который не только не дразнил и не обижал Тамару, но относился к ней с какой-то бережной боязливостью.

Пятую школу закончили мои сын и дочь... Теперь поселиться в школе готова, чтобы помогать, чем могу. На углу, против каменного дома моих родителей на рекламную тумбу, по-хозяйски поставленную на пути детей, каждый день кто-то клеит мерзкую похотливую рекламу. На противоположном углу надрываются в динамиках музыкальные похабники. Телевизор, радио, кино из кожи лезут – им нужны наши дети. Пьяные. Испоганенные. Не знающие, что есть на свете честь, любовь, доброта.

И вот, можно сказать на закате жизни, опять топчу дорогу в мою школу («на закате» тут, конечно, не кокетство, потому что жить на земле Маше оставалось полгода – и она догадывалась, что осталось совсем немного). Она в квартале от полуразрушенного особняка с табличкой «Тихвинская 72». Здесь мой второй дом – «Русский союз» и историко-культурное объединение «Отечество».

Мне нравится, что Пятая школа не «перестраивается». Как стояли десятки лет дежурные у входа и требовали «сменку» – так и стоят. Как ходили учителя опрятные, подтянутые, без косметических и тряпичных излишеств (на учителей, а не на размалёванных кукол похожие) – так и ходят. Как мыли парты дежурные – так и моют.

Мне скажут: это внешнее, внутри же и Пятая школа дрогнула под натиском растления. Девочки уже не ходят с белыми воротничками и ленточки в косы не плетут, а, как парижские падшие женщины, сверкают лосинами. Но вот захожу как-то: в школьном предбаннике толпа. Пол залит кровью, лежит рыжая дворняга. Дети в гневе: это такой-то из восьмого, больше никто не мог! Целый день возле собаки толкалась вся школа. Телевиденье пыхтит – учит равнодушию и жестокости, а Бог, Который ни одного человека на земле не забыл, стучится в сердце, и девчонка в лосинах плачет над раненой бродячей собакой...

Эта собака – дети назвали её Жулькой – живёт сейчас у одной женщины из «Русского союза», преподавательницы техникума. Хочу попросить её прийти как-нибудь в школу. То-то дети порадуются: дворняга на три раза с шампунем промыта, с укусом прополоскана, расчёсана. И при ошейнике, и на поводке – как путняя. Народ на Тихвинской 72 политически суровый, но по части собак слабых много. Сам бывший председатель «Русского союза» убиенный Юрий Васильевич Бортников своего Малыша умирающим от чумы на улице подобрал, выхаживали его с женой, как малое дитя...

Пятая школа совершенно спокойно принимала на своём пороге «красно-коричневую чуму», то есть меня. На какой-то миг мне показалось, что я – та самая Тамара Китаева, и все вокруг требуют снять крест, нацепить «демократический» галстук. И только родная школа не глядела на меня как на прокаженную...

Но что же всё-таки я, такая-сякая, тащила в Пятую школу? Две встречи с учителем из дома фольклора Августой Александровной Ливановой – она рассказывала детям о народной песне, о бытовых традициях русских людей, пела и плясала вместе с первым «б» и на уроке, и в коридоре на переменке. Две встречи с народной артисткой России Е.А.Сапоговой (Елена Андреевна ведёт в школах специальные программы, в которых былины, сказки, загадки, песни приоткрывают детям бескрайние просторы народного творчества). Две встречи с представительницей «Русского союза» Галиной Бондаренко. Искусствовед по образованию, Галя давно уже скинула атеистические университетские оковы и как православный человек разговаривает с детьми. Второклассники сидели все сорок минут без движения. Галя, держа икону Варвары Великомученицы и Михаила Архангела (был день св. Варвары, и мы пришли поздравить с днём Ангела Вареньку Шилину) говорила тихо, без заботы понравиться.

В феврале Бондаренко обещает сводить детей в «пожарку». Представляю, как изумятся пацаны, когда увидят эту тихую молодую женщину в военной форме...

Господи, как трогательно дети после этого часа старались услужить Ангелу, что у нас за правым плечом, и не давали высунуться бесу из-за левого плеча. Никто никого не толкал, дарили друг другу и учительнице Елене Владимировне Леоновой рождественские открытки, расходились домой паиньками, что-то тихонько обсуждая. Елена Владимировна потом сказала: почаще бы такие встречи, а то они забывают вот этот свой умиротворённый настрой...

В 89-м году Маша завела тетрадку «Олины и Танины мировоззрения и умозаключения» и 1 февраля 1994 года там отметилась: «Баба Маня написала очередную писульку в «Уральскую газету». Сообщила Тане: «Я про Пятую школу написала и про Жульку». Таня: «Баба, почему ты написала про Жульку? Это же не политическая тема...»

Политическая тема... Года через два после смерти Марии дом №72 сторел. Памятник деревянного зодчества... До сих пор стоит кирпичный фундамент и какие-то обгоревшие бревна. Скоро и это исчезнет, будет вырыт огромный котлован... воздвигнут новый огромный дом... племя младое и незнакомое.

...Два последних класса Маша пребывала в Девятой школе. Дом на набережной, возле Плотинки, бывшая гимназия, где до Великой революции учились юные братья её матери. Может, и сама мать? Однажды там написала сочинение в стихах. Незадолго до смерти вспомнила: в классе учился мальчик со страшной экземой. Девочки его сторонились, а Маша очень жалела и... боялась. Почему она вспомнила? Может быть, думала, что я тоже её очень жалею и... боюсь, потому что рак? Нет, Мария, страха совсем не было, ты это потом сама поняла. Боялся только одного — что не смогу унять твою боль.

Недавно нашел шуточный тест — две бумажки с ответами Марии и моими собственными. Вопросы, видимо, были такими: ваше отношение к морю (а это, мол, метафора любви), к чайкам (женщина), как видится ключ (супружество), конь (мужчина) и лес (смерть). Маша написала: «Море странное на меня производит впечатление. Я его люблю и не люблю. Я люблю на него смотреть: оно без края. Но не люблю слушать его шум — действует на нервы. Как железом по стеклу.

Чайку видела только в Кашино. Так странно видеть белую, грациозную птицу над нашей узкой Кунарой.

Ключ — способ открыть.

Конь... Их уже совсем нет. Стреноженные. Пять лет назад видела коней. Скакал стреноженный несчастный табун, сотрясая нашу избушку.

Лес — разный люблю...»

А у меня море — «большое и зелёное», чайка — «затасканная метафора», лес — «бело-берёзовый»...
Подай мне, Господи, на исходе дней бело-берёзовую смерть.

С белыми берёзами под окном...

Без метафор.

Какой это год? Наверное, начало семидесятых. Впрочем, не знаю... Мы иногда ходили на дни рождения — в основном к подружкам Марии. И там, на посиделках, нас иногда вот так тестировала Ира Хмельнова, психиатр. Они втроем теперь живут летом в нашем бывшем кашинском доме под семёновскими тополями: Ира, Таня Петрова и Мила Яшникова.

Однако... Надо бы в конце концов прояснить не совсем ясную, даже туманную ситуацию. Ведь сначала была только Мария — и как-то незаметно, сперва в комментариях, появился какой-то Борис. Откуда он взялся?

ЙЕМЕН, ВОЙНА...

Сидели мы однажды на крыше артиллерийской мастерской... Недалеко от Москвы, под Химками. Таманская гвардейская дивизия, зенитный артиллерийский полк, зенап. Перекрывали крышу шифером и попутно беседовали о том о сем. Напарник выполнял «дембельную» работу, а я - отпускную. Старший лейтенант Кобылянский пообещал отправить в отпуск на Урал (в награду за доблестный труд на стрельбах в тамбовских лагерях, где ах какие леса... орешник... японское кладбище). Солдатик говорит: «Домой после демобилизации не вернусь - из колхоза потом не выпустят. Лучше я завербуюсь на стройки коммунизма... получу паспорт...» Выходит, в 1962 году в русской деревне еще свирепствовало крепостное право? К сожалению, только оно тогда ещё держало деревню...

Какой еще там был социально-политический фон? Диссиденты боролись за право покинуть Союз Советских Социалистических Республик, который изобрели их папы... или дедушки... Прошел XXII съезд правящей партии, на котором решили убрать Сталина из мавзолея и к 1980 году построить полнейший... коммунизм. Хрущёв бахвалится: скоро вам покажу последнего православного попа! Впрочем, говорят, что всё это с подачи серого кардинала Сулова.

Что ещё... Назревал термоядерный конфликт между двумя аббревиатурами, между красной звездой Соломона и белой его же звездой, когда советские корабли привезли ракеты на Кубу... Меня тогда досрочно отправили из артшколы в дивизионную артиллерийскую мастерскую. В Голицыно. Или ракеты на следующий год повезли? Да, их повезли, когда мы сидели в Лефортово, в «коробочке», где штаб Таманской дивизии. Перед отправкой в Йемен. А меня досрочно отправили из артшколы в воинскую часть по случаю сооружения берлинской стены в августе 61-го. Как же... Капиталистический Берлин посреди социалистической восточной Германии. Обнесли каменной стеной. Потом солдат третьего года службы не увольняли до января. Международная напряжённость... Они два месяца просто валялись на койках, мы их называли «матросами» (моряки тогда служили четыре года).

Мы там, в Голицыно, в основном всю осень строили себе баню, пока ДАРМ не упразднили. По ночам возили себе кирпичи со строек. Потом мастерскую как-то там реорганизовали... Назвали её БТРМ и перевели зачем-то даже в другой населённый пункт. Помню, сидел я и жёг в кочегарке (по приказу командира, естественно) всевозможные артиллерийские наставления... У них там было много своих претендентов на высшие сержантские должности, а потому меня под общий реорганизационный шумок отправили в зенитный полк. Поехал в кузове грузовика вокруг Москвы в Химки.

СССР и США... Война Алой и Белой роз... Что еще? Знаменитый русско-еврейский поэт Бродский боролся за то, чтобы изобретение стихов не считалось тунеядством... Или он позднее боролся? Позднее у него были возвышенные мысли: «Главный враг человечества - вульгарность человеческого сердца... Ни я, ни мои коллеги не считали себя интеллигентами хотя бы потому, что о России, о ее судьбах, о ее народе мы никогда не дискутировали. Нас больше интересовали Беккет, Фолкнер... Что будет с Россией? Как сложится ее судьба? Какова ее роль? Для меня все это кончилось на Чаадаеве и его определении России как провала в истории человечества. ...Мне кажется, что с русским народом произошло то, что в предыдущем столетии с русской интеллигенцией: чувство полной импотенции. ...Я думаю, что Россия кончилась как великая держава. И как государство, оказывающее давление на своих соседей, не имеет будущего. И еще долго не будет иметь. Пространство России будет сокращаться. Думаю, что вы можете встать из-за игорного стола. Все кончено». Это он полякам так сказал. А памятник ему ставят почему-то в Петербурге. В стране, которую он не любил?

Так вот, я сидел на крыше артиллерийской мастерской и пока еще не знал, что «всё кончено»... Но при чем тут Бродский? При чем тут интервью, опубликованное в «Известиях» 3 февраля 1996 года? При чем тут Беккет, Фолкнер и Чаадаев? Ох уж эти русские... Вечно их бросает от крыш к лауреатам и наоборот. Кругом был провал в истории человечества - и вдруг нас позвали на обед. И, как это бывает обычно в России, - даже не дали чай допить. Вызвали срочно в штаб зенитного полка, где подполковник Кедо мне сказал: поедешь за границу...

Кто-то боролся за выезд из России, кто-то - за выезд из колхоза, а мне - пожалуйста! И все потому, что в одной полковой мастерской сосредоточились сразу три выпускника Ленинградской школы артиллерийской технической службы. Мы там служили на Выборгской стороне, жили в дореволюционных казачьих казармах

на территории артиллерийской базы. Двое других-то – сержанты (они были когда-то курсантами моего отделения), а я всего-навсего ефрейтор, а потому решили отправить за границу кого совсем не жалко. Ох, уж эта Россия... Конечно, был и другой повод: в конце сентября в Йемене молодые арабские офицеры совершили государственный переворот, после чего им срочно понадобился будущий муж моей Марии - вместе с 37-миллиметровыми автоматическими зенитными пушками и автоматами ППШ.

Мне было 20 лет, я иногда писал стишки, но выехал за рубеж не в качестве тайнозамкнутого стихотворца. Сочинял их три года назад, когда таскал доски на лесозаводе в посёлке Прогресс, недалеко от Коуровки. Иногда даже дурацкие любовные послания Никому вроде такой вот «Оды красавице из ювелирного магазина»: «О брильянт в золотой оправе! (Не сравню тебя с брильянтом...) О браслет на ручке нежной! (Не сравню тебя с браслетом...) Я сравню тебя с фиалкой, томной, нежною фиалкой. Очи - вешний сок березы, собранный в хрустальных чашах, твоя поступь покоряет сердце львиное мое.

Но отвлекся... Да простит мне синеокая фиалка. Я пою тебя едину, для тебя на все готов я. Если я, плененный страстью, вдруг взорву холмы и горы и внезапно вдоль равнины снова их нагроможу - помни: для тебя стараюсь, лишь к тебе стремлюсь душою, только для тебя дышу. Сердце - самовар латунный - кровью бешено играет. Кровь бурлит, вскипает пеной, постоянно испаряет драгоценные запасы силы жизненной моей. Милая, прости, - рыдаю, говоря тебе о чувстве, о своем огромном чувстве небывалой красоты. Видишь - слезные потоки испещрили весь папирус: ты явилась на мгновение пред моим печальным оком, затуманенным слезою небывалой чистоты...

В недоступных горных высях для тебя убью барана и, нисколько не утешась, брошу я его небрежно к нежной туфельке твоей. О фиалка, о услада! И кусочек шоколада - сладкий, лакомый кусочек - для тебя я украду. Ни о чем вас не прошу я - об одном прошу тебя я: подари моей кобыле (о, не столь, как ты, прекрасной) золоченую уздечку и плетеную камчу. Не был в вашей чЮдной лавке я, всю жизнь в тебя влюбленный, и не знаю, что таится в недрах сумрачных ее. Но достань узду, красotka, с золочёною камчею - и тебя я на кобыле в дали сказочны умчу».

Ах, уже здесь предчувствие Востока. Предчувствие сказочных далей, серо-коричневых старых гор с каменными осыпаниями, серых городских стен, валяющихся в пыли собак, сумрачных лавок с кальянами, парчой, японским «чулком», рулонами лежалых английских шерстяных тканей и тириленовыми рубашками, магнитофонами «Грюндихь» и «Филлипс»... Кам флюс? Сколько денег? Или по-египетски: бека-я-ам ди вахет хабба? Там в лавке можно было наступить на ногу египетскому офицеру, чеканно говорившему по-русски.

Кажется, уже в полку нас фотографировали в фас и профиль, в медсанчасти описали особые приметы (у меня - большое пятно на боку после ожога: лет в шесть мать мыла меня в общественной детдомовской бане, а я прислонился к чугунной печке-буржуйке, оставил там кусок кожи и отправился домой, пока мать домывалась - чтобы присыпать ожог стрептоцидом; в конце сороковых в этой нашей колониальной России в ходу были всего-навсего два лекарства: аспирин и стрептоцид). Взяли отпечатки пальцев. Теперь-то я знаю, что узоры на кончиках пальцев человека представлены тремя типами: очень сложными завитками, самыми примитивными и редкими дугами и, наконец, петлями - наиболее распространенными. Людей, у которых на всех пальцах, - только петли, по разным данным, - от восьми до тридцати пяти процентов. В зависимости от национальности. У русских исследователи насчитали от восьми до тринадцати процентов людей с десятью петлями. «Это все люди сплошь компанейские, терпимые, доброжелательные - с золотым характером. Если они мрачны, значит, у них действительно серьезные неприятности». У меня, как у кавказских долгожителей, на кончиках пальцев - исключительно ульнарные петли. Вот такая дерматоглифика и дактилоскопия...

Да, делегатами от нашего зенитного полка были я и Володя Шашков, шофер, - оба из мастерской. Подполковник говорит: «Найдите мне еще человечка, чтобы умел гаечный ключ держать. Только не из мастерских - из батарей». Наверное, был лимит, больше двух из мастерской забирать не разрешили. Вообще-то в полку нас, конечно, уважали... Зимой мы брали сумки с инструментом и очень важно ходили в валенках промежду 57-миллиметровых автоматических зенитных пушек, на которых как-то там упражнялись батарейцы. А на стрельбах валялись в траве возле летучек - все равно в особо важных случаях нас к пушкам не подпускали. Делали только всевозможный мелкий ремонт. Однажды заклинило снаряд, так полез сам начальник артвооружения. Хорошо, ствол торчал над горизонтом, а то бы порешил соседний расчет... Впрочем, отдувались за всех командиры батарей и низшие чины. На зимних стрельбах прочие ахфицеры развлекались, к примеру, тем, что ставили головой в снег майора Манечку, замполита кадрированного полка (это такой запасной полк без солдат, на всякий случай, на случай, например, войны). Из сугроба торчали его меховые сапожки на молниях - наверное, за них его и прозвали Манечкой.

...Да, нас попросили найти себе третьего. И мы вспомнили, что нам в подручные давали весной первогодка из батарей, то есть салагу. Нужно было гаечным ключом вкручивать манометр - проверять старые пушки перед выездом на салют. А ездили мы в Сокольники. В парк. Представляете? Ряд орудий, дым, грохот... Огромные тополя. А по задворкам этого ряда в артиллерийском дыму вышагивает в дупель пьяный начальник артмастерской старший лейтенант Кобылянский. Рука за бортом кителя - почти корсиканец Наполеон Буонапарте. Мотался туда-сюда, пока приятель не посадил в машину. Увез домой, к жене, от греха подальше.

...Мы назвали фамилию искомого первогодка, а потом все отправились в штаб нашей Таманской дивизии, в Москву. В Лефортово? В «коробочку». Там отвели нам кубрик, и мы сидели около месяца - наверное, на предмет проверки наших родословных. Не знаю, как они проверяли, халтурщики из КГБ. У меня, например, отец пять лет сидел в лагере (я, конечно, сообщил об этом в анкете), дед Михаил Гаврилович числился на заре

коллективизации в кулаках... Впрочем, до деда, наверное, не добрались - в тридцатом году им с бабушкой было чуть не по семьдесят лет, и они сбежали из вятского починка, оставив уже отнятый дом и весь свой нехитрый скарб. Оба умерли на руках у моей матери в конце великой войны.

Глава 3. АНКЕТА (Марковы, Степановы, Лебедевы, Бусыгины)

А может быть, контора глубокого бурения забурилась совсем глубоко и выяснила, что дедовы предки Марк, Тит и Гавриил были всего-навсего крепостными работными людьми на железодельном заводе господ Мосоловых в селе Буйском Уржумского уезда? Не знаю... Знаю лишь кое-что о селе из краеведческого альманаха «Уржумская старина», который выпускал в 90-е годы XX столетия Владимир Алексеевич Ветлужских: «Село Буйское расположено в двадцати километрах западнее города Уржума. Это одно из крупнейших сёл Уржумского района, центральная усадьба госплемзавода «Буйский». До речной пристани Цепочкино по реке Вятке от Буйского 32 километра, а до ближайшей железнодорожной станции в городе Вятские Поляны – 160 километров.

...Основание села – 1768 год. Тогда тульский купец Антипа Максимович Мосолов стал претворять в жизнь давнюю задумку своего отца – строительство на реке Буй завода. Первыми русскими поселенцами были привезённые Мосоловым крепостные, рабочие его тульских заводов, имевшие опыт строительных работ, рудознатцы и горнорабочие.

«Река Буй по довольствию воды может обеспечить помимо работы шести медеплавильных печей также и работу шести молотов, которые могли бы перековать чугун, доставляемый со Златоустовского завода», - такие доводы приводил Максим Перфильевич Мосолов в своём прошении. ...28 сентября 1767 года Берг коллегия издала указ, которым разрешалось строительство на реке Буй завода. Только завод этот должен был быть молотовым... Начало сооружения завода – 15 сентября 1768 года. Три с лишним сотни мастеров и рабочих привёз с Тулы, других своих заводов Антипа Мосолов в Буйское (его отец умер в ноябре 1767-го). ...2 января 1769 года были уже завершены первоочередные сооружения. Завод был пущен в дело, выдал первый металл. ...Вначале на единственном молоте был начат передел чугуна, доставляемого из Златоуста. ...Постепенно завод расширялся. Началась выплавка чугуна. Железодельный и чугунолитейный заводы стали работать на местных рудах из более чем 70 рудников, находившихся от завода на расстоянии от 5 до 50 вёрст. ...В 1865 году заводы Мосолова были взяты в казённое управление за неуплату долгов. ...Примерно к 1890 году владения Мосоловых в Буйском заводе были проданы с торгов казной лесопромышленнику Бушкову, который в старых заводских зданиях планировал оборудовать бумажную фабрику. Так бы тому и быть, но помешал пожар. В огне погибли все деревянные постройки.

Возвращаясь назад, необходимо сказать, что молотовая фабрика и в начале XIX века продолжала действовать. Была она с семью горнами и пятью молотами. Были при ней кузница, резная и плющильная, два амбара и кирпичный сарай. Заводу в то время принадлежало уже 25 тысяч десятин земли, занятой в основном лесами. К 1804 году здесь работали 102 крепостных рабочих (в том числе мой прапрадед Марк, родившийся в 1785 году, а потом его сын Тит и внук Гавриил. – Борис.) и временами от 100 до 140 вольнонаемных. К 1860 году рабочих было уже 700 человек. Завод выделял ежегодно от 24 до 57 тысяч пудов полосового и сортового железа. Железо увозили на лошадях в Уржум, а затем по рекам Уржумке и Вятке доставляли в Вятку, Казань, Лаишев. Торговали буйским железом в Саратове, на Макарьевской ярмарке, а позднее на заменившей её Нижегородской. Продавалось железо и при заводе.

К 1868 году при заводе было 383 двора, где насчитывалось 2645 душ, в том числе 1319 мужского пола. К тому времени Буйский завод по населению был больше даже, чем уездный центр Уржум, где насчитывалось 2439 жителей. Тем не менее из-за отсутствия оборотного капитала и несвоевременного ремонта предприятие приходило в запустение и упадок. А к 1876 году завод был закрыт.

Рабочие, лишившись работы, были вынуждены или занимать себя в сельском хозяйстве, или искать лучшей доли на стороне. Выселенцы из Буйского завода образовали в окрестностях волости более десяти починков. Среди них Александровский, Лебедевский, Соколовский, Чугуевский, Ивановский, Тарасовский, Степановский и другие. К 1883 году там уже было 2200 человек.

В первой половине XIX века Буйский завод составляли четыре слободы: Главная, Верхняя, Заречная и Буйский починок. Украшением села была Покровская церковь. В храмозданной грамоте Преосвященного Кирилла, вятского архиерея, на построение каменного храма говорится: «...Слушав мы поданное нам епархии нашей, Уржумского уезда, Буйского железодельного господ наследников заводчика Мосолова служителей Павла Пантелеева и Иосифа Силаева при прошении таковом же от коллежской советницы Олимпиады Ивановой Мосоловой, контр-адмиральши Анны Ивановой Карцевой и статского советника и кавалера Василия Андреева Загорского о дозволении в означенном заводе построить вновь каменную церковь в проименование Пресвятыя Богородицы в честь Честнаго Покрова с её двумя приделами во имя святого Архангела Михаила и Честнаго Славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна и с колокольнею...»

Церковь была построена в 1831-1835 годах. Храм стоит и ныне, но обезглавленный. Вместо креста, венчающего купол колокольни, звезда. Спилен крест и купола «холодного» храма. Разорение храма было начато в начале тридцатых годов нынешнего столетия, когда был снят главный колокол. Его выбросили через окно звонницы, которое пришлось расширить. Когда колокол упал, его разбили на осколки и увезли. Разместили тогда в храме клуб и склады. В то же время разрушили и церковь во имя Святого Иоанна Богослова на кладбище, часовню за рекой. Не минуло разрушение и лазарета в Заречной слободе, что был построен владельцами завода для лечения рабочих и служащих.

Разрушили и дом Мосоловых, который был также украшением села. Построен в 1770 году, большой, двухэтажный, более полусотни комнат. Лепные украшения залов, резьба по дереву в отделке комнат, изготовленная искусными мастерами мебель, паркетный пол, зеркала, узорчатые лестницы, красота убранства надолго врезались в память всех, кто видел всё это великолепие. Дом был огражден узорными решетками, изготовленными здесь же – на Буйском заводе. От дома к реке вела каменная лестница. Внизу были сооружены купальня и пирс.

Дом разрушили в начале тридцатых. Кирпич сколько-то возили в один из ближайших колхозов на строительство племенной конефермы. Да говорят – не вышло из этого проку. Здание конефермы простояло недолго. Селяне же и после разрушения находили обломки деревянных резных украшений, фрагменты тканевой узорной обивки стен, осколки дорожной посуды из господского дома.

Впоследствии на месте прекрасного здания была выстроена кирпичная коробка дома культуры. Серое здание, невыразительное...»

Мой прадед Гавриил был заводским молотобойцем (работал то ли в кузне, то ли на большом заводском молоте). Наверное, можно где-то найти подробное описание таких молотов, а я нашёл вот такой маленький отрывочек в «Преданиях и легендах Урала»:

«Раньше молот не паровой был, а на воде работал. Там не скажешь «стой!» Вода хлещет и хлещет. Вот тогда и ушибало кричников-то. Карп Федотович работал подмастерьем в Дощатой. Правил железо кровельное, которое из Сылвы привозили. Когда остановить надо молот, под молот подставку ставят. А Карп с рукой-то и попал. Руку подставил, ему и придавило. Он как бешеный забегал. Побежал в больницу... Фельдшер помог маленько».

В сорок лет (42?) прадед угорел у себя на заимке. Мать пишет: «Зимой 1872 года Гаврила Титыч взял с собой сыновей (старшего 22-летнего Гавриила и младшего 8-летнего Мишу) и пошёл в лесную избушку попроведать пчёл, может быть ещё и силки проверить. Там жарко натопили печь и легли на полу спать, но, видно, рано трубу закрыли. Ночью младший Миша проснулся от головной боли, тошноты, стал будить отца и брата. Брата кое-как разбудил (зажгли лучину, другого освещенья не было), а отца разбудить не смогли. Он так угорел, что и дети не спасли, хотя открыли дверь, впустили свежего воздуха. Сами кое-как отдышались. Утром вернулись в Буйское без отца».

(Как интересно: между смертью прадеда и моим появлением на свет лежат 69 лет... а мои внуки до сих пор живут вместе со своей прабабушкой.)

Недавно прочёл у Василия Ивановича Белова, как могла выглядеть та давняя прадедова лесная избушка: «Крестьянскую жизнь на севере нашей Родины трудно представить без леса. Хлебопашец нередко сочетал в себе охотничье, рыбацкое, а также промысловое лесное умение (сбор живицы, смолокурение, заготовка угля, ивовой и березовой коры, ягод, грибов и т.д.). Лесной покос тоже вынуждал не только ночевать, но и неделями жить в лесу. Поэтому избушка была просто необходима. Рубил её не каждый крестьянин, но пользовались ею все, начиная от бродяг и нищих, кончая купцами и урядниками, если стояла она недалеко от дороги, соединяющей волости.

По-видимому, избушка в лесу – это самое примитивное, сохранившееся в своём первоначальном виде древнейшее человеческое жильё. Квадратная клеть с одним окном, с потолком из плотно притёсанных еловых бревёшек, с плоской односкатной или не очень крутой двускатной крышей. Потолок утеплялся мхом, прижатым слоем земли. Дверь делали небольшую, но плотную, с деревянными из берёзовых капов петлями, надетыми на деревянные же вдолбленные в стену крюки.

Широкие нары из тёсанных плах ожидали усталых работников. В небольших избушках вместо нар устраивали обычные лавки.

Посредине, а то и в углу чернел, приятно попахивая теплом и гарью, таган – очаг, сложенный из крупных камней.

... Чем больше была каменка, тем меньше требовалось дров и тем теплее было в избушке. Угар исчезал вместе с потуханием углей. Дымоход в стене закрывали и до утра оставались наедине с теплым и смоляным запахом. (Наверное, прадед его рановато закрыл. – Борис.) Шум ветра в морозном ночном лесу заставлял ценить тепло и уют...

Летом, в пору гнуса и комарья, дым легко выживал из избушки эту многочисленную тварь, а остальное зависело уже от самих себя. Не зря про хорошего плотника говорят: «Косяки прирубают – комар носа не подточит» (Повседневная жизнь русского Севера. Очерки о быте и народном искусстве крестьян Вологодской, Архангельской и Кировской областей. М., 2000).

Детей у прабабушки Аксиньи Антиповны – восемь, а кормилец помер. Поэтому восьмилетнего Мишу отдала в люди, где его приспособили нянчить младенца. Он и сбежал домой. Скоро завод в связи с реформой как-то там прогорел и закрылся, так что народ подался на новые земли – в починки. Аксинья поселилась в починке Соколовском (на другом берегу – Лебедевский) вместе с Мишей и старшим Лукьяном. Самый старший Гаврила погиб на русско-турецкой войне в Болгарии. Ну вот... Михаил Гаврилович помер, женился (сосед дал напрокат полушубок, когда ездили свататься), а потом служил в армии. Земли было много: ему сдала свои десятины в аренду овдовевшая женушка убитого на войне брата, жившая в Буйском. Да еще тесть Бусыгин Василий Евдокимович помог, хозяин мини-мастерской в соседнем селе Русский Билямор (делал там косы и серпы; сейчас-то село почти вымерло, а в начале XX века там стояли 400 домов). Это мой прадед по бабушке, а прабабушку звали Мария Андреевна... Так что к концу XIX века был готов кирпичнейший дом о две комнаты.

Кирпичи делали сами три года, потом наняли каменщика класть стены. Через год – штукатурили. Переехали туда из клетки, куда входили по доскам. Бабушка Акси́нья Антиповна Маркова нянчилась с первыми внуками: Ваней, Александрой (появилась на свет после того, как Михаил Гаврилович отслужил 6 лет в армии), Анной; померла бабушка в 1900 году.

Старшая моя тётушка Александра Михайловна свидетельствует: «А когда разделились все братья (да и делить нечего было), дяде Лукьяну досталась изба, а нашему отцу – клеть. Вот они из клетки и сделали себе избу. Лошадь досталась отцу нашему, а телеги не было. Но как-то всё-таки приобрели телегу, и мама рассказывала, как они были рады, что есть телега. Поехали с навозом в поле, и оба пошли рядом, чтобы порадоваться на телегу. Земля была новая, хлеб родился хороший, стали держать скотину, много овец. От всего доход. Много годов готовились, чтобы выстроить дом... А лавчонка появилась в 1897 году – в ней было на сто рублей товара, необходимого деревне».

Мать моя пишет: «Кирпичный дом наш был пятистенный, шесть окон на улицу, разделен капитальной стеной на две половины. В большой комнате на три окна отгорожена дощатой переборкой кухня с одним окном. В кухню выходило чело русской печи, там стоял стол, на котором мама стряпала. Вдоль стены у окна стояла широкая скамья, а на переборке висел посудник для всяких мисок. Было ещё два окна во двор, вдоль стен у окон стояли широкие скамьи, крашенные охрой. Скамьи сходились в переднем углу, где около них стоял бошой прямоугольный стол, покрытый клеенкой. Наверху в переднем углу была божница с двумя иконами, обе в киотах – родительское благословение во время женитьбы. Перед иконами висела лампада...

В простенке между окнами размещалось небольшое зеркало в раме, а у переборки стоял простенький старый шкаф-буфет для будничной посуды. У задней стены стояла широкая деревянная кровать с соломенной «перинной». Перина была покрыта домотканной дерюгой и домотканным одеялом. Две подушки в холщёвых наволочках. Всю заднюю половину избы на высоте, превышающей человеческий рост, занимали полати. С двух сторон они ограничивались стенами (угол), третья «граница» полатей выходила на печку, а четвертая (передняя) была украшена перилами из деревянных точёных стоек-балясин, окрашенных в чёрный цвет. Вход на полати был с печки, куда поднимались по лестнице, которая стояла между печью и задней стеной дома. А от верха лестницы вдоль печи и стены были плотно настланы прочные доски – до следующей стены, так что сначала с лестницы вставали на эти доски, а потом – на печь. На полатах спали зимой дети, там места хватило бы человек на пять, самое меньшее.

На печь (около порога во двор) вела глухая лестница, ступени забраны с тыла. От верха лестницы и до двух стен и печи плотно и основательно лежали доски. Это место – такая площадка – называлось «казёнка». И когда мы были совсем маленькие, отец садил кого-нибудь себе на ногу и распевал такую вот песенку:

Песенка, песенка,
Есть на печку лесенка...
С печи на полати
на казёнке – нырок!

И при этих словах, бывало, подбросит на своей ноге.

Да, насчёт кровати... Там спали родители, а зимой часто один из них спал на печке. Печь была большая, могли свободно разместиться 3-5 человек. Летом спали в сенях, в чулане, на сеновале.

Вторая половина дома – горница. Там тоже была русская печь, но зимой её не топили, потому что зимой там некому жить. В горнице на окнах висели белые занавески (коленкоровые), но они закрывали только верхнюю часть окна. На окнах летом стояли цветы, на каждом окне обязательно стоял горшок с бьюном (плющ), который тянулся вверх по стене и затем вдоль стены. Были горшки с лилиями, алоэ, других не помню. В простенках стояли столики, их было три и один угольник в переднем углу. Между столами стояли стулья, а вдоль печи – диван с полумягким сиденьем и такой же спинкой, обитый цветным ситцем. У одной из стен стоял шкаф-буфет с простой фарфоровой посудой, но более праздничной. На стенах висели фотографии родных в рамках. Над одним из столов – зеркало. В переднем углу – божница с иконами и лампадой. На столах лежали домотканые скатерти, на полу – домотканые половики, такие же (только похуже) – на полу в избе.

В горнице за печью стояла кровать. От горницы была отгорожена переборкой кухонька со столом. Двери избы и горницы выходили в общие сени, а из сеней двери вели на крыльцо и во двор.

Как выйдешь из дверей избы, в сенях налево отгорожен маленький чуланчик метров шесть квадратных. Это – лавка, там на полках стоял товар для продажи: сахар, соль, спички. Вдоль стены (на расстоянии полуметра от неё) стоял прилавок, а на нём весы-тарелки. На полу и под прилавком стояли мешки с солью, сахаром, изюмом. В углу стояла кадка с колёсной мазью.

Отец как-то познакомился с казанским татаринном Факимьяном, который ездил на телеге по уезду и покупал «сельхозпродукцию». Факимьян стал привозить в дедов чуланчик изделия городской промышленности, необходимые крестьянству, - и забирать куриные яйца, которыми расплачивались односельчане. В начале германской войны (1914 г.) торговлю родители прекратили.

В правом конце сеней дверь открывалась в маленький чулан, где стояла мука на каждый день и где мама сеяла муку для хлеба. Из чулана вела лестница на чердак (он почему-то назывался подловкой). На подловке стояли сновалки, на которых сновали основу для изготовления холста. Кроме того, из чулана была ещё дверь в клеть. Это помещение, где хранятся разные домашние предметы, которые не нужны постоянно. Например, какие-то кадушки, ткацкий станок (стан, как его у нас называли) и принадлежности к нему: берда, ниченки, скалки, цевки, вороба. Иногда летом в клетке спали.

Под клетью – погреб. Весной в яму плотно набивали снега – на всё лето (к осени оставалось чуть на дне). На снегу держали мясо, молоко и другие скоропортящиеся продукты. На краю ямы стоял бочонок с квасом. Квас, особенно летом, не пережегся, был постоянно, а к Пасхе делали пиво, но и оно было совершенно без градусов, сладкое, из солодяного сусла.

К погребу примыкал маленький амбар, где хранилась посыпка для скота – посыпали мешанину из соломы для лошадей, поило корове. За амбаром был хлев-тепляк для коровы, а над ним сеновал. Дальше шёл так называемый каретник, где стояла телега кованая, «на железном ходу» (на ней ездили только в город), тарантас (у нас его звали «карандас»), коробок (зимние сани с кошевой). Телега сноповая, телега навозная стояли тут же, под поветью, но не в каретнике.

Дальше стоял курятник, а рядом – хлев для овец. Затем постройки «загибались» под прямым углом, первыми среди них были две конюшни для лошадей (раньше держали двух-трёх), затем – проезд в огород, а за ним дровяник, где держали запас дров на каждый день. А большой запас дров был за огородами на так называемой ободворице (полоса земли с посевом за огородами). Над всеми хлевами сеновалы, но запас сена был только на одном, поскольку покосов не хватало. На других сеновалах лежала разная солома: ржаная, овсяная, гречневая; веники березовые и липовые для овец и ягнят, да и для телят. В огороде стоял молотильный овин; когда в нём молотили, то солому сразу носили на носилках (две тонкие, упругие жерди). Клали их на землю, сверху наваливали солому, закрепляли вожжами, и два человека несли эти носилки на сарай, поднимались по широкому бревенчатому трапу (шириной метра два), оставляли солому на сарае и снова шли в овин. И так до конца молотьбы, до вечера.

В огороде главное место занимала картошка. Конечно, много места отводилось и под гряды с овощами. Где-то с 20-х годов начали выращивать помидоры и даже табак. Ни отец, ни братья не курили. Выращивали на продажу года два-три, потом не стали занимать под него землю. Огурцы росли на тёплой навозной гряде. Всё росло очень буйно. Картофель был необыкновенно крупный, розовый.

Починок наш растянулся вдоль реки Мазарки версты на три, улица была односторонней, дома стояли окнами на юг. Перед окнами у многих были палисадники, дальше – проезжая часть улицы, неимоверно грязная весной и осенью, с огромными сугробами зимой. Сугробы особенно велики в промежутках между домами, а потому зимняя дорога вся была из подъёмов и спусков. За дорогой вдоль улицы тянулись изгороди так называемых нижних огородов. Огороды были разных размеров, это зависело от русла Мазарки, от её излучин. У нас огород был маленький, там росли только кусты малины, смородины, немного вишни, а вдоль забора – акация. Среди кустов летом стояли ульи с пчёлами (три-четыре). На зиму их уносили в нежилую горницу. Огород заканчивался крутым спуском к реке – бугром. Там стоял амбар на три половины, где хранилось зерно, а в одном отсеке стоял сундук с одеждой, холстами. Нарядов особых у мамы не было, может быть только две-три кофточки и столько же юбок, чтобы надеть в праздник, к обедне. Шуба была суконная на козьем меху – ещё из девушек. Шаль – большая, которую надевала поверх обычной шали в мороз, если ехали в церковь (тоже ещё из девушек).

Под бугром у пруда (возле нашего конца починка стояла мельница с плотиной) располагалась баня. Топилась по-чёрному. Кроме прямого назначения, она служила ещё для сушки снопов льна. Его сушили перед тем, как мять на мялках (вручную) на волокно. Прежде чем из льна сделать нити, его мjali, трепали (трепало – тонкая дощечка с ручкой). В левой руке женщина держит горсть длинного волокна, а в правой – трепало. Им она бьёт скользящими ударами по волокну и выбивает остатки костры (твёрдой части льняного стебля). Перед тем, как прясть, лён ещё трепали на проволочной щётке. Это доска, на один конец которой садится чесальщица, а на другом прикреплена щётка стальными зубьями вверх. После такой обработки получалось чистое, нежное волокно-куделя. Из него пряли на самопряхе (с колесом) нити любой толщины, а из них уже ткали холсты тоже любой толщины и узора – в зависимости от назначения холста. Из него шили белье нательное и постельное, скатерти и полотенца. Из холста – мешки и постилы-полотенца в три полосы холста и длиной метра в два с половиной. Ими закрывали иногда ворох зерна. Холст при этом использовали самый грубый. Полог на кровать тоже шили из холста. Портянки, онучи (последние ткали с шерстяным утком, а основа льняная)... Из шерсти ткали сукно для верхней одежды: мужские пиджаки, женские курточки. Из семян льна делали масло, которое и шло в основном в пищу.

Пицца была довольно однообразная. Утром картофель, сваренный в «мундире», очищенный и обжаренный. Когда его ели, то или прихлёбывали молоком из общей миски ложками, или приедали квашеной капустой. Часто делали из овсяной муки завариху – муку заваривали кипятком из-под самоварного крана, добавляли масло (топлёное в мясоед или льняное в пост), ставили на шесток на угольки перед «пылом», когда топилась печь. Завариха немножко подрумянивалась сверху. Ели тоже с молоком. Хлеб – так называемые ярушники из смеси овсяной и ржаной муки. Пекли его на поду. Сырую круглую буханку клали на деревянную лопату (лежала она на печке между трубой и стеной) и сажали на под в печь. Той же лопатой доставали из печи, ставили на стол на ребро и укрывали маленькой скатертью из холста – квашенником, чтобы хлеб отмяк.

Когда было тесто для хлеба (пекли часто, дня через два), то утром перед пылом на угольках (на сковороде) пекли ещё и лепёшки и ели их в завтрак горячими. А когда разделявали тесто на хлеб, то часто пекли шаньги с картошкой, а зимой пирог с рябиной. Для сладости в рябину добавляли кулагу. Её делали из солода, который заливали кипятком в глиняном горшке. Хорошо промешивали и ставили в печь на вольный дух. Там он упаривался, его доставали, охлаждали, получалась масса вроде повидла, но, конечно, менее сладкая. За неимением сахара и она казалась сладкой. Росла-то я в годы русско-германской войны, революции, гражданской войны, был недостаток во всём и всему старались найти заменители в своём хозяйстве.

В обед зимой почти всегда были щи мясные (бараньи или говяжьи, свиной родители мои почему-то не держали). На второе в обед каша или картофельная запеканка. Всё прихлёбывали молоком. Летом на первое всегда ели окрошку: картошка, зелёный лук, яйца, огурец, сметана. Мяса ели мало, только по кусочку маленькому из щей. К Рождеству стряпали много пельменей, выносили их на мороз. К Пасхе пекли по одному большому сладкому пирогу с изюмом или распаренной сухой малиной. То и другое укладывалось на верх большой лепёшки. Лист с таким пирогом ставили на печь для подъёма. Помню, я маленькая была – забралась на печь и стала «клевать» изюминки с пирога. Мама вовремя меня там обнаружила и, конечно, не похвалила.

На Пасху обязательно делали творожную пасху и красили луковой шелухой яйца. В конце светлой седмицы в починок приезжал священник с диаконом, ходили они в сопровождении прихожан по домам и служили в каждом доме молебн. А по улице ехала подвода – везла подношения, давали что кто мог: муку, крупу, яйца. Это было до тех пор, пока не закрыли церковь. Летом священник тоже приезжал и служил молебны в полях. Если была засуха, то просили у Бога дождя. На молебн собирались все жители починок, а мы, дети, обязательно туда бежали.

В школу я пошла в 1918 году, когда уже началась гражданская война. Ходила в соседний починок Лебедёвский, за речку. Там сначала было три класса, и работала со всеми одна учительница Силина Александра Михайловна (родом из Буйского). Она и жила при школе, одинокая, без семьи. Помню, иногда навещала моих родителей.

Школа стояла в стороне от починок, при ней был большой участок, обнесённый забором из штакетника. Там росли сирень, акация, и как-то в стороне от всех кустов стояли три могучие лиственницы. Во дворе, кроме школьного здания, была ещё небольшая пристройка, где учительница держала индеек, а мы, дети, очень боялись индюка, особенно когда он напыживался и начинал кричать.

В 1918 году с нами ещё занимался батюшка из села Буйского отец Николай (а был ещё и отец Александр), читал нам Закон Божий. Помню, как мы перед уроками пели молитвы «Царю Небесный», «Отче наш», молитву о даровании победы христоролюбивому воинству «Спаси, Господи, люди Твоя...» Великим постом родители возили нас на лошадях в Буйскую церковь к причастию. На Рождество в школе обязательно ставили ёлку. Помню, как девочку из нашего класса нарядили ангелочком, поставили её на возвышение около ёлки, и она громко прочла наизусть: «По небу полуночи ангел летел и тихую песню он пел...»

Мальчишки-подростки колядовали в Соколовском. Заходили в каждый дом и пели: «Рождество Твое Христе Боже наш возсия мирови свет разума...» Им давали кто что мог: пирожки, булки или немножко денег. Девочки не колядовали. Мы вволю катались на салазках. Был длинный и не очень крутой спуск на замерзший пруд. Катались и на ледянках. Это доска с заледенелым днищем, сверху сиденье, впереди к доске верёвка привязана. Садисься, как на санки, и катишь с горы. Домой вечером приходили заколеченные – и сразу на печку отогреваться.

После Рождества взрослые девушки с парнями ходили на вечерки. Договаривались с какой-нибудь малосемейной вдовой, у которой изба попросторнее (что-то ей платили), и вечером там все собирались. Девушки обычно усаживались в передней части избы, а парни – ближе к порогу. Девушки пели особые святочные песни, а парни, кто когда вздумает, вставали и один по одному подходили к понравившимся девушкам, брали за руку и водили по избе взад-вперёд. Песня обычно заканчивалась словами о поцелуе, и парень целовал девушку, а потом усаживал её на место. И так весь вечер, а после расходились по домам.

Помню частушку:

Где мои 17 лет,

Куда они девались?

По вечерочкам ходила,

Там они остались...

Я не успела побывать на вечерках и песен не знаю. Да меня бы и родители непустили – ведь я училась. Ни сестра Анна, ни братья на вечерках не были. Только самая старшая Саша, Александра...

Когда святки заканчивались, молодёжь по-прежнему собиралась у кого-нибудь на посиделки, только уже девушки брали с собой работу: прялку со льном и самопряку. Пели песни и пряли, а парни – кто рядом с ними, кто у порога. Часов в десять вечера расходились по домам.

Помню масленицу... Это праздничная неделя перед Великим постом. С утра девушки и парни собирались на льду нашего пруда. Девушки в лучшей зимней одежде стояли табунком, пели-разговаривали. Тут же парни... Все они из починок Соколовского, Лебедевского и ещё двух маленьких (дворов по пятнадцать) – Степановского и Конюховского.

Парни, у которых были на примете невесты, запрягали дома лошадей в так называемый коробок (со спинкой и удобным сиденьем). На спинку вешали коврик, чтобы он спускался одним краем за спиной седока. На сиденье под другой край коврика – сено, чтобы мягче сидеть. И выезжали на пруд. Каждый выбирал себе девушку по душе, усаживал в коробок и мчал по льду. Так могли проскакать не один раз до мельничной плотины (это с полкилометра) и обратно. Потом ухажёр возвращал девушку подружкам, а сам уводил лошадь домой. На «красную горку» – после Пасхи – жди сватов...

Великий пост все строго соблюдали. К тому времени лён почти уж отпряли и занимаются холстами. В каждом доме был ткацкий станок. Основу для ткани делали на особом приспособлении – сновалке. Эти сновалки до поры до времени лежали на чердаках-подловках. Холсты были самые разные. Для мужских верхних

рубашек – в мелкую клетку из льняных и красных хлопчатобумажных (которые покупали) нитей. Такой холст называли – полбумажный. В более крупную клетку был такой же холст для женских кофт и юбок.

Из купленных тканей шили одежду только на праздники, в церковь сходить. В будни носили всё домотканное. Нательное бельё – только из своего льняного полотна. Женская нижняя рубашка называлась станушка – видимо, потому что она прикрывала женский стан и была ниже колен. Юбки широкие и длинные. У мужчин не было ни маек, ни нижних рубашек, а только одна верхняя холщёвая. Брюки называли так – шаровары (под ними – кальсоны). Холщёвые шаровары заправлялись под портянку, и лапотной верёвкой ноги обматывались до колен. Женщины носили лапти с длинным (до колена) шерстяным чулком. А сверху ещё шерстяной носок. Летний чулок – из льняных ниток.

Мы, дети, тоже ходили в лаптях, но в школу – в кожаной обуви, а зимой – в валенках. Реалисты и гимназисты в Уржуме ходили и зимой в кожаной обуви, а сверху надевали тёплые глубокие калоши.

Но вот прошёл Великий пост, наступила Пасха, светлое Христово Воскресение. Конечно, все едут и идут в Буйскую церковь, к причастию. Несут святить кулички и крашеные яйца. Яиц – десятка три-четыре, красили в основном луковой шелухой.

У молодёжи была забава. Собирались в избе два-три человека и приносили с собой крашеные яйца. Ставили маленький деревянный или лубяной жолоб, один его конец клали на какое-либо возвышение и с него скатывали яйцо. Второй игрок тоже катил яйцо, стараясь, чтобы оно ударилось о предыдущее. Если попал, то забираешь с кона обо. Мальчишки так и говорили: «Пойду яйца катать».

На Пасху во дворе обязательно вешали качели. И на улице тоже ставили местами в трёх-четырёх высокие деревянные козлы, поперек клали толстую берёзовую жердь, а от неё вниз спускались две тонкие берёзовые жерди. В полуметре от земли клали между ними доску-сиденье – и качались. Как говорят, этому обычаю несколько тысячелетий...

С моими родителями я рассталась давным-давно, а в сердце они всегда со мной. Я так их хорошо представляю, как будто мы только вчера виделись. Оба среднего роста, отец Михаил Гаврилович коренастый, с тёмно-русой (потом седой) окладистой бородой. Сероглазый... С крепкими белыми зубами – до самой старости. Стрижка «под горшок». Мама Александра Васильевна художая, кареглазая. Волосы тёмные, заплетены в две тоненькие косички и уложены на затылке. На голове постоянно носила платочек – белый или серенький ситцевый. Одежда крестьянская. Отец постоянно носил ситцевую рубашку-косоворотку, подпоясанную узеньким ремешком, и чёрные хлопчатобумажные шаровары, заправленные в длинные (до колен) шерстяные носки. Они обмотаны холщёвыми портянками. На ногах лапти. На голове чёрный старенький картуз.

Если дождь или прохладно, отец надевал пиджак из домотканного сукна. В дорогу надевал кафтан – тоже из чёрного сукна. Зимой – полушубок и тулуп. Выдывали овчины в чёрный или жёлтый цвет мастера из соседних деревень. Обычно они ездили на телегах, запряжённых одной лошастью, и собирали овчины для выделки. У каждого хозяина овцы имели на ушах свою метку (надрез), а поэтому овчины не путали. Выделанные овчины мастер сам привозил и раздавал хозяевам. По домам ходили и портные, которые шили всевозможную одежду, кафтаны, тулупы, полушубки. Ходили по домам шерстобиты и валенщики. Всё это были почему-то в основном старообрядцы... Ходили, естественно, зимой.

Была у отца и праздничная одежда – пиджак из тонкого фабричного сукна, суконные шаровары и хромовые сапоги. Но всё это надевать приходилось очень редко, разве только при поездках в церковь или в город. В гости редко куда ходили или ездили, иногда лишь на свадьбы родственников. Большая часть жизни проходила в работе, в уходе за скотом, в огородных и полевых всевозможных делах, и праздничная одежда лежала в сундуке. Её шили или покупали перед женитьбой, и её хватало на всю жизнь.

Мама была одета в ситцевую, реже сагиновую, какой-нибудь скромной расцветки кофточку, тёмную широкую и длинную юбку, тоже ситцевую (реже холщёвую). Кофточка была заправлена под фартук. Фартук, или запон, был обязательной принадлежностью одежды каждой замужней женщины. Праздничные юбки и фартуки были с оборками. Рабочая одежда мамы (и вообще всех женщин) состояла из курточки, сшитой из домотканного чёрного сукна. В верхней части она была плотно приталена, а от пояса широко расклёшена. Застёгивалась на металлические крючки.

Была, конечно, и праздничная одежда. Кофту и юбку шили тогда из более плотных материалов. Помню, был какой-то канифас, белифор. Белифор – одноцветный, с набивным рисунком. Верхняя одежда называлась сак, нечто вроде жакета, отделан бахромой, стеклярусом. Зимой – шуба на козьем меху (мех кудрявый, нежный). Верх – тонкого сукна. Воротник из какого-то светлого, недорогого меха. Шуба длинная, рукава с меховыми манжетами. Летом мама носила в молодости (в гости, в церковь) ботинки на пуговицах, а потом с резинками и ушками спереди и сзади ботинка. Зимой валенки носили все. Летом рабочая обувь всех крестьянок любого возраста – лапти, надетые на шерстяные носки. Лапти плёл сам отец, сам и готовил лыки.

Мама родом из села Русский Биямор. Это 25 километров от Соколовского. Родители Бусыгины Василий Евдокимович и Мария Андреевна имели крестьянское хозяйство, но кроме того у них была кустарная мастерская, где изготовляли косы, серпы, грабли и т.д. Все изделия продавали на ярмарках. У мамы были братья: старший Семен и младший Александр. Сестра Марина. Был ещё брат Филипп (старше всех), молодым уехал в Москву, служил приказчиком, потом сам стал владельцем книжного магазина. В 1917 году их разорили, он и жена умерли, детей не осталось (дочь Алевтина, чернотростовая красавица, преставилась в 20-е годы в возрасте 50 лет; сын мой Борис с его сросшимися чёрными бровями, наверное, в Бусыгиных).

Вместе с моими родителями жила и бабушка, мать отца Аксинья Антиповна. Рядом – дядя Лукьян с женой Марией Тихоновной, которая «бабничала», выступала в роли акушерки-повитухи. Собственных детей у них не было. Лукьян Гаврилович умер в 1910 году (в Уржуме после операции аппендицита). Гроб с его телом привезли домой, и моя мама, держа меня на руках, сказала: «Вот кому надо бы умереть-то, а не ему!». Дяде Лукьяну было тогда всего 58 лет. Рядом стояла соседка-старушка Ивановна: «Зачем так говоришь, матушка? Она тебе ишо пригодица, пра, пригодица!» Так и случилось. Родители свой век у меня доживали, я их и схоронила. А про тот разговор мама мне сама потом рассказала...

Бездетная тётушка Мария уехала в Уржум, там пошла в няни к купцам Стяжкиным. Мы все её звали «бабочка», более ласково, чем бабушка, потому что она бабничала у мамы, то есть принимала роды, и мы все родились с её помощью. После революции (в 1919 году) она вернулась в Соколовский, жила в своём домике, хлебом её обеспечивал наш отец, арендовавший «бабочкин» надел. А на всё остальное она зарабатывала как бабка-повитуха. Потом она занемогла и уехала в Буйское к сестре, там и умерла.

Мои мама и отец были невероятно трудолюбивы, серьёзны, рассудительны. И, конечно, умны. Оба закончили трёхклассные сельские школы и, если выпадала свободная минута, любили читать, особенно мама. Знали много русских народных сказок, пословиц, прибауток, много колыбельных песенок. Знали много молитв (мама обучалась рукоделью у монахинь). Сынок мой Жёна как-то вспомнил, как бабушка Саша старенькая им с Галей в тепле иной раз начинала рассказывать:

«Однажды к вятичу в гости заехал блестящий импиратор. А тот наварил киселя, налил в корчагу – и с нею навстречу. Тащит обхватимши, она ж ба-а-льшушшая, да тут онуча развязалась – он и наступил другой ногой... То-то было грохоту, глиняных черепков – а лужа какая! Импиратор не рассердился, обтёр кисель и повелел выдать мужику серебряную медаль».

Или ещё: «Однажды как-то зимой вятские поехали на дальнюю ярмарку толокно продавать. Да сильно проголодались – мочи нету. А тут прорубь в реке... Они и ссыпь туда мешок – и давай оглоблей мешать. Но каши нет как нет. Не получаецца! Шибко рассердимшись, они все протчие мешки туда покидали... О сю пору сидят да на реку задумчиво смотрят».

Родители были очень доброжелательны, мирно жили с соседями, а мы, дети, дружили с соседскими детьми. У меня была подружка Лиза, дочь соседки Дуни Макарычевой. Сама Дуня была подружкой моей старшей сестры Саши. Муж её Гаврюша погиб на германской войне в 1916 году.

Рядом, слева от нашего дома, жили дед Иван Филиппович с бабой Татьяной и снохой Машей (сын их Семён тоже погиб на германской войне). Дочка Маши Груня была моей подружкой. Дед Иван держал небольшой пчельник, у моего отца тоже было 3-4 улья. Летом, когда все уходили в поле, мы с Иваном Филипповичем (старый да малый) оставались караулить своих пчёл – следить за тем, как они будут роиться. В случае надобности я звала на помощь деда Ивана, и мы с ним выслеживали рой: накрывали матку пологом – до прихода отца. С его внучкой мы летом играли на улице, а зимой – у нас на огромных полатях (там уж в самодельные куклы). Надо сказать, что вместе с фамилиями были в ходу именованья по деду. Фамилия Груни была Кошкина, но чаще всю её семью называли Филиппычевы. А были ещё Макарычевы и т.д.

Родители общались с детьми спокойно и ровно. Правда, отца мы побаивались. Может быть, старшим когда-то и попадало от него, но мне не доставалось. Обычно я шла со всеми своими маленькими вопросами к маме, и она уж решала, как мне поступить.

Однажды (мне тогда было лет пять-шесть) я бросила в сестру Анну какую-то свою игрушку, а попала в оконное стекло и разбила его нижнюю маленькую часть. И тут Анна меня запугала: «Погоди, придёт отец с поля – так будет тебе поротьё!» И я весь день проплакала в ожиданье поротьё. Приехал отец, усталый, голодный, сестра тут же рассказала ему про мою провинность, а он только рукой махнул и сел за стол ужинать. Мол, не такая уж это вина, чтоб малышку наказывать.

Во второй раз была провинность серьёзнее. Ездил сосед в Уржум, попутно увозил туда братьям моим реалистам две четвертные бутылки молока. И привёз их обратно пустые. Тут меня и послали к соседу за бутылками. Они были поставлены в большой холщёвый мешок. Я принесла их домой, взвалив мешок за спину. Стою так на крыльце... А отец был во дворе, увидел меня и говорит: «Что ты их держишь? Иди в сени и брось там на пол». Я, послушная дочь, так и сделала – бросила мешок с бутылками на пол. Не поставила, а бросила, как велели, – прямо с плеча. Они только звякнули... Но поротьё и даже проборки и на сей раз не было – сам велел бросить.

Сидя за столом, дети вели себя отменно: не болтали, не капризничали, ели что дадут. Из-за стола выходили со всеми вместе, крестились, благодарили. И если было какое-то порученье родителей – шли исполнять. Или же, спросившись, отправлялись по своим делам.

Отец наш вино и водку не пил – с тех пор, как однажды у нас сторел овин, где сушили снопы перед молотьюбой. Он вернулся с чьей-то свадьбы, пошёл сушить снопы, задремал да чуть не сторел – ладно старшая дочь Александра помогла выбраться из ямы. Больше отец и на свадьбах не пил. Приходилось пользоваться вином деда Ивана. А через три дома от нас жил Николай Артамонович Волосов (дед Марии Степановны Волосовой-Окунёвой, с которой мы потом знали в Екатеринбурге). С ним мой отец был в большой дружбе, они хорошо помогали друг другу в работе. Николай Артамонович умел мастерски класть скирды из снопов (кладухи). Он всегда стоял наверху, а отец ему подавал. Михаил Гаврилович молотил ему рожь, овёс на своей молотилке. У нас были молотилка, веялка, жнейка. Общение между соседями было в основном в труде, во взаимопомощи. Водку не пили... И не курили табак.

Наши родственники жили в соседних починках. Старшая сестра отца Степанида крестьянствовала с мужем в деревне Кадочниково Уржумского уезда. Олимпиада (1858 года рождения) жила в четырёх километрах от нас в починке Тарасовском, выйдя замуж за Гаврилу Питерских. А другая сестра Варвара – на Чугуевском (километров пять). Обе жили с взрослыми детьми, у нас бывали очень редко – гостили по 2-3 дня. Помню, и я однажды гостила у тётушки на Тарасовском. Родителям моим было некогда ездить по гостям, не на кого оставить хозяйство, скот. А третья отцова сестра Прасковья вышла замуж в селе Буйском за Черкасова Ивана Васильевича, её сын Алексей Черкасов (ударение на последнем слоге почему-то) ещё в 60-х годах XX века писал письма моему брату Михаилу в Стерлитамак. Было ему тогда уж девяносто лет. Помню, как малышкой была с сестрой своей Сашей на свадьбе у Юнечки Черкасовой в Буйском.

(Как странно... Какая жизнь... Жила когда-то на свете девочка-девушка, а осталось лишь имя – Юнечка. Даже и не знаю, как оно звучит в своей полноте. Упокой, Господи, Юнечку... имя же её ты знаешь.

Сохранилось письмо Алексея Ивановича Черкасова двоюродному брату Михаилу Михайловичу Маркову:

«1966 г. Сентября 26 дня. Привет из Буйского, здравствуй дорогой брат и крестник (он был старше дяди моего Миши лет на тридцать. – Борис) Михаил Михайлович и супруга ваша Надежда Васильевна и всё ваше семейство. Шлём мы вам с Панею вместе свой горячий сердечный привет. И доброго здоровья. Как родные живёте и что есть нового в вашей жизни и в здравии всех? Мы, Миша, пока все живы, потихоньку бродим. Погода стояла тёплая, сухая, убирали всё в огородах. Сперва убирали помидоры, лук, а потом картошку. Копал и я, помогал. (А ему, повторяю, тогда уже исполнилось девяносто.) Погода была по мне. Всё убрали за вёдро, и всё выросло хорошо, картошка крупная. А вот сейчас с 20-го пошли дожди и стало холодно. Теперь погода не по мне, я забираюсь уже на печку.

24-го получил я от вас письмо, за которое большое вам спасибо. Что вы не забываете нас стариков. Дай вам Боже здоровья. Я ваши письма прочитываю по нескольку раз. Я рад, у меня родных братьев нет, остались только две сестры Юня и Зина. Юня со снохой живут неважно, всё ссорятся, миру нет. В гости нынче к нам приезжали сын Алексей со своей семьёй да Зинина дочь Рита. А сама Зина не была. Собралась было, но заболела – так и осталась дома. У Зины две дочери – и обе врачами.

Нынче у нас много было земляники и малины. Лёня наварил варения много. Он гостил один месяц у нас, а потом уехал к дочери на Ижевск. Она у него там вышла замуж, а вторая ещё учится в 7-м классе. И больше никого нет. А сыновей нет ни одного. Вот жаль, что с вами не повидался. Дальше доживу или нет – не знаю, а охота было повидатца. С вами и с Володей (с Владимиром Михайловичем, братом дяди Миши), а если живы будем так увидимся. Привет вам всем от дочери моей Кати и Вани, от Юнички и от Васи. Сыну Алексею и то охота вас повидать, он вас не знает никого.

Ну у меня пока всё, на том я кончаю, с горячим приветом к вам ко всем ваш брат и крёстный Алексей, Паня и Катя. Будешь писать Володе – напиши от нас ему привет. Сейчас у вас будет своя машина (дядя Миша получил бесплатно – как солдат, потерявший на войне свои ноги), можно поехать куда угодно, будем ждать скорого свидания. Пиши ответ, мы ждём». Это мой двоюродный дядя 1876 года рождения. Не знаю, сколько он ещё прожил на белом свете. Старше меня на 67 лет. – Борис.)

Старшая моя сестра Саша была замужем за сыном соседей Семеном Фёдоровичем Бешкаревым, который ещё до женитьбы уехал из Соколовского в Верхотурье и работал там агентом по продаже швейных машин компании «Зингер». Женившись, они с Сашей в 13-м году уехали в Верхотурье, а в 14-м Семена взяли на германскую войну, и Саша с маленьким сыном Шурой вернулась в Соколовский, где у мужа был свой кирпичный дом. Одной с ребенком было трудно, да и соседки стали матери говорить: «Ой, Васильевна, что-то по ночам у Саши из трубы огненный петух лета-а-ит!» Она и перешла на жительство к нам. После войны её Семён вернулся домой, но скоро умер. Вышла замуж за Головизнина Александра Николаевича, с которым прожила долгую жизнь. Сыновья Анатолий и Николай с семьями до сих пор живут на Западной Украине, в городе Львове.

Вторая по старшинству сестра моя Анна училась в Уржуме в гимназии. В 1915 году она уехала в Москву, к дяде Филиппу Васильевичу Бусыгину, там окончила курсы сестёр милосердия и была отправлена в прифронтовую госпиталь. Братья Владимир и Михаил учились в Уржуме в реальном училище, закончили его в восемнадцатом и двадцатом году. Дома и Анна, и братья жили только летом. Анна обычно во время летних полевых работ оставалась со мной-малолеткой дома, а братья работали вместе со взрослыми. Михаил ещё маленьким боронил в поле. Отец сеял, а он заборанивал посев. При этом сидел верхом на лошади, а чтобы не упал (вдруг да задремлет), отец его привязывал к Воронухе.

В начале века отец отправил в губернский город старшего сына Ивана. Учиться на фельдшера. Тот сразу по малолетству стал революционером-большевиком и приступил в 1905 году к экспроприации экспроприаторов. Государству это не шибко нравилось, а потому в 1911 году ему пришлось при содействии иностранного матроса залезть в трюм германского корабля «Консул Торн» и отправиться из Архангельска в дальнее плавание. Лет шесть он скитался по америкам и канадам, нажил на черных работах эмфизему легких и в 1917 году через финскую границу вернулся домой. Его последняя должность в Канаде - рабочий на лесопилке. По приезде он почему-то не окунулся в революционную смуту. Жил у отца с матерью, одно время занимая почетную должность председателя сельсовета в соседнем починке Лебедевском. Вот его письмо, написанное 9 февраля 1927 года сестре в Москву:

«Анюта! Тебя, видимо, очень интересует вопрос, что я думаю делать в ближайшем будущем. Почти в каждом твоём письме можно встретить фразу «думаешь ли ты, Ваня, навсегда похоронить себя в деревне?» Черт возьми! На этот вопрос я сам ищу ответа.

Жить в деревне мне не хочется, и в то же время я считаю себя нравственно обязанным быть со стариками. Я страшно мучаюсь нравственно, все время борюсь сам с собой и все-таки, наверно, кончу тем, что опять уеду с Соколовского, как это сделал когда-то... Но старики? А каково будет им? Ведь оставлять их одинокими имею ли я право? Вы все далеко и не видите, как они живут. Мне же изо дня в день приходится смотреть на них - грязных и оборванных, а вечером слышать стоны и вздохи. Как сделать, чтобы они не мучались и не стонали? Миша (брат) предлагал им сократить или ликвидировать хозяйство и переселиться к нему. Куда там! И слышать не хотят. Это, конечно, вполне понятно: тяжело бросать хозяйство, где все создавалось их руками - постоянно, в течение десятилетий.

Ну, хотя бы не бросали, а меньше работали. Ведь того, что имеется, на их век хватит. Нет, из кожи лезут вон, а все еще созидают. Смешно и больно смотреть, как мать, просидевши весь день за станом, вечером, надевши очки, продолжает ткать. Ткет с утра до ночи, а ночью... охает.

Отец всегда захватывает как можно больше работы. Работает ради самой работы. Конечно, за ним тянусь и я. Но меня работа как таковая только не прельщает. Например, навозили дров из делянки и начнем скоро пилить. Работа тяжелая, но не благодарная. Труд этот ценится копеек 30-40 за день... Если бы Володя с Мишей жили в деревне и занимались сельским хозяйством - было бы хорошо для нас, т.е. для меня и старичков, но плохо для них... Нет, это неосуществимо! Как у того, так и у другого имеется по супружнице, а их-то уж калачом не заманишь.

Где же выход, Анна Михайловна? Хоть я и привык к бродячей жизни, но, видимо, приходится похоронить себя в деревне. В гости могу приехать, если денег пошлешь на дорогу.

9.02.27 г. Джон».

РЕВОЛЮЦИЯ

Анюта - это тоже вклад моего деда в мировую революцию. Он выучил дочь в уржумской гимназии, и она уехала в Москву к своему дядьке по материнской линии. Анна Михайловна позднее сообщила в своей автобиографии:

«С революцией познакомилась в свои ранние годы от старшего брата Ивана Маркова. Он был большевиком-подпольщиком. После тюрьмы за участие в революционных событиях пятого года его выслали из Вятки в родную деревню под надзор полиции. От него я узнала о революции, о революционной борьбе, о революционерах, от него услышала и узнала революционные лозунги и песни. Всё, что было связано с братом, оставило глубокий след в моей душе. В 1908 году я закончила начальную сельскую школу и была определена в уездную женскую гимназию г. Уржума. В пятнадцатом году её окончила и поехала в Москву, чтобы учиться дальше. Отец не дал мне согласия на отъезд из дома и категорически отказал в какой-либо материальной поддержке. Он считал, что город ничего, кроме вреда, не принесет. Подтверждением этого для него был пример старшего сына, ставшего революционером-арестантом.

В Москве, однако, устроиться на Высшие женские курсы не удалось, и я пошла в госпиталь санитаркой. По окончании трёхмесячных курсов стала работать в госпитале для военнопленных, а затем в санитарно-полевых отрядах Союза городов и Земского союза на юго-западном и кавказском фронтах. Зимой шестнадцатого-семнадцатого годов инфекционный госпиталь, где я работала, находился в одном из отдаленных городов Персии. Здесь застала меня Февральская революция. С этого времени начинается моя выборная общественная работа - сначала в различных солдатских революционных комитетах, а затем членом правления краевого союза сестер в Тифлисе. Была занята организацией ячеек союза в отрядах и госпиталях кавказского фронта. Летом восемнадцатого года мне, наконец, удалось добиться документов на выезд в Советскую Россию. Украдкой, нелегально перешла где-то под Белгородом демаркационную линию, отделявшую оккупированную немцами Украину от «Совдепии», и через три месяца добралась до Москвы, а оттуда - на свою родину, в Уржум. Здесь поступила в уездный отдел народного образования. В августе того же года стала членом РКП (б), одновременно со своим мужем - бывшим солдатом кавказского фронта Лазарем Берлиным, фамилию которого я тогда носила.

(Моя мать помнит, как Анюта с Лазарем возились со снопами на дедовом поле в Соколовском. Потом вернулись домой, а на пальце у Лазаря нет кольца. Мать, тогда девчонка лет восьми, побежала на поле и под каким-то снопом его обнаружила.)

В Уржум мы приехали вскоре после ликвидации контрреволюционной банды белого офицера Степанова, который уничтожил во время своего налета и недолгого хозяйничанья большую часть партийной организации. Партийных ячеек в волостях почти не было. На долю каждого члена партии приходилось очень много работы и разнообразных обязанностей. После вступления в РКП я работала секретарем укома партии, одновременно была организатором работы среди женщин и председателем первого укома комсомола. Его организацией я была занята по поручению укома партии. Осенью и зимой восемнадцатого года все мы, коммунисты, были разосланы по волостям, не один раз каждый из нас рисковал жизнью, создавая на местах большевистски настроенные советы. Тогда разгорались страсти вокруг требования: «Мы за Советы, но без большевиков!»

Ранней весной девятнадцатого года в Уржуме был создан боевой участок, так как белогвардейцы уже заняли часть Вятской губернии. В это военное формирование вошли, за небольшим исключением, почти все

коммунисты – и я в том числе. Боевой участок затем влился в 51-ю дивизию, находившуюся в гор. Вятке под командованием В.К.Блюхера.

(Если память мне не отказывает, участок влился в дивизию после конфликта с ЧеКа, так что проигравшей стороне вместе со всеми её сторонниками пришлось бежать в Вятку. А конфликт, скорее всего, случился из-за брата Анюты – свежееиспеченного комсомольца Владимира Маркова. Его посадили в подвал ЧК по «белогвардейскому» делу одноклассников-реалистов, к которому он, однако, был непричастен. И спасти его от расстрела могли тогда лишь Анна с Лазарем. Или юного Владимира посадили как раз из-за этого конфликта? Теперь уж никто не расскажет...

Позднее их старший сын, мой старый двоюродный брат Борис Марков мне сообщил в письме: «По поводу сидения дяди Володи в ЧК ничего не знаю, а вот насчёт конфликта ЧОН и ЧК мама рассказывала следующее.

ЧК занималась реквизициями. Часть драгоценностей, в частности какие-то бриллианты, сотрудники присваивали. Отец (кажется, он был нач. ЧОН, но не уверен) задержал чекистов. Началось противостояние. В Уржуме в то время была эвакуированная от Колчака рабочая парторганизация из города Усолье, они встали на сторону отца и ЧОН. На отца и маму чекисты завели дело, т.к. после обыска обнаружили у них персидские туманы (деньги), которые они привезли с Кавказского фронта в качестве сувенира. Кроме того, отец пытался наладить в уезде телефонную связь, для чего с помощью брата-электрика раздобыл в Москве немецкую динамомашину. На ней было написано «Berlin», а фамилия отца Берлин. «Припаяли» ему должность фабриканта. Взаимные обвинения были направлены в Вятку, но приблизился Колчак, и родители вступили в армию, между прочим – в Блюхеровскую дивизию. После разгрома Колчака они осели в Тюмени. В отпуск поехали в Уржум. Ночью кто-то из друзей сказал, что их хотят арестовать. Тут же, на подводе, они бежали.

На этом история не кончилась: в Тюмень пришла бумага из Уржума. Началась тайная проверка, которая закончилась для родителей благополучно.

До 1937 года отец заведовал отделом партобразования в обкоме ВКП (б) и был заведующим Московским областным домом партобразования. В 1937 году эту историю вновь подняли. Отец снова ездил в Сибирь. В партии оставили, но из обкома убрали. На фронт он ушёл, будучи доцентом МГУ (политэкономика). Было ему 50 лет, он не был наивным мальчиком вроде меня, знал, что такое война, фронт. В феврале 1942 года погиб».

И ещё из его письма моей матери (12. 04. 99 г.):

“Отец. Я видел его в последний раз, когда мне было 18. В феврале 1942-го он погиб в должности комиссара отдельного тяжёломиномётного дивизиона. Через две-три недели после его гибели я тоже оказался на Западном фронте; интересно, что номера полевой почты у нас отличались всего на единицу.

...На Ваш вопрос, где похоронен Лазарь Борисович, ответ грустный: там же, где безымянные могилы миллионов русских воинов – где-то в нашей земле.

С первого года он ушёл добровольцем в 49 лет. Еле живой вышел из окружения под Ельней. “Отдышался” пяток дней – и опять на фронт”.

Да, как мы все связаны и ниточками, и канатами. В феврале 42-го погиб и отец Марии Кирилл Макаров – может быть, даже там же, под Москвой. – Борис.)

Вместе с дивизией, будучи лектором политотдела, я попала в бывший Екатеринбург. Отсюда политотделом Третьей армии вместе с группой товарищей была командирована в только что освобождённую от белых Тюмень – для восстановления там органов советской власти и партии.

Здесь с сентября 1919 года я работала сначала секретарем губкома РКП (б) и зав. губженотделом. Затем – заведующей политпросветом, заместителем заведующего губнаробразом и, наконец, ответственным секретарем Тюменского горкома партии.

В этот период мне приходилось встречаться в Москве с А.М.Коллонтай по вопросам работы среди женщин. Была также делегатом на съезде по внешкольному образованию, встречалась с Н.К.Крупской. В декабре (кажется, так) девятнадцатого года в Тюмень по заданию ЦК партии приезжала Р.С.Землячка. В течение ряда вечеров мне довелось находиться вместе с ней в семье её сестры М.С.Цейтлин. Затаив дыхание, я слушала её рассказы о революционерах-подпольщиках, о их жизни, борьбе с самодержавием, тюрьмах, ссылках, побегах, рабочих кружках, о В.И.Ленине. Сознаюсь, я тогда завидовала старым большевикам-подпольщикам. Жалела, что поздно родилась и не могла быть участницей борьбы, которую они вынесли на своих плечах.

В начале двадцать первого года по решению ЦК партии я была командирована в только что освобождённый от белых Ростов-на-Дону. Там работала сначала заместителем заведующего облполитпросвета, а потом ответственным секретарем Темерницкого железнодорожного райкома партии. Отсюда в начале двадцать второго года переехала в Москву и была командирована через учраспред ВСНХ в камвольный трест. Во время чистки советских ячеек в 1924 году была переброшена в Замоскворецкий райком партии, где секретарем в это время была Р.С.Землячка. Это был период массового создания школ и кружков для ленинского набора, и я была назначена заведовать школьно-кружковой секцией в агитпропе райкома. Стоя у гроба Ильича в Колонном зале Дома союзов, я с горьким чувством непоправимости думала о том, как огромно горе партии и народа, и что я никогда уже не увижу его живым.

В двадцать шестом году райком, по моему настоянию, направил меня секретарем ячейки шпульной фабрики. Здесь я прошла хорошую школу борьбы с оппозициями. Школы и кружки были местом проверки пропагандистов, местом организации партийцев на борьбу с Троцким и троцкистами. В двадцать восьмом году, в период выдвижения женщин на руководящую и советскую работу, женотделом Московского комитета

партии я была выдвинута на хозяйственную работу. Как выдвиженка, сначала работала заместителем, а потом директором Ивanteeвской суконной фабрики им. Рудой.

В 1928 году я узнала, что отец квалифицирован как кулак и арестован за сокрытие хлебных излишков. (Он тогда отсидел в уржумской тюрьме несколько месяцев, был по каким-то ходатайствам освобождён и принёс своей дочке Машеньке – она училась в уржумской школе – гость «серебряных» монеток, кои насобирал во время прогулок на тюремном дворе. Она купила булочек. – Борис.) Не имея связи с отцом, не зная состояния его хозяйства к этому времени, я через вятские губернские организации проверила этот вопрос. Больше мы с ним не общались.

В 1930 году наконец сбылась моя мечта об учебе – я была ЦК партии направлена на учебу в Московский текстильный институт. Приняла активное участие в борьбе с правой оппозицией. В начале 1944 года мне было предложено принять должность заместителя наркома текстильной промышленности Казахской ССР».

Что тут скажешь? Я сам четверть века (если считать от рождения) был беспартийным большевиком, марксистом-ленинцем и строителем коммунизма. Очень трудно поднять голову над водой эпохи... Чего уж судить других... Анна честно трудилась в промышленности, работала для счастья народа (как его понимала). Чтобы всех одеть, накормить, напоить... В том числе собственных детей и внуков. Дочка сейчас с мужем в Португалии, а внук, кажется, в Италии.

Её второй муж заведовал отделом капитального строительства на заводе «Электросталь», где в 1945 году занялись ураном для первой бомбы. Его жизнь почему-то закончилась самоубийством (кажется, в 1943 году). А брат Анюты, мой дядюшка Владимир, закончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Позже он стал овощеводом, доктором наук, автором учебников... В 1988 году мы с ним в последний раз увиделись в Москве, и он убедительно просил меня не участвовать в политической борьбе, потому что... Изобразил пальцем револьвер. Вспомнил, как во время гражданской войны он сидел в подвале ЧК - и его чуть не шлепнули по белогвардейскому делу однокашников гимназистов-реалистов. Сейчас уж, наверное, не выяснишь, когда это было – до или после его поездки в Москву на Первый всероссийский съезд учащихся-коммунистов (это апрель 1919-го)... Скорее, всё-таки он отсидел в подвале ещё в 18-м году, до ухода красных из Вятской губернии.

Сохранилось его письмо: «Дорогая моя Марусенька! Поздравляю тебя, а также твоих деток, их жён и внуков с праздником Октябрьской революции. Я помню этот день... Мы узнали о нём, сидя за партами в реальном училище. А вскоре после этого снимали и отправили в тёмную кладовку портрет царя размером 4 на 2 метра (он, наверное, к старости две революции перепутал – портрет, скорее всего, сняли после февральского переворота. – Борис). А потом видел, как разоружили полицию. Вспомнил свою работу в Союзе учащихся. Помню, как сестра Анна, работавшая секретарём горкома партии, пригласила нас в декабре 1918 года в горком и предложила всему правлению учащихся вступить в комсомол. А потом отправила нас (5 человек) по волостям для организации там районных комитетов комсомола. Я ездил тогда в Буйское, Байсу и куда-то ещё вёрст 30 за Байсу. А затем в апреле 1919 года нас вдвоём с Селюниным командировали в Москву, на съезд учащихся-коммунистов, где слышал речи Владимирского, Ярославского, Бухарина и... Ленина.

Да, жизнь в основном прошла. Осталось на доньшке. Но я ещё душой молод, часто езжу в Москву, бываю в библиотеке. Даже вступил в общество любителей философии и делаю доклад «Афористика – литературно-философский вид художественной миниатюры».

Зоя Дмитриевна много работает по цветоводству. Таня с мужем больше живут на даче. Недавно был у нас в двухнедельном отпуске внук Дмитрий. Конец его воинской службы – июнь 1988 года. Вот пока и все наши новости».

Или вот ещё такое письмо: «Дорогую, любимую сестру мою Машу, а также Риту, Марусю и всех их женских потомков и снох поздравляю с женским праздником 8 марта. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, радостей, долголетия. Большинству моих знакомых нравились и такие пожелания:

В пылу любовного азарта
Хотим мы вас закрепить,
И только раз в году 8 марта
Вы на работу будете ходить!

Спасибо тебе за письмо, Маруся, где ты описываешь свои будни и праздники. (...) И, конечно, я повторяю свою просьбу. Напиши мне (не в одном письме, а постепенно в разных письмах) историю всех наших родственников и знакомых, советуясь со своей соколовской приятельницей. Что я хочу? Возьмём род Марковых и Бусыгиных. Был наш прапрадед Марк. У него был сын Тит (и нас раньше звали Титовы), у него был сын Гаврилы, у Гаврилы было четыре сына: Михаил (наш отец), Гавриил, Лукьян и ещё один наш дядя, который жил в Казани. Я не знаю, как его звали, но жена была «Пияша», у которой землю арендовал Михаил Фёдорович Бешкарев, а наш отец был недоволен. У нас была одна «душа» и две – арендованных (у Лукьяна и у Прасковьи Яковлевны – жены казанского дяди). Мы жали свою полосу (неразборчиво), а Михаил Фёдорович с женой и детьми (Василием, Петром и Таисией) жали свою арендованную полосу, которая была рядом с нашими. Вот и напиши мне всё, что ты знаешь о родственниках по линии отца. У него была ещё сестра тётя Паша, жена Ивана Васильевича Черкасова. Их дети: Алексей, Андрей, Павел, Юня, Зина. Где они? Были у нас какие-то родственники на Тарасовском починке, их две дочери-невесты приходили часто к нам в гости, иногда ночевали. Как их звали, где они? Какие-то родственники были в дальнем селе Кадочникове, ежегодно бывали у нас в гостях. Где они и кто они? Какие родственники были по линии матери в Биляморе? Знаю я Семена

Васильевича, её брата, но были ещё братья и сестра – где они? Затем все твои родственники по мужу, а также твои дети, их жёны, внуки – их имена и профессии (всё, конечно, примерно).

Вот ещё: в деревне жил Спиридон Котельников, у него были дети: Маша, Саня, Илья и ещё сын, примерно тебе ровесник. И ещё Настя – моя невеста. Где они? У Сани Тимофеева была дочь Катя, невеста брата Михаила. Говорят, что жила на Украине и умерла. А может быть кто-нибудь знает, куда уехал Спиридон Андреич со своим семейством... Так как твои знакомые и сейчас посещают Соколовский, то хорошо бы знать, кто живёт в нашем большом доме и деревянном домике тётки Маши. Сохранились ли у дома сараи, сени, клеть, что растёт в нижнем и верхнем огородах. Есть ли баня. А самое главное – шестьдесят лет тому назад вырублен Бушковский лес, где я собирал когда-то грибы. Что там? Возобновился ли за счёт молодняка или его распахали? Вот тебе тема – история нашего рода и народа.

Привет от Зои и Тани».

Остались его воспоминания.

«ВОСПОМИНАНИЯ УРЖУМСКОГО КОМСОМОЛЬЦА»

Февральскую революцию 1917 года я встретил пятиклассником-реалистом (а если считать и первые три класса начальной школы – восьмиклассником). Уржум узнал о событиях в Петрограде не на другой, а только на пятый день после отречения царя от престола, поскольку вятский губернатор задержал телеграмму, ожидая подтверждения из столицы и боясь, конечно, ответственности.

Реалисты – дети купцов, чиновников, духовенства (детей рабочих не было, крестьянских детей – очень мало) встретили революцию сочувственно, но без большого энтузиазма. Общую утреннюю молитву отменили, гимн императору петь перестали и портрет его убрали. Священник Михаил Всеволодович Зороастров вместо Закона Божьего стал преподавать нам немецкий язык, который изучал до революции самоучкой. Мы не возражали (у него ж дети).

Прошёл месяц. Мартовским вечером солдаты, бывшие в казарме, подстрекаемые своими младшими офицерами, возмутились и пошли в полицейское управление к исправнику Дьяконову. Потребовали пойти с ними в общежитие разоружать полицию. Этот замысел был известен реалистам, и те из них, что жили не с родителями (приезжие), шли вместе с солдатами. У полицейских отобрали сабли и револьверы, а Дьяконов объявил им об увольнении. Обязанности милиции стали временно исполнять солдаты, жившие в казарме на Сенной площади. Так произошёл мирный переворот. Преподававший нам военное дело Ювеналий Иванович Жарков (он же начальник полиции) к этому времени уехал с женой в Казань. А военный строй стал нам преподавать ротный старшина в отставке.

В апреле началась подготовка к выборам в Учредительное собрание. Я (за плату, конечно, так как материально очень нуждался) готовил по вечерам в городской управе списки голосующих уржумцев. К выборам готовились восемь партий. Первого мая состоялась большая демонстрация. На Сенной площади (против тюрьмы) собрались со своими флагами несколько партий. (Там на углу как раз стояли три дома, где жили Степановы – мой дед с братьями и детьми. – Борис.) Стояли большевики во главе с Ёлкиным, эсеры под руководством нашего старшеклассника Алексея Васильевича Комлева, народные социалисты (партия интеллигенции), руководимые нашим преподавателем естественных наук и химии Николаем Владимировичем Праксиным и учителем рисования Фёдором Логиновичем Ларионовым. Была и партия кадетов. Все с флагами прошли по главной улице до кинематографа, а потом – обратно.

Но закончилась демонстрация совершенно неожиданно. На крыльце городской управы (недалеко от аптеки) разнопартийные ораторы устроили митинг и стали выступать. Сначала эсеры обещали крестьянам землю. А крестьян было на демонстрации немало. Затем выступил Ёлкин. Он зажёг пожар революционного возбуждения, поскольку выступил против временного правительства и стал критиковать местную власть. Тогда из толпы раздались крики: «Арестовать их! В тюрьму отправить! Немедленно!»

Члены городской управы были в своём помещении на втором этаже дома, возле которого шёл митинг. Эти крики могли закончиться самосудом, но выручил городской прокурор. Он поднялся на крыльцо и крикнул: «Тихо! Тихо, граждане! Я уважу вашу просьбу, всех отправлю в тюрьму – но при условии соблюдения тишины и полного порядка. Разойдитесь и дайте дорогу шириной четыре метра».

А сам пошёл наверх и вывел всё уржумское начальство (человек пятнадцать) во главе с председателем городской управы Николаем Даниловичем Михеевым. Толпа молча проводила их до тюрьмы. Тюремные ворота открылись, все «арестованные» прошли во двор вместе с прокурором. Через 15-20 минут он вышел и заявил: «Ваша просьба, граждане, уважена. Все они в тюрьме. Идите по домам с миром». И ушёл домой. А на скамью встал наш старшеклассник Комлев и принялся снова ораторствовать, призывая голосовать за эсеров, кои обещают свободу – всему народу, а землю – крестьянам. (Летом 1961-го мы, курсанты артиллерийской технической школы, ходили патрулем по Ленинграду-Петербургу, и к нам причалил захмелевший рабочий, огромный и старый. Поросший мхом. Шагал вместе с нами и громко рассказывал: «Знаете, как было в семнадцатом? Ага... Такой лозунг: вся власть советам, деньги – кадетам, заводы – большевикам, хрен – мужикам!» – Борис.)

«А сейчас, граждане, надо расходиться по домам, отдохнуть – ведь сегодня праздник!» Толпа разошлась, а через полчаса «арестованные» вышли из тюрьмы и тоже пошли домой.

Осенью того же года был организован союз учащихся двух средних школ (нашего училища имени Ленина и женской гимназии). Я был в составе правления этого союза. Чтобы не ходить в субботу в церковь

ко всенощной, а в воскресенье – к обедне, мне было поручено организовать в нашем училище... клуб, где еженедельно по субботам были концерты с художественными номерами, а потом – танцы до полуночи. (Чуть позднее некоторые-многие, вместо всенощной и обедни, стали танцевать в подвалах ЧК. Было очень весело. Танцы до и после полуночи. – Борис.)

Помню и свои выступления на субботних концертах. Особенно нравилась гимназисткам моя декламация стиха А.М. Горького: «В лесу за рекой жила фея, в реке она часто купалась. Но раз, позабыв осторожность, в рыбацкие сети попала. Её рыбаки испугались, но был с ними юноша Марко, схватил он красавицу фею и стал целовать её жарко. А фея, как гибкая ветка, в могучих руках извивалась да в Марковы очи глядела и тихо чему-то смеялась» (я-то был Марков)

Концерты и танцы проходили в паркетном зале, а внизу (в столовой) люди играли в шахматы, и даже приходил играть наш директор Михаил Фёдорович Богатырёв. Работали всевозможные кружки, в том числе литературный. Программки для вечеров рисовали наши художники. Эти красивые листочки охотно раскупали приглашённые на вечер папа и мамы, что с лихвой окупало расходы на освещение и реквизит.

Состязались мы и в поэзии под руководством преподавателя русского языка Ивана Сидоровича Баймекова. Нашей поэзии следует отдать дань особого уважения. Ведь из Уржумского реального училища вышел замечательный поэт Николай Заболотский, который учился вместе со мной, но на один класс позднее. Он уже тогда писал хорошие стихи:

Внимая весеннему шуму,
Посреди очарованных трав
Всё лежал бы и думал я думу
Беспредельных полей и дубрав.

Наши души пели и рвались наружу. Стихи получались лирические... Вот что я написал однажды в бессонную ночь с субботы на воскресенье. Впоследствии посвятил стихи жене.

Почему мне не радостен запах цветов
И не чувствую лавра я шорох ночной?
Может быть, потому, что всех ласковых слов
Не могу передать тебе, милый друг мой...

Конечно, за шорохом лавра нужно в Италию... А я первые три года жил в Уржуме на квартире вместе со своей старшей сестрой Анной Михайловной. Она, окончивши гимназию, уехала на фронт медицинской сестрой. После революции вступила в РКП и с 1918 года была секретарём уржумского горкома. Я любил её – свою няню, свою дошкольную учительницу и, конечно, посвятил ей стихи.

Когда мне было только пять,
Учила ты меня читать.
Сама училась в сельской школе,
Работала всё лето в поле.
Зимой рассказывала сказки –
Мой расширялся кругозор;
И я, забыв свои салазки,
С вниманьем слушал, вперив взор
В твои таинственные книги...

Однажды на уроке русского языка весь наш класс целый час сочинял стихи «На вольную тему». Я написал посвящение моему любимому учителю Владиславу Павловичу Спасскому:

Сегодня Вам, наш дорогой учитель,
Желаем счастья все без исключения...

Эти стихи были прочитаны в учительской. А вот стихи, кои попали в руки (и были благосклонно приняты)... спустя 30 лет. Мой друг детства, наша землячка Антонина Палладиевна Черевкова и сейчас здравствует в Москве. Я жил на квартире у Черевковых на Гоголевской улице против реального училища. С ней учил я уроки, катался на салазках и свирепо защищал от агрессии со стороны посторонних мальчишек, даже от своего родного брата. Рыцарем её остался я до сего дня.

Помнишь, мой друг, наши детские годы,
Милый далёкий Уржум,
Белую речку, Атряские горы,
Берёз при дороге ласкающий шум.

Время бежало, как вешние воды,
Быстро прошла нашей жизни весна.
Мы не вдвоём были все эти годы.
Кончилось лето и осень пришла...

Что же, и в вечере есть свои радости,
Всё в нём укрылось – и утро, и день.
Будь же счастлива, мечта моей младости,
Цвети в моём сердце, как в мае сирень...

Последний мой стихотворный опус посвящён 80-летию юбилею брата Михаила:
На берегу ленивого пруда

Разросся в три версты починок Соколовский.
Воспоминания влекут меня туда,
Где мы родились... в дом отцовский.
 Нам не забыть тот край с Мазаркою-рекой,
Где в детстве мы ловили пескарей,
Куда бежали мы в жару гурьбой,
Чтоб погрузиться в воду поскорей.
 И вспомним мы дремучий лес Бушковский,
Куда с отцом ходили по грибы...
 Любили посидеть на берегу пруда,
И лунною дорогой восхищались...
И вспомним дядин сад, где в летней тишине
Мы до зари с соседками внимали
Любовные напевы соловья...
Хотя своей любви ещё не знали.

.....
 Сыновей отец, лелея,
Приучал к родному полю,
До зари подняв с постели,
Брал с собой пахать и сеять.
 Помнишь лошадь – Воронуху,
Маленькую, а воструху?
С ней ты очень подружился,
Ломтем хлеба с ней делился.
 С ней работая в три пота,
В поле дотемна трудились.
Лишь одна была забота:
Всё закончить торопились.

.....
 ...Дорогого брата Мишу
Каждый день я вижу, слышу,
И хочу ему сказать,
Чтоб прожил он лет сто пять...
25.12. 1983. Скоро Миша умер.

Однако вернусь в давно прошедшие дни. В январе 1918 года в нашем училище работал уездный учительский съезд. Он носил скорее инструктивный, методический характер; выступали с докладами самые опытные педагоги со всего уезда. Конечно, и союз учащихся не остался в стороне. Там выступил и я, начавши своё выступление вот как: «Не лечить убогую старую школу, сказал Кареев, а строить её заново». И далее следовали предложения: надо активизировать индивидуально каждого ученика, развивать творческую инициативу путём исследований и докладов, искать способы связи теории с практикой, с жизнью. Мои пожелания учителям понравились, и я в составе делегации поехал в Вятку на губернский учительский съезд. Так в феврале я неожиданно оказался в столице губернии. Вятские делегаты-учащиеся даже устроили товарищескую встречу, где были и выступления, не лишённые юмора. Например: раскрывается занавес – и перед нами вятский ученик, присевший с ногами в ведро. Никто ничего не понял, но потом все засмеялись, когда узнали – это Ведров в ведре.

Весной перед Пасхальными каникулами я получил из деревни сообщение, что тяжело заболела мать. Что делать? Надо помогать отцу. Всем надо пожертвовать, если нужно – даже школой. А у меня была работа, взятая из Попечительства – по начислению пособия солдатским семьям. Взял этот тюк из двух стоп (по всем волостям) с собой и пешком по насту, в середине апреля, побрёл домой. На моё счастье мать оказалась уже не в кровати. Всё же из уважения к ней я не поехал в Уржум после Пасхальных каникул, а остался помогать. Ухаживал за скотиной, даже научился доить коров, чтобы матери было легче. В результате по алгебре тройку я не исправил и впервые за шесть лет не получил звание отличника. Может быть, моя любовь к самому дорогому человеку на свете как-то компенсирует эту досадную тройку...

Летом много работал в поле, при опускании платформы жатвенной машины правой рукой я держался за ножи, не зная, что при этом они движутся. В результате прямо с поля был доставлен в Буйский фельдшерский пункт, куда потом раз 10-15 ходил пешком на перевязку. Пальцы (средний и безымянный) остались живы, но не гнутся, так как обрезаны сухожилия-сгибатели.

Летом 1918 года узнал, когда ходил в Буйское на перевязку, что в Уржуме было восстание офицеров, вернувшихся с западного фронта домой. Но красная воинская часть, прибывшая из Вятки, вытеснила их из Уржума. Они отступили к Казани, захватив с собой всех не сочувствующих советской власти людей (духовенство, чиновников, купцов, а также их детей – моих товарищей). Почти никто из них не вернулся, все погибли от неразберихи, творившейся в колчаковской армии. Многие погибли от «испанки» – эпидемии страшного гриппа.

«Испанка» свирепствовала и в нашем Соколовском. В августе заболел и я. Прележав в постели с воспалением лёгких до ноября, уехал в Уржум и приступил к учёбе в предпоследнем шестом (девятом) классе.

В октябре был организован в Москве коммунистический союз молодёжи. И уже через месяц уржумский горком партии получил указание об учреждении уездной организации комсомола. С чего начинать? Рабочих в Уржуме почти не было. И всё внимание горком обратил на наш союз учащихся. Пригласили меня, Казанцева и Куклина, объяснили, что мы будем первыми комсомольцами в Уржуме, так как, по их сведениям, наше правление активно работает в обеих школах. Но нужно организовать ещё и волостные оргбюро комсомола. Чтобы не отставать в учёбе, нам рекомендовали поехать по волостям во время зимних двухнедельных каникул. В конце декабря взял с собой в помощь шестиклассника Беляева, эвакуированного из Петрограда.

К кому ехать? Я был учеником средней школы, вот и решил провести оргработу в средних школах. Первая волость была Буйская, моя родина; в средней школе там преподавал математику Иван Алексеевич Мартынов – из нашего починка, год как окончивший нашу школу. Он познакомил меня с директором, который положительно отнёсся к идее организации комсомольского бюро. Созвал совещание учителей. Я познакомил их с решением горкома партии большевиков. Мнения разделились. Были педагоги, которые не советовали искать будущих комсомольцев, ходить по селу. Я сделал упор на самых молодых учителей. И помню, как были выдвинуты трое: Ваня Мартынов, молодая учительница в красном платье (коллеги прозвали её «революционная барышня») и ещё один молчаливый молодой педагог. Вот так и возникло оргбюро Буйской организации комсомола.

Следующая волость – Байсинская. Здесь мы оказались в воскресный день. Но нам повезло. В школе уже была создана организация учащихся, как и в Уржуме. Сегодня человек пятнадцать пришло на репетицию к вечеру самостоятельности. С ними мы и стали беседовать. Идея учреждения комсомола как помощника Партии понравилась, оргбюро было создано.

Последняя волость самая дальняя – Кичминская. Здесь тоже была счастливая встреча с педагогом Петром Глазыриным, который окончил наше училище одновременно с Мартыновым. Он был очень рад нас видеть. Сказал мне, что по окончании реального он хотел поступить в юнкерскую школу, чтобы стать офицером, но... разочаровался: ему не нравились антипартийные и антисоветские взгляды этих господ. Он стал у себя в волостном центре учить ребят математике. Надо сказать, что он и Мартынов были в нашей школе отличниками, и их аттестаты позволили заняться преподавательской работой. Пётр стал членом оргбюро и нашёл ещё двух старшеклассников, готовых вовлекать ребят в комсомол.

В этих организационных поездках по волостям приняли участие ещё пять товарищей от горкома партии. В нашей школе возникла группа (20-25 человек) комсомольцев. Появились комсомолки в женской гимназии, в городском училище, в профшколе, а также в уездном совнархозе, наробразе, уездном исполкоме и т.д. В конце марта 1919 года было получено письмо из Наркомпроса о проведении в середине апреля в Москве Первого Всероссийского съезда учащихся-коммунистов. Он был созван по инициативе ЦК комсомола. К тому времени в комсомоле страны было уже около 100 тысяч членов, а в средних школах училось около полутора миллионов.

В начале апреля горком партии провёл в кинематографе собрание комсомольцев для выбора делегатов на съезд учащихся. Выбрали как наиболее активных меня и Гришу Селюнина – моего одноклассника. Наробраз снабдил нас документами, выдал по пять тысяч рублей командировочных (деньги были дешёвые), и 5 апреля мы выехали на перекладных в Казань. Ехали около двухсот километров и через два дня были в Казани. Билетов на поезд не удалось достать. Ночевали у наших родственников (у тётки Паши), и снова нет билетов. Пошли в исполком к председателю Махонину. Снова неудача: он сказал, что ни воздухом для дыхания, ни билетами не распоряжается.

Время было тревожное. Колчак рвался уже к Казани. Поехали снова на вокзал. Спасибо коменданту вокзала: позвонил в кассу и нам выдали билеты. Но... мест не было в вагоне, и мы ехали на платформе всю ночь, день и ещё ночь. Утром 11 апреля прибыли в Москву. Хорошо, что было тепло. Сильно таяло. С чемоданами и запасом сухарей двигаться трудно. Наняли армянина-носильщика, который донёс наши вещи до горнаробраза, а оттуда на Мало-Харитоньевский переулок к Дому съездов наркомпроса, где нас поселили в общежитии.

На другой день (12 апреля) в том же доме, в нижнем этаже, состоялось открытие съезда. Председателем был Авербах. Кто он – не знаю. После доклада о задачах съезда начались прения. Представители ЦК комсомола не считали целесообразным избирать орган, который бы управлял республиканским союзом учащихся. Лучше, мол, иметь секцию учащихся в комсомоле. Однако большинство на съезде стояло за самостоятельную организацию. На съезде выступали: член ВЦИК Владимирский, редактор «Правды» Н.И.Бухарин и Емельян Ярославский. Все отмечали тревожное время, переживаемое Россией: генерал Духонин (тут дядюшка, кажется, что-то напутал; Духонина красные давно расстреляли) уже подходил к Казани, на севере иностранные державы высадили десант, французы оккупировали Одессу. Москва в тесном кольце. Надо молодёжи объединяться... с комсомолом.

Дискуссия закончилась. Наступила Пасха. Столовая в праздники не работала. Нам выдали на два дня сухой паёк: по кило хлеба и немного рыбы. Хорошо, что у нас было достаточно сухарей, и мы не чувствовали голода.

В пасхальные дни бродили по Москве. Видели красиво одетых барышень в голубых шляпках, видели Сухаревку, мальчишек, продававших сахар «три рубля кусок, семь кусков на двадцатку». Были на Красной площади и в часовне у Иверских ворот при входе на Красную площадь.

На второй день Пасхи была открыта Третьяковская галерея, музей Александра Третьего (теперь музей изобразительных искусств им. Пушкина), видели старое здание Университета и надпись на его стене высоко под крышей: «Свет Христов просвещает всех», а на бывшей городской управе (рядом с Историческим музеем) на фронте надпись: «Революция – вихрь, отбрасывающий назад всех ему сопротивляющихся». Вечером были в Большом театре, шёл балет «Дон Кихот».

Во вторник, после первых пасхальных дней, делегатов съезда водили мыться и прожаривать одежду в кремлёвские бани. Помывшись, мы нашли коменданта Кремля Петерса и попросили его показать нам Большой кремлёвский дворец... Мы видели чудо, которое недоступно коренным москвичам – нетронутые царские покои в среднем этаже: царский кабинет; столовую с массой книг в шкафах у стен; тронный зал; царские опочивальни; будуары царевен и царицы; даже три ваннных комнаты (обыкновенная ванна и диван у Александра Второго; позолоченная ванна у Александра Третьего; бассейн со ступеньками у Николая Второго, с широченным диваном).

Кончились праздники... 17 апреля съезд продолжил свою работу. Утром была проверка документов. В этом ничего необычного – документы проверяли у нас даже при выходе из театра. Но сегодня... Оратор выступает, стоя за кафедрой... но что за шорох сзади? Докладчик прекратил речь и ушёл с кафедры. Оглянулся... По средней дорожке между рядами стульев с сидящими делегатами идёт В.И. Ленин... Он в чиновничьем весеннем пальто с бархатным воротником, кепи держит в руке. Сзади идут сопровождающие его люди. Из них я узнал только Фотиеву – секретаря Ленина.

Аплодисменты... Он идёт к кафедре... Аплодисменты... Он разделся и затем облокотился на кафедру – как обычно вправо. Зал затих... Ленин стал говорить. Я сидел в четвёртом ряду от кафедры, в пяти метрах. Хорошо всё слышал и видел. Говорил он голосом усталым, ведь на фронтах – неблагополучно. Рядом с его кабинетом в Совнаркоме была телеграфная установка, и он долго беседовал ночью с командующими фронтами, а днём работал в Совнаркоме. Ленин говорил нам, что идёт кровавая битва. Мы в огненном кольце. Ваши, мол, отцы дерутся с врагами... за кем же пойдёте вы – как не той же дорогой, как и ваши отцы, которые борются, чтобы сохранить свою свободу, завоёванную революцией. Комсомол – опора нашей партии. И вам нужно работать вместе с ними.

Стенограммы выступления Ленина на съезде не сохранилось (как и вообще документов съезда), и выступление его на съезде напечатано по более поздним данным. Но суть его была именно в том, чтобы выполнить приказ ЦК комсомола – выступить на съезде в целях объединения молодёжи.

И съезд в тот же день проголосовал за объединение с комсомолом. При ЦК была организована секция по делам учащихся, куда избрали 23 человека. А своего ЦК учащиеся выбирать не стали...

(Потом дядюшка вернулся в Уржум, закончил реальное училище и в 20-м году уехал к сестре Анюте в Тюмень. Как жила тогда Вятская губерния? В 1986 году, на закате «развитого социализма», в «Новом мире» (№2) были опубликованы письма председателя Вятского губисполкома А.Спундэ:

ПИСЬМА ЖЕНЕ. «Вятка, 30 июня 1921 г. ...Голод на губернию надвигается быстрыми шагами, и цены на всё скачут с невероятной быстротой в гору. Вчера приехала делегация из когда-то наиболее хлебного Яранского уезда; теперь там умирают десятками люди... Вчера на президиуме Губисполкома наряду с частью бронированных рабочих сняли со снабжения почти всех неорганизованных детей. Лица у всех вытянулись, голосовали как-то нехотя, стыдась, – но выхода абсолютно никакого нет. Словом, кругом такая человеческая нужда, что жуть охватывает. Сравнительно недурно налаженные советские аппараты разваливаются – люди от голода бегут, невзирая ни на что, производительность падает. Ещё один бич – страшные пожары по всей губернии.

Вятка, 1 июля 1921 г. ...Вести отовсюду изо дня в день всё мрачнее. Главное – нет просвета впереди. Только вчера по телеграфу приказал наиболее голодному уезду отправить значительную партию солонины в Москву. Жутко было подписывать телеграмму. Достал тебе 30 фунтов муки. Посылаю.

Вятка, ночью 19 февраля 1922 г. Анюшка, конференция кончается, но и я начинаю уставать от трёх дней большого напряжения и завтра уже буду тянуть с трудом. Но зато пока идёт совсем гладко. Работу губкома без единого голоса против (были, правда, воздержавшиеся) признали принципиально правильной и практически удовлетворительной. Всё время держал вожжи в руках, и как только «деревенщина» поднимала голову, тут же хлоп её по голове... Посылаю две пары ботинок – грубые они, но лучше не было».

Деревенщину хлопают по голове уже чуть не столетие. Уж и от головы-то почти ничего не осталось. Нескончаема ночь «военно-феодалной эксплуатации крестьянства».

Но продолжим воспоминания Владимира Михайловича.)

Как давно это было, но как живо всё в памяти. Помню и проводы Ленина в последний путь, на вечный покой. Ночь на 27 января 1924 года... Студенты Тимирязевской сельскохозяйственной академии собрались в своём общежитии (бывший Скорбященский монастырь), чтобы организованно пойти к Дому союзов для прощанья с Лениным. Погода была очень холодная, ниже минус двадцати градусов. Большинство было в валенках и шапках-ушанках, что спасало от холода. Шли, конечно, не одни, а вместе с другими организациями. По улице везде горели костры из всего, что могло быть легко содрано со стен: объявления, афишы, старые деревянные ящики.

Шли долго. Начали движение от Страстного монастыря около полуночи и примерно в шесть утра были у Дома союзов. Там пропускали одну очередь за другой. В зале, где лежал в гробу Ленин, было очень тихо. Панихидные звуки реквиема вызвали сердцебиение, подступало желание плакать. Процессия двига-

лась, огибая гроб с двух сторон – от головы к ногам, и затем безотрывно снова глаза провожали спокойно спящего.

Как давно это было... но как живо всё в памяти.

5 апреля 1989 г.» Через год Владимир Михайлович умер.

Что ещё... Мировоззрение. Сохранились воспоминания одноклассника моего дядюшки, дающие представление о состоянии умов. Обозначим его А.К.

АПОСТАСИЯ (отступление, отпадение)

«Шестнадцатого августа 1912 года состоялось открытие уржумского реального училища. Я помню, как священник, окончивший в Петербурге духовную академию, после молебна в своей речи изрек исторические слова: «Средняя школа – светоч знания, где создаётся образ человека, полезного обществу. И пусть Диоген, ищущий человека, погасит свой фонарь».

Здесь я получил философскую зарядку и основы атеизма. Этому помог наш классный наставник отец Михаил Зороастров. Началось с того, что он, беседуя с нами, увлёкся рассказом про то, как запах ладана в кадилах восходит к небесам. И свеча не просто светом привлекает внимание, но даже и запах воска доходит до небес, что очень угодно Богу. И первый вопрос был мой: «Как это возможно? Свечи-то жёлтого воску только у старообрядцев, а у нас они белые, стеариновые, запах которого ничего общего не имеет с воском». Ответа не последовало. Но он стал ко мне присматриваться и даже нуждался в моих консультациях. У отца моего была пасека, и пчеловодство я знал хорошо. Зороастров тоже стал разводить пчёл, и я был его консультантом.

Тогда же мне было замечание, чтобы я подобные вопросы задавал наедине. А у меня были ещё и другие (в двенадцать-то лет!). Первый: если Бог всезнающ, то как Он, зная заранее, что Адам может съесть яблоко и согрешить, всё же изгнал его из рая, вместо того чтобы предупредить Адама, как поступил бы каждый порядочный человек? (Тут уж вопрос от плохого усвоения Ветхого Завета: Бог как раз предупредил первого человека – не ешь от древа познания добра и зла, иначе смертью умрёшь. Адам же Богу не поверил, но вместе с Евой поверил сатане, вкусил от запретного древа и сначала духовно, а потом и физически умер. Чего ж сетовать? Одарённой разумом и свободой бабочке сказали: не лети на огонь, а она полетела. – Борис.)

Второй вопрос: а куда же подевался рай – этот прекрасный сад, почему две тысячи лет ни один духовный пастырь ничего об этом не говорит? (Здесь тоже вопрос от невнимательного чтения: у входа в рай стоит ангел с огненным мечом, дабы грязные души не могли снова вернуться туда и его кощунственно осквернить, как мы сегодня разрушаем свою колыбель – родную Землю.)

Третий вопрос: как Бог мог допустить, что во время потопа утонули все люди, даже беременные женщины; разве дети в утробе могли грешить? (А я громко плакал, когда видел во дворе, как бьются поросята в животе у только что зарезанной свиньи...) Утонули все, кроме Ноя, его жены и детей.

(Это вопрос Ивана Фёдоровича Карамазова – насчёт невинных детей. Достоевский ответил так: все мы дети, большие и маленькие. И все живём в мире, который нашими стараниями во зле лежит. Это мы сами убиваем своих детей. Только в России ежегодно уничтожаем во чреве матери около 4-х миллионов младенцев. Бог не устаёт нам говорить через своих пророков: покайтесь, перемените жизнь, а мы... Ну да, каждый раз снова и снова превращаем свои города в Содом и Гоморру. Да ещё требуем законов в поддержку содомитов-извращенцев-геев. Да ещё на Бога обижаемся, когда Он предупреждает: это смертельно опасно. А на кого ж обижаться, если когда-то на земле остался только Ной с семьёй, услышавший Бога и соорудивший ковчег. Ковчег спасения души, если иметь в виду не прямой, но переносный смысл.

Что – уши динамитом взрывать, чтобы до нас дошёл глас Божий? Или мы не знаем заповеди: чти Бога, не кради, не предавайся блуду, почитай родителей, не лжесвидетельствуй, не лги? А? Знать не знаем и знать не хотим. А потом обижаемся, когда тонем вместе с детьми в нами же созданном зловонном море зла. Да есть ли сегодня среди нас Ной, в тяжких трудах воздвигающий ковчег спасения души? Нам не до того. Даже и в церковный ковчег не спешим, где бы нас отчитали и отпели. Все торчим у телевизоров и с наслаждением пьём мерзкую жижу... Кто-то однажды зарифмовал:

И вот одиноко и прямо

Они на кушетках сидят

И словно в помойную яму

В цветной телевизор глядят).

Не знаю, о чём думал Зороастров, пригласив меня и двух других учеников простоять обедню в алтаре, когда он будет служить. (Да уж – не мечите бисер перед... курами.) Мы скромно отстояли у стенки в алтаре. Видели, как отец Михаил взял чашу, вылил в неё вино и положил по малосенькой частице от десяти просфор. После молитв он сказал, что вино стало Кровью, а частицы просфор – Телом Христовым. Потом он причастил десятерых детей, а нам отлил в пузырьки по 20-30 г с пожеланием приобщиться дома. (Возможно ли? Зачем? Церковь сие прямо запрещает.). Мы же слили всё в один сосуд и провели анализ. Я потом сказал своему классному наставнику, что там было просто вино.

(Зря старались. У Крови и Тела Христа остаётся вкус вина и хлеба – могли бы довериться своим вкусовым ощущениям, а не корпеть над анализами. Если сделать химический анализ алмаза, то можно сказать: это просто графит. Делай карандаш и рисуй... Да? Так ли? Графит становится алмазом, он способен преобразиться под воздействием чудовищных давлений и температур... оставшись по химическому составу тем же самым графитом. Крещение и Причастие исцелили мою Марию в детстве. Попробуйте простым вином

и хлебом вылечить тяжкую форму туберкулёза... «И ты теперь спрашиваешь, каким образом хлеб делается телом Христовым, а вино и вода – кровью Христовою? Говорю тебе и я: Дух Святой нисходит и совершает это, что превыше разума и мысли. ... Можно сказать ещё и так: подобно тому, как хлеб через ядение, вино и вода – через питье естественным образом прелагаются в тело и кровь ядущего и не делаются другим телом по сравнению с прежним его телом, так и хлеб предложения, вино и вода чрез призывание и наитие Св. Духа сверхъестественно претворяются в тело Христово и кровь и суть не два, но единое и то же самое» (Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной веры. М., 1992. С. 135).

Жалко мальчика: не нашлось человека, который бы убедительно изложил ему основы православной веры. Или дело не только в этом? Верно и то, что всё почти русское образованное общество к началу XX века лишило себя Духа Святого – вполне добровольно. Затхлая атмосфера безбожия... Мальчики понимали: если тебе что-то неясно в математике, это не повод для того, чтобы отвергать всю математику в целом. Однако... не понимая что-то в богословии, они отвергали и богословие, и Христианство в целом. Странно, но – факт. Принимая без доказательств аксиомы геометрии, они не хотели принять на веру истины Откровения. Они предпочитали верить в мёртвую Материю и отвергали веру в живого Бога. Хоть и понимали, что «материя» – это всего-навсего философская категория, в которую верует философ-материалист, но которую никак не обнаружат в физическом эксперименте... Можно обнаружить, допустим, вещество или поле, но не «материю».

... Хорошо ещё, что «химический анализ» (о коем шла речь выше) не закончился трагически. Вот, например, совсем недавно жил на земле доктор наук Виктор Иозефович Вейник, написавший книгу «Почему я верю в Бога». В январе 1992 г. он был крещён... «и начал причащаться Тела и Крови Христовых, одновременно определяя свою хрональную энергетику методом измерения радиуса нанохронального эллипсоида. Ранее мною было установлено, что одна молитва «Отче наш» повышает радиус нанохронального эллипсоида в тысячу раз, а часовое пребывание в православной церкви при Богослужении – в сотни тысяч и миллионы раз... Затем в течение недели-двух приобретенная энергетика постепенно растрачивается на всевозможные грехи и радиус возвращается на свой повседневный уровень примерно по экспоненциальному (логарифмическому) закону. У обыкновенного человека радиус эллипсоида составляет несколько метров... Теперь выяснилось, что причащение лавинообразно увеличивает этот радиус. Кроме того, каждое последующее причащение повышает общий средний уровень энергетики. ... Святая вода и просфоры наиболее доступны для верующих, поэтому я рискнул измерить их хрональные и силовые свойства. И ЗА СВОЮ ДЕРЗОСТЬ БЫЛ НАКАЗАН: придя после опыта в церковь, потерял сознание, упал и до крови разбил правую сторону лица и правую ногу, потом две недели хромал и любовался своими шрамами» (Виктор Вейник. Почему я верю в Бога. Минск: Изд-во Белорусского экзархата, 2000. С. 172, 175).

Нельзя подвергать святыни химическим и физическим экспериментам. Мы идём в церковь вовсе не для того, чтобы повысить свой нанохрональный радиус, поднять энергетику. Речь идёт о спасении души, о единении с Богом... Но послушаем дальше ученика уржумского реального училища.)

Естественно, что все эти факты (какие такие «факты»? химанализ?) только укрепили меня в атеистических воззрениях. Однако с тех пор (с двенадцати-тринадцати лет) остались неясными четыре конкретных вопроса, ответ на которые я не могу найти в течение всей жизни. Это проблема безначалий:

1. Откуда и когда произошла материя?
2. Где конец пространства или как можно представить его бесконечность?
3. Начало и конец времени...
4. Начало жизни.

Ведь нельзя же просто допустить, что жизнь сама собой возникла из мёртвой материи (да уж, тут материалисты вынуждены верить в гораздо большее Чудо, чем православные). Почему химики не получили её? А ведь для этого надо создать искусственные гены, хромосомы... Ни один учёный пока умно не ответил на эти четыре вопроса. Существуют лишь некие расплывчатые фантазии...»

Да, и на эти вопросы никак не ответишь, если «запретил» Бога. Если так называемая Материя вечна и к тому же способна создать Жизнь и человека, то чем она отличается от Бога? Только тем, что она примитивнее? Прости меня, реалист. Жаль, эти детские вопросы остались без ответов. Правда, в твоих бумагах лежал пожелтевший листочек (в старой папке с тесёмками), где твоим же почерком начертаны стихи... Твои ли? Но в любом случае важен, чрезвычайно важен интерес к ним. Да?

Посреди пылающих зорь,
посреди увядающих трав
утоли, Господи, мою боль,
укроти, Господи, мой нрав.

Помяни, Господи, кто ушёл – всех,
кто любил меня и немножко знал.
(Кого я любил и не забывал...)

Укрепи, Господи, мой дух,
чтобы духом, Господи, я не пал.

Посреди увядающих зорь,
посреди пылающих трав
укроти, Господи, мою боль,
исцели, Господи, мой страх.

Помяни всех, ненавидящих нас,
упокой тех, кто давно ушёл...
Пусть услышат Твой исцеляющий глас,
чтобы стало им у Тебя хорошо.

Посреди умирающих жёлтых трав,
посреди погибающих красных зорь
подари нам, Господи, добрый нрав,
чтобы адская нас не терзала боль.

Вот такой старый листочек в линейчку... Адская боль... Они пытались прямо-таки взломать двери ада, полагая, что обретут там блаженство. К началу XX столетия русская интеллигенция почти поголовно верила в рай на земле, создаваемый человеческими руками, самозабвенно верила в утопическое «Светлое Будущее», создаваемое посредством кровавой Революции, истово верила в недоказуемые постулаты и аксиомы Математики и... не верила в Бога. Особенно много претензий было к священникам. Даже и выдающийся однокашник моих дядюшек писал вполне в духе эпохи:

«В очерке «Ранние годы» Николай Заболоцкий вспомнит, как начинался учебный день в реальном училище: «...день начинался в актовом зале общей молитвой. Сначала какой-нибудь младенец-новичок читал «Царю небесный», потом пели, потом отец Михаил, наш законоучитель, вечно страдающий флюсом, жиденьким тенорком читал главу из Евангелия, и всё это заканчивалось пением «Боже, царя храни». Далее о священнике у Заболоцкого что-то среднее между снисходительным и уничижительным. (...)

Но после встречи с невидимым, после того, как «громом ударило в душу его», после того как, «смятенный и жалкий в сиянье страдальческих глаз принял он подаянье, поел поминального хлеба» – после этого еще не совсем причастия, но близкого к причастию события, он бросает перо в кабинете. Ничего точнее, энергичнее нельзя придумать – не роняет перо, не откладывает его в сторону, а бросает и «пытается сердцем понять то, что могут понять только старые люди и дети».

Ибо для того, чтобы стать большим национальным поэтом недостаточно только исповеди, но непременно – через причастие» (Лариса Баранова-Гонченко).

Да, нужны великие потрясения, войны, революции, страдания, смерть близких, чтобы повернуться лицом к Богу: «Часто заходим в церковь, и всякий раз восторгом до слёз охватывает пение, поклонь священнослужителей, каждение, всё это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облекается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, к которой и я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах! Умер член редакции, заведующий статистикой, товарищ по университету или по ссылке... И в церкви была всё время одна мысль, одна мечта: выйти на паперть покурить. А покойник? Боже, до чего не было никакой связи между всей его прошлой жизнью и этими погребальными молитвами, этим венчиком на костяном лимонном лбу!» (Иван Бунин. Окаянные дни).

Безбожник в гробу – и погребальные молитвы, венчик на лбу, крест в мёртвой руке...

В конце жизни дядюшка стал собирать афоризмы. Часами сидел в главной библиотеке страны. Прочих родственников агитировал охотиться за острым словом. Я ему однажды нашелушил афоризмов из китайской классической «Книги перемен», которая позднее сбילה меня с толку. Стал использовать книгу для гаданья – пока не догадался её спросить: а что в наказанье гадальщикам после смерти? Получилось: погружение в хаос... В тяжкий бред... Впрочем, и Русская Православная Церковь запрещает гаданье... Грех... Да и не только Русская... У Олега Платонова можно прочесть:

«Американский священник Джеффри Стеффон, специально изучавший сатанизм, считает, что есть семь уровней приближения к сатане. На первом ... находятся те, кто занимается ГАДАНИЕМ и простыми формами традиционной магии. К этой группе относятся и те, кто время от времени занимается спиритизмом. Ко второму Стеффон относит тех, кто испытывает пристрастие к спиритическим сеансам, АЛКОГОЛЮ, наркотикам и музыке в стиле «тяжёлый рок». ...На третьем уровне находятся самозванные сатанинские группировки, лидерами которых становятся люди вроде Кроули и Лавая. ...По данным исследователя сатанизма Дж. Бреннана, в США существуют около 8 тыс. «собраний», объединяющих около 100 тыс. сатанистов...» (Почему погибнет Америка. Краснодар, 2001).

Прости меня, Господи... Во время покаялся... Не гадайте никогда, наше будущее в руках Божиих. И оно меняется к лучшему, когда находим силы каяться в грехах. После покаяния мы становимся чистыми... Как тело после бани, так и душа после исповеди. Начинаем жизнь с чистого листа.

«Однажды демон очевидно явился святому Андрею и произнёс предсказание о духовном и нравственном расстройстве христиан, долженствующем растлить христианство во времена последние. «В те времена, говорил демон, человеки будут злее меня, и малые дети превзойдут стариков лукавством. Тогда я начну поживать! тогда не буду учить человеков ничему! они, сами собою, будут исполнять волю мою!» Святой Андрей сказал демону: как ты знаешь это? ведь демон ничего не знает по предведению. Демон отвечал: «Умнейший отец наш, сатана, ПРЕБЫВАЯ ВО АДЕ, гадательствует о всем посредством волхования и передает нам; а сами мы не знаем ничего» (св. Игнатий Брянчанинов). Вот же кто первый гадатель и ворожея.

МОСКВА, УРЖУМ, ЩУЧИНСК...

В 1922 году моей матери Марии Михайловне было 12 лет, и дед отправил ее в Москву к Анюте. Сопровождал ее молодой односельчанин из Соколовского, который возвращался в Москву. Добрались до при-

станции Цепочкино, поплыли до железной дороги. Увидел парень крестик на шее - и стал издеваться: темнота, мол, деревенская... Маша сорвала крестик и бросила в воду (в девяносто лет покаялась на исповеди - и Бог исцелил болезнь, снова встала на ноги; сейчас ей почти уж девяносто четыре). По приезде в Москву у нее обнаружилась чесотка, в дороге схватила - врач прописал деготь.

Недавно, впрочем, прочёл у матери в её воспоминаниях, что дело было не совсем так, как мне запомнилось: «В 1920 году в Лебедёвском открыли пятый класс, который я закончила в 21-22 учебном году. А летом 22-го отец отправил меня к сестре Анне в Москву. Попутчиком был молодой человек лет двадцати пяти - Андрей Конюхов, чьи родители жили в Соколовском, а сам он как-то обосновался в Москве. Приезжал в отпуск, вот меня с ним и отправили. Ехали мы от пристани Цепочкино парохомом до Вятских Полян. На парохоме увидел Андрей у меня на шее крестик, начал надо мной смеяться и потребовал, чтобы я его сняла. Я послушалась, а он взял и бросил его с парохомом в реку. Так я стала нехристом.

В Москве сдал меня сестре, она и муж были коммунисты, тоже безбожники, а поэтому поведение Андрея одобрили. Анна с мужем и сыном (ему было около года) жили тогда в коммунальной квартире, занимая две маленькие комнаты. Это Дегтярный переулок (улица Покровка). Брат Владимир учился тогда в Тимирязевской академии, иногда приезжал к нам, ночевал, спал на полу, и однажды его сильно укусила за ухо крыса. Ему даже пришлось делать уколы от бешенства.

С осени я стала ходить в школу - снова в пятый класс, потому что здесь с четвёртого класса начинали обучать иностранному языку, а в нашей московской школе их было даже два: немецкий и французский. Мне наняли старичка-француза мсье Дукара, и я как-то быстро освоила программу. Немецким занимались со мной зять и его сестра Рахиль Борисовна (жила недалеко от нас). К середине учебного года я уже догнала класс. Только реверансы освоить не могла - девочки при встрече с учителями делали реверансы. Но через год сестре (или зятю) дали две комнаты побольше тоже в коммунальной квартире - в Замоскворечье, и меня перевели в школу на Никольской улице. Здесь всё было попроще, без реверансов, и язык только немецкий. До школы далеко, приходилось идти с Софийской набережной через Москворецкий мост, а потом через всю Красную площадь - за ГУМ. Помню, зимой на улице торговки продавали стаканами семечки и мороженые яблоки.

С племянником нянчилась какая-то очень дремучая женщина из Мордовии. А мне было поручено варить ребёнку манную кашу и толокно. Когда я с ним гуляла на улице, няня исполняла всякую домашнюю работу в квартире.

Правда, и там жили недолго, поскольку сестра наконец получила трёхкомнатную квартиру в особняке на улице Третьей Мещанской. Там раньше жил управляющий текстильной фабрикой. Фабрика была рядом, но ещё не работала - после революционного хаоса. В особняке занимали квартиры три семьи. Вокруг него располагался небольшой сад».

Добавлю тут ещё о себе, что запомнил. Однажды муж сестры коммунист Лазарь Берлин водил всех к сестре Рахили встречать еврейскую пасху. Конечно, ничего тут особенного... Митрополит Иоанн (Санкт-Петербургский и Ладожский) однажды упомянул секретаря одного из среднеазиатских обкомов КПСС, который одновременно был раввином местной синагоги. Коммунизм иногда сочетался с иудаизмом, но никогда - с православием...

Однако сегодня, кажется, картина изменилась. Даже и первый секретарь Коммунистической партии крещён в православной церкви. Священник о. Димитрий Дудко (по его телефонной рекомендации в 1991 году мы с Марией отвезли мой логический труд в Сергиев Посад - в Духовную академию. - Борис)... отец Димитрий говорит: «Без коммунистов сейчас никак не объединиться силам добра. Большинство русских патриотов сейчас среди коммунистов. ...Коммунизм был неизбежен, кто бы и как к нему не относился. Народ его сотворил, никакое ЧК, никакие евреи не смогли бы его навязать, если бы народ не принял, не возжелал такого испытания себе. Монархия просуществовала много десятилетий, но нужен был для дальнейшего развития России поворот. Господь попустил революцию. Так же как сейчас, в 90-е годы попустил развал и перестройку. Значит, России опять нужен некий поворот для ее возрождения, для ее славы. Предатели все вымрут, испарятся, а какая-то новая Россия будет. С новой организацией. Россия выйдет из этого хаоса вновь окрепшей.

...Видимо, нужно и наше нынешнее время... Чтобы в дерьмо все ткнулись лицом. Вот и весь XX век. Одно крушение государства, потом медленное восстановление, затем война, и уже в недавнее время новое крушение государства. Весь век между двумя крушениями. А война очень оздоровила государство. Народ стал лучше после войны. После войны и Церковь вновь зажила полной жизнью. Страшные слова, но и она была попущена Богом. Чтобы повернуть сознание человека. ...Ведь только у нас есть это понятие - Святая Русь. Вот мы уклоняемся и вновь идем к ней. Уклоняемся и идем. Святая Русь - это православная страна. Русский - значит православный. Это не значит, что мы все святые будем, но мы будем идти к идеалу, к добру для всех, к справедливости для всех. Недостижимо, но вновь будем идти. Может, это и есть наш вечный русский путь. Если русский человек безрелигиозный, он самый страшный человек в мире, хуже всякого европейца. Европейец безрелигиозный - внешне подтянут, а русский без религии - страшен и безобразен.

...Сравним русский и еврейский народ. Какой недостаток у еврейского народа - это золотой телец. Какой недостаток у русского народа - пьянство и разврат. Но кто может из них покаяться? Русский покаяться может в самых страшных грехах. А если может покаяться, значит, у него в душе Святая Русь» (О. Димитрий Дудко. Христос пришел спасать грешников//Завтра. 2002. №8).

Что ж, вот пример публичного покаяния: «Это мы, русские, предали царя иноплеменикам, это мы, русские, стреляли в его жену, в его детей и за верную службу иудеям получили свои сребренники, уподобясь

Иуде-предателю, вопрошавшему у архиереев платы за Христа: «что мне дадите, и я предам Его» (Мф., 26, 15). Вот документ-расписка через три дня после убийства: «20 июля 1918 года получил Медведев денег для выдачи жалованья команде дома особого назначения от коменданта Юровского десять тысяч восемьсот рублей».

Христос сказал об Иуде: «Добро было бы, если бы не родился человек тот» (Мф., 26, 24). Лучше было бы не родиться и тем русским медведевым, что убили государя, а после убийства «разделяли ризы его», подобно Христовым одеждам, растащили, как расклевали, скромное царское имущество: старые брюки с несколькими заплатами и датой их пошива на пояске «4 августа 1900 года», принадлежавшие государю; кожаный саквояж, суконные перчатки, пуховые носки, два серебряных кольца великих княжен; бинокль; три вилки, термометр, рашпиль; гребешок, мыльницу, детские игрушки наследника — оловянных солдатиков, парходик, лодочку... Ботинки государыни и сапожки великих княжен чекисты роздали своим женам и любовницам, пуховая подушка откочевала к комиссаровой жене. Не тронули иконы и книги. На полке остались стоять Новый Завет и Псалтирь, молитвослов императора, «Великое в малом» Нилуса, «Лествица» Иоанна Лествичника с пометами государыни и ее же книга «О терпении скорбей». С иконы Феодоровской Божьей Матери содрали золотой венчик и звезду с бриллиантами, обобранную оставили стоять на столе рядом с Богородичной иконой «Достойно есть», где в руках Богородицы свиток со словами: «Дух Божий на Мне ради Помазанничества Моего благовестуется смиренным, следующим за Мной».

Троекратно отверглись мы государя-богоносца. Впервые — когда поверили мнимому царскому отречению. Другой раз — когда допустили заточение и гибель государя. ...Русские люди отверглись царя и в третий раз — когда промолчали в ответ на известие о его смерти» (Т.Л. Миронова. По слову Святого Завета // Русская идеология. Православный богословский церковно-монархический сборник. М.: Лествица, 2000). Может быть, тут не вся правда, но важен сам факт покаяния.

Мой дед Михаил Гаврилович был старше Государя на четыре года... Но вернемся ... вернемся к нашему повествованию... В 1924 году началась партийная чистка, и Лазаря за какую-то провинность вычистили в Подмоскovie, в город Озёра. Аня, будучи занята партийной работой, отправилась с ним младенца. По прошествии некоторого времени Лазарь развелся с моей тётёй Аней и женился на няньке. Сейчас этот сын, мой тезка, - пенсионер, доктор технических наук Борис Марков. Переписывается со мной и моим братом. Однажды в гости приезжал. Он участник Великой Отечественной войны, где погиб и его отец.

Я как-то попросил Бориса чего-нибудь рассказать «про войну», и не прошло и двух лет, как он прислал мне институтскую газету-многотиражку.

ПЕРВЫЙ БОЙ

«Ему было тогда всего девятнадцать. Сын участника первой мировой войны, он был призван в армию в сентябре 1940 года на Дальневосточный фронт, который уже существовал к тому времени, потому что назрела угроза нападения с востока. (Кстати, тогда же был в Москве призван в армию и уехал на Дальний Восток Кирилл Макаров, отец Марии.) Вместе с ним были призваны восемь его одноклассников и ребят из параллельного класса. Полк, в котором служил Борис, дислоцировался в 18 километрах от Манчжурской границы.

- Как сейчас помню тёплые июньские дни, военный лагерь, палатки, кругом сопки, а недалеко граница. В ту ночь я был на посту в наряде. Только прилёг утром отдохнуть, как меня разбудил взволнованный голос моего товарища Володи Тараканова: «Война». Не поверил, думал, что шутка... И только после того, как увидел со стороны штаба дивизии кавалькаду на конях во главе с командиром полка и услышал, как горнист трубит тревогу, понял, что и в самом деле началась война.

(Тут же был листочек с небольшим комментарием Бориса: «В апреле мне позвонил председатель нашего институтского совета ветеранов и уговорил дать интервью редактору многотиражки. Встретились с ней на нашей кафедре теплофизики. Диктофона не оказалось, уверяла: всё запомнит. Делала заметки в блокноте. Сразу скажу: дама очень милая, спасибо ей за внимание к моей скромной персоне, моим замечаниям.

Известие о начале войны не было «страшным» – как могли мы представить, какая она? Только на фронте понимаешь, что выжить шансов куда меньше, чем погибнуть. Перед этим пониманием на второй план отступают физические трудности, которых, конечно, немало.

Есть и мелочи. Что значит «прилёг отдохнуть»? Сменился с наряда – заваливаешься спать. «Прилегают» генералы. Будя меня, Вовка вряд ли был «взволнован», и проснулся я после того, как он перестал будить и отошёл, сказавши: «Ну и ... с тобой!» Кавалькаду увидел значительно позже, чуть ли не после обеда (разница во времени восемь часов).

А в общем – исправленный вариант соответствует действительности.)

Так как мы были заранее готовы к серьёзным испытаниям, долгих сборов не потребовалось: сразу же нам выдали весь положенный боекомплект и вывели полк к сопкам, поближе к границе. Потом среди красноармейцев со средним образованием был направлен в полковую школу, где готовили младших командиров. А через месяц нам было предложено поступить во 2-е Владивостокское пехотное училище в Комсомольске-на-Амуре. Обучение было скоротечным, но ещё в полку научили многому. Например, там я научился хорошо стрелять, даже получил благодарность за хорошую стрельбу. В феврале 1942-го в звании лейтенанта я был отправлен эшелонами на Западный фронт.

Дорога Бориса на фронт была длиной в целый месяц. От Челябинска железнодорожный путь был запружен поездами, на коих эвакуировались люди и заводы. И вот Москва. Меньше суток в казарме – и снова

в путь, уже на грузовиках... Малоярославец в Калужской области, Медынь, где Борису предстояло принять боевое крещение.

- На фронт я попал в марте 42-го. Помню, как о нашем прибытии телефонист докладывал по телефону: «Прибыло 10 больших и 100 маленьких банок лыжной мази» (10 больших банок – мы, выпускники училища, а маленькие банки – 100 красноармейцев). Последовал ещё вопрос: «Лыжные палки есть?» Ответ: «Лыжных палок нет». Имелось в виду оружие. Лесок, в котором мы остановились, был только что взят нашими. Тут и там валялись трупы немецких солдат. «Большие банки с мазью» разместились в землянке – яме глубиной метра полтора. Сверху брёвна в один накат, засыпанные землёй, дыра для прохода внутрь. Я оказался у самой дыры, поэтому меня вызвали первым и предложили принять взвод пешей разведки.

Было сказано, что наша задача – соединиться с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом генерала Белова, который совершал рейды по немецким тылам. На самом деле, как потом стало известно, ситуация была более тяжёлой. В немецкое окружение попала группа наших войск, в том числе корпус Белова, 33-я армия, авиадесантный корпус и ещё какие-то воинские части. Приказ командующего фронтом Г.К.Жукова был таким: к 20 марта осуществить соединение с частями, сражавшимися в тылу врага.

(Из письма: «Обрати внимание: приказ Жукова не был выполнен. Представь себе, какими усилиями пытались его выполнить! Об этом приказе я узнал через много лет после Победы. И ещё: был я плохим командиром. В училище был надо учить психологии или чему-то в этом роде – вместо фортификации и конного дела. А я к тому же вообще учиться не любил. Лучше бы воевать красноармейцем»...)

Однако наступательные бои оказались очень тяжёлыми. Временами мы слышали канонаду с той стороны, но группа Белова вышла из окружения лишь где-то в июне. И всё-таки мы продвигались. Река Угра, разделявшая нас с немцами, была небольшой, но «немецкий» берег был крутым и лесистым, а наш положим и довольно открытым. Река и подходы к ней простреливались. Особенно большие потери наносил нам миномётный огонь. Помог залп «Катюш». Крутой берег стал нашим. В лесу расположился командный пункт полка.

Случилось так, что в направлении КП прорвалась группа немцев. Для отражения атаки собрали всех, кто был в наличии, в том числе и наш взвод. Остановили их в основном ружейным огнём. Из чьей-то винтовки нескольких немецких солдат уложил и я. Рядом со мной залёг незнакомый старший политрук, казавшийся мне стариком. Он стрелял из нагана. Подкатили 45-миллиметровую пушку, отбились. Политрук вошёл в азарт: «Лейтенант, поднимай в атаку!» Я отказался. В глубоком снегу под миномётным огнём полегли бы бесполезно...

Между нашими и немецкими позициями застрял тяжёлый танк (КВ или ИС). Приказали выдвинуться к нему. Остановились в каком-то углублении. Встал, чтобы осмотреться, и тут показалось, будто кто-то ударил тяжёлой палкой по ноге – раздалась автоматная очередь. Начался бой. Два старика-санитара под огнём бегом тащили меня на «волокуше». На полковом пункте медицинской помощи я совершил «подвиг»: не дал резать новый сапог, заставил снимать с перебитой ноги. Эти сапоги служили мне до окончания института.

Потом – госпитали. Помню армейский госпиталь в Малоярославце. Авианалёты, во время которых медсёстры и санитарки оставались с неходячими ранеными.

Уже во фронтовом эвакогоспитале мне вручили выписку из приказа о награждении, подписанном командующим фронтом Жуковым и членом военного совета Булганиным. Во время переезда в нейрохирургический госпиталь в августе 1942 года орден Красной звезды в Кремле мне вручил председатель президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин. Однако настроение было тяжёлым: немец подходил к Сталинграду и Кавказу.

В декабре 1942-го был демобилизован. Работал командиром военного обучения, а в 1943 году поступил в Московский институт стали. Студенческая жизнь тогда была тяжёлой: досыта не ели, хотя студентам-металлургам выдавали рабочие карточки. По ночам я подрабатывал грузчиком, а утром досыпал на лекциях.

О том, что скоро победа, поняли второго мая, когда пал Берлин. А девятого было столько радости и ликования... Восторг был дикий. Радость необычайная. С друзьями на радостях «хватали» спирта и вышли на улицу. Вся Москва ликовала. Всю ночь люди гуляли, обнимали военных. Любовь и дружба тогда были необыкновенными.

СОКОЛОВСКОЕ

Зимой 1924-25 года будущей моей матери Марии пришлось вернуться в починок Соколовский, а потом - в Уржум, чтобы здесь закончить школу-девятилетку с педагогическим уклоном. Вот ещё кусочек её воспоминаний:

«Мои университеты начались с хлебного поля - года в четыре. Осенью, когда начинался озимый сев, а в яровом поле еще кое-что не было убрано, мама шла на уборку, а меня отец брал с собой на посевную. Запрягали в телегу лошадь, на телегу ставили плуг или борону, мешки с посевным зерном, продукты на день. И где-нибудь среди этого скарба усаживали меня с тряпичной куклой.

В передке телеги садился отец (править лошадей), и тут же умищивался десятилетний братишка Миша (он потом через много лет потеряет на войне обе ноги).

...На случай дождя зерно, продукты и меня, укутанную в одежки, закрывали коровьей кожей. Она была

выделанная, уже без шерсти. В поле отец и брат принимались за свои дела, а я, если день был ясный, оставляла свое гнездо, забиралась под телегу на разостланную там кожу и одежду - и сидела там с куклой, спала, ела. Если же моросил дождь, то я так и сидела на телеге, выглядывая из-под своего «зонтика». Так продолжалось до конца сева...

Если мама успевала закончить свои дела в поле и занималась домашними работами, то я оставалась с ней. В десять лет я научилась жать серпом. У отца была конная жатка - или жнейка, как ее у нас называли. Это была машина, в которую впрягали пару лошадей, она срезала стебли ржи, овса, ячменя, а за ней шли вязальщицы, собирали рядами лежащие стебли, вязали их в снопы. Но приходилось прожинать дорожку, по которой могли бы пройти лошади первый раз, чтобы срезать жаткой первый ряд. Иногда приходилось жать серпом и полегшие стебли.

Лет в одиннадцать-двенадцать я стала помогать на молотье. У отца была конная молотилка, и когда он молотил в овине, то я должна была подавать ему снопы на столик молотилки, предварительно разрезав соломенный «пояс» на снопе. Для такой маленькой девочки это была очень изнурительная работа, но все взрослые были заняты тоже на молотье - на еще более тяжелой работе. Тогда я мысленно, про себя, решила, что когда вырасту, то ни за что больше не буду жить в деревне, где так тяжело работать».

Дед успел дать среднее образование всем своим детям, кроме старших Ивана и Александры...

Из «АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАМЕТОК» моего дяди Михаила Михайловича Маркова

“Брат Владимир, впоследствии профессор, был мальчик болезненный, несручный к крестьянским работам, к тому же боялся лошадей, почему отец и применил к нему самое обидное название «кислород», в каком-то совсем иносказательном понимании этого слова. Значит, и оставалось... «всего мужиков-то: отец мой да я...»

(Мать вспоминает: уже юношей Володя однажды работал на жатке, остановил лошадь и сталковыряться в механизме. Повредил руку. Отец быстро повёз его в Буйское к фельдшеру, там наложили швы. Володя сначала сидел дома, а потом, когда ладонь слегка поджила, с рукой на перевязи перекопал весь косогор возле реки, сделал террасы и посадил там смородину. – Борис).

О девушках, своих сёстрах, я не говорю. В крестьянском хозяйстве они играли третьестепенную роль.

Дети часто болели. Не избежал этого и я на третьем годочке от рождения. Болел в тяжёлой форме, что впоследствии отразилось на сердечной деятельности. Недаром мой пятилетний брат Володя как-то сказал: - Мишка-та у нас хвараит. Ево нада в пруд бросить...

Рос я мальчиком не столь уж тихим и смиренным, но вполне самостоятельным. В детстве три раза тонул. В первый раз меня вытащили из омута взрослые девушки – дочери мельника, и я едва отдышался. Потом два раза выкарабкался из воды самостоятельно. Будучи взрослым и уже отцом семейства, дважды переплывал Иртыш в самом быстром и бурном его течении возле города Усть-Каменогорска. И на этот раз вышел из воды «сухим». Только когда выплыл и оделся, жена упала мне на грудь и своими слезами основательно смочила мне рубашку. Она у меня такая – невыдержанная... Хотя, пока я плыл туда и обратно, собравшаяся возле неё толпа зрителей старалась успокоить плаксу, предсказывая, через сколько секунд я должен непременно утонуть.

А сколько раз в детстве меня разносили лошади, разбивая телегу в щепы. Как падал я на полном скаку, разъезжая верхом на неосёдланных лошадях! И почему-то всегда оставался не только жив, но и невредим, если не считать обилия синяков и ссадин на теле.

С шестилетнего возраста уже боронил, восседая верхом на старенькой лошадке. А чтобы не свалился с неё от усталости, мои ноги привязывали к чужам хомута. Вот она техника-то безопасности! Затем я выполнял и все другие полевые работы, а также заготавливал с отцом дрова в лесу. В общем, во всех работах отца я был первым его подручным и помощником. Как говорится – работал на подхвате.

Не знаю, что сейчас представляет собой Лебедёвская школа.

(Сейчас в Лебедёвском триста жителей, школа-девятiletка, два пруда, пекарня – хлеб возят даже и в Уржум. Починок Соколовский стал просто улицей в Лебедёвском. Наш дом использует как хранилище инвентаря бывший директор совхоза, а ныне глава крестьянского хозяйства. Фермер? Кулак... Правда, поговаривают, что школа скоро опять ужмётся до четырёхлетки; пятого и шестого классов уже нет. Матушка моя Мария Михайловна когда-то писала: «Прошло уже почти 70 лет с того дня, как пожилая учительница Александра Михайловна Силина записала меня ученицей первого класса. Она жила в комнате при школе, семьи не было, целиком отдавала себя детям. Была очень добрая. Помню, она держала индеек, табунок был штук пять – и один индюк, которого мы почему-то очень боялись. Он надувался и бегал за нами. В первом классе я ещё застала урок Закона Божьего. Учил её батюшка из села Буйского – отец Николай, тоже очень добрый и мягкий человек. Уроки в школе каждое утро начинались с молитвы».

Недавно нашёл письмо из далёкого 72-го года. Пишет детская подружка моей матери: «Когда я была в Лебедёвке, то каждое место напоминало мне раннее детство и счастливые дни. Годы прошли... Из лебежан в живых осталось очень мало. Я ходила по Буйску и просила людей показать мне могилу нашей с тобой учительницы Александры Михайловны, но, к великому сожалению, никто мне показать не смог. Жаль её, умерла в большой бедности... Когда слышу школьный вальс «тебя с седыми прядками над нашими тетрадками, учи-

тельница первая моя», то сразу вспоминаю её. Надеюсь, ты тоже о ней вспоминаешь...» Письмо без конверта, кто писал – не знаю.

В школе – две классные комнаты, где размещались четыре группы учащихся, по две в каждой из комнат. Учительниц было тоже две, и у каждой были две группы. В четвёртом классе мать учила Анна Михайловна Колесникова. Это был уже 20-й год, она с мужем приехала из Москвы (он местный). Эту учительницу мать вспоминала тоже только добром. Она была молода, красива, добра. Мать пишет: «Крестьяне наших починков очень уважали учителей. Мужчины при встречах низко кланялись и снимали картуз. В школу мы приносили сырой картофель, крупу, мясо, и сторожиха варила нам обед. А иногда мы приносили с собой хлеб, молоко, яйца и ели это в большую перемену. Помню, одна девочка – дочь нашего кузнеца Маня Толчина – всегда приносила хлеб чисто ржаной, и он нам казался очень вкусным. Мы выменивали его на свой ярушник (кто когда успеет) – хлеб из смеси ржаной и овсяной муки. Пшеницу в наших краях не сеяли. Были ещё гречиха и ячмень, лён на волокно и масло. Подсолнечного масла у нас тоже не было. Некоторые сеяли ещё коноплю – тоже на масло и волокно». – Борис.)

Однако вернёмся к воспоминаниям Михаила Михайловича: «В наше время здесь было 35-40 учащихся, преимущественно мальчики. Девочек было очень мало и ни одной из прилегающих к школе марийских деревень Пакшай и Мазары. Случалось, что одна из учительниц заболела или уезжала в волостное правление по служебным делам, тогда во всех четырёх группах вела занятия одна учительница.

Особенно трудно было посещать школу детям из отдалённых селений из-за зимних морозов, бездорожья и весеннего половодья. А ведь селений-то было приписано к Лебедёвской школе – 13... Почти все учащиеся ходили в школу в лаптях, а в сырую погоду (весной и осенью) к лаптям прикрепляли лыками деревянные колодки, чтобы не промочить ноги и экономить обувь. Придти в школу в новых лаптях детям было большое удовольствие.

Мы научились письму, чтению, счёту. И старая учительница, она же заведующая школой, поздравила нас с её окончанием. А родители решили учить меня «дальше», то есть в городе. Там уже учились мои старшие сестра и брат, а я был третьим. Благо, за третьего из одной семьи плата за право учения в сумме 15 рублей уже не взималась.

Селение, где я родился и провёл детство, находилось от города в 25 верстах. А кто их мерил – эти самые версты, кроме наших детских ног? Учитывая такое расстояние, обычно в город на лошади выезжали очень рано – «до солнца». Ещё затемно доезжали до деревни Поповки, что в пяти верстах от города. Об автомобильном транспорте в то время мы ещё не имели понятия... Лишь подъезжая к горе Дубовой, возвышающейся над долиной реки Уржумки, вдоль которой и расположен город – мы наблюдали солнечный восход, а одновременно открывался и чудесный вид на Уржум. Ярко блестел серебром купол собора. От солнечных лучей сияли позолоченные кресты четырех городских церквей. С гомоном вились стаи грачей над своими жилищами, расположенными на вершинах зелёных кладбищенских берез. Но залитый потоками солнечного света и тепла тихий провинциальный городок ещё крепко спит. На противоположной от него стороне высились Отряские горы, куда убежал Вятско-Казанский тракт. Они были покрыты редкими кустами вереска. У подножия гор темнел еловый лес, возле которого ежегодно раскидывалась трёхдневная Белорецкая ярмарка. Впрочем, с севера и юга город был также окружён лесами: Мещанским и Солдатским.

Здание реального училища было кирпичное, двухэтажное, не считая подвального помещения. С водяным отоплением – весьма редким в то время в Вятской губернии. И покрыто было железом, что также встречалось не часто. Строили его добросовестно и добротнo, с расчетом на долгие годы...

(Кировская правда. 1997: «В очерке «Ранние годы» известный поэт Н.А.Заболоцкий, выпускник школы 1920 года, пишет о том, что оборудование классов было отличным, ему могли позавидовать столичные учебные заведения. Особенно выделялся кабинет рисования. Живопись была предметом всеобщего увлечения. В классе для рисования скамьи располагались амфитеатром, чтобы хорошо было видно натуру, у каждого ученика был свой мольберт. Вдоль стен стояли гипсовые копии античных скульптур. Не хуже были оборудованы кабинеты химии и физики. Небольшая часть гипсовых копий и сейчас хранится в школьном музее... Идут годы. Здание ветшает, нуждается в ремонте, но сейчас школе трудно найти немалые средства для реконструкции. ...Нужны меценаты, как в те далекие годы, почти 90 лет назад».

Красивое здание... Заболоцкого иногда цитируют как раз по этому поводу:

А если так, то что есть красота?

И почему её обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,

Или огонь, мерцающий в сосуде?

Конечно, она сосуд, в котором может мерцать божественный огонь. Может... Диакон на всенощной возглашает в церкви: «Господь воцарися, в лепоту облечеса!» Ну, а мы, исполнившись своеволия и удалившись из Церкви, иногда пытаемся облечь в лепоту свои собственные тёмные карамазовские страсти...)

По тому времени величина и красота этого здания с большими светлыми окнами сразу же поразила моё детское воображение. Среди мелких мещанских домишек оно выглядело великаном. Большая территория прилегающего к нему двора занимала целый квартал вдоль улицы Гоголя. Мне говорили, что сейчас там разбит школьный сад, а в то время во дворе были устроены две огромные деревянные горы, одна напротив другой – для зимнего катания школьников на санках. Тут же был ледяной каток для конькобежцев, а летом здесь играли в футбол. Самым лихим ударом считалось перекинуть мяч через крышу здания, не задев её, чего

достигали немногие. Чаще же от этого страдали окна второго этажа, а особо лихие спортсмены тоже страдали ... в карцере.

Жили мы с братом Володей на квартире у городского водовоза Палладия Черевкова на той же Гоголевской улице почти напротив школы. Из деревни привозил нам отец на неделю-две запас печёного хлеба, картофеля и молока. Конечно, хлеб быстро черствел, а иногда и плесневел, молоко скисало, но молодые мужицкие желудки могли дробить «гвозди, стекло, камни и бумагу» – всё, что только в них попадало, не говоря уже о чёрством или плесневелом хлебе. Остатков не было – их доедали.

Вечерами старательно учили уроки, усаживаясь вчетвером за один столик, по одному с каждой стороны, при семилинейной керосиновой лампе в центре стола. В двух комнатах квартирантов помещалось шесть-восемь человек. За тройку в четвертном табеле по любому предмету мне бы здорово влетело от отца. Четвёрка принималась со скрипом. Непременно требовались все пятёрки. О двойке не могло быть и речи!.. Пятёрку получить мне тоже всегда хотелось, но это было нелегко и достигалось лишь большим и упорным трудом.

Не реже одного раза в месяц квартиру посещал классный руководитель, а в два-три месяца – классный надзиратель или инспектор. А так как на этой квартире в двух её комнатах жили учащиеся разных классов, численностью в восемь маленьких лбов, то ожидать посещения педагогов или начальства следовало ежедневно. Плохо было тому ученику, которого при очередном визите классного руководителя, а тем более инспектора или надзирателя, – не оказывалось дома! Вне квартиры разрешалось быть не позднее девяти часов вечера, причём даже в положенное время хозяйка должна была знать, куда отлучился её юный квартирант.

До революции строго соблюдалась установленная форма одежды учащихся. У нас были чёрного сукна фуражка, шинель, гимнастёрка, брюки, кожаные ботинки, резиновые калоши, а взимнее время одежду можно было дополнить башлыком, чтобы не отморозить уши, так как шапка не полагалась. На бляхе ремня красовались три буквы «УРУ» (Уржумское реальное училище). Они же украшали и кокарду на фуражке. А значок на шапочке гимназисток гласил «УЖГ» (Уржумская женская гимназия). Они расшифровывали эти буквы по своему и дразнили нас, называя «утопленниками реки Уржумки», но и мы не поддавались особам прекрасного пола, именуя их «уржумской жареной говядиной».

Длинноволосых юношей тогда не было, всех стригли под нулёвку...

Директором был Михаил Фёдорович Богатырёв. Своим внешним видом он вполне соответствовал фамилии. Это был полный, а впоследствии – грузный мужчина выше среднего роста с пышной седой шевелюрой и громоподобным голосом. Когда он объяснял урок, его бас так рокотал, что в соседних классах было трудно заниматься. А преподавал Михаил Фёдорович математику.

Если учесть, что до революции он имел чин тайного советника, что соответствовало званию штатского генерала, и занимал пост директора, то будет понятен наш страх и трепет при встрече с ним. Но он занимал этот же пост и после революции до конца дней своих, и лишь тогда мы узнали, что это был очень добрый, деликатный, обаятельный человек, весьма любивший подопечных детей и желавший им только добра. Он никогда не прибегал к строгим наказаниям. Я не помню ни одного такого случая.

К концу своей жизни он очень страдал от ревматизма и совсем не владел ногами, а из класса в класс передвигался на табурете. Но работы не прекращал, и на второй этаж учащиеся поднимали его по лестницам вместе с табуретом.

Преподавал он только в старших классах, а в младших курс арифметики вел наш классный руководитель молодой физик Евгений Иванович Онищик. Была и ещё учительница математики Лидия Ивановна Крутовская»...

На этом сказке конец... Газетный текст обрывается. Есть ещё кусочек его письма: «18.02.74 г. Что-то писем от вас нет, а сегодня день выходной даже для пенсионеров – воскресенье, и надо поехать в Буйское к обедне. А там, может, отец раздобрытся и купит за копейку солодяной пряник у Архипа Морозова. Вот блаженство-то! День его таскаешь в кармане (съесть-то жалко!), пока он наполовину не искрошится и не захватается грязной ручонкой, а вечерком уже и полакомиться можно. Смак!»

И есть ещё кусочек письма дядюшкиной жены Надежды: «Похоронили его на новом кладбище, от Стерлитамака километров двенадцать. Купили новый костюм, надели протезы, на подушечке лежали его награды: 12 медалей и один орден... Всё вспоминаю, как мы с одним татаринком 3 декабря 1943 года привезли на салазках Мишу домой – тогда транспорта от вокзала не было. На коленях были тумбочки. Он получил их в своём военном госпитале и передвигался с их помощью до весны, а потом научился ходить на протезах... Не верится, что Миши уже нет. Только что ходил, говорил, Юрочке всё рассказывал про свои детские годы, как ловил рыбу в реке Мазарке, ходил в лес за коровами...»

Недавно, уже после смерти матери моей Марии Михайловны, нашлись письма давнего соученика дяди Миши. Лежали в брошюре про революционную Вятку... Как они туда попали? Даже не знаю фамилию этого человека, подпись – М.Р. (Ребров, Рыбаков?).

“18 сент. 1975 г. Киров.

Дорогой и уважаемый Михаил Михайлович! Сердечно благодарю Вас за поздравления и за добрые пожелания. Тринадцатого сентября мне исполнилось 72 года. Возраст старости. Ибо сказано у праотца Давида: “Лета наши как паутина; считается лет наших: семьдесят лет, а ежели мы в силах – восемьдесят лет; большее число их – труд и болезнь. Но с ними приходит к нам кротость, и мы научаемся”.

До 80-ти нам с Вами ещё порядочно, да и дотянем ли мы до этого возраста... А вот “кротость” у меня, например, уже пришла в значительной степени: я спокойно и без сожаления всматриваюсь в своё прошлое, в

радости и горести, постигшие меня на жизненном пути, – и вполне примирён с жизнью. Старость имеет свои преимущества: страсти более уже не волнуют человека, опыт жизненный, добытый в несчастьях и ошибках, сообщает всему мировоззрению широту и уверенность, приходят мудрость и предвидение, чего прежде не было. Жизнь окружающая, особенно жизнь природы, открывается в своей удивительной красоте и чудесности. Спокойствие и мир опускаются в душу. Александр Блок сказал некогда:

И, наконец, увидел ты,
Что счастья и не надо было,
Что сей несбыточной мечты
И на полжизни не хватило...
Но это всё в полной мере доходит до сознания лишь в старости...”

“29 окт. 1975 г. ...Переписываюсь (в форме праздничных поздравлений) только с Анатолием Михайловичем Лопатиным, нашим сотоварищем по Уржумскому реальному училищу. Адрес его: Уржум, ул. Красная... Из упоминаемых вами хорошо помню Клокова и Неронову (их две сестры?). А вот остальных, о ком вы пишете, совсем не помню – ни Носкова, ни Курочкина, ни Черевкову. Не помню Ивана Викторова. Хорошо помню Ваню Скалепова, но он давно умер, покончив с собой ещё в 20-х годах (об этом рассказывал мне его отец доктор Скалепов).

Сам я учился сначала в начальной школе села Сезенева Слободского уезда, затем в частной школе В.М.Морозова в Вятке. В связи с переездом родителей в 1914 году поступил в первый класс Малмыжской мужской гимназии. Осенью 1917 года очень недолго учился в бывшей 1-й Вятской мужской гимназии, затем в том же году мы переехали в Уржум, и я поступил в Уржумское реальное училище. Покойный отец мой в те годы работал председателем Уржумского совета народных судей, одновременно был уездным комиссаром юстиции и членом военно-революционного трибунала. А так как он бывший педагог, то директор реального училища Мих. Фед. Богатырёв пригласил его поработать и в реальном училище. Он согласился приватно взять несколько часов по предмету литературы.

В 1919 году, летом, отец был избран на общегубернском съезде судей в Вятке членом президиума губсовнарсуда, и мы переехали в Вятку, где вскоре отца назначили губернским комиссаром юстиции и ревизором ЧК. В 1921 году я закончил бывшее вятское реальное училище, поступил в педагогический институт, обучение в котором завершил в 1925 году. Потом 13 лет работал педагогом, в том числе в Ленинградской военно-политической школе по кафедре литературы. После демобилизации в 1936 году возвратился в Вятку в качестве нач-ка филиала Всесоюзного института кожбумажной промышленности, но вскоре был отзван для работы в педагогическом институте.

А затем я неожиданно уехал (помимо своей воли) на Крайний Север, и там, недалеко от полярного круга, прожил 22 года. Пришлось работать лесорубом, ремонтником ж/д полотна, грузчиком, землекопом, инспектором картбюро, счетоводом, экономистом-финансистом, последние семь лет – главным бухгалтером на строительстве Сольвычегодска (ж/д станция коего и посёлок были построены при моем непосредственном участии). В 1960 году я вернулся в Киров, три года ещё проработал гл. бухгалтером учебного комбината “Дре вмебельпрома”, а затем вышел на пенсию.

С 1924 года занимаюсь литературной и журналистской работой, написаны сотни корреспонденций (напечатаны в газетах, журналах, сборниках и альманахах Кирова, Архангельска, Костромы, Ижевска, Горького, Москвы, Ленинграда: стихи, очерки, рассказы, статьи литературоведческого характера, фельетоны и проч.). Есть два издания книги-повести “Азинцы” (в соавторстве с быв. пулемётчиком Азинской дивизии Ганичевым, ныне покойным). Изданы брошюры “Люби своё дело”, “По уржумским просторам”. Но в большую литературу я не вошёл, имя моё литературное остаётся в тени. Много отнял у меня Север...

Меня несколько удивило, что Вы древнееврейского царя и пророка Давида называли мифическим лицом. Ведь это несравненный поэт древнего мира, создатель изумительных по своей поэтической силе псалмов.

Ну, будьте здоровы и счастливы. В следующем письме у меня к Вам кое-какие вопросы о нашем реальном училище, о людях”.

“14 дек. 1977 г. ...Я всё более и более старею, гложу. Читаю только одним глазом, так как на втором зреет катаракта, но врачи пока не назначают операцию – считают, что ещё рано. Часто посещают и всяческие недомогания, сказываются годы, прожитые на Севере. Однако всё ещё понемногу работаю – довольно лениво, с перерывами. Иногда выступаю перед читателями с так наз. творческими отчётами. В Волго-Вятском изд-ве у меня рукописи двух книг. Но только в перспективный план они будут включены не раньше 1981 года. А ведь мне в наступающем году исполнится (если доживу) 75 лет. Возраст не позволяет возлагать большие надежды на будущее. А в издательстве говорят: “Ну, что ж, издадим посмертно, не вы один такой...”

В нынешнем году вышел сборник “Воспоминания о Заболоцком” – в изд-ве “Советский писатель”. Вы, вероятно, помните в Уржумском реальном училище Николая Заболоцкого, который учился чуть ли не в одном классе с братом Вашим Владимиром Михайловичем, то есть старше нас с Вами на один год. Но по возрасту он с нами одинаков – 1903 года рождения. Он умер в Москве в 1958 году. Сборник интересен хотя бы уж тем, что в нём помещены воспоминания самого Заболоцкого об Уржуме и учителях Уржумского реального училища. Я его совершенно не знал, хотя сейчас выясняется, что он и тогда уже писал стихи, но не показывал

их всем, а читал только в интимном дружеском кругу, главным образом в доме Журавлёвых, на одной из сестёр которых был женат Василий Иванович Шерстенников, много лет работавший потом зам. директора Кировской обл. библиотеки им. Герцена. Я с ним был не только знаком, но и дружен. Его жена рассказывала мне о чтении собственных стихов Николаем Заболоцким. В своих воспоминаниях о себе и Уржуме “Ранние годы” он упоминает и несколько фамилий уржумских гимназисток (Польнер, например) и реалистов. Но не многих.

В сборнике помещены воспоминания Михаила Касьянова, тоже уржумского реалиста, друга Коли Заболоцкого, с которым они вместе по окончании реального училища отправились в Москву, где и поступили оба на медицинский ф-т университета. Но Касьянов его окончил и стал врачом (не знаю, жив ли он сейчас), а Заболоцкий через год уехал сначала обратно в Уржум, а затем переехал в Ленинград.

(Тут же, вместе с письмами М.Р. лежала уржумская районная газета “Кировская искра” (1978. 6 мая), где на последней странице шапка – “Завтра 75 лет со дня рождения Н.А.Заболоцкого” и кусочек воспоминаний М.Касьянова:

“Осенью 1913 года я был принят во второй класс Уржумского реального училища. С четвертого-пятого класса у нас по успехам в науках образовалось твёрдое ядро, куда входила первая пятёрка учеников: хромой Серёжа Казанцев, Мишка Быков, Гриша Куклин – мой особо закадычный товарищ, Володька Марков (это мой дядя Володя, который потом до конца дней своих поддерживал знакомство с Касьяновым. – Борис) и я. Вот в этой пятёрке и возникла мысль о журнале. Когда мы собрались у Быкова, были и другие товарищи из нашего класса и, кроме того, ещё один мальчик. Я с ужасом сказал Мишке шепотом: “Это же четвероклассник”. – “Ничего ответил Миша, - он головастый паренёк, стихи хорошие пишет”. Паренёк действительно был лобастый, немного смущался, но взгляд имел твёрдый. Это была моя первая в жизни встреча с Николаем Заболоцким (он писался тогда – Заболотский). Николай начал слагать стихи с одиннадцати-двенадцати лет. Он сам считал, что “это уж до смерти”. Мне он как-то сказал: “Знаешь, Миша, у меня тётка есть, она тоже пишет стихи. И она говорит: “Если кто почал стихи писать (он так и сказал – почал), то до смерти не бросит”. В то время, когда я впервые с ним познакомился, Николай был белобрысым мальчиком, смиренной, со сверстниками не дрался, был неразговорчив, как будто берёт что-то в себе. Говорил он почти без жестов или с минимальными жестами, руками не махал, как мы, все остальные мальчишки, фразы произносил без страсти, но положительно, солидно. Страсть и оживление в спорах я увидел в нём уже позднее, в юности.

С тех пор я уже не терял связи с Николаем. Затея с журналом длилась, по-видимому, несколько лет. ...В натуре Николая уже с юных лет, наряду с серьёзностью и склонностью к философскому осмысливанию жизни, было какое-то весёлое, а иногда и горькое озорство. ...В 1918 году Николай написал шуточную поэму “Уржумиаду”, в которой фигурировали товарищи по реальному Борис Польнер, Николай Сбоев, я, а из гимназисток Нюра Громова (моя пылкая и безответная любовь) и Шурочка Шестоперова. Поэма не сохранилась, и я, к сожалению не помню даже отрывков из неё.

...К 1919 году ... относится наиболее близкая дружба наша с Николаем. Мы виделись почти ежедневно. Чаще всего я приходил к нему на так называемую “ферму” (опытная сельскохозяйственная станция), где работал и жил отец его Алексей Агафонович. ...Там можно было говорить и спорить о жизни, философии, о литературе вообще, а главным образом о поэзии. ...В клубах табачного, в основном махорочного, дыма мы с Николаем читали друг другу свои стихи, критиковали их, осуждали, восторгались и снова осуждали. Из посвящённого мне стихотворения Николая помню:

...В темнице закат
золотит решётки.
Шумит прибой,
и кто-то стонет,
И где-то кто-то
кого-то хоронит,
И усталый сапожник
набивает колодки.
И человек паладин,
Точно, точно тиран
Сиракузский,
С улыбкой презрительной,
иронически узкой
Совершенно один,
совершенно один.

Мне это стихотворение очень понравилось, особенно последние четыре строки. Оно накидывало на меня романтический плащ. Но Николай мог быть иногда и коварным другом. Нельзя было распознать, когда он говорит серьёзно и когда подсмеивается над тем, кому посвящает свои творения.

В то же время, в начале 1920 года, Николай написал своего “Лоцмана”, стихотворение, которое он очень любил и считал своим большим и серьёзным достижением.

...Я гордый лоцман,
готовлюсь к отплытию,
Готовлюсь к отплытию,
к другим берегам.

Мне ветер рифмой
нахально свистнет,
Окрасит дали
полуночный фрегат.
Всплыву и гордо
под купол жизни
Шепну богу:
“Здравствуй, брат!”

Стихи были характерны... С этим настроением мы вступали в жизнь и на меньшее, чем на панибратские отношения с богом, не соглашались”.

В ту пору слово Бог не писали с прописной буквы. А панибратство, конечно, было в моде. Увы... Оно и сегодня по-прежнему... Иногда... Но вернёмся к письму М.Р.)

В Москву они уехали по предложению двух уржумских учительниц – Нины Александровны Руфиной, кажется, преподававшей литературу в классе Заболоцкого, и Екатерины Васильевны Левицкой, преподавательницы как будто естественного в женской гимназии Уржума или в городском училище. Они уехали в Москву прежде Заболоцкого и Касьянова и подыскали им квартиру даже в Москве.

Как-то на одном вечере домашнем (уже там, в Москве) был затеян конкурс на быстроту сочинения четверостишия о любом человеке из присутствовавших на вечере. Победителем оказался Николай Алексеевич – он быстро сочинил необидную эпиграмму:

Ваша чудная улыбка
Есть улыбка Саламбо.
Вы – прекраснейшая рыбка,
Лучше воблы МПО.

То есть Московского потребительского общества...

В Ленинграде в 1925 году Николай жил в обществе случайно объединившихся в одной мансарде на Петроградской стороне людей, из коих трое были из Уржума: некто Резвых, Н.Заболоцкий и Николай Сбоев, наш с вами одноклассник. Его перу принадлежит в сборнике небольшой, но интересно, оригинально написанный очерк “Мансарда на Петроградской”.

...Вторую половину 30-х и первую 40-х годов Заболоцкий был в заключении в Караганде и на Урале. Там он начал свой знаменитый теперь перевод “Слова о полку Игореве”, считающийся лучшим среди других переводов.

По возвращении в Москву он стал писать лирические стихи, они общепризнаны теперь как произведения большой художественной силы.

У нас в Кирове с младенчества живёт и работает поэт и фольклорист Леонид Владимирович Дьяконов (я о нём не раз публиковал свои статьи, очерки, рецензии). Он – двоюродный брат Заболоцкого по матери, урождённой Дьяконовой (из Нолинска). Не так давно Дьяконов зашёл ко мне со своей двоюродной сестрой Натальей Алексеевной, которая приходится родной сестрой поэту. Она сказала, что давно хотела со мной познакомиться, но всё как-то не решалась прийти одна. И вот пришла с двоюродным братом, моим приятелем с юношеских лет. Она многое мне порассказала и ещё обещала рассказать о своём талантливом, но безвременно ушедшем брате.

...Скоро опять новый год... В старости уже нет того оживления, тех мечтаний и надежд. Всё уже пережито, перегорело в душе, обратилось в прах и пепел. Ждать нечего – годы не льстят надеждой... Это ещё не пессимизм, но всё-таки реальность. Живёшь уже больше интересами детей, внуков и друзей.

Ну, будьте здоровы и счастливы. Ваш старый товарищ М.Р.”

Как эти письма попали к матери? Только так, видимо: дядя Миша послал ей когда-то давно. Ещё одна краска... Стародавняя уржумская жизнь... старые, давно ушедшие люди... Дядя Миша, дядя Володя... Десяносто лет назад, летом, братья приезжали из Уржума домой. У отца в большом амбаре на втором этаже завели библиотеку, где сосредоточились чуть ли не все русские классики. Мать моя девчонкой любила туда уходить, чтоб вдоволь начитать. Была наряжена в красное платье и чёрные чулки, а потому братья доводили до слёз: «На чёрных лапах красный гусь! На чёрных лапах...» Любили придумывать дразнилки. Например, начнут нараспев говорить: «Маня лапши хо-о-очет!» Если начнёт плакать, продолжают: «Маня из-моро-о-оза!» Из какого-такого «мороза»? Теперь уж не спросить... Поэтому она не грустила, когда братьев на зиму снова увозили в Уржум.

Впрочем, вот её воспоминания.

МАТЬ

“Детство моё – как у всех деревенских детей. Ничем я среди сверстников не выделялась ни одеждой, ни обувью. Только, пожалуй, была немножко поразвитей других, потому что сестра Анна училась в гимназии, братья – в реальном училище, а посему в доме было много книг. Когда ещё в малышах ходила, старшие приезжали на каникулы и читали мне сказки Пушкина, Андерсена. А потом уж и сама читала много. У нас были полные собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Жуковского – огромные фолианты.

Читали все братья и сёстры, даже сестра Саша, которой было не до книг – с детьми и хозяйством. Помню, как она, бывало, правой ногой крутит колесо самопряхи, левая нога в петле от зыбки (люльки) – ре-

бенка качает, левой рукой тянет нитку от кудели, правой тоже помогает, а рядом на скамейке лежит открытая книга, в которую сестра как-то ухитряется заглядывать. Так было, когда она жила с нами, вернувшись с маленьким Шуркой из Верхотурья. Шура года на три меня моложе, только умер рано – чуть за шестьдесят. Такой вот племянник (мама родила меня последней почти в 46 лет).

В соседях были девочки одного со мной возраста: Лиза и Груня. Это были первые мои подружки, теперь их давно нет в живых. Потом я стала бегать к девочкам и за несколько дворов от нас – к Нюрочке Егоровой (по деду Егору), к Насте Никишиной, Насте Тимофеевой, Мане Романовой (всё это по именам их дедов). Из них осталась в живых только Маня.

Летом мы больше бегали по лугам: то за щавелем, то за диглями (теперь уж не спросишь, что за «дигли» – мамка сама недавно померла; у Даля в словаре есть «дигол» – валериана, мяун, кошкина-трава, земляной ладан), то по речным буграм за ягодами, а ранней весной в маленький лесок (назывался Конюховской ленточкой – тянулся лентой по речному бугру) за сосновыми кашками или за сивергой – красненькими ягодками на ёлке (будущие шишки). И всё это мы отправляли себе в рот. А потом бежали купаться в речку Мазарку. Когда мы были совсем маленькие, то купались только в глубоких (по нашим понятиям) местах, там и плавать научились. А потом стали купаться в пруду. Но это уж когда совсем подросли – лет в 11-12.

Лет с восьми нас просто так бегать-играть не отпустили в будние дни, а давали работу. Первая работа, которую поручали девочкам, – сучить шерстяную пряжу (взрослые нарядут шерстяные нити, соединят их в две вместе, а нам надо было их ссучить на веретене). Это лет в восемь-девять. Потом лет в девять-десять нас научили вязать, и мы, подружки, собирались летом у кого-нибудь в тенёчке с вязаньем. К зиме надо было навязать варежек, чулок, носков из шерсти. Обычно тут же сидели две-три женщины с работой: кто вязал, кто шил вручную. Это было днём, а вечером разрешали нам собраться поиграть. Играли в горелки, в лапту, в чижику, в догонялки. В праздники были хороводные игры и песни.

В нашем конце обычно собирались на поляне возле Потапычева лога (рядом с логом жили Потаповых две семьи). Лог – глубокий овраг, пересекавший поперек улицу; через него был проложен мостик. А в дальнем конце собирались около Каменного лога; он был особенно широк и глубок, и тоже поперёк улицы выходил к речке. Весной по этим логам в Мазарку стекали бурные потоки. После Троицы парни и девушки ходили и в соседний починок Лебедёвский. И пели песню:

Зыбом, зыбом тонки доски,

Тонки доски дубовые.

По тем доскам...

По тем доскам... Забыла уж, как дальше...

В Лебедёвском я закончила четыре класса, а после уржумской девятилетки с педагогическим уклоном стала учительницей. За год до окончания школы исключили из комсомола – за то, что моя подружка Феничка Куклина сочинила озорные стишки про нашего учителя-коммуниста, а я не оказала на неё правильного влияния. Её вообще выгнали из школы...

Как бы то ни было, девять классов я закончила и получила аттестат. Брат Владимир пригласил к себе в Москву – он к тому времени окончил Тимирязевскую академию, был женат, работал и учился в аспирантуре. По его совету я сдала экзамены и поступила в Битцевский техникум семеноводства (под Москвой). Он готовил работников среднего звена для опытных сельскохозяйственных станций. Училась я хорошо, с интересом, получала стипендию. Родители мне денег не посылали, брат тоже не давал, и я на каникулах подрабатывала то в прачечной техникума, то на летнем ремонте учебных помещений. Домой ни разу за полтора года не ездила. Жила в общежитии техникума, была очень скромной в своих запросах. Носила хлопчатобумажный костюм «юнг-штурм» – гимнастерка и юбка цвета хаки. Ремень с португеей через плечо. Никаких украшений. Короткая стрижка. Обувь на низком каблуке. Так одевались почти все девочки нашего техникума. На вечерах не танцевала – не хотелось. Как-то полдня был у меня в гостях будущий мой муж Ваня Степанов. Был проездом в Москве. Он получил в уржумской школе специальность счетовода кредитных товариществ и уехал с другом в Новосибирскую область. Помню, мы с подружкой приходили на пристань их провожать. (Мне отец рассказывал, как они с приятелем на последние деньги купили для пущей важности толстых сигар – и дымили, лежа на полках в вагоне, а приехали в Новосибирск голодные, как волки. – Борис.)

Селекционером мне стать не удалось, потому что кто-то прислал в Москву донос, что я дочь «кулака»... Припомнили отцу его жнейку-лобогрейку да колёсную мазь с керосином в чулане. Я писала письма домой, а на них – обратный адрес. Из техникума в Битце меня выгнали. Отец в это время был в Москве у Владимира, и они на семейном совете решили отправить меня к брату Михаилу на Урал. Собрали мне рюкзачок (не чемодан, так я сама захотела – решила, что удобнее), положили туда «рубяху с перемывахой», пальто, туфли. Жена Володи отдала свои высокие ботинки (почти до колен, на французском каблуке). Кажется, даже простыню положили. Дали денег на билет. И вот я поехала зимой тридцатого года в северный таежный уральский посёлок Кытлым к брату Михаилу. Там работали драги, мыли золото.

Своё путешествие в поезде не помню. От станции Ляля пришлось ехать на лошади, в мороз... Переночевала у Михаила и чуть ли ни на следующий день он меня отправил обратно в Лялю. Местный совет меня послал в лесной посёлок (три километра от станции) – учительницей. Жильё дали на холодной половине дома, которая отапливалась железной печкой-буржуйкой. В посёлке только дети да старики, а все трудоспособные граждане в лесу, на лесозаготовках.

В школе на четыре класса (около двадцати ребятшек) я одна. Никогда не учила детей, хотя в свидетельстве об окончании школы второй ступени было записано: имеет право самостоятельно работать учителем начальных классов. Так всё навалилось: уроки в четырёх классах, холодное жильё, абсолютное одиночество, заброшенность, какая-то беспомощность... Я настолько растерялась, что меня совершенно покинуло чувство самообладания. Утратила чувство долга... Ведь я нужна была этим ребятам, хоть чему-то их могла научить... Лучше всё-таки вот такая учительница, чем никакой... Одним словом, кончилось всё тем, что я смалодушничала, продала хозяйке шубёнку и валенки (стоял на дворе март) — и отправилась... в Алма-Ату.

Почему туда? В кармане у меня лежало письмо, написанное братом Володей своей однокашнице, с которой он недавно учился в академии – Морховой Анне Никифоровне. Там была просьба помочь сестре Марии, то есть мне, в устройстве на работу.

Страх не было, хоть и ехала к незнакомым людям, в чужие далёкие места. Это теперь страшно вспоминать, как я туда ехала. Годы были тяжёлые, в стране опять началась революция – на этот раз целенаправленно занялись крестьянством. От Ляли добралась до Екатеринбурга (тогда он уже был Свердловск), потом до станции Кинель Оренбургской железной дороги. Затем до станции Луговая и, наконец, по только что проложенному Турксибу до Алма-Аты. Везде приходилось подолгу ждать, спала в сидячем положении на грязных вокзалах, ехала в вагонах со сплошными нарами – вповалку с кем попало. Что ела и ела ли вообще что-нибудь – не помню. Хорошо, что багаж – мой рюкзак – не обременял меня. Но вот сейчас вспомнила: в рюкзаке лежало шерстяное одеяло и даже небольшая подушка. На нарах это годилось. Люди в то время ехали, видимо, хорошие. Одни ехали семьями, другие поодиночке (коренные крестьяне лет сорока-пятидесяти) держали путь в Среднюю Азию, чтобы найти там работу, а потом вызвать к себе семью. Одинокую девчонку, вероятно очень несчастную на вид, никто не обижал. Незадолго до прибытия о чём-то разговаривали с парнишкой, который лежал на невысокой перегородкой. Коротали время. В пункте назначения еще никакого вокзала не было. Стояли какие-то юрты-временки с работниками станции. Транспорта никакого. Мы с паренёком зашли в одну из юрт, там копошились женщины, кажется, у каких-то котлов, сейчас не помню. Или то была прачечная, или кухня. Мы оставили у них свои вещи и отправились в город. До города дошли вместе, а потом я пошла разыскивать свою НАДЕЖДУ, а он – свою.

Разыскала я быстро, принята была тепло. На следующий день съездили с ней за рюкзаком, и Анна Никифоровна повела меня устраивать на работу. Она была старшим научным сотрудником на сельскохозяйственной опытной станции (садоводческой). Первые дни жила у неё. Упокой, Господи, её добрую душу...

Меня взяли практикантом по садоводству. Определили в один из садов, принадлежавших станции. Он был отобран у садовода Моисеева, так и назывался: Моисеевский сад. Там стоял большой дом, где жил сам старик Моисеев с семьёй (почему-то его не выселили). Тут же небольшой двухэтажный дом, куда потом поселили меня (на первом этаже жили мужики-сибиряки, работавшие в саду). Мне было поручено вести фенологические наблюдения. Кроме того, занималась учётом – записывала, какую работу и за какое время делают рабочие. С этой же задачей ходила в соседние колхозы, вела учёт работы женщин-сборщиц ягод, заполняла особые карточки, которые зимой обрабатывали сотрудники станции, выводили нормативы. Были, конечно, и другие практиканты-учётчики.

К тому времени заскучал без меня мой Иван Трофимович, послал письмо в Соколовское, откуда его переслали мне. Он работал тогда в Мирзагуле (под Ташкентом). Я ему написала из Алма-Аты. И вот однажды я была по делам в городе (жила-то километрах в четырёх от него), проголодалась и пошла в столовую. Она стояла на горе, туда вела лестница – метров двадцать шириной... Поднимаюсь я по ней, а из столовой спускается Ваня. Подкрепился и решил отправиться на поиски Маши Марковой.

Было это в апреле или мае всё того же 1930 года. Пошли ко мне, куда же ему деваться-то? Стали мы с ним жить-поживать муж да жена. Он стал работать в республиканской конторе Госбанка, одновременно учился на курсах главных бухгалтеров для районных отделений банка. Вдвоём стало жить веселее. Только голодно было. Меня подкармливали сердобольные женщины, когда я вела свои наблюдения в колхозах. Позднее появились в саду яблоки, груши, сливы, их можно было кушать сколько хочешь – с хлебом. Мой Иван брал их с собой на работу. У соседей покупали молодой картофель. На базаре купили бараний курдюк, где-то даже ухитрились купить рис (вероятно, тоже на рынке).

На нашем втором этаже были две комнаты, в одну из них подселили соседей. Приехал с русской женой какой-то американец шоколадного цвета (мулат?). Он считался научным сотрудником станции и занимался тем, что ездил с рабочими в горы корчевать дикую яблоню. Зачем? Не знаю. Видимо, там хотели посадить культурные сорта. Так вот, его жена научила меня варить плов. А он учил английскому языку. Правда, они как-то быстро исчезли с опытной станции. Мы из этого дома позднее тоже переехали в город, так как Ивану было далеко ходить на работу (семь километров в один конец – из предгорий Алатау, почти от Медео).

Приезжал свекор Трофим Иванович с доченькой Сашенькой-Шурой. Пытался найти работу, ненадолго устроился подручным печника, а Саша — в мастерскую, где шили шапки. Жила она вместе со мной в саду, пока Иван был в командировке. Каждый день вместе с соседской дочкой отправлялась на работу в город. А Трофим Иванович снимал угол в Алма-Ате, ему трудно было ходить так далеко. Я им помочь ничем не могла, поскольку сама зарабатывала гроши. Потом Саша вернулась в Уржум, поступила там секретарём в суд, вышла замуж, родила сына и дочь. И умерла, простудившись при постройке дома в 1941 году (заболела туберкулёзом). А муж её всё-таки вернулся с войны... Детей воспитывал вместе с сестрой и бабушкой. Тамара и Николай сейчас, конечно, уже пенсионеры, Тамара иногда пишет нам письма.

Трофим Иванович нашел нам маленькую избушку с большой русской печью в городе, где мы жили до отъезда. Свёкор скоро уехал в Новосибирск, а потом вернулся в Уржум. Здоровье у него было никудышное, он ещё в германскую войну был травлен газом (артиллерист, старший фейерверкер), кашлял, перед новой войной сильно простудился и от воспаления легких умер в ноябре 1940 года.

Иван зимой ездил в командировку на Западный Алтай, ревизовал отделения казахского Госбанка с ноября 30-го по февраль 1931 года, четыре месяца. (Туда в 1938 году приехала работать Елизавета Дмитриевна, мать моей Марии, там познакомилась со своим Кириллом Ивановичем – мир тесен... Там же, в Усть-Каменогорске, в конце 80-х вышли мои тезисы «Идеальное: три аспекта»... Перед смертью в реанимации – лежал с инфарктом миокарда – отец вспомнил эту командировку, когда я ему сказал: с куревом, мол, придется кончать, когда выпишут из больницы... «Да, — говорит, — буду жевать насвай, как казахи на Алтае... А как на улице? Гололед? Ты только, Боренька, не поскользись»... В реанимации мне дежурить не разрешили. Я и ходил-то туда по пропуску, который мне выписали в другое отделение... А утром позвонил врач и сказал, что ночью он помер. Каждый вечер у него начинались приступы, соседи звонком вызывали дежурного врача. Перед смертью всё звал: ма-а-ать, ма-а-ать... Так он называл свою Марию Михайловну, любимую женушку, с которой прожил на земле сорок семь лет. Ушел, а мы остались на холодном льду: «Ты только не поскользись». Уже четверть века лежит у меня его портсигар с папиросами «Север». Среди них – одна наполювину выкуренная папироска: когда я повёз его на такси в больницу, он не утерпел и выкурил у порога, потому что, мол, в кардицентре всё равно вылечат.

Недавно нашёл письмо детской подружки моей матери, тоже Марии. Она была врачом, жила в Смоленске. Письмо написано вскоре после смерти Ивана Трофимовича: «Я не пойму, почему ОЗ так скоро от вас уехал. Почему не вызвал на себя кардиологическую бригаду? Видимо, смутило высокое давление? При инфаркте обычно давление снижается. Но всё равно врач ОЗ должен был снять болевой синдром в области сердца с иррадиацией (в лопатку и плечо). Свердловск – это не Смоленск! Почему так получилось? Непонятно! Мы – линейные бригады – поступаем так: если не снимается болевой синдром, то вызываем к себе кард. бригаду, которая снимает электрокардиограмму. Она покажет: если инфаркт, то везет в больницу, не взирая на то, есть или нет там свободное место. Для инфарктных больных всегда место находят! А как у вас? Почему такая медлительность в поведении ОЗ и участкового врача? Я не знаю и понять не могу.

Видимо, у Вани, в его состоянии, что-то было непонятное в диагностике. Бывает, к сожалению... Я уверена: если бы кто-то из врачей заподозрил инфаркт, то сразу же госпитализировал».

После драки, конечно, поздно кулаками махать. Это Мария в конце концов позвонила знакомому врачу и договорилась, что я привезу отца на обследование. Но никакого обследования не понадобилось. Врач послушала сердце – и сразу же отправила батю в реанимацию. Но, видимо, время было упущено. — Борис.)

Потом Иван Трофимович окончил курсы главных бухгалтеров отделений госбанка, и мы уехали в Северный Казахстан, куда забрали позднее «раскулаченных» отца с матерью (им было уже под семьдесят) и брата Ивана. Помню, как ехали на быках из Кокчетавы в село Володарское, где потом родились Галина и Евгений. Жарко, яркое солнце на безоблачном небе, быки бредут еле-еле, а мы с Ваней сидим в телеге на сене и в дурака играем. На головах колпаки из газетной бумаги. Мимо казах — тоже на быках. Наш возница кричит: где был, чего видел? — «Казгородок телеграмма кельды!» («В Казгородок телеграмму возил!»). Мы прямо покатались со смеху — телеграмма на быках!

Степь, жаркое солнце, молодость...

Волю шли довольно ходко, 60 километров преодолели к вечеру. Переночевали в каком-то сарае, а днем Иван Трофимович оформился на работу. Сначала жили на частной квартире, а потом банк купил дом для своего главбуха. Там были две комнаты и летняя кухня, сарай для скота, погреб, баня и большой (соток пятнадцать) огород.

Когда мы там обосновались, я поехала за родителями, которые к тому времени должны были переехать из Кытлыма к Михаилу в Миасс. Однако их ещё не было (остались распродать хозяйство – корову, свинью), а Михаил с детьми собрался к родным своей жены Надежды Васильевны Теплых в Буйское. Поехала и я с ними до Уржума – к родителям Вани. С его мамой Агафьей Федоровной это было первое знакомство. Добрая, хорошая была женщина, царство ей небесное! Жили бедно, на нижнем этаже бывшего своего дома – в пекарне. Их «раскулачили» просто за то, что они числились кустарями (пекли пряники и сушки, сами, без наёмного труда). Дуся и Гена были ещё очень маленькие, Евгения постарше, а Михаил – уже школьник (он потом год жил у нас). Мише впоследствии удалось закончить десятилетку и поступить в педагогический институт, а Женя после семилетки окончила школу фармацевтов. Агафья Федоровна после войны жила то у Михаила в Волгограде, то у Жени в Перми. От тяжёлых жизненных потрясений у неё произошло частичное кровоизлияние в мозг, к концу жизни отнялась речь, могла питаться только жидкой пищей. Похоронена за Камой, в Гайве, на том же кладбище, где позднее упокоились Евгения Трофимовна с мужем своим Георгием Павловичем Польшгаловым. Их сын Юра, которому нынче исполнилось пятьдесят, иногда пишет нам письма. (Я с ним знаком с 53-го, когда с отцом-матерью мы перебирались из казахских степей в Прикамье. Ему ещё и годика тогда не было. Иван Трофимович наш искал работу, и мы жили-поживали у тёти Жени в Гайве, рядом с возводящейся плотиной Камской ГЭС. Эта плотина меня совсем не интересовала, я ходил с другим своим маленьким двоюродным братцем Володей купаться на речку Гайву – через липовый лес. Липу я до того не видел...

Все семейные беды и несчастья почему-то текли мимо меня, воспоминания детства полны ощущений света, солнца, счастья. Потом Юра гостил у нас в Коуровке, и даже позднее – в Екатеринбурге. Мы с ним

вместе ходили в универмаг покупать для Юльки коляску в июле 66-го. Зелёную простенькую коляску. Он сделал снимок: счастливый отец в лёгкой рубашке, коляска, набережная городского пруда, свет, солнце, счастье. – Борис.)

...Погостила я в Уржуме, а потом с каким-то попутчиком на лошади поехала в Соколовский к сестре своей Саше. Она с мужем Александром Николаевичем работала в тамошнем колхозе. Он потом и увёз меня на лошади до пристани Цепочкино, где уже поджидал Михаил с семьёй. Добрались на пароходе до Вятских Полян, а затем на поезде вернулись в Миасс, где застали мать Александру Васильевну. Мы с ней вдвоём отпраздновали в Казахстане, она в те годы была ещё бодрая и крепенькая старушка.

...Тридцатые годы мы прожили спокойно. Благодаря тому, что все-таки сумели получить образование. И русские, и украинские крестьяне тогда умирали сотнями тысяч, и казахи... А мы, беженцы из родных мест, здесь, в Казахстане, пережили беду. Я была учительницей. В клубе даже устраивали спектакли, два моих Ивана выступали актёрами, а меня посадили суфлером. В ноябре 1931 года родилась у меня Галина, а в 33-м – Евгений. Почему-то запомнила фамилию акушера, принимавшего обоих – Региня. Послеродовой отпуск был тогда двухмесячный, пошла работать секретарём районного отдела народного образования, а в следующем учебном году – заведующей начальной школой, учительствуя при этом в третьем классе. Жилось в Володаровке очень спокойно. Родители вели хозяйство, отец даже купил корову. Уход за коровой, огородом, заготовка продуктов – всё это было заботой отца. Мама готовила еду, смотрела за детьми. Конечно, я тоже помогала во всех делах. Иван Михайлович с Иваном Трофимовичем частенько отлучались в клуб. Что ставили там на сцене, сейчас уж не помню. «На дне» Горького – точно. Иваны, кроме того, иногда по вечерам уходили к приятелям-преферансистам.

Родителей тогда никакие особые хвори не мучили. Питание было нормальное. Овощи и картофель со своего огорода, молоко от своей коровы, яйца не купленные... Кругом лесостепь с клубникой-земляничкой. Иногда муж брал в банке лошадь, запрягал её в тарантас, и мы с ним ехали по ягоды или по грибы-грузди. Клубники привозили по три-четыре ведра, её в основном сушили, а зимой пироги с ней пекли. Иваны осенью ездили охотиться на степные озёра. Привозили уток.

Наше село раньше называлось Кривозёрное, стояло на берегу озера, где было много рыбы (покупали у рыбаков). Летом мы никуда в отпуск не ездили, конечно. Разве только году в 34-м отправились в Уржум, к родителям Вани. Брали с собой только Галю, потому что Женя был ещё очень маленький. Помню, в подарок возили две пары валенок и какую-то одежду. Родители тогда ещё жили в пекарне бывшего своего дома, было очень тесно, и мы все втроём спали на сеновале без сена. Опять побывали и у сестры Саши в Соколовском. Она с мужем и детьми оттуда уехала в 38-м – в Подмосковьё, в Ивантеевку, оставив отличный кирпичный дом со многими надворными постройками, а в амбаре – много зерна (некому было продать, все обнищали). И только после войны их сын Николай съездил в починок и продал дом.

В Ивантеевке муж Саши стал работать завхозом в детском доме, а Саша с Анатолием жили у сестры Анны (она была директором суконной фабрики). У Анны было тогда трое детей – Борис, Наталья и Ольга, да у Саши – самый младший Анатолий. Все были на её попечении вместе со всем домашним хозяйством. Анатолий к концу войны подрос и пошёл на фронт. После войны все Головизнины уехали к старшему сыну во Львов.

...Летом 35-го моего Ивана Трофимовича перевели в Щучинск, в более крупное отделение банка. Мы все уехали туда на грузовике, а отца с коровой доставил на лошади знакомый казах. Там был большой крестовый дом с двумя комнатами и большой кухней. К дому примыкала ещё так называемая веранда, только не застеклённая, с выходом во двор. Дом стоял на горе – на семи ветрах.

В первую же ночь на нас посыпались дождём тараканы (спали мы пока на полу). Я была в ужасе... Сразу мы их не смогли вывести, а потом уехали в гости в Уржум (ага, значит эта поездка была всё-таки в 35-м году), Галю взяли с собой, а родители и Женя ушли ночевать в соседи, сделав дома дезинфекцию. Такая была сильная отравка, что во дворе под террасой сдохла курица.

Жизнь пошла такая же размеренная, как в Володаровке. Со временем я стала преподавать в пятых-седьмых классах географию. Сначала сама учила её, а потом шла на урок. Учила я географию добросовестно, много выписывала журналов (помню «Советский Союз», «Географию в школе» и, конечно, «Семью и школу»). И книг пришлось много перечитать, даже курсы географов окончила на круглые пятёрки. А потом преподавала дошкольным работникам или колхозным счетоводам (это почти каждые летние каникулы).

Хозяйство опять повисло на родителях, поскольку мои вечера часто были заняты. По вечерам уходила в школу то на педсовет, то на какое-нибудь методическое совещание, то на родительское собрание. Давала уроки на курсах работников детских ясель, занималась с сотрудниками сельских библиотек...

Летом мы с Ваней иногда ездили в Москву. Или я одна. Ездили по необходимости, поскольку только там можно было купить одежду себе и детям. В школу я, конечно, отправлялась в строгой одежде (синее шерстяное платье с белым воротничком или синий костюм в английском стиле), а в гости по большим праздникам ходила нарядная. Или у себя принимали гостей. Пили в те времена немного, пьяных среди гостей не было. Дружили и с учителями школы, где я работала, и с работниками госбанка. Правда, в последнем случае семейная дружба была только с Анисьей Трофимовной Напалковой и её мужем Федором Васильевичем. Царство им небесное... Федор погиб на войне. Муж её сестры Марии Трофимовны Гудожниковой тоже погиб... Были ещё друзья Столяровы, Ишкиновы, Белоусовы. Ишкиновы – из местных семиреченских казаков.

Материально все жили более или менее одинаково, на зарплату, других доходов не было. Каждая семья имела корову, кур, больше никого не держали. Все учителя – люди порядочные, никогда друг на друга не

наговаривали лишнего. Помню, однажды учительница стала рассказывать в классе про выборы, про новую конституцию. Это, кажется, 1936 год. Были вопросы, среди которых: а можно голосовать против кандидата в депутаты? Она простодушно ответила: да, конечно... Потом нас стали вызывать в НКВД и опрашивать, как мы относимся к данному товарищу, не замечена ли она в политической неблагонадежности и т.д. (в классе был ученик, приходящийся то ли сыном, то ли братом офицеру НКВД). Все говорили только хорошее, а потому гроза миновала.

Иногда в нашем городишке появлялись ссыльные. Дочь моя Галина недавно вспомнила: «В конце со-роковых годов у нас была классной руководительницей чешка Ольга Алоизовна, которая когда-то преподавала математику в Ленинградском университете. Там однажды в 30-е годы устроили общее собрание, чтобы осудить коллегу за... наверное, за какую-нибудь «антисоветчину». А она не стала осуждать, говорит: это хороший и порядочный человек. Вот её и выкинули из университета, так что в конце концов она оказалась в Щучинске, в Щучьем, в бывшей казачьей станице. В ссылке... А мы тогда и не знали, что она ссыльная. Ах, как она нас гоняла, как загружала... Иногда приходилось всем вместе на дому собираться, чтобы решать задачи. Зато нас потом получили высшее образование. Всегда строгая, подтянутая. Мы зимой сидим в шубёнках, а она входит в класс всегда в тоненьком свитерке, всегда с белым воротничком, седая (ей уже было под семьдесят), носик остренький и на кончике – капля. Холодно всё-таки... Прямая, как струна.

В нашем классе тогда учились десять человек. После окончания семилетки все старались продолжать учебу в щучинском горном техникуме или педагогическом училище. А у нас в десятом классе семь девочек и три паренёк. Один из них – бывший офицер-лётчик Володя Ларионов. И вот он стал ухаживать за нашей крупной и красивой девушкой Нелли Калмыковой. Любовь... А она ж ещё маленькая, а Ольга Алоизовна – классная руководительница, которая несёт ответственность перед Богом и людьми за наш моральный облик. Вот она их стала строжить, проводить беседы...

Нелли пришла к нам в седьмой класс, приехала из Воронежа, где жила у подруги матери тёти Аси. Отец её был начальником железной дороги, которого расстреляли. Мать отправили в лагерь, а потом в ссылку. Там он вышла замуж за такого же ссыльного и позвала дочь к себе в этот наш Щучинск. И тут случилась любовь... Но потом... потом она опять уехала в Воронеж – учиться в лесотехническом институте. Как-то у них разладилось с Володей, который поступил в Московский геологический институт (ага, где когда-то учился Кирилл, отец моей Марии). Там вышла замуж, родила сына и дочь. Володя ей писал, что всё равно её ждёт, что готов принять её и с детьми (он, кажется, не мог иметь детей). Но... как-то всё...

Нелли стала работать в территориальном снаббците, снабжала заводы металлом... муж вроде тоже снабженец... руководил управлением... молодые секретарши и прочие соблазны... в конце концов лишился должности... так как-то быстро исчерпалась жизнь... Нелли умерла от цирроза печени. А Володя Ларионов ещё раньше во время отпуска погиб где-то в среднеазиатских горах под лавиной. Его жена потом вернула Калмыковой её письма и фотографии, написала, что он любил её, Нелли, до конца своих земных дней.

...Потом, лет через тридцать пять, я узнала, что нашу учительницу Ольгу Алоизовну году в пятьдесят втором опять отправили в лагерь – в степь под Караганду. А ведь у неё учителя одалживались, она охотно помогала деньгами. И теперь коллеги, не успевшие с ней расплатиться, стали отправлять в лагерь посылки. Да, все были порядочные люди...»

(С Галиной в семилетке учился ещё и Толя Хламов. Он жил на берегу нашего большого озера, его отец управлял домом отдыха учителей. Брат мой однажды отправился к нему в гости и прихватил с собой меня, маленького Борьку. В нагрузку? Попросил у Анатоля лодку, а мы с Хламовым остались на берегу. Он читал книжку, а я сидел на корточках у воды и пускал палочки-кораблики. Там круто в воду уходили серые гладкие камни. И вот внезапно зелёная вода сомкнулась надо мной... Толя бросил книжку и прыгнул следом. Годочков тогда мне было не больше пяти, плавать не умел. (Толя потом предлагал руку и сердце нашей Галине, но она уже была с Валентином).

Ах, какое было озеро... В 80-м году я возил туда своих детей – Юлю с Антошей (им было четырнадцать и двадцать годков). Они рты пооткрывали от восхищения. Лесистые горы и прозрачное озеро. Швейцария... Хотя к тому времени оно село метра на два. Камни, над которыми плавали в детстве, все далеко на суше. Наверное, и там, где я когда-то тонул, сейчас просто сухой песок. Впрочем, сейчас у берега уже не песок, а вязкий ил.

С кем-то я плавал однажды на лодке тогда, давным-давно, когда мне было четыре или пять годков. Смотрел за борт в прозрачную глубину, где виден каждый камушек. Дорогу к озеру однажды изобразил брат мой Евгений:

«От нашего дома и до последнего в конце улицы каких-нибудь триста метров. Заканчивается улица незаметно. Всё гуще зарастает травой и берёзами, за мартемьяновским колодцем превращается в тропинку и лезет в горку, зажатая между двух каменных стен. Одну сложило семейство Вовки Сороки, другую – старик по кличке Лысый князь. За стенами – каменистый бугор, поросший густым кустарником, в нём – валуны. Седые и шероховатые от жесткого лишайника – ногтем не сколупнёшь.

В камнях знойно и дремотно. От березового настоя, от терпкого запаха «богородицкой» травки, от сочных кругляшей заячьей капусты, от неумолчного треска кузнечиков и цвирканья птиц.

Мы припустили к озеру напрямик, самой короткой дорогой: через узловатые корни, сырые промоины, по мягкому ковру прелой хвои. И был кругом разомлевший воздух, весело вылетали из-под ног старые пересохшие шишки, пахло в тёмных логах будущими маслятами и уже поспевающей земляникой...

Последний поворот. За ним – гранитный взлобок среди молоденького сосняка. Отсюда мы летели стрелой, на ходу срывая одёжки. Последние сосны, вязкий раскалённый песок... Мы вонзаемся в стылую синь и приходим в себя только в метрах тридцати от берега... Вокруг – макушки, кругом хохот, крики и блаженный визг.

Наплававшись до одурения, до синей кожи и гусиных пупырышек, мы перебрались на камни возле Круглого. Гладкие, будто отполированные, они, эти огромные голыши, нежили кожу и с минуту грели, как утюги. Круглый торчал рядом среди суетливых волнишек. Мальчишки галдели в стороне, а здесь синела вода, хрипло орали чайки, бесшумно скользили ящерицы и цвенькали пичуги. Под эти звуки бездонное небо отступало, отлетало ввысь, подёргивалось над головой белесой паутинкой и рождало тихий звон не то в поднебесье, не то в ушах. Он кружил голову и связывал глаза дремотой».

Однажды мы всей семьёй шли с озера домой. Летом сорок шестого? Сорок седьмого? Мне четыре или пять годочков... И так меня сморило, что отец взял на руки. Ах, как я был ему благодарен – потому и запомнил. Эти последние триста метров – от леса к дому... Упокой, Господи, душу отца моего Ивана, прости ему согрешения вольные и невольные, даруй Царствие небесное.

Реки усыхают, озёра мелеют, люди умирают... «Человек, рождённый женою, краткодневен и пресыщен печальями. Как цветок, он выходит, и опадает; убегает, как тень, и не останавливается. ...Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает. Так человек ляжет и не встанет; до скончания неба он не пробудится, и не воспрянет от сна своего» (Иов. 14, 1-2, 11-12).

Мария сказала однажды: как быстро... А я изрёк ей в ответ холодную японскую мудрость: стократ благороднее тот, кто не скажет при вспышке молнии – вот так же и наша жизнь. Она ещё тогда не заболела смертельной болезнью. Потом-то с меня эта японская мудрость слетела, как шелуха. Конечно, жизнь наша менее всего похожа на молнию... В ней столько всего... Но как быстро... как быстро разжимаются руки... останавливается взгляд... навсегда. Соедини нас, Господи, навсегда в свете Твоём... невечернем. В тихой радости и любви... Когда я исполню свой долг на земле.)

Наши дети... Лет с пяти Галя стала ходить в садик, а Женя оставался дома с дедом и бабушкой. В 37-м году он заболел скарлатиной, Галю сразу же отправили на время его болезни к нашим друзьям Столяровым. Анатолий Антонович был директором школы, а Варвара Федоровна – учительницей в начальных классах. У них была дочка Верочка, года на два постарше Гали. Перед войной они вернулись к себе на родину в Ульяновскую область, и оба рано ушли из жизни.

Женя болел очень тяжело, с высокой температурой, осложнением на уши. Пришлось даже свозить его на машине в Кокчетав к специалистам, а летом того же года возили его в Омск на консультацию к ушному врачу. Но воспаление среднего уха было очень серьёзным, слух ухудшился на всю жизнь.

Галя была очень послушная девочка. Как она сама вспоминает, её очень любил дед, а бабушка – Женю, очень его баловала. А он рос «вольный казак», и эта воля ему иногда дорого обходилась. То прицепится железным крючком к грузовику, так что в результате страдают ноги. То... Однажды бегала куча детей по двору, заскочили к нам в дом, Женя схватил ружье со стены, играючи направил на девочку. Хорошо, она отскочила в сторону... Отец после охоты забыл достать патрон, давший осечку. Заряд угодил в постель, стало тлеть одеяло. На выстрел прибежали дед с бабушкой – перепугались больше детей. А сам он умчался на огород, где спрятался в дедовом шалаше из конопли. А бабушка потихоньку говорит деду: «Ты уж его не наказывай...»

У Жени был детский педальный автомобиль, и вот дети на нем под горку носились – по камням, с грохотом. А его приятель Вася Пономарёв с той же целью вытаскивал со двора телегу. Он был лет на пять старше Евгения, прыгал на одной ноге с костылем, а потом – на деревянной ноге. Потерял ногу тоже из-за детского баловства с охотничьим ружьём. Он был лучшим другом Жени в его раннем детстве.

Дома сын не любил сидеть, и дед, намаявшись с ним, иногда даже привязывал к ножке кровати за ногу.

Боря родился во время войны, старички были уже слабенькие, мама в 44-м году умерла, и он всё время был с дедом (последние три его месяца в этом мире). Спал днём в большой коляске (длинная корзина на колёсах), ставили её к дедовой кровати, и я уходила в школу. Больной дед ещё находил в себе силы петь какие-то колыбельные песни, а Боря их, видимо, очень любил. Стоило деду замолчать, как он пищал из своей корзины – пой!

У кота-воркота
Была мачеха лиха.
Она била кота, приговаривала:
«Не ходи-ка ты, кот,
По чужим по дворам,
Не качай-ка ты, кот,
Чужих детушек.
Приходи-ка ты, кот,
Моих детушек качать.
Я тебе-то коту
За работу заплачу:
Дам кусок пирога,
Да стакан молока.

Да стакан молока, ситничка-решетничка...»

Пел дед и про ветер:

Ветер, ветер, ты могуч,

Ты гоняешь стаи туч,

Ты волнуешь сине море...

И ещё:

Уж ты котик-коток,

котик серый лобок,

где ты, котик, ходил,

где ты, серый, бродил?

Ходил котик на погостик

родителей поминать,

родителей поминать,

себе брюшко набивать

пирожками, блинками,

молоком да творожком...

Молоком да творожком,

ситничком, решетничком.

Или вот так:

Баю-баюшки-баю,

зыбаю-позыбаю,

зыбаю-позыбаю,

отец ушёл за рыбою,

дедушка – дрова рубить,

баба – печку топить.

Баба печку топить,

мама кашку варить...

Мама кашку варить

да и Бореньку кормить.

Кашка масляная,

ложка крашеная.

Или:

Байки-побайки,

матери – китайки,

отцу – кумачу,

брату – пуговицу,

сестре – луковицу...

Ситник – это хлеб из муки, просеянной через сито. Решетник – если мука просеяна через решето. «Зыбаю» – от слова «зыбка». Это люлька, которую подвешивали к потолку на шесте, а потом – на пружине. Больше из тех дедовых песенок я ничего не помню. Ему их тоже, верно, пели бабушка или дед. Его бабушку я уже не знаю, как звали, а отец его был Гавриил Титыч, мать – Аксинья Антиповна (мои дед и бабушка).

В марте 45-го он как-то неожиданно заболел и умер. Летом, ещё при жизни мамы и брата Вани, отец решил немного подзаработать, помочь семье. Пошёл в колхозную бригаду, и там нанялся ночным сторожем на току, а днём, видимо, взялся им сколько-то помогать. И как-то ему ткнули соломиной в глаз (или ость попала), глаз стал побаливать и где-то осенью – вытек. Прямо в ладонь, он на печке лежал, Гале показывает: «Что это... Глаз...»

В нашем городишке врачей не было, я отправила отца с попутчицей, своей подружкой Анисьей Трофимовной в областную Кокчетав. Там он полежал в больнице недели две, «культя» зажила, и он приехал домой. Очень тосковал по недавно умершей жене, моей матери... А в марте его не стало. Болел-то всего с неделю. Сердце... В это время вместе с нами жила девушка, работавшая в банке, – Надя. Она взяла лошадь у какого-то клиента, приехавшего в банк, и мы деда похоронили. Осталась я одна с детьми. Про свои переживания рассказывать не буду. Первое время у нас ночевала соседка Анна Васильевна Пономарёва, тётя Нюра. Добрая была женщина; упокой, Господи, её душу...»

Про нашего деда вспомнила в недавнем письме бывшая наша соседка Лидия Георгиевна Калашникова-Рейн (я написал ей о смерти сестры своей Гали): «Когда я прочла письмо, то всё померкло предо мной. Я не могла удержаться от рыдания, хоть всегда всех успокаиваю и говорю: радоваться надо, что человек ушёл к Богу. Но вот сама удержаться не смогла. И вот тебе пишу и плачу. Всю нашу сознательную жизнь мы с Галей не оставляли друг друга вниманием. И Мария Михайловна всегда мне писала, как родной дочери. Я по природе стеснительна, но они меня всегда поддерживали и не давали замкнуться. Семья наша была очень бедная, а бедных не очень к себе кто приговаривает. А они нас не оставляли. Очень добрый был у тебя дедушка Михаил, царство ему небесное. Это была сама доброта, он всегда нас, детишек, защищал. Я его очень хорошо до сего времени помню.

От Гали последнее письмо получила в апреле – поздравила с Пасхой и просила меня порадоваться вместе с ней, что она выполнила данное тебе обещание: исповедалась и причастилась. Теперь мы за неё спокойны, Господь примет её как своё чадо».

Вспомнила деда Михаила и другая наша стародавняя соседка Зоя Яковлевна Красноусова (в девичестве Рыбинцева). Она приезжала к сыну под Екатеринбург, на озеро Чусовское. Мы с ней немного «посидели», вспомнили прошлое. Её отец был казнён в 1937 году («репрессирован»), мать потом вышла снова замуж, а Зоя жила у бабушки. Говорит: деда Миша всегда жалел меня, сиротку... всегда сунет в руку что-нибудь вкусненькое. Теперь думаю: а чего там в войну у нас было вкусненького? Жмых, кусочек лепёшки? Впрочем, дед знался с ребятами и до войны, и довоенный наш дом на горе был для всей окрестной детворы – «свет в окошке». Зоя запомнила на всю жизнь наши новогодние ёлки со свечами на ветках (я помню только одну послевоенную, потому что до войны меня ещё не было на земле).

Кстати, она, Зоя, была в числе главных действующих лиц... тогда... на заре... когда чуть было не погибла. А самым главным действующим лицом стал шустрый брат мой Евгений, маленький Женька. Вот как он сам это описал: «Я слонялся по комнате, не зная чем заняться. Читать не хотелось, обедать – тоже... В эту минуту я и увидел за печкой-голландкой батино ружьё. Обычно он сразу же чистит, смазывает его и убирает в чехол. На этот раз, видимо, здорово торопился. Я вытащил тулку. Она ещё пахивала порохом. Курки щёлкнули: цок! цок! Один и другой.

«Порядочек! Иначе и быть не может, - мне бы переломить стволы и проверить «на свет», но я слишком торопился шугануть девчонок. – Пляшете? Сейчас вы у меня побежите!»

Дедка всегда повторял, что раз в году и палка стреляет. Повторял и вдолбил мне это простенькое правило, да вот... Я толкнул дверь ногой и поднял ружьё – ноль внимания! Девчонки продолжали отплясывать, это обозлило вконец: «Ну погодите же!»

- Кончайте базар, а то как жажну из обоих!

Кларка показала язык – палец нажал на спуск. «Цок!» – щёлкнул курок. Наверное, только я и слышал его. «Побольше твёрдости и уверенности – иначе не поверят!»

- Последний раз говорю! Этот ствол заряжен! – крикнул я, не зная, что в стволе заклинило гильзу и что патрон у бати раз за разом давал осечку. Стволы усталились на Зойку. Она подумала и отшла к стене. Скорее инстинктивно я отвёл ружьё в свободное пространство и снова нажал на спуск...

...Вдребезги!

Стёкол в окне как не бывало, девчонки – куклы с разинутыми ртами, а перед моими глазами кружатся перья из простреленной подушки, в нос шибает кислая пороховая гарь и вонь палёных тряпок. Совершенно белая Зойка вдруг покачнулась и грохнулась на пол. И тогда Кларка завизжала. Я очнулся от столбняка, швырнул ружьё на кровать и едва не сшиб дедку. Тот пытался загородить дверь: «Что за пальба?!» Я шмыгнул под руку, скакнул в сени, выкатился во двор и сиганул через заплот» (Е.И. Степанов. Песочные часы // Голубой омар. Повести. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1989). Мать вспоминала: он убежал и спрятался в конопляных снопах, кои дед сложил шалашом в огороде. А бабушка Саша спрашивает: ты уж его не ругай... он и без того испугался...

В той своей повести Женька учился тогда в шестом классе, но на самом-то деле... На самом деле ему было лет семь.

РАСКРЕСТЬЯНИВАНИЕ

Недавно мать вспомнила, как расставалась с отцом своим Михаилом Гавриловичем еще в Москве. Он тогда приехал к сыну Владимиру, аспиранту тимирязевской академии. Весной 28-го Гаврилыч отсидел два месяца в уржумской тюрьме («за сокрытие хлебных излишков»; потом, в начале 30-х, эти «излишки» так выгребли господа с винтовками, что люди целыми сёлами вымирали на Украине и в Поволжье). Тогда же приехали и увезли его двухэтажный амбар с библиотекой в соседний починок, где прогрессивные селяне организовали колхоз. А теперь вот стояла зима 1929-1930 гг., младшую дочь только что выгнали из техникума за плохое социальное происхождение... Владимир тогда уже знал, что крестьянству — конец, а потому, наверное, посоветовал уезжать из деревни. Хотя, вернувшись в починок, дед и без того увидел, что дома у него теперь нет.

«Раньше лозунгом для разжигания преступных инстинктов толпы служили слова: «грабь награбленное» (у интеллигенции), а теперь крестьян стали соблазнять перспективой попользоваться добром зажиточных братьев. Одна из красивых фраз князя Львова: «Мы должны создать новую жизнь в сотрудничестве с народом» осуществилась, по-видимому, довольно странным образом: предъявлением русскому крестьянству требования — вступать в колхозы, то есть передавать личное имущество в общее пользование. Не желающие вступать в колхозы изгоняются из родного угла. Ясно, что для крестьян, которым нечего терять, такое требование правительства с руки; но есть крестьяне зажиточные, имеющие живой и мертвый инвентарь, накопленный собственным трудом. Прозвав таких «кулаками», правители СССР натравливают на них деревенскую бедноту, которая, из угождения предрержавшим властям, делает жизнь так называемых кулаков нестерпимой: под предлогом необходимости усиления колхозов у них отбирают имущество, а их самих ссылают на поселение или в лагеря на принудительные работы, заключают в тюрьмы и даже расстреливают. ...Ежедневно на глазах у голодного населения кремлевские правители отправляют за границу вагоны и пароходы как с продуктами питания, так и с различными товарами или совсем не имеющимися в продаже в СССР, или же продающимися по сказочной цене, недоступной 99% населения» (С Царем и без Царя. Воспоминания последнего дворцового коменданта Государя Императора Николая Второго В.Н.Воейкова. М., 1994).

«Когда б в стране имелся хотя бы один-единственный не униженный монах-летописец, может, появилась бы в летописном свитке такая запись: «В лето одна тысяча девятьсот двадцать девятого года в Филиппов

пост попушением Господним сын гродненского аптекаря Яков Аркадьевич Эпштейн (Яковлев) поставлен бысть в Московском Кремле комиссаром над всеми христианами и землепашцы».

Таких летописцев не было.

Сонмы иных писателей вопили о кулаках и о правой опасности. Кто был опасен и главное для кого? Троцкий покинул страну вместе с двумя вагонами награбленного, но перед тем он раскидал своих антиму-жицких идей на тысячеверстных пространствах России. ...Совсем недавно Россия давала третью часть мирового хлебного экспорта. Что-то будет теперь? Эпштейн, возглавляя сельское хозяйство великой державы, не ведал разницы между озимым и яровым севом. Конечно же, подобно младшим своим соратникам Вольфу и Беленькому, Клименко и Каминскому, Бауману и Каценельбогену, он на все лады раздраконивал и клеймил троцкистов.

Он ничего не боялся.

5 декабря 1929 года его шеф Каганович — этот палач народов — за несколько минут накидал список из двадцати одного кандидата в состав изуверской комиссии. Политбюро утвердило. И уже через три дня Яковлев сварганил восемь подкомиссий, которые тотчас начали разрабатывать грандиозный план невиданного в истории преступления.

...18 декабря комиссия уже утвердила проект постановления. В портфель Якова Аркадьевича легла уютная папка с листами, испещренными теми сатанинскими знаками, которые программировали жизнь, а вернее смерть миллионов людей. Они, эти знаки, предрекали гибельный путь для великой страны, в значительной мере определявшей будущее целого мира!

...В воскресенье 22 декабря бумаги Яковлева обсуждались в Политбюро и были раскритикованы. Сталин неожиданно оказался левее самых левых. Он сделал значительные поправки к проекту постановления ... в сторону ужесточения. ...Верейкис, Голощекин и Косиор с Беленьким оказались правее Сталина и Рыскулова! Это поистине сатанинское превращение произошло в пятницу, 3 января нового, 1930 года, а 5 января (опять воскресенье!) родилось знаменитое решение ЦК «О темпах коллективизации».

Нужно было в невиданно короткий срок разорить миллионы крестьянских гнезд, требовалось натравить друг на друга, перессорить между собой, не выпуская из рук вожжей общего руководства. И если они, эти вожжи, по каким-либо причинам не удержатся в руках усатого ямщика, что ж, тем лучше! Пускай несется, пускай летит гоголевская тройка прямо в горнило новой гражданской войны! Ведь это было бы еще интересней.

Секретные бумаги всех подкомиссий второй яковлевской комиссии объединились в единый дьявольский свиток. Продумывались и тщательно взвешивались малейшие детали и варианты. Военная терминология позволяла сочетать глобальную по масштабам пространства стратегию с тактикой частного поведения. Операции намечались с точностью до одного часа.

...С точностью до вагона, до баржи было высчитано, сколько потребуется транспортных средств, спланирована потребность в войсках и охранниках. Всех намеченных на заклание разделили на три категории. Установили минимальный от общего числа раскулаченных процент для расстрелов, то есть процент отнесенных к первой категории. Вторую категорию решено было выслать из родных мест в труднодоступные районы, третью лишить имущества и предоставить судьбе.

А на местах задолго до постановления уже свирепствовали местные, не имевшие терпения башибузуки. Уже стоял на земле великий плач — во многих местах Поволжья и Украины лились не только слезы, но и кровь» (Василий Белов. Год великого перелома. М.: Голос, 1994).

В начале XX века Георгий Валентинович Плеханов долго и утомительно объяснял Владимиру Ильичу Ульянову, что победа социализма в России невозможна, поскольку, мол, большая часть населения, а именно крестьянство (!?), всё время воспроизводит товарное хозяйство, то есть капитализм. Большевики поверили Плеханову — в том смысле, что для успешного построения социализма решили уничтожить крестьянство. Есть такой способ мышления: если жизнь не укладывается в схему — тем хуже для жизни. Правда, Бухарин из каких-то там своих соображений всё-таки говорил в 29-м году о недопустимости «военно-феодальной эксплуатации крестьянства», но...

Мать вспоминает: «Отец мой Михаил Гаврилович вернулся в свой починок Соколовский затемно, кто-то подвез на санях из Казани. Подошел к своему дому — а там (видно с улицы) заседает «актив». Пришлось отправиться к дочери Александре, куда к тому времени уже переселилась мать. Тут же решили уезжать из починка. У отца было какое-то удостоверение личности, а за бумажкой для матери съездили на лошади в соседний починок к знакомой старушке, которая недавно жила в городе в домработницах. В Вятку к Ивану увез в своих санях сын старого отца друга Степан Николаевич Волосов. А это не один десяток верст (километров двести). Увёз ночью, как воров, на сани положили маленький сундучок с кое-каким скарбом. Мама потом рассказывала, что не сушила глаз всю дорогу, пока ехали до Вятки, — от горя и обиды. Потом председатель совета по злобе сдал Степана на фронт, хотя тот и был с искалеченной рукой. Он погиб на войне. А с Марией Степановной, его дочерью, мы потом встретились в Екатеринбурге и были дружны до её смерти. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих Николая, Степана и Марии, прости им согрешения вольные и невольные, даруй им Царствие Небесное. Мир не без добрых людей...

Из губернского города Вятки отец с матерью почти сразу переехали в северный Кытлым, где работал их сын Михаил. Там огромные горы, а на реке тогда уже, по-видимому, работали драги. (Маша, моя Мария, там побывала в командировке в конце 70-х, чтобы сделать радиопередачу про Нину Николаеву, многодетную

мать. Там до сих пор работает драга, теперь уж извлекает платину, технологии совершенствуются. Там и Юлька потом побывала, наша дочь – тоже в командировке. — Борис.)

У родителей мужа тоже отобрали дом. Трофим много ездил по стране в поисках работы, а моя све-кровь Агафья Федоровна жила с малыми детьми в холодной (и уже закрытой) уржумской старообрядческой молельне. Но дети все-таки сумели получить образование. Брат моего мужа Михаил тоже воевал на Великой Отечественной, был тяжело ранен, контужен. Потом стал доктором филологических наук. Оба брата умерли в один день - 12 марта, только с разрывом в семнадцать лет».

Что бы это значило, когда братья умирают в один день с разрывом в семнадцать лет? Что? Мне надо молиться за обоих? Так?

ПИСЬМО Михаила Трофимовича своему племяннику

«...Посылаю генеалогию нашего рода (на обороте — скудно об Агафье Федоровне Лебедевой). Конечно, этим делом надо было заниматься намного раньше, когда живы были родители. Но обстоятельства их жизни сложились так несчастливо, что было не до родословной. Да вообще, выращивание «генеалогического дерева» было опасным занятием во времена верных ленинцев.

Существует моя «Автобиография», заверенная членом горсовета Уржума Юркиным 18 августа 1938 года. Очевидно, написал перед поступлением в редакцию газеты «Кировская искра» литработником. В ней сказано, что отец мой Трофим Иванович происходит из семьи мещан г. Уржума, занимающихся земледелием и кустарным производством (выработка сушек и пряников) без наемного труда. Был мобилизован на военную службу в 1914 году и пробыл на Первой мировой войне до 1918 года. Был старшим фейерверкером в артиллерии, попал под немецкую газовую атаку... Травлен газом. Вернувшись из армии, он три года (до 1921-го) работал в селе Кузнецово — «в кооперации» (14.11.1920 в Кузнецове родился я).

Село Кузнецово располагалось в трех километрах от деревни Онадур — родины матери моей Агафьи Федоровны Лебедевой. Это 40-45 километров от Уржума, где жил мой дед Иван Егорович Степанов. После смерти деда Трофим Иванович с 1921 по 27 год занимался земледелием в Уржумском обществе хлеборобов. С 27 года печет сушки и пряники для «Юговятеосоюза» и горпотребкооперации. До 30 года ведет свое кустарное хозяйство «без наемного труда».

Я сейчас понимаю, что отец во время НЭПа (так коротенько называли новую экономическую политику большевиков) занимался на законных основаниях индивидуальной трудовой деятельностью (имел патент, платил налоги), к которой нас всех сейчас призывают. В уржумском доме на улице Ёлкина 32 на нижнем этаже была специально оборудованная небольшая мастерская. Дом стоял как раз напротив тюрьмы.

Однако скоро времена изменились. В 1930 году он был лишен избирательных прав, «раскулачен», то есть у семьи описали и отобрали дом, корову и что-то из мебели и вещей. А у потерпевшего на руках в это время шестеро детей! Моя мать позже, через год, узнала свою корову, когда стадо возвращалось с лугов. Её загнали во двор дома, где жил председатель уржумского горсовета Низовкин. Куда подевали другое описанное имущество, я не знаю. Дом же потом передали уржумской артели инвалидов, а Трофим Иванович лет через пять-шесть стал в своей бывшей пекарне снова печь хлеб, ставши членом этой артели (1937-1940 гг.). Пока не умер в 1940 году.

Описывал имущество и вел обыск в доме уполномоченный, один из городских партийных работников (фамилию забыл). В качестве понятого задержал детского врача, который в это время пришел по вызову отца, чтобы осмотреть меня (кажется, была корь). Мне было 10 лет, а сестрам — не больше пяти. Смутно помню волнение в доме. Вот мать что-то лихорадочно положила под мою подушку. Вот уполномоченный принялся стучать по стене — не спрятано ли там сокровище? Помню возмущение врача: «Зачем же забирать корову? Детей много, им необходимо молоко!».

Потеряв дом, мы ютились по разным временным квартирам. Прошли через четыре квартиры — конечно, без всяких удобств. Долгое время жили по улице Спорта в бывшей молельне, полуразрушенной. Зимой ходили дома в пальто, в ведре вода замерзала.

Отец написал ходатайство во ВЦИК, в апреле 1931 года пришла официальная бумага из Уржумского горсовета и выписка из протокола №3/42 заседания Президиума ВЦИК от 30.03. 1931 г. «Слушали: о ходатайстве гр-на Трофима Ивановича П., прож. г. Уржум, ул. Ёлкина, 32, Ниж. края о восстановлении в избирправах... Постановили: ходатайство удовлетворить». Подпись — факсимиле «А.Киселев», печать ВЦИКа, штемпельная дата — 3 апреля 1931 г. В справке горсовета сообщалось об этом решении (оба документа я храню).

Итак, гражданство восстановлено, ходатайство чудом было удовлетворено (Киселева позже, кажется, репрессировали). Но дом не возвратили, а корова так и осталась у предгорсовета (между прочим, его сын учился в нашей школе, но был на два года меня моложе). Ходатайствовал ли отец по поводу отображенного имущества, я не знаю (может быть, адвокат посоветовал для верности в первое время просить только о восстановлении в избирательных правах). В это время твой отец Иван Трофимович жил в Казахстане. Меня на год (кажется, это было в 1933/34 учебном году, 6-й класс) отправили к нему в Володарское. Отец в это время работал сторожем в Новосибирске, Казани (7.10.33 — 10.05.35), табельщиком в Ишимбае (1935-36 гг.). Затем вернулся в Уржум. Работал продавцом магазина в селе Архангельское (это до Урала), в Цепочкине, счетоводом где-то в уржумском скобяном магазине (1936-37), затем длительное и последнее в своей жизни время — пекарем в артели трудинвалидов. Умер осенью — 16 ноября 1940 года.

Все эти события страшно потрясли меня. В той атмосфере можно понять мой отчаянный вопрос ма-

тери: «Почему так получилось? Зачем отец занимался этим кустарничеством... производством сушек?» (Мне было тогда 15-16 лет, и я по наивности считал это занятие большим преступлением. Пропаганда в 30-е годы работала целенаправленно.) Мать мне сказала с достоинством: «Всё нажили своим трудом. Не воровали и не грабили!».

Сейчас можно узнать правду про раскулачивание, про геноцид. Теперь я вспоминаю с добрым чувством, как своими натруженными руками месил отец тесто, как ему помогала мать у пылающей жаром печи. Да, это был тяжелый труд пекарей. Прожил отец на земле только 57 лет... Конечно, как пекарь он был профессионал. Конечно, как мелкий кустарь-предприниматель он был предприимчив. Несомненно, он имел склонность к счетоводству и бухгалтерии, читал даже какую-то специальную книгу, которую ему прислал Иван Трофимович.

Жизнь загоняла его в такие тупики, что ему пришлось быть табельщиком, сторожем, счетоводом, печником, а горе заливать вином. Однако всех шестерых детей они с матерью поставили на ноги. Наши судьбы сложились неоднозначно, но, слава Богу, ГУЛАГ прошел мимо. А долго ли было сгинуть, особенно в тридцатом году... Но и того, что нам пришлось хлебнуть, никогда не забудешь. Я про это никому не говорил, это моя первая исповедь. Может быть, тебе пригодится в творческой практике...

29.04. 1991 г. Письмо писал вчера вечером, очень переволновался. Ночью спал плохо. Пусть эти материалы сохраняются для потомков — осколок эпохи 30-х годов».

Дядя МИША

С дядей своим Михаилом я общался совсем мало. Дважды он приезжал ненадолго в Екатеринбург, да я сам жил в его квартире несколько дней в конце 80-х. В Москве, недалеко от шведского посольства. Впрочем, есть вырезка из газеты «Кировская правда» (5 августа 1997 года, автор – В.Путинцев): «Вот такая география — Уржум, фронты Великой отечественной, Киров, Волгоград, Горький, Москва. Ступени роста — школьник, районный газетчик, студент, аспирант, кандидат наук, доктор наук, профессор, член четырех ученых советов московских вузов, автор многих литературоведческих статей и книг. Круг его интересов и увлечений — музыка, филателия, спорт, литература. Среди черт характера — взрывная эмоциональность и одновременно сдержанность, самодисциплина, удивительная скромность, тяга к прекрасному во всех его бесконечно разнообразных проявлениях и способность отрешенно углубиться в одну взятую на прицел проблему, безграничная доброта под маской внешней суровости-серьезности-строгости, даже ворчливости. Шила в мешке не утаишь. Доброта лучилась из него. Он принадлежал к тому сорту людей, рядом с которыми невозможно делать что-то дурное.

Мое сближение с ним было почти романтическим. На второй курс Кировского пединститута (шел 1947 год) я приехал за неделю до начала занятий. Общежитие еще пустовало, и я решил скрасить одиночество в своей комнате сольным исполнением любимых песен. «Славное море — священный Байкал...» — разнеслось на весь этаж. Когда дошла очередь до второго куплета, где-то рядом загремело: «Шел я и в ночь, и средь белого дня, — а затем уже в дверях моей комнаты, — вокруг городов озираясь зорко». Куплет был завершен общими усилиями, и мой гость, обладатель почти оперного по силе и красоте баритона, представился:

— Миша. Аспирант. Тоже пока один. Здесь рядом.

В перерывах между песнями окончательно выяснилось, кто есть кто. Я узнал, что он из Уржума, в моем Нолинске бывал не однажды еще до войны — как вратарь футбольной сборной своего города, волейболист и легкоатлет, участник матчевых спортивных встреч между городами-соседями.

Беседовали и пели до поздней ночи. Наши песенные пристрастия совпали. Мы спели «Из-за острова на стрежень», «Среди долины ровныя», «Вечерний звон», каватину Дон Кихота Кабалевского, арию варяжского гостя из «Садко» Римского-Корсакова... В Михаиле пело всё — не только голос. Глаза его горели, рука непроизвольно дирижировала, тело порывалось взлететь. В этот вечер мы стали друзьями. Встречались чаще всего на стадионе и в спортзале, защищая честь института. После войны он входил в число сильнейших в области шестовиков и прыгунов в высоту, был чемпионом области. Им нельзя было не любоваться, когда он, ладный, крепко сбитый, в белых майке и трусах, безукоризненно отглаженных и пригнанных, выходил на стартовую позицию для прыжка, поправлял очки, делал короткий разбег и после мощного толчка летел над планкой.

— Перепрыгай ты его, пожалуйста! — попросила меня однажды его жена, черноглазая красавица и умница Елизавета Петровна, ведшая у нас семинар по русской литературе XIX века. — Может, тогда он перестанет бегать от науки на стадион...

Закончив аспирантуру, он начал читать у нас курс русской литературы. Много готовился к лекциям. Дорожил каждой минутой.

Однажды он объявил:

— К нам собирается поступить вот кто, смотрите! — и показал фотографию, приложенную к заявлению. — Я говорил с ним. Богатырь! Косая сажень в плечах. Глаза ясные, умные. Повозитесь с ним, чтобы он прошел по конкурсу. В глухомани учился. Иной с дипломом в деревню не захочет — этот поедет. И.. кгм... может, в нем Ломоносов сидит.

Парень все-таки не прошел. Михаил Трофимович сокрушался, места себе не находил, чувствовал себя виноватым.

...На конвертах с его письмами всегда красовались необычные марки — яркие, крупные, коллекционные. Он знал в них толк. В его собрании были многие тысячи.

С еще большей любовью он собирал и дарил книги. Несколько монографий в моей домашней библиотеке хранят его авторские дарственные надписи.

В последние свои годы он жил в Москве, работал в МГПИ, оставил наследников — многочисленных учеников и сына Сергея, который недавно защитил докторскую диссертацию, тоже стал профессором. Сергей Михайлович — признанный и, пожалуй, единственный в стране специалист, автор крупных публикаций по творчеству Максимилиана Волошина...».

Ещё есть вот такая вещица в газете Московского педагогического государственного университета («Под грохот пушек музы не молчали»): «Профессор кафедры русской литературы XIX века Михаил Трофимович Степанов прошёл всю войну, был тяжело ранен. Его война — это не только бои, но и — стихи...

Нежит косы яранский веноч,
Льются косы на синий стан,
Дерзко смотрит весенний цветок
Мне в хмельные глаза — туман.

...Эти трогательные юношеские стихи, посвящённые Кате Зайкиной, сокурснице, написаны 23 июля 1945 года. Первые послевоенные месяцы. Надежды, которыми жила в то время вся страна, пронизывают тёплым светом всю эту лирическую миниатюру.

...В мае 1945 года радисты-разведчики «осназа» объединились в литературную группу воинской части. Начинающие поэты выпустили во время переформировки подразделений Карельского фронта, а затем передислокации их на Дальний Восток (перед войной с Японией, после освобождения Китая) рукописный литературно-художественный журнал «Наши дни». Вышло три номера.

В третьем выпуске журнала, в мае 1945 года, опубликована первая литературно-критическая статья Михаила Трофимовича. Она была посвящена стихам С.Огиевича, С.Иванова и А.Алексеева, появившимся в предыдущих номерах рукописного журнала воинской части 28 491.

Сырая ржавь смоленского болота.
Вода и грязь — труднее нет пути»...

Елизавета Петровна трудно переживала его уход. Столько лет вместе... Написала стихи:

Одна — и никто не услышит,
одна — и никто не узнает,
как трудно душа моя дышит,
как сердце моё умирает.
Одна. Кто любил — те в могиле,
лишь память о них — упование.
Одна — в одиноком бессилье,
одна в одиноком молчанье.

Так ли? Говорят, надо молиться, чтобы... чтобы... чтобы услышать родной голос, чтобы пришло упоение-успокоение. Упокой, Господи, душу раба Твоего Михаила... Елизавета Петровна теперь тяжело больна, почти не встаёт. Писем писать не может. Вот кусочек — из прошлого века: «Всё вспоминаю, как он любил петь. А когда оглох — очень фальшивил: он поёт, а я в другой комнате плачу».

Нашёл в бумагах у матери и такое её письмо: «Мишу мы похоронили по христианскому обряду: отпевали в церкви (правда, заочно); всё что нужно я положила в гроб — и крест, и венчик, а дома была кутя из церкви. Вы как-то спрашивали меня, был ли он верующий. Он умирал очень тяжело, последние пять дней был без сознания. А накануне смерти, уже не узнавая меня, перекрестился. Я сразу поднесла ему к губам иконку Божьей Матери — она всё время стояла у него на тумбочке в больнице. Что-то он, очевидно, чувствовал: когда я в последний раз целовала его лоб и глаза, у него на глазах появились слёзы.

На памятник у нас нет денег, заказала гранитную плиту, которая будет стоять на могиле. В цементную цветочницу посадила травку и цветы. А кругом вековые деревья, птицы поют.

Надо научиться как-то жить по-новому — кормильца теперь нет. Выйдя на инвалидность, Миша очень много мне помогал, особенно после инсульта — я не выходила полтора года, весь дом был на нём. Как встанет, идёт ко мне на кухню, спрашивает, не надо ли в чём помочь. Всё картошку мне чистил и морковь тёр — у меня правая рука быстро устаёт.

Так быстро всё случилось, что я до сих пор жду его, слушаю, не пройдёт ли он по коридору. Не могу поверить, что его нет. Конечно, болел он уже давно — большая опухоль, метастазы в брюшину и позвоночник. В больницу его увезли на скорой с подозрением на острый аппендицит. Он до конца не знал правду. Две последние недели ничего не ел, даже глотка воды не мог выпить — рвало. А я всё его уговаривала: на голодный желудок, мол, легче будет оперировать. Верил он мне больше, чем врачам и сёстрам. Пока не ослабел совсем, мы с ним много «разговаривали»: он говорил, а я писала ему, три тетрадки исписала. (Дядя Миша много лет ничего не слышал, болезнь Миньера. — Б.С.) Седьмого марта его оперировали, а с восьмого стали давать наркотики. Он всё говорил о войне».

Я не поехал на его похороны — далеко, денег совсем не было, потому что после смерти Марии работал сторожем. Недавно нашёл открытку дяди Миши. Поздравляет с наступающим 1988 годом. «С интересом слежу за подвижническим трудом своих племянников. Дай Бог удачи вам! Что касается ожиданий Маши и Бориса, то они, по-моему, напрасны (в связи с трактовкой музыкально-театральных сцен в свердловских театрах). «ЛГ» и другие издания (кроме «Нашего современника») находятся в руках тех, кто продвинул режис-

сера свердловской оперы на Госуд. премию. Надо найти удовлетворение в том, что все-таки осуществлена публикация в «НС». Она дойдет до того, кому нужна! С приветом — Михаил».

Про эту нашу театральную историю – чуть позднее, потом...

Недавно появился «Роман воспоминаний» моего брата, там и про дядю: «В отроческие годы я, как муха, успел наследить на бумаге и оставил, помнится, много «клякс». Что было, то было. Всё было! И «свинцовые волны», и храбрые Джеки и Джоны на реях бригов, которые обязательно «трещали по швам» во время шторма. Много всякой всячины набуровила моя неуёмная, но вроде не заимствованная фантазия. Или заимствованная? Не помню...

Гм, взглянуть бы сейчас на эти «кляксы»... А может, они сохранились в дедовом сундучке? Мама всё подбирала, складывала в него все мои бумажки и возила с собой при каждом семейном переезде с места на место. Может, среди тех бумаг и мои старые тетрадки?

Нет, тетрадей я не нашёл, зато обнаружил письма дядюшки Михаила Трофимовича. Отцов брат в ту пору заканчивал институт как раз по филологической части, и я послал ему свои опусы, в надежде, что знающий человек с ходу подтвердит мою гениальность. Помню, была уверенность, что создал нетленное. Может, дядюшка мне что-то подскажет из далёкого далёка? И я принялся за письма. Разложил потрёпанные тетрадные листочки, исписанные школьным пером «86» и жидковатыми «химическими» чернилами, и стал читать прошлое.

«Тёзка, привет! Однако твои произведения составляют уже довольно-таки внушительный сборник, на чтение которого требуется два вечера, – писал дядя Миша. – Это уже много для 14 лет! Пожалуй, ещё пять лет пройдут и можно услышать от тебя шиллеровский возглас: «19 лет – а как мало сделано для бессмертия!» Хотелось бы, чтобы эта жажда творить, держать долго сохранилась у тебя, долго-долго...

Первое впечатление от тетрадей – страсть, любовь, фанатизм, как хочешь это назови, – к морю. Уже по ним можно судить о твоих любимых книгах. Жюль Верн и фантастический роман, «Два капитана» и «Победа моря», Новиков-Прибой и Станюкович».

...Дядюшка воздал должное и морской эрудиции племяша: «Если бы не было этой осведомлённости, повесть «Приключения» выглядела бы иначе. Отметил он и «простой, ясный язык». Что ещё? «Пейзаж лиричен». Гм, даже так? Интересно, что я понаписал в этих «Приключениях»? Ничего не сохранила голова! Не будь этих писем, вряд ли припомнилось бы хоть одно название.

...Кстати, уже тогда, в давней давности, я почему-то назвал один из своих рассказиков «Прозой», на что дядя Миша откликнулся в том же письме: «Наверное, хотел назвать «Стихотворение в прозе»? Это подходит более. Сюда же можно отнести «Море». Ей-Богу, сильно! Советую совершенствовать эту лирику. Прочитай стих. в прозе Тургенева, проштудируй Гоголя».

Неужели в ту пору я был способен на что-то?! Даже на лирику? Удивительно, Марь Григорьевна, чай пила – брюхо холодное! ...А вот и разбомбон за «шедевр» «Далеко в море». «Мне не понравилось, что ты выступаешь в роли какого-то англичанина, – выговаривал дядя Миша, – и описываешь «наш клипер», принадлежащий «одной английской компании». Зачем эти англичане, Билли Торстоны и Гвианы? Неужели в наших, советских, морях нет таких штормов, которые были бы проверкой мужества наших моряков?! Неужели русские матросы не любят свои корабли, как «мать родную»? То есть я хочу сказать: зачем русскому человеку описывать мужество англичан, если можно с успехом совершить это, описывая храбрых севастопольцев, защищающих родной город? Чем русские хуже их и зачем это преклонение? Всё. Пока! Присылай новые вещи. Михаил».

...Я сложил письма в конверт и убрал в сундук. ...Когда встретимся ТАМ, я лично поблагодарю вас за эти старые письма, за внимание, оказанное сопляку, за то, что вы не отделались шуточкой или отпиской».

Брат стал моряком, художником, писателем – сначала моряком, потом художником, а уж теперь:

«Собаки вошли в озеро и стали лакать воду. Я тоже сделал глоток из склянки и, подождав, когда задохнет в желудке вспыхнувший костёр, сделал ещё один. Дикарка вернулась первой. Отряхнулась в стороне и прилегла у моих ног, желая продолжить разговор.

- Млечный Путь... - произнесла и задумалась. – Неужели эти мириады звёзд – человеческие души?

- Несомненно, – кивнул я. – Должно же быть у них вечное пристанище! Белое полотнище через всё небо... Они уже не от мира сего – далеко улетели, а те, что ещё на пути туда... видишь? Ёжатся и мигают, глядя на дела, творимые людьми.

- Ничего не вижу, – зевнула Дикарка. – День на дворе.

- А ты вообрази, представь себе ночное небо. Я однажды представил и задумал картину «Млечный Путь». Внизу, на гребне волны, баркентина жизни, наверху – Конечный Путь сапиенсов, что копошатся на палубе, пытаясь познать самих себя и проникнуть в суть сущего.

...Тем временем вернулся и старец. Этот замочил только ноги. Улёгся рядом с Дикаркой и первым делом спросил, написал ли я задуманную картину.

- А как же. Создал чуть ли не двухметровое полотно и отправил его в Ригу, в учебный отряд... Отправил... Меня даже не известили о получении. ...Юрий Иваныч сказал, что видел картину в отряде. Может, цела, хотя вряд ли. Отряда больше нет, значит, нет и имущества. Осыпается в какой-нибудь кладовке.

- Да, Млечный Путь... – зевнула собака.

- Великая дорога мёртвых. Южный Крест там сияет вдали, с первым ветром проснётся компас... Бог, храня корабли, да помилует нас. Авось, мы когда-нибудь соберёмся там все вместе и продолжим разговор о

том, что было и что не сбылось. И если рядом окажется великий сказочник Грин, я обращусь к друзьям словами его героя: «Я хочу, чтобы не было на меня обиды у тех, о ком я не сказал ничего, но вы видите, что я всё хорошо помню. И так, я помню обо всех всё, все встречи и разговоры. Я снова пережил прошлое в вашем лице, и я так же в нём теперь, как и тогда». Как и тогда, но уже навсегда.

...А голубой вечер перешёл в розовый и превратился в Венеру, вечерний Веспер, как называли её эллины, в отличие от утренней – Фосфора. Смотрит, не мигая, из пустоты небесной в нашу пустоту и неприкаянность, в сиреневый туман, что, над нами проплывая, обернул сопки вуалью и почти слил их с водой, на которой, как щепка, одиноко качается утлый чёлн рыбака...

Иван Данилович Самойлов, алапаевский подвижник, однажды написал моей Марьюшке: «Передайте от Ивана с Анной большой привет Борису Ивановичу. И ещё для заочного знакомства – Евгению Ивановичу. Его живопись меня очень трогает. В его картинах мечта, загадочность, таинственность, поиск открытий. Они очень мне по душе, там что-то моё. Евгений Иванович необычный художник, он на правильном пути, пусть с него не сходит и не смотрит на сухарей, которые в детстве уже стали стариками».

Приведи, Господи, брата моего Евгения к вере, покаянию и крещению...

ПИСЬМО Майи Дмитриевны Тоневой

Здравствуй, Борис! Это я отвечаю на вашу «приписочку» к письму Марии Михайловны. Я мало что знаю о нашем прадеде Иване Егорыче, а о Егоре — совсем ничего. Старшее поколение поумирало, спросить не у кого... Мама моя уже старая и иногда даже «фантазирует». По логике, по условиям того времени я это представляю так. Не забывайте, что они старообрядцы, жили в лесах за Буйском. Там много с нашей фамилией и сейчас. В Уржум приехали более ста лет назад, по крайней мере жили там уже во второй половине XIX века. Наш дом построили первым, он самый старый. В 1989 году он сгорел, выдали справку, что ему сто лет. Не знаю, жили в Уржуме Егор со своей Татьяной или отправили одного Ивана, дети которого точно родились в городе.

Уржумский район и сейчас сельскохозяйственный, а раньше многие горожане соединяли приятное с полезным. Земельные наделы были от километра до пяти от города, там же делали кирпич для себя (бабушка рассказывала). Первый дом был полукаменный, верх на пять окон, обшит тесом. Внизу уже занимались производством сушек. Из крестьян стали мещанами. Жили одной семьей — сыновья, снохи, дети. Сыновья работали на земле и в пекарне. Снох брали староверок — высоких, черненьких, потому что сами Степановы были низкорослые и беловатые. (В отце моем Иване Трофимовиче 177 сантиметров роста, на 3-4 см выше меня; был он крупный мужик, сероглазый. А мы-то с Марией — кареглазые... — Борис.) Построили еще два дома — двухэтажные, каменный и полукаменный, из своего кирпича. Дворы тоже были каменные — и двое кирпичных ворот.

Жена Ивана Егорыча Устинья померла раньше его, он женился на молодой женщине, был маленький сын. Иван Егорыч умер скоропостижно, его привезла лошадь с чьей-то свадьбы. После его смерти сыновья стали делиться. Это около 1920 года, так как бабушка моя уже овдовела — ее мужа Зиновия Ивановича убили в Первую мировую войну. Ей присудили на четырех детей самый первый полукаменный дом. Каменный двухэтажный — вашему деду Трофиму и его брату Василию (он умер, его сына Федю воспитывал Трофим). Потом этот дом у Трофима отняли. Федора убили на Великой Отечественной войне.

Третий дом достался семьям Павла и Николая, молодой жене Ивана Егорыча с сыном. Они его продали. Мы приехали в 1932 году, и Трофим еще жил в своем доме, но у них была одна комнатка. А дети Павла уже не жили тут, а купил верхний этаж адвокат (который, наверное, и помог Трофиму написать ходатайство в Москву), и моя бабушка ему полоскала белье...

Так что наш дом был самый старый, все родные приезжали к нам и здесь жили, когда учились в школе, в техникумах. Конечно, самыми близкими нам были дети Трофима, его я тоже хорошо помню. Он водился со мной, всегда напевал марш: ту-тту-ту! Я приходила к ним, когда их совсем выселили из родного дома. Жили они всегда бедно, у них было холодно. Дров не было. Всю жизнь Агафья Федоровна тянула семью, Трофим тоже работал, но иногда выпивал. Она косточки варила на обед. Работала уборщицей.

А Николай Иванович и дети Павла жили богаче. Иван Павлович, например, работал на мельнице. Николай (отец ныне слепой и глухой Евдокии, которую твоя тетя Женя забрала к себе в Пермь) был хлебопеком в Русско-Турецком туберкулезном санатории, дело отца служило ему всю жизнь. Они были всегда с мукой. Его сына Федю зарезало паровозом, осталась сноха с тремя детьми. Геннадий, один из них, стал профессором химии в Минске (он и фотографировал мою бабушку возле старого дома).

В доколхозное время бабушка еще сеяла, нанимала людей, а потом все забросили. Еще ей помогал ее отец Кузьма Сергеевич — посылал продукты, дал корову (она еще была в 1932 году). А потом и у него все отобрали, жил у брата в деревне Чагино. Мама моя с братом отца Никифором ходили туда жать, чтобы хлеб заработать. Она деда видела, а я — никогда.

Вера наша была старообрядческая — Белокриницкого согласия. Митрополит Алипий располагается у Рогожского кладбища в Москве. Есть церкви в Санкт-Петербурге, в Омутнинске нашей Вятской области, в Ижевске (там живут наши родичи), в Новосибирске. Меня бабушка научила креститься двуперстием. И она всегда не любила маму, потому что она мирская. Меня мама крестила, молиться не научила, я сейчас по-бабушкиному молюсь. Не знаю, крестила ли меня бабушка. Их поп раньше за бабушку сватался (когда они были молодые) и всегда ее уважал, приходил в гости, позднее он служил в Волгограде. Очень хорошо пели молитвы

дядя Гриша (брат бабушки), его жена, ее сестра с мужем. Сейчас все уже умерли.

Ваши отец с матерью из Уржума уехали молодые — после окончания школы, контакта с родителями не имели. А мы жили рядом. Мама дружила с Саней (вашей тетушкой Александрой, которая умерла рано — в 1941 году, остались двое детей — Николай и Тамара). Я же водилась больше с вашей тетушкой Женей, Генкой, ближе всех была Евдокия, Дуся.

(Евдокия Трофимовна Спасская жила потом в Казани с больной своей доченькой Верой. Преподавала в музыкальном училище. Сначала Верочка померла, а потом в 55 лет сама Евдокия — от рака. Красивая была женщина, статная, приезжала к нам в Коуровку в гости. Помню, летом, незадолго до армии, я таскал Верочку на себе — смотреть игру на футбольном поле. Кругом стояли светлые сосны... Была такая худышка, ноги не ходили, так ее было жалко...

В последний раз виделись с тетей в 1978 году — приезжала на похороны моего отца. А потом сама ушла в 83-м. В мае почувствовала себя скверно, пошла в больницу да и осталась там насовсем. Скончалась. Хорошо, перед этим успела познакомиться с женщиной-врачом, что училась в институте вместе с её бывшим мужем. Та позвонила другой моей тётушке в Пермь, чтобы приехала хоронить. И брат мой ездил на похороны.

Помню, я посылал ей какое-то лекарство от рака в пузырьках, один разбил на главпочтамте. — Борис).

Ваш дядя Михаил Трофимович тоже — то воевал, то был в отъезде. Я ему благодарна за то, что дал мне денег на поездку в институт (он тогда был еще холостой).

Вы сейчас все записывайте, что еще помнит Мария Михайловна. Когда все молодые — это кажется ненужным, а потом будет поздно.

Пишите. О ваших дядях, тетях я еще могу рассказать. С уважением — Мая. 23. 10. 1999 г.»

Тяготит православных грех церковного раскола. Грех самоомнения. Как быть с множеством новомодных толков и сект, в гордыне своей отколовшихся от Единой Святой Соборной Апостольской Церкви? Поповцы, беспоповцы... И прочие, прочие...

Прости нас, Господи.

Впрочем, Церковь давно простила, сама также покаявшись в давних гонениях: «Мы и старообрядцы разделяем одну и ту же веру не только в догматическом, но и в жизненном выражении: у нас одна система ценностей. ...Клятвы на старые обряды и на придерживающихся их православных христиан Поместным Собором 1971 года торжественно упразднены и вменены яко не бывшие; отвергнуты все порицательные выражения, относящиеся к старым обрядам, и эти последние признаны равноспасительными и равночестными новым обрядам. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1988 года вновь подтвердил это деяние и в обращении «ко всем держащимся старых обрядов православноверующим христианам, не имеющим молитвенного общения с Московским Патриархатом» именовал их «единокровными и единоверными братьями и сестрами». Однако... «Как подметил один старообрядческий деятель, возникает парадоксальная ситуация. Соборы принимают определения считать клятвы на старообрядцев и порицательные выражения о старых русских церковных обрядах «яко не бывшими», а на местах уровень информированности духовенства об этом настолько низок, что «яко не бывшими» становятся сами эти определения.

Действительно, в 1971 году Поместный Собор торжественно засвидетельствовал, что «спасительному значению обрядов не противоречит многообразие их внешнего выражения, которое всегда было присуще древней неразделенной Христианской Церкви и которое не являлось в ней камнем преткновения и источником разделения». Однако выполнили ли мы обязательства, взятые на себя 33 года назад? До сих пор в повседневной жизни Церкви мы почти не видим фактов, которые подтверждали бы возможность полноценного существования двух обрядов в лоне Русской Православной Церкви, что представляется важнейшим условием для восстановления единства со старообрядцами в будущем» (Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по вопросам взаимоотношений с Русской Зарубежной Церковью и старообрядчеством // Православная газета. Екатеринбург. 2004. №38).

«17 апреля 1905 г. был издан Императорский указ об укреплении начал веротерпимости, который существенно изменил правовой статус инославных и иноверных исповеданий. Этим указом значительно расширены были права старообрядческих и сектантских общин, не носивших изуверского характера. Почти во всех отношениях... они уравнивались с ранее признанными государством христианскими церквями. Приверженцы БЕЛОКРИНИЦКОГО СОГЛАСИЯ (а это мои предки по отцу. — Борис) и беглопововцы стали после издания указа официально именоваться не раскольниками, а старообрядцами» (Протоиерей Владислав Цыпин. Правовой статус православной церкви и иноверных общин в России // «Наши задачи» Ивана Ильина и ... наши задачи. М., 1995. С.93).

ЭМИГРАЦИЯ. Дядя ВАНЯ

Почему-то чуть не с детства люблю старую песню про Ермака и его дружину. «На диком бреге Иртыша...». Такая протяжная, как Россия... Недавно узнал, что во главе верхотурских казаков (стрельцов?) в начале 17-го столетия стоял ермаков дружинник Пинай Степанов. Оттуда он просился в Москву. На родину? Не знаю, может и не отпустили. Известно лишь, что какое-то верхотурское начальство тогда было переведено в Уржум. На Урале и Вятке сейчас много его потомков. Все мы родственники, если верить новейшим английским исследованиям.

Упокой, Господи, прапрадеда моего Георгия и прапрабабушку Татиану, прадеда Иоанна и прабабушку Устинию, деда Трофима и бабушку Агафию, отца моего Иоанна, брата его Михаила (они оба умерли 12 марта, только в разные годы), сестру его Евгению, брата его Евгения, сестру Евдокию с доченькой Верочкой, сестру Александру. Прости им, Господи, согрешения вольные и невольные, даруй им Царствие Небесное.

И Марковых, Господи, упокой: прапрапрадеда Марка, прапрадеда Тита, прадеда Гавриила и прабабушку Аксиною, отца её Антипа, Михаила и Александру — дедушку и бабушку моих, которые любили меня и заботились обо мне, а я забыл их почти совсем, потому что был совсем маленьким, когда Ты позвал их к Себе. Упокой их, Господи, прости им согрешения вольные и невольные и даруй им Царствие Небесное. И дядюшек и тетюшек моих по этой линии: Александру, Анну, Михаила, Владимира, Иоанна. За Ивана Михайловича во все некому молиться (разве что я сам...) — остались после него только шесть машинописных страничек его биографии:

«Ничем не ознаменовано было мое рождение в одном из глухих починков Вятской губернии. Это незаметное явление произошло в 1886 году. Много воды утекло с тех пор...

Детские годы, годы учения прошли под родительским кровом в крестьянской семье. До 14 лет дальше своей деревни носа не показывал, а после четырнадцати уехал учиться в фельдшерскую школу, но за «политику» выгнали и стал работать в Вятских железнодорожных мастерских. Работал я табельщиком. Много читал, читал без системы, что попало. Иногда попадала нелегальная литература в виде брошюр и прокламаций. Эта литература и окружающая жизнь открыли глаза на несправедливость капиталистического строя. Еще больше узнал, вступив в Вятский кружок рабочих, руководимый Вятской РСДРП.

В 1905 году уже принимал активное участие в организации Всероссийской железнодорожной забастовки — работал членом стачечного комитета при станции Вятка. Вятские железнодорожники, наиболее организованные среди рабочих местных фабрик и заводов, несли забастовку по всем предприятиям. Отцы города ходили перед ними на задних лапках. Работа шла по-пролетарски. Мне приходилось высаживать жандармов из поездов, отцеплять паровозы... Два раза был под арестом, но через пару часов освобождали, так как время репрессий еще не наступило. Но вот из Петербурга подали знак, и заработали карательные отряды. Правда, в Вятке расстрелов не было, но аресты производились пачками.

В феврале 1906 года Вятская губернская тюрьма стала моей квартирой. Битком набитая политзаключенными, она все же ежедневно принимала новых. Много сидело крестьян-повстанцев, примыкавших к эсерам. Нас, 20-25 железнодорожников, посадили в одну камеру. Время проходило в спорах, пении революционных песен, чтении газет. Газеты получали ежедневно свежие через передачу молока в бидоне с двойным дном. Ходили на допросы в тюремную контору, где следователь вел допрос с браунингом на столе.

Постепенно одного за другим ребят освобождали, через четыре с половиной месяцев вышел и я. Несказанно обрадовался свободе, и майские дни казались мне светлыми, теплыми и веселыми, как никогда. Однако революционная работа, загнанная в подполье, не умерла после репрессий. Работала подпольная типография, а на конспиративных квартирах печатали прокламации на гектографах. У меня во время обыска нашли нелегальную литературу. Опять уехали в губтюрьму. Вышел на поруки до суда, просидев два месяца в одиночке.

В 1906 году, осенью, выездной сессией Казанской судебной палаты был приговорен к девятимесячному заключению в крепость, но ввиду несовершеннолетия срок наказания был уменьшен на треть. Приговор кассировал. Пока дело ходило по судебным инстанциям меня опять успели засадить в тюрьму за созыв крестьянского собрания. Три с половиной месяца высидел по распоряжению князя Горчакова, вятского губернатора. К этому времени и приговор утвердили — следовательно, пришлось еще месяц откатать в Уржумской тюрьме на крепостном содержании. После отсидки найти работу стало трудно. Перебивался временной работой в земской статистике, а в 1910 году волею судеб очутился в городе Архангельске.

Поработал здесь года полтора на лесопильном заводе и решил улепетнуть из России. Случай скоро представился. У завода «Экономия» грузился германский пароход «Консул Горн». Работая там в качестве грузчика, я познакомился с одним матросом. Матрос — латыш, говорил по-русски. Мы скоро с ним спелись. И за пару бутылок очищенной он согласился провести меня на пароход и спрятать в укромное местечко. Часа за два до отхода парохода я уже был там. Латыш провел меня в носовую часть корабля. Там был люк, и я влез в него, очутившись на самом дне судна. Пока корабль не прошел бар, я все сидел там, а когда миновала опасность — вылез.

Дело было поздней осенью. Ветер яростно свистел в снастях, снег лепил глаза. Белое море разбушевалось не на шутку. Мне, сухопутному моряку, приходилось плохо. Началось сильное головокружение, тошнело. Так и тянуло прилечь и спокойно заснуть. Черта с два! Только подумал об отдыхе, как появился механик, предложил переодеться в рабочий костюм и увел с собой.

Протестовать не приходилось — здесь не берег, а на море свои законы. Спустились в бункер, и механик, показав работу, тут же ушел. Работа была нехитрая: набросать в тачку угля, подвезти к люку и высыпать. Всё это просто и легко в береговых условиях, когда под собой чувствуешь твердую почву. Раньше мне приходилось плавать только по реке Вятке, на бульчевских пароходах. Известно, какие волны на этой реке. Даже в сильную бурю они не смогут качнуть речной «дредноут». Здесь же совсем другое дело. Почва (точнее — палуба) то и дело ускользает из-под ног. Много раз падал и катался с тачкой от борта к борту, прежде чем научился сносно ходить. На это потребовалось двое суток. Настоящим моряком я сделался не скоро...

Так как на пароход я садился «зайцем», то и багаж мой состоял только из того, что было на мне. Едучи

«зайцем», нечего рассчитывать на комфорт. Но в таких условиях, в которых жил я на «Консуле», — не хотел бы больше путешествовать.

Начать с того, что не было свободной койки для сна, так как команды был полный комплект. Волочился где попало: на котлах, за котлами, в машинном отделении, в бункерах. Не умывался дней шесть-семь. Своего мыла и полотенца нет, а спросить стесняюсь. Когда пароход остановился в английском порту Шарпнесс, удалось мне увидеть свою физиономию в зеркале. Ну и хорош был! Во время переезда работал в бункерах возле угля, потел, угольная пыль толстым слоем садилась на лицо, потом шел в машинное отделение, там обтирал масло с машин, этой же тряпкой вытирал себе лицо и, конечно, разрисовал себя на славу. Капитан парохода через латыша-матроса предложил мне или оставить судно, или идти в береговую контору и подписать контракт с обязательством работать кочегаром.

Убоялся остаться на берегу и решил поработать на пароходе. Помывшись в первый раз после отъезда из России, пошел с капитаном в контору. Там мне что-то прочитали и велели расписаться. Читали по-английски, ни слова, конечно, не понял, но храбро поставил свою подпись. Только спустя полгода узнал, какой договор был мной подписан в Шарпнесе. Оказывается, русский подданный Марков обязался работать кочегаром на германском корабле «Консул Горн» до тех пор, пока этот последний не придет в русский или немецкий порт. «Консул» не совершал определенных рейсов между какими-то двумя-тремя городами и поэтому был бродячим. Сделавши свою подпись в портовой конторе, я таким образом узаконил свое пребывание на пароходе. С этого момента я перестал быть «зайцем». Несколько человек команды сбежало, и для меня освободилась койка. Удрал и мой латыш, заняв предварительно десять николаевских рублей — все мое состояние. С тех пор я его не встречал и долга не получил. Я на него не сержусь, а наоборот, — благодарен, так как он доставил мне возможность сделать путешествие вокруг света без гроша в кармане.

Началась жизнь узаконенного моряка. Четыре часа работаешь в кочегарке, а восемь (от вахты до вахты) отдыхаешь. Втянулся постепенно, и уже качка не вызывала ни головокружения, ни тошноты. Любил стоять на носу парохода и подставлять грудь ветру. Любовался на дельфинов и стайки летучих рыб.

Проходили дни за днями. Корабль шёл то с грузом, то порожний — лишь с балластом в виде морской воды. Побывал в Алжире, Ороне, Сантосе (Бразилия), Галовестоне (Техас), а весной 1913 года смотрел с борта парохода на Роттердам. Здесь, как и во всяком другом портовом городе, команда сменялась, часть сбегала, и на их место шли другие. Среди новеньких оказался русский по фамилии Шляхтин. По его словам, он раньше работал командиром на одном из пароходов торгового флота, ходивших по Черному морю. Захотел побродяжить, бросил службу — и вот оказался здесь. С первых же шагов порядки на нашем корабле ему не понравились, не по вкусу пришелся и стол.

А нужно сказать, что кормили нас отвратительно. В первом же порту Шляхтин решил переменить пароход и предложил мне сделать то же. Я согласился. Из Роттердама опять перешли в английский город Барроу. Шляхтин тотчас же отправился к капитану и заявил о своем и моем уходе. Против ухода Шляхтина капитан не стал возражать, а вот меня согласно договору не отпустил.

Пошли с земляком к консулу. Русский консул был англичанином, а я ни в зуб толкнуть по-английски. Мой новый друг кое-как с ним объяснился, и англичанин согласился на мой уход с парохода (вероятно, Шляхтин скрыл от него условия договора). В это время вошел наш капитан, и все изменилось. Он обрисовал положение в другом свете, и консул изменил свое решение. Пришлось мне идти обратно на пароход, а Шляхтин исчез навсегда с моего горизонта. Мог бы, конечно, я сбежать, но не было получено жалованье, а оставлять его капитану не хотелось.

Пришел опять на «Консул Горн» и встретил земляка. Разговорились, он оказался уроженцем города Пскова, а теперь уже лет 20 живет в Глазго и содержит борд-ена-хауз. Содержатели таких меблированных комнат со столом служат поставщиками команд на пароходы, не без пользы, конечно, для себя. Какой-нибудь впавший в нужду моряк находит приют у содержателя борд-ена-хауза, а потом расплачивается месячным жалованьем за три-четыре дня пребывания там. Мой землячок привез двух матросов и теперь сидел довольный устроенным дельцем.

Из разговоров с командой он узнал, что я хочу уйти с парохода. Как постоянно проживающий здесь и знающий, как обстоит дело с подысканием работы, он посоветовал мне остаться на пароходе, плыть на нем до Канады (он знал, что корабль идет туда) — и там сбежать. Здесь же уходить нет никакого смысла по трем причинам: во-первых, в Барроу забастовка; во-вторых, у меня нет денег; в-третьих, не знаю языка. Доводы показались основательными. Поговорив еще немного, мы распрощались. Утром пароход пошел в плаванье, держа курс на Канаду.

Во время этого рейса мы — человек восемь с нижней и верхней палубы — уговорились бежать. Не дойдя до места назначения, пароход остановился брать уголь в каком-то маленьком городишке на восточном побережье Канады. Когда все немного успокоились (то есть та суматоха, которая царит у причала), все заговорщики моментально оказались на берегу и разбежались в разные стороны. Все, что было куплено во время плаванья, осталось на борту. В кармане болтался один шиллинг.

Побег с парохода произошел весной, в мае, часов в восемь вечера. Побрели мы, как я уже сообщил, в разные стороны без пути-дороги по мелкому лесочку, стараясь держать курс вглубь страны, подальше от опасного «Консула». Вскоре попал на железнодорожное полотно и давай крыть по шпалам. Один по одному, то догоняя, то встречая, сошлись все беглецы и отправились вместе. Переночевали где-то в железнодорожной сторожке и с пустым желудком пустились снова в путь. Около полудня пришли в город Глесбей и прежде всего

бросились искать работу. Хоть в этой местности много угольных копей, но на нашу беду они были закрыты, и безработных и без нас оказалось много. С трудом проел свой шиллинг. С трудом потому, что он английский, а здесь своя монета, и лавочнику нет охоты идти с моим шиллингом в банк.

Мои хождения из магазина в магазин заметил один рабочий. Подошел. Я ему кое-как объяснил, в чём дело. Парень достал кошелек и разменял шиллинг. После бесплодных поисков работы все беглецы с «Консула» пошли дальше. Мимо нас мчатся поезда и трамваи, автомобили и велосипеды, а мы на своих в двух плетемся. Ночевали в какой-то заброшенной лачужке — и опять в путь. Часа три-четыре пути, и пришли в город Сидней. Опять все за работой разбежались. Под вечер увидел толпу рабочих. Подошел. Прислушался. Разговор русский и сходный с ним. Спросил: кто? Откуда? Оказались ребята из западных губерний: Галиции, Буковины, Волыни. Они безработные и бродят без дела месяца три-четыре. Стоят здесь у заводской конторы. В Сиднее размещается железодельательный завод с пятнадцатью тысячами рабочих. Администрация завода держит большой штат вербовщиков, шныряющих по большим портовым городам (Галифакс, Нью-Йорк и др.).

Приходит пароход из Европы с грузом эмигрантов — вербовщик тут как тут и начинает обходить «зелёных». Он обещает какому-нибудь жителю Гродно полтора или два доллара за день работы на заводе, обещает хорошую квартиру, обильный стол и прочие прелести. А гроднинец, работавший на родине за 40-50 копеек в день, с восторгом принимает предложение вербовщика. Едет в Сидней. Со следующим пароходом явятся галицийские мужики, там минчане... И многие из них попадают в руки пронирыливых вербовщиков. Набирается армия жаждущих работы. Это резерв владельцев завода на тот случай, если на заводе вспыхнет забастовка. Они очень быстро могут заменить стачечников изголодавшимися, темными эмигрантами. Постепенно «зеленые» разбегаются по другим городам, а на их место являются новые эмигранты. Таким образом, резерв постоянно пополняется.

Известие о трех-четырёх месяцах хождения без работы меня поразило и испугало, так как от временного шиллинга осталось всего несколько центов. Контора закрылась. Толпа расходится. Куда же мне идти? Квартиры нет, а в гостинице нечем платить. Уговорил одного из паренёков взять меня к себе. Оказался сговорчивый — согласился. В квартире, кроме него, оказались два румына. Подкормились и спать уложились. На утро бегу к конторе, там уже собралось несколько десятков рабочих. Дошла очередь до меня. Спрашивают о специальности. Назвался кочегаром и три месяца без работы. Принимавший выругал меня, что раньше не сказал об этом, так как кочегары им нужны ежедневно. Дал назначение на работу с этого же дня в ночную смену. Ликующий бегу к румынам и сообщаю им о своей радости.

Вечером, еще за час до работы, я уже на месте, в кочегарке. Работают преимущественно негры — и ни одного вятского. Работа привычная, но тяжелей, чем на пароходе. Вся беда в том, что приходится шуровать без перерыва часов девять-десять. Передохнешь немного, когда заводские машины по тем или другим причинам требуют меньше пара.

После недельной работы, страшно изнурительной, бросил её. Получил расчет беспрепятственно, ибо за воротами стоит масса желающих попасть вовнутрь. При расчете на пару долларов обсчитали, бузить не стал, так как язык все ещё был замороженный. Вскоре открылась работа на химическом заводе, вырабатывающем смолу (асфальтовую, кажется). Остывшую смолу нужно было колоть и грузить в вагоны. Работа мерзейшая, производится только ночью — по причине своей вредности. Работают, обвязавши лицо полотенцем и тряпкой, так как пыль от смолы, попадая на лицо, вызывает разные кожные болезни в виде прыщей, угрей и прочей пакости.

Бросил работу на заводе и уехал километров за 50 на пробивку новой шахты. Не понравилась жизнь эмигрантов в этом городе. Были они у себя дома темны и забыты, а здесь попадают в руки темных дельцов, лавочников, салунщиков и квартирных хозяев. Свободное время проводят в картежной игре и пьянстве.

Подзаработал деньжонок, купил билет и поехал на Запад. Нырять из туннеля в туннель, поезд пронесся по берегу Верхнего озера. Осталась позади столица Канады Виннепег. Прорезал поезд Скалистые горы и на берегу океана остановился в городе Ванкувере. Нужно ехать на остров Ванкувер в город Викторию. Разыскал пристань и залез на пароход.

Сел, осмотрелся и струсил — обстановка не для третьего класса. Ездил раньше по реке Вятке в третьем классе среди бочек рыбы, кип колья и прочих густо пахнущих грузов. А здесь мягкая мебель, ковры, зеркала, всё блестит. Ну и думаю, что попал с билетом третьего класса — в первый. Идет офицер и спрашивает билет. Отдаю и жду. Вот сейчас возьмет и выведет. Нет. Посмотрел билет и пошел дальше.

Утром приехал в Викторию».

На этом записки дядюшки моего Ивана Михайловича кончаются. Собственно говоря, это всё Михаил Михайлович с его слов записал («на основании писем и документальных данных» — так сказано об этом в газете «Кировская искра», где в 96-м году дали переложение «Записок»). Работал он в районном отделении Госбанка, разъезжал по колхозам-совхозам, простудился зимой, слёг. Болел тяжело (у него ж ещё старая болезнь легких, миокардит, последние годы еле двигался, да тут воспаление легло «сверху»). Шла война, декабрь 1944 года, лекарств — никаких... Медсестра пыталась ставить банки, но они не держались на тощей спине. Бабушка моя Саша, а его мать, стала уж собирать похоронное белье, но сама в ту же ночь померла. Долго сидела на кровати, попросила деда надеть на нее валенки, накинуть полушубок (наверное, был гипертонический криз, когда лежать не вмоготу). Потом прилегла и скончалась. Мать услышала её стон (она с детьми спала в соседней комнате), подошла, бабушка силилась что-то сказать, но не смогла и испустила дух. Дед тут же ночью пошёл к тётке Нюре Пономарёвой, она прихватила с собой соседку Веру, бабушку обмыли, одели, положили на кровать (без постели, на доски, покрытые полотном).

Дядя Ваня лежал тут же, спросил, что случилось. Сказал: «Ну, к одному концу», попросил воды, вернулся лицом к стенке. Мать пошла на кухню затопить печь, хлопотала по хозяйству, поскольку было уже 6 часов утра. А когда вернулась к нему, то нашла его тоже мертвым. Снова пошли за соседками... Обмыли, одели, положили на кровать.

Мать вспоминает: «Мы с отцом окаменели от горя, но за нас никто ничего не сделает. Отец остался дома с детьми да с покойниками, а я пошла в отделение госбанка, где работал брат Иван: помогите в беде... Чем-то помогли (дали лошадь отвезти на кладбище два гроба с покойными). Могилу вырыли старики-соседи».

Остались фотографии и память. Дядя Ваня... Джон, как звали его после эмиграции братья и сёстры. Его брат Михаил писал как-то брату своему Владимиру, доктору наук: «Ты у нас самый умный, а Ваня был самый чистый душой...» Помню, долго лежали никому уже не нужные его канадские шляпы. Да... Не пользовался плодами революционной победы, не рвался к власти, как прочие эмигранты. Из губернского города Вятки переехал к нам в глухомань. Когда во время войны ссыльные чеченцы-ингуши украли корову, снял с книжки все свои деньги и отдал моей матери. (Ссылных кавказцев мать жалеет до сих пор: им тоже, мол, как-то жить надо было; их потом поймали, был суд, маме хотели отдать какую-то чеченскую или ингушскую шубу, но она не взяла.) Без коровы-то как? Трое детей, хлеб по карточкам... Помню, с каким наслаждением ели подсолнечный жмых, который как-то привез дядя Ваня из командировки. Однажды он сумел даже продать наш большой котёл-казан, точнее – обменял в колхозе на зерно. Потом купили нетель. Только вот не успел Иван Михайлович попробовать молочка.

Брат недавно вспомнил маленькие смешные подробности. Из любимых ругательств у дяди Вани: у, американская кукла! Видно, долго ему снилась Америка в определенном ракурсе. А в Казахстане появилась новая поговорка, иногда он бормотал её себе под нос: сарай ломай, гусей хватай, Мамед-оглы, хан ахватской орды...

Из его отношения ко мне, грешному... Мне было три года с хвостиком, когда он умер. Мать на закате дней своих вспомнила: «Он на тебя какую-то страховку оформил... а потом помер – и уж я про неё забыла». Спасибо, дядя Ваня. Наверное, ты иногда держал меня на коленях.

Они преставились в ночь на 21 декабря, а 23 марта сорок пятого победного года помер дед Михаил Гаврилович. Не дождался отца моего сержанта Степанова с фронта. Перед смертью страдал-маялся, положил дочери свою головушку на колени, попросил прощения — как и положено перед уходом. Попросил конфеток... Галинка, моя сестра, побежала было на базар, да её вернули. Уже не надо. Упокоился с миром раб Божий Михаил. В гроб положили его маленькую медную икону. Обрядить в последний путь помогла тетя Нюра, соседка, к которой мы переселились на лето через три года, когда нас выгнали из казенного дома.

Его обмывали, посадив на стул, и в это время он разговаривал со мной. Говорят, малые дети иногда могут общаться с миром иным...

Когда гроб положили на сани, одиннадцатилетний брат мой Женька схватил ружье, висевшее на стене, выскочил на улицу и выстрелил в воздух. Салютовал деду, старому солдату, отслужившему своё ещё в девятнадцатом веке. Лошадь с испугу чуть не опрокинула гроб... Вот так мать моя Мария Михайловна в три месяца похоронила троих.

Остались она одна с ребятишками, которым тринадцать, одиннадцать и три с хвостиком. Когда люди с кладбища пришли на поминки, я залез на скамью и встретил всех сообщением: «А у нас уже все умерли, только мама ещё не умерла!»

МАТЬ. Последние дни

Она жила со мной на земле ещё шестьдесят долгих лет и преставилась 28 января 2004 года. Но душа-то бессмертна. Добрая и умная моя мама. Никогда не кричала на меня, никогда пальцем не тронула. По-русски терпеливая, скромная, ненавязчивая. По-крестьянски самостоятельная: до последней возможности сама лазила на сундук, чтобы открыть форточку, хоть я и пилил её за такие штуки.

Недавно она ушла. Несколько последних лет держал её Господь в монастыре: плохо видела, плохо слышала, еле ходила – и про себя говорила молитвы – какие помнила. Да-да... Ещё в мае 2002-го стал громко читать ей “Откровенные рассказы странника духовному отцу своему. Из рассказов странника о благодатном действии молитвы Иисусовой”. Держал рот возле её уха, косил в книжку глазами. Сидели на диванчике в её большой комнате. Она потом стала молитвы на пальцах считать, простодушно сообщала о ежедневных молитвенных сотнях. Говорю ей: да ты не считай, тебе ж тяжело... В последний год стала отказывать память, всё спрашивала у сестрички моей Галины про окончанье богородичной молитвы. Уточняла...

Иногда произносила вслух:

Господи помилуй, Господи прости,
Помоги мне, Боже, крест свой донести...

Потом уж в её записной книжке я обнаружил запись: “Когда почувствуешь, что смерть уже близка, но сознание ещё не помутилось, вслух или мысленно нужно произносить: Господи, помилуй! Господи, прости! Помоги мне, Боже, крест свой донести!” И в другой старой маленькой книжке, где адреса и телефоны:

“БОБ. 20 окт. 1960 г. Получила письмо от Боба: “Сижу в Свердловске. Принят в артиллерию. Жду поезда. Видимо, поедем в сторону Ленинграда. Год учёбы в военной школе плюс два года службы обыкновенной”. Родной мой Боб, только бы не было войны, тогда бы я дождалась твоего возвращения домой”. “30 окт. Получили два письма из Л-да. Казармы. Как всегда (очень часто) мучит насморк, сенная лихорадка. “Хожу,

как сонная муха. Кормят плохо. Ребята всё время хотят жрать, я – нет”. Боб, Боб, как бы я сейчас накормила вкусно и досыта тебя. У нас полно мяса, молока... Его адрес: Ленинград, К-32, 24-я школа арттехников “А”. Здесь же и другой мой “военный” адрес: Московская обл., Звенигородский р-н, п/о Голицыно, в/ч 23626 “Г”. Это – дивизионная артмастерская, ДАРМ, Таманская дивизия...

“ЖЕНЯ. 20 октября 1960 г. Вечер. Только что уехал Женя – поездом до Свердловска, а там самолётом до Калининграда. Снова мы одни остались с папой. Сердце разрывается от тоски. Сыны мои родные, будьте живы, здоровы, и тогда мы вас дождёмся”.

“ГАЛЯ. Галя, милая моя доченька, жизнь твоя пока что идёт гладко, без особых надрывов, а потому я за тебя спокойна. Пусть бы и дальше у тебя шло всё своим чередом, были бы здоровы дети, Валентин, а главное – ты сама, родная моя. Как вы все мне дороги, каждому своё место в сердце”.

С каждым месяцем всё сокращалось время, когда она сидела на своём диванчике. Даже и там часто дремала. Галя в самом конце декабря, на святого Симеона Верхотурского пошла к причастию, и, кажется, это был последний день, когда мать встала с постели. Она и раньше всё говорила: не мучайте меня, не поднимайте... С тех пор почти всё время дремала, иногда говорила мне: посиди... Я брал её за руку, садился рядом на маленький стульчик.

После Рождества, 9 января, позвал отца Александра Игонина из ближней церкви. Галя сообщила матери: завтра, мол, причастие.

– А я скажу: грешна, бабушка...

Отец Александр был добр – пришёл с помощником и причастил рабу Божию Марию в последний раз. Земной жизни её было 94 года (недели не хватило до дня рождения, ушла в один день со свекровью моей сестры Евдокией – только с разницей в семь лет). Дня за четыре до ухода не смогла уж ходить и по малой нужде. Врач “скорой помощи” научила помогать катетером (такой узенькой трубкой). Это тяжкое дело взяла на себя моя дочь (глаза бояться, а руки делают)... Благодарю тебя, Юля, да возблагодарит тебя и Господь. В последнюю ночь мама стала дышать с хрипом. Молился и плакал, плакал и молился... И в конце концов Бог надоумил: стал поить маму с ложечки крещенской водой. Малое причастие... Господь оставил ей способность пить крещенскую воду чуть ли не до последних минут. И хрипы прошли. Слава Богу, ведь так было жалко... В последний раз напоил её с ложечки в полшестого утра, когда из моей комнаты пришли Галя и Рита мне на смену. Пошёл подремать, но скоро Юля прибежала за мной: у бабушки останавливается дыхание... Пошёл и стал читать последование по исходе души от тела. Читаю и плачу... Поцеловал её последним целованием – ещё тёплую, горячую мамку мою.

Последнее лето и весь сентябрь мы с ней и Галиной жили в деревне, а уж где-то зимой (наверное, в ноябре или декабре) во время очередного сидения на диванчике она рассказала мне свои последние сны: приходит ко мне отец с матерью – покормлю их... приходит отец твой Иван Трофимович – покормлю... приходит Маша – тоже накормлю хорошенько... Всех накормила, а скоро сама к ним собралась.

Евгений, брат, тоже увидел сон перед её уходом: наш большой казённый крестовый дом в далёком Щучинске, он идёт из маленькой комнаты, где когда-то жили дед с бабушкой и дядя Ваня... там лежат часы, много часов – и все стоят... через большую комнату идёт на кухню, а там встречает мать – весёлую, жизнерадостную.

Да, время её остановилось – и она шагнула в вечность, где иные единицы измерения. “Времени больше не будет...” Там нет земной длительности, нет изменений, а потому надо успеть изменить себя к лучшему здесь. Думаю, два молитвенных, “монастырских” года ввели мать в Христовы обители. Даже и радио совсем не слушала. “В чём застану, в том и возьму”.

Сорок дней читал псалтирь и заукойный канон... В конце февраля начался Великий пост с его родительскими субботама, а сороковой день выпал на воскресенье, когда мать совершила чудо. Думаю, что именно она совершила, по её молитвам во время поминальной трапезы мой племянник Дмитрий и жена его Людмила согласились принять крещение – и действительно крестились в Храме-на-Крови. В великую субботу.

Разбирая крошечный архив своей матери, нашёл её листочек:

“Боря, сын мой дорогой! Юля, Павел, Антон, Алёна, внуки мои милые! Оля, Таня, Машенька, Наташенька, правнучки мои любимые! Чувствую я, что приходит конец моему жизненному пути и хочется мне сказать вам последнее прости и поблагодарить вас за то, что вы есть. И за всё хорошее и доброе, чем вы меня все окружили.

Боря, прости меня за то, что тебе достался крест забот обо мне до конца дней моих и несёшь ты его терпеливо, с теплом и заботой обо мне. А Юля, Паша и девочки тебе во всём помогают. Спасибо вам всем! Я согрета теплом ваших сердец и вашими заботами. Спасибо и Алёне с Антоном за их доброту. Дай Бог всем вам здоровья, благополучия, мира и счастья! Да хранит вас Бог! Не поминайте меня лихом. А когда я буду в вечной обители, то пусть к ней не зарастёт ваша тропа. Не забывайте и деда Ивана.

Оля, Таня, Машенька, Наташенька, растите здоровыми, добрыми-добрыми, трудолюбивыми.

Простите и прощайте – ваша любящая вас мама, бабушка и прабабушка”.

И ещё один листочек: “Есть только миг между прошлым и будущим, и этот миг называется – жизнь! Долго я жила (теперь уж не живу, а доживаю), но кажется, что прошёл не век, а только миг. Одна надежда на то, что впереди ждёт жизнь вечная. Господи милостивый, прости мне грехи мои и даруй жизнь вечную. Раба твоя, Господи, Мария”.

Боже, буди милостив нам, грешным. Отпевал её в Свято-Никольском приделе Иоанно-Предтеченского храма отец Василий. Я окропил крещенской водой и дно её могилы.

ВОЙНА И ПОСЛЕ...

«22 июня 1941 года был выходной, мы с Иваном Трофимовичем и детьми пошли на озеро купаться. Возвращаемся домой, а брат нам сообщает: началась война... Как-то сначала и не верилось, а потом решили, что всё это ненадолго. Так верили в мощь нашей Армии и Государства. Когда же призвали в армию знакомых и друзей, когда очередь дошла до моего Вани, то пришлось поверить, что эта беда для всех всерьёз.

Его призвали в апреле 1942 года, когда третьему нашему сыночку было всего полгода. Он родился 6 ноября, в день иконы Богородицы Всех Скорбящих Радость. Нарекли Борисом. Немцы тогда уже дошли до Москвы, а потому появление третьего ребенка в семье, когда отца должны вот-вот призвать на фронт, особой радости не принесло. Но и нежеланным он не был, только страшно было за него – что ж его ожидает в ближайшем будущем...

Мы, женщины, проводившие своих мужей на войну, верили в знамения и предсказания, особенно же доверяли малым детям. Вот и я частенько будила ночью малыша своего и у сонного спрашивала: «Боренька, наш папа жив?» Он неизменно отвечал: «Зив, зив...» А мне только того и надо, сыну я верила, и мы с ним снова спокойно засыпали. (Спал я с матерью; перед тем, как уснуть, искал мамину родинку на шее, брал её пальчиками и засыпал... её родинка – самое раннее детское воспоминание. Мать рано вставала, подкладывала мне Галину, а я начинал сразу же её исследовать... она говорит: очень был недоволен, не обнаруживши родинку.)

Вставать приходилось рано: надо подоить корову, истопить печь, детей отправить в школу и самой отправиться на работу. А с кем Борю оставить? После смерти деда мне предложили взять девочку из деревни, предложила её мачеха через каких-то знакомых. И я взяла себе в помощницы Машу, девочку лет пятнадцати, чтобы смотрела за малышом. Отдала её в вечернюю школу. Прожила она у нас года два.

Первый-второй год войны было ещё как-то терпимо – с кое-какими запасами зерна, муки. Потом всё подъели. Огород был маленький, на бугре, картошка росла плохо, хлеб – только паёк, и его приходилось делить каждому по кусочку. На маленького было больно смотреть. Сидит он, бывало, где-нибудь в уголке и сосёт большой пальчик. Был очень тихий, игрушек никаких, бабушка была слабенькая, ей уже не до колыбельных песен и не до сказок».

Отец пришёл с войны, когда мне было уже почти четыре года. По вечерам мы с ним заваливались на кровать, и он рассказывал сказку про Кузьму Скоробогатого. Это была такая радость, что помню и полвека спустя...

Сохранилось «сочинение» матери, которое она написала по просьбе правнучки Тани, школьницы, в 2000 году:

«Прабабушка Мария Михайловна бережно хранит свои трудовые награды — медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За трудовое отличие». Я спросила ее, за что она получила медали? Она ответила, что за работу учителем в школе. В войну было очень трудно работать, особенно когда провозовали уже год-два. Плохо было с учебниками, они не издавались, не до того было. Плохо с тетрадями, приходилось писать иногда на старых книгах, газетах. Одним словом, на чём придется. Авторучек тогда вообще еще не было. Писали ручками, стальное перо которых макали в чернильницу. Но чернил в продаже тоже не было, их приходилось делать из стержней химического (фиолетового) карандаша. Но и карандаши кончились в конце концов. Чернила стали делать из сажи или сока красной свеклы. Правда, они были плохого качества, пачкались.

Хлеб, крупы и другие продукты тогда выдавались людям по карточкам. Норма была недостаточная, чтобы есть досыта, а на голодный желудок трудно усваивать знания. Но всё же учились и усваивали — с помощью таких же полуголодных учителей. (Сестра моя Галина вспоминает: «В школе был киоск, где отоваривали карточки учителей. Нам на семью полагалась буханка чёрного хлеба ежедневно. А это мама, дед с бабушкой и трое детей. Уж так мы наслаждались этим хлебом... Я каждый день стояла в очереди».)

Учителя во время летних каникул должны были ходить в лес и там заготавливать дрова для школы. Пилили с корня, разделявали на части, подвозили к школе на колхозных быках. Много было с ними курьёзов, потому что ни одна из учительниц на быках до того не возила грузов. Отопление было паровое, но котельная стояла в школьном дворе и обогревала только школу. В каникулы учителя должны были подготовить здание к новому учебному году. Сделать побелку стен и потолков, покрасить парты...

Вместе с учениками они ходили летом на колхозные поля и огороды: то полоть, то собирать колоски во время уборки урожая. Конечно, за лето надо было и для себя заготовить дрова в лесу. Колхоз давал чаще не лошадей, а волов для вывозки дров. Бабушка рассказывала, как они маялись с этими волами, так как не умели ими управлять. Её отец Михаил Гаврилович, которому было под восемьдесят, ходил в лес по весне. Зимой сосны украдкой вырубали — так что оставались очень высокие пни. И дед их корчевал и вывозил на тележке. На ней же он всё лето возил домой шишки. И внукам давал под шишки мешок, когда шли купаться на озеро.

Бабушка вспоминает: «Военных зим было несколько. Помню, в одну из них я взяла в колхозе быка, и мы с отцом поехали по льду озера, вдоль ближнего берега – в надежде набрать сучьев. Зима только началась, лёд без снега, ноги у быка разъезжаются в разные стороны, идти он не может... Какие уж тут дрова, только бы быка не загубить. Вернулись ни с чем. А иногда ещё давали банковскую лошадь, чтобы дрова подвезти. Опять мы с отцом едем. Однажды нагрузили толстую сосну, лошадь в гору не может везти, останавливается. Отец (а ему около восьмидесяти) подпрягается к оглобле, тянет да хрипит: «Ну давай, давай, милая... Под горку, под

горку!» Это он лошади... А я еле ползу и помочь не могу. Отец был очень выносливый и необычайно трудолюбивый... А потом уж купили мы с братом телегу за 1200 рублей, чтобы запрягать в неё корову и возить на ней дрова и сено. Ваня снял 600 рублей с книжки, а я на 600 рублей продала кое-какие мужнины вещи. Но долго на корове ездить не пришлось – украли...»

(После войны однажды зимой я упал с забора на эту телегу. Вывихнул ногу и потом долго хромал. Тогда отец уже был дома, поставили новгородную ёлку, позвали в гости детей... До этого я никаких таких ёлок никогда не видел и поэтому, наверное, запомнил: я хромаю вокруг ёлки, а кругом дети.)

...Зарплату учителям давали регулярно, без задержки, но её хватало только на то, чтобы выкупить небольшой паёк. Муж прабабушки (наш прадед) был на войне с 1942 года и с боями дошел до Берлина. Он был не офицер, а сержант-радист, а потому пособие на детей бабушка получала маленькое. Пришлось даже продать кое-что из одежды мужа на базаре — в надежде на то, что он вернется одетый. Главное, вернулся осенью 1945 года живой и более или менее здоровый».

В 1942 году мой отец закончил школу радистов в казахстанском Петропавловске (мать возила меня туда еще восьмимесячным, вместе с отцом были там на покосе, ночевали в шалаше, меня шибко комары покушали, мать их всю ночь гоняла). Воевал, был тяжело контужен, награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и «За взятие Берлина». В Берлине второго мая был ранен в ногу. Про войну особо не рассказывал, помню лишь, как он чуть к немцам на телеге не заехал вместе с радиостанцией, потому что начальник нарисовал им с ездовым такой маршрут. Отец задремал и проснулся, когда немцы стали стрелять из минометов. Они завернули лошадё, а сами рядом с дорогой по полю - где бегом, где ползком. Вернулись к свином, а начальник выгасил пистолет и стал кричать. Хорошо, хватило ума ему не перечить. Он имел право застрелить на месте, хоть и сам виноват... Проорался - и на этом приключение благополучно закончилось. Слава Богу, благополучно... Ездовой-то поседел под пистолетом?

А про Берлин я недавно прочел у Андрея Эшпая, композитора: «В Берлине был ад. И даже после 2 мая, когда водрузили знамя. ...Люди, прошедшие всю войну, стали седыми. Они понимали, что война кончилась - а пуля, смерть гуляют. Ощущение примерно, как в игре в карты, я потом это понял. Если хотите выиграть - никогда не выиграете. А когда погибли мои друзья, и я согласился с тем, что и меня убьют, - я остался живой. Если бы цеплялся за жизнь, я бы погиб. В Берлине-то уцелеть - было чудом».

А вот ещё воспоминания писателя Василия Субботина, тоже вятчича, из деревни Субботинцы:

«СИРЕНЬ. Бои за Берлин, не прекращаясь, шли десять дней и ночей. Десять дней и ночей мы не спали. Держались на одном только напряжении, да ещё, пожалуй, на коньяке и спирте. Хорошо, что немцы оказались запасливыми!

Мы двигались к центру по заграждённым улицам - не через город, а сквозь него. Гимнастёрки наши пропахли дымом, и мы все были грязны, грязны и осыпаны красной – кирпичной и белой – известковой пылью. Как каменщики, сошедшие с лесов.

Десять дней и ночей никто не спал. Напряжение и усталость были так велики, что мы едва держались на ногах. Потому в полдень 2 мая, когда Берлин пал, когда стало тихо, – мы ничего не осматривали, мы даже к Бранденбургским воротам не пошли. Мы – спали! Спали все, солдаты и командиры. Тут же, возле Рейхстага. Спали – вповалку. Прямо на площади. Голова к голове. Без просыпу. Два дня!

А когда проснулись, сразу же начали приводить себя в порядок. Вот передо мной снимок. Все умытые, чистенькие, в чистых гимнастёрках со свежими подворотничками. Офицеры! И у каждого – ветка сирени в руках. Берлин лежал в развалинах, горел. А на развалинах буйствовала сирень. Везде, на всех углах цвела сирень. И мы ходили как пьяные. Ведь мы были мальчишками. Я начал войну с первого дня на западной границе 20-летним танкистом.

...Жизнь вся уже позади, а я всё ещё, как будто и не было другой жизни, смотрю туда, в войну, во вчерашний день. Что я там пытаюсь высмотреть, разглядеть?» (ЛГ. 2006. №5 (6057)).

Сохранились у матери письма.

ПИСЬМА ОТЦА

«Здравствуйте, мои дорогие. С утра решил черкнуть несколько слов о своём житье-бытьё. Усиленно готовлю кадры, которые так необходимы сейчас. Из наших ребят, бывших курсантов, осталось четверо, остальные все уезжают сегодня. Нам приходится заниматься усиленно, учитывая возможность досрочного выпуска младших командиров. Надеюсь, что оправдаем доверие, оказанное нам.

Муха, как хотелось бы хоть денёк побыть дома, среди вас, мои дорогие. Посмотреть на Бориску, как он вышагивает по комнате, как он, спотыкаясь, торопится к папке из угла комнаты, показывая свои восемь зубов... А папка берет его на руки и взмывает до самого потолка, и целует.

Хочется видеть Женю, серьёзно сидящего за столом с книжкой, не желающего умываться и учить арифметику. И старшую умную дочь Галю, ухаживающую за Бориской, помогающую матери и дедке по дому. Устаёт она, бедная девочка, но что поделаешь, такая её судьба. Ничего, вот кончится война, возвратится папка домой, мамка не будет работать, будет сидеть дома, и ей, моей умненькой дочери, будет полегче. Главное – счастливый исход войны, надо победить как можно скорее проклятых людоедов и тогда восстанавливать нашу счастливую жизнь.

Маша, как твоё здоровье. По-моему, ты устаёшь от непосильной работы, от ежедневного напряжения. Но что поделаешь, такое трудное время переживает страна. Вот вспоминаю о друзьях Мурычеве и Фед. Вас.,

о шумно проведенных днях вместе с ними. О вечно смеющемся огромном Мурычеве, всегда как будто легко-мысленном, не вникающем в будущее. Федор Вас. похитрее Филиппа, но безупречный товарищ... Неужели их нет уже в живых, неужели можно было себе представить это года два тому назад. Не хочется этому верить, и я не думаю о их смерти. Надеюсь, что после войны мы ещё раз встретимся, сойдемся вместе и вспомним о наших днях.

Чем закончится мой поход – тоже дело будущего. Каждый надеется на хороший исход... Ну, как будто наяву поговорил с тобой, моя дорогая. На душе стало опять полегче. Сейчас есть время писать, но скоро, вероятно, этой возможности не будет – буду сообщать лишь о своём здоровье. Этот момент наступит, наверное, в ближайший месяц. Дело идёт к тому. Заканчиваю, сегодня иду опять в наряд... (Это письмо из Петропавловска, из школы радистов. На фронт отец попал в конце сорок второго. А Мурычев был и после войны жив-здоров. Помню, как в какой-то праздник он танцевал с моим отцом под патефон. Мне отец тогда казался огромным, но рядом с Филиппом Мурычевым он выглядел мальчишкой. Хорошо запоминается всё эмоционально окрашенное. Вот и я, наверное, запомнил это своё удивление.)

5 июля 1943 г. ...Хочется отправить тебе часть моего сердца, моей души. Чувствуешь ли ты это вот, когда читаешь мои короткие весточки отсюда с фронта, вот из этой землянки, промоченной насквозь дождём? Когда я читаю твои тёплые, милые письма, спазмы сжимают горло, а после становится легче на сердце. Вот только голова меня изводит совсем, сколько она приносит мучений... Вот уже четвёртое лето... И когда это кончится... После войны придётся основательно себя ремонтировать.

Установилась погода, появился опять непрерывный гул самолётов, взрывы, усилилась артиллерийская канонада. Немец, слышно, подтянул на нашем участке фронта войска, желая, видимо, создать преимущество. (Это где-то в районе Курской дуги. – Борис) Пусть попробует, мы его проучили основательно. Да, уж вторая половина года, время летит быстро, его не удержишь.

Дорогая моя, как ты себя чувствуешь, как твое здоровье? Ты уж, пожалуйста, не скрывай от меня ничего, это будет лучше. Как чувствуют себя детёныши, как здоровье Галинки, моей умницы и маминой помощницы? Ходит ли она проверяться к Халло, какие результаты? Ты уж следи за её здоровьем. Ну, а Евгений, наверное, чувствует себя великолепно, вот только слух у бедного мальчика... Смотри за этими рыбалками, лодками, купаньями – от них ничего хорошего – для его ушей. Очень доволен поведением и резвостью моего маленького медвежонка Боба. Я мысленно представляю, как он передвигается, как преодолевает препятствия в виде порогов и ступенек, как он старается убежать, когда его необходимо водворить в дом против его желания. (Я действительно до сих пор помню упоительный ВОСТОРГ, с коим мчался зимой под горку, – маленький колобок, уходящий от преследования... Дед меня однажды даже привязал за ногу к кровати – в наказание, чтоб не повадно было. – Борис.) Вот только плохо представляю, как он сидит за столом и кушает. Самостоятельно или на коленях у матери – и питается с её помощью? Представляю бабу, тихо движущуюся по комнатам, улыбающуюся на проказы Боба. Дедку, покрикивающего на него, – мешает в работе. Вот только сам папка не имеет возможности побаловать его, повозиться с ним на лужайке, сидя вместе со своей ненаглядной Мухой. Когда это всё будет обыденным и доступным?

Перед тем, как писать, проглотил аспирину, голова немного успокоилась. Но погода сырая, ноги волглые, из носа бежит, знобит. Вот из-за этого не люблю его принимать. Через несколько минут надо работать, а после этого моя голова совсем разваливается. Особенно трудно работать ночью и легко – после 4-х часов утра.

Ну, надо заканчивать, время моё выходит. Так хорошо поговорил с вами и стало полегче. С работой дневной справился, завтра закончу совсем (я тебе писал, что поручили чертить сложные схемы)... Ваш папка.

11. 09. 43 г. ...Тоска на сердце – весточки давно нет. Эти дни особенно ждал, но напрасно, нет счастливого денечка. Я жив и здоров, чувствую себя хорошо. Вчера нервы немного шалили после случая с неразорвавшимся снарядом. Хотя, когда они начинают рваться невдалеке, так и думаешь, что опять угодит к нам в блиндаж.

Стоим пока на старом месте, но, может быть, сегодня рано утром двинемся вперед, на запад. Погода прохладная, ноги холодные. Сижу без движения восемь часов, а потому ноги коченеют, от земляных стен несёт холодом. Сегодня в блиндаже устроили печку, топлю, немного теплее, вот только до ног не доходит.

Вчера, ложась спать, надеялся увидеть вас во сне, но ничего похожего, лезет какая-то чушь, да и сон тревожный. После работы должен бы спать как убитый, но этого нет. За три часа до завтрака, которые приходится спать, просыпаешься несколько раз. Хорошо, что днём удаётся отдохнуть, наквитать потерянное. А молодёжь спит крепко, иногда умудряются на дежурстве, за что, конечно, по головке не гладят.

Вселили кого к вам в кухню? Как вы с ними ужились?

(К нам вселили тогда пани Пантофеличевская с дочкой Басей-Барбарой, моей ровесницей, с которой мы потом спорили, кто главнее – генерал или полковник. И качались на качелях – в дверях между комнатами. Пантофеличевская – значит Туфелькина. А у соседки тётки Даши в её однокомнатной избе поселилась пани Колодная, которая сразу почему-то заявила: «Я не еврейка, я жидовка...» Все они добежали до Казахстана из польских местечек – наверное, из Западной Белоруссии и Украины. С тёткой Дашей тогда жили её дети: Лида, Виктор, Антонина и мой приятель Вовка. А муж Георгий уже погиб на войне, может быть в сражении под Прохоровкой – он был танкистом. Помню прозрачную крышу над хлебом; потом жерди зимой накрывали навозной подстилкой – с соломой, чтобы корова не замёрзла. Летом после покоса мы там с Вовкой валялись на сене. Он давно помер; упокой, Господи, его душу. – Борис.)

Как обстоит дело с русской печкой? Детёныши, наверное, уже ходят в школу? Очень жаль, если Евгению из-за обуви придётся пропускать школу, неужели нельзя что-нибудь смастерить?

Не успел закончить вчера, продолжаю разговор на следующий день. Как всегда, сегодня ждал весточки, но, как всегда почти, напрасно. К ужину принесли письмо, думал – от тебя, сердце как-то забилось, но оказалось – от Михаила Михайловича. Наконец-то он получил от меня хоть одно письмо, вероятно последнее, которое я писал, когда уже были в бою. Письмо это посылаю вам, мне всё равно его сжигать.

(То письмо не сохранилось, но есть другое:

7.04.1945 г. Маруся! Бедная моя маленькая сестрёнка! Получил от Саши твоё письмо о последних минутах отца. Ты больше всех нас пережила, всех больше выстрадала за эти тяжёлые три месяца (когда умерли мать, отец и брат Иван Михайлович). А отец до последней минуты своей смертной думал о детях и заботился о них. Даже обо мне не забыл. Удивительные наши родители, Маруся! Это действительно люди большого сердца! Всю жизнь свою прожили в каторжном труде, отказывали себе во всём, зачастую даже в самом необходимом, всю жизнь думали о детях своих, и умирали с мыслью и заботой о них. Люди старого закала. Как мы мелки и мелочны по сравнению с ними! То же можно сказать и о старшем брате нашем, покойном Ване. Я благоговею перед его памятью, горжусь каждым шагом его прожитой жизни.

Всё, что они делали в жизни, было благородно и имело своё оправдание. Как тяжело говорить о них в прошедшем времени... Мне особенно трудно представить их мёртвыми. Иногда мне кажется, что это какая-то страшная ошибка! Да это так и есть: страшная ошибка жизни, из которой в первую очередь уходит всё лучшее, всё честное, всё прекрасное. Мне так хотелось их видеть, хотя бы попрощаться с ними. А вот не пришлось. Едва ли увижу я даже могилки самых близких моих... Когда-нибудь ты попроси фотографа заснять эти три дорогие нам могилки, три свежих глиняных холмика на голом шихане пустынной и печальной казахской степи. Там нет ни деревьев, ни кустарника. Одни голые могилки желтеют. Да случайная ворона, пролетая над ними, дико каркнет и, пугаясь своего крика, быстро улетит прочь. И опять воцарится тишина... Тяжело, Мария. Ох, как тяжело...

Саша плачет о детях своих. А чем ей помочь? Чем утолить тоску матери, у которой отняли всех её детей? (Слава Богу, все три сына моей тётки Саши – Александр, Николай и Анатолий – вернулись с войны домой.)

Медленно, но непрерывно кровоточит моё сердце. Мне уже не забыть обиды жизни, не забыть того, что со мной сделали. Человек я только с виду, а внутри у меня всё измято, перемолото. Осталось мне не жить, а только доживать и, полагаю, недолго. Всё произошло так быстро и неожиданно. Я только собирался жить, ожидая чего-то хорошего от жизни, а она уже прошла мимо меня. (Дядя мой Миша оставил на войне свои ноги.) Надеюсь, дети наши будут счастливее родителей. Мои трое учатся. Малыш в детсадишке. Надя (жена) в больнице вместе со второй дочерью – в связи с её появлением на белый свет.

Что произошло в семейной жизни Володи, я так и не понял. От Трофимовича имел письмо довольно давно. Надеюсь, ты получаешь от него более свежие новости. Пока судьба хранила его.

Не тужи, сестрёнка! Твоей жизни ещё много впереди. Хочу просить тебя, посмотри в переписке Джона нет ли адресов Васильева и Дермана, его канадских друзей, с которыми я переписывался лет десять тому назад. Хочу попросить их помочь мне с протезами.

Дыши глубже, голову держи выше, смотри веселей! Привет тебе и детям от всех нас! Твой Михаил.)

15.07.43 г. Голова успокоилась, и захотелось поговорить с вами, используя свободную минуту. Погода пасмурная, с раннего утра моросит дождь, на душе тоже пасмурно. Скучаю по дому. Сейчас опять перечитал дважды твоё последнее письмо, полученное вчера. Сегодня уже не жду, поскольку не может быть подряд два дня.

Опять на сердце дума о вашем житье-бытьё, о ваших трудностях, о том, как ты устаёшь, моя родная. Думал и о людях вроде Евсепьева... Ну что им нужно? (Это заместитель отца в госбанке, который его «подсиживал» – пока после войны не отправил в лагерь, воспользовавшись, естественно, его послевоенным равнодушием к спиртному.) Да, я прост, доверчив, но, по-моему, в дружбе я ещё не ошибался. Мои друзья в Щучинске: Напалков, Мурьчев, Белоусов, Гудожников – все хорошие люди. А остальные – люди случая, это моя слабость, в чём ты была совершенно права, упрекая меня.

Да, во время суровых испытаний я, кажется, стал разбираться в людях, на что раньше не обращал внимания, подходя к каждому с одной меркой – по своей душе. Это была большая моя ошибка, которую постараюсь не повторить.

Не покидает дума о положении Михаила Михайловича. Бедный человек, как может сложиться судьба... Была бы возможность передвигаться с протезами, тогда бы ещё ничего.

Мы по-прежнему стоим на старом месте. Последние известия радуют, наши союзники стали действовать решительней. лето должно решить исход войны в нашу пользу. Только что получил письмо от Гудожникова, он в соседней со мной части. Письма от него идут очень быстро – один-два дня. Пишет, что из дома не получал с полмесяца. Очень хочет встретиться, но я такой возможности не имею, может у него получится. Вот видишь, дорогая, находимся друг от друга в каких-нибудь десяти-пятнадцати километрах, а встретиться невозможно. Думал, что весточка от тебя, даже сердце забилось, потом смотрю – «секретка», значит – от какого-то служивого...

Что-то молчит Вениамин Белоусов, я ему послал два письма, а от него получил маленькую открытку. Жду ответа от Владимира Михайловича, а может напишет и сам Михаил Михайлович. От Саши получил два письма, чувствуется, что живёт неплохо. По крайней мере, забот стало меньше.

На этом заканчиваю, до свиданья. Пиши мне, моя любимая, я оживаю от твоих тёплых и приятных сердцу слов, один твой почерк приводит меня в волнение. Дорогие, милые письма...

15.09.43 г. ...Целый день рыли себе блиндаж. Надо заканчивать, делать на... (стиль? или на-кат? – письмо надорвано). Впереди водный рубеж Д-на (Десна?), которую придётся форсировать, хотя на другом участке фронта её уже преодолели, и там идут ожесточенные бои, что видно из сообщения Совинформбюро.

Как живёте вы, ты что-то ничего не пишешь, моя дорогая, как дело обстоит с сеном и зёрнышками, помогает ли записка Еф. Анд., обещает ли что директор МТС, которому я писал письмо? Детёныши, наверное, ходят уже в школу, ведь Галинка пойдёт в пятый класс, совсем большая дочь.

Пишет ли Филипп Николаевич, я от него получил одно письмо из Самарканда. Слышно ли что о Фёде Вас.?

18.09.43 г. Сегодня рано утром с завтраком привезли мне две весточки. Целый день для меня был счастливым. Вот они лежат передо мной, я их перечитал уже много раз – всё думал, не пропустил ли какое слово. Весточки от 31.08 и 1.09.43. Получил вчера письмо от брата Михаила. Он тоже воюет, сейчас на кратковременном отдыхе. Передаёт привет тебе и племянникам, ведь он знает, кажется, только одну Галинку. Пишет, что она, наверное, уже большая, помнит ли, говорит, «Мишту»? Ивану Михайловичу я пишу от чистого сердца и очень ему благодарен за внимание к вам. Возвращусь – постараюсь отблагодарить (дядя Ваня его не дождался, умер в декабре 44-го).

Сейчас только вечер – 21.30, тихо-тихо. Наша артиллерия подтягивается к переднему плану, наутро, вероятно, пойдём в наступление, будем опять двигаться вперёд, а то уже третьи сутки стоим на одном месте.

Вчера ходили в баню, в которой не были с того момента, как купались в речке (я тебе писал). Попарился изрядно, хорошо помылся. После бани как раз привезли обед, по 100 гр. водки (в честь форсирования реки Д.), после чего я так крепко заснул, что спал до 20 часов (шесть часов), а потом вступил на дежурство. Удивительно удачный день, таких ещё не было.

В огородах много брюквы и репы, картофеля, свеклы. Сами не варим, хватает. Правда, репу едим. Много хлеба и картофеля в поле. Не знаю, сумеют ли убрать. Удивительно как-то смотреть на мелкополосицу, ведь у немцев каждый заседал для себя. Единоличные хозяйства.

Городов наша часть не брала. Мы движемся мимо. От Ельни мы, например, сейчас километрах в пятидесяти, впереди город Росл-ль. А всевозможных населенных пунктов заняли очень много, есть и райцентры. От железнодорожной линии с начала операции мы всё время удаляемся и сейчас находимся далеко. Немец отступает, очень боится окружения. Группы, не сложившие оружие, уничтожаются, истребляются до единого фрица. Пришёл и на нашу улицу праздник.

Родная моя, я перевел тебе немного денег: 24.07 – 80 рублей, 20.08 – 100 р. и 5.09 – 100 р. Получила ли ты их? Это хоть детёнышам на кино пригодятся, а мне они абсолютно ни к чему.

Погода стоит холодная, особенно утром. Рад очень твоим успехам в учебе, я тоже не отстаю от тебя, работаю несколько не хуже тех, кто имеет двухлетний (и более) опыт. А для меня ведь это дело фактически совсем новое. Но это даётся тоже нелегко, необходимо большое напряжение и внимание, а главное – хладнокровие. Не теряться, что дорого в бою. Нужно отдать справедливость моим нервам, они меня не подводят. Надеюсь, что не подведут и дальше. Постараюсь честно исполнить свой долг перед Родиной.

Перевалило за полночь, уже 02 ч. 17 мин., настали новые сутки, уже 19.09.43 г., время движется всё-таки быстрее, чем хотелось бы. Хочется скорее на запад, скорее к финишу, к полной победе, а потом увидеть вас, обнять, поцеловать и быть всё время с вами. Скоро, скоро должен настать этот долгожданный день. Чувствуется усталость от войны. Представь себе, вечно нервная напряжённость, ни одной минуты вольной жизни, всюду казённая военная обстановка. Редко приходится разуваться. Вот только на остановке разуешься, проветришь и перевернёшь другим концом портянки. Спишь – когда и сколько придётся, где и как придётся, укрывшись с головой шинелкой. Горе, что у меня ещё ноги длинные, не уйду весь под шинелку. К зиме нет носок, может выдадут. Старые ещё весной прохудились, их коих один прогорел, и пришлось их выбросить. Эх, как бы сейчас поспал раздевшись, на мягкой кровати, под головой мягкая подушка, а не мешок вещевой с разными кружками и ложками. И рядом с тобой дорогое существо... (Маша, моя жёнушка, два месяца перед уходом лежала неподвижно. Говорит: «А ведь недавно могла на бочок повернуться, руку под щёчку... или закрутить твои волосы себе на палец... казалось, не отпущусь никогда... а вот и отпустилась».)

Заканчиваю, скоро смена, пойду отдыхать, а у тебя, дорогая, уже начался трудовой день.

10.10.43 г. ...Глядя на фотографию, хочу мысленно представить себе, как выглядят сейчас детёныши, особенно маленький Боб, но ничего определённого не получается. Я его всё ещё представляю таким малышом, каким я его видел в последний раз, каким я его укачивал в коляске и ждал его пробуждения, зовущегося к папке на руки. И как мы с нетерпением ждали маму, долго не возвращающуюся из школы. И увидавши в окно идущую из подгорья маму, мы оба стучали ей в окно, обращая на себя её внимание. Да, младшему сыну скоро будет уже два года, а на фото ему было полгода с небольшим, разница порядочная.

Вечером, лежа в сене, закрывшись с головой в шинелку, хочу представить вас всех за столом при свете лампы.

(Электричество было тогда только в начальственных домах в центре города, а у нас до войны – керосиновая лампа, по праздникам же – висящая под потолком большая “семилинейная” лампа. Однако в войну и это изобилие прекратилось, еле горели фитильки в каких-то плошках.)

Семечек, наверное, нет, а то бы наша мама грызла их беспрестанно, держа пред собой книгу. Боб лазит около неё по стульям, толкает, не даёт заниматься старшим детёнышам. Евгений отмахивается и сердито ворчит на него, Галинка забавляется. Наша мама мельком взглядывает на эту картину... Недостаёт только папки, мирно лежащего на кровати и слушающего радио.

Да, папка вот сидит в маленьком, тесном блиндаже, полускорчив ноги, а наверху грохот разрывов, в стороне стрекочут пулемётные очереди. Как сурова действительность и какой она ещё будет дальше. Будем надеяться, что не хуже той, которая была и есть в настоящем.

Вчера принесли мне квитанцию на переведённые вам 100 рублей, а мне оставшиеся 23 р., так как два рубля ещё берут за перевод. У меня уже скопился капитал – 57 рублей, который может быть использован при первой возможности. Вот нет бумаги, карандашей (большая часть отцовских “весточек” писана карандашом) и “секреток” (это, видимо, такие конверты). При первом же появлении их я, конечно, постараюсь приобрести. Плохо дело с табаком, стали выдавать с переборами – да ещё лёгкий, которого хватает на половину срока. Хорошо вот вчера подзапасли самосаду, наготовили сами из листа, извлечённого с чердака. Хоть слабоват, но ничего, дым есть и ладно.

Ну, кажется, наговорился, отвёл свою душу. Пиши, моя радость, чаще, я так жду твоих милых, дорогих сердцу весточек, они согревают меня в ненастную холодную осень...

13.10.43 г. ... Два дня папка, кажется, не говорил с вами, не было возможности, были на марше вдоль фронта. Весточки от тебя не было уже давно, хотя, кажется, и почты за это время не было, отстала где-то или сдвигается в роту, в которую мы не съездим.

Погода стоит хорошая, однако ночи ужасно холодные. Главное, они сказываются на ногах. Когда сидишь на одном месте, ноги коченеют, из носа бежит – спасенья нет. Сейчас вот скоро утро, руки плохо пишат, а хочется написать побольше.

Местность здесь открытая, лесов и даже кустиков нет, всё высоты да овраги, в низменностях такие болота, что не выедешь, песок. В общем, местность паршивая. Вчера целый день активничала авиация с обеих сторон, сильные воздушные бои, от бомбёжек содрогается земля. Мы, кажется, снова вступаем в бой, стоим около самой передовой. Опять начинаются горячие денечки, как то они будут выглядеть. В лесистой местности и воевать как-то сподручнее, нежели здесь, – всё как на ладони. Целую ночь идут бои, враг упорно сопротивляется, задержался на водном рубеже.

С Гудожниковым я, кажется, опять оказался рядом, но время такое, что не до встречи. Пишем от него нет. (Это довоенный щучинский друг отца, муж Марии Трофимовны, учительницы, с которой была дружна моя мать. Мы с матерью однажды гостили у них зимой 1952-53 гг. Помню, как ломали с её дочками на спор куриную рогатую косточку. Я пятиклассник, а они постарше. Было весело. Они мне дали с собой в Златополье вальтерскоттовского “Квентина Дорварда” – новый для меня мир, жестокий и благородный, подлый и героический. Гудожников погиб на войне.)

Заканчиваю, нет времени, а днём невозможно писать. Даже и не знаю, когда сумею отправить это письмо, когда увижу почтальона.

Привет старикам и Ив. Мих. Пиши обо всём, как здоровье, как сеной и зерновой вопросы... 04 час. 58 мин.

4 декабря 1943 г. ... Вечера, ночь и день, был сильный буран, нас занесло. Для выхода из блиндажа по надобности приходилось каждый раз пробивать снег лопатой изнутри. Сегодня с утра ударил мороз, топлива нет, ноги в холоде дают себя чувствовать, нечего курить, не знаю, когда выдадут табак – без него «скучновато». Несмотря на всё это, чувствую себя хорошо, настроение бодрое, немного тревожит кашель, но эти все штуки, наверное, от ног, они день и ночь сырые и в холоде. Опять сравнительно тихо, если не считать обычных «дуэльных» операций артиллерии и минометов. С улучшением погоды, хоть и первый день, сразу появились самолёты. Зловещий гул и вой действуют неприятно.

5/X11. Начался новый день, кажется воскресенье и праздник, день конституции. Чем вы его отметите? У нас будет обычная боевая работа. Завтра, кажется, обещают немного табаку (пачку махорки на троих). Ну хоть понемногу будем дымить. Вот лучше бы не давали сахара, а отправляли в тыл для детей. Чай всё равно не пьём, а если и пьём, то очень редко, при наличии дров. Он уходит просто так, незаметно. Вместо чая напиваемся супом, вполне удовлетворяет качеством. Но это, конечно, временное явление, нет подвоза, бывают трудности (это, скорее всего, отец для военной цензуры приписал).

Скоро, может быть, выдадут валенки, если зима установится окончательно. Наступает утро, тихо, изредка протрещит пулемёт да слышатся отдалённые разрывы снарядов. Ложусь отдыхать на три часа, прошу после, всё равно к отправке постараюсь закончить.

Перед утром подул сильный буран, замело-запечатало совершенно. Поле, высота, дует со всех сторон. Кое-как пробил отверстие кверху, весь снег в блиндаж. Сыро, холодно, весь мокрый, где подсушимся... Невольно вспомнишь тёплый дом, уют. Ласковый, милый, дорогой твой взгляд, встречающий меня с работы. Или мы с Бобом смотрим в окно, ждём не дожждёмся, когда придёт из школы наша любимая мама. Мы стучим в окно, чтобы нас заметили, ты машешь нам рукой, счастливо улыбаясь.

Вот вбегает из школы Женя. Он замёрз, наскоро бросает как попало свою одежду, спешит согреться. Бабушка подбирает его разбросанную одежду... Приходит Галя, спокойная, раскрасневшаяся, рассказывает школьные новости. Собралась вся семья, накрывают на стол. После обеда папка ложится отдыхать с газетой – и засыпает.

Всё это вспомнишь – и только тяжелее на сердце. Кажется, уже никогда этого не будет. Кажется, вечно

будет эта тяжёлая, суровая солдатская жизнь. Знаю, мы дождёмся того дня, когда всё это останется позади, как кошмар. Мы будем только вспоминать об этом. Хорошо, что у вас есть дрова на зиму, и вы можете жить в тепле, а то было бы ужасно. Как дети, старики, Ив. Мих.?

Вот только откопались, а вьюга опять заносит, света не видать. Скоро должны привезти завтрак, покупаем супу с снегом вперемишку, а главное – табак. Отправлю это письмо с поваром в тыл, а там оно вечером должно попасть на почту.

Остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю, мои родные, дорогие, единственные.

7 февраля 1944 г. 00 ч. 15 м. ...Я жив, здоров и чувствую себя неплохо. Стоим пока на старом месте. Тихо, спокойно, с известными изредка «сюрпризами», но это уже нас почти не волнует, так как видали виды похлестче. Погода немного улучшилась, второй день как подмёрзло. Жилище наше начинает согреваться. В общем, жизнь становится сносной, а дальше видно будет. Отлично наши движутся на юге, почти выходят к границе. Появилась надежда на скорое окончание этой ужасной войны.

Весточки нет, хоть я теперь их часто не жду, зная твои «темпы». Отлично представляю дом, снежные сугробы у крыльца, всё тихо в доме, все спят, на большой кровати Боб, раскинув свои ручонки, свеженький, румяный. Старшие спят уже по-взрослому, утомившись за день. И только одна моя радость не спит в этот поздний час, сидит за столом одна и пишет мне письмо, изредка поглядывая на детёнышей. Вот настанет то время, когда ты, моя крошка, будешь прислушиваться к каждому стуку и скрипу на улице. И в один такой вечер появлюсь я в своём солдатском облачении – и сразу весь дом проснётся, сразу соберется в комнате вся наша семья. Вот тут-то наступит радостная минута, которую мы с тобой ждём сейчас. Крепись, мой друг, это минута не за горами, это будет рано или поздно.

Сердце сгорает нетерпением, а терпенья, сил и воли нужно еще очень и очень много. Впереди трудный и опасный путь. У нас есть ребята, которые с 1937 года в армии, пережили и перенесли первые этапы войны. Но они все холостые, им легче, нежели нашему брату – «старикам». На гражданке, кажется, не замечал своих годов, казалось – они стоят на месте, но здесь уже выглядишь стариком. У нас во взводе я занимаю третье место по возрасту (отцу было тогда 34 года).

Как то вы, мои дорогие, как сеной вопрос? У нас лошадь на полуголодном рационе. Как погляжу на неё, так невольно перед глазами картина вашего безкормия. Вот проклятая местность, как тут жили люди. Ни дров, ни сена, одни овраги и болота... В доброе время, говорят, топили торфом. Вокруг все посёлки совершенно выжжены, даже признаков жизни почти нет. Пожарище замело снегом, только изредка увидишь жителей, ютящихся в земле. Почему не уходят в уцелевшие посёлки – непонятно.

Наш брат солдат – обитатель в основном оврагов. Вот метрах в пятнадцати речушка – совсем на дне оврага, откуда черпаем воду. За речкой разбиты два больших колхозных яблоневых сада, ещё сравнительно молодых. А дальше за высотой наш враг.

Знает ли Ваня, что его семья прибавилась? Вот подлая женщина, каково ему, такому парню, ведь она его не стоит. У Даши Кирилловой не слышно ничего про Егора Ивановича? Где муж у Даши Калашниковой?

Крепко, крепко обнимаю и целую вас...

6 января 1945 г., 05 ч. 30 м. ...Возвращаясь из «путешествия», на которое я потратил двое суток, две бессонных ночи, имею возможность поговорить с тобой, быть с тобой, моя родная. Ездил от своей части на фронтную выставку, отражающую пройденный боевой путь 1-го Белорусского фронта – от Сталинграда до Варшавы. Впечатление осталось хорошее, хотя 16 часов, проведенных в машине в летней обуви и давали себя чувствительно знать. Но это позади, уже обогрелся и выспался. Сегодня или завтра окончательно перебираемся на новое место, о котором я уже тебе писал, а там... там то самое, чего мы ждём давно.

Чувствую себя хорошо, на здоровье не жалуюсь. Хочется одного: получить утешительную (конечно, не специально составленную) весточку, что со здоровьем нашего старшего сына всё благополучно. И я бы спокойно пошёл в бой.

Погода холодная, снега почти нет. Ночи тёмные, тревожные, напряжённые, настороженные – затишье перед грозой. Не волнуйся, если реже будешь получать мои письма. Это значит: «я спешу на запад, это значит – я к тебе спешу». А ты жди и надейся.

Как встретили новый год? Хоть отметили его чем-то? О себе я уже писал, что по сложившейся обстановке пришлось отметить его пораньше. Надеюсь, деньги, которые я перевёл раньше, ты получила. А те, которые перевёл днями, получишь к дню своего рождения – к третьему февраля. Хочу тебя поздравить, пожелать счастья и здоровья. Как чувствуют себя старики? Хоть они бы не болели и немного помогали тебе по хозяйству. Почему молчит Иван Михайлович? Я ему послал несколько писем. Хочется ещё говорить с тобой, мой друг, но времени нет, работы много. Будем надеяться, что наше счастье уже близко. Вы услышите о наших делах скорее, чем я смогу сообщить тебе. Пиши мне, Маша, при первой возможности...

12 февраля 1945 г. ...Тёмная дождливая ночь. Имею возможность поговорить с тобой, моя родная. Я жив и здоров, вот уже несколько дней стоим на месте. Ведём бои, расширяя плацдарм на западном берегу реки О... (Одер, вероятно). Дождливая погода, непролазная грязь очень мешают нам – ведь мы прошли с боями более четырёхсот километров, а это что-то значит. Прошлой ночью с одним из товарищей ездили на лодке на противоположный берег в город Л. Возили аккумуляторы, а главное – вынесли и перевезли на тот берег нашего боевого товарища, который был тяжело ранен. Но сейчас он доставлен в санчасть, а нам отрадно, что мы спасли ему жизнь. Ездили ночью, дождь, под обстрелом, при ледоходе. Шагали, искали по городу, который ещё частично в руках немцев. Вернулись часов в пять утра – уставшие, измокшие, но счастливые.

Живём в доме, в соседней комнате командир. Четверо спят, а мы вот двое дежури́м. Впереди предстоит самое трудное, ведь всего семьдесят километров отделяют нас от Берлина. Мы находимся на самом близком расстоянии от этого логова зверя. Думал ли я когда, что судьба забросит в эти края. Как то вы живёте, мои родные, мои хорошие. Ведь вам тоже много пришлось перенести... Но наше счастье не за горами, жди и верь в него твердо. Жди меня и верь твердо в моё возвращение. Дни врага сочтены, хотя зверь сам никогда не прыгнет в пропасть, его нужно столкнуть, и мы постараемся это сделать.

Вот у вас трескучие морозы, бураны, а здесь дождь и грязь. Как то вы перезимуете, как прокормите свою скотину. Хотя бы скорее вам дожждаться молока – стало бы гораздо легче жить. Как обстоит дело с рукой у сына? Это меня сильно волнует. Хочу, чтоб всё это закончилось благополучно. Как себя чувствует старый дед, как его глаз? Трудно ему, наверное, переносить утрату. Представляю себе это. Как много несчастий выпало в том году на нашу семью... Будем надеяться, что этот год будет годом счастья, хотелось бы этого.

Мои боевые дела идут хорошо и, наверное, будут отмечены командованием. Война не кончена, и наши награды впереди. Главная награда – это ты, моя родная, мои дорогие дети. Привет старому деду, пусть ждёт возвращения своего зятя (дед Михаил очень ждал, да не дождался, помер 23 марта)...

29 марта 1945 г. 01 ч. 25 м. Мой нежный друг, здравствуй! Здравствуйте мои любимые дети Галя, Женя и мой маленький художник Боб! (У меня тогда был рисовальный «запой»: испещрил батальными сценами даже и многочисленные тома «Малой энциклопедии».) Здравствуй мой старенький хороший дед! Давно собирался поговорить с тобой, моя милая, но обстановка не позволяла. Четыре дня подряд фриц свирепствовал, посылал тысячи снарядов. Кажется, не было свободного места на нашей «малой земле», но, как видишь, всё обошлось благополучно, солдат жив-здоров и чувствует себя неплохо. Сегодня пока первая спокойная ночь, не слышно разрывов, только трели пулемётов нарушают ночную тишину.

Стоят тёплые дни, ходим уже давно в гимнастёрках, деревья распускают листву. А у вас ещё мало признаков весны... Стоим на пороге больших событий. Когда получишь это письмо, мы уже будем под стенами Берлина, будем штурмовать... Наша стоянка кончается, нужно, видимо, заканчивать войну. Ну, Москва известит вас о наших походах. Пожелай мне удачи.

Жду ежедневно весточек, родная, но их нет. Утешаю себя, что у вас всё благополучно. Получил письмо от сестры Жени из Киймы. Она вышла замуж. Муж её Георгий Павлович Полыгалов, 1922 года рождения, из Перми-Молотова, мл. лейтенант, ранен на фронте, работает инструктором всеобуча в райвоенкомате, левая рука не разгибается. Прислали фото, парень, видимо, ничего. Она пишет: «невысок ростом, но хороший характер». Поздравил их и пожелал счастья. Евдокия (сестра) пишет из Кирова – учится и работает. Михаил (брат) после ранения пока всё в Горьком. Женя усиленно зовёт маму к себе, и я писал ей об этом. Геннадий (брат) на флоте во Владивостоке.

Много дум и много мечтаний – и все они связаны с окончанием войны. Придёт же наконец тот день, когда счастье улыбнётся нам...

10 мая 1945 г., 11 ч. 55 м., Эльба. ...С победой вас, родные! Вот и настал долгожданный день, к которому шли через ужасы войны. Всё позади. Как видишь, я сдержал свое слово. Для нас война закончилась, сейчас будем ждать приказа о демобилизации, дня возвращения на Родину. К вам, мои родные. Вчера отпраздновали радостный праздник, даже не верится, что смогли дожждаться этого дня. А многим не удалось услышать этого слова – Победа!

Сейчас пойдут самые тягостные, длинные дни ожиданий. Сколько это продлится, трудно сказать, но день нашей встречи близок. Ждите своего папку, он скоро будет с вами. Мой маленький Боб наконец увидит своего отца.

Мы всё ещё движемся, с союзниками встретились неделю назад – американцы. Привет друзьям. До скорой встречи. Крепко-крепко вас обнимаю и целую. Ваш папка».

Их часть всё лето стояла в Потсдаме. Эти письма нашлись в бумагах матери весной 2003 года, и я прочитал их маме в последний раз за полгода до... до её встречи с отцом. Я надеюсь: они сейчас вместе.

Мать пишет: «Мой Иван Трофимович появился дома в августе сорок пятого. Я, конечно, не знала точной даты его приезда и как раз в этот день занялась побелкой стен в нашем доме. Вдруг дети кричат: папа идёт! Выскакиваю из дома и вижу: из-под горки, от улицы Пролетарской к дому движется солдат с вещевым мешком, рядом с ним Евгений, а Галя бежит и виснет у него на шее. Я, конечно, тоже помчалась к ним. Встретили... Сразу застолье, прибежали соседки, их дети, шум, разговоры. Праздник!

С кормильцем жить, конечно, стало легче. Не стало у меня забот ни о дровах, ни о сене для коровы. Грустно лишь было сознавать, что многие из соседей и друзей не вернулись с войны, и семьи их по-прежнему бедствуют. Не вернулся сосед Георгий Калашников, танкист. Осталась вдова тётя Даша с четырьмя детьми. Старшие Витя и Лида были друзьями наших Гали и Жени, Вова всё время играл с моим младшеньким... Погибли на войне Фёдор Васильевич Напалков, Алексей Михайлович Гудожников, наши самые близкие друзья. Вечная им память... Всех не перечислишь, кто не пришёл с войны».

Отец привез мне с войны губную гармошку и цветные карандаши. Он был очень добрым и очень щедрым человеком, только вот сильно стал выпивать, а потому на пять лет попал в лагерь (ссуду на постройку дома он пропил, но из зарплаты не стали вычитать, а просто посадили с конфискацией имущества).

Собственно, наказали в основном мою мать. Отец продолжал в лагере работать бухгалтером, а мы уехали с матерью из нашего милого городишки Щучинска на Мартемьянов ключ (там был детдом имени Ленина,

где нас приютила знакомая учительница Александра Яковлевна Ишкинова с мужем Виктором Николаевичем, который был там директором; упокой, Господи, их добрые души). Жили под горой Спящий Рыцарь четыре года. После войны было много русских сирот, много маленьких чеченцев и ингушей. Помню: я очень не любил праздники, потому что, пригубив вина, мать начинала плакать.

Был у меня приятель-детдомовец Коля Зубков, мой покровитель-защитник (старше лет на пять). Дружил я ещё с детьми детдомовского конюха Букуша Джаканова. Рахимжан, Каримжан и Алимжан... С Каримжаном учились в одном классе. Ездили поить лошадей к речке возле казахского аула. Помню: даже были там на каком-то празднике – ходили из дома в дом и угощались. Помню большую их комнату в полумраке, раскладной столик на коротких ножках (они ели, сидя на ковре). Помню кислый курт из кобыльего молока, вкусные баурсаки. Чистый чай (вот некоторые, мол, добавляют в чай разные разности, а мы любим чистый). Потом на той речке, где мы поили коней, сделали запруду, и в пруду утонул Алимжан, самый младший из букушат. Уже после нашего отъезда.

Текла речка вдоль сопок, впадала в непролазных дебрях в Малое Чебачье. Ручей? Ребята ловили там щук проволочными петлями. Летом мы бродили в горах, торжественно писали свои имена акварельными красками на гладких скалах – до первого дождя. Пекли картошку в костре... Однажды я поскользнулся на влажных камнях и полетел вниз. Хорошо, ударился подбородком, схватился руками... Потом лежал дома с распухшим горлом. Был где-то женькин рисунок, мой карандашный портрет с триптичей вокруг головы – повязка снизу вверх, завязанная где-то на макушке.

В степь шла дорога мимо детского кладбища – к речке. К детдомовским огородам, где росли капуста и огурцы, где жил в шалаше сторож. Там купались в маленьком лягушатнике, в абсолютно чёрной воде. Лягушатник был создан для полива капусты... Иногда всем детдомом ходили за четыре километра на Малое Чебачье, на другом берегу которого стояла Дороевская. Переселенцы из Мордовии. Однажды им проиграли в футбол. Во время озёрных купаний всех поили сладкой водой и кормили хлебом с сахаром. Ах, как вкусно – помню до сих пор... (Сестра моя Галя помнит, как вкусен был суп, которым кормили школьников в послевоенном совхозе – после работы. Помнит, как шла домой поздней осенью из совхоза – в растоптанных бабушкиных валенках, снег таял, брызги во все стороны; бабушка два года как померла, а валенки вот остались...)

На месячишко летом возвращались в Щучинск к тете Нюре, нашей бывшей соседке Анне Васильевне Пономарёвой. Упокой, Господи, её добрую душу. Жили в с ней крохотном домике. Ее муж Ефим за какую-то «антисоветскую» болтовню пять лет отсидел в лагере, во время войны вернулся еле живой, работал на местном промкомбинате, подрабатывал варкой черного мыла, рыбной ловлей в заливе на Малом Чебачьем (мы этот залив потом переплывали «по-собачьи» в самом узком месте, а лет двадцать назад там уже ездили посуху на мотоциклах). Помер вскоре после войны.

В 52-м году мы уехали в степь - в Златополье. Там в это время работали Ишкиновы. Солончатая вода в колодцах, пыльные бури, смерть Сталина... Приятели Боря Валиуллин и Вася Казначеев... У Бориса был подростковый велосипед (почему-то женский), он меня научил рулить по деревенской дороге. Его мать, фельдшерица, если мне не изменяет память, вышла замуж за сына тёти Нюры Анатолия, который работал там зоотехником. А с Васей мы сделали шест и прыгали с крыши его сарая в огород. Очень увлекательно. Никто даже ногу не сломал.

Село было большое, мы снимали комнату с собственной печкой. С матерью пилили дрова, однажды я угорел – сидел потом на холоде в сенках (в дедовом тулупе), приходил в себя. Болела голова...

Помню, как подрался в школе на перемене. Меня преследовал одноклассник, дразнил, просто проходу не давал. И вот однажды я «потерял голову», в буквальном смысле отключился и, не помня себя, очень сильно его отколошматил. Лишь после этого он отвязался...

В мае 53-го вернулся отец из лагеря - и мы втроем покатали на Каму, в поселок Орел под Березниками, где Таманский леспромхоз готовил ложе Камского моря (всё равно много леса ушло под воду, были затоплены богатейшие заливные луга). Отец купил шахматы, и мы с ним играли в поезде. Жаль, он потом опять поменял нашу дружбу на водку. А когда заболел и бросил пить – я уже вырос... мне уже было пятнадцать. Лишь последние двадцать лет его земной жизни (точнее – 22) мы с ним пребывали в тёплой дружбе и согласии. Конечно, я люблю его, вспоминаю и поминаю в церкви. Надеюсь на встречу когда-нибудь.

Жили мы в посёлке на втором этаже деревянного дома - с видом на великую реку. На углу улицы Первого мая и... Забыл; помню только, что другая эта улица уходила в лес – к военному кладбищу, где были похоронены солдаты из госпиталя. И дальше – к Чёрному озеру. Я рисовал из окна Каму карандашом и акварелью... Однажды веслами ободрал на руке мозоли, образовался нарыв, было очень больно, правая рука распухла до локтя, в медпункте сделали два небольших разреза, чтобы вытекал гной. А в выходной некому было сменить тампоны – прорвало меж пальцев... Впервые за много лет заплакал. А вообще-то дал себе зарок не плакать в пять лет.

Орел-городок основал когда-то Ермак перед походом в Сибирь. Наверняка там бывал и Пинай Степанов. Сохранилось отцово письмо тех лет, отправленное во Львов старшей сестре моей матери:

«29 ноября 1953 г. Получили ваше письмо, которому были очень рады. Рады за весточку, за душевность письма. Мы все живы и здоровы, работаем оба, а потому времени свободного очень мало, особенно у Марии. (Мама тогда работала завучем в школе для детей с ограниченными умственными способностями; дети её любили.)

У вас, наверное, совсем ещё тепло, а у нас стоят сильные морозы – до 35 градусов. Правда, снегу уже выпало много – не то что в Казахстане. А главное – нет здесь тех проклятых ветров, которые так надоедали в Щучинске. Дрова есть, кваритра оказалась тёплой, так что пусть лютует непогода. Вот только мне приходится ездить в банк за 12-14 километров без тулупа на лошади. Плохо, замерзаю, но ничего не поделаешь, служба – она и есть служба. Мария работает в спецшколе; наверное с первого числа будет работать завучем – предложили, и она, кажется, дала согласие.

Борис учится в шестом классе, учится хорошо и поведение отличное, вот только на улице бывает мало, не выгонишь. Отсюда плохой аппетит, не знаем, чем его кормить. Евгений продолжает учебу в Свердловском художественном училище, ему ещё там учиться два года. А потом нужно ехать в Москву в институт им. Сурикова, где ещё учиться 6 лет. Не знаю, хватит ли у него терпения; зато был бы уж настоящим художником. Галинка живёт с мужем, имеют отдельную комнату, платят 150 рублей в месяц. Пишет, что она счастлива, живут дружно, а это главное. Хотя бы она была счастлива, ведь для отца с матерью больше ничего не нужно.

Вот не знаю, куда их направят работать, а то бы и нам устроиться где-нибудь поближе. И нужно искать уже постоянное место жительства, а то ведь здесь мы временно. Наш леспромхоз организован для очистки зоны затопления Камской ГЭС, чтобы закончить работу до 1955 года (мы уехали из Орла в 57-м).

Народ здесь какой-то замкнутый, необщительный. Ну, и мы живём так же, нам, пожалуй, и некогда общаться. (У мамы потом появились подруги в школе, с которыми она переписывалась потом до смерти.) Кажется, в Сибири народ гораздо душевнее, и нас почему-то опять тянет по ту сторону Урала.

Приехали бы к нам в гости весной или летом. Так хочется повидаться, посидеть, поговорить, вспомнить старое. Ведь время летит, его осталось так мало. Когда вы были у нас, Гале было всего 8 лет, а сейчас уже 22 года (а сейчас уж никого из них и нет на земле, только мы с братом пока задержались), она уже замужем. Скоро, видно, и мы с Марией будем дедкой и бабкой. А всё кажется, будто мы и не жили ещё по-настоящему, хотя так много пережито и трудного, и страшного.

Моя мама из Сталинграда от брата переехала в Молотов (Пермь) и живёт у дочери, моей сестры Жени. Я её видел в больнице, у неё после инсульта паралич языка, она совершенно не говорит и питаться ей очень трудно. Я сильно расстроился при встрече, со мной было очень плохо, пролежал два дня. Ну, ничего, как-нибудь всё устроится... Мы ещё не можем по-настоящему окрепнуть. Пройдёт с год – тогда мы будем жить по-настоящему. Мария хочет послать вам денег. Можно ли у вас купить сухих фруктов? А то ведь у нас этого ничего нет, а мать с сыном любят что-нибудь вкусное.

Ну, вот – кажется, описал всю нашу жизнь. Пишите о себе, мы так рады получать от вас весточки. Нам пишет только Михаил Михайлович. На этом заканчиваю, желаем вам сил, бодрости и здоровья. Крепко, крепко вас обнимаем и целуем – Ваня, Мария и Борис».

Тут же рукой моего двоюродного брата Анатолия Александровича Головизнина: «Получено 10. 12. 53 г.» Наверное, он вернул письмо после смерти отца – в 1978 году.

РЕПРЕССИИ

Брат мой Женя в 49-м уехал в Свердловск и там учился в художественном ремесленном училище №42, потом в художественном училище и в Московском художественном институте. Ушёл со второго курса, чтобы стать матросом и боцманом на рыболовных судах, потом – на паруснике. А сестра Галя - в Киеве, в лесотехническом институте... Там познакомилась с Валентином Костенко, вышла замуж. Валя был сыном большого партийного работника, расстрелянного в 38-м году. То есть в 53-м году, когда они поженились, он был сыном «врага народа». Его отец работал, кажется, вторым секретарем киевского обкома. Сказал жене: «Скоро пленум закончится, а ты пока отправляйся домой и приготовь нам что-нибудь поужинать». Да так и не приехал...

Тогда коммунисты шибко стреляли не только всех прочих, но и друг друга. В.Кожин пишет: «А.Орлов-Фельдбин рассказал о дикой сценке: «20 декабря 1936 года, в годовщину основания ВЧК-ОГПУ-НКВД Сталин устроил для руководителей этого ведомства небольшой банкет... Когда присутствовавшие основательно выпили, Паукер (комиссар ГБ 2-го ранга, т.е. генерал-полковник. — В.К.)... поддерживаемый под руки двумя коллегами ... изображал Зиновьева, которого ведут в подвал расстреливать. Паукер ... простер руки к потолку и закричал: «Услышь меня, Израиль, наш Бог есть Бог единый!» Не исключено, что, когда 14 августа 1937 года повели на расстрел самого Паукера, и он кричал нечто подобное... Накануне 1937 года главой «органов» был (ВПЕРВЫЕ!) назначен русский, Ежов, хотя 1-м «замом» остался Агранов (к тому же получивший и должность начальника Главного управления госбезопасности), а другими «замами» — М.Берман и Бельский-Левин, — не говоря уже о 7 (из 10) начальниках отделов Главного управления безопасности. Ежов полновластно управлял НКВД менее двух лет... Он «успел» уничтожить множество главных деятелей НКВД — таких, как Ягода, Агранов, Паукер, Слуцкий, Шанин, Бокий, Островский, Гай и т.д., которым, вероятно, очень нелегко было бы уничтожать друг друга (или даже, пожалуй, брат брата...). Ежов выступал как своего рода беспристрастный арбитр...

Широко распространены попытки толковать 1937 год как «антисемитскую» акцию, и это вроде бы подтверждается очень большим количеством погибших тогда руководителей-евреев. В действительности обилие евреев среди жертв 1937 года обусловлено их обилием в том верхушечном слое общества, который тогда «заменялся». ...Во-первых, совершенно ясно, что многие евреи играли громадную роль в репрессиях 1937 года; во-вторых, репрессуемые руководящие деятели еврейского происхождения нередко тут же «за-

менялись» такими же, что опрокидывает версию об «антисемитизме». Так, пост начальника Политуправления РККА и зам. наркома обороны еврея Гамарника, покончившего с собой 31 мая 1937 года в предвидении неизбежного скорого ареста, занял бывший член национальной еврейской партии «Рабочие Сиона» — Мехлис; пост репрессированного наркома оборонной промышленности Рухимовича — еврей же Ванников, на место арестованного начальника Спецотдела ГУГБ НКВД Бокия пришел Шапиро и т.п.

...В течение 1937–1938 годов ... были приговорены к смерти 681692 «врага», а в 1939–1940 — всего лишь 4201 «враг» (конечно же, и эта цифра возмущает душу — 2100 человек за год, более пяти человек каждый день...)» (Вадим Кожин. Россия. Век XX (1901–1939). М., 2002).

Мать Валентина Евдокия Павловна попала в тюрьму, но сумела скоро оттуда освободиться и найти сына. После окончания лесохозяйственного института все поехали в Инзу, в Поволжье. Работали там счастливо в химвлесхозе до середины 60-х, а потом сумели вернуться в Киев, где Валентину, сыну высокопоставленного репрессированного работника, вернули квартиру. Вернее, дали новую на краю Голосеевского лесопарка. А сам он стал работать в министерстве. Потом Галя перенесла две операции на лёгких, он стал гулять, оформил развод и даже чуть не женился на другой, но вдруг случился инсульт. Паралич. В кармане его серого пальто до сих пор лежит каштан той последней золотой осени, когда он ходил своими ещё пока бодрыми ногами... Тому каштану скоро двадцать лет. Галя выхаживала бывшего мужа многие годы. И его мать, которая сломала шейку бедра. В 90-е годы оба померли.

Галя каждое лето приезжает к нам из Киева, ухаживает в деревне за нашей матерью. В последний приезд привезла воспоминания своей свекрови Евдокии Павловны Демченко:

«Родилась я в 1902 году в семье портного. Он шил селянскую одежду, зимнюю и летнюю. Без работы никогда не сидел. Мы с братом окончили начальную школу, и отец захотел учить нас дальше. Наша учительница стала готовить меня для поступления во второй класс Лубенского епархиального училища в Золотоноше (при Красногорском монастыре было три класса). А брата готовили в бурсу. Но тут в четырнадцатом году началась война. Отца забрали на фронт, и мать сразу отказалась нас учить: чем она будет платить за учебу? Однако учительница и священник сказали, что нас как детей воина примут на казённый счёт.

Осенью я поехала учиться в монастырь, а брат в бурсу. На рождественские каникулы нас забирали домой. Были ещё каникулы на масленицу и на Пасху.

За зиму мы подросли. А летом, так как земли у нас не было ни ступня, мать сказала: пойдём убирать хлеб к какому-нибудь заможному хозяину. Правда, нас не хотели брать, потому что мы не умели работать в поле. До сих пор мы не были даже на поле, но мать выросла в хозяйстве и по хозяйству знала и умела всякую работу.

У нас был ещё маленький брат, нужно было кому-то сидеть с ним дома. В первый день мать взяла в поле старшего своего сына и нажала полторы копы (девяносто снопов). А брат всего три снопа. А я на второй день нажала семь. И мать стала брать меня. За уборку нам платили пятый сноп. Я быстро научилась владеть серпом и скоро стала нажимать сорок снопов в день. Теперь мы с мамой ежедневно зарабатывали 18 снопов. В это время мне было тринадцать лет, а брату — двенадцать.

Рожь мы убрали хорошо, и хозяин раздобрился, разрешив нам перейти на пшеницу. Потом ещё были ячмень, просо, гречиха, овёс. За лето мы заработали хлеба на всю зиму, покупать нам его не пришлось.

Зимой я опять поехала учиться в третий класс епархиального училища. А брат не захотел ехать в бурсу, потому что у него была передержка по немецкому языку. Он остался дома, помогал матери, научился у неё косить хлеб косой. Потом из него получился отменный косарь. Каждое лето мы убрали чужой хлеб, и так было до самой революции.

Отец пришёл с войны только в восемнадцатом году. Нам дали два гектара земли. Мать умудрилась засеять эту землю рожью (конечно, сеятеля нанимала). Потом рожь косили и отец, и Вася. Мать вязала за ними снопы. А в девятнадцатом году она померла.

Мне удалось закончить шесть классов епархиального училища, а потом с подругами поступила в университет на первый курс. Правда, я скоро заболела возвратным тифом, пролежала в больнице почти два месяца, ослабела здоровьем, а поправиться было нечем. И я первая ушла из университета, а весной за мной подались и другие наши девочки. Сима дольше всех продержалась, но, оставшись без подруг, тоже в конце концов оставила учёбу, хотя родители могли ей помогать материально.

А наш отец женился и от нас совсем отказался. Мы с Васей перешли жить к бабушке. Я устроилась сначала в кооперацию деловодом, а Вася — в райисполком. Потом мы с ним опять ходили зарабатывать на хлеб к хозяину-соседу. Через неделю он уже сказал Васе: бери мою лошадь, бери в поле полкопы заработанного хлеба, молоти, вези на мельницу и будете вы с хлебом. Мы намолотили с полкопы два мешка (пудов по четыре зерна). Мельник всё смолот, а баба напекла сразу с нового урожая свежего хлеба. А нам больше ничего и не надо. Картошка у бабы была уже. Мы в поле идем с хлебом, с чесноком, с луком, и продолжаем убирать хозяину-соседу. Помогли ему убрать весь хлеб. Вечером баба сварит нам суп или борщ без всякой заправки, мы наедемся да идём ещё гулять.

Вся наша учащаяся молодежь лет 18–22 занималась в драмкружке. И мы разучивали на репетиции роли, а по воскресеньям ставили спектакли. Павел Викторович, уже в годах, был у нас режиссером. А священник отец Валерий Тарасюк руководил хором. Он взял туда и церковных певчих. В нашей церкви благодаря ему был очень приличный хор. После революции он привлек ещё и нашу молодежь. Мы с Васей уже детьми умели петь. Бывало сядем на перелазе або на тыну и заведем удвох:

Ой ты, дубе, кленовый листок,
Куды тебе витер нахилея,
Куды мати дочку выражае...

У нас были голосочки не сильные, но приятные. Отец на своей работе пел не сильно, но гудел. Он очень много знал украинских и русских песен и всё время пел потихоньку. Иногда ему подпевала и мама. И мы с Васей от них научились.

А в сельском хоре были приличные голоса – и мужские, и женские. Батюшка очень хорошо знал нотную грамоту, учил по нотам и церковный хор, и наш сельский. Все песни, которые есть теперь в песенниках, мы с ним выучили. Выступали и в клубе, и где только соберемся. Чем же заниматься? – Начинаем петь... Так мы проводили и летние, и зимние вечера. Вечерами собирались за вышивкой, за пряжей. Часто выходили с хлопцами зимой на лёд, на горки, катались. Было очень весело.

После того как мы с Васей в двадцать втором году убрали хлеб у родного дяди, меня назначили учительницей в село Гладковщину. Все учителя стали получать за работу в школе по четыре пуда разного хлеба, а я получила за год 48 пудов рожью. Мне даже завидовали. Я приступила к учительской работе только в ноябре. Учеников набралось до семидесяти и больше. Было три группы. В этом селе долго не было учителя, а потому в первый класс поступили даже переростки, всего 45 человек.

Учительница я одна. Но дети были не такие, как теперь, а очень послушные. Только войду в класс – сразу тишина. Сначала даю работу второй и третьей группам, а потом занимаюсь с первым классом (учим азбуку). Вечером ещё был «ликбез», за зиму выучила читать и писать девять молодых хлопцев. А десятого не могла научить даже до десяти считать. И ни одной буквы не выучил. Так и остался неграмотным.

Два года проработала в Гладковщине, а в 24-м году меня перевели в наше село Песчану, в семилетку. Село наше большое, и школа размещалась в трёх отдельных зданиях. Я получила первый класс и вела его до четвертого, как и полагалось. В 27-м году мы встретились с Михаилом Васильевичем Костенко и в феврале поженились. На следующий год у нас родился сын Валентин.

Михаил родился в пятом году в Черкассах. Мать в молодости умерла от оспы вместе с двумя детьми. Миша и маленькая сестричка выжили, только со следами оспы. Отец – рабочий. Скоро опять женился. Дети остались без родительского внимания. Миша почувствовал свободу и начал бродяжничать. Это было во время гражданской войны. Ему удалось пристать к какой-то части Красной армии. Там он стал посещать комсомольские собрания, вступил в комсомол.

С комсомольской работы его перевели инструктором Песчанского РПК, членом партии он стал в 25-м году. Райпартком стал посылать своего инструктора во все сёла – поднимать политическую грамотность сельских партийцев и комсомольцев. Его часто посылали на курсы, где он повышал свою собственную политическую грамотность. В 26-м году он приехал в село Песчаное, по заданию РПК проводил с коммунистами занятия по истории партии. Выступал с лекциями на собраниях незаможников и на общих собраниях в клубе. Лекции были умные.

Когда мы поженились, его послали в Золотоношу заведовать курсами для коммунистов всего района. Скоро Миша стал инструктором окружка партии, а в 28-м году его послали инструктором Чернобаевского райпарткома. В 29-м году его перевели в Гельмязовский район на организацию колхозов. Осенью 30-го года он поступил в политехнический институт, проучился до весны, а потом из него ушёл по материальным условиям.

Его послали из Киева в Донецкую область работать завпедом лесного техникума. Проработал там два года. Когда наступила голодовка, отец написал Мише письмо: «Я уезжаю на работу в Белоруссию, а свою семью оставляю на тебя» (у него уже было двое маленьких детей от второй жены). К нам в Анадоль приехала сестра Надя, работавшая после курсов учительницей. Она рассказала, что мать, спасая детей, сама уже стала пухнуть от голода. Миша собрал, что у нас было из продуктов (вермишель, муку), и сразу поехал в Черкасы спасать семью отца. В обкоме партии попросил, чтобы его перевели в Черкасы. Его назначили директором лесного техникума.

Конечно, были очень тяжелые условия, но всё-таки спасли семью от голодной смерти. Осенью приехал отец без копейки и тоже пришел к нам. А к мачехе приехала из села её мать. Миша всех принял. Собралось нас девять человек семьи. Михаил крутился, как муха в кипятке. Спасал и нас, и студентов техникума. До весны кое-как прожили. Валя в три годика ничего не просил, а одного только хлеба. Вымирили целые сёла. Мы до весны дожили, собрали денег и купили корову пополам с педагогом-инженером техникума. Корову принесла нам телочку и бычка. Мы разделили телят по жребью. Молока две недели не видели, корова давала мало и надо подкормить телят. Мы их потом обменяли. За бычка нам дали небольшого поросёнка, а соседи телочку променяли на десять куриц. Коровы ушла на пастбище, стала прибавлять молока, летом давала по 18 литров. Делили с инженером каждый удой. Весной посадили огород. Люди летом ещё умирали с голоду, пока всё не подросло.

На следующий год наш техникум перевели в Чугуев Харьковской области, а Мишу забрали на партийную работу в окружке и дали нам паёк на пять человек, но этого пайка нам хватало на девятерых. В марте 32-го года Михаила опять послали в Чернобаевский район вторым секретарем райкома партии. И в том же году – на курсы секретарей в Киев. После курсов послали вторым секретарем в Словечанский район Житомирской области. Там прожили зиму и лето, а осенью он попросился в Каменку. Не знаю, почему ему так везло... Куда он попросится, туда его и посылают.

В Каменке мы прожили до сентября 1937 года, а потом его забрали в Киев. В декабре Косиор несколько раз вызывал его на собеседование и перед новым годом назначил его вторым секретарем Киевского обкома. Первым секретарем был Евтушенко (не помню, как его звали). Все работники обкома были новые люди, выдвинутые из районов. Прежних работников или посадили, или поснимали.

М.В.Костенко начал работать. В марте 38-го года организовал встречу с папанинцами, после которой первого секретаря обкома не стало. Костенко стал исполняющим обязанности первого секретаря. После Косиора секретарем ЦК стал Хрущёв, он же и секретарь обкома. 31 мая – 5 июня состоялась четвертая областная партийная конференция Киевщины. С отчетным докладом выступил и.о. секретаря обкома Костенко. Очень критиковали, обстановка была напряжённая. Михаил нервничал. Пятого июня он пришел домой в последний раз, пообедал. Сходил в парикмахерскую, побрил наголо голову, взял дома на руки ребенка Витю (его сестра Надя была в это время у нас). Собрался на конференцию и говорит, что ему так не хочется туда идти. Он уже, видно, чувствовал, что больше не вернется домой.

Так и вышло. Его взяли прямо на конференции. Соседа нашего тоже взяли, только дома. Пришли ночью с обыском, а под утро забрали. А у нас обыск сделали только через 20 дней, потому что не имели права на арест без разрешения Москвы. Невестка (жена брата) была в то время в Киеве и взяла нашего Валю к себе. Он прожил у них в Золотоноше два месяца до школы, а брата моего исключили из партии – за то, что воспитывал сына врага народа.

Во время обыска с меня взяли расписку о невыезде. А через два месяца пришли и сказали, чтобы я передала туфли и одеяло в тюрьму Михаилу. Каждый месяц я ещё передавала пятьдесят рублей. Третьего сентября меня ночью тоже забрали, а Валю передали в приёмник, где он пробыл пять дней. Потом Надя узнала, что меня посадили, приехала в Киев, отыскала его и забрала к себе.

Меня забрали вместе с Наташей Егоровой и посадили в одну камеру, где были уже 90 женщин. На пятый день к нам попала и Вера Кухаркина, мы с ней жили в одном доме. Вот она и рассказала, что Надя взяла моего Валю к себе. Но я у следователя нарочно спросила, где мой сын. Он ответил грубо: «У врагов народа нет детей!»

Два раза меня вызывали к следователю, очень молодому, который расспрашивал о муже: что он рассказывал дома, кто к нам приходил-приезжал, с кем муж общался, о ком рассказывал. Я говорила, что не думаю, будто мой муж стал врагом народа. Он ничего не мог рассказать мне такого, что было против советской власти.

Меня освободили 17 января 1939 года – после того, как убрали наркома НКВД Ежова. Тогда была перепись населения, нас «переписали» прямо в тюрьме, а вечером меня и Наташу вызвали на выход с вещами. Мы не знали, куда нас денут. Освободили, а мне некуда идти. Я решила подождать Наташу, села на первой ступени лестницы и сижу. Выходит один и спрашивает, почему я не уйду. Я говорю, что мне некуда идти. Он буркнул: может, есть родственники или знакомые? Ответила: родственников у меня нет, а к знакомым из тюрьмы не ходят. Он и ушёл. Я дождалась Наташу, и мы ушли к ней. У неё оставались в комнатке две дочери и мать. Туда их переселили после ареста мужа.

Хорошо, что Веру Кухаркину освободили месяцем раньше. Она заняла самовольно одну комнату такой же женщины, как мы. Её муж был репрессирован, а она сама с ребенком выехала в село к родственникам. Комната была свободная – она и заняла её. Забрала к себе детей от матери.

Девочки позвонили Вере, она сразу же к нам прилетела. У Наташи нельзя было оставаться, их четыре человека в комнате. Вера забрала меня к себе. А нашу квартиру занял какой-то профессор музыки.

Два года мы с Верой прожили в одной комнате. Она с двумя сыновьями и я с Валентином. Вера перед войной вышла замуж за одного врача. Тут началась война, и она эвакуировалась с детьми. А нас с Валею Надя забрала к себе. Мы хотели с одним лесничим на лошадях ехать на восток, но доехали только до Барышевского района. Впереди уже были немцы. Мы с Валею попали в сильные бои, сидели целую неделю в окопах. Немцы заняли Барышевку, и мы оказались на оккупированной территории. Наш лесничий попал в плен, но его из лагеря освободила какая-то женщина, которая признала его за мужа. Он и вернулся к жене и детям, устроился при немцах опять лесничим.

Они уехали, а мы с Валею жили бедно, денег было очень мало. Открылась столовая, готовили там какой-то суп, и я Валею посылала туда поесть хоть того горячего супа. А сама стала мыть полы и стирать немцам белье за килограммовую буханку хлеба. И этой буханки нам должно было хватить иногда на целую неделю.

Первые дни 1942 года и всю зиму мы с Валею очень голодали. Запасов никаких не было. Спасло нас то, что в колхозе стали копать картошку. Все стали копать немцам картошку за какую-то её часть. Я заработала семь мешков, и это нас спасло. Картошки сварим, покушаем, а хлебом по маленькому кусочку закусим. Так хотелось хлеба...

С половины зимы открылась начальная школа. Степан Викторович стал старшим учителем, а я, благодаря ему, устроилась учительницей. Нам давали по 10 килограммов муки на месяц. Мы немножко ожили. Весной всем учителям, у которых не было своего огорода, дали по 15 соток целины. На первый раз нам вспахали, и мы посадили картошку и свеклу. Картошка была очень хорошая (сорт «Элла»). Я всю зиму собирала с картошки вершочки, потом осенью у хозяина на огороде осталась мелкая, и я её прибрала в ящик. И вот этой мелочью да вершочками мы и засадили огород.

На второе лето Валя сам вскопал 15 соток, ему уже было 14 лет. У нас уже были хорошие семена своей картошки. Я продолжала работать учительницей, а Валя уехал к Наде в Старое село с одним парнем, который

туда отправился работать слесарем на сахарный завод. Валя остался у тётки, помогал ей кормить свиней и за коровой ухаживать. Он жил там до освобождения от немцев 23 сентября 1943 года.

Меня послали учительницей в село Дерновку Барышевского района, где была начальная школа. В 48-м году перевели в село Сезенково, потому что потребовалось место учителю, который вернулся с войны. Потом (через год) меня перевели в Сулимовку...

Там я работала пять лет, Валентин женился, они с Галей закончили лесохозяйственный институт и поехали в Поволжье, в город Инзу. Дальше они сами могут продолжить свою биографию, если захотят.

О том, куда дели М.В.Костенко, нам всегда отвечали: «Сослали в далекие северные табора». После смерти Сталина его реабилитировали и восстановили в партии посмертно».

Евдокия Павловна, баба Дуня, не оставила сноху свою Галину, когда Валентин стал смотреть в другую сторону, собрался жениться снова. «У меня только одна сноха, а другой больше не будет». Упокой, Господи, её душу. Галина тоже её не оставила на старости лет. Она много лет лежала со сломанной шейкой бедра. Галя выхаживала её и парализованного Валентина.

С конца 80-х годов почти каждое лето ездила к нам на Урал, а последние полтора года (точнее, год и семь месяцев) выхаживала нашу старую мать, не уезжая в Киев. Мы не знали, что и сама Галина была уже «на подходе». По крайней мере дважды пережила сильный гипертонический криз, но Бог дал ей время проститься с матерью, пожить в посёлке у брата, обнять детей и внуков на Украине... А 28 мая, ровно через четыре месяца после смерти матери, она сама ушла в мир иной. За день до того ходила с приятельницей к зубному врачу, вечером сидела у себя в гостиной, потом встала, прошла по комнате: что-то рука отнялась... онемела? Пошла в свою комнату, легла: мне плохо... Вызвали скорую помощь, в машине крепко держала Наташину (дочку) руку. В больнице потеряла сознание.

Так когда-то ровно через четыре месяца после ухода Марии преставилась наша милая сватья Нина Ивановна... Нашу маму Господь позвал 28 января – в тот же день, что и Галину свекровь Евдокию Павловну – семью годами раньше. Да... 28 января 1916 года преставился маленький Борис Семенов, а 28 мая 1912 года – день рождения его брата Леонида Дмитрича, написавшего воспоминания. Упокой, Господи, их души – Марии, Галины, Евдокии, Бориса, Леонида, прости им согрешения вольные и невольные, даруй им Царствие Небесное. В день смерти Галины пришёл в этот мир младенец – родственник зятя моего Павла. Как же мы связаны все на земле... Помоги нам, Христе.

Я съездил на похороны милой моей сестрички в Киев. Поцеловал её на прощанье. Она лежала, как когда-то спала. Казалось: вот-вот будет попыкивать во сне губами... Соедини, Господи, всех нас в конце концов – всех, кто любил здесь друг друга. Впрочем, да будет воля Твоя, а не наша.

Глава 4. ЙЕМЕН, ВОЙНА

Итак, я начал писать про то, как контора глубокого социалистического бурения проглядела «кулацкого внука» и отправила его за границу в чрезвычайно буржуазную страну. Даже в почти что феодальную. Но вот стал я вспоминать родословную - и понял, что контора смотрела в корень. Смотрите-ка, сколько в роду всевозможных строителей государства! Все верно служили Отечеству — вне зависимости от формы правления. Так? Наверное, чересчур высокопарно: «служили Отечеству». Просто работали...

Анюта прислала однажды денег и немного сахара на имя брата своего Ивана, который к тому времени помер - 21 декабря 1944 года, в одну ночь с матерью своей Александрой Васильевной... В одну ночь с моей бабушкой. Как раз в день рождения генералиссимуса Сталина, когда, кстати, поминают святого Кирилла... Тётушка тогда служила заместителем министра в Алма-Ате. А мой двоюродный брат Юрий вышел в заведующие отраслевым отделом ЦК КПСС эпохи развитого социализма. Юра, сын Михаила, брата моей матери, который потерял ноги на войне: был пулеметчиком, взрывом засыпало всего, кроме ног. После контузии очнулся - а ноги отморожены. Долго лежал в саратовском госпитале. Там как раз жил его брат Владимир — его не взяли на фронт, потому что рука была покалечена еще в юности.

(Мои внуки сейчас не понимают, что такое – КПСС... Была такая партия когда-то, центральный комитет которой управлял страной. Сначала она называлась РСДРП, потом - РКП, ВКП(б), КПСС. В начале 20-х годов поэт Алексей Ганин писал про нее: «Только будущая история и наука оценят во всей полноте всю изуверскую деятельность этой «спасительницы народов» - РКП. ... Завладев Россией, она вместо свободы несет неслыханный деспотизм и рабство под так называемым «государственным капитализмом». Вместо законности дикий произвол Чека и Ревтрибуналов; вместо хозяйственно-культурного строительства - разгром культуры и всей хозяйственной жизни страны; вместо справедливости - неслыханное взяточничество, подкупы, клевета, канцелярские издевательства и казнокрадство. Вместо охраны труда - труд (государственных) бесправных рабов, напоминающий времена дохристианских деспотических государств библейского Египта и Вавилона. ... Всякая общественная и индивидуальная инициатива раздавлена. Малейшее проявление ее рассматривается как антигосударственная крамола и жесточайшим образом карается, как преступление. ...Всюду голод, разруха и дикий разгул, издевательства над жизнью и трудом народа, над его духовно-историческими святынями. Вот он, коммунистический рай, недаром вся Россия во всех ее слоях, как бы просыпаясь от тяжелого сна, вспоминает минувшее время как золотой, безвозвратно ушедший век. ...Поистине над Россией творится какая-то черная месса для идолопоклонников. Вся так называемая коммунистическая пропаганда и агитация, письменная и устная - вся псевдонаучная так называемая марксистская литература... вся эта гнусная макулатура, государственная халтурщина ясно показывает лишний раз настоящую рожу этих изуверов, ясно

вскрывает их намерения» (Алексей Ганин. Мир и свободный труд - народам//Наш современник. 1992. №1).

«Внешний вид обнаруженных при аресте Ганина тезисов - 19 страниц желтой бумаги, оборванных по краям, исписанных химическим карандашом. Текст ясный, грамотный, почерк красивый, несколько листов залпаны бурыми пятнами, несомненно кровью. Думаю, что Ганину показывали тезисы после побоев и пыток, и кровь поэта осталась на пожелтевших страницах навеки. В деле обозначено, что копия с тезисов, послуживших причиной смертного приговора поэту, снята для палача ЧК Агранова (Собельсона): видимо, делу Ганина придавалось большое значение, коль им занимался сам Яков Саулович» (Станислав Куняев. Растерзанные тени// Там же. С.167).

Вот такой получился длинный комментарий к аббревиатуре КПСС. Чуть выше там у нас промелькнули еще некоторые фамилии: Крупская, Коллонтай, Землячка... Аббревиатура ЧОН... Про Землячку и ЧОН можно прочесть у Солоухина: «Части Особого Назначения не брали городов, не штурмовали Перекопа, не обороняли каких бы то ни было объектов, они находились позади воюющей армии. И были у них две главные задачи: они не позволяли (по мере возможности) Красной Армии отступить (так называемые «заградотряды»), а главное - они расстреливали. Расстреливали дезертиров, расстреливали взятых в плен, расстреливали заложников. Одним словом, расстреливали безоружных людей.

Ушла из Крыма армия Врангеля, но десятки тысяч солдат и офицеров не захотели покинуть родную землю, тем более что Фрунзе в разбрасываемых листовках обещал тем, кто останется, жизнь и свободу. Остались. Крым был передан в руки Бела Куна и Землячки (Розалии Коробовны Залкинд), Бела Кун и Землячка стали приглашать в Крым Льва Давидовича Троцкого. Лев Давидович ответил: «Я тогда приеду в Крым, когда на его территории не останется ни одного белогвардейца». ...Началось бессмысленное кровавое уничтожение всех сложившихся оружие и оставшихся на родной русской земле русских людей. Цифры называются разные, кто говорит семь, кто говорит тридцать, а кто говорит семьдесят тысяч. Но даже если и семь, тоже немало. И семь тысяч перестрелять - это работа. Тем более что Землячка изрекла: «Жалко на них тратить патроны, топить их в море». И привязывали камень к ногам, и долго еще потом через чистую морскую воду были видны рядами вертикально стоящие мертвецы. Не могли же эту работу выполнить два человека - Бела Кун и Землячка. Нельзя было бы привлечь к этому строевые, боевые части. Фрунзе на это не пошел бы. Кто же это все делал? ЧОН. Части Особого Назначения.

...Россия, хотя и уже смертельно раненная, полурастерзанная, все еще агонизировала. Не успели отгреметь залпы расстреливателей на Дону и Кубани, восстало крестьянство в Тамбовской губернии. Не выдержали грабежа, продразверстки, продотрядов, голода, доводившего до людоедства и детоедства, - восстали. В Тамбовском восстании участвовало около двухсот тысяч человек... Против тамбовских мужиков двинули регулярную армию под командованием Тухачевского. Но так как главным средством борьбы с восставшими была система заложничества, то Тухачевский не мог обойтись без Частей Особого Назначения. Делалось так. Ушел мужчина из семьи к Антонову, арестовывалась вся его семья. Ушли из деревни к Антонову несколько мужчин, арестовывалась (а то и просто сжигалась) вся деревня. А ведь заложников надо потом расстреливать. Как же тут обойтись без ЧОНА? ...Свидетельствуют официальные сообщения, печатавшиеся в тамбовских «Известиях»: «5 сентября сожжено 5 сел; 7 сентября расстреляно более 250 крестьян... Расстреливали и детей и родителей. И мы найдем засвидетельствованные факты, когда расстреливали детей в присутствии родителей и родителей в присутствии детей» (Владимир Солоухин. Соленое озеро//Наш современник. 1994. №4).

Конечно, ходьба по колено в крови чревата нервными расстройствами, даже сумасшествием. Есть, правда, мнение, будто сначала люди сходят с ума - и только потом занимаются палачеством. Наступает утро стрелецкой казни... Иные даже полагают: во главе всех революций стоят одержимые (бесами) люди. Люди, пошедшие в услужение подземному царству... Но всякое соприкосновение с этим царством «имеет своим первейшим и страшным следствием Безумие... Безумие всегда является следствием преступления, поскольку есть ПРЕСТУПЛЕНИЕ мирового порядка, разрушение божественной структуры мироздания». Однако люди лезут, прут, протискиваются в это страшное царство, нарушая сакральные, священные запреты, цель которых - «максимальное сокращение контактов с разрушительными хаотическими стихиями». Это всё написал Михаил Самуилович Евзлин, автор книги «Космогония и ритуал»... Да, ритуал... «Динамика ритуала описывается здесь на основании личного участия в службах во время моего пребывания в бенедиктинских монастырях... Без этого личного опыта невозможно не только понимание, но и самоё восприятие ритуала как реальности. ...Вовлечение «естественного существа» в ритуальную реальность осуществляется через многократное и регулярное в нём участие. То, что вначале казалось бессмысленным, в какой-то момент создаёт внутреннее напряжение и ощущение ЗНАЧИМОСТИ, которое здесь равнозначно переживанию реальности. ...Бог открывает человеку СЕКРЕТЫ грамматики, но ТЕКСТ, согласно её правилам, составляет человек, и каким будет его окончательная РЕДАКЦИЯ остаётся ТАЙНОЙ».

Не все ж они заняты проблемой накопления земных сокровищ... Финансами... Низвержением нравственных запретов... Более того, иные полагают, будто сама жадность иногда обретает созидательный смысл: «Вдруг стал понятен загадочный смысл еврея Вальбе, который назвал еврейскую жадность героизмом и что евреи «спасут Россию». Он этим хотел сказать, что лучшие русские живут только в духе и им не хватает костяка, крепости, чувства привязанности к земным вещам» (Пришвин о Розанове//Контекст-90. М., 1990. С.202).

А что касается палачества... Да, по-видимому, всегда самая главная его причина - отречение от Бога, апостасия. Если Бога нет, то всё позволено. Позволено всё недозволенное. Нарком коммунистического просвещения Анатолий Луначарский так и полагал. И даже оповестил об этой своей болезни читающую публику,

напечатать статью в «Вопросах философии и психологии» - в начале XX века, когда еще не был большевицким комиссаром:

«Позитивисты отнюдь не считают миропорядок целесообразным. «Сам найди цель для твоего существования», – говорит Ницше. Человечество могло бы сказать: «Скверно нам, братья, и очень скверно на этом шарике, затерянном в бесконечном пространстве, но надо попробовать устроиться как можно лучше: ни на что, кроме как на свои силы, мы не можем надеяться»... Стоит ли жить вообще? А если жить, то как – для себя или для других?.. Как отнесутся к этим вопросам... позитивисты (не ученики Конта, а ученики Ницше, последовательнейшего позитивиста в этике). Во-первых, всякий вопрос о долге отпадает для них сам собою... Человек ничего не должен, ему «ВСЁ ПОЗВОЛЕНО». И конечно надо стараться быть ЧЕЛОВЕКОБОГОМ, потому что всякое время само себя оправдывает. ...Ницше приветствовал свой аморализм как освобождение, как выздоровление... Да, дитя плачет, но причём тут совесть? Мы не заставляли плакать дитя!.. Для облегчения страдания отнюдь не необходимо даже сострадать... Мы глубоко уважаем дар Достоевского, но считаем его клеветником на жизнь. Мы коренным образом расходимся с Ницше во многом, но считаем его великим, радостным освободителем» (А.Луначарский. Русский Фауст//Вопросы философии и психологии. 1902. Кн. 63. С.785, 787, 790, 792, 793). Да-да, великий и радостный освободитель... от всего святого, что есть в душе человеческой.

Уже тогда Плеханов называл Ленина, Луначарского и прочих соратников ницшеанцами и сверхчеловеками. Марксистский интернационализм и гитлеровский нацизм, конечно же, противостоят друг другу, но как разные стороны одной и той же медали. И там, и тут один и тот же ницшеанский постулат – «Всё позволено!» Лозунг победившего европейского сатанизма. Позднее, после захвата власти в России, один из марксистских начальников («совесть партии», в 30-е годы – помощник Генерального прокурора СССР Вышинского) Арон Сольц начертал: «Основной нашей этики являются интересы преследуемой нами цели (мог бы сказать гораздо короче: цель оправдывает средства. – Б.С.). Правильно, этически, добром является то, что помогает осуществлению нами цели, что помогает сокрушить наших классовых врагов, научиться хозяйствовать на социалистических началах; неправильно, неэтично, недопустимо то, что вредит этому. С этой точки зрения надо подходить ко всякому поступку члена партии, когда мы хотим разрешить вопрос – этически ли он поступает или нет. ...Мы – правительство большинства – можем открыто и прямо сказать: «Да, мы держим в тюрьмах тех, КТО МЕШАЕТ НАМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАШ ПОРЯДОК, мы не останавливаемся на ряде других подобных поступков, – у нас нет абстрактно неэтичных поступков» (Философские науки. 1987. №11. С. 31). Это из доклада на собрании ячейки ЦКК и РКИ в 1924 году.

Интеллигенция в начале XX века прекраснoдушно думала, что маркиз де Сад, Ницше, Луначарский и прочие милые люди просто выдвигают гипотезы, которые в наш прогрессивный век, конечно же, не осуществятся. Впрочем... Достоевский полагал, что надобно только разрешение начальства, чтобы горожанам пойти на улицу и сдирать кожу живьем с первого встречного. Петербургский интеллигент, мол, хуже турецкого башибузука.

Ницше не успел, конечно, дать санкцию. Он сошел с ума задолго до русской и германской революции. Однако наиболее прогрессивная часть интеллигенции до сих пор полагает, будто по крайней мере в сфере философии все позволено. И в сфере литературы, живописи, ваяния и пр., и пр. Даешь, мол, свободу слова... свободу самовыражения... Долой, мол, нравственные запреты... Полагают, будто вольнодумцы Вольтер, Толстой или Иван Карамзov неподсудны, а виноваты лишь лакеи Смердяков или Арон Сольц. Но... Из России во время гражданской войны прогрессивная интеллигенция побежала в Западную Европу, в Китай, в Америку. Куда она побежит, когда бежать будет некуда?)

Но я уже забыл, на чем остановился в своем повествовании. Итак: сначала сидел на крыше, потом пошел в столовую, потом в штаб полка... потом в штаб дивизии... Там «комитет» всего меня проверил с ног до головы и разрешил отправить за границу, чтобы поддержать там молодой прогрессивный режим в борьбе с местной и зарубежной реакцией. В роли зарубежной реакции выступала Саудовская Аравия. Впрочем, уж решение-то принимал, конечно, не комитет, а Генеральный штаб. По идеологическим или каким-то другим мотивам никого из нас не завернули. Только смешной толстячок Козик пострадал — он значился то ли греком, то ли болгаринoм. А кто же возьмет на себя такую страшную ответственность — послать в Аравию болгарина или там грека? Я бы и сам не послал...

Нас водили в генштаб, наверное, по крайней мере дважды. Или трижды... Рассказали про Йемен... Познакомили с будущими начальниками. Все они были порядочными людьми, как потом выяснилось. Очень спокойный капитан Зеленецкий, энергичный старший лейтенант Перелет... Главное, что я вынес с общих собраний: каждому из нас надо признаться в сокрытых нарушениях воинской дисциплины. И тогда нас никуда не отправят. Но никто не признался... Все мы были дисциплинированными (в высшей степени) солдатами. (У меня, правда, были «неучтенные» два наряда вне очереди - получил в числе других за молчание на вечерней прогулке. Надо было петь, а мы упрямо и злоумышленно молчали. Пусть, мол, салаги поют, а нам уже надоело два года кричать одно и то же... идеологически выдержанное. Отработал наряды, кажется, в полковой кухонной кочегарке; а может, и не отработывал.)

И вот мы оставили в ЦК ВЛКСМ свои комсомольские билеты, получили заграничные паспорта - и отправились в Каир. Я не буду рассказывать, как мы туда попали. Тайна. Секрет. Допустим, на воздушном шаре. Из промозглой Москвы - да в жаркий Миср. Вылезали из гондолы в духоту, нас встретила девушка в униформе с ярко-синими веками. Мальвина. Эк они... Потом жили в гостинице «Виктория» рядом с кинотеатром «Одеон» - и не того навидались. Тут же, при гостинице, имело место кабаре с голыми девками, фото которых

каждый вечер обновлялось на «доске объявлений». Свобода... У нас такие свободы реализовались подпольно, преимущественно в среде ответственных комсомольских работников. В то время в Екатеринбурге партийную областную газету возглавлял функционер, сосланный из Москвы за вполне невинную забаву: купал с друзьями в шампанском голых актрисул. Это мне Эвелина рассказала потом, дочь Петра Ермакова...

В Каире мне не повезло - пришлось дежурить в холле гостиницы, тогда как многие другие шлялись по набережной Нила и другим интересным местам. Разве что прошелся немножечко по улицам. По пятам надоедливо бежали мальчишки и уговаривали купить интереснейшие марки. В лавках на всяких безделушках портреты великого президента Гамала Абдель Насера. А в гостиничном номере ночью поедом ели клопы. Пришлось уйти на ночь к соседям. Зато в огромном лифте всех сопровождал маленький арапчонок в униформе.

А в полете над Красным морем меня, конечно, укачало в транспортном АН-двенадцатом. Летели в «предбаннике» - возле пилотской кабины, поэтому пришлось лечь на пол, рядом с египтянином. Неужели в своем шикарном светлом-сером костюме? Или постелил что-то... Плащ? Но все-таки успел посмотреть сверху на широко-желтые прибрежные пески.

Лёт, наверно, скорее для профилактики, потому что помню, как над Йеменом все-таки смотрел в иллюминатор на серо-коричневые древние горы. Здесь тоже наступала зима, и листья опали. Столичная Сана располагалась на высоте две четыреста, поэтому климат здесь хорош даже и для северного человека. Жарко, но в меру, без духоты. Приземлились, подняв тучи пыли, и поехали к дому принца Али. Его повстанцы то ли убили, то ли дали ему убежать... В стене многоэтажного серого дворца (с белым орнаментом) зияли две дыры от пушечных болванок. Помню, что первую ночь спали на толстом слое ковров, опять ели клопы, так что наутро эту азиатскую роскошь сначала выхлопали, а потом все равно выбросили. Все они сосредоточились в караульном помещении - слоем чуть не под потолок. Аскеры спали на них и пили чай. А укусы клопов они, наверно, просто терпели. Мы же поставили на линолеум раскладушки и положили поролоновые матрацы.

Первую неделю обустраивались: ставили летучки, большие палатки для пушек, знакомились с президентом ас-Салялем (стояли шеренгой возле своего дворца в египетской форме без погон - в нашей рабочей одежде, - а он шел вдоль строя, жал руки и сообщал: доктор ас-Саляль), обедали с министрами в гостевом доме (пока не наладили общепит у себя во дворце). Меню теперь не помню, запомнились только сирийская халва в консервных банках с саблями и яйца вкрутую. Там и научился их чистить - так, чтобы скорлупа легко отделялась. Йеменские министры научили — надо катать куриное яйцо между ладонями. Вице-президент там ходил холодными зимними вечерами в нашем армейском бушлате. Правда, не с ППШ, а с «Калашниковым». По ночам зимой иногда вода замерзает — все-таки выше двух километров...

Зарплата была приличная - 124 доллара, или 186 серебряных риалов с изображением упитанной австрийской императрицы Марии Терезии (за получкой ходили с зелеными беретами, риалы пачкались). Поэтому на еду тратили много - четверть получки, то есть больше, чем зарабатывал тамошний государственный служащий (фельдшеру в госпитале платили 15-20 риалов). Почему в счастливой Аравии австрийская Мария? Когда-то давным-давно турки, тогдашние хозяева Аравийского полуострова, отбили где-то у австрияков литейные формы, так что талеры превратились в риалы. (Есть и другая версия — в XIX веке имам эти риалы просто купил у Австрии). От турок остались в столице и огромные каменные арсеналы-крепости. Один на горе над городом, а другой - в Сане; туда мы ходили как-то наводить порядок (своим не доверяли?). Чего там только не было. Даже ружья середины XIX столетия, если мне не изменяет память. Вообще уклад жизни был там стариннейший. Можно было на базаре увидеть десятилетнего мальчугана с кандалами на ноге, правда - на одной ноге. Это ему такое наказание - ходить в железах. (Наших собственных сегодняшних неслухов можно бы на неделю приковывать к стене...)

У Достоевского можно прочесть про лермонтовскую «Песню о купце Калашникове»: «Белинский, под конец жизни совсем лишившийся русского чутья, думал в словах Грозного: я топор велю наточить-наострить - видеть лишь издевку, лютую насмешку тигра над своей жертвой, тогда как в словах Грозного именно эти слова означают милость. Ты казнь заслужил - иди, но ты мне нравишься тоже, и вот я и тебе честь сделаю, какую только могу теперь, но уж не ропщи - казню. Это лев говорил сам со львом и знал это. Вы не верите? Хотите, удивлю вас еще дальше? Итак, знайте, что и Калашников остался доволен этой милостью, а уж приговор о казни само собой считал справедливым».

Оказавшись в древнем Йемене второй половины XX столетия, можно найти тут и другие оттенки смысла. В самом деле, наточить-наострить топор - это великая милость. Тут иногда рубили голову тупым палашом. Раз ударят, другой... Если бакшиш не заплатишь. Я, слава Богу, не видел, а только мой приятель Валерка Осипов — случайно. Стоит человек на коленях, руки привязаны к толстой длинной палке... палка над землей, руки в полете... Потом палач съест свежую печень. Вкусно, питательно? Скорее, ритуальная антропофагия... Страх врага становится мужеством твоего сердца. Впрочем, в европейской цивилизованной стране Германии когда-то казнили еще изощреннее. Гитлер своих врагов вешал на крюк... под ребра... А в красной России, стонущей под интернациональным игом, людей иногда закапывали живьем... Если человек, допустим, православный священник.

Итак, в стране шла гражданская война, а на границе воевали с саудовцами, которые, кажется, так и не признались, что участвуют в боевых действиях. Все началось с того, что 18 сентября 1962 года умер старый имам Ахмад, а его сын не сумел удержать власть. Молодой король аль-Бадр решил устроить военный парад по случаю восшествия на престол, который закончился военным мятежом. Ночью танки отправились к дворцу имама и стали обстреливать его болванками, потому что снаряды были без взрывателей. Аль-Бадр, раненный в

ногу, бежал-таки в Саудовскую Аравию - и началась война. Имам бежал, надевши паранджу, так что не сразу и поняли, что он сбежал. Это нам собкор «Правды» рассказал, а мы сидели тогда на раскладушках и внимательно слушали. Фамилию корреспондента не помню. Может быть, Примаков? Он тогда был на Ближнем Востоке – наш будущий начальник внешней разведки.

Вот версия событий, данная в справочнике Л.Н.Котлова «Йеменская Арабская Республика» (М.: Наука, 1971):

«Наиболее активные антимонархисты, в первую очередь левые офицеры, приняли решение осуществить вооруженный переворот, воспользовавшись неустойчивым положением нового короля и естественными затруднениями, связанными со сменой главы государства. В ночь с 26 на 27 сентября 1962г. курсанты королевской военной школы в Сане, поднятые молодыми офицерами, окружили при поддержке танков и артиллерии королевский дворец Дар аль-Башаир и предъявили аль-Бадру ультиматум с требованием безоговорочной капитуляции. После отказа короля танки и артиллерия открыли по дворцу огонь. Восставших вскоре поддержали некоторые другие воинские части и группы молодежи. (Один из такой «группы» в первый же день подошел к нам и стал показывать, как он стрелял из автомата. Наше с ним знакомство закончилось тем, что он организовал сбор денежных средств для поддержания своего прожиточного минимума. — Б.П.) ...К повстанцам примкнул Абдаллах ас-Саляль, который отдал приказ передать в распоряжение революционных сил склады с оружием и боеприпасами. (Аль-Бадр успел назначить его главнокомандующим вооруженными силами страны — а он был в то время лидером тайной организации «Свободные офицеры». — Борис) ...В середине октября 1962 г. стало известно, что Мухаммад аль-Бадр не погиб при осаде дворца, а сумел бежать под защиту вождей племен Северо-Западного Йемена. ...От саудовской границы монархистские отряды смогли продвинуться до плоскогорья Сана, а на востоке овладели городами Мариб и Хариб. К началу ноября (когда мы появились в Сане. — Борис) антиреспубликанское восстание племен охватило район Джебель Хаулян и некоторые другие. В руки мятежников перешли города Саада и район Эль-Джауф; ими была окружена Хадджа. ...Огромная помощь, поступавшая из Саудовской Аравии и английских владений Южного Йемена, позволила монархистским лидерам привлечь на свою сторону шейхов многих племен северного Джебеля и Машрика и навязать йеменскому народу затяжную войну... В апреле 1963 г. было достигнуто соглашение об отправке в Йемен, в том числе на саудовско-йеменскую границу, наблюдателей ООН. ...В ходе кровопролитных боев с монархистскими мятежами погибли многие руководители революционного переворота и значительная часть рядовых его участников, составлявших боевой авангард сторонников революции. Поэтому в политической жизни страны все большую роль стали играть деятели эмиграции, возвратившиеся из-за границы в октябре 1962 г. ...Некоторые слои скрытых монархистов сомкнулись с республиканской оппозицией и, играя на национальных чувствах йеменцев, ставили республике и лично президенту в вину присутствие в стране иноземных — египетских — вооруженных сил».

Египет сразу послал две пехотные дивизии (у меня есть фото, где египетский маршал Амер принимает в Сане парад — вместе с маршалом ас-Салялем), а Советский Союз - две мастерские: бронетанковую и оружейно-артиллерийскую (были, кажется, филиалы еще в Ходейде и Таизе). Хорошо, мы с Валеркой Топычановым, моим сослуживцем-земляком (земелей), всю зиму провозились с нашими морально-устаревшими 37-миллиметровыми зенитными автоматами. Они стояли в наших полковых хранилищах, надо было сменить смазку. Так с ними и познакомился, научился разбирать-собирать. Наш лейтенант-зенитчик, кажется, впервые увидел их только в Йемене.

Однажды возле бейт Али мы пытались посадить пушку на брюхо - в боевое положение. Рычажок заклинило. Пришлось мне попросить лейтенанта с ребятами навалиться и подержать... Но там пружина - диаметром с мою голову, по которой я и получил в результате, потому что ребята, конечно, ничего не удержали, а просто разлетелись во все стороны. Я в это время переводил рычаг, склонился над станиной. Правда, череп оказался крепким (через семь лет мне там вырубил костную опухоль). Меня подняли с земли и увезли в госпиталь, где наш русский хирург положил на холодный цинковый стол и стал зашивать без обезболивания. Потерпи, говорит, - если шить без укола, то шрам совсем не видно. Шрам-то в двух миллиметрах от виска. С неделю потом валялся на раскладушке в бейт Али. Зачем-то я Богу нужен здесь, на земле. Два года назад, перед армией, на дороге между Екатеринбургом и Верхней Пышмой чуть не столкнулся на велосипеде с грузовиком (машина с трубами впереди меня затормозила, и я выехал на середину шоссе). Конечно, на таран не пошел, покатился в кювет... Но очнулся между передними колесами, дифером чиркнуло по макушке. Шофер тоже решил зарулить в кювет... Как вспомню, так вздрогну. И там был в двух миллиметрах от смерти. Вылез из-под машины, сел на велосипед, доехал до поликлиники, где перевязали и поставили укол против столбняка. А потом в трамвайном вагоне поехал в университет - сдавать вступительный экзамен. Сдал немецкий на четверку, но на журфак не прошел по конкурсу - и 17 октября 1960 года в семнадцатой команде отправился в армию.

Чего ж я тогда в Пышме делал? Да, я туда поехал лечиться перед экзаменом. Поехал лечить сенную лихорадку простудного происхождения (держал, дурачок, потную голову под струей холодной воды). В Пышме располагалось общежитие Уральской группы геофизических партий, где я тогда работал. Там жили знакомые ребята. Я купил бутылку перцовки, выпил с приятелями, они накрыли меня всеми наличными одеялами, так что пот потёк рекой. И наутро был здоров. Только голова, видимо, не очень-то соображала, и реакции запоздалые - выехал на смежную полосу, где пришлось оставить велосипед и катиться в кювет. Велосипед Володи Терехина, художника. Это был приятель моего брата. Он похоронен давно на Широкореченском кладбище, недалеко от могилы Елизаветы... Держал дома скрипку, но играть не хотел. Как наш головыринский давно

умерший сосед-хуторянин. Лишь однажды пришел к нам на лавочку... играл... на закате дня. Тяжело человеку, когда из души насильственно изъят ее смысл.

Маша однажды его помянула, когда писала про исполнительницу русских песен и былин Лену Сапогову: «И оказался в тот вечер непьяным последний головоурынский гармонист Валера. Живет он на отшибе, у леса, гармонь в руки берет в исключительных случаях — когда трезв. Вот он-то и спустился к нашему дому со своего хутора. Пробор — как из парикмахерской, голубая рубашка от утюга еще горячая. Будто винуватый, короткий взгляд. Мы были счастливы, он понял это, сел на лавку, сказал: «А было дело — за гармошку в милицию тягали». И дрожащими, заскорузлыми пальцами задергал меха. Можно, конечно, пожалть плечами, но для меня в этом человеке, ни разу не протянувшем пьяные руки к гармошке, мораль по-настоящему русская: даже в минуты падения святыни не продаются. В худшем случае и божница, и гармошка задернуты занавеской — к ним просто не прикасаются».

Мы еще застали то время, когда член правления совхоза ходил по деревне как полный начальник. Генерал-аншеф. В основном следил за тем, чтобы канавы вдоль дороги были выкошены. Что уж тут говорить про милицию, которая запретила гармошку. Впрочем, этот же член правления позволил нам «пристегнуть» к огороду несколько лишних метров земли. И у него дома был телефон (один-единственный на всё село), а теперь он умер, и нет ни совхоза, ни телефона.

...Молодо-зелено. Смерти тогда мы не боялись. Правда, было не по себе, когда мятежные племена (или сторонники законного имама?) выходили к перевалу над Саной. Жутко. Очень просто могли снять кожу с живых, хотя мы и были безоружными. Это вот и удручало — что безоружные. Сиди и жди, когда придут. Руси хубара - русские специалисты. В штатском, чуть ли не из Академии наук. Но во дворце была охрана, а на крыше - крупнокалиберный пулемет. Пулеметчик жил в комнате напротив. Сидел на ковре в позе лотоса, жевал кат - молодые побего наркотического растения. Его вполне легально продавали на базаре. В конце концов глаза становились оловянными... Впрочем, может и вру - возвожу напраслину. Возможно, именно он как раз и не жевал кат. Точно помню лишь одно: на веранде нашего дворца однажды лежала груда парашютов, а сверху на них сидел охранник с винтовкой - и кат за щекой.

По вечерам охранники-аскеры иногда танцевали, используя как ударный инструмент танаку — большую банку из-под керосина. Иногда пели замаль, старую боевую песню. Ее пели республиканцы и монархисты — мафиш хоф, все равно, не имеет значения... Ее сочинили воины в походах против турок. Боевой символ веры. В тех давно ушедших походах предводительствовал имам, а теперь с республикой сражаются шейхи, племенные вожди. И два брата поверженного короля. Наши аскеры пели, как и положено, высокими, почти женскими голосами. Огромный темно-серый дворец йеменского принца на окраине Саны, возле городской глинобитной стены, гром «барабана», странные голоса... Или мне это приснилось? Белые юбки, жилетки, винтовки, широкие ножи-джамбии в кривых ножнах... Худощавые лица. Почти сплошь худощавые смуглые лица.

...Штурм Саны каждый раз заканчивался печально. Головы мятежников в чалмах каждый раз появлялись на «тумбочках» главных ворот столицы Баб-аль-Йемен... Туда залезали мальчишки, пытались вставить окурки в скорбные рты казенных. Сразу за воротами начинался сук-аль-кебира, Большой базар. У ворот стояла египетская военная полиция в красных беретах. Египтяне гоняли мальчишек. Суровые времена, суровые нравы... Помнится, в городе весной появилась и миссия ООН с закуской («Либерте казино»), где иностранцам можно было купить виски. В стране был крепок ислам, спиртным арабы торговали только из-под полы. Бледнолицые (кажется, канадцы) запросто лупили надоедливых арабских мальчишек, чего нам, конечно, не позволялось. Один наш сверхсрочник из танковой мастерской тут же вылетел в Союз вверх тормашками, когда позволил себе рукоприкладство. И это правильно. Русский всякому восточному человеку - брат. Уж с татарами как воевали, а теперь водой не разольешь. Нет у нас национального высокомерия.

Иногда на равнине за городской стеной появлялась Клоди Файен. Появлялась на лошади, просто так, на променаде. Если не пели пули (а они пели не часто). Я так и не прочел ее записок. Это французский врач, докторша, в сорок лет вдруг уехавшая в Йемен — в погоне за смыслом жизни. Но Царство Божие внутри нас есть? За смыслом нужно отправиться в свои собственные глубины. Однако часто мы бежим за горизонт, чтобы здесь, на линии, разделяющей небо и землю, остановиться, сесть и... И увидеть духовное небо, опускающееся на нашу глухую бедную землю. Сабах аль-хейр! — Сабах аль-нур! Она любила Йемен.

Мы там попутно еще йеменцев обучали нехитрому ремеслу. Офицеры преподавали теорию, а мы учили разбирать-собирать-ремонттировать. Иногда затевали с Ахмедом, Али и Мгягетом (Мишей) всевозможные разговоры - во время перекуров. Мы, естественно, отстаивали классовую точку зрения. Правда, они никак не могли взять в толк, почему богатый - значит плохой. У Ахмеда (ударение, кажется, на первой букве) брат держал чайную...

Как он радовался, когда научил нас произносить «альхам дар илля!» (славословие Богу). А мы были нехристи, нам без разницы, что говорить, кого славословить. Аллаха? Почему бы, мол, и не сказать, если хороший человек просит... Однажды Ахмед Махаррам (нашёл в старой записной книжке его фамилию, написанную им самим арабскими и латинскими буквами) встретил нас на улице и всё пытался угостить в чайной своего брата. Однако нам было запрещено вот так угощаться... Мы их всё время угощали сигаретами... Им платили совсем мало, как-то раз даже забастовку устроили по случаю невыплаты денег. Нечего есть, мафиш акль... Однажды с какой-то оказией привезли нам чёрный хлеб и папиросы «Беломорканал». Угощаю Ахмеда, а он спрашивает: это тумбак? Наркотик? Никогда не видел папирос.

Перед отъездом сфотографировались на память, переводчик что-то написал по-арабски на обороте фотографии. Там мы все молодые, все в 1963 году. Жив ли кто-то сегодня? Ахмед, Али, Мгягет-Миша... Ахмед художавый, в очках, когда работал. Маленький Али с очень старым лицом. Мгягет – коренастый, спокойный молодой человек. Переводчик лейтенант Мухаммад... Кейф халек, садък? Как дела, друг? Тамам, тамам унус у хамса букша. Хорошо, хорошо с половиной да еще на пять мелких монет... Хорошо быть молодым. Тамам? Не знаю... Чересчур много глупостей совершаешь в молодости. Возраст, который надо как-то быстрее проскочить. Опасный возраст. Хорошо быть пожилым, когда ждешь повестку туда... домой... Когда знаешь, что Бог не оставит. Кто-то из святых отцов сказал: всех помилует Бог, кто просит Божьей милости. А праведники будут Его друзьями. Друзьями... да...

По-видимому, надо успеть ещё в этой жизни испить горькую чашу до дна. Чтобы пришла настоящая вера, «надо беду зажечь вокруг» (св. Феофан Затворник). Впрочем... Бедой горит мир, да мы не видим, потому что моя рубашка ведь еще не горит. Все мостимся в тени под кустиком... под кустиком... подальше от божественного огня, который гонит нас отсель - в царство небесное. А мы всё тушим рубашку, чтобы огонь не обжыл сердце.

...Надо сказать, что мы шлялись по Сане совершенно беспрепятственно. Ничего не боялись ни мы, ни наши командиры. Только по одному не рекомендовалось разгуливать. В Союзе Советских Социалистических Республик нас запирали в военных городках, а тут - сплошное «либерте казино». Кругом война, а мы... пасем-ся на зеленой лужайке. В кактусах... Там вдоль городской глинобитной стены росли кактусы, как у нас крапива. На Новый 1963 год даже устроили ужин с выпивкой. Правда, некоторые умудрились перепить. Маленький Вовчик Удалов сразу после совместного угощения пошел к офицерам права качать. Стал смешно наскакивать на громадного лейтенанта-оружейника, у которого мог на ладони уместиться. Этот лейтенант однажды боксировал в бейт Али, надевши перчатки, с нашим кандидатом в мастера. Страх смотреть... А Вовчик потом сильно обгорел и долго лежал в госпитале. Почему-то я запомнил его послеобеденную поговорку: «Наелса-напилса хвост баранкой завилса...»

Надо бы назвать ребят, которые были тогда в Йемене и жили в бейт Али. Пески истории затягивают имена. В одном новейшем исследовании по истории наших локальных зарубежных войн вообще нет упоминания о наших мастерских. Речь идёт, кажется, лишь о каком-то спецназе середины 60-х. О погибших там офицерах... Вот моя записная книжка: Женя Добрецов (шофер, хороший парень, очень увлёкся арабским языком), Валерий Осипов (артиллерист-ремонтник, фотограф-любитель, чуть ли не с первой зарплаты купил широкоформатный «Роллефлекс»), почти все мои снимки сделал именно он; я с ним познакомился ещё в дивизионной артмастерской, когда четыре месяца служил в Голицино), Володя Шашков (шофер, мы вместе служили в артмастерской зенитного полка в Химках), Магущин, Ворошилин, Надеев, Кирсанов, Иванов (самый «современный» наш молодой человек; от него я впервые услышал нечто из молодёжного жаргона: чувак, чува и т.д.), Уфимцев. Это всё мои артиллеристы. Оружейники: Морёнов (старший у них; познакомился с ним тоже ещё в Голицино), Пармёнов, Беляев, Денисов (парень, которого мы с Шашковым «взяли» с собой из зенитного полка), Пискарёв, Булкин, Удалов, Скобелев, Кобельков (меняю фамилию – наш толстый Жека однажды зачем-то вытащил из кармана пистолет и потихоньку показал мне на междуэтажной лестнице. А мы ведь не имели права ходить с оружием... Впрочем, они ремонтировали пистолеты... Похвастался. По просьбе нашего контрразведчика? Или по собственной инициативе? Я всё-таки считался старшим и был обязан заложить его начальству, но промолчал). Шоферы: Мухин, Полуабкин, Сальник, Добрынин. Оптики: Николаев, Крылов (квадратный боксёр-кандидат в мастера, ходил почему-то в ярко-красной рубашке), Плотников, Лушников. Среди всех перечисленных нет единственного нашего парня, который там погиб. Он жил не с нами, возил нашего генерала Кузоваткина.

Степанов был в мастерской старшим среди нижних чинов (мастер цеха), потому что успел получить военное образование (Ленинградская школа артиллерийской технической службы). А начальником нашей мастерской был добродушный толстячок капитан Зеленецкий, главным по артиллерийской части – спокойный и энергичный парень старший лейтенант Валя Перелёт. И у оружейников – старлей Шахназаров. У него при отбытии из Йемена новенькие женские туфельки не влезли в чемодан, и он арендовал площадь в моём саквояже. Или это у врача не влезли? Забыл.

Сразу же за этим списком в записной книжке почему-то кусочек стиха, услышанного в Москве от Жеки Лаврентьева, художника, недолгого приятеля моего брата:

Ударит осколок под левый сосок,
трава заалеет во рву...
Я пальцы изрежу о стебли осок,
минуту ещё поживу.

Нас любили в Йемене, мальчишки на улице кричали: «Руси тамам!» А к египтянам было другое отношение. Все-таки они пришли с оружием. Месяцев через семь, когда в гражданской войне был небольшой перерыв, мы поехали на своих грузовиках и легучках к Красному морю, в Ходейду. Это порт, построенный русскими специалистами. В горах гостили у египтян, кто-то даже чай пил. Там возле шоссе под скалой стояла их батарея. Купались в горной речке под водопадом. С гор спустились - безбрежная полупустыня Тихама, жаркий ветер в лицо. Спали в палатках - как в бане. Купались в горячем море. На береговом песочке какие-то крабики мельтешат, как насекомые. Снуют туда-сюда быстро-быстро — на тоненьких ножках. На песке валяются обломки коралловых рифов (привез домой кусочек). Встретил там однокашника — вместе учились в ар-

тиллерийской школе. Он был заклятым врагом тамошнего моего приятеля Тольки Путана, уроженца Тихвина. Но здесь... Здесь я был начальником, а потому он изобразил гостеприимство — сидели вечером у него под вентилятором и пили спирт. Понемножку. Только в Москве, в пересылке-распределителе на Красной Пресне, когда мы туда вернулись, он позволил себе небольшую неспровоцированную атаку. Его имя... имя... имя за- был.

А назад едем - египтян уже нет... Ночью их повязали, выкололи глаза и отправили босиком по асфальту в столицу. Китайцы еще до войны построили шоссе от столицы до Красного моря.

К нам другое отношение... Другое... Однажды на границе с Саудовской Аравией переводчик сдуру попался бедуинам. Не успел прибежать к самолёту. Собственно, в пустыне граница достаточно условна... Они посадили его на верблюда и несколько дней вот так транспортировали в английский протекторат Аден. Зной, верблюжья кашка — до тошноты... Пески... На верблюдов потом спокойно смотреть не мог. И фляжку с водой все время таскал в кармане. Похитители водой поили его только за деньги. Втридорога. Любопытно, да? — Деньги не отобрали. В Адене его за хорошую цену продали англичанам, те отправили в Лондон, оттуда — в Москву, а из столицы уж назад в Сану — бакиши отрабатывать. У меня есть снимок, где он с йеменским президентом и нашим полковником (потом — генералом) Кузоваткиным шагает по территории мастерской. Вокруг, естественно, охрана с винтовками.

Маршал ас-Салаяль почему-то не любил ездить в городе потихоньку. Всегда о его продвижении извещала завывающая сирена, так что вся Сана слышала — где-то едет наш маршал. На открытых джипах его сопровождала охрана, оцетинившаяся бендуками и рашашами.

К концу века все йеменцы помирились. Только с евреями арабы до сих пор... А мы... мы не помним зла? Не злопамятны... Памятозлобие — один из тягчайших грехов. Мимо поверженного иудея пройдут раввин и левит, а православный остановится, перевяжет раны и увезет в гостиницу. Да еще денег на уход даст... Наверное, поэтому наша держава стоит тысячелетие. Все наши большие и маленькие враги «внутри нее» давно стали друзьями (только отдельно взятые чеченцы на нас ещё пока сердятся). Нам бы лишь научиться не заимствовать у наших заклятых европейских друзей дурное. Либерте-эгалите... 1813 год... С кем «эгалите»? Братья-крестьяне в крепостном рабстве... С французами «фратерните», последнюю рубаху отдадим, от родного языка откажемся... Пардон, месье... медам... Всемирная отзывчивость... Общечеловеки... Мондиалисты... Монетаристы... Марксисты... Сплошь улицы Бебея, Клары Цеткин, Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Впрочем, это не наша затея.

...Если из окон бейт Али смотреть на город, то взгляд, во-первых, утыкается в радиостанцию. Она в ста метрах. Или в двухстах. По радио каждый день: «Джумгурия, джумгурия... Республика, республика... (Это такая песня... Гимн?) Ля малакийя у ля раджайя, джумгурия, джумгурия...» Ахмед пытался нам объяснить на пальцах, кто такие «малакийя» и «раджайя», но я уже забыл. Кажется, какие-то враги. «Ля» — это отрицание. Забыл... Всё-таки с тех пор прошло сорок лет.

А между нашим дворцом и радиостанцией — волейбольные столбы, площадка со скорпионами. Мы их что ли там вкопали, эти столбы? Не помню... Помню, как кто-то собирал на площадке скорпионов и сажал их в банку.

Здесь пауза. В августе (это 2001 год) мне снился сон... Будто за моей спиной сидевший сатана шоколадного цвета, похожий то ли на собаку, то ли на обезьяну, сказал: «Я не дам тебе написать». Протянул свою коричневую лапу и забрал мою ручку. Тут я проснулся (среди ночи), легкий мороз по коже... Стал читать молитву и снова уснул. И чего он остервенился? Вполне безобидная вещь...

С тех пор я чуть не месяц бездельничаю. А сейчас вот сел к столу, чтобы продолжить эту вещь... о Марии... собственно, сейчас про себя... Про себя... Или я не прав? Или это просто тщеславие (как же, мол, без меня...). Нас не понять по отдельности. О чем же я там? Про Йемен... Про Йемен уже надоело писать. Да и пребывать там мне скоро надоело. Тоска... Русским надо жить в России, хоть за морем и длинный рубль.

Через год мы оттуда улетели. Осталась только молодёжь... От горной Саны до побережья Красного моря, к Ходейде, летели в брюхе АН-12, который шел низко над горами, чтобы нас не заморозить и не оставить без кислорода (десантники в нем путешествуют с кислородными масками). Но как летели от Ходейды до Каира — не помню. Хоть убей... В Каире приземлились на военном аэродроме и стали тянуть жребий из шапки. И мне с таким же бедолагой досталось сидеть на аэродроме и караулить чемоданы. Целая гора чемоданов... Помню, прибежал какой-то наш переводчик с горящими глазами и просил продать английскую рубашку. Продав ему одну (или две?), чтоб отвязался. У них тут все гораздо дороже, чем там, у нас, под боком у английского Адена. Аден тогда еще был английским протекторатом и туда регулярно летал самолетик с советским экипажем (это уже к концу нашей командировки, ближе к концу 63 года). Однажды летчики перевернулись в своем газике по пути с аэродрома, потому что их шофер любил давить местных ничейных собак. Это нам рассказал авиационный старшина, который чего-то себе повредил и долго жил на больничном положении в огромной нашей комнате. Очень симпатичный дядька. Впрочем, возможно, он по совместительству надзирал, присматривал за нами... Он нам потом возил лампы для магнитофонов из Адена.

Мы ж были глупые, маленькие дети.

МОСКВА

Не помню, как летели домой. Помню лишь, как приземлились в Симферополе, и нас досматривал таможенник на грузовом открытом люке двенадцатого АНа. Открыли чемоданы, он выборочно попросил по-

казать содержимое карманов... Потом пересели в АН-24 и полетели в Москву. В качестве сидений там были боковые лавки, а в середине – какой-то груз. Как выяснилось, с нами путешествовал огромный зеленый ящик из-под артиллерийского ЗИПа — с кофейными зернами, подарок какому-то московскому генералу. Алаверды — от нашего столика вашему столику... По дороге немножко выпивали — у кого что было. Я на египетские фунты, вырученные за рубашку, купил две бутылки спиртного. «Мартини» выпили в самолете, а в другой был египетский ром. Потом меня москвичи пожурили: мол, этого добра и у нас полно. Кубинский даже лучше... Сидели тогда на кухне у художников Лаврентьевых — вместе с Хвалей, потомком графьев Хваленских. Говорили о том о сем, главным образом о современном и не очень современном искусстве. Жанна говорит: ах, как хорошо... в кои-то поры так хорошо разговариваем... Ее покойный отец был каким-то знаменитым московским чекистом кавказского происхождения. «Гроза Москвы». А дочь пошла в художники... внучка — тоже... Сейчас все как-то очень несчастны, Жанна состарилась и больна туберкулезом. Это друзья моего брата, с ними он года полтора учился в Суриковском художественном институте, а потом сбежал ловить рыбу в Атлантике. Даже ходил боцманом на парусниках. Хваля давно помер, Лаврентьев давным-давно развелся с Жанной... Точнее — Жанна с ним. А тогда...

Тогда я пришел к ним с двумя чемоданами, в одном из которых лежал большой-пребольшой ламповый четырехдорожечный стереомагнитофон «Грюндих» западногерманского происхождения. С записями. Все с удовольствием слушали концерт американца Гарри Беллафонте. Народные песни... Фолк зонг. Выяснилось, что у дочки завтра день рождения (кажется, четыре года), — значит, что-то надо подарить. Сходил в банк, поменял девять долларов (всю мою наличность) на семь рублей — и чего-то купил имениннице. Лопух. На эти доллары в спецмагазине «Березка» они бы могли купить... Ну, какой-нибудь дефицит. Чего-нибудь эдакое, чего не купишь в рядовом советском магазине.

Да, еще подарил одну из заводных зверюшек (вез из Аравии своим племянницам). На именинах выпивали, танцевали, знакомились. Моя танцевальная партнерша осталась ночевать у хозяев. Через пару дней мы уже бродили по городу, даже съездили почему-то на Воробьевы горы. Она притащила меня в профессорскую квартиру своих родителей на Соколе. Полки с книгами вдоль длинного коридора... Хорошо, что родителей не было. Только ее брат. Через полмесяца она меня спросила: — Вот Хваля зовёт меня замуж... А ты?

Я был тогда беспаспортным рядовым срочной службы, а потому никак не мог жениться (даже при желании), не побывав в своем уральском военкомате. А когда побывал... Написал ей одно письмо, а больше дурить голову не стал. В Москву не вернулся, пошел на Уралмаш учеником токаря. Бог мне назначил мою Марию, с которой встретились через полгода. Благодарю Тебя, Боже, за всю нашу боль и нашу радость. За эти наши тридцать лет на земле. За посмертную любовь. Она ж и там меня любит? Помяни, Господи, всех скорбящих в разлуке... Церковь во имя Всех святых на Соколе была любимым храмом Марии. В последний раз мы там были с ней на Радоницу 91 года. Было много народу, я не совсем ясно понимал, что происходит. Апрель... Просто апрель. Не понимал, что все ушедшие ждут наших поминований.

А утром после именин... Нам было приказано утром собраться в бюро пропусков Генерального штаба. Пришел туда похмельный, тошнит, еле стою. Долго ждали. Потом долго сидели в каком-то холле Генштаба, от скуки ребята бродили по коридорам — в джинсах, в живописных свитерах. В конце концов какой-то начальник велел всех нас выгнать, чтоб глаза не мозолили своим непристойным видом. Нам было приказано отправляться в свои войсковые соединения.

Кажется, на другой день я прикатил на электричке в Химки, пошел в свой зенитный полк, зашел к ребятам в артиллерийскую мастерскую. Потом отправился в штаб полка, где был принят самим полковником Толстенко.

— Товарищ полковник, разрешите доложить не по форме...

Я же был в штатском, в темно-сером итальянском демисезонном пальто и в достаточно скромных коричневых штанах с еле заметным фиолетовым отливом. А он почему-то ка-а-ак закричит:

— Видел я вас таких – перевидел! Марш дослуживать!

А на дворе уж ноябрь, я уж четвертый год служу — пора и домой. Я ж не матрос, чтобы дослуживать четвертый год... Однако спорить не стал, потому что сразу понял — бесполезно. Сказал «есть» — и пошел из кабинета. Следом вышел замполит и утешил: полковник, мол, погорячился... Что ж тебя оставлять... Сначала тебя на месяц в карантин, а потом все равно демобилизация... Ехали потом с замполитом в электричке до Москвы, я ему чего-то рассказывал про йеменскую нищую жизнь, а он сожалел: «Надо бы... надо бы тебя на денёк оставить, чтобы батарейцам рассказал... не ценят советскую власть... дурачок Денисов тут приехал дослуживать и соловьём разливается про тамошнее изобилие».

Так вот получилось, что никто спасибо не сказал — ни в полку, ни в Генштабе. Ну, и не надо. Нам платили серебряные талеры Марии Терезии за страх и риск — чего ж еще вдобавок спасибо говорить. Это было бы слишком. Мы ж не космонавты, чтобы сразу делать героями и майорами... К тому же похвала нам не полезна. Гораздо полезнее хула... Правда, говорят, что хуже всего — равнодушие.

Я вернулся к друзьям-художникам, они к тому времени сдали в скупку кое-какие мои заграничные тряпки, и мы полмесяца гуляли-пировали по Москве. Потом уехал в Калининград к Евгению, брату своему. В поезде по радио сообщили, что американцы застрелили своего президента Кеннеди. Сик транзит gloria мунди... Проходит земная слава... Проходит... Брат жил тогда в Светлом, жена его Рита была на сносях (родила мне племянника Бориса в конце декабря). Недавно Женька вспомнил, что я тогда подарил ему пистолет-зажигалку из нержавеющей стали. Ее забрал потом приятель, а мою собственную утащили в предбаннике заводской

душевой. Такая досада... Привез еще им всяких тряпок, которые давно износились... Чего там — тела изнашиваются... изнашиваются... истлевают.

Из Калининграда вернулся в Москву, граф Хваленский к тому времени где-то заработал немного денег, и мы пошли в грузинский ресторан «Арагви». Хваля был благородным человеком. Да. Решил дать ответный грузинский пир — в ответ на мои угощенья. Вот кусочек воспоминаний брата моего — про Владимира и его дом.

«Вот эта улица, вот этот дом, Вовка Хваленский бежит в гастроном, крутится, вертится — хочет купить, чтобы Гараеву водки налить... Действительно, бежит! Из Самарского бежит переулком. Где гастроном? Проспект Мира, близ остановки метро «Ботанический сад». Вернулся! Бежит волна, шумит волна... на берег вал плеснул, в нем вся душа тоски полна, как будто друг шепнул: «Милый друг, наконец-то мы вместе, ты плыви, наш кораблик, плыви!» Увы, нет никого и ничего. Нет в живых Иоганна Вольфганга, нет Хвали, не с кем водрузить «верстовой столб» в доме, которого тоже нет. Снесли к Московской олимпиаде. Разобрали реликвию, одну из немногих уцелевших, когда горел-шумел пожар московский. Пронумеровали каждое бревнышко, пообещав восстановить в ином месте «ювелирно мелочной отделкой подробностей», да, как всегда, обманули, сволочи. Выждали немного да под шумок и пре-дали огню. Скучно на этом свете, господа! И грустно.

Конечно, дом давно превратился в коммуналку, скопище тесных курятников, однако Хвалина комната всё ещё сохраняла остатки былой дворянской импозантности. Её олицетворяла и Вовкина тетюшка. Её кисти принадлежали небольшие натюрморты с сиренями и пейзажики а-ля Бенуа, плотно скученные на высоких стенах. В темных рамах, сами потемневшие от времени, они отражались в черном лаке рояля и как бы продолжались на круглом столе, накрытом тяжелой скатертью. В центре — круглая ваза с цветами в любое время года. Антресолю, где стояла кушетка Графули, и дворянские шпаги над изголовьем тоже олицетворяли нечто, канувшее в небытие, даже крыльцо с толстыми высокими колоннами, под которыми я часто ночевал, ныне превращенное в террасу, некогда выходило в «бабушкин сад», давало пищу уму.

Когда я смотрел с террасы сквозь стеклянную дверь и видел то, что видел, в том числе и тётюшку, проходившую комнатой в своей постоянной шали, наброшенной на плечи, то «магический кристалл» стекла превращал её в блоковскую незнакомку, ушедшую раньше Графули в «туманную даль»... И ни одного замечания с её стороны по поводу наших выпивок! Она была выше этого. Однажды я, правда, слышал, как она выговаривала племяннику, но это касалось собак. То ли он покормил их не вовремя, то ли не выгулял своевременно. Последнее касалось только Мая, широкогрудого овчара. Болонка Хэппи, похожая на большой кусок свалывшейся шерсти, была старше кумранских свитков и доживала свой век, не подымаясь с подстилки. Здоровяк Май ненадолго пережил её. Сначала отнялись задние ноги, потом... Конечно, Хваля его не «ликвидировал». Ухаживал, лечил, позволил умереть своей смертью и похоронил под террасой».

Не помню, чего там еще было. Правда, Хвалину комнату немножко помню: высокие темные стены, уходящие в туманную бесконечность, лесенка на антресоли... Простился в конце концов с Лаврухиным, Хвалей, Жанной, Зиной, Ниной Шумской, со всеми приветливыми москвичами...

Кстати, побывал в Перловке у дяди Володи. Пришлось наврать ему, что побывал в Гизе и любовался пирамидами. Не мог же я ему сообщить, что сидел на военном аэродроме рядом с кучей чемоданов. Правда, пирамиды я все-таки видел — из самолета. А ребята наши действительно ездили в эту египетскую Гизу. К давно уснувшим фараонам... Сегодня мумии святоотчественно выставлены напоказ. Не к добру... Мы все время копошимся на древних кладбищах, беспокоим усопших. Добром это не кончится...

Египет по-арабски — Миср, а египтяне — масри...

Недавно обретен гроб св. апостола Иакова, брата Господня: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его».

Глава 5. Работа и всякая дальнейшая жизнь

УРАЛ

В Екатеринбург приехал зимой, в начале декабря. Мороз. Надел на себя три свитера, потому что был в итальянском пальтишке на рыбьем меху. Эти свитеры потом Мария долго таскала, пока не износились. Больше месяца жил с отцом-матерью в рабочем поселке, потом поехал в Верхнюю Пышму, в контору геофизической экспедиции, где работал до армии. Наша партия была круглогодичной, думаю: хоть и январь, а может быть все-таки примут. Но мне сказали, что работники не нужны. Я к тому же не догадался сообщить, что именно от них уходил в армию.

Вернулся в Екатеринбург-Свердловск, пошел в отдел кадров Уралмаша и устроился учеником токаря в цех буровых машин №80. Дали общежитие... Жили в недавно построенном панельном жилом доме на улице 40 лет Октября, в двухкомнатной квартире. Впятером или вшестером — не помню. Месяца через три перевели в типовую «общагу» №13 на улице Ильича. Второй этаж, первая (или вторая?) комната налево.

Начальник цеха спросил, на каком станке я работал до армии: на большом или маленьком. А я после школы восемь месяцев трудился на лесозаводе разнорабочим, а иногда — на четырехстороннем строгальном станке, откуда вылезали половые толстые доски. Нужно было просто их подвозить и заталкивать в станок.

Я сказал начальнику, что станок был большой — и он отправил меня на обдирку больших валов для экскаватора. Во всяком правиле существуют исключения, а потому в цехе буровых машин делали такие вот валы. Обдирка валов мне нравилась, а чистовая их обработка — нет. Тут нужен большой опыт, чтобы сразу

выдержать размер. Страшно же запороть такую большую болванку. Вот и гоняешь резец туда-сюда, чтобы размер не «провалить». пожалел сто раз, что не попросился на маленький станочек, где работа простая и однообразная — точки до пенсии цилиндрики одного размера.

На заводе было хорошо. Правда, очень мало зарабатывал — на хлеб да воду. «Хорошо» в том смысле, что мужики в смене были хорошие, добротные, надежные, семейные. Два токаря (в том числе Саша, мой учитель) на старых и очень точных американских «Леманах» с гидроприводом, один — на карусельном, двое — на зуборезных, один на шлифовальном. Кажется, еще сверлильный станок был на участке. Или фрезерный? Все такие положительные мужики, не выпивохи. Саша после моего уже ухода из цеха окончил заочно институт и стал инженером по технике безопасности. Там очень многие где-нибудь учились. Избрали меня комсоргом смены почему-то... Почему-то меня всегда куда-нибудь избирали или назначали. Да, ребята из партячекки, кажется, сказали так: ты собираешься поступать в институт, пригодится... Чтобы меня, значит, стимулировать.

А за пределами завода было плохо. Тоска. Безделье. Скука. Иногда пьянка. В общезитии друзей не было. Впрочем... Иногда бродили по Уралмашу с таким же бедолагой из нашего цеха. Или с практикантом, который учился в политехническом. Однажды где-то встретился с Виктором... С Виктором? Или с Виталием? С Виталькой Ситниковым? Нет, не помню имени... Он был старше меня на класс, вместе учились в средней школе поселка Орел — на Каме, под Березниками, где бегали речные трамвайчики «Вазуза» и... забыл другие имена-наименования... Я даже как-то его карандашный портрет сварганил. И мы отправились с ним в общезитие политехнического института, где учились ребята... наши бывшие приятели... А мне идти в ночную смену... Пришлось после дружеского пира проспять ночь в предбаннике душевой. Благо, ночью начальства в цехе нету.

В соседней комнате нашей общезитской квартиры жили двое безобразников со станции Кузино. Устроились в транспортный цех Уралмаша, что-то там воровали и вывозили в вагонах. Таскали и из наших чемоданов. Не повезло — вместе со мной они переехали в другое общезитие, в одну комнату. Впрочем, может и повезло. Когда уж учился в университете, мы с Марией на электричке поехали к моим в Коуровку. И вдруг смотрю — рыжий Сашка садится к окну против Марии. И давай с ней разговоры разговаривать. А его приятель в другом конце вагона сидит. Я говорю: — Саша, здравствуй, друг дорогой... Давно тебя не видел... Он чего-то пробормотал и вскоре убрался восвояси. Так что все-таки повезло. Вдвоем они меня сильно бы изломали. Они любили по вагонам задираться.

Очень трудно жить в общезитии молодому человеку. Свинцовые будни. В Екатеринбурге было тогда 250 «общаг», Мария в начале 80-х сделала несколько радиопередач, пыталась обратить внимание широкой общественности... Там я по дороге на завод такие стишки сочинил (опускаю первых два четверостишия, которые начинались так: «Жить так жить, тараша в мир гляделки, так чтоб солнце било через край, чтобы хриплосонные сиделки не таскали утку по утрам...») Не понимал: без «утки» иногда не обойтись):

Сны идут,
где тонко, там и рвутся,
прут в башку, тяжелые, как пули.
Те, которые вчера уснули,
могут в это утро не проснуться...
Что-то ищем, роем землю носом,
став в осенних сумерках незрячими...
Изойдем оптимистическим поносом,
если уж никак нельзя иначе.

.....
— Ваши трупы раки в речке съели
и запили гrrrrязною водой! —
каркает на пересохшей ели
воронёнок мудро-молодой...

И при всем при том я, конечно же, никаким диссидентом не был. Верил в своевременное построение коммунизма, заступался за первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева, когда про него рассказывали анекдоты. Правда, вернувшись из Йемена в СССР, мы обнаружили, что исчез хлеб. Его стали продавать по карточкам зимой 1963-64 года. Так что с коммунизмом случилась такая вот заминка. Но я все равно был верующим и на университетском экзамене писал сочинение на свободную тему, которая была извлечена из выступления Шолохова на каком-то съезде: «Мы пишем по указке собственного сердца, а сердца наши принадлежат партии». Вроде бы как-то так он сформулировал. Начал почему-то издали, из середины XIX века (наверное, потому, что летом очень внимательно читал «Историю русской литературы» для высших учебных заведений; где её взял? — в букинистике купил?), так что к концу экзамена только-только успел добраться до современности. Кажется, успел Васисуалия Аксенова ... пожуричь... Выходит, уже тогда я не любил его ернических произведений.

Я даже Марии как-то сказал, что будем ругаться с ней на идеологической почве. Но очень скоро почва ушла у меня из-под ног. В сентябре мы с Марией познакомились на уборке картошки в селе Приданниково под Красноуфимском, а уже в октябре соратники съели Хрущева. Еще вчера они его встречали бурными аплодисментами, переходящими в овацию, величали «наш дорогой Никита Сергеевич», а сегодня — съели. Это была моя духовная катастрофа, вера в вождя рухнула. Я стал ворчливым читателем журнала «Новый мир». Его тог-

да редактировал Твардовский. Слава Богу, вместе с прочими были там Белов, Абрамов, другие по-настоящему русские писатели. Статьи, то ли в 70-м, то ли в 71-м журнал чуть не напечатал мой рассказ «В командировке». Приглашали ещё чего-нибудь прислать, но... Я тогда перестал сочинять прозаические произведения.

Жили с Марией, конечно, в нищете. Спасибо, сестра Галина помогала одеждой для дочки. Присылала из Киева — то, что оставалось после ее Наташи и Лены. Лена сейчас с мужем и сыном в Буэнос-Айресе. Такая пошла суверенно-независимая жизнь на Украине после разрушения СССР, что муж счел за благо отправиться на заработки в Аргентину. Сейчас водит там автобус, а Лена заведует химчисткой. Не знаю, вернутся ли когда-нибудь к родным могилам... И в Аргентине случился недавно экономический кризис.

...У меня в те далекие 60-е годы стипендия составляла 35 рублей. Это половина тогдашней минимальной зарплаты; а сейчас пенсия в переводе на старые деньги 46 рублей. Правда, похоронить должны бесплатно, как бомжа, потому что участник боевых действий (лучше бы, пока жив, к пенсии приплачивали). А тогда еще подрабатывал в кочеварке. Кочеварка располагалась рядом с нынешней недостроенной телебашней, на берегу Исети. Там были какие-то механические мастерские. А кругом — деревянные домики... У тещи Елизаветы Дмитриевны пенсия была 93 рубля. Мария, намаявшись с английским языком и прочими скучными предметами, снова убежала на заочное отделение. Работала на ракетостроительном заводе имени Калинина в многотиражке — пока не родила в июле 1966 года нашу доченьку Юлю. Тогда, кажется, матерям разрешали сидеть дома то ли год, то ли полтора. Я-то хотел назвать ее Ольгой (и по святым, кстати, 24 июля — Ольга), но Маша решила по-своему. За все свои мученья...

Мария скоро перешла в комитет по радиовещанию и телевидению. В музыкальную редакцию. Про свою тамошнюю работу она написала сама. А наша совместная жизнь... Если иметь в виду только Марию, то эти тридцать лет можно разделить на три почти равные части. С 1964 по 74 год мы с ней учились, работали, возились с маленькими детьми... иногда валялись дурака. Зрели-созревали... С 1975 по 85-й она болела и работала по-настоящему, запоем, успевши сделать всё самое главное в своей журналистике. После 1985-го она умирала, занималась всевозможной политикой, пришла в Церковь. Мы всю жизнь озирали окрестности, но не видели Церковь, как папуасы когда-то смотрели прямо на корабль — и не видели большой европейский парусник, брошенный якорь у острова. Впрочем, и европейцы много чего не видят до сих пор, хоть и тарачат глаза.

Церковь не вписывалась в нашу картину мира...

Но Бог нас не оставил.

СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД

В 72-м Мария переманила меня из «Вечернего Свердловска» на телевидение. Целый год там трудился, а потом ныне покойный мой однокурсник Валерий Примаков, узнавши, что я хочу уволиться (заклинило после устного начальственного выговора), нашёл мне работу в академическом Институте экономики. Август 73-го я провёл в совхозе (в основном конопатили коровник), а на следующее лето подрядился в стройотряд. Там всё-таки деньги платят, а семья-то обнищала в конец.

«02.07.74 г. Машенька, здравствуй! Вчера прибыли в Арти. Таблетки помогли сносно перетерпеть полёт — даже любовался проплывающими картинами природы. Потом машина долго везла нас к геофизикам. Это почти в лесу, за длинным колючим железобетонным забором. Поселились в двух трёхкомнатных квартирах, в комнате живём втроём. После четырёх есть горячая вода, так что можно помыться после работы. Кстати о работе. Пока что заняты пристроем к котельной. Выкопана яма под фундамент. Мы вчетвером должны обеспечить эту яму бутом. Бут — это такой камень, который швыряют в яму, чтобы затем залить раствором. Буту надо много. Сегодня с утра (в 6.20 подъём, завтрак — и на работу) отправились его ломать. Что-то уже было наковырято, побросали в самосвал, который затем не мог выехать из мокрой ямы карьера. Потом приехали бульдозер и экскаватор. Бульдозер вытащил самосвал и стал ездить туда-сюда по карьере, тогда как экскаватор стал ковыряться в земле своим массивным острозубым ковшом.

Слегка поковырявшись, экскаваторщик Лёня вылез на пригорок. Мы думали, что именно он с помощью своей машины будет добывать нам камень, но Лёня разъяснил, что добывать будем мы. Позднее сообщили, что он имел в виду поллитру, но было уже поздно, потому что Лёня очень быстро уехал, швырнув нам на прощанье кувалду. Пришлось искать в массиве трещины, загонять туда ломы и раскачивать глыбы, чтобы потом разбивать их с помощью кувалды, а затем швырять через борт самосвала.

Погода стоит, к сожалению, солнечная, что ведет к перегреву организма с последующим вспотеванием. Машуля, к этому времени я хочу уже спать, а завтра намечаю продолжение.

03.07.74. Продолжаем трудиться на карьере. Жарко и бзики кусают. Рабдень кончаем в начале девятого. Трудовые будни — праздники для нас... Правда, предвидится осечка: местные строители, с которыми мы тесно сотрудничаем (Лёня и К*), без уехавшего в «столицу» прораба не хотят копать траншею под теплотрассу. Никто не хочет брать на себя ответственность, потому что параллельно тянутся уже три выкопанные, но по разным причинам забракованные каналы. Наша будет четвёртая. Некоторые наполненные гражданскими чувствами и непримиримостью к отдельным проявлениям бесхозяйственности механизаторы заявляют, что правильнее было бы выкопать канаву всего один раз, но если хочется сделать её по цене достаточно дорогой — уложить в неё платиновые либо серебряные трубы.

Ещё можно бы приступить к постановке забора из ж/б столбов и колючей проволоки, но ещё не выплачены лесничеству денежки за те сосны, которые мы должны повалить, чтобы прорубить просеку. С-п-л-ю...

04.07.74. На карьере вчера в последний раз работали. Сегодня — курорт. Имеем дело с кирпичём и рас-

твором, а это легко и приятно. Лёня с друзьями-механизаторами лежит под экскаватором, наш самосвальщик катается на мотоцикле, а мы ходим и спрашиваем проходящих мимо механизаторов угнать машину от бетономешалки к строящемуся объекту. Работают здесь в основном только две бабы на бетономешалке. Совежливые какие-то. Остальные заняты делами важными и нужными. Тракторист нужен позарез, однако его отпустили на два месяца ловить кротов за рекой Уфой.

Машенька, милая ты моя, пиши. Твой...»

«Что-то, баба, я по тебе соскучился. («Баба» – звучит очень грубо, и позднее я стал называть Машу «бэби». Такая большая бэби ростом в 170 сантиметров.) Здравствуй! Сейчас пришёл с работы, а на кровати лежит письмо. А работали мы сегодня вдвоём, тогда как остальные отдыхали, потому что решили устроить день отдыха в субботу. А работали мы вдвоём потому, что нам дали кузницу в «Сельхозтехнике» до вторника не включительно, и нужно сделать тем временем 184 железных хреновины для якорей, которые должны держать растяжки на антенном геофизическом поле. Вчера я работал с кузнецом, который после позавчерашней пьянки работал на совесть и сделал 30 железяк, да я три. И поскольку кузница только до вторника, то надо работать и работать. Так что сегодня я был кузнецом и сделал 26 железяк. Да мой подручный одну.

Нагреваем в горне прутки толщиной два сантиметра и длиной полметра с лишним, я становлюсь за механический молот и тупым зубилом с ручкой рублю заготовки. Потом их опять нагреваю неоднократно и с помощью кузнечных клещей и кузнечного молотка гну вот такие штуковины (нарисовал). В петле размер под болт, так что надо точно.

Стою у жаркого горна, пот испещряет моё очень мужественное лицо, а я и грею, и гну, и стучу, и так далее. Даже слегка травмировал один из своих гениальных пальцев, но сноровка пришла довольно быстро. Вот так! Конечно, довольно нудно, но для разнообразия – ничего. А то в последнее время бетономешалка мне довольно-таки надоела – днём на стройке ломаешься, а с пяти часов бабы с мешалки уходят, и я как главный специалист по бетономешанию застаю на вахту. Всё бы ничего, но цемента терпеть не могу, потому что он пыльный. (У меня на пыль аллергия, сенная лихорадка.)

В результате всей трудовой деятельности закалился ужаснейшим образом. Ничего не берет, не надо никакой аскорбиновой кислоты и прочих снадобий. Правда, говорю немного в нос, но организм стал железным. В дополнение ко всему, кажется, на палец жиру с пуза сбросил. Но жрать охота очень и съедаю необъятные порции – и даже на ночь первое (остаётся от обеда, дают всем), второе и иногда даже третье.

Чрезвычайно радует следующий факт: бесперебойно наличествует после 4-х ванная с горячей водой, где регулярно вечером омываю с головы до ног. Хорошо, что носков много, потому что стирать неохота.

Машулька, «Люблю музыку» не размагничивай – послушаю по приезду. Я так полагаю, что 31-го прилечу, 1-е проведу с любимой женой, а вечером уеду в Кашино. И нечего там меня подозревать, что будто меня страшит трудовая деятельность в деревне. Труд я люблю.

До свиданья, бабёшечка моя родная, целую, твой... А что постригся наголо – это хорошо, потому что не будешь ведь каждый день мыть голову с мылом».

(Напечатал это своё письмо, а бумага в конверт не хочет возвращаться. Там внутри нашёл бумажку: «Укажите адрес» и свою приписку: «Это мне на почте приклеили к конверту, где я не указал адрес – ни твой, ни свой».)

«21.07.74. Машенька моя родная, здравствуй! Прокочили суббота и воскресенье. Ничего особенного не произошло – окромя того, что какая-то мошка цапнула меня в левое веко и теперь хожу с красным фонарём, походя теперь уже совершенно на эка. У нас ребята работали в посёлке Арти на тротуаре (гравий разбрасывали и т. д.), и к ним подходили люди и с очень большим любопытством спрашивали: «А вы не от милиции?» или «Вы, наверное, от КПЗ?» Когда я в кузнице сидел, мне аналогичский вопрос задал один молодой человек. Всё впечатление от наших трудовых подвигов, очевидно, портит синяя спецодежда. Какая жалость.

Как ты, Машулька, поживаешь? Скоро уже очень я примчусь в наш с тобой город. Осталось 8 дней. Ужасно по тебе, моя любимая, соскучился. Пиши, как там Юлькин день рождения. Целую тебя крепко-накрепко и неоднократно».

«17.07.74. Машенька, здравствуй! Сегодня (полчаса назад) получил твоё письмо, пришедши с лесоповала. Второй день тама. Вчера пилили «Дружбой», а потом она сломалась, и сегодня с Серёгой, который был у меня подручным в кузнице (а здесь – я у него при мотопиле)... Так вот, мы с Серёгой обнаковенной пилой валили сосны – и довольно много. Видимо, от излишка кислорода (после мешалки и кузницы) чувствую некоторую утомлённость.

А про Юльку я, видимо, не зря плохой сон видел. Заболела... Правда, он, кажется, гораздо раньше произошёл. Чего ты там сетуешь на ровность и спокойствие моей письменности – соскучился я по тебе как собака... Ты, Маша, дома не сиди – ходи к деушкам Люсе Кудряшовой и Свете Зотовой – всё скорее время пройдёт.

Тут у нас пока цемента нет и всякие другие мелкие неполадки. Прораб, кажется, запил – не видно его. А наш командир улетел в Город – выбивать аванс и ещё по каким-то делам. Аванс – в смысле на еду.

Пиши, Машулька, чего-нибудь побольше, а мне никаких фактов не привести больше, потому что всё, как ты понимаешь, однообразно: встал, поел, пошёл на работу, пришёл с работы, поел, уснул. Ботинки по идее должны продержаться до конца. Погода стоит пока хорошая – не холодная и не слишком жаркая, самое то, что надо.

Как там учебники детям? Не забыла? Может, справки надо взять в школе. Ну, совсем заболтался. Целую очень крепким поцелуем, твой мужичёшка».

Маша:

«Стыдно, но уже появляется потребность потихоньку пописывать письмишки – и по утрам, и по вечерам. Бумаги, Боря, нет в доме, потому произведение соцреализма пускаю в ход, потому что вижу, как просвечивает бритая голова и начинаю злиться. (На обороте – мой автопортрет с головой босиком и самолёт; наверное, Маше на прощанье оставил.) Завтра иду делать химию. Будем – два одуванчика.

Сегодня я, Боря, пошла в больницу, потому как печень (или что там в боку и спине) болит, и тошнит, и медный пятак во рту вместо шоколадки. Шла, Боря, прямо скажу: не только с целью получить квалифицированную медицинскую помощь, но и надёжный и неподдельный больничный лист – хотя бы на среду, потому что в среду мне надо рецензировать радиопередачи. А мне это – сам понимаешь. Позвонила в больницу, сказали, что Морозова в отпуске, очень боялась к кому попало: вдруг симулятивный процент высчитают. Но, Боречка, твоя жена, оказывается, очень большой человек. Помимо острого холи(?)ци(?)стита у меня оказалось сильно повышенным нижнее давление. Мне сразу воткнули прямо в задницу и дибазол, и папаверин, и ещё десять дней должна ходить на уколы – сбивать давление. Сказали: вот тебе, Маша, больничный – иди, отдыхай. Я пришла и легла спать. К Мар. Мих. сегодня не пошла, т.к. стёрла в кровь ноги красными туфлями (выброшу). Я, кстати, была у них два раза и оба раза никого не заставала. Ну уже завтра схожу. Сейчас я буду писать «Музыку – селу» и стирать бельё (замочила ещё вчера). Вале я позвонила и сказала, что я больна, но понимаю, как ей трудно одной и потому на работу ходить буду, но когда хочу – тогда и прикачу. Я на больничном и просто выручаю производство. Это я к тому, чтобы в среду ни на какие летучки не показываться. Боря, тебе уже надоело? Ну и пожалуйста. Ты меня не любишь? Ну и не надо, и дальше пиши письма про Петровичей и про бетономешалки. Ну уж про твой приезд не пристаю, ты уже, наверное, пишешь ответ на предыдущее письмо. Целую. Твоя Маша. 17.07.74».

«23.07.74. Перед отъездом в Кашино позвонила дяде Коле. Авочка умирает. Христа ради приезжай, матери же нужно будет поехать в город. Плюнь на всё и приезжай. Ещё прибавлю, не хотела тебе писать, но сейчас все средства, чтоб упробить тебя приехать. Позавчера поехала на укол (мне делают против давления) – стало плохо в автобусе, попросила остановить и, выходя, потеряла сознание. Помню только, что ринулась в открытую дверь. Видимо, съехала на локтях, потому что страшные кровоподтёки и содрана кожа, особенно на правом локте.

Борь, когда ты был на целине, я тебя выманивала, но не просила приехать. Сейчас прошу, умоляю. Только получишь письмо – и рви, какое там двадцать девятое! Плохая полоса в жизни начинается. Чую».

Авочка, жена Николая Дмитриевича, дядюшки моей Марии, померла 24 июля. Маша тут же послала телеграмму, я сел в автобус, доехал до Красноуфимска, а оттуда на электричке до Города. Так что вот и получился досрочный приезд, сбилось желание Марьюшки (коллеги остались трудиться в стройотряде до конца августа, а я договаривался на берегу, что до конца июля). Где-то я уже писал, что Маша мне рассказала, как положила по просьбе больного и старенького Колюшки большую и прекрасную розу в гроб Авочки. Они всю жизнь любили друг друга.

А я уехал в Кашино, чтобы отпустить в город Елизавету Дмитриевну, свою тещу. Она меня там испугалась, увидевши из окна, и сказала Юле: «Зэк! К нам в горку подымается зэк!» А Юля: «Что ты, бабушка, – это же папа...» Но я уже писал об этом. Да-да... Неужели был когда-то на земле 1974 год? Шёл... протекал... продолжался...

Вот такая была жена у меня. Другие из мужей всю жизнь выжимают деньги, готовы их превратить в машины, производящие ассигнации. А моя... моя была благородным человеком. Никогда не требовала с меня каких-то дополнительных денег. Не успел уехать на заработки, а она уже требует: возвращайся обратно. Почему отпустила? Я ей объяснил, что всё равно летом на месяц в колхоз-совхоз отправят, так уж лучше я добровольно отправлюсь в стройотряд, где можно хорошо заработать. Год назад, в 73-м, я как раз и проболтался месяц в совхозе, получив там копейки. Правда, после стройотряда больше не ездил далеко, не отрывался от дома и своей женушки. Отказался, несмотря на выкручиванье рук. Работал лишь, как все, по осени месяц на морковке-капусте. Но это – без отрыва от семьи, без отъезда из Города.

Что там ещё было в 74-м? Ну да, в апреле первое и единственное участие в Весенней выставке Союза художников. График Виталий Волович позвал участвовать. Говорит про меня: это русский Домье. А я и сейчас про Домье... не очень-то... Кажется, французский художник... Но кто-то соскоблил наспех придуманную рубрику с моего стенда («По мотивам произведений французских философов-просветителей»), и обком КПСС внёс меня в чёрный список. Потом стройотряд... потом отпуск в деревне... потом страшная ангина – до почернения миндалин... с осложнением (уролог прописал мне месяц принимать каждый день по таблетке сульфадимезина... и не пить при этом водку). Потом поездка в Ивдель с умнейшим геологом Олегом Всеволодовичем Жуковым, который хотел сделать из меня кандидата наук. Или мы тогда ездили в Воркуту? Не помню. В Воркуте он толкал меня по архивам (тема предполагаемой диссертации – история освоения Уральского Севера). В «угольном» архиве обнаружил интересную докладную записку старшего лейтенанта госбезопасности, где он объяснял какому-то начальству, что труд заключённых экономически невыгоден – государству одни убытки. Может быть, поэтому было решено преобразовать наш концлагерь в публичный дом? Но это раритет... случайно затерявшийся среди бумаг листочек. Все прочие лагерные архивы были в другом месте. Всеволодыч (кстати, двоюродный брат другого Жукова – московского писателя) отправил меня куда-то... кажется, в архив МВД, где мне объяснили, что всё сдали в музей. А в музее рассказали, что такие вещи лежат в спецхране, и необходим допуск. Но у меня тогда не было даже и третьей формы допуска к таинственным документам.

Потом... потом в наш город приехала Лена Камбурова, кто-то рассказал Маше, какая это хорошая певица, и она отправилась в филармонию. «Рубите вишнёвый сад... рубите, рубите!.. он исторически обречён». Маша влюбилась в её песни, часто их «вставляла» в свои радиийные передачи. Она была тогда тончайшим инструментом мира сего, умеющим передавать оттенки чувства, часто и не уловимые ухом человека толпы. Понятно: это ухо слышит лишь адский грохот рок-н-ролла. Так уж оно устроено – барабанная перепонка из шкуры бегемота. В него надо орать.

Таким образом, 74-й год начался Виталием Воловичем и весенней выставкой, а закончился песнями Камбуровой. Ей тогда аккомпанировала... забыл... она скоро уехала в Нью-Йорк. Ах да, Лариса Критская. Обе восхищались моими графическими произведениями. В Москве, мол, ничего подобного не видели. Наверное, у меня тогда вырос павлиний хвост. Хотя... Хотя скоро я почти совсем перестал рисовать, с утра до вечера бормотал свою логику.

Что там ещё в 74-м? Умер маршал Георгий Константинович Жуков. Александра Исаевича Солженицына выслали из СССР. Тогда же вышел в Париже сборник «Из-под глыб». Конечно, про сборник мы ничего не знали, я его сумел купить только в 92-м году: «Среди советских людей, имеющих неказённый образ мнений, почти всеобщим является представление, ЧТО нужно нашему обществу, чего следует добиваться, к чему стремиться: СВОБОДА и парламентская многопартийная система. ...Это представление столь единодушно, что возразить ему даже выглядит неприлично (в кругах неофициальных, разумеется).

В этом почти единодушии сказывается наша традиционная пассивная подражательность Западу: пути для России могут быть только повторительные, напряжение большое искать иных. ...Традиция – давняя, традиция дореволюционной русской интеллигенции, которая не холоднокровно, но жертвенно, но иногда отдавая и жизнь, считала ЦЕЛЬЮ своей И народной: свободу (народа) и счастье (народа). Как это осуществилось – знает история. Но независимо от того: вдумаемся в самый лозунг.

Не входит в нашу тему, но: что понималось под народным счастьем? В основном: нищета, материальное благосостояние (вполне совпадающее и с сегодняшним официальным: непрерывный рост материального уровня). ...Духовный же сектор счастья хотя и подразумевался кадетской интеллигенцией (социалистической меньше), но очень смутно, это труднее было вообразить себе за малопонятный народ: главным образом, конечно, гражданское равенство, образование (западное), отчасти, может быть, хороводы, даже и обряды, но уж конечно не чтение Житий святых или религиозные диспуты. Всеобщее убеждение выразил Короленко: «Человек создан для счастья как птица для полёта». И эту формулировку тоже переняла наша сегодняшняя пропаганда: и человек и общество имеют целью – «счастье»...

Внешняя СВОБОДА сама по себе – может ли быть ЦЕЛЬЮ сознательно живущих существ? Или она – только ФОРМА для осуществления других, высших задач? Мы рождаемся уже существами с внутренней свободой, свободой воли, свободой выбора, главная часть свободы дана нам уже в рождении. Свобода же внешняя, общественная – очень желательна для нашего неискаженного развития, но не больше, как условие, как среда, считать её ЦЕЛЬЮ нашего существования – бессмыслица. Свою внутреннюю свободу мы можем твёрдо осуществлять даже и в среде внешне-несвободной (насмешка Достоевского: «среда заела»). В несвободной среде мы не теряем возможности развиваться к целям нравственным (например: покинуть эту землю лучшими, чем определили наши наследственные задатки). Сопrotивление среды награждает наши усилия и БОЛЬШИМ внешним результатом.

Поэтому в настойчивых поисках политической свободы, как первого и главного, есть промах: прежде хорошо бы представить, ЧТО с этой свободой делать».

Там же был И.Шафаревич: «Прошедшие полвека обогатили нас опытом, которого нет ни у одной страны мира. Одно из самых древних религиозных представлений заключается в том, что для приобретения сверхъестественных сил надо побывать в другом мире, пройти через смерть. Так объясняли происхождение предсказателей, пророков:

Как труп в пустыне я лежал.

И Бога глас ко мне воззвал...

Таково сейчас положение России: она прошла через смерть и может услышать голос Бога. Но Бог творит историю руками людей, и это мы, каждый из нас может услышать его голос. А может, конечно, и не услышать. И остаться трупом в пустыне, которая покроем развалины России».

Можно упасть в снег,
в траву,
в океан
и лежать, совершенно бессмысленно
тараща в небо глаза.
Но меня убедили,
будто нужнее новые,
легко моющиеся обои...

Потом... В 75-м помню только Степана Гавриловича, с которым тогда встретила Мария, но о нём речь впереди. Тогда же купил первый том Гегелевой «Энциклопедии философских наук» – «Науку логики». Широкий обзор: метафизика, эмпиризм, Кант... На журфаке нам читали формальную логику и диалектический материализм, а тут – новые горизонты. В поле зрения попадает Религия: «Религия есть та форма сознания, в которой истина доступна всем людям, какова бы ни была степень их образования;

научное же познание истины есть особая форма её осознания, работу над которой готовы брать на себя лишь немногие. СОДЕРЖАНИЕ этих двух форм познания – ОДНО И ТО ЖЕ...» Тогда я чуть было не поверил Гегелю, что религия – это всего-навсего «форма сознания». Но факт остаётся фактом: мои логико-космологические измышления получили новый импульс. Маша с Юлькой в Кашине сочиняли про меня стишки, где я выступил в роли снежного человека-чучуна, который «экзамен сдал и бросил Гегеля под лавку». Да, именно тогда я, кажется, сдал кандидатские экзамены: философию, немецкий язык, политэкономиию.

Однажды в деревне они встретили меня свежеспечённой песенкой:

Здравствуй, Кашина,
наша Кашина –
и Антошина, и Юляшина,
и папашина, и мамашина,
и Лизушкина
наша Кашина!

В мае 76-го умерла Елизавета Дмитриевна, Маша чуть не полмесяца была с ней в больнице, даже и ночевала там. Днём иногда приходила домой – хоть чуть-чуть отоспаться. Тёща позвала меня в палату, прошила уговорить, чтоб дочка ночью спала дома. Но я-то понимал, что Машу не уговорить. Она ходила серая, жизнь повернулась совсем другой стороной, ушли в сторону их распри и обиды. Надо сказать, что в последние годы своей земной жизни Елизавета Дмитриевна стала... очень тяжёлым человеком. Старость и болезни, безмужнее одиночество.

Из 76 года, впрочем, недавно получил (нашёл) ещё и такое письмо: «Дорогой и любимый мой Боречка! Как ты там, несчастный, мёрзнешь? Ты, конечно, гениальный прогнозист. Флюгер просто с ума сходит, и дом качается. Вчера, то есть когда ты уехал, опять посыпал дождь мелкий и пакостный, мы покерили, и я моментами лидировала. Юля тоже пару раз нависала у Антона на хвосте, один раз даже перегнала, но этот мерзавец ускользал. Сейчас Антоха идёт в центр за хлебом – и с этим письмом, в котором я тебе должна ещё сделать некоторые указания:

1) привези старые перчатки (для прополки) и где-то должны быть (кажется, наверху в чулане) рабочие рукавицы,

2) возьми себе сменные ШТАНЫ!

3) авиаконверты 10 штук!

4) пленку для фотоаппарата (фиксировать Юлькино десятилетие),

5) посмотри Юльке детский фотоаппарат.

(А дальше пишет сама Юля.) Привези учебник англ. яз. для 5-го класса.

(Потом Антон.) В детской, в шкафу, на второй полке сверху стоит учебник «Грамматика англ. языка», автор Грузинская. Если тебе не тяжело, привези «Братьев Карамазовых».

(Потом опять Юля.) Папуле от мамы, Тоши, Юли.

(И уж в заключение Мария.) Вот, пока я мыла бидон, они дописали. Сегодня идём в дождь, презрев дождь.

Ну, пока. Надеюсь, тебя не гоняли на покос, и ты не сопливишь. Целую, твоя жена Мария». Почтовый штамп: 29.07.76.

Год 77-й совсем не помню, а весной 78-го скончался мой отец от инфаркта. Дома лежал белый с синеватым отливом; потом я отвёз его на такси в кардиологический центр. Но там не сумели поставить моего милого Ивана Трофимовича на ноги. На похороны съехались мои дядюшки и тётушки (из Москвы – Михаил Трофимович и Владимир Михайлович, из Казани – Евдокия Трофимовна, из Перми – Евгения Трофимовна с мужем Георгием Павловичем), приехала из Киева Галина, моя сестричка.

Хотя... нет, 77-й немножко всё-таки помню, потому что есть фотографии. Осенью я приехал на Вторчермет и повёл отца с матерью на улицу – фотографировать. Я к ним тогда ездил каждую субботу – мыть пол. Мне они уже тогда казались очень старенькими, больными и беспомощными. На фотографии я в плаще, который купил мне отец. Он мне часто чего-нибудь покупал. Японский костюм в 69-м году, зимнее пальто, осеннее... Он был очень щедрый мужик. Поминаю и вспоминаю его с благодарностью. Последние двадцать два года его земной жизни мы были дружны и даже любили друг друга.

ДНЕВНИК

«11 декабря 1978 г. Вчера ездили под Алапаевск – смотреть церковь, восстановленную Степаном Гавриловичем. Храм изумительный, конечно же, такого я ещё не видел. Как будто многомачтовый парусник несётся через... сквозь тьму мира сего. Вся эта сволочь добралась-таки однажды до него... Зерносушилку сделали, но оказалось, что унижение духа прямой кишкой не идёт на пользу самой последней – зерна нет, жрать нечего, кишка страдает. Взорвать даже пытались, дабы загонять прямо в храм грузовик.

По духовной силе Степан Гаврилыч, пожалуй, даже гораздо сильнее первосоздателей церкви в Раскуихе. Тогда, в конце ХУ111 века, её создание почиталось святым делом, а сейчас кишка поглотила всё и вся, и воссоздать храм, несмотря на издевательства, насмешки, противодействие – дело прямо-таки героическое.

Сейчас, идя на работу по метельному морозцу, взял окончательно в свою дурацкую башку, в которой к тому же в последнее время стало пищать и шуметь, что субъект и категория суть действие, ГЛАГОЛ, тогда

как предикат, объект суть результат, ИМЯ (существительное). Для человека «есть» предмет, результат, вещь, а действия «нет»; тогда как результат – это труп; важен процесс, деятельность, жизнь – вместе с итогом, результатом, к которому не только приходят, но который всегда наличествует в деятельности.

...Наверное, прав Еврипид, когда сомневается, не смерть ли наша жизнь, не жизнь ли смерть. Плоть – это результат, в котором снята деятельность (как в деятельности снят результат – но это уж на том свете).

Генетический код – душа/тело – разум-конкретность.

Конкретное может быть конкретным лишь как сращённость двух, где одно снято в другом. Когда удивляются «логичности» разума, способности его постигать природу, то не умеют взять в толк простую вещь: генетический код – это разум «в себе», который формирует эту самую природу (плоть, белок), вернее – код становится плотью, чтобы вернуться к себе в качестве разума. Так что разум – это раскрывшийся, через самоотчуждение пришедший снова к себе генетический код.

В природе каждая ступень умозаключения может существовать как самостоятельная, замкнутая, изолированная, лишь ВНЕШНЕ связанная с другими: код сам по себе, белок сам по себе и т.д.

25 декабря. Стихи, давненько (год-два?) написанные, но слегка выправленные сейчас:

А мы идём и не глядим назад,

Орфей давно забыл про Эвридику,

подошвы мнут загробную гвоздику...

Жизнь оседает тихо за порогом.

Кто помнит про обратную
дорогу?

И юности танцующий парад

уходит с площади, чтобы обнять другую,

благоустроенную, ярко-голубую,

где только в небе робкая тревога...

Не в бесконечность ли идёт
дорога?

Не утихает к старости азарт:

догнать, убить, поставить пышно в раму!

Остановиться? Это было б странно...

Грядущее не судит слишком строго.

Но долго ли тепло хранит
дорога?

(Стишки несовершенные, конечно... никогда даже и не пытался их напечатать, но теперь иногда воспроизвожу свои всевозможные вирши... воспроизвожу для... чтобы воссоздать эмоциональную атмосферу... аромат времени... жизнь буйной и вопрошающей души?)

Вчера были у художника Эппле, который смотрел мои рисунки и сказал на финише, что ничего такого ещё не видел. Такие высказывания действуют мобилизующе, но, прежде чем вернуться к художествам, надо закончить логику.

1 января 1979 г. Я говорю им (робко, иногда) о бессмертии, но это их пугает. Все они сейчас верят в смерть – точно так же, как все чуть ранее верили в бессмертие. Люди боятся слов, слово «НИЧТО» идёт в саване и с косой, тогда как Ничто само по себе не более чем Всё, т.е. абстракция, неопределённость. (А если его определить... Тогда станет ясно: «ничто» – это всего-навсего отрицание. Если знать, что под маской слова «что» скрывается «БЫТИЕ», то отрицание бытия есть не-бытие (становление). Так? Бог есть Кто... и Он творит из нуля «что» и «не-что», бытие (мир невидимый) и становление (мир видимый, наш, вот этот, сиюминутный). Да? Такая вот гипотеза... (Сегодняшнее дополнение: Впрочем, Апостол сказал: «Верую познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (К евр. 11, 3). Из невидимого – видимое, из бытия – становление... поток мира сего.)

Неожиданно синий вечер

Из ворот выходит навстречу.

Весь он правда – ни капли лжи.

Ослепительно жёлтый вечер

На ветру зажигает свечи,

Освещая мне пропасть во ржи.

Злонамеренно резкий ветер

Белый флаг мне швыряет на плечи.

Он не знает, что я ещё жив...

«Понятие энтропии обозначает меру вероятности какого-либо состояния системы. Система самостоятельно движется в сторону наивысшей вероятности (к максимуму энтропии)».

!!! Надо видеть, что наивысшая вероятность = достоверность, а максимум энтропии = негэнтропия!!!

Формулы образования информации и негэнтропии полностью совпадают. Шредингер: «Для растений мощным источником отрицательной энтропии является, конечно, солнечный свет».

Поле-вещество – достоверность/вероятность – код

Вещество-поле – вер./дост. – белок.

Так? Гипотезы...

30 января. Логические работы временно прекращены в связи с приездом Лены Камбуровой. Двадцать пятого был первый концерт в филармонии, потом – двадцать седьмого там же. Вчера – во дворце молодёжи. Опять пела на бис «Парус» Лермонтова и – «Ветер». Всё время кажется, будто лучше спеть уже невозможно, но каждый раз убеждаешься, что невозможное свершилось.

Вчера после концерта увели Лену к Надежде, смотрели фото и ели картошку с курицей и консервами.

1 февраля. Вчера ездили в Алапаевск. Машину дал ДК ВИЗа, где располагается клуб самодеятельной песни. Были в раскуихинском музее русской народной живописи (владения Гаврилыча), а потом дома у Христины Денисовны. Камбурова говорит: такая поездка – на всю жизнь... Назад ехали на пределе – вот-вот опоздаем, потому что её поезд уходит в Пермь в 11.20. Но не опоздали.

Христина рассказывала, кто есть кто на её ковре «Русская свадьба» и пела за невесту, жениха, сваху. Удивительная женщина. Все плакали...

12 февраля. Actus purus – это «чистая деятельность», т. е. осуществлённость, не включающая никакой незавершённости, никакой потенциальности, самождественность чистого бытия, которое мыслит самоё себя. Таково схоластическое определение Бога.

Апок., 21, 1: И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет...

Понимание... Что такое «понять»? Даже что такое нож мясорубки нельзя понять, если не имеешь представления о мясорубке как целостной системе. И о её предназначении... Тут самое большее, что можно сделать – это дать дефиницию вроде: «Перед нами металлический предмет, имеющий крестообразную форму и односторонне зачём-то заточенный».

Ник. Кузанский. Избр. фил. соч. М., 1937. Об учёном незнании. Стр. 36: «Невозможно, чтобы кривизна, способная к восприятию большего или меньшего, была максимумом или минимумом; кривизна не есть нечто кривое, ибо она – некое падение прямой. Бытие же, пребывающее в кривой, исходит от причастности к прямизне, ибо кривая в максимуме и минимуме есть прямая».

(Вовсе нет. Не так. Максимально кривое – точка, минимально кривое – прямая линия. Две абстракции, односторонности.)

А.Ф.Лосев. Антич. космос и соврем. наука. М., 1927. С. 381: «Потенция – отвлеченный принцип перехода смысла в своё выражение. ...Всё становящееся направляется к принципу и к цели. Именно, есть «то, ради чего», и становление происходит ради цели. Но энергия как раз и есть цель, и потенция берется именно ради этой энергии, как цели».

25 февраля. Воскресенье. Маша с Юлей сегодня уехали после обеда на Эльмаш – клуб песни своими тощими силами давал концерт для трудновоспитуемых подростков.

А я почитал, уснул, потом сел за стол, чтобы писать... Суждение возможно лишь в составе двух соотносящихся противоположных тезисов! Это было мне ясно давно, только не знал, что сотрясение воздуха, которое я произвожу, называется «проза». Найдено СЛОВО! Не изобретено, а найдено то самое слово, которое шикарно изображает суть дела. Рука чертила: антитезис... антитетика... анти... номия! Такие пироги.

3 марта. Сижу на работе, хоть и суббота. Редактирую концепцию развития производительных сил Урала. Но тут в голову пришли шикарные мысли: систему надо начинать так... (далее идет очередной вариант логической системы).

19 марта. С утра, явившись на работу и занявшись логическими упражнениями (концепция пока замерла, премурые экономисты сочиняют седьмой раздел, в котором должна обнаружить себя эффективность региональной экономики), совершил очередной взлом очередной перегородки где-то в одном из полушарий своего глупенького мозга. На стыке между геометрией и физикой должна быть оппозиция «асимметрия/симметрия»...

«Магнитогорский металлургический комбинат имеет на своём балансе молочно-овощной и теплично-садовый совхозы (которые именуются цехами предприятия, а не подсобными хозяйствами, что имеет значение при финансировании). Предусматривается создание таких же хозяйств при Нижнетагильском металлург. комбинате и Уралвагонзаводе». Натуральное хозяйство – самое передовое в мире... Да-с. Отмена товарно-денежных отношений привела к «натурализации» хозяйства, к стремлению всё необходимое производить у себя на суперзаводе или в своём министерстве.

11 апреля. 1) Сказать «пространство бесконечно» – всё равно что сказать: «Пространство есть точка» (стянуто в точку), ибо именно в точке достигается актуальная бесконечность пространства (бесконечная кривизна стянутой в точку окружности).

2) Сказать «время бесконечно» – значит сказать: «Время есть линия», ибо в линии (если говорить на языке геометрии) пытается реализовать себя потенциальная бесконечность времени (время есть радиус расширяющейся космической окружности).

...Вчера был напряжённый день. С утра срочно дочитал последний раздел экономической концепции, забежал в Дом политпросвещения – отметил свой пригласительный билет (там заседание по случаю Дня науки) и сбежал к матери. У неё почечное обострение. А к шести часам Маша, возвращаясь на машине из командировки, увезла меня с Вторчермета в дом художника, где происходил отбор на весеннюю выставку графики. Взяли 4 штуки (по Достоевскому: Иван Карамазов, Раскольников, Смердяков и ещё что-то – уже забыл). И

пятую – Швейка. Правда, Киприн уточнил, что речь идёт об экспозиции, о предварительном отборе (подразумевалось, что придёт комиссия и снимет мои работы). Ну, на это – наплевать. Только по настоянию Марии пошёл на все эти штучки-дрючки. Давно стал нетщеславным, да и не нужно мне всё это на данном отрезке времени. Написать логику – и помереть.

Потом вернулись домой, позвонил соседям матери. Её квартирантка Люда сообщила, что поднялась температура, тошнит, голова болит. Маша через всякие околичности нашла домашний телефон заведующего урологическим отделением Вяткина, который разрешил везти её в больницу. Вернулись с Машей домой около двух ночи. Она взяла отгул, ибо утром не встать, а вечером ей идти в клуб песни (для телепередачи, которая в мае). Вот такие пироги.

На работе до обеда у меня затишье. Вечером надо будет найти халат и как-нибудь прошмыгнуть мимо цербера в палату к матери. А в обед звонил из дому в больницу, в ординаторской сказали, что у них нет такой больной. Потом посоветовали позвонить по телефону, а это номер Вяткина. Но там никто не отвечал. Пошёл с обеда на работу, и вдруг в голову ударило: а вдруг дали его телефон потому, что мать померла! Приду сегодня после работы в больницу с вареньем, а она... и т.д. Звонить боюсь. Лучше сам приду.

12 апреля. До чего же запуганная ворона. Мать чувствует себя сносно.

В комнате (я теперь на пятом этаже, в 503-й) никого нет. Сосед сегодня уехал в Москву на выставку. Сижу, лениво размышляю. Не знаю, где найти силы, чтобы продолжить создание текста. Чересчур прочными веревками связан с текущей жизнью. А надо бы отрешиться – хотя на месяц. Какую бы изюмину изготовил! Но сие покамест несбыточно. Сейчас надо купить картошки, колбасы, конвертов, забежать домой и сварганить суп, а потом до двух успеть к матери, чтобы кое-что ей передать. Да, ещё взять в ателье фото на серпастый мой молоткастый паспорт.

Идя с картошкой из овощного на обед домой (колбасы не купил – нету), сообразил, что следующая после «представления» ступень двойства – это «произведение» (звук, жест, изображение – рисунки на скалах отражают как раз эту ступень развития духа). Теперь я доволен: с интуиции и воспроизведения начинается специфически Человеческое. (Потом стала ясно, что интуиция выражает себя в ритуале.)

15 апреля. На дворе только начинается весна. Сегодня с утра плюс 4. А до этого – холод, снег. Не помню такой поздней весны.

Псевдо-Дионисий Ареопагит: путь восхождения от ничто к сверхчто и нисхождения сверхсущего к не-сущему выражается следующим образом:

1) «...через исследование устройства всего существующего, которое из него произошло и является неким изображением и подобием божественных парадигм, мы, в меру наших сил, восходим надлеж. образом и порядком путём отрицания и превосходства в запредельную область всепричины, 2) воспевая... в её запредельности невыразимую, неуразумеваемую и безумную Премудрость, скажем, что она является причиной всякого ума и разума, всякой мудрости и постижения» (Цитата из: Гегель. Работы разных лет).

«Мысль изреченная есть ложь». Тютчев прав в том смысле, что фиксация мысли = язык = ложь, так как язык переворачивает отношение, которое в языке выглядит так: результат/деятельность. Результат оказывается в числителе, он тщится показать себя первичным, пытается выдать себя за субъект.

Человек = «система» (тело). Но он же есть «метод» (душа). Смерть – уход из ничто в бытие, из мгновения – в вечность.

А в городе свирепствует сибирская язва. Людей скручивает в течение дня. Её источник, масштабы и пр. – во мраке. Единственное, что можно увидеть (из окна) – ездят машины, где эмвэдэшники с мелкашками, которые стреляют собак. Говорят, на Вторчермете (откуда язва) их настреляли, но не убирают, трупы вздуваются и т.д. К тому же ещё и Брежнев, по слухам, в реанимации. Господи, помоги государству Российскому, не дай впасть ему в смуту и развал.

18 апреля. «In principio erat Verbum» (“В начале было Слово»). Не вербум, а Логос! Сразу Разум и Слово.

20 апреля. Вчера после работы заходили с Машей к Эппле. К нему скоро должна приехать съёмочная бригада из Москвы – Капица решил сделать о нём «Очевидное – невероятное». Занёс Артуручу книги, которые брал некогда (в том числе Шпенглера).

Мои рисунки комиссия из экспозиции выбросила. Из-за их пессимизма (Раскольников, Иван Карамазов и Смердяков – пессимизм!)... и манера изображения не устраивает. Художников устраивает, а их – нет. Полагаю, что просто на меня поставлено клеймо ещё в 74-м году: вот этого – не пускать! Но это всё ерунда на постном масле. Главное – успеть опубликовать логические изыскания.

От Эппле зашли в гастроном, где около часа простояли за колбасой. Без нас Юльке звонила мать и сообщила, что завтра её, возможно, выпишут из больницы.

17 мая. На днях окончательно утвердился, что Гегель не прав, рисуя такую схему: 1) абстрактно-логическое, 2) диалектика, 3) спекулятивное. Диалектика (конкретизация?), несомненно, ПРЕДШЕСТВУЕТ абстрактно-логическому. Вот такие пирожки. Надо внимательнее взглянуть на историю философии, чтобы обнаружить там индусов, китайцев, японцев и т.д. Сначала разум видит всеобщую изменчивость (китайская «Книга перемен»), потом обнаруживает раздвоение и фиксирует противоположности (Аристотель). И лишь затем он учится искать то спекулятивное, в чём противоположности идеализованы: S/t = V. Отрадно находить в истории то, что пришло в голову из чисто логических соображений.

Наша эпоха – апофеоз формальной логики, утилитаризма и прочих прелестей. За ней должна следо-

вать эпоха положительно-разумная: точка (диалектика), став окружностью и диаметром (формальная логика), обнаруживает затем себя сферой. Самое печальное заключается в том, что следует, по-видимому, писать: «внезапно обнаруживает», «скачком». Неужели нужна катастрофа, чтобы в мозгах рухнули формально-логические перегородки? Чтобы люди отказались от прогресса в дурную бесконечность – в смысле «удовлетворения потребностей»? Чтобы смогли увидеть нечто дальше собственного носа...

10 июня. Деревня Кашина, отгул.

Радхакришнан. Индийская философия. М., 1956. Цитата из Будды: «Этот мир, о Каччана, вообще основывается на двойственности, на основании «это есть» и «это не есть». Но, о Каччана, для всякого, кто понимает в истине и мудрости, как зарождаются вещи в мире, в его глазах нет «это не есть»... Для того, Каччана, кто воспримет в истине и мудрости, как проходят вещи в этом мире, для того в этом мире нет «это есть»... «Всё есть» – это одна крайность, о Каччана. «Всё не есть» – это другая крайность. Истина посередине». Здесь речь идёт о потоке становления без начала и конца. Нет Бытия, а потому буддизм односторонне-бессмыслен.

25 июня. Деревня Кашина, отпуску. Мы тут с Юлькой. Довольно холодно. Нарубил сушняка, затопил печку. Сварил пачечный суп, картошку, лапшу – всего так много в ожидании приезда Антона. Он должен здесь пару дней перед экзаменом по историческому материализму. Потом, 4 июля, уедет в стройотряд.

В отпуске должен написать свою вещицу. Ибо по выходе на работу могут отправить в колхоз или воздвигать пристрой для вычислительного центра. Вообще – пора заканчивать свой труд, ибо, как показала биологическая атака на г. Свердловск, жизнь – копейка.

30 июня. «Парадигматика и синтагматика резко, скачкообразно противопоставлены друг другу и их соотношение иллюстрируется и обычно схематизируется аналогией с двумя осями, пересекающимися под прямым углом» (Степанов. Основы общего языкознания).

С утра идёт дождь, затяжное ненастье. Лета, очевидно, нынче не будет.

21 августа. Переписываю набело, с некоторыми поправками, то, что написал за лето. Таким образом, от первоначальной зародышевой идеи до сего дня минуло 8 лет. Где-то в двадцатых числах августа 1971-го в Кашине возникла мысль: точка (космологическая сингулярность) становится сферой, её радиус – время, а сама сфера есть пространство (одновременность). С тех пор пришлось заняться самообразованием (философия, физика и т.д.). В процессе самообучения приходили новые идеи...

Маша с Юлей в Кашину, в субботу должны приехать, а я дня три поживу в деревне, пока Маша не приедет на машине, чтобы вывезти вещички. Мать во Львове, Галина в Москве – после операции лежит в больнице. Купил второго Диогена Лаэртца – подарить Женьке в день рождения.

10 сентября. Всё никак не могу переписать набело. То-сё, пятое-десятое... Сегодня понедельник, а в пятницу, когда наш сектор после обеда подметал улицу, дошёл слух, что могут записать на погрузку капусты. За отчётный период успел кое-что домыслить и переосмыслить. Например:

- 1) начало – утверждение/отрицание – тождество
- 2) конец – отрицание/утверждение – различие. И т.д.

Кажется, могу теперь показать КОЛИЧЕСТВЕННО, что должно стоять за отрицанием «не» в случае рефлексии, отношения и противоположенности:

1) РЕФЛЕКСИЯ – вся тьма слов, а поэтому ум так и остаётся при частице «не», ибо не может на чём-либо остановиться. Например, пара «конечность – бесконечность (не-конечность).

2) ОТНОШЕНИЕ – за «не» стоят термины данной подсистемы, так что в случае «А и не-А» можно соотнести с А любой термин физики, если А – физический термин. Однако формула «А и не-А» выглядит как «А и В», причём В не осознаётся как не-А.

3) ПРОТИВОПОЛОЖЕННОСТЬ – если «А и не-А», то А соответствует (противопологается) строго ОДНО понятие.

Поскольку рефлексия (внешняя связь), отношение и противоположенность рассматриваются в отрыве от противоречия, снятия и идеализации, то категории всеобщности, особенности и единичности в данном случае приобретают чисто количественный оттенок: всеобщее рассматривается как «всё», особенное – как «некоторое», единичное – как «одно».

1 октября. Лейбниц: «Две вещи оказали мне чрезвычайную услугу (хотя, вообще говоря, они обоюдостры и для многих вредны): во-первых, то, что я был самоучкой, а, во-вторых, то, что в каждой науке, едва приступив к ней и часто не вполне понимая общеизвестное, я искал нового».

16 октября. Конспектирую «И цзин» и комментарий к нему Щуцкого (Ван Би, Ван И, Ито Тогай). Взял через институт по МБА из Белинки.

Понятно: я не могу пустить свой труд как таковой на всеобщее обозрение – его сразу зарубят. Надо бы написать несколько статей – скорее комментаторского, чем оригинального характера, откуда вылезали бы новенькие зубки, но не очень. Может быть, по соотношению диалектики, формальной (рассудочной) логики и спекуляции. «И цзин» – Платон – Аристотель – Фома? – немецкая классика. Правда, времени нет вовсе. А надо ещё написать про эпплевский Пешеград и совместно с Машей – про С.Г. Коробова для «Уральского следопыта».

Мать до конца ноября будет в Киеве. Галине сделали операцию в августе, но сейчас уже – на работу. Антон собирается жениться в феврале. Такие дела.

4 ноября. Месяц назад меня с головой накрыла «катариненбургская осень» – в канцелярии, где взял у Мамоны несколько единиц драгоценного времени. Второго октября:

Некто в зелёной шляпе,

непристойно одетый,
с вороном на плече
бродит в сумерках по закату,
так что тень его падает
прямо в мои зрачки...
Некто совсем без шляпы,
вполне пристойно одетый
в холод прозрачных глаз,
хочет взять мою душу,
вывернуть наизнанку
и, хорошенько почистив,
поставить её на полку
среди хлама и книг...
Что же он в ней прочитает,
если захочет читать?..
Да-с...

...Однажды вспыхнуло солнце,
взорвало жёлтые крыши,
все кошки выгнули спины,
упал на землю балкон...
Но сразу же рядом – морок,
туман и жёлтые листья,
речные водовороты,
глубокий здоровый сон...
А руки мои в чернилах,
в руках канцелярские счёты,
в башке кособокие цифры.
Насморк, работа, смерть...

3 октября:
Наша судьба – наши стены,
крепкие, из гранита,
из бронзы, песка и базальта,
из нежного пуха птиц...
Выбери самых буйных,
дай им спокойные головы,
стебли тысячелистника,
панцири черепах...
Скажут тебе о тумане,
о буре, грозе и молнии,
о знаке внешнем и внутреннем –
сразу всему поверь...
Сразу всему не верь.
Спроси у себя беспристрастно,
у скорбных братьев по крови,
у старой книги «И цзин»:
«Наша судьба изменчива,
наша судьба неизменна.
Стебли тысячелистника,
панцири черепах»...

(Здесь всё о том же... Я тогда был язычник... Просить, гадать и спрашивать... Не знал, что только в молитве к личному Богу, после Покаяния и Причастия, мы соединяемся с Истиной.)

2 ноября. Дозрел до понимания: главное – отказаться от претензий к другим, но требовать от себя. «Когда... человек признаёт, что происходящее с ним есть лишь эволюция его самого и что он несет лишь свою собственную вину, он относится ко всему как СВОБОДНЫЙ человек... Постигающие его неприятности не убивают гармонии и мира его души».

Наш мир ещё не скоро воскликнет: «Как много вещей, без которых можно обойтись!» Миллиарды воодушевлены идеей безграничного удовлетворения потребностей, жаждой обладания и т.д. По-видимому, неизбежна в конце концов катастрофа и переход к ситуации аскетизма, обращения вовнутрь...

Впрочем, и без того всю жизнь старался предъявлять миру как можно меньше претензий. Правда, с переменным успехом, но в основном удавалось.

24 ноября, суббота. Маша улетела в командировку – в Ленинград. Юлька в школе, Антон – в институте. Сижу, перебираю бумажки, обдумываю статью. Попутно сочиняю всякую рифмованную ерунду...

Сейчас пойду платить за телефон, нето завтра-послезавтра его могут отключить. Потом зайду к Женьке: у него обнаружилась язва желудка, а Таня наша Петрова обещала свести его с главным городским гастрономом, о чём ему нужно сообщить. Мать из Киева приезжает завтра ночью.

А пропо... ещё обнаружил сегодня, что масса Солнца рассчитана неправильно... Так-то, брат Поприщин».

ПУТЕШЕСТВИЯ

И вот потом пошёл восьмидесятый год. Летом я повёз Юлю с Антоном в Казахстан, к себе на родину, где зелёные сопки и прозрачно-призрачные озёра. Мария осталась в Кашине с Леной Сапоговой. Юльке до сих пор смешно, когда вспоминает, как я путешествовал по дикой природе с коричневым портфелем (под мышкой, потому что вскоре оторвалась ручка). А у Антона огромный рюкзак со всевозможным рыбацким припасом.

С поезда пожаловали к Александре Яковлевне Ишкиновой, нашей благодетельнице, которая устроила мать на работу в детдом – в 1948 году, когда отец оказался в лагере. Она жила одна в трёхкомнатной избе, с временно подброшенным внуком. Мы у неё, кажется, всё-таки переночевали ночь, а утром сели в автобус и поехали в сторону того самого детдома, которого давно уже нет на земле. Поехали на Мартемьянов ключ... Там ещё четыре километра пешком. Он лишь один и остался – тот самый ключ... Это был когда-то колодец, из него все мы пили прозрачную воду... Сруб и журавль... А за ним черёмуховая роща с серенькими соловьями. Там ели черемуху, играли в прятки до посинения... однажды полетел на землю вместе с деревом... медленно, иначе бы расшибся. Каждую весну здесь мимо колодезя мчался ручей прямо с гор, а мы бежали рядом и чего-то орали. Сейчас ни сруба, ни журавеля... Только черёмуха, только сопки, только берёзы и сосны... Камни... Плоские длинные камни, покрытые стелющимся вереском-вересом... недалеко от вершины... А на вершине под небольшой скалой мягкая изумрудная трава... там можно лежать и смотреть на карликовые, искорёженные ветром сосны... Можно уснуть. С другой стороны пропасть... Можно всю жизнь сидеть и смотреть на дальние озёра, синие горы и зелёные леса. Или на бескрайнюю сухую степь. Туда, где небо сливается с землёй.

Когда назад ехали в поезде, маленькая девочка в нашем плацкартном вагоне всё пела: «балёко-балёко... балёко-балёко...» Далёко?

Постоял в старом Щучинске возле бывшего нашего казённого дома. Посадил на камень Юлю и Антошку, сфотографировал. Всё ещё там акации возле дома, а во дворе – тот самый старый сарай, где я когда-то лежал на острой крыше, пел какие-то песни и о чём-то размышлял... о чём? О чём размышляет человек, когда ему нет и пяти? В дом не вошёл... постеснялся... Пошёл к тётке Даше Калашниковой, в дом напротив. Она померла только через три года после моего визита. Сначала приняла меня за моего старшего брата... ну да, она видела меня в последний раз босиком и в штанах на пуговке. Вовка, мой приятель, дом перестроил, а потом умер. Умерла его сестра Антонина, старший брат Виктор. Только Лида жива и пишет нам письма из своего Оренбуржья. Воцерковилась, давным-давно живёт Христом и Его Церковью. Даже и мужа крестила перед смертью, открыла ему дверь...

А избушка тётки Нюры тогда всё ещё стоит на земле, но превращённая в какой-то сарай. Нынешний его владелец построил себе рядом огромную хоромину из бруса. Помню: тётка Нюра всё уговаривала мою мать: да крести ты его, позовём священника... А я был в ужасе... Кругом бездны атеизма... Все говорят: Бога нет... души нет... Нет, слава Богу, тогда не крестили. Нельзя же насильно крестить такого уже большого, но неверующего мальчика. Надо было во младенчестве... А потом я уж сам.

Да, детство осталось на этой улице, где когда-то сидел малыш на траве-мураве под огромным радиостолбом с огромной подпоркой, на круглой горе – как на крыше мира... Но уже пора спать... спать... Завтра, даст Бог, продолжу.

Да, завтра надо продолжить восьмидесятый год – как на его исходе я отправился в Москву. По-русски, сам не ведая зачем... Чтобы показать КОМУ-НИБУДЬ своё произведение. Иван-дурак... Мы не знаем чаще всего... не знаем причину и цель вот таких поступков... А на самом деле я поехал к святому Сергию и к родителям его Кириллу и Марии. Ага. В Сергиев посад. В Троицком храме пели акафист, а я даже тогда и не знал это слово... просто стоял у стены и тихонько подпевал... тихая радость... литургия давно закончилась, а потом всё время пели акафист... первая встреча с нездешним миром... тихая радость... иже херувимы... люди стояли и сидели у стен... тихое пение... помяни нас, Господи, во царствии Своем... молю Тя, нищий и глупый отрок... не забудь нас, Бориса и Марию.

Да, собственно, вот и написал самое главное. А остальное... Георгий Петрович Щедровицкий сказал мне после семинара в Институте психологии... сказал, прочитавши мои тезисы: это спекулятивная философия самого высокого ранга, а я практик... Он пытался на семинаре положить начало разговору про то, как начать процесс, как положить миру начало, если оно логически невозможно... Или любому событию. Конечно, я понял намёк: давай, мол, расскажи нам, если такой умный... Но я не поднял руку и не пошёл к доске, потому что... потому что какие-то вещи надо рассказывать людям полгода... год... или всю жизнь. Говорить пять минут не имеет смысла. Какие-то вещи я уже тогда понимал.

А если по сути: сначала вовсе нет никакого начала, а есть «кон» (мир невидимый, бытие). Начало и конец как соотносящиеся обратные термины появляются в середине процесса, в нашем конечном видимом мире. В мире не-бытия, становления.

Кон – искон/конец – Путь.

Дорогу на семинар показала музыкальная поэтесса Карамышева (другая фамилия, другая – изменил), вместе с которой Мария меня отправила в Москву. Святая простота... Она, естественно, по своим делам.

Я-то хотел один ехать. На первую московскую ночь пришлось привезти её к моим родственникам, потому что она как-то там «не дозвонилась». А сам пошёл ночевать на Рижский вокзал, чтобы потом не было разговору. Да-с...

Были там ещё какие-то встречи, водка в буфете ЦДЛ (сидели там с камбуровским Лёшей, а она с Сапоговой пела где-то в недрах дома литераторов), концерт наших уральцев в гостинице «Россия» и т. д. Однако... Да, конечно, главное свершилось в Сергиевом посаде, у мощей святого Сергия. Мы потом ездили туда вместе с Марией – в апреле 1991 года. Так же звучало тихое пение, Маша сразу пошла приложиться к мощам... мне ничего не сказала... а я уж потом к очереди пристроился... тогда я уже был крещёным человеком, но в храм не ходил. Успею ли вернуться к Сергию в третий раз?

Купили там «Житие», катехизис... Я потом стал читать его вслух Марии в обратном поезде, и мы с ней поругались. А как мирно жили в Москве – целую неделю. Вспоминаю с умилением. Мне удалось раздобыть комнату в академической гостинице по своему военному льготному удостоверению. Но как только стали приближаться к Екатеринбург – поругались. Да.

По рекомендации отца Димитрия Дудко (Маша звонила ему из гостиницы по телефону) отвезли в Духовную академию мою статью «О смысле троичности», приложив длиннейшую «Процедуру ответа». Сдал секретарше ректора, но с тех пор прошло одиннадцать лет – ни приветов ни ответов. Секретарша до сих пор читает мужу на ночь?

Были у Станислава Куняева в «Нашем современнике»; разговаривали... «Реставрацию памяти» он не пустил, потому что вышла уже малотиражной книжечкой. На другой день поехали в Центральный дом армии, где встречалась патриотическая интеллигенция... Мария где-то порвала чулки, какая-то доброжелательная москвичка не только показала ближайший колготочный магазин, но даже проводила нас прямо туда. В доме армии сидели в президиуме, кажется, Солоухин, Куняев, Бондаренко...

Тогда же были в Москве мощи преподобного батюшки Серафима Саровского. А мы неграмотные, тёмные – не выбрали время, не пошли, не приложились. Святой Серафиме, прости нас... моли Бога о нас, отче Серафиме... Всё о земном больше хлопочем, а небесное забываем. Недавно в нашем Храме-на-Крови появилась старая рака святого Серафима с частицей его мощей, и вот тут-то я пошёл приложиться. Преклонил колена, встал и нагнулся... и рака трижды качнулась... наверное трижды... я даже испугался – неужели она так неустойчива?

Но... как далеко я убежал. А ведь был ещё и 81-й год, когда Господь послал мне сон, чтобы спасти Марию от смерти. Он не оставлял нас.

Так текла наша жизнь... Есть юлькино письмо тех лет – своей бабушке в Киев: «Прифет тепе, таракной, от тфой фнук Юль из талёкий уральский корот Сфертлофск. Как ты пошифаешь? Не полеешь? Не полей! У нас всо поле-мене. Мама рапотаёт, Тоня нашинаёт ушоба, Ленка ушитя и рапотаёт (он устроился в какой-то контора секретарша). Папаца рапотаёт и санимаётса сфоим делом. Он уже фсе сфертлофские книшные маказины скупил. Покупает книшки по мифологии (он тепер в своей рапоте перешол к мифологий). Я учусь неплохо (4 и преимущественно 5). Хожу на китару, уше умею икрать тфе песни.

Приесшай, ф «косла» сыграем... О, шуть не сабил пострафить тепя с тнем конституии. Юля».

Я действительно тогда погрузился в мифологию. В 81-м году отхватил в букинистике труд Ольги Михайловны Фрейденберг «Миф и литература древности».

Конечно, я читал Фрейденберг или, например, Бахтина совсем не так, как читают святых отцов. Это были просто-напросто специалисты, что-то понимающие в древней литературе. И только. Как все мы – падшие, несчастные люди.

Фрейденберг: «Когда жена Лота оглянулась, она обратилась в соляной столб. Когда Орфей оглянулся на свою жену, она осталась навеки в преисподней. «И кто будет в поле, также не обращай назад», - говорится у (евангелиста) Луки о гибели мира (17, 31-32). У римлян, идя в дорогу, нельзя было оглядываться назад». Жаль, что Фрейденберг и Бахтин иногда пытались быть запанибрата с Богом. Это путь гибели. Карнавальная маята.

Наша земная жизнь... В марте 81-го я, тугодум, быстренько, запоем, в неделю набросал вчерне тридцать страничек своего иносказания «Небо, корова, крыша и океан» (сейчас – «На исходе души»). Всё началось с фразы: «положили kota поперёк живота... на давальческих началах». До сих пор дописываю... правлю... вычёркиваю... Там уходящая Россия, наша любимая деревня, без которой в городе мы бы сошли с ума. Кажется, в 81-м же году понёс её в «Урал», но главный редактор как-то там учуял религиозный привкус. Он, кажется, до сих пор атеист. Долго мы сидели у него в кабинете в бывшем, кстати, семёновском доме, и он мне объяснял, почему моё произведение не подлежит печатанию. Он мне когда-то в университете эстетику преподавал... Да я и сам понимал, что написал «непечатное». Я бы сам не пошёл, да Мария договорилась о встрече, меня толкнула. (Она вместе с редактором когда-то училась на филологическом факультете университета.)

А в 82-83-м работали «Реставрацию памяти». Эту вещь носил уже в Средне-Уральское издательство, опять по инициативе Марии. Но там... там волосы встали дыбом у краеведческого редактора... чего уж он мне наговорил – не помню... помню только впечатление непроходимой глупости... прости меня, Господи.

В общем, куда ни кинь – везде клин. В 79-м доброжелательные художники опять попытались показать мои рисунки на весенней выставке, но партсовКОМИССИЯ приказала убрать. Дважды убрали (во второй раз ребята хотели показать – в том числе – мою иллюстрацию к «Швейку» – про то, как к какому-то бедолаге пришла КОМИССИЯ, отстегнула его искусственную ногу – и унесла; говорят, ухмыляясь: о, уже и нас успел изобразить). Я тут уж совсем не набивался, неудачу принял спокойно... как, впрочем, и всякие другие неудачи. Как-то так Бог счастливо устроил мою натуру... нравилась деятельность – даже и без результата в виде выставок и публикаций. Был счастлив, что у Марии идут передача за передачей. Она тащила на себе фронтовиков, фольклор, самостоятельную современную песню, трудных подростков из подворотни, несчастную молодёжь в общежитиях... Огромный мир страданий, несчастий и бед... И притом сама еле ноги волочила... Я ж ей сказал на прощанье: ты великий человек. Воистину так: великий человек. Столько успела совершить доброго на этой нашей земле... А за два месяца до успенья стала страстотерпицей. Столько претерпела в смирении и кротости... Бог даровал ей смирение и кротость. Два месяца на кресте.

На сороковой день после её преставления в церкви читали: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.

Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам;

Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;

Мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем;

Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.

Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей,

Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас.

Но, имея тот же дух веры, как написано: «я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим,

Зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит чрез Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами.

Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем бОльшую во многих произвело благодарность во славу Божию» (2 Кор. 4, 6-15).

Да, веруем, потому и говорим. А потом Евангелие от Луки: «И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.

И Он, возвед очи Свои на учеников Своих, говорил: блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие.

Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.

Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого.

Возрадуйтесь в тот день, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их» (6, 19-23).

А дальше слова, которые, слава Богу, не читают в её сороковой день: «Напротив горе вам, богатые! ибо вы уже получили своё утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали со лжепророками отцы их»...

Ещё читают: «Когда Иисус был в одном городе, пришёл человек весь в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.

Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: хочу, очистишься. И тотчас проказа сошла с него».

Господи, очисти меня, прокаженного...

Очисти нас...

Грешных, поганных, грязных...

КУЗНЕЦОВ

На коробке из-под конфет, где до сих пор лежат письма и открытки, Маша написала: «В запыленной связке старых писем...» Там до сих пор лежит открытка Герасимова, хирурга, героя ее давней военной передачи: «...Желаю здоровья, счастья и живите долго-долго на радость людям — с распахнутой душой». Через ее распахнутую душу прошли сотни друзей. Все, о ком она писала, были ее друзьями. На ее похороны пришли человек семьдесят. Я дал объявление в газете, но многие просто не знали. Сто друзей? Наверное, так. Наверное... Конечно, иные ее забыли, иные предали. Не без этого. Слаб человек. Мы же все падшие человеки. Иных мы и сами забыли. Вот, например, нашему Кузе почти совсем не писали. Это мой однокурсник, распределившийся в Эвенкийский округ, в Туру. Потом он от бесквартирья стал милиционером, переехал в Красноярск, вышел на пенсию майором. Часто, чуть не каждый год, путешествовал к родителям с детьми и останавливался у нас.

«Мария! Кто обещал дружить и переписываться? Не держишь слова — это не хорошо, не по-советски. Тем не менее поздравляю тебя и всю твою семью с новым 1983 годом. Через год исполнится 20 лет, как я поступил в универ. Столько лет мы знакомы, а вы с Борькой женаты. Видишь, как быстро жизнь идет? Так что пиши, а то опоздаешь. В.В.Кузнецов». Он писал такие вот песенки, например:

Я сажу за столом,

Как дурак за печкой,
Я инспектор угро — 28 лет.
Обладаю умом и культурной речью,
У меня за печкой сейф, в сейфе — пистолет...

«Спасибо на поздравлении. Аналогичные пожелания в канун нового года примите и от нас. «Сократа» написал, книжку вышло — тем более, что достал аутентичный экземпляр. Болею зверски. Дети тоже болеют. Одна Нинон здорова. Видимо, все-таки лягу в больницу, иначе получится как с Гришей Добросклоновым — только без громкого имени. На сем будьте здоровы.

P.S. Читал про Марию в «Журналисте».

Кузя иногда сочинял детективы, «Сократ» — его очередное произведение. Он даже затребовал у меня консультацию по поводу «аутентичного» Сократа. У него-то Сократом прозвали, кажется, вора в законе. Или я все перепутал? А настоящий Сократ... Да вот послушайте:

«Вам, верно, кажется, что даром прорицания я уступаю лебедям, которые, как почуют близкую смерть, заводят песнь такую громкую и прекрасную, какой никогда еще не певали: они ликуют оттого, что скоро отойдут к богу, которому служат. А люди из-за собственного страха перед смертью возводят напраслину и на лебедей, утверждая, что они якобы оплакивают свою смерть... И что скорбь вдохновляет их на предсмертную песнь. Им и невдомек, этим людям, что ни одна птица не поет, когда страдает от голода, или холода, или иной какой нужды, — даже соловей, даже ласточка или угод... Хотя про них и рассказывают, будто они поют, оплакивая свое горе. Лебеди принадлежат Аполлону, и потому — вещие птицы — они провидят блага, ожидающие их в раю, и поют, и радуются в этот последний свой день, как никогда прежде...»

В глухой и тяжелой болезни Мария вспомнила одинокого лебедя на реке возле нашего дома. Потом, на исходе души. Она не хотела, чтоб я ее забыл. Чтобы помнить всегда, как лебедь свою лебедушку. Да-да... И после смерти. Обидно, когда тебя забывают, не успевши износить башмаков.

В своей записной книжке, где синей типографской краской запечатлено: «ВАЖНЕЙШИЕ ДЕЛА ГОДА», она написала:

Вниз по морю,
вниз по морю,
Вниз по морю — морю синему
Пловет стадо,
пловет стадо,
пловет стадо лебединое,
лебединое повинное...
Одна лебедь,
одна лебедь,
одна лебедь оставалась —
среди моря на камушке,
среди моря на беленьком...

«Здравствуй друг нашей юности Валерий Кузнецов! Мы тут с товарищами посоветовались и решили, что последнее твое сообщение относительно архивной работы не совсем ясно для нас, и поскольку больничный лист позволяет пространную переписку (время-то куда девать?), мы и задаем тебе наш недоуменный вопрос: ты что, ушел из милиции? Или занимаешься в милиции архивной работой?

Не помню, писала ли тебе, что сделан фильм «Колыбельная с куклой». ЦТ его замыливает, хотя и приняло — и даже, говорят, в тираж, то есть по местным студиям. Но что-то не кажут... Правда, у нас есть копия, и если хочешь, то можешь приезжать на сеанс, мы тебя пустим без билета.

Кузя, недавно перебирала журналы и наткнулась на твой «Енисей», на твой детектив про голубей. И очень меня вновь — уже в который раз! — взволновал вопрос о твоей гражданской зрелости. Ты смотрел климовский фильм «Прощание» (по Распутину, по «Прощанию с Матерой»)? У нас перед фильмом (о самом фильме я уж и не говорю) шла документальная лента «Лариса» — о Шепитько. Не видал? Она ведь 1000 раз права, когда говорит, что есть обман в самоуверениях: «Пусть я сегодня делаю не то, что могу и хочу, завтра я уже не буду торговаться с совестью», — что-то в этом роде сказала Лариса.

Кузя, послушай меня внимательно. Несколько лет назад Боря сдал в один присест кандидатский минимум. Но я его отговорила защищать диссертацию. Отговорила, понимаешь? Покажи мне такую жену! И он, я думаю, мне благодарен за это: он получил возможность, НЕ ОТКЛАДЫВАЯ, НЕ САМОУВЕРЯЯ «ЗАВТРА, ЗАВТРА» ДЕЛАТЬ ГЛАВНОЕ ДЕЛО СВОЕЙ ЖИЗНИ. Свою Логика. Кузя, мы ведь совсем уж не такие молодые и полные сил, чтобы про голубей сочинять, нам ведь осталось-то не так много. Ты может быть на меня обижаешься, скажешь: вот ещё, учить меня будет. Не обижайся...

Как-то ты в одном из давних писем меня спрашивал про ансамбль «Зеркало». Разбилось «Зеркало». А всё по тому же. Суетились много. Хотелось и того, и этого. Сергей, руководитель, решил, что дело, которое он начал, вполне совместимо со строительством кооперативной квартиры. А оно несовместимо, потому что никакое ДЕЛО ЖИЗНИ не совместимо ни с чем, кроме этого дела. В общем, подробности долго выкладывать, но всё там развалилось из-за жизненной суеты, из-за неумения довольствоваться малым. Сейчас ходят все с

постными мордами, хотя и при квартирах: жись-то пуста!

Кузя, я ведь тебя не воспитываю, я просто сожалею — и совершенно искренне. Ты понял, Кузя, какие мы положительные, и ты должен брать с нас пример? Ну и хорошо, что понял. А когда начнешь пример брать? Ну и хорошо, что завтра. А вообще-то без твоих писем грустно. И хотя у нас совершенно нет времени их читать, мы всё-таки постараемся его (время) выкраивать.

У нас вроде близится размен квартиры. Но я с течением жизни на многие вещи научаюсь смотреть без присущей мне прежде трагедийности: так — значит так, и хрен с ним. На работу это, ясное дело, не распространяется, туда я направляю всю тяжелую (и легкую) артиллерию — лишь бы добиться своего.

Кузя, если бы ты знал, как мне уже надоело водить ручкой! Я уже месяц её в руках не держивала, даже устала. Боря лежит на кушетке с газетой — пришедши с работы и поемши. Устал. Писать не хочет, но изобразить посредством рисунка мою трагическую судьбу не отказался, так что прилагаю.

Кузя, как твои ребятёшки? И вообще можно найти массу вопросов, которые ты должен осветить. Вот и освети — тем более, если все равно сидишь в архивах и никто за тобой с обрезом не гонится. Ждем, как соловьи. Твои Маша и Боря, друзья юности и более позднего возраста». Письмо написано где-нибудь в феврале 1985 года.

«Кузя, ну почему ты такой грустный сидишь на полу? Уже пора работать. Мы огрустились. Я уже сделала «Однополчан», завтра эфир. Знаешь, кто у меня в «Однополчанах»? Ребенок! Мальчик Митя из детского сада №357! Понял? Кузя, надо душой работать, а ты на полу сидишь. Хоть бы отписал, как долетели. Ты же обещал!

Кузя, передавай привет своей Нине, скажи ей, что мы ею как твоей женой довольны: ты непьющий хороший отец. И даже очень трогательный. Надька Медведёва сделала бы классный портрет «Отца». Я без слёз не могу вспоминать вашу троицу. А ведь меня растрогать очень трудно!

Приходил к нам на днях Хайдар (ты его может быть помнишь — такой толстый кудрявый таджик, твой тезка, исполнитель блюзов, у Люськи Кудряшовой как-то выступал). Так вот, пришел в сиську пьяный и сообщил нам, что мы с Борей почему-то святые, а он хочет повеситься, так как ничего путного не совершает, а одно г...но и халтуру. Тут к нам приехал знаменитый космонавт, он возле него два дня ласточку делал, какой-то сценарий ему писал, кирилл и т.д. И сделал вывод, что от всего этого надо повеситься.

Видишь, как плохо, когда человек в разладе с собой. А ты не в разладе, Кузя! И хорошо, что не в разладе...»

«Здравствуй дорогой и в общем-то любимый нами Кузя! Обычно я веду свои репортажи из лечебниц (хрена ли тут еще делать?). Вот и сейчас я в ней с проколотым носом, из левой ноздри торчит резиновая трубка, которую я без конца хапаю и поправляю. Сам понимаешь, Кузя, уж теперь-то конец совсем близок, и если только ты не засидишься «как дурак за печкой», то мы ТАМ скоро свидимся. Другой надежды свидеться нет, потому что ты не едешь и не едешь.

Кузя, мне уже письмо тебе писать надоело, тем более Борис в данный момент уже помирает. Вот уже последние предсмертные хрипы (диктует он мне), вот уж я приложила ко рту зеркальце (продолжает он) — никаких симптомов. А как дружно мы жили, и вот всё кончилось. Кузя, приезжай срочно на наши похороны (ты не забыл, что я тоже уже умерла?) Захвати с собой колбасы (у нас только по талонам). Венки можно достать здесь. Ну всё, Кузя, уже нету сил, хотя кажется, что что-то главное не досказано... Ну, ничего, ты и так всё поймешь и простишь. Кузя, в каком ты сейчас звании? Если всё ещё майор, то на похороны не приезжай — и не надо нам ни твоей колбасы, ни твоих венков. Понял? А если уже подполковник, то едь.

Ну ладно, ты уже нас, покойничков, так забодал, что сил никаких нет, как говорит Люся Кудряшова. Кстати, ты знаешь, что сейчас она начальник? А почему ты её до сих пор не поздравил? Приезжай ее чествовать с колбасой и венками — она зам главного редактора.

Кузя, ещё осталось очень много незаполненной бумаги. Какое слово ты больше всего любишь? Наверное, гонорар. Хочешь, я тебе его размножу на всю оставшуюся страницу?

Гонорар, гонорар, гонорар, гонорар, гонорар, гонорар, гонорар, гонорар, гонорар, гонорар, гонорар, гонорар, гонорар, гонорар, гонорар, гонорар, гонорар, гонорар...

Кузя, ты меня забодал. Разве гонорар — самое главное в жизни? Важнее, чтобы все мы хоть изредка виделись. Как у тебя дела? Пишешь ли ты свои прекрасные (я серьезно!) песни. Лена тебя вспоминала.

Боря очень много работает (в стол), Антон разошелся с женой, Юля заканчивает десятый класс. Кузя, сколько всего в жизни, а ты не пишешь и даже не едешь. С первого июля мы будем в Кашино (но дома будут Юля, Антон и Мария Михайловна). Пиши о своих планах. Обнимаем тебя, твои старые друзья Маша и Боря».

«Здравствуй, Кузя! Придется мне нанести сокрушительный удар по твоему оптимизму, возросшему на почве легкомысленного восприятия информации о состоянии здоровья друга твоей незабвенной юности. Дали мне звание, ради которого я славно потрудились — инвалид второй группы. С работы уволена 11 февраля 1986 года, когда состоялся областной ВТЭК. Положат мне теперь пенсион (размеры его мне пока не известны, очевидно 75-80 рэ), и буду я пребывать в новом качестве. Впрочем, за эти шесть месяцев, которые сидела на больничном листе, я уже освоила это состояние. Потихоньку строчу на машинке (одна страничка в день), потихоньку вожусь на кухне, потихоньку караулю внучку — вместе с Юлей. Словом, жисть вполне удобоваримая. Может быть, надумаю ехать оперироваться в Новосибирск. Там, люди говорят, какой-то хирург хорошо

придумал оперировать на сердце. А может и не рискну, пока не решила.

Вот ведь как жизнь-то устроена: сейчас бы только и делать передочки...» Письмо обрывается...

«04.02.82 г. «У меня тут идет перманентная борьба с августа прошлого года. Началось все с передачи на ТВ (я вам писал, кажется). Теперь пишу рапорт на перевод. Правда, справедливости ради следует признать, что, кабы не моя слабость, можно было еще потянуть резину. Но я рад, что все так кончилось. Единственное, что нервирует: еще все-таки не совсем кончилось. Ищут мне замену и не могут найти, хотя любую собаку, которая знает сигналы «на место» и «фас», можно смело ставить на должность (при условии высшего педагогического или юридического образования и минимуму пятилетнего милицейского стажа).

Борины рассказы прочел. Читать интересно, но — мало. Ты совсем не хочешь придумывать. Тебе нужно отделяться от того Бориса, который в рассказе. Пробовать его, совать в ситуации (или размышления) непредвиденные, экстремальные (красивое слово). В общем, надо двигать дальше. И не стесняйся использовать услышанное или увиденное другими. Художница с катарактой из Алапаевска, этот немец, придумавший Пешеград, — у тебя бездна материала. Пусть они заговорят от первого лица, как говорил ты в этом рассказе. Письмо твое (или разъяснение) так и надо припечатывать к рассказу.

Я ничем не занимаюсь. Не пишу, не работаю (прихожу узнать, подписан ли приказ о переводе; обещают подписать со дня на день — какая тут работа?). Написал мстительную песню — прощание с конторой. Видимо от злости не могу подобрать приличную мелодию. Написал песню про Илью Муромца. Петь некому — пою каждый день сам себе, чтобы запомнить. Больше ничего не пишется.

Нинон трясется, что меня выгонят с работы («Как это ты не ходишь на работу, выгонят же из милиции!») — «А ты что — уйдешь от меня?» — «Нет, не уйду, но денег жалко...»), но втайне довольна: то мяса накручу, то квартиру уберу, то выстираю (не систематически, но все же...) Словом, дома мир. Дети вроде не болеют, веселы. Вот и все дела. А что у вас? Почему не пишете, кто родился у антоновой жены? Жду ответа. Привет всем».

Кузе я тогда послал первоначальный вариант вещи, которая называлась «Небо, корова, крыша и океан». Современный миф. А «немец, придумавший Пешеград» — это Лев Артурович Эппле, художник, о котором Мария соорудила сюжет в телевизионный журнал. И радиопередачу.

Недавно видел Кузю во сне. Он был там совсем молоденький. А в предпоследнем письме он написал: вдруг что-то со мной случилось, стали совсем неважными ранее ценимые ценности... Вэй? На Британских островах так называют предсмертное духовное перерождение, дарованное Богом. Я перепугался. Он мне не пишет уже четыре месяца.

(Написал всё-таки и даже позвонил.)

ХУДОЖНИК ЭППЛЕ

— Отдохну, когда построю Пешеград... Вот тогда я скажу: ну, теперь я могу поехать на Черное море. И буду спокойно отдыхать... Буду, наверное, очень рад ничего не делать, потому что будет спокойно на душе: фациант мэлиора потэнтэс. Это такое латинское изречение: я сделал, что мог... кто может, пусть сделает лучше.

Но самое главное — это мой дурацкий возраст! Откуда я знаю, сколько мне осталось? Вот что самое противное... Если бы Ангел мне сказал: знаешь что, голубчик, тебе суждено жить еще столько-то... Ну, я бы тогда знал — как минимум, я успею столько-то... А от чего отдыхать? Мне отдыхать-то не от чего, потому что я не устаю от этой работы. Я устаю, если этой работы нету!

ВЕДУЩАЯ (за кадром): Он немного поторопился: через два года после его смерти Пешеград сделал свой первый робкий шаг — из заоблачной мечты художника в практическую жизнь: макет Пешеграда был представлен на областной строительной выставке.

(Больше никаких шагов не было. Макет появился в 1982 году на выставке по просьбе Марии, которой внял Борис Александрович Фурманов, тогдашний заведующий строительным отделом обкома КПСС. Эппле — Мария — Фурманов... На этом цепочка оборвалась. Песни Б.А. Мария дала в своей радишной передаче, когда Борис работал в Главсредуралстрое. Хороший мужик. Мария смеялась: ну всё, стал обкомычем, теперь сооружение из ондатры на голову наденет. Но Фурманов так и остался в старой кроличьей шапке. Он умел быть благодарным, а просьбы Марии были только воистину благородными, не мелочно-личными. В коробке из-под конфет, вместе с другими письмами, лежит и его записка: «Уважаемая Мария Кирилловна! Мои пожелания Вам в день рождения на обратной стороне. А поздравление и объяснение в глубоком уважении прямо здесь — в этих строчках. Б.Фурманов».

На обороте были его стихи:

Бойницы
больницы,
уставшие белые птицы...
Халаты,
палаты
и экспериментов заплаты...
.....
Советы,

запреты
и данные раньше обеты
ненужными стали казаться.
А утром
как будто
все это приснилось кому-то,
а ты и не думал сдаваться...
26.05.81 г.

Мария тогда шибко болела, с 74-го года организм пошел в отказ. Часто скиталась по больницам — отсюда и соответствующие стихи).

Эппле: — Я считаю, что архитектор, врач и учитель — это самые благородные профессии. Первое у них призвание — любить человека и заботиться о нем. И не на словах заботиться, а на деле. И поэтому они все воспитатели, а раз воспитатель — значит принудитель, потому что какое может быть воспитание без принуждения, правда? Основной принцип, на котором Пешеград построен, — принудительное пешеходное движение — именно в смысле, чтобы человека заставить ходить. А форма этих домов может быть разная. Мне хочется, чтобы эти дома были похожи на горы... А тут долина, где течет река-жизнь. И над вами раскрыто все небо. У вас совершенно другое ощущение, когда вы идете по такой долине, так ведь?

Из любого окна, почти из любого окна здесь вид на первозданную природу. Ландшафтотерапия... Сейчас есть новый раздел медицины, который говорит: нужно лечить человека созерцанием прекрасной природы. Из любого окна видно природу — не город...

КИНО. Мастерская художника. На стене — макет Пешеграда. Книжки, папки, кисти, картины... Мастерская художника, в которой художника нет. Звучит фонограмма:

Эппле: — Я считаю, что я абсолютно ничего не сделал из того, что я хотел бы сделать. Ужас... А жизнь по закону природы должна... Я могу умереть буквально на ваших глазах, сию минуту.

Мария: — Ну не надо (смеются).

— Видите, у меня там сколько папок стоит, видите? Это я вам в другой раз все покажу, там эскизы картин, эскизы графических циклов... Вот такие у меня дела, не говоря о том, что Пешеград.

Мария: — Ну, хорошо, вы недовольны тем, что многое, считаете, не успели. А что же все-таки успели?

— Да ничего. Абсолютно. Вот, может, макет наклеить успел и дочку одну родил.

Мария: — Так в чем же прелесть жизни? Но если сейчас вы скажете, что вообще ее не видите, то я вам уже не поверю после Пешеграда.

— Нет, прелесть жизни в том, чтобы что-то такое... Понимаете? Что-то такое иметь в душе! И в голове. И уметь это выразить настолько убедительно, что... если не сразу, то в конце концов все это понимают и подхватывают. Я вижу, что не зря старался, что люди счастливы, что это им нужно, необходимо. Что, в общем, я не зря существую.

Он много лет сидел в лагере, потому что в паспорте была запись: немец. Когда началась великая война 1941-45 гг., немцев интернировали (как в Америке — японцев). Он тогда жил в Москве... Говорит: — Сам виноват. В моих жилах немецкая, итальянская, французская кровь. А я выбрал себе такую национальность, которая привела в лагерь...

В лагере не умер с голоду благодаря тому, что подрабатывал портретами. Говорит: — Рисовал толстых немцев Поволжья, им присылали посылки с салом и прочими питательными веществами. Однажды начальника лагеря изобразил. У него туберкулез в открытой форме, а он мне оставил «сорок»... сорок процентов... дает свою замусоленную самокрутку... чинарик.

— Ну, вы, конечно, отказа...

— Еще чего! В лагере совсем другие представления о санитарии и гигиене...

После смерти Льва Артуровича (он был с 1900 года, старше меня на сорок лет) передали его записку: «Боре П.

1. Одновременность.

2. Скорость света.

3. Время: будильник на Юпитере. Песочные часы. Капельные часы.

4. Затмение солнца: искривление пространства, плюс и минус бесконечность.

6. Магнит и электромагнит.

7. Гравитация. *Perpetuum mobile*.

8. Ракета облетела вокруг зем. шара. Якобы зап. время! А перегрузка во время ускорения?

Телекинез? Я хочу поднять руку, от одного моего хотения рука поднимается, т.е. мускулы сокращаются только потому, что я это захотел. Хотением можно управлять...

Кривизна! А прямизна?? Пространство конечно? А время??»

Мы с ним однажды долго сидели в мастерской. Я рассказал ему свою «Логикку». Первоначальная идея возникла в моей несчастной голове летом 1971 года, в нашей милой деревне Кашино (Кашина?), где я читал какую-то книжку про Большой взрыв. Конечно, с тех пор прошло столько лет... четверть века. Но по этой записке можно восстановить тот разговор, который он кратчайшим образом законспектировал. И как Мария умудрилась ее сохранить? Просто положила в коробку из-под конфет — вместе с письмами и открытками.

Скорее всего, я нарисовал ему простейшую схему: окружность и радиус. Пространственно-временная модель вселенной. Большой взрыв... Точка взрывается, вселенная начинает расширяться. Точка — термин геометрический, поэтому она становится расширяющейся окружностью, растущий радиус которой — это и есть время. На окружности, которая представляет собой НАСТОЯЩЕЕ, где находится наша планета Земля, время остается точкой. Здесь невозможна причинная связь событий, потому что все события на окружности одновременны (все ее радиусы равны). Поскольку скорость света конечна, мы видим все прочие галактики и квазары «ниже» линии одновременности, внутри «одновременной» окружности. Мы видели бы что-то на своей окружности, если бы свет распространялся мгновенно. Но это не так... Не так.

Отсюда и слова в записке: одновременность, скорость света... Модель подвижна: если умножить окружность-пространство на диаметр-время, то получим сферу-скорость. Ах, как я радовался, когда увидел ИНВЕРСИЮ! Гегель соотносил бытие и ничто, чтобы получить становление. Потом становление как-то необъяснимо каменело в наличном бытии. А у меня получалось так: утверждение/отрицание = бытие, отрицание/утверждение = становление (т.е. не-бытие), пространство/время = скорость, время/пространство = инерция. Потом я нашел то же самое у древних китайцев: свет/тьма = расцвет, тьма/свет = упадок.

Что же касается гравитации, понимаемой в записке Эппле... Наверное, я тогда уже успел ему показать, что геометрически гравитация — это замкнутая кривая, скорее всего — окружность, противостоящая прямому радиусу-времени. Константа тяготения — это постоянная Планка, элементарная длина (квант пространства, мнимальная окружность). Чтобы получить константу времени, надо разделить постоянную Планка на 2 пи. Получится радиус-время. Оно двойственно, как константа и переменная, что прекрасно передает православный календарь. Наверное, это единственный календарь, который логически безупречно передает структуру времени: «Православное время» «складывается из двух, находящихся в разных временных плоскостях, циклов: ПОСТОЯННОГО, календарного — «богослужения времени», начинающегося 1 сентября, и ПЕРЕМЕННОГО, ориентированного на лунный календарь пасхального цикла...» /Бычков/. Эта концепция во многом определяла специфику древнерусской историософии» (Панченко А.М. О русской истории и культуре. СПб, 2000. С.68).

Наверное, мы с ним говорили и про характер отрицания... Не-левое — это правое? Не-стул — это стол, шкаф, скамейка? Не-бытие — это становление? Бытие — это Небо, мир невидимый, престол Божий («Иже еси на небесех»), а сей видимый мир пребывает в мутном потоке становления. Зачем этот поток? А зачем левому правое? Если есть только левое (без правого), то нет и никакого левого...

На языке математики ничто — просто нуль. Ряд цифр начинается с нуля, а после девятки (там, где он заканчивается) нужно поставить не десять, но символ бесконечности: 0,1,2,3,...8,9,бесконечность. Сегодня в теории множеств эту бесконечность уводят куда-то в неопределенную даль, тогда как она не дальше нуля... Впрочем, без-конечность = не-конец = начало, то есть символ бесконечности нужно ставить в начале числового ряда, а нуль — в его конце. Если соотнести бесконечность и нуль — получим Единое. Обратное соотношение рождает множество. Чтоб стало понятнее: утро/вечер = день, вечер/утро = ночь.

А если уж говорить о конце и начале, то сначала нет никакого начала, а в конце нет никакого конца. Сначала есть славянский корень-слово «кон» (бытие, мир невидимый, вечный), который, оставаясь сам собой, ещё и выворачивается наизнанку, порождая соотношение «начало/конец» (конечный, видимый мир, где и мы с вами проживаем в пространстве и времени). «Верю познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (К евр. 11, 3). Здесь антиномия: 1)кон есть начало, 2)кон есть конец; обратные термины-предикаты «начало» и «конец» появляются лишь в середине мирового процесса; они принадлежат конечному миру. И в конце-концов:

кон – начало/конец = греческий космос (образно: дерево).

А после инверсии обратных терминов:

кон – конец/начало = еврейский олам (река). Так ли?

Спрашиваю: — Лев Артурович, что такое линия? Он ответил интересно, как истый художник: — Линия — это граница между черным и белым...

Я не успел рассказать Эппле, что он изобрел египетский иероглиф-идеограмму, которая означает: город, государство, вселенная. Единство креста и круга, земли и неба (у китайцев — квадрат, вписанный в круг). Я сам узнал об этом только после его смерти. Он изобрел город, костяк которого — круг, куда вписан крест. Это линии метрополитена, на которые нанизаны дома. Заводы вынесены за пределы круга, к ним идти не больше получаса. В городе нет наземного транспорта, все ходят пешком по зеленым аллеям, где на деревьях весной поют птицы. В город вошла деревня. Герб — босая нога. Только больных возят электромобили.

Свет — тоже идеограмма. Его можно поляризовать по кругу и в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Такие дела... Даже старый город можно потихоньку, в течение столетия превратить в Пешеград. Впрочем, его время придет позднее — когда бензин закончится. Это же оптимальная структура города. Придет его время? Не знаю... И нужна ли нам оптимальная геометрия города... Нет, деревня в городе нам, несомненно, нужна... но, возможно, скорее придет Апокалипсис, когда времени больше не будет. Эппле позвонил мне однажды: «Борис Иванович, людей надо уговорить. Ну вот как девушку уговаривают, чтоб вышла замуж... Вы хороший журналист... Уговорите, чтобы строили Пешеграды...» Большое дитя... Где-то у меня лежит «Конёк-горбунок» с его иллюстрациями. Русский лубок. Есть ещё картинки к «Левше».

- У меня был один знакомый профессор в Москве, очень музыкальный человек... Николай Сергеевич Жилев. Он даже в энциклопедию попал, я вам покажу его портрет... Знал всех великих людей, сам — ходячая

энциклопедия. Он жил в нашей же коммунальной квартире, мы с ним чуть не каждый вечер до трёх часов ночи беседовали. И вот однажды он сказал мне такую вещь: Бетховен хотел быть богом, а был только Бетховеном. А Лермонтов хотел быть пророком, а был только великим русским поэтом. Одним словом, смысл такой, что надо хотеть большего – и тогда можно что-то сделать. Но каждый остаётся в тех пределах, кои отпущены ему природой. Один может написать Девятую симфонию, а другой – «Чижика». Понимаете? Но каждый ищет свою симфонию, и смысл его жизни в том, чтобы написать эту симфонию. Но она не всем удаётся... И получается много «Чижиков», а Девятая симфония одна. Вот и я как раз в числе тех, которые хотят Девятую симфонию написать, а получается «Чижик» (смеётся).

Мария: - Нет, это не кокетство и не скромничанье, а настоящая скромность. Ведь кроме Пешегграда, хотя и одного Пешегграда на одну человеческую жизнь больше чем достаточно... Кроме Пешегграда, несчётные картины, эскизы картин, графические циклы, десятки иллюстрированных книжек. Среди них весёлый «Конёк-Горбунок», который не хуже Пешегграда выдаёт большое и доброе сердце Эппле.

- Меня учили играть на скрипке, немножко – на фортепьяно. В этой моей жизни музыка играла огромную роль... Я ни одного концерта в Москве не пропускал. Шаляпина слышал три раза. С ума сойти, что такое... Это было самое сильное впечатление всей моей жизни. Я вообще могу сказать: я не зря жил на земле. Я вам говорил, что зря. Нет, не зря, не зря. Потому что я слышал Шаляпина: два раза в «Борисе Годунове» и раз в «Лякме».

Вы можете мне сказать, чем отличается счастливый человек от несчастного? Я по-своему могу сказать так, что, когда я счастлив, у меня вот здесь... вот именно здесь... вырастает какое-то невероятное чувство... Вот здесь что-то творится... Не в коленке, не тут... Правда? У всех, наверно, так, да? А когда у человека горе, несчастье, то здесь же опять это чувствуется... Больше нигде. После «Бориса Годунова» вот здесь у меня образовался изумительный какой-то кристалл. Я не знаю... Такой изумительной красоты. Он что-то излучал. Было впечатление, что из меня выходят какие-то лучи. Не то что я остаюсь сейчас один – сам по себе, но из меня выходит что-то невероятное. Такое было ощущение: я весь стал выше, лучше. И ощущение какой-то облагоустроенности. Понимаете... Я чувствовал себя поднятым, вознесённым в какие-то высшие круги.

- Мария: - И вы до сих пор помните это ощущение?

- Я никогда в жизни его не забуду. Ощущение огромного счастья. Невероятного...

А бит-музыку не выношу. Совершенно не перевариваю. Это ресторанный музыка. Что это за музыка, во время которой можно сидеть-разговаривать, пить из бутылки пиво. Даже во время исполнения аплодируют этим... музыкантам. Вы знаете, да? Вот после хорошего спектакля кто-то говорил: тишина, ни одного хлопка, потому что люди потрясены, они пока ещё не пришли в себя. Вот какое впечатление производит настоящее искусство...

Он помер давно, году в восьмидесятом. Как странно... Незадолго до смерти мы с Машей пришли к нему в гости, он лежал в постели. Я стал показывать фотографии, среди которых — старые кресты на кладбище в Нижней Синячихе. Потом, за неделю до смерти Марии, к нам пришел старый друг и тоже принес фотографии кладбища. Как странно... Мы оба тут стали слепыми вестниками смерти.

С ним прощались в Доме художника. Все проходит... «И зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы; — доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем»...

КАТЕРИНА

Нас познакомила Катя М., фоторепортер... фотокорреспондент? Фотохудожник. Катерина увидела Эппле через объектив фотоаппарата, сделала его портрет. Она жила с сыном Илюшей на втором этаже старого дома за главным почтамтом. Сейчас там какое-то учреждение. Со двора вверх вела длинная прямая лестница, вдоль которой одно время лежал большой железный шпиль с коваными финтифлюшками. Его подобрала Катерина, когда случился пожар в доме на углу улиц Радищева и 8 марта. Такой старый зеленый дом. Попросила какого-то мужичка за пятерку увезти к себе домой. Потом мы отправили этот шпиль в музей к Гаврилычу, в Нижнюю Раскуиху.

Не знаю, живы ли они сейчас. Катю выселили из ее гнезда на Сиреневый бульвар. Это район ЖБИ, завода железобетонных изделий. Она пришла в ужас от железобетонных домов, которые серыми гладкими стенами уходили вверх и закрывали небо. Скоро она сбежала в Ригу, поменяв свою двухкомнатную квартиру на комнату в коммуналке.

В конце 70-х (в 1979-м?) Маша сдала в тележурнал «Художник» свой «Размытый сюжет»:

«Итак, действующие лица: телефон, магнитофон «Репортер», фотографии и голоса за кадром. Телефона в нашей дружбе очень много, он наш главный связной, он нас и познакомил три года назад. Он же и сообщил бесстрастным диспетчерским голосом номер поезда, который увез нас в первую творческую командировку. Он же и отклонил мрачноватым Катиным голосом мою просьбу об этом сюжете:

— Меня Алла записывала на магнитофон. И там какие-то приборы, лампочки мигают и такое ощущение, что тебе сейчас будут операцию делать, честное слово. И говорят: это не больно...

Корр.: Мы — Телефон, «Репортер» и я — вели себя как последние шантажисты: «Как вот ты сразу человека определяешь... Что это тот, кого ты будешь снимать и кого ты хочешь снимать?»

— Я не знаю, Маша... Вот у меня почти всегда возникают какие-то чувства... Ну, как бы это сказать...

Мысли — потом, а сначала чувства прямо физические. Или, скажем, отвращение, или тут же прямо влюбляюсь. В одну секунду.

В кадре — Катины фотографии. И песня, которую поет Елена Камбурова:

Кто-нибудь утром проснётся сегодня, и ахнет,
и удивится — как близко черемухой пахнет,
пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием,
Жизнь впереди — как еще нераскрытая книга.

Кто-нибудь утром проснется сегодня, и ахнет,
и удивится — как быстро черемуха чахнет,
сохнет под окнами деревце, вьюгою пахнет,
пахнет снегами, морозом, зимой, холодами.

Кто-нибудь утром сегодня совсем не проснется,
кто-нибудь тихо губами к губам прикоснется
и задохнется — как пахнет бинтами и йодом,
и стеарином, и свежей доскою сосновой.

В утреннем воздухе пахнет бинтами и йодом,
и стеарином, и свежей доскою сосновой,
пахнет снегами, морозом, зимой, холодами
и — ничего не поделать — черемухой пахнет.

Пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем.

Пахнет влюбленностью, первым любовным признанием.

Что бы там ни было с нами, но снова и снова

Пахнет черемухой — и ничего не поделать!

(Я тогда не понимал, что... может быть... отчасти... эта песня — про меня и Марию. Нет, не понимал...

Потому что «жизнь впереди, как еще нераскрытая книга». Русские пейзажи Левитана и стихи Левитанского. Он воевал на великой войне. Есть евреи, которые любят Россию. Я надеюсь, что именно эти никогда не плевали ей в лицо... И Христу. К сожалению, про Левитанского ничего не знаю... Кроме разве:

Стоял полумрак,

горели свечи...

Начало артподготовки
было назначено на 6.00.

...А в левом приделе,

у входа,

на чёрном огромном кресте

печально и кротко светились

глаза Иисуса

и проступали

темные пятна крови...

Какая уж там черемуха — в Палестине? Черемуха цветет в мае — к холодам. Они любят Россию, несмотря на то, что кто-то приказал любить только Израиль. Но ведь сердцу не прикажешь? Нет, не прикажешь. Любовь и свобода всегда вместе. Да? И ничего не поделать... Только вот их маловато. Маловато... Впрочем, хороших людей всегда маловато. Или я не прав? Но всё это в скобках...)

Катя: — Такого-то впечатления у меня не было в жизни много лет. То есть я даже думала, что я-то на такие потрясения уже и неспособна. Я столько перевидала всего — и вроде меня ничем не удивишь... Конечно, я с таким жутким потрясением не могла справиться. И этим, наверное, объясняется, что я сделать ничего не смогла.

— То есть, Катя, ты считаешь, что снимка Лены ты еще не сделала?

— Точно, не сделала. Не сделала! Я так только... Обидно же конечно, что не сделала. Мне казалось, что после ее отъезда в груди образовался вакуум... И там свистит ветер... Ведь она-то говорит действительно о самом важном. О чем мы, в общем-то, забыли. О том, что нужно быть добрым... Язык ее предельно ясен и прост. Она говорит простые и ясные слова о том, чтобы... чтобы мы просто были добрее, внимательнее друг к другу. Чтобы не забывали: рядом такие же люди живут... Мучаются и страдают от того же, от чего ты сам страдаешь.

Когда я чувствую, что я вот сейчас сделаю настоящий кадр, я настолько уже себя отождествляю с этим человеком... Ну, это происходит помимо моей воли, совершенно... Я в этого человека как бы опрокидываюсь.

Вот в Алапаевске «опрокинулась» в Христину Денисовну и Степана Гавриловича. Кстати, и Лена Камбурова их любит... Эти люди... они одной породы... оба они совершенно чистые и светлые... Из-за них и сам Алапаевск кажется удивительным городом. И в молодых лицах там видно что-то такое, что идет из глубины веков. Это настоящие русские лица. Наверное, только благодаря Степану Гавриловичу и Христине вдруг тоже у меня зрение очистилось, и я вдруг стала видеть эти молодые лица...

Изредка у меня получаются кадры, как формулы. Они простые, но простота эта дорого дается. Конечно, гораздо проще наворотить в кадре всего... всякой шелухи... В шелуху-то, в общем, удобно замаскироваться.

Причем, если владеешь техникой, да если есть оптика — столько можно шелухи наворотить...

— Она, наверное, соблазнительна?

— Ой, это очень увлекает. Я эту стадию тоже прошла. Когда по сути дела нечего снимать, в эту шелуху очень удобно замаскироваться. Красиво же... Но самые лучшие кадры — это когда они до предела очищены... Как человеческое сердце.

Потом в кадре опять фотографии и песня...

Дом при дороге — он во мне самой,

В открытом настежь сердце, грустно в нем...

За эти годы в нем перебивало

Необычайных странников немало.

Но чаще пустовал он — день за днем...

И видел он в улыбках жизни и в её блужданиях

Все тот же бесконечный сон.

О легких встречах и скорых расставаньях,

О скорых расставаньях...

Катерина уехала в Ригу и там потерялась. Точнее, они с Марией заочно поругались в 86-м году — на почве сионизма. Тогда у нас «крыши поехали»... Тогда на нас обрушили эту проблему... Проблему иноземного владычества... «Жидовского ига»... Кто обрушил? Не знаю... может, Моссад... КГБ? ГРУ? МВД? ЦРУ? По рукам ходила «Десионизация» Емельянова, где было выдано, в частности, предписание считать христианство идеологической диверсией. Конечно, там торчали и уши кагэбэшного генерала Гопкова, впоследствии верного лакея господина Бусинского, вполне легально возглавлявшего какой-то сионистский конгресс.

Правда, у меня все-таки хватило ума послать это произведение подальше... Ну, куда обычно посылают. Смешнее (и подлее) не придумаешь — почти совсем отождествить христианство и сионизм.

Первое время Катя писала письма. Их сохранила Маша, завязала в косыночку. Как бы завязать в косыночку все наши старые привязанности, уберечь их от холодного ветра... Да...

«15.06.83г. Здравствуй Маша! Очень бы хотелось тебе позвонить и услышать твой захлебывающийся голос, но он и так слышится за строчками твоего письма. Иногда я не выдерживаю и звоню кому-нибудь. Но мы живем по-прежнему крайне скудно, тянемся, платить за разговоры — значит Илье недоест. Приходится терпеть.

Жаль, конечно, Антона. Он уж очень еще маленький для семейной жизни, так сам похож на ребенка, только длинный. Только бы Антон с горя не бросился на другую сразу. А если и бросится, то не надо жениться, еще успеет. Как-то он сейчас думает о нашем брате? Только бы не делал обобщений на основании своего небольшого опыта. Сейчас для него важный момент — пусть научится людей различать, где кто.

Мне же ты спокойно можешь писать в любом состоянии. Напишешь — легче будет хоть немного. Я не совсем поняла, на «куда» тебя перевели, что за «стереовещание». Рано или поздно тебя бы все равно приструнили, надо еще удивляться, как тебя долго терпели. Передач ты сделала так много, что ПОКА можешь не делать и передохнуть. Ты же говорила, что тебя как-то заело, и ты — в тупике. Так что надо спокойно это принять и дождаться Кашина. Именно тогда, когда тебе не дают делать то, что ты хочешь, в тебе может появиться что-то новое. Может — то, о чем ты сейчас не знаешь, потому что непрерывно «функционировала», как ты говоришь, растрчивая колоссальную энергию. Не зря ты каждый раз разваливалась физически после своих передач. Если у тебя будут моменты покоя и тишины, что очень важно, — и одиночества, а не «общения», в котором часто себя растрчиваешь впустую, то в тебе возникнет другое. Это «другое» — самое важное. И это истинно религиозное чувство. Я думаю, ты скоро будешь на пороге этого, и чем дольше тебе не дадут делать — тем лучше. Дай себе отдых, ты столько лет жила в постоянном напряжении. И вот такая большая Маша, а все время рассыпаешься.

Конечно, ты привыкла к деятельности. Поэтому можешь, не давая себе отдыха, начать, скажем, книгу. Но если ты примешься за это сразу, то опять станешь так же рассыпаться на части... А ведь лучше жить дольше и сделать больше. Какую вы с Борей книгу написали? Об Алапаевске?

Б.А.Д. и ее семейство говорит о тебе, как о «благородном борце». Их в Свердловске, разумеется, предали «анафеме», особенно в книжном издательстве, так что ее имя там лучше не упоминать в связи с твоей книжкой. Трусоваты они там все, может быть — лучше в Москву? Сейчас, говорят, по всей России много стало пишущих людей, просто людей, а не писателей и журналистов, кого писание — кормит. Я тоже, сидя на ЖБИ одна, год назад от одиночества начала писать — так, для себя. Сейчас же сил не хватает, пишу только письма. Есть еще много чего тебе сказать, что было бы и для тебя важным, но боюсь скомкать. Последнее время загибалась со спиной по-страшному, месяц совсем не спала от боли, но ходить по врачам для меня — большая роскошь. К сожалению, здешний климат нам явно не подходит, здесь обострились все мои болячки. Все атмосферные явления здесь более мощные — море потому что и влажность большая. Кости болят и все прочее. Но я думаю, что более трех лет едва ли мы здесь пробудем по многим причинам. За это время я очень надеюсь научиться у этого славного народа как можно большему. А у них можно многому научиться. У них ничего почти «видимо» не исчезло, и для нас, привыкших к ЖБИ и прочей безалаберности, здесь чудеса на каждом шагу и во всем. У русских — или подвижник Степан Гаврилович, или горький пьяница, нас кидает в крайности. Здесь же крошечный народец — всего полтора миллиона — сохранил многовековую культуру во всем, что ни тронь. Что бы они ни делали — все делают как художники. Каждый клочок земли покрыт цветами, а

земля — морской песок, самой земли и нету. И если здесь что изуродовано, то прежде всего пришельцами, которых они терпят. Сюда, на готовое, многие приезжают за «хорошей жизнью», за благами материальными прежде всего. Русские, которые здесь, — прежде всего рвачи, да еще украинцев полно того же сорта, да «черных» и т.д. Полно у них, Маша, своих проблем, я здесь более трех лет от одного стыда не вытерплю. Но в Свердловск не вернусь, даже если он и станет, по прогнозам, центром духовной жизни. Я там чуть с ума не сошла, и более просто физически не могу смотреть на изуродованную землю — могу всерьез заболеть. Шкуру я потеряла в свердловской жизни, и Илья у меня совсем ободранный, дай Бог залезать раны. Будем смотреть на цветы и зеленую траву и море. Пусть не свое, да земля-то одна. Да и не нужны мы там никому оба. Лучше быть ненужными среди чужих, чем среди своих. К нам здесь все очень хорошо относятся, с кем мы сталкиваемся непосредственно, ну и спасибо им за это. Ну, а я им своими фотографиями постараюсь показать, что среди русских остались еще люди — вот и будет мостик. Жаль, нет нужной бумаги, здесь фотографов тьма и купить невозможно. Я до сих пор не напечатала свердловские фотографии последнего года. Хотела бы их тебе показать. Это как переход на другую ступень после того черного, что ты видела. Написала в Москву — может, мне купят. Пиши».

Мы тогда написали с Марией книжку «Реставрация памяти». Речь там о Степане Гавриловиче, который воздвиг музей в Раскуихе. Об основных формах мышления... О русском мышлении... О нашей духовной гибели. О том, что русские не сдаются. Несмотря ни на что. Даже со связанными руками. Про эту книжку как раз и спрашивала Катя. Я ее начал в деревне, в конце отпуска, в сентябре 1982 года, на исходе брежневской эры. Но основные труды пришлось на зиму-весну 83-го, уже при Андропове. Политические горизонты в стране были туманными, комитет госбезопасности стал по-дурацки ловить бездельников днем по кинотеатрам. Как будто было бы лучше им всем сосредоточиться на рабочих местах. Например, в многочисленных институтах, где можно было просто сидеть и пить чай.

Про Андропова недавно прочёл у Леонида Ивановича Бородин: «Когда Андропов возглавил КГБ, то уже через год о нём говорили как о марксистском догматике, склонном к антирусским и антицерковным настроениям. Считалось, что именно с его благословения большой нынешний демократ А.Н.Яковлев выступил в начале 1970-х в «Литературке» с погромной антирусской и антиправославной статьёй-инструкцией, и его же, Яковлева, Андропов сделал козлом отпущения, срочно сплавив на посольскую работу, когда «рпот» по поводу статьи дошёл до ушей Брежнева.

...Сегодня для меня определенно ясно, что именно Ю.Андропов — сознательно или нет, этого уже не узнать — продвинул прозападнический интеллектуальный слой на перспективные позиции, что известным образом сказалось на характере так называемой перестройки. Достаточно глянуть да послушать его, Андропова, бывшую «команду» — Арбатов, Бурлацкий, Бовин и прочие. Коммунисты? Антикоммунисты? Да ничего подобного. Образцовая команда циников. Циники даже не прагматики, и если они у подножия власти — приговор социальной системе.

...Жреческо-инквизиторское сословие к тому времени достигло стадии самовоспроизводства, практически — совершенства, если под совершенством в данном случае понимать пределы возможностей. Страна находилась под абсолютным контролем. Если ещё точнее — в стране контролировалось всё, заслуживающее контроля» (Леонид Бородин. Без выбора). Что ж, тут такая смешная история: когда контролируешь всё — на деле не контролируешь ничего. Если заводской трубе не позволить качаться из стороны в сторону — она тут же рухнет.

Нам говорили — вашу книжку надо передать за границу. Здесь, мол, всё равно никогда никто не печатает. Как будто Европа заинтересована в реставрации русской памяти... Она заинтересована, скорее, в обратном.

Но вернусь к Катерине:

«Получила твое письмо сегодня. У нас с тобой по-прежнему сохраняется телепатическая связь — шла я мимо почтового ящика, вижу: там что-то есть (а открыть не могу по причине потери всей связки ключей) — и подумала, что бы тебе такое послать съедобное, чтоб не испортилось в дороге (посылки сейчас идут недели по две). А потом соседка открыла — и твое письмо.

Напрасно ты думаешь, что я уехала и всё забыла, память у меня не отшибло. Мне бы тоже так хотелось сейчас Лену послушать. О ней тоже часто думаю, и хотелось бы написать, да что-то я стала в письмах такой многословной — наверное, от одиночества. А не писала я, потому что ничего пока определенного у меня нет, вижу я в воздухе. Пока очень тяжело, и много сил ушло на сам переезд. Спим на полу на матрасах, сижу на чемодане, с соседями жить очень беспокойно, я очень устаю от всего. Кроме того, мы уже тут отболели гриппом, потом болели все суставы, еле ноги волочила, сейчас болят почки и т.д. Пришлось также изрядно с Ильей походить по врачам, прежде чем устроиться в школу. У меня до сих пор нет работы для «куска хлеба» — как и в Свердловске.

Скучаю очень обо всем и обо всех оставленных, здесь у меня таких друзей не будет. Но они будут ко мне приезжать. О Степане Гавриловиче тоже думала здесь. Когда очухаюсь, буду ему книги посылать.

Боюсь пока делать скоропалительные выводы, но мне кажется — здесь русские живут сами по себе, а латыши — изолированно от них, встрять русскому к ним очень трудно. Хотя латыш Б. ко мне относится хорошо, он меня пустил к себе в фотолабораторию, она через дом от меня. Я там печатаю свое и ему помогаю. Между делом учусь у него потихоньку, ведь я многого не знаю даже в ремесле своем. Он много ездит по белу свету со своими выставками.

Меня сразу почти приняли в фотостудию «Рига». За это время, Маша, я столько здесь видела фотографий, что боюсь уже видеть больше. В зале студии все время висит какая-то выставка, вот сейчас из Испании.

Из того, что видела, пока сделала такой вывод: в мире хороших фотографов много, нет им числа, но настоящих, больших, великих — считанные единицы. Все снимают красиво, все — технично, многие — многозначительно... и т.д. Фотографов в Риге ужасающее количество, по этой причине мне трудно найти работу. В газетах отличная печать, газет много, но в большинстве латышские, надо знать язык. В «Советской молодежи» мне предложили печататься внештатно, а там видно будет. Видимо, в лучшем случае — договор. Пока не состоялась моя выставка, видимо, мне будет тяжело. А когда она будет, тогда станет ясно, смогу ли я тут враспи.

Из того, что видела здесь (фото), — чувствую, что сильно от них отличаюсь. Ты написала «у вас в Риге» — с подчеркиванием. Я еще не чувствую, что я «у нас в Риге», и не знаю, почувствую ли когда-нибудь. Я все еще говорю «у нас в Свердловске», здесь я в гостях и надо терпеть. Это их земля — и очень маленькая.

Здесь удивительной красоты деревья. Видели дубы... Кроны у деревьев такие «вечные», даже кустики стоят без единой поломанной веточки, и это поражает. Видели море, но было так холодно, не вытерпели этого ветра. У берега плавали лебеди, чайки, утки. Кругом много красоты, и когда одиноко слишком, можно отвлечься на улице — просто гуляя. Такого надрывного, ЖЭБэвского (ЖБИ — завод железобетонных изделий. — Б.) пейзажа пока здесь не видела. Боря мою фигуру изобразил верно — я все еще измучена и надорвана, и жрать хочется. Пиши, Маша, но не зови обратно. Когда-нибудь увидимся. Катя.

Вот, Маша, уже хотела запечатать, да опять пишу — может, потому, что поговорить не с кем, барьер языка и прочее... Ты не видела моих последних свердловских кадров, не было бумаги, поэтому не печатала. После «Сталкера» Тарковского я не перестаю думать о встрече с ним. Я бы хотела быть фотографом на его фильмах. После того, что я здесь увидела (в фотографии), еще более почувствовала, что делаю О ДРУГОМ. О том же, о чем он в фильмах. Для них это чужое, и, наверное, я не враспи здесь. Они очень броско, эффектно снимают, мои же последние снимки совсем неброские и очень «тихие», если так можно сказать.

Привет Боре, пусть читает мои письма, если хочет».

«Здравствуй, Маша! Недавно получила перевод — сорок рублей со Свердловского телевидения. Это, наверное, ты постаралась, спасибо. Я заплатила ими за квартиру с начала нашего тут проживания. У нас очень туго, но идет вроде к лучшему, меня наконец взяли в газету, но на договор. Я пока очень устаю от всего, болеем часто.. Сейчас здесь всё в цвету, необыкновенно красиво. Когда вы отчаливаете в Кашино, а то буду писать напрасно? Привет Борису».

«Здравствуй, Маша! Последние дни часто тебя вспоминаю и хочется очень позвонить, но терплю (платить — нечем). Как-то ты поживаешь? Что делаешь? Поздр. с днем печати и радио, отметило ли тебя начальство к этим датам за героическую работу? О тебе тут рассказываю при случае. Здесь таких журналистов не встречала. Впрочем, здесь все другое. Чем дальше, тем больше узнаю и принять не могу. Чувствую себя по-прежнему лишним и неудобным человеком, только теперь по-другому. И стены здесь двойные. Что делать — не знаю. Живем страшно трудно во всех смыслах. Выставка была назначена на 25 мая, в эти дни решится окончательно. Но я себя чувствую худо и физически и морально. И едва ли вытяну даже при благоприятном исходе.

Новые мои кадры еще страшней получаются, несмотря на окружающий внешне красивый мир. Илья заканчивает восьмой класс, скоро экзамены. Назад не хочет. Меня перерос на голову (ростом), говорит басом.

Маша, не молчи. Привет Боре, твоим детям. К.».

«Вчера тебе звонила, хоть эти тел. разговоры нам не под силу. Живем одним днем, почти никогда не знаем, что будем есть завтра — «будет день, будет пицца». Положение мое до крайности неопределенное, живем в вечной тревоге.

На выставку нет сил — ни физических, ни моральных. Хотя она и была запланирована на 25 мая, я сама не иду в студию и для каталога ничего не сделала. Мне хочется сделать вторую половину выставки не так, как ты видела. Не как первую, а как другую, высокую ступень. Поток не темный, но — прозрачный. Иногда и получают такие кадры, но чаще — новое еще чернее старого. Это связано с нашей жизнью. Здесь мы всего насмотрелись, чего и не предполагали. Едва хватает сил все переварить.

Об Илье — он почти не снимает, но много рисует. Снимать ему трудно из-за зрения, падает и падает. Рисунки трагические — все более и более. Здесь, Маша, 15000 (!) художников и общий уровень очень высок. Но мы смотрим, смотрим, а принять — трудно. А Илья еще больше, чем я, отталкивает это, хотя внешнюю культуру впитывает.

Этот маленький народ максимально реализует себя, несмотря на несвободу. Лично Б. ко мне хорош, но это дела не меняет. Едва ли мне стоит здесь высовываться ради приобретения имени, как мне Б. говорит: чтоб была жизнь легче (материально). Наши проблемы им чужды и не нужны, у них хватает своих. Думаю, что надо научиться у них лучшему, и какой-то срок терпеть все муки. Хотя сил ужасно мало. В квартире у нас суший ад с соседями. Одна соседка очень хорошая, но не ввязывается ни во что, старается почти не бывать дома. А две другие семейки не дают покоя, пьют, дерутся (до топоров), часто бывает опасно выйти. Русские, с которыми мы здесь сталкиваемся, не всегда приятны, а по ним судят о русских. При личных контактах латыши к нам относятся хорошо, но дистанция все время существует. 2 мая гуляли мы с Ильей, и нас старый латыш обозвал

«азиатскими рожами». Ненависть скрытая и сильная.

Я теперь делаю попытки вылезти из общей квартиры, снова обмен делать, но это дико трудно, никто не хочет в общину, нужны большие деньги. Прежде чем уехать отсюда, скажем в Подмоскovie, надо иметь отдельную квартиру, тогда обмен почти равноценный. Обратнo в Свердловск — кому я там нужна? Опять «Вечерка»? Да еще в одном здании с бывшим мужем? И Илья категорически не хочет. Зажат он по-прежнему очень сильно, но хоть в школу ходит без страха, как на ЖБИ. За этот год ему пришлось проучиться с пятого по восьмой класс, ведь он с пятого класса почти не ходил в школу, а каждое утро просыпался от боли, рвоты и т.д. Сейчас в классе учится лучше всех и всем подсказывает. Друзей по-прежнему нет у него, одичал он на ЖБИ, людей вообще боится. В этом году ему будет уже 16 лет. Ради него надо терпеть и двигаться. Куда и к кому — я знаю, но — как? И это «как» меня страшит, времени у нас мало. Единственное, что меня держит — вера в Бога, что Он нас не оставит и приведет. Но муки еще предчувствую много. Если б сил было побольше...

Пиши. Привет Боре и твоим детям. К.»

«Здравствуй, Маша! Получила и перевод, и письмо. Спасибо за все. Странно, что в письме ты ни слова не сказала, как, что и куда удалось пристроить из моих негативов. В краеведч. музей? Я надеюсь, что это не твои личные деньги, да? Нам это очень кстати — завтра на эти деньги мы едем в Москву по важным для Ильи делам. Как-то съездим? Приедем — напишу. Возможно, нам снова надо будет переезжать — в Москву или Подмоскovie (смотря как пройдет встреча в Москве, пока ничего не знаю).

Илья страшно нервный, «неконтактный», все еще как ободранный, хотя в рисунках стал помягче. Но все равно страшно трагические, смотреть невыносимо. Я чувствую в нем талант колоссальный, и это так и есть. О возвращении НАЗАД он и слышать не хочет, да и я не хочу из-за него. Я чувствую себя здесь еще более русской и таковой надеюсь себя сохранить. И буду стараться и стараюсь, чтоб и Илья тоже был таким, не презирал несчастную Россию и не отрекаться от нее, как это происходит со многими, кто попадает сюда. Даже советской Европы не выдерживают... Мы видели здесь уже много таких, а одна история прошла на наших глазах — с человеком, который был нам дорог, и он когда-то любил Россию.

Я вдруг с этого лета начала снимать творчески, «для себя», и до сих пор не останавливаюсь, снимаю почти «запоём». Снимаю совсем по-другому, скачок очень существенный для меня. Но никому не подражаю — ни здешним мастерам, ни «Европе». Может быть, удастся в Москве купить хорошей бумаги, тогда сделаю по-человечески. Если б ты увидела это — наверное, сердце защемило от чего-то... М.б., мне удастся сделать и тексты, а не подписи. Общее настроение цикла такое: «Вечерний свет», или: «В свете заката», или: «У окна, при свете заката». Чувствуешь ли про что? Сама реву, когда смотрю, и кто видел — плачут.

Приеду, напишу определеннее. Привет Боре».

«СТРАННИЧЕСТВО есть невозвратное оставление всего того, что в отечестве противодействует нам к достижению цели благочестия. Странничество есть недерзновенный нрав, неведомая мудрость, невыказывающее себя благоразумие, сокровенная жизнь, незримая цель, неявный помысл, желание унижения, вождение стеснения, начало божественной любви, обилие любви, отречение от тщеславия, глубина молчания» (Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы Лествица).

Мы тогда полагали, что спасенье — в песне, в рисунке, даже в фотографии. В личном творчестве, короче говоря. «Кто там теперь, гадаю я в тревоге...». Этим и жили: песней, рисунком, радиопередачей... Но чем талантливее песня, тем трагичнее стонет душа... Где-то я прочел: в стародавние времена певцы старались не петь своих лучших песен друзьям. И песня, и рисунок нынче обрели самостоятельность, стали самодостаточны, оторвались от великого целого, в котором только и обладали душеспасительным смыслом. Это как отдельное слово, вырванное из богослужебного текста. Мария после иных концертов уползала в больницу. Нам нужно отпевать и отчитывать в церкви, каждому из нас надобно хотя бы раз в неделю прийти и погрузиться в стихию богослужебного пения. Чтобы пришло исцеление... Церковь не школа, но больница — для душ человеческих. При этом в самом начале нашего приобщения к церкви вовсе и не обязательно понимать от альфы до омеги, что именно там происходит. Потом пойдем, когда станем читать книги. Но все равно пойдем не до конца, потому что в Церкви много неизъяснимого, много таинственного. Не случайно мы там приобщаемся к ТАИНСТВАМ. К таинству крещения, к таинству исповеди, к таинству причащения Плоти и Крови Христа, к таинству брака... Мы и сами нынче представляем собой вырванные из текста слова, мы не принадлежим общине, не являемся даже частицей православного прихода. Поэтому болит и плачет все народное тело и каждая из его оторванных частиц. Пытаемся иногда найти утешение в театре, в водке, в наркотиках, в игре, в пении... Нет, ничто нас не утешит. Нет, никто нас не упокоит, кроме Христа. Никто нас не успокоит.

Мы живем в абстрактно-разорванном мире, где все отделено от всего. Церковь отделена от государства (чужая ему), жена — от мужа, дети — сразу от обоих... беспризорные дети. Наши души страждут, кричат от обид и взаимных обвинений. И мы полагаем найти утешение в разводах, в разделениях, в уединениях. Не хотим нести крест, не хотим терпеть грехи ближнего, даже самого ближнего. Не хотим знать, что только претерпевший до конца — спасется.

Вот принес с чердака недавно кипу журналов, и там обнаружил утешение себе, и Марии, и Катерине. И вразумление сыну, который «женился» в четвертый раз. Это Льюис. Впрочем, моя Мария уже не нуждается в чьих-то размышлениях-утешениях, а только в молитвах. А Катерина... Да где ж она? Даже не знаю, жива ли. Сколько вокруг нас матерей-одиночек... Потому что соединяемся не в Христе? Влюбленность мимолетна... это ж чисто человеческое чувство... Помогите, Господи, прикоснуться к божественной любви.

ДЛИННАЯ ЦИТАТА про ЛЮБОВЬ

«Влюбленность не ищет своего, не ищет земного счастья, выводит за пределы самости. Она похожа на весть из вечного мира. И все же она — не Любовь. Во всем своем величии и самоотречении она может привести и ко злу. Мы ошибаемся, думая, что к греху ведет бездуховное, низменное чувство. К жестокости, неправде, самоубийству и убийству ведет не преходящая похоть, а высокая, истинная влюбленность, искренняя и жертвенная свыше всякой меры. ...Влюбленные могут сказать: «Ради любви я обижаю родителей — оставляю детей — обманываю друга — отказываю ближнему». Все это оправдано законом любви. Влюбленные даже гордятся. Что дороже совести? А они приносят ее на алтарь своего бога. (Скорее — идола).

Тем временем «бог» этот мрачно шутит. Влюбленность — самый непрочный вид любви. Мир полнится сетованиями на ее быстротечность, но влюбленные об этом не помнят. У влюбленного не надо просить обетов, он только и думает, как бы их дать. «Навсегда» — чуть ли не первое, что он скажет, и сам поверит себе. Никакой опыт не излечит от этого. Все мы знаем людей, которые то и дело влюбляются и каждый раз убеждены, что «вот это — настоящее!»

И они правы. Влюбившись, мы вправе отвергать намеки на тленность наших чувств. Одним прыжком преодолела любовь высокую стену самости, пропитала альтруизмом похоть, презрела брэнное земное счастье. Без всяких усилий мы выполнили заповедь о ближнем, правда, по отношению к одному человеку. Если мы ведем себя правильно, мы провидим и как бы репетируем такую любовь ко всем. Лишиться всего этого поистине страшно, как выйти из Христова искупления. Но влюбленность сулит нам то, что ей одной не выполнить. Долго ли мы пробудем в этом блаженном состоянии? Спасибо, если неделю. ...Мы сами должны стараться, чтобы каждодневная жизнь уподобилась райскому видению, мелькнувшему перед нами. Влюбленность препоручает нам свое дело. ...Настоящие христиане знают, что это скромное с виду дело требует смирения, милосердия и Божьей благодати, то есть христианской жизни.

...Муж — глава жене ровно в той мере, в какой Христос — глава Церкви, а Христос «предал Себя за нее». Тем самым главенство это воплощено всего лучше не в счастливом браке, а в браке крестном — там, где жена много берет и мало дает, где она недостойна мужа, где ее очень трудно любить. Миро, которым помазали мужа на царство — не радости, а горести; болезни и печали доброй жены, эгоизм и лживость дурной, нетленная и скрытая забота, неистощимое прощение (прощение, не попустительство!). Христос провидит в гордой, слабой, ханжеской, фанатичной, теплохладной церкви Невесту, которая предстанет перед Ним без пятна и порока, и неустанно трудится, чтобы её к этому приблизить. Так и муж, уподобивший себя Христу; а иное нам не дозволено».

Это Льюис, которого я нашел на чердаке в старых «Вопросах философии». Освобождали чердак от старых журналов, вытаскивали ящики, лыжи, лопаты, потому что пришли рабочие, чтобы засыпать чердак керамзитом. Крыша в оттепель протекает, а керамзит... Он для утепления? Потом ещё вдобавок перекрыли крышу. Нас отсюда хотят попросить... Этот дом, видимо, сломают и возведут на его месте 25 этажей. Или сто. Придется уехать из дома, где мы с Марией провели большую часть нашей совместной жизни, где стояла наша кровать, стоял её стол, висело на стене зеркало... Висели коврики алапаевских бабушек Христины и Анны. Упокой, Господи, их души... Впрочем, мы и сами собрались уезжать. Нас теперь много, а время — моё и Марии — закончилось.

Льюис нам сообщает: «Как и все виды естественной любви, влюбленность своими силами устоять не может; но она так сокрушительна, сладостна, страшна и возвышенна, что падение поистине ужасно. Хорошо, если она разобьется и умрет. Но она может выжить и безжалостно связать двух мучителей, которые будут брать, не давая, ревновать, подозревать, досадовать, бороться за власть и свободу, услаждаться скандалами.

...Августин описывает свою печаль по умершему другу так, что и сейчас плачешь над этими строками. И делает вывод: вот что бывает, когда прилепишься сердцем к чему-либо, кроме Бога. Люди смертны. Не будем же ставить на них. Любовь принесет радость, а не горе только тогда, когда мы обратим ее к Господу, ибо Он не покинет нас.

Ничего не скажешь, это разумно. Кто-кто, а я бы рад последовать совету. Я всегда готов перестраховаться. Из всех доводов против любви мне особенно близок призыв: «Осторожно! Будешь страдать».

По склонностям своим я бы послушался, но совесть не разрешит. Отвечая на этот призыв, я чувствую, как отдаляюсь от Спасителя. Я совершенно уверен, что Он и не собирался поддерживать и укреплять мою врожденную тягу к спокойному житью. Скорее уж именно она во мне меньше всего Ему нравится.

...Мне кажется, отрывок из «Исповеди» продиктован не столько христианством блаженного Августина, сколько высокоумными языческими учениями, которыми он увлекался прежде. Это ближе к апатии стоиков и мистике неоплатоников. Мы же призваны следовать за Тем, Кто плакал над Лазарем или над Иерусалимом, а одного из учеников как-то особенно любил.

...Даже если застрахованность от горя и впрямь — высшая мудрость, была ли она у Христа? По-видимому, нет. Кто, как не Он, возопил: «Для чего Ты Меня оставил?»

Бл. Августин не указывает нам выхода. Выхода нет вообще. Застраховаться невозможно, любовь чревата горем. Полюби — и сердце твое в опасности. Если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю. Опутай его мелкими удовольствиями и прихотями; запри в ларце себялюбия. В этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу оно не разобьется. Его уже нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни спасти. Альтернатива горю или хотя бы риску — гибель. Кроме рая, уберечься от опасностей любви

можно только в аду.

...Если сердцу нашему должно разбиться, если Господь разобьет его любовью — да будет воля Его. ... Божья любовь, действуя на нас, дает нам силу любить невыносимых — врагов, преступников, идиотов, людей, утомляющих нас, презирающих, смеющихся над нами. ...В каждом из нас есть что-нибудь невыносимое, и если нас всё равно любят, прощают, жалеют, это дар милосердия. Те, у кого хорошие родители, жена, муж или дети, должны помнить, что иногда (или всегда) их любят ни за что, просто потому, что в любящих действует Сама Любовь. ...У нас всегда хватает поводов подбавить милосердия в любовь. Когда мы не ослеплены себя-любием, трения и провалы, неизбежные в естественной любви, показывают нам, что без милосердия не обойдешься. Когда же мы им ослеплены, мы понимаем их неверно. «Если бы мне повезло с детьми, я бы ничего для них не пожалела...» Да ведь всякий ребенок порой невыносим, а многие дети — чудовищны! «Если бы мой муж был поумнее...», «не так ленился...», «меньше бы выдумывал...», «если бы жена меньше ворчала...», «была поумнее...», «не так ломалась...», «если бы отец стал помягче и посовременней...». Да ведь во всех, и в нас самих, что-то вынести невозможно, если на помощь не явится милость, терпение, жалость! Поэтому и приходится, опираясь на руку Божью, укреплять милосердием естественную любовь. Когда у близких много недостатков, догадаться об этом легче. Когда вроде бы все и так хорошо, нужно особое чутье, чтобы заметить опасность. Тут, как и везде, богатому труднее войти в Царство Небесное.

А войти в него надо, хотя бы для того, чтобы наша любовь стала вечной. Почти все мы этого хотим и надеемся, что с воскресением плоти воскреснут и земные связи между людьми. ...Человек может подняться на Небо лишь потому, что Христос, умерший и вознесшийся, изобразился в нем. Так и любовь: только те ее виды, в которые вошло милосердие, поднимутся к Богу. Милосердие же войдет в естественную любовь лишь тогда, когда она разделит смерть Христову — когда природное в ней умрет, сразу или постепенно.

...Богословы иногда задавались вопросом, узнаем ли мы друг друга в вечности и сохранятся ли там наши земные связи. Мне кажется, это зависит от того, какой стала или хотя бы становилась наша любовь на земле. Если она была только естественной, нам и делать нечего будет на небе с этим человеком. Когда мы встречаем взрослыми школьных друзей, нам нечего с ними делать, если в детстве нас соединяли только игры, подсказки или списывание. Так и на небе. Все, что не вечно, по сути своей устарело еще до рождения.

Но я не должен кончать на этой ноте. Я не смею и не хочу укреплять неверное и распространенное чувство, что цель христианской жизни — воссоединение с теми, кого мы любим и утратили. Слова мои покажутся немилосердными тем, кто плачет о близких, они не поверят мне, но все же я их скажу.

«Ты создал нас для Себя, — говорит Августин, — и беспокойно сердце наше, пока не упокоится в Тебе». Это понятно в церкви или в весеннем лесу, когда мы гуляем там, творя безмолвную молитву, но у смертного ложа это звучит издёвкой. Однако настоящая издёвка ждет нас, если мы вцепимся в надежду на новую встречу или, чего доброго, поторопим события с помощью спиритизма.

...Мечта о том, что цель наша — рай земной любви, заведомо неверна; или же неверна вся христианская жизнь. Мы созданы для Бога. Те, кого мы любим в этой жизни, потому и пробудили в нас любовь, что мы увидели в них отблеск Его красоты, доброты или мудрости. ...Он присутствовал во всех проявлениях чистой любви. Все, что было истинного в наших земных связях, принадлежало Ему больше, чем нам, а нам — лишь в той мере, в какой принадлежало Ему. На небе нам не захочется и не понадобится покидать тех, кого мы любим. Мы обретем их всех в Нем и, любя Его, полюбим их больше, чем теперь.

...Если мы не можем ощутить присутствие Божие, ощутим Его отсутствие, убедимся в нашей немощи и уподобимся тому, кто стоит у водопада и ничего не слышит, глядится в зеркало и ничего не видит, трогает стену и ничего не ощущает, словно во сне. Когда ты знаешь, что видишь сон, ты уже не совсем спишь. Но о пробуждении расскажут достойнейшие меня».

Однажды (давным-давно) я видел сон. Будто мы с Марией идем по скалам вверх, карабкаемся, она говорит, что устала, и садится на камни. А я поднимаюсь чуть выше — и вижу огромный белый водопад, низвергающийся в океан. Не помню, что было дальше. Может быть, я взял ее на руки и понес на перевал — к водопаду в полнеба? Хватило бы сил... Хватило? Об это мне расскажут на мытарствах, когда услышу приговор.

«Здравствуй, Маша! Прочитала, посылаю обратно. Жаль, что Борин рисунок не поместили. Одно не пойму — как же ты теперь с дырами? Это зарастет или как? (Маша послала ей вырезку из газеты, где рассказывала о своих злоключениях в больнице, когда она упала на льду, просто сильно ушиблась, а ей ни за что хирург с бригадой студентов, чего-то напевая под нос, просверлил ноги и отправил на вытяжку). Вот и Илюшу так же лечили в граде Свердловске — с трех до шести лет он ездил на скорых с диагнозом «острая дизентерия» (во время приступов холецистита и панкреатита). И ни ЕДИНОГО раза не было этих самых дизент. палочек. А мне говорили — такая дизентерия без палочек. Теперь Илья полукалека — зрение минус восемь после последнего лежания в б-це, после курса антибиотиков. Другие, говорят,глохнут. В отличие от тебя у меня нет совсем по этому поводу чувства юмора. Да и вообще, это чувство мы давно потеряли.

За Илью мне страшно — он совсем без кожи. Но мы все надеемся на лучшее. О плащанице мы читали. Но нам таких доказательств и не надо. Ведь мы с некоторых пор только и живем верой, и это единственное, что не дает сломаться.

Маша! А вот было бы хорошо, если б вы с Борей сюда приехали весной. Бывал ли он тут? Хорошо бы на «дни искусств». Все, что возможно, выносятся на улицы старой Риги: картины, скульптуры, все при-

кладные виды искусств, а их тут несметное количество. Съезжаются гости со всей страны — смотреть. Они выходят на улицы в национальных костюмах, и все украшено (не флагами) и театрализовано. Все выходят, кто шевелится. Грустно смотреть и знать, что у нас СЕЙЧАС такого нет. Может быть приедешь?

Маша! Есть ли у тебя Волошин? Если есть, найди у него «Corona astralis», звездный веночек сонетов. Все это я твержу с утра до вечера. ...Прежде чем ругать меня в след. письме, прочитай это тихо. Там все объяснения дорог, скитаний, скитальчества. Не спеши».

Как странно... недавно узнал: Максимилиан Волошин родился 28 мая – в день, когда ушла сестра моя Галина и пришёл в этот мир Леонид Дмитрич Семёнов, дядька Марии... Да... Недавно мой двоюродный брат, с которым я почти не знаком, издал свою книгу «МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН, или СЕБЯ ЗАБЫВШИЙ БОГ». Там, конечно, и про «Corona Astralis»: “И всё же определяющим, исходным пунктом «Звёздного венка» следует признать антропософское ясновидение, контакты с гиперфизической реальностью, астральными мирами, ощущение Вселенной внутри себя... Веночек сонетов – это весточка об уготованной ему миссии Искупителя человеческих пороков и заблуждений.

Изгнанники, скитальцы и поэты, –

Кто жаждал быть, но стать ничем не смог...

У птиц – гнездо, у зверя – тёмный логов,

А посох – нам и нищенства заветы...»

Антропософия... Штайнер... Строительство антропософского храма... Мы потом пытались помешать штайнерианскому «строительству» в Екатеринбурге, но об этом чуть позже.

От себя не уйдешь? «Странничество есть недерзновенный нрав, неведомая мудрость, сокровенная жизнь, желание унижения, вождение стеснения, начало божественной любви...» Недавно мне сказали, что Катерина уехала в Америку. Правда ли? Вряд ли она счастлива в каком-нибудь Чикаго или Сан-Франциско. Какая уж там сокровенная жизнь и вождение стеснения...

У неё другое имя. Это я назвал её Катериной.

НАШИ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Мне повезло: Бог чрез Марию подарил трудную и увлекательнейшую земную жизнь. (Рядом с Марией жить ИНТЕРЕСНО. Она до сих пор рядом со мной.) Да ещё подарила Юльку с Антошкой. За месяц до смерти очень переживала, что не сумела родить мне сына. Я говорю ей: – Маша, у нас с тобой столько духовных детей... Поцеловал её, успокоил.

Помню: когда начались схватки, Маша успела отправиться в ванную, а я, наверное, в это время скорую вызвал... Есть даже фото: она в белой рубашке входит в нашу комнату — после душа. А я ее уже с фотоаппаратом поджидаю. Очень любил ее фотографировать.

Вот ее записочки из роддома: «Боря, я пока в предродовой палате. Потом позвонишь, узнаешь палату. Целую» (это на крошечном клочке бумаги, кто-то, видимо, сжалился и оторвал). Другая записка: «Борюшка, думала, что ты уж не придешь: уговорила-таки Розка (у нас была одна знакомая Роза — радиожурналист... может, она?). Рожала ужасно. Родила вечером около шести, и только в полночь перевезли в палату: никак не могли остановить кровотечение, всю искололи и измучили на деревянном столе. Много крови потеряла, ночь и сейчас все еще схватки... Нужно шоколаду. Девка настолько — копия ты, что даже смешно. Как будто я в ней не принимала ни малейшего участия. Молока пока что у меня нет, а завтра должны принести кормить. Кроме такого молока — принеси баночку сгущенного. Пастеризованное за раз больше ½ литра не носи, скиснет. Знали ли вы вчера уже, что родилась девочка? Как дед с бабкой? Довольны ли? Девка большая — 3900 и 50 см.

Боря, для девочки кроме шапочек положи на всякий случай косыночку. Ее можно сделать из батиста, только выстирать и погладить. Срочно нужен один метр марли или белая косынка для кормления. Лифчик, чтоб застегивался сверху: (нарисовала). Другой не надо. Это я все, Боречка, до твоего прихода писала. Сейчас ты пришел, и это очень слава Богу. Мария Мих. спрашивает про нас — так скажи, что копия ТЫ вместе с носом. Боря, если можно, сегодня же шоколаду. Очень мучаюсь со схватками. А в дальнейшем — соку какого-нибудь, сметаны не надо пока, кефир — тоже, молока сгущен. не носи пока, раз сливки принес.

Очень счастлива, что цветы. Тем более — раз дочь. Ты хоть не очень расстраиваешься, что дочь? С именем еще подумаем, но я не против Ольги, хотя по Пушкину она должна быть белой. В общем, погляди в зеркало и скажи, как тебя можно назвать. Из меня все время льется кровь, врача еще сегодня не было.

Ну, Боречка, все, устала писать. Может, еще черкнешь? Что-нибудь почитать принеси. Легкое — «Новый мир», что ли. Палата №37.»

«Боречка, здравствуй. Пока ты не пришел, я буду вести репортаж. Ночь провела плохо: болит живот... Но говорят, что вторые роды не бывают без этого. Вчера дежурила акушерка из ОММ, она сказала, что 2-е роды самые тяжелые; бабам только этого, разумеется, не говорят, а наоборот. (35-летняя Юля сейчас считает, что это — ерунда. У нее как раз вторые роды были самые легкие. Так что все индивидуально.) Говорит, что еще сутки поболит, а там легче будет. А сейчас пришла детская сестра и сказала, что мне в 12 часов принесут уже девочку кормить. Я волнуюсь прямо как дура. Вот решила пока тебе писать, чтоб отвлечься. Да, кстати, Борис, я придумала гениальное имя дочери и не думаю, что у тебя будет что возразить: Юлия Борисовна, Юля, Юлька, Юленька, Юла, Юлка, Юлька-фигулька. Понял? Тебе нравится? А если не нравится... Да она и не похожа ни на кого, кроме Юльки. Боря, сейчас же напиши, тебе нравится? Не знаю, принесешь ли ты косынку?»

Надо. Мама с Антохой не приехали еще? Антоху сразу же мне приведи, Боря, ладно? Боря, а вдруг ты его теперь любить не будешь? Всё. Я пошла готовиться к кормежке. Потом допишу.

Боречка, только что приносили Юльку. Такая сгальная, щеки пузырями — и дрыхнет. Я ей грудь даю, а она все равно дрыхнет. (Вот бы еще засоней была в тебя хоть месяцев до шести!) Сестра подошла и пощекотала у нее где-то между шейкой и ушком. Проснулась такая недовольная и захныкала. Тут я ей опять грудь дала. Как она вцепилась. Чавкала дольше других, ее самую последнюю унесли, еле оторвала. Уже два волдырика мне насосала. Надо срочно больше пить, а то она меня проглотит. (Тьфу, тьфу — не слазить!)

Сегодня приходила детский врач. У нашей Юльки все в порядке. Ребенок хороший, нормальный, здоровый...

Теперь, Боречка, дело за нами. Я себя после кормления почувствовала гораздо лучше. Говорят, так и должно быть. Если все будет в порядке, выпишут на восьмые-девятые сутки. Были сегодня Колюшка+Авушка. Написали таинственную записку насчет того, чтобы я им честно сказала о своем здоровье, а тебя поберегла и тебе не все говорила, а только избранное, неволнительное. Смешные...

Ну, все, целую, иди к окошку. На втором этаже 37-я палата. У нас против окон сосенки какие-то.

Целую тебя, Боречка, вернее — целуем».

«Боречка, только что была врач. У меня дела пошли на поправку. Немножко можно вставать. Боря, совсем уж почти не болит ведь! Господи, только бы уж теперь-то не было никаких бед. Так я настроилась, хоть бы сейчас меня Бог вознаградил.

Ну, иди к окошку. В 6 часов кормление, если успеешь — подойди. Или подожди, пока покормлю».

В 1966-м и 67-м годах 23 июля я покупал газету. После, мол, Юлке будет интересно прочесть, что ж происходило на земле в те годы. С тех пор прошло 35 лет. Кажется, ничего особенно интересного. «Сбит 1241 самолет. Ханой, 22 июля (ТАСС). Во время вчерашнего налета авиации США на ДРВ было сбито 5 американских самолетов...» «Каир, 22 июля. (ТАСС). Объединенная Арабская Республика отмечает завтра 14-ю годовщину египетской революции 23 июля 1952 года...» «По просьбе Сирийской Арабской Республики Совет Безопасности ООН соберется 25 июля на экстренное заседание. Сирия потребовала созыва совета для рассмотрения серьезного положения, созданного актом агрессии, который Израиль совершил против Сирии 14 июля». «США начали эвакуацию своих войск из Доминиканской Республики». «Президент де Голль возвратился в Париж из Бонна, где он встречался с западногерманскими руководителями». «Американский космический корабль «Джемини-10», пилотируемый космонавтами Джоном Янгом и Майклом Коллинзом, завершил вчера трехдневный космический полет посадкой на воду в Атлантическом океане». «По случаю национального праздника — Дня возрождения Польши и 1000-летия Польского государства посол ... вчера устроил прием». «Вчера в полдень в подвале здания консульства Соединенных Штатов в столице Колумбии взорвалась бомба большой силы...» «В Астраханском государственном заповеднике зацвел лотос. В нашей стране только здесь сохранился этот древний цветок. В течение дня лотосы несколько раз меняют свою окраску. Их пурпурно-розовые бутоны вместе с зарей раскрываются, а к вечеру свертываются». Да, ещё в том благословенном году над Землёй пронеслись Леониды, поток метеоров... Они летят со скоростью семьдесят километров в секунду... звёздный дождь... Раз в тридцать три года... обещают вот нынче опять — в ноябре две тысячи второго. Нынче они чуть запоздали.

Мы любили своих детей, без них — жизнь не в жизнь. Лет до двенадцати они прямо-таки услаждают сердце. А иногда и всю жизнь... Вот дневник девятилетнего (почти десятилетнего) Антошки: «19 декабря 1969 г. В девять часов у ухо-горло-носа решался вопрос о поездке в Киев. Сажусь делать уроки. Сделал уроки и иду в школу. В школе был два урока, за мной пришла бабушка, и я с ней поссорился. Сейчас сижу и пишу это, а моя мама пишет матерьял. Кончила писать, идет в музыкальную школу (я там тоже учусь), а я иду есть (кратко и ясно). Пока, пока! Поел, мама ушла, а я сейчас пишу эти грустные строки. Юля спит-похрапывает, как говорится, а я сижу и пишу это, от делать нечего, и думаю: «Вот-вот должны мне принести уроки, потому что Ольга Васильевна (учительница) сказала, чтоб это сделали». Вот так!»

Это единственный чудом сохранившийся листочек.

Через неделю Маша, Антошка и я уехали в Киев к любимой сестре моей Гале в гости. Маша тогда работала в железнодорожной газете, и мы раз в год могли поехать куда-нибудь бесплатно. Вот и поехали... Юлке — три с половиной года, а потому ее оставили с бабушкой. Наверное, она без нас тосковала, потому что бабушка Елизавета скоро позвонила в Киев и сообщила, что у нее что-то случилось с ножками, подозрение на полиомиелит. Это детская болезнь инфекционная с параличом (ее, правда, не могло быть, поскольку прививки-то сделаны). И мы рванули домой, увозя с собой счастливые воспоминания. Про то, как катались на санках с горы в Голосеевском лесу с моими племянницами Наташей и Леной (а по кленам текла вода, потому что оттепель), как встречали новый 1970 год, как спускались в пещеры Киево-Печерской лавры (мощи монахов были тогда в плену у государства, мы ходили, прости Господи нас, не как паломники, а просто как зеваки). Помню Софийский собор и еще один... Мы просто ходили и рассматривали иконы. Музей... Может быть, Мария молилась? А я был тогда совсем никакой, о Боге совсем не думал, Его для меня не существовало. Ходил во тьме кромешной. Впрочем, Он нас все равно не покидал, потому что любовь... В 72-м году я обрёл Евангелие дореволюционного издания (с надписью: «Марта 28 день 1892 г. Получил от Отца Варнавы в Черниговском скиту Дмитрий Андриевский») — и подарил его матери. Мне казалось: оно ей нужнее. И в самом деле — мать тогда чуть не померла.

Маша однажды завела небольшой альбом и написала на обложке: «Дети — цветы жизни». Там есть

такая страничка: «Юле один год 8 месяцев». А дальше ее высказывания:

«Буду я на стуле сидеть

И на маму глядеть.

(залезла)

Я на стуле сидю

И на маму глядю».

«Папа себя дураком валяет».

«Ты меня, мама, не изводи».

Юля: «Папа, я баба-яга. Я взину мешок и посажу папу в мешок, как крошечку-Терешечку».

Папа: «Почему ты меня в мешок хочешь посадить?»

Юля: «Потому что я вчера в штанишки напился, и папа меня нашлепал, и я потому папу в мешок посажу».

«Это чудесно, что есть такая скатерочка».

Бабушка: «Юля, ложись в кроватку».

Юля: «Нет, я буду вставать — и все! Я буду бабушку щекотить и царапать».

Юля: «Бабушка, я хочу писять» (посадили). «А вот и не хочу!»

«Антоша девочке-дюймовочке делает подсечку».

«Юлька, почему ты писяешь в штанишки? — Потому что я ненавиствененькая...»

Мама: «Юля, зачем ты мой пояс взяла? Кто тебе разрешил? — Я сама сообразила!»

Помню, как она впервые пошла самостоятельно. Мы с Машей сели на бабушкину кушетку, а ее поставили на пол. И она пошла к черному роялю, схватилась за него и стала продвигаться вдоль клавиатуры. Всевозможные слова стала произносить около годика: «Гуди» (грузди), «тъя-тъя» (трактор)... Осенью Маша уже вела с ней диалог: «Юля, это что такое? — Шоо (школа). — Сюда кто ходит? — Атоса! (Антоша). — А это кто? — Ашада! (лошадка). — Она что привезла? — Пюсти! (пирожки). — Да кто ж будет есть пирожки? — Атоса!»

Мы с ней осенью гуляли по нашей неасфальтированной улочке Лермонтова. По ее незакатанной земле. Ей год и один месяц. «Вот мы с Юлей в ямку... — Бух! — Раздавили сорок... — Мух! — Оказался там... — Апух!» Там до сих пор стоят высокие тополя. Аллея. Старые деревянные дома. До сих пор осенью желтые листья лежат на земле... Как будто мы с Марией по-прежнему молодые... Как будто у нас совсем маленькие дети... Вот я везу с улицы Бажова санки, расписанные братом. Зима. В санках Юля в пеленках пищит, а мы еще не миновали Вознесенскую горку, мы где-то возле дома Ипатьева. Мне страшно, потому что я знаю: сейчас ребенок будет мокрый... Надо спешить... Она потом все-таки заболела. А санки кто-то утащил во дворе.

Там, в полях, на погосте,

В роще старых берез,

Не могилы, не кости —

Царство радостных грез.

Летний ветер мотает

Зелень длинных ветвей —

И ко мне долетает

Свет улыбки твоей.

Не плита, не распятые —

Предо мной до сих пор

Институтское платье

И сияющий взор.

Разве ты одинока?

Разве ты не со мной

В нашем прошлом, далеком,

Где и я был иной?

В мире круга земного,

Настоящего дня,

Молодого, бывшего

Нет давно и меня...

Да, оранжевое платье, сияющий взор... Платье с косым подолом, только что собственноручно сшитое. Первый блин комом. Солнечный день, я сижу на скамейке в летнем саду, в дендрарии, давным-давно жду-ожидаю. Чуть дальше часовни (она в той далёкой нашей жизни была каким-то складом). Июнь? Наверное, я пришел с журфака; он тогда располагался рядом с нынешним цирком. В бывшем духовном училище. Летний ветер мотает зелень длинных ветвей... Вот, наверное, столько счастья было в её глазах, что запомнил на всю жизнь. Я встал, а Мария мне навстречу — стремительная, молодая... Мы там остались вдвоем? Наши робкие тени.

Стихи-то, разумеется, не мои — Ивана Бунина. Потом мы переехали на угол Покровского проспекта и Коковинки (сейчас перекресток улиц имени комиссаров Малышева и Шейнкмана; шейнкман — это в переводе с идиш на русский «шинкарь», содержатель пивной). Там у Юли появилась подружка Наташа Павлова, нижняя соседка, с которой они играли в принцессочек, натянув взрослые платья и простыни.

Ее бабушка Лиза померла шестого мая, а осенью того же 76-го года мне выпала на работе бесплатная

горящая путевка для дочери — в Крым, в Евпаторию. Она там лечилась и училась в санатории два месяца — лечила хронический тонзиллит. Писала нам письма: «14 октября. Здравствуйте мама, папа, Тоша, Сима, Степа, Хвостик. Как вы живете? Как у вас животики, не болят ли? Сегодня мне пришло 4 письма и открытка, вчера — два письма. Так что почта работает нормально. Всего мне пришло 29 писем, телеграмма и открытка. Я учусь по-прежнему на четыре и пять. Я получила от тебя письмо, Папа. Ты чо, уже бегемотом стал? Ну ты просто колдун по превращениям в бегемотов и крокодилов.

ПОЭМА

В осеннюю пору орлица орла
в ночной тишине на скале родила.
Орлята летали с утра над рекой,
и рыбки плыли, плескались в реке голубой.
Орленок тогда был бессилен и слаб,
на ветке сидел и глядел на орлят.
Июльские тихие зори прошли,
прошел теплый Август.
Сентябрь наступил.
И видим мы — в небе летят —
Подрастающих
Ныне
Орлят.

Ничего или очень плохо? Мам, какого ты отправила посылку? Напиши, если можешь и помнишь. Какая кукла? Настоящая или бумажная?

Как живут бабушка и дедушка? Ну, до свидания.

Юля, ваша дочь и сестра».

Ей тогда было десять лет. От далекой той жизни осталось ощущение счастья. Всё плохое забыто. Остались сухой ветер, солнце, зелёная трава, Мария, дети. Помяни нас, Господи, во царствии Твоем... Мария в ту далекую осень все-таки рванула в Евпаторию. Дочь знакомого летчика, с которым когда-то жили в одном бараке, работала тогда стюардессой. Маша попросилась в самолет — и быстренько оказалась в Крыму, чтобы утешить Юльку, чтобы разлука не показалась ей слишком жестокой. Она не любила разлуку. Говорит: ах, как хорошо дышится у моря! Ей тогда было 37 лет. Тридцать семь... Как сейчас нашей доченьке. Ей казалось, что Юльке там без нас нелегко.

Потом она еще сочиняла всякие стихи:

Падал на землю снег.
Звездочками колючими
царапал людям лица
и таял, смывая боль...
А вдруг это падают звезды?
И завтра, когда не будет туч,
над землей появится небо —
пустое и незнакомое...
На землю падал снег,
и дети подставляли ладони...
Я тоже поймала звездочку,
чтобы подарить ее тебе.
Но звезда почему-то растаяла...
Наверное, я не смогла для тебя сохранить.
(Я ж говорю: она родилась, когда над землёй пронеслись Леониды — звёздный космический дождь.)
И еще про снег — потом, позднее, на рубеже тысячелетий, получилась такая песня:
Ветер в глаза, в глаза,
Снегом нельзя дышать,
Снег не дает сказать,
Снег не дает бежать...
Словно стена кругом,
Свет фонарей погас —
Где мой далекий дом,
Мне не найти сейчас.
Это не снегопад —
Это в душе метель.
Путь от души к душе
Переметен теперь.
Там, где была тропа, —
Снегу наметено...
В эту метель блуждать

Нам с тобой суждено.
Вместо домов — обман,
Лица не различить.
Сказанные слова
Тают в ночи, в ночи.
Только твержу себе,
Слушая ветра свист, —
После метели мир
Будет, как в детстве, чист.

«Здравствуйте мамочка, папочка, Антошенька. Как вы там живете, не болеете ли? Мне без вас очень скучно без вас. Уже через несколько дней кончится сентябрь. Mam, пришли мне матерьяла — тряпочек, иголку, мулине, конфет, расческу (у меня сломалась), пупса (знаешь, в красных штанах), большую пластмассовую линейку, простой карандаш. Выезжаем мы, наверное, с 5 на 6 ноября ночью. Mam, сегодня у меня по диктанту 5/5 и по матике 5/4. В общем, еще ни одной тройки. Слава Богу, здесь тепло. Очень часто дают фрукты. Очень фкусно кормят. Mam, ты не сердись, что это письмо адресовано Антоше?»

Пишу анигдод. У одного старика были тараканы. Ему сказали, если ты им скажешь: «Пошли вон из кухни, то они все уйдут. Только не улыбайся». Он сказал так, а один самый маленький таракан оглянулся, а старик не выдержал и улыбнулся. А таракан закричал: заворачивай, он пошутил!».

«Юляшка, здравствуй! Посылаю тебе ботики и варежки. Всю обувь выброси, поезжай в этих ботиках с синими носками и возьми с собой только коричневые туфли. Тапочки я тебе купила новые. Юля, если ты заболела и тебе нельзя ехать со всеми — не реви. ЗА ТОБОЙ ПРИЛЕТИТ ПАПА! Ты только немного подожди и главное не расстраивайся, все у вас поболели — и ты не отстала. В общем, если ты не прилетишь — папа на другой же день (или через день) за тобой приедет. Держи нос пистолетом. Целую, мама».

«Юляша, здравствуй! Жили-были старик со старухой у самого Черного моря. Купается однажды старуха в море, и подплывает к ней крокодил.

— Тебе кто разрешил купаться в море? — спрашивает он.

— Мне можно, — отвечает старушка, — потому что я уже большая. Лучше плыви и съешь Юльку. Она маленькая, а плавает в таком большом море. Море соленое, Юлька наглотается воды и у нее заболит живот.

Но тут пришел Хочушка и съел крокодила вместе со старухой, а потом выпил все Черное море и разлегся на песочке рядом с пионерским лагерем санаторного типа «Юный ленинец».

Из лагеря вышла Юля и пощекотала Хочушке живот прутиком. Хочушка задрогал ногами, замахал руками, но не выдержал и от щекотки выпустил все Черное море на волю вместе со старушкой и крокодилом. Рассерженная старушка тут же съела Хочушку, а испуганный крокодил убежал в Антарктиду и там замерз.

Всю эту ерунду писал Юлин папа. Привет!»

«Письмо №3. Здравствуй, Юляша. С приветом к тебе мамаша. Вот, доченька, и прошла уже неделя без тебя. Я считаю, что ничего, более-менее быстро летит время. Я кручусь в работе, сегодня ночью еду снова в Алапаевск — заканчивать передачу о реставраторе церкви. Помнишь, я тебе рассказывала? Вернусь, наверное, завтра или уж послезавтра — точно. Надеюсь купить хоть ведро брусники. Хоть бы скорее от тебя пришло твое первое письмо, просто ужас как жду.

Я все тебе сажусь писать не вовремя. Вот сейчас, например, подгорает лук на сковородке, очень пахнет горелым, а мне неохота вставать и выключать. Всё, выключила... Юля, а в моей комнате перестановка, я свой (и твой) туалетный столик поставила возле окна, очень удобно, а под ним — пуфик. Лимон уже скоро вылезет в форточку и начнет расти на улице. Придется туда ходить и поливать.

Ну, пока, кончаю, Антоха понес письмо, папа в магазине, ку-ку. Пиши, целуем все» (нарисовала папу, маму и Антошу).

«19 сентября 76 года. Здравствуй, мое (нарисовала солнышко)! Вчера я в полной панике узнала от Олиной мамы, что вы не получили еще ни одного нашего письма, хотя я пишу через день, два раза Антоха писал, папа 1000 раз, баба Маша, дядя Коля и т.д. Мы от тебя получили три письма и телеграмму.

Я очень рада, что у тебя там тепло. Здесь — ды-ды-ды-ды-ды! Даже в ванной холодно купаться! Юля! Ради Бога, будь осторожна, когда на катере! Мы трудимся в твоей комнате: белим, красим. В общем-то, время летит быстро, правда? Вчера с эрделькой Симой ходили в гости к Наде М. (это замечательный фотограф, с которой я делаю телевизионную передачу). Сима вела себя вполне прилично: со стола стащила только 1 картошечку. Приедешь — обязательно сходим к ним в гости, у них очень интересно: расписана вся мебель яркими красками, все двери. Катя увлекается народной русской росписью. Папа сегодня тоже под впечатлением их квартиры начал расписывать нашу комнату.

Брусники запасли уже 4 ведра, должны мне еще привезти. Антоха сегодня ушел на овощебазу — зарабатывать себе на театр. Послезавтра вышлю тебе 5 рублей.

Юлька! Уже ведь 20 дней прошло. Скоро октябрь, там время побежит быстро! Даже не знаю, что лучше: чтобы оно быстро бежало или медленно? Ведь вряд ли еще ты попадешь когда-нибудь на такой курорт».

После санатория я ещё целый год заваривал Юльке дубовую кору, и она полоскала два или три раза в день. Ангины прошли с возрастом, как и у меня самого. При всех её болезнях больничный листок приходилось брать мне, потому что у Маши было «непрерывное производство». Я и в поликлинику с ней ходил, читали

книжки в очередях к участковому врачу. Однажды мы с ней гуляем с собакой вдоль колхозного рынка, а она говорит: в школе меня никто не понимает... Э, миленькая, – говорю... Мы сами чаще всего себя не понимаем, а что уж тут про других.

Когда Мария в 94-м году ушла в страну, из которой нет возврата, Юля спела ей последнюю песню:

МАМЕ

Мы когда-нибудь встретимся в дальнем краю,

Там, куда утекает река.

Ветер времени гонит и гонит ладью,

Паруса надувая слегка.

А река потихоньку течет и течет,

И покрыты травой берега.

Душу даль голубая влечет и влечет —

Та, куда утекает река...

Там вдали, там вдали

Солнце ясно встает,

Согревая мне душу теплом.

Там вдали, там вдали

Кто-то ждет, кто-то ждет

И на пристани машет платком.

Мы когда-нибудь встретимся в дальнем краю,

Там, куда утекает река.

Ветер времени гонит и гонит ладью,

Паруса надувая слегка.

Выйдешь, милая, к пристани дальней встречать

У границы далекой страны.

Будешь белым платочком махать и махать

Из высокой прибрежной травы...

И когда впереди — окончанье пути,

Корабли приплывают домой,

Ты меня подожди, подожди, подожди,

Ты меня уведи за собой...

Помню, как мы с ней обсуждали «Преступление и наказание». Юлька собиралась писать сочинение, и тут возник вопрос: влезает ли Достоевский в марксистские рассуждения о том, что человек целиком определяется обстоятельствами. Надо, мол, облагородить обстоятельства, чтобы человек стал благородным. А в неблагородных, мол, обстоятельствах и человек неминуемо – дрянь. И тут мы с ней решили, что главное для Федора Михайловича – личная ответственность каждого из нас. Надо оставаться приличным человеком несмотря ни на что. Несмотря на обстоятельства.

Самое утешительное заключалось в том, что учительница поставила пятёрку (правда, со всяческими комментариями, но всё-таки). А ведь это начало 80-х... Эпоха развитого социализма, тотальный контроль... Потом потихоньку предложила Юльке на выпускном экзамене взять второй билет, потому что в первом была работа Ленина «Партийная организация и партийная литература». Но Юля отказалась: мне, мол, нетрудно пересказать содержание этого произведения.

А тогда, в 76-м... когда ей было 10 лет...

«Юляшка, здравствуй! Нынче дети пошли какие-то сопливые. Без мамочки с папочкой уж и месяца побыть не могут. Можно подумать, что их угнали в неволю в турецкий плен или фашистскую Германию. Хочущка тоже говорит: «Развели там фигли-мигли!». А капитан Надо заявил: «Я к ней каждый день летаю, только она на меня внимания не обращает, сидит, повесив нос. Я таких скучных детей не люблю». Но я сказал капитану, чтобы он на тебя не сердился. Я сказал ему: «Все-таки Юля еще маленькая девочка. Вот когда она вырастет, то будет сама с удовольствием уезжать далеко-далеко, а мама с папой будут без нее скучать. А пока она маленькая».

Сегодня я ездил встречать мамашу в аэропорт. Но не встретил, потому что самолет прилетел почти на час раньше. Я походил-походил, ее не увидел и уехал домой с резиновыми сапогами и шалью в портфеле. А маму привезла тетя Галя. Вот такая история, папа у тебя дурачок какой-то.

На капусту я уже не езжу. Хожу на работу, как интеллигентик. В последнее время за мной стал увязываться Хочущка. Я, правда, и раньше приглашал его. Говорю ему: «Поехали, Хочун, капусту рубить. Вдвоем веселее». А он отвечает: «Да я бы с удовольствием, но что-то пятка болит и в носу колет». А вот когда я стал ходить в институт, то он за мной все время стал увязываться. Впорхнет вместе со мной в комнату и начинает канючить: «Не работай, лентяйничай! Наплевать тебе на все, пойдем лучше футбол гонять». Еле-еле его удается отогнать. «Что ты, — говорю. — Дочь там в Евпатории учится на 4 и 5, а я здесь буду футбол гонять. Кыш, Хочущка!»

А однажды он привел с собой слона. Говорит: «Вот этот слон будет теперь с нами ходить в Институт экономики УНЦ АН СССР». Я очень удивился: «Зачем мне, Хочущка, слон?»

«А так, — отвечает. — На всякий случай. Если кто-нибудь тебе не понравится. Допустим, начальник

какой-нибудь. Вот ты слона на него и науськай. Слон его догонит, достанет хоботом из-под кровати и повесит за шиворот на телеграфный столб. А потом наберет хоботом воды и будет его водой обливать, чтобы не простудился».

«Что ты, Хочун, — говорю я ему. — Я и сам могу любого начальника загнать под кровать и потом достать оттуда своим хоботом».

Хочун рассердился и ушел со своим слоном в Индию. Сейчас пасет там его на зеленых лугах.

Ну, пока, дочка. Привет от Хочушки. Он недавно телеграмму прислал из Индии. Скучает, наверно».

Ветер, солнце, зеленая трава... Ощущение счастья... Деревня Кашина... С Антошкой ловим в теплой Кунаре пескарей.

«2 мая. Дорогая мамочка! Зайчишка

Мы с Виткой жгли костер у студентов. Витка поднял ветку... Зайчик!!! Я сначала не поверил, гляжу — ушки столбиком. Он в ямку — прыг, Витка за ним — прыг, зайчик из ямки прыг, я его на лету цап! Поймали!!! Показали, поиграли, отпустили.

Мама, тебе привезли бутылку молока. У динки родилась Шайба, можно взять на лето. Поймал пискаря. Антон».

«24 июня. Дорогая мамочка! Мама? Почему не пишешь? Я прямо умираю от скуки — жду письма. Широкий, длинный, здоровенный такой окунище! Ой, то есть не здоровенный, а маленький — граммов 20. Ну все-таки здорово, второй раз в жизни. Тетя Катя поймала в первую же рыбалку пять пескарей, а я — тридцать штук. Юлька кусается. Пусть папа купит снасти на три удочки — на запас... Воздушный поцелуй маме, папе. ПИШИ! Побольше тетрадей в клетку, в линейку, мама. Антон».

Однажды мы с ним поймали возле белых известняковых скал штук семьдесят пескарей, чебаков и сорожек с оранжевыми глазами. В речке Кунаре. Маша с маленькой Юлькой тоже бродили где-то рядом. Да-а-а... Пятьдесят лет назад, в начале двадцатого века, здесь был у мельницы пруд, в котором рыбачили и купались Ленчик с сынишкой местного священника. Лёнчик, дядя Марии. Священника, кажется, потом убили. Говорят, в этой церкви когда-то давным-давно (в одиннадцатом году двадцатого века) венчался Павел Бажов, писатель. Чуть ли не жена его была дочерью тутошнего батюшки.

Это сообщил ныне уже покойный отец Светланы, однокурсницы Марии. Владимир Петрович Зотов, бывший журналист, заведовал идеологическим отделом тамошнего райкома КПСС. Или отделом пропаганды? Очень добрый и хлебосольный человек. Его жена Татьяна Васильевна иронически называла всех его друзей-райкомовцев: «Дегустаторы!» — за пристрастие к банкетам. Он возил нас однажды по опята — нагребли два (или три) мешка в районе исчезнувшей деревни Щипачи, где родился известный поэт...

В нашей «Православной газете» прочёл недавно:

«В Кашиной ранее стоял каменный однопрестольный храм во имя Святителя Николая Чудотворца, заложенный в 1849 году. Как и многие храмы Екатеринбургской епархии, он был поруган в годы большевизма.

Свято-Никольский храм известен тем, что здесь в 1911 году венчались Павел Петрович Бажов, служивший в то время в епархиальном женском училище учителем русского, церковно-славянского языков и литературы, и Валентина Александровна Иваницкая — выпускница епархиального училища.

...В Богдановичском деловом и культурном центре прошёл большой литературный праздник, по окончании которого состоялось радостное событие — на месте венчания П.П.Бажова в деревне Кашина открыт и освящён мемориальный камень. Чин освящения совершил настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы села Троицкое иерей Александр Поздеев в присутствии многочисленных гостей литературного праздника, которые приехали сюда из Богдановича на специально выделенном автобусе» (ПГ. 2004. №39).

Конечно, Павел Петрович вовсе не был “певцом подземных кладовых”. Как ни удивительно, но в эпоху государственного воинствующего атеизма он сумел показать, что все “подземные” персонажи сказов так или иначе связаны с нечистой силой, а потому с ними лучше не связываться.

Сейчас тело Бажова покоится на Ивановском кладбище без креста, на могиле сидит его каменная статуя. Нехорошо... Неужто нечистая сила одержала-таки победу — хотя бы здесь, на погосте? Стоят ёлки и большая скамья, где почему-то всё время пьют водку приходящие молодые люди. Только потому именно здесь пьют, что большая скамья? Страшно подойти... Что делать? Надо бы крест поставить. И кладбище огородить. Это же не проходной двор... Ещё и в туалет для собак превратили — не ведают, что творят. Не знают, что всё равно придётся ответить за кощунство и надругательство над могилами — хоть и в мире ином, загробном.

Недалеко могила иеромонаха Константина Шипунова. Вот еще мне расскажите, что чудес не бывает. Подхожу к его могиле, прикасаюсь к деревянному кресту, молюсь о его упокоении, а потом прошу: «Старче Константине, моли Бога о нас». И сердце становится легким, прозрачным, тяжесть уходит, я это физически ощущаю. Все тело в полете, как будто мне восемнадцать лет, а не шестьдесят. Но это лишь после того, как отстоишь литургию...

Чуть дальше похоронен революционер Петр Ермаков. Мы с его дочерью однажды целый год редакторствовали в Институте экономики Уральского научного центра. Три редактора — явный перебор. Потом остался я один с корректоршей Магдалиной Александровной Колобовой. Её тетушка когда-то давным-давно мыла пол в Ипатьевском доме, и с тех пор у ее потомков лежит полотенце, подарок Государыни. Недавно встретил Эвелину Петровну Ермакову возле аптеки: живет с дочкой-внучкой все в том же доме старых большевиков, ноги плохо слушаются... И внучка — неслух.

Почему-то запомнил, как шли по кладбищенской аллее мимо бажовской горки — от церкви, вме-

сте с отцом Иоанном Осиповичем. Он когда-то крестил меня, а потом венчал нас с Марией. Шли осенью? Наверное, в 93-м году. Там красиво. Тонкие черные деревья нависают над дорожкой... Желтые листья на мосту асфальте... Шли тогда Маша, внучка и я. Отец Иоанн вынул из-под куртки свой большой крест на прощанье, и Ольга его поцеловала. Потом я где-то прочел, что на обороте священнического креста написано: «Образ буди верным: словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою» — из Первого послания апостола Павла к Тимофею. Отец Иоанн уехал на трамвае, а мы пошли к себе под горку. Там меж трамвайных рельсов и рядом растет пушистый ковыль...

Если сесть на горке в трамвай и поехать до улицы Бажова, то можно приехать к Свете Зотовой и Юре Боженко. Они ещё пока живут там с дочками Радой и Ладой. Им сейчас за тридцать. Близнецы. Рада теперь журналист, а Лада так и осталась ребенком. Бурно радуется даже телефонному звонку, помнит всех, кто к ней добр. Свете советовали: отдай её государству. Но... Если Юра и Света удостоятся царства небесного, то приведет их туда за руку Лада. Они любят её и никогда не бросят. Тут уж точно: разлучит только смерть. Впрочем... крепка, как смерть, любовь. Если хоть кого-то любил на земле, то и в смерти не будет разлуки.

Маша иногда писала Свете письма, адресуя их Ладе:

«Здравствуй, наша милая Ладулька! Сидим мы с внучкой Олей на кровати у окна и пишем тебе письмо. Я пишу, она рисует, а что писать — обсуждаем вместе. Доехали мы от вас хорошо. Когда у дороги увидели колодец — решили напиться, но там была мутная вода, и мы напились у другого колодца. По дороге было приключение: у какого-то дяди, который ехал на своей машине из Тюмени (это такой город, Ладулька) лопнуло колесо, даже два (и запасное), и Паша, олин папа, дал ему свое, и они ехали за нами до Златогоровой, а в Златогоровой остались искать таких же попутчиков, как мы. Их трое — отец, мама и сынок. Машина, конечно, хорошо, но только если она на колесах. Без колес на машине не уедешь, только дурью маяться — как заметила Оля.

На другой день с самого утра — опять приключение. Не успели мы проснуться, как наша соседка тётя Рита сообщила, что ночью нас опылили с самолета какой-то химией — и указала на белые блестящие хлопья, которыми была усыпана вся трава и кусты. Лада, ты, конечно, понимаешь, что если бы не было Юли, мы бы с тётей Ритой засунули детей в подполье, предварительно не успев даже подстелить под наши будущие трупики половички. Но Юля сказала, что это не химия, а тополиный пух В РОСЕ. Вот, Лада, до чего мы дожили: самой Природе не верим, всюду подвох ищем. Так нам и надо...

Сегодня твоя баба Маня решила сползть в лес, на просеке уже первая земляника, набрали с Юлей по кружке. Очень устала, но счастлива без меры. Ладулька, а ты тоже уже ягодки кушаешь? Отвечай громче, чтобы я слышала. Вот какая умница! Ты только кушай их без сахара, потому что сахар вреден.

Лада, а ты знаешь, что у нашей Стеши скоро будут котятки? Спроси у мамы, не надо ли кому пушистого котеночка? Нам двух заказали уже. Ну, если никому не надо — мы оставим одного себе, и ты поиграешь с ним бумажкой на ниточке, когда приедешь к нам в гости осенью. Да, Ладулька? Ты меня слышишь? Можно ведь не только в телефон услышать друг друга, а в письме тоже можно поговорить, правда? А можно и вовсе без письма — просто друг друга вспоминать, да, Ладочка? Как ты там, ребенок, спишь ночами? Комары тебя не донимают? И меня донимают, а мошка все запястья изъела (пусть мамка покажет, где запястья).

Мы тебя все обнимаем крепко, передавай привет Раде, бабе Тане, папе, да и дедушке, конечно, тоже, он ведь теперь тоже дитя у вас (после инсульта. — Борис.). Твои Маня, Оля, Таня, Паша».

Письмо написано в конце июня 1989 года. Наверное, Ладе тогда уже было за двадцать, а нашей Ольге — четыре. Я сидел на работе, в деревне не присутствовал, а Паша возил всё семейство в наше старое Кашино — через город Богданович, где жили старшие Зотовы. Недалеко от огнеупорного завода, в доме на двух хозяев, с огородом. Татьяна Васильевна его до сих пор обрабатывает, хоть ей уже восемьдесят. Конечно, вместе со Светой. Как давно всё это было... Можно просто друг друга вспоминать. Да, Мария? Если нельзя теперь позвонить или написать письмо...

В каком году приезжал в Екатеринбург Тоха Золин? Однокурсник Светы и Юры. И немножко Марии. Его в конце семидесятых пригласили в самую главную газету — «Правду». Замечательный очеркист... Наверное, он приезжал в середине восьмидесятых... Мы с Марией пришли в гости, я вручил Толе свое произведение, которое тогда называлось, кажется, «Логический, мифологический и филологический аспекты космологической сингулярности». Конечно, надо бы смиренно обойтись без комментариев. Просто попросить показать это Лосеву. Он бы до него добрался из такой большой газеты. А я начал объяснять всемирно-историческое значение своей писульки. Чтоб он проникся. Тоха, естественно, проникся и в момент нашего отбытия стал подавать мне пальто. Я промолчал, но из дома позвонил ему и попросил вернуть произведение. Обидчив был, как антилопа. Он отговаривал, но я стоял на своем. Скоро у него обнаружили рак, ходил с иглками в мочках, чтобы снять боль. Он как-то звонил в Екатеринбург, говорил: ребята, пока я живой, найдите мне какое-нибудь дело — чем могу помочь... В 1988 году помер и он, и Алексей Федорович Лосев.

В тот ли его приезд... Может, позднее? Опять собрались у Зотовых, куда Золин доставил бутылку драгоценного медицинского спирта. А Мария вылила его в раковину на кухне. Чтоб не спавал русский народ. Вообще-то Юре, конечно, совсем нельзя было пить. Сердце. Мария всегда была человеком принципиальным и решительным. Вся Россия, мол, ходит пьяная... Что будет с Ладой, если родители сопьются? Давайте будем трезвыми — хотя бы ради детей...

Вот наши дети мне пишут, недавно нашёл старые открытки:

«Дорогой папа! Поздравляю тебя с днем рождения! Желая тебе счастья, здоровья и успехов в труде,

в твоей работе! В общем, желаю всего, всего хорошего, наилучшего! Антон». На открытке изображены три юных путешественника с рюкзаками — на фоне зеленых гор. Здесь же надпись: «Дорогому папе! В день твоего рождения!»

Это мне сын лет тридцать назад написал. А недавно на день рождения подарил мне теплые и красивые зимние ботинки. Хожу и радуюсь. У меня таких ботинок никогда не бывало. Коричневые, с мехом... Надеваю легкий шерстяной носок, а ноги не мерзнут. Помоги ему, Господи, понять смысл человеческой жизни. Помоги обратить внимание и на душу свою бессмертную. Очень увлечен земными заботами, тем, что переходит. Тем, что исчезает навсегда...

«Когда мы с Господом, то и Господь с нами. И светло все. В комнате, когда все окна открыты и солнце светит, светло-светло бывает. Но закройте одно окно, потемнеет, а когда закроются все, совсем темно станет. Так и с душой. Когда она всеми силами и чувствами обращена к Господу, в ней все светло, радостно и покойно. Когда же обратит на что-либо ДРУГОЕ, кроме Господа, свое внимание и чувство, светлость сия умалается. Больше вещей занимает душу, БОЛЬШАЯ ТЬМА ВХОДИТ... А там и совсем темно. Мысли не столько омрачают, сколько чувства; однократное увлечение чувств — не столько, сколько ПРИСТРАСТИЕ К ЧЕМУ-ЛИБО. Больше всего омрачает грех ДЕЛОМ» (святитель Феофан Затворник).

«Улица Бажова, Степанову Ивану Трофимовичу. Дорогой дедушка! Поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе здоровье и успехов во всём. Дедушка, у нас в классе Дима съел Половину промокашки, потому-шта ему не хватила каши. Было, что резинки ели. У некоторых даже кости в парте видела. Целую Юля».

«Дорогой мой папка! Поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю тебе всего самого, самого, самого, самого... А главное не болеть и быть всегда веселым, а когда человек весел, тогда у него все получается хорошо-шо. Юля. 06.11.79».

Ну, а мне-то чего пожелать... «Если можете, бывайте сколько можно чаще в церкви. Она — Дом Божий истинный, ... хоть сложена из кирпичей с известью. Сердце чувствует, что оно в Доме Отца, и сладко ему... Для воспитания молитвы лучше всего ходить в церковь. Дома леность одолевает, а там лености нет места, ибо что же иначе делать, как не молиться» (святитель Феофан).

Вот получилось такое завещание. Уже пора...

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Тогда же, в 88-м году, рак унёс и Люсю Кудряшову (второго июня, а первый болевой приступ – второго декабря). Маша с Люсей вместе работали на радио. У «кудряшей» иногда бывали посиделки. У Юры и Люси. Там впервые и с Леной Камбуровой сидели, пили самогонку (немножко) и смотрели мои рисунки. Недавно (лет шесть назад) мы с Юрой встретились на улице. О чём говорят русские мальчики на улице и в трактире? О Боге и бессмертии... Почему, говорит, там у вас спорят православие, католичество и протестантизм? Почему, если есть только единая и великая Истина? Почему?

Мы с ним тогда уже оба работали сторожами...

— Ну, как тебе сказать... Ты хочешь, чтобы Истина выглядела как безразмерно-абстрактная точка? Даже в Боге — структура: Отец, Сын и Дух Святой. А уж тут на земле попробуй найти что-нибудь бесструктурное... Нейтрон, протон, электрон... Нейтрон, если он в свободном состоянии, не может жить долго – выводится наизнанку и превращается в протон и электрон. Да? Можно подозревать, что в нейтроне соединены неслиянно и нераздельно антипротон и позитрон. Точнее, там магнитные полюса, на свободе становящиеся на миг позитроном и... Можно полагать, что рукавицы (антивещество) не надо искать в других галактиках — они, как всегда, за поясом. Нейтрон стабилен, если ему в атоме противостоит соотношение «протон/электрон». Так? Он сам рождает причину собственной стабильности... свою собственную противоположность... Точно так же западное Православие (в переводе на английский — «ортодоксия») переродилось в соотношение «католичество/протестантизм». По крайней мере лет пятьсот существует структура «небо-земля/подземелье» = Православие-католицизм/протестантизм. То есть, как видишь, христианство обладает структурой. Там Небо противостоит земле и подземелью. И подземелье становится преисподней только после того, как надмевается и, преисполненное гордыни, пытается взобраться на главную позицию, «в числитель»... А пока не надмевается... сам знаешь, в прохладном подполье стоят горшки с молоком.

Вот так... Почти научный трактат. Юра говорит: «Если Он есть, то почему Себя явно не обнаруживает?» Да-да... Надо бы Ему написать нечто на небе огненными буквами... Но когда пошёл Бирнамский лес... когда он пошёл в атаку, шекспиров король Макбет закричал: кто это сделал, лорды? Мы не поверим, даже если мёртвые воскреснут... Кто это сделал, лорды? Там ведь действительно чудо было рукотворным... Род неверный и прелюбодейный...

У Кудряшовых мы собрались в 73-м году — сразу же после того, как Мария вернулась с ПРОФИЛАКТИКИ. Её увезли с работы на Вайнера 4 и там провели собеседование. Очень вежливо. Собственно, к ней в КГБ вряд ли были какие-то основательные претензии. Мы просто трепались на кухне о том о сем. Даже «Раковый корпус» не распространяли. Знакомый следователь по особо важным делам Валера Брызгалов (с которым Маша когда-то работала в железнодорожной газете «Путёвка»; он там был фотокором и одновременно учился в юридическом институте) нам как-то сообщил, что в кутузку тащат только после пятикратного распространения. Я просто сказал Валерке Хайдарову: ты ж меня совсем почти не знаешь, а сразу вот так доверился... Пожурил его. Экземпляр был — слепее некуда. Наверное, специально такой изготовили, чтоб мы глаза испортили. Хайдар немножко работал со мной в промделе «Вечёрки», куда я его самолично

вытянул с турбомоторного завода; потом он стал командовать киногруппой на телевидении... в середине 80-х получился инфаркт... умер в один год с Марией.

Слово ПРОФИЛАКТИКА я узнал ещё в «Вечёрке». Там читал лекцию (с показом листовок и всякой прочей нелегальной литературы) товарищ из органов. Тогда же был упомянут мой однокурсник, который якобы где-то в Таборах организовал чуть ли не подпольную типографию. И вот кагэбэшник нам объяснил, что заблудших приходится профилактировать. В том числе Витю, с которым когда-то мы ездили на студенческую целину, в прикаспийский совхоз. Строили два двухэтажных дома из блоков и один деревянный.

Вскоре после той беседы Виктор появился в нашем отделе промышленности и строительства, где мы с Геной Сюньковым выпускали рукописный журнал с лаконичным названием «Пегас». Фото нам, кажется, поставлял фотокор Олег Капорейко — из отходов своего производства. Олег — человек бывалый, лирик, таёжник. Умел делать в лесу редчайшие снимки. Может быть, КГБ не понравился наш безобидно-юмористический журнал? Он исчез сразу после того, как мы заполнили последнюю страничку:

Усеян черепами склон.

Ах, черепами склон...

А из глазницы из пустой —

Родо и ден и дрон.

Дожди давно слизали скальп

И обнажили кость.

Она напоминает нам —

Тебе и мне и вам —

Мой друг, ты в этом мире гость...

О да, всего лишь гость.

Правда, мы потом завели новый журнал — «Стойло Пегаса»:

Коней топот, коней топот...

Стынет кровь, а ветер дует.

Нам ли слышать слабых ропот?

Ропот демобилизует...

Пику в руки, саблю к боку,

Ось земли колеблет ветер...

Превратим сомнений шепот

В жалкий стон идущих к смерти.

Горизонты, га-ри-зон-ты!

На галопе вышли к морю...

Нет кормов, а кони дохнут.

Кто и как поможет горю?

...Витя рассказал, что был в Москве, в ресторане познакомился с иностранцем, была какая-то неувязка с Комитетом, а потому не съезжу ли я с ним на электричке в ближайший город Богданович. Впечатление было такое, будто человек недавно жевал йеменский кат. Может, в самом деле он был под психотропами?

«Голос Америки» недавно рассказал про пентатал натрия. Это, мол, «сыворотка правды», превращающая человека в механический апельсин. Я сам по крайней мере четырежды нарвался на психотропы. Однажды... Хорошо помню: когда совсем уж превращаешься в апельсин и не можешь даже голову повернуть, собеседник формулирует безобидный контрольный вопрос. Наверное, чтобы... Впрочем, это надо у НИХ спросить, какие и зачем они формулируют вопросы. Потом дали прелюбопытнейшую книжку, а у меня буквы не складываются в слова... Полистал и вежливо вернул. Домой возвращался последним троллейбусом в пустую квартиру — Мария с внучкой была в деревне.

Конечно, работа у них такая, что делать... Однажды, году в 71-м, пристал на улице возле нашего дома пьяный работник наисекретнейшего атомного завода, расположенного в спецгороде. Вечером я возвращался домой с собакой, а он прямо обнимается, клянется в вечной дружбе и обещает регулярно возить меня в спецгород на своей собственной машине. Еле отбился. (О том, что это провокатор, догадался позднее, когда осмыслил ситуацию.) Конечно, в далекой Йеменской Арабской Джумгурии я вполне мог стать английским, арабским или там израильским шпионом, а потому надо же меня... профилактировать. Предлагать на выбор всевозможные государственные тайны. Я не в обиде. Это даже интересно и весело. Правда, ни отец, ни деды, ни прадеды у меня не были никогда шпионами иноземных держав — в отличие от самых выдающихся большевиков и чекистов-коммунистов. Всевозможные наши господа приходят и уходят, а РОССИЯ остается навеки. Надо беречь и оберегать ее, а не коварно участвовать в уничтожении. В том числе — в планомерно-коммунистическом уничтожении.

В городской газете я был занят всякими экономическими проблемами: производительность труда, качество продукции, её количество и т.д. Что и нашло отражение в «Стойле Пегаса». Надобно сказать, что экономическими проблемами я тогда занимался с необычайным удовольствием. Но...

Не за количеством и качеством —

за чем-то вовсе за другим

скакали рыцари чудачества,

влача плащей тяжёлый дым...

Не дорога производительность,

пусть нет рубля в обеда час –
круп лошади багрово-дымчатый
танцует в медленных очах...
Количество уходит в качество,
река – в болото, в землю – меч...
О где ж вы, рыцари чудачества,
где кудри буйные до плеч?

Это мои стишки из нашего рукописного журнала. Какое тогда было у нас мировоззрение? Не было никакого. «Материя первична, сознание вторично; бытие определяет сознание» — разве это мировоззрение? Воззрение на мир... А к Богу и вовсе стояли спиной. Хотя... Наверное, мы были язычниками, хоть свое язычество и не смогли бы тогда отчетливо сформулировать. Его формулу можно найти, например, у Лосева:

«В единой Бездне слиты Бог и мир, сознание и бытие, закон и Хаос. Это — древний стихийный Хаос, всеобщая Праматерь, рождающее лоно всяческих оформлений. Бездна эта — безлика, бессамостна, слепа; она — сплошное и нерасчлененное вожделение к самой себе, самовожделение, самосознание, перво-любовь. Она — за пределами добра и зла, за пределами разумных категорий, за пределами норм. Она вечно действует и рождает, сама не зная для чего и для кого. И она вечно пожирает рождаемое. Она — безумное влечение, анархический инстинкт жизни, мучительно-сладкое наслаждение бытия самим собою, вечно страстное и неутомное самопорождение и самоуничтожение, мучительная радость непостоянства и вожделенное самодовление в хаотическом сладострастии непостоянства. И вот эта Бездна, играя и тешась, создает, между прочим, и наш светлый и стройный оформленный мир с его богами и людьми. Боги и люди, обретая себя на лоне всепоглощающей Бездны, героически борются за свою индивидуальность, убивают друг друга, желая остаться в индивидуальном оформлении. Но увы! Бездна ждет всех нас, и людей и богов, да и сама индивидуальная жизнь наша есть все та же мучительная и сладостная игра с самим собою. Жизнь наша и мир — продолжение и этап все той же вечно играющей и вечно холодной Бездны. Бездна — Судьба. Где же правда, спасение? Почему индивидуальность — грех? Почему мир и жизнь — борьба и битва? Почему сущность мира — трагедия? ...Но Бездна молчит. Ответа нет. Сам мир и сам человек протестуют всею своею сущностью против такого миропорядка. Они взывают к Судьбе и героически, титанически хотят завоевать тайну. Но Бездна и Судьба безмолвствуют. Ответа нет».

Лет через тридцать я нашёл такие вот формулы: мистерия•трагедия/комедия, идея•образ/пародия. Мистерия и трагедия, идея и образ, небо и земля — в числителе, а в знаменателе — преисподняя, комедия и пародия. «Пародия — «тень» серьёзного жанра, его «внешний вид», лишённый содержания. Вместо содержания пародия даёт гибристическое «наоборот», то есть пустоту и бессодержательность, прикрытые формальным сходством с тем, кого она «передразнивает», над кем она кривляется» (Ольга Фрейденберг). Впрочем, возможно в знаменателе стоит не пародия, но «подобие». Возможно, пародией становится вся эта формула, когда подобие («подобие» — не в библейском, а в платоновом смысле: некий призрак) злонамеренно, самовольно и горделиво вылезает в числитель — на ударную позицию. Как в своё время Люцифер.

Но даже и такое вот трагически-безличное язычество нам не преподавали в университете. Бездна там называлась — Материя, а в роли античных богов выступали законы природы, которых неисчислимо множество. Например, закон Бойля-Мариотта. Слепая и мертвая Материя зачем-то совершает чудо — порождает жизнь и человеческое сознание, которые потом исчезают. На могиле — лопух. Что именно первично — дух или материя — это, мол, основной вопрос философии. В зависимости от его решения философы делятся на идеалистов, материалистов и агностиков.

На консультации перед экзаменом я однажды спросил преподавателя диалектического материализма Геня Иосифовича Б.: «Но ведь скоро философия исчезнет? С победою коммунизма на планете все философы будут единообразно отвечать на основной философский вопрос — и сам этот вопрос исчезнет вместе с философией?» Преподаватель обещал мне ответить в следующий раз, когда-нибудь позднее. Но так и не ответил. А на экзамене поставил мне пятерку. В свое время он хлебнул лагеря за неправильные вопросы, а потому простил мне мой подкоп под марксизм-ленинизм. Под всепобеждающее учение... Лишь на исходе жизни мне стало понятно, что с победой марксизма-мондиализма на земле исчезнет не только философия. Исчезнет само человечество, потому что все вопросы будут под запретом. Труба, которой запрещено качаться, разваливается на кусочки.

Несколько лет назад мы беседовали перед телекамерой с биофизиком из Московского университета. С Воейковым. Я спросил по-дурацки, может ли слепая и мертвая Материя, неживая природа, сама по себе родить Жизнь. Он сказал, что наука не берется утверждать — «может или не может». Наука исчисляет вероятности. А вероятность самопорождения жизни вот какая... И он нарисовал картину: представьте, мол, что бомба попала в кучу мусора, и из нее возник после взрыва современный авиалайнер типа «Боинг». Высока ли вероятность такого происшествия? Такова же вероятность самопроизвольного возникновения жизни из мертвой природы. Без Бога... Или: обезьяне надо 400 раз без ошибок напечатать Библию на пишущей машинке — такова же вероятность возникновения живой клетки из неживой материи. Представляете обезьяну за пишущей машинкой? Современная наука без Бога обойтись никак не может.

А человек? В 82-м году вдруг разродился однажды такой вещицей (почему-то первого апреля):
Мне сорок лет, о Боже, сорок лет...
Короткий страх и долгая надежда,
И тёмных слов прозрачная одежда,

Полдневный смех и полуночный бред...
В гаремах слов истаяла душа,
Распалась на кричащие фонемы,
Ушла в аспидно-чёрные гарлемы,
В мрак преисподней, в морок миража.

И здесь я вижу, какова игра:
Лишь на пороге замечаем двери,
Лишь в переходе от безверья к вере
Мы понимаем, что давно пора...

Тут же недавняя запись: «Акакий... «Шинель»... незлобивый... Акакий – мешочек пыли, который держал в руке при коронации византийский император (символ бренности, ничтожности всего земного)»...

Акакий шил шинель,
обидел генерала.
Я дальше позабыл:
испортилась игла?
В тюрьму он угодил,
когда гнилой апрель
дудел в свою дуду?
А, может, просто умер,
узнав, что по суду
он должен всё отдать?
Недолог страшный суд.
Коллежский регистратор?
Акакий титулярный...
в переводе – мешочек пыли,
который византийский император
при коронации
держал в руке.
Державною рукой держал мешочек пыли
как символ бренности...
Подумай о земном:
здесь пепел, тлен...
поёт свирель свирепю,
буянит барабан,
в ночной тиши
бормочет злой волшебник
нелепые слова.
Рога и хвост.
Хохочем,
шьём шинель...
Не в Бога богатеем?
Император...
Крупнозернистый жёрнов
перетирает
вчера и завтра
бред земных забот.
И вдруг труба:
Акакий!
Суета!
Мешочек пыли!
Кусочек регистратора.
Адью...

ТАНЯ ПЕТРОВА

У Марии с детства были две подружки: Мила Яшникова и Таня Петрова. И вместе с ними Ира Хмельнова и Ляля Фурщик, которая после смерти отца вместе с матерью уехала в Тулу (живёт там сейчас одна, сын почему-то отправился в Израиль). Ещё была позднее Валя Хаткевич, но она уехала давным-давно в Подмосковье (в Черноголовку?) и там потерялась.

Врач Татьяна Сергеевна Петрова по крайней мере дважды спасала жизнь моей матери. Добрая душа... Да вот как интересно Бог сводит людей: её бабушка с бабушкой бежали в Сибирь из Екатеринбурга, как и предки Марии, тогда – в 19-м году. Бабушка умерла там от сыпного тифа в 20-м году, а дед с детьми вернулся домой (впрочем, дом скоро отобрали, поскольку он стоил больше десяти тысяч, а это возбранялось) и умер в 24-м. Звали бабушку Александр Егорович Субботин, а бабушку – Евлампия Осиповна. Причём это была уже вторая его жена. Первую

звали так же, но она померла, и Александр поехал по уральским сёлам и снова нашёл себе Евлампию Осиповну.

Его 14-летний сын Виктор Александрович Субботин тут же, по возвращении в Екатеринбург стал зарабатывать себе на кусок хлеба (к тому времени он успел закончить 3-классную школу, два класса гимназии, потом – два класса школы второй ступени). В начале 20-х годов работал порученцем в совете полковых судей Приуральского военного округа, потом – письмоводителем в Чусоснабарме, кладовщиком на строительстве Кизеловской ГРЭС. И уж с 23-го года – в банковской системе: курьером, делопроизводителем, счетоводом, бухгалтером, кредитным инспектором, начальником кредитного отдела, управляющим отделением. Участвовал в Великой войне, награжден орденами и медалями, в автобиографии написал: «Два раза награжден часами, имею 20 благодарностей в приказах Верховного Главнокомандующего генералиссимуса тов. Сталина». В 47-м году вступил в Коммунистическую партию, а в 52-м кто-то написал донос в областную партийную газету «Уральский рабочий»:

«Субботин В.А., управляющий Октябрьским отделением Госбанка в Свердловске при вступлении в партию скрыл своё происхождение. Его отец – крупный богач г. Екатеринбурга, занимался крупными грузо-перевозками, у него ходило более 100 лошадей. Он в бывшем Екатеринбурге по нынешней улице Вайнера владел несколькими домами, эксплуатировал много рабочих. Обо всём этом Субботин скрыл от партийной организации».

Субботин В.А. – это дядька Тани Петровой. Как попал к нему этот донос? Точнее – копия, писанная рукой самого Виктора Александровича. Бог весть... Есть ещё рукописная копия справки Новоалексеевского сельсовета: «7. 06. 1952 г. Выдана Первоуральскому (неразборчиво) МГБ в том, что Субботин В.А. 1905 года рождения происходит из семьи кулака. Его отец Субботин Александр Егорович содержал ямскую станцию в деревне Старые Решота до 1906 года. Имели постоянных батраков, например Банников Михаил Гаврилович, Колесов Аверьян и др. Вообще большая часть жителей деревни работали на Субботиных (сейчас в русских деревнях работать вообще не на кого – и они исчезают. – Б.С.).

В 1907 году Субботин А.Е. выехал в Свердловск (Екатеринбург), где тоже имели ямскую на своих лошадях. В Старых Решотах оставались два дома, в том числе один двухэтажный, что и удостоверяется. Пред. с/с Бурков, секретарь Михрюкова».

Чуть не весь 52-й год Виктору Александровичу пришлось оправдываться. Сначала писал «Объяснение» секретарю Октябрьского райкома ВКП(б) тов. Векшигоновой А.Н. (9.02.52), потом – в свою парторганизацию:

«Сообщаю, что мой отец Субботин Александр Егорович до 1907 года находился в хозяйстве своего отца (деда), который действительно держал ямщину в дер. Старые Решота. В 1907 году отец отделился от хозяйства деда и переехал на постоянное жительство в г. Свердловск (быв. Екатеринбург).

Мой отец никакой ямщины самостоятельно ни в дер. Ст. Решота, ни в Свердловске не содержал. По приезду в г.Екатеринбург в 1907 году мой отец поступил служить и служил в торговой фирме братьев Второвых. Имущественное положение отца после раздела было таково: имел в собственности один дом, одну лошадь и корову, никаких двух домов в городе он не имел. Что же касается двух домов в дер Ст. Решота, то такие отцу не принадлежали. Ими владели два его брата Егор Егорович и Тихон Егорович, которые после смерти деда продолжали содержать ямщину в гор. Свердловске. Какое количество лошадей они имели, я не знаю. У них были два дома в Екатеринбурге – по той же улице, где проживал отец (Вайнера).

При установлении советской власти отец продолжал служить в советских учреждениях до самой своей смерти, т.е. до 1924 года. Имевшийся у отца дом был национализирован, так как оценка его выражалась в стоимости около 11 тыс руб., а в то время все дома с оценкой свыше 10 тыс. руб. национализировались. Отец из бывшего своего дома не выселялся и жил там до самой смерти. Права голоса мой отец не лишился.

При моём вступлении в ряды Ленинского комсомола в 1924 году и позднее при чистке рядов комсомола этот вопрос, т.е. путанье моего отца с его братьями был проверен и обсуждаем комсомольской организацией. И это не подтвердилось, что мой отец держал ямщину, и я был принят в комсомол, а также чистку прошёл без замечаний.

Вот всё, что я помню и знаю. В.Субботин. 9.09.52 г.»

Ах, если бы знал доносчик некоторые ещё более ужасные обстоятельства... Старший брат Виктора Субботин Фёдор Александрович дрался с красными в белой армии, а потом бежал в китайский Харбин и в Америку. Правда, в 20-е годы он переписывался с сёстрами, жившими в Екатеринбурге-Свердловске, а потом (уже после оттепели 56-го года) возобновил переписку. Таня Петрова в 90-е годы путешествовала в Америку, к его детям, и там добыла такой документ:

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

из послужного списка подпоручика 25-го Екатеринбургского адмирала Колчака полка горных стрелков

СУББОТИНА Фёдора Александровича

Родился 28 февраля 1898 г., из граждан Екатеринбурга, окончил в 1915 г. Екатеринбургскую мужскую гимназию. Студент Петроградского политехнического института. Окончил ускоренный курс военного времени в Павловском военном училище.

ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ

4 мая 1917 г. на правах вольноопределяющегося вступил юнкером в Павловское военное училище. Первого сентября произведен в прапорщики приказом по Армии и Флоту. 16 августа прибыл для службы в 149 пехотный запасный полк, 18 авг. назначен офицером (младшим) учебной команды. 24 декабря после захвата власти большевиками сам демобилизовался. 27 июля 1918 г. по занятии (белой армией) Екатеринбурга всту-

пил добровольцем в Первую офицерскую роту. 7 августа назначен младшим офицером студенческой роты, 9 августа отбыл на фронт. 17 сентября офицерская, студенческая и добровольческая роты сведены в 25-й Екатеринбургский адмирала Колчака полк горных стрелков. 21 октября за отличие в боях против большевиков произведен в чин подпоручика. 21 ноября назначен командиром 6-й роты, 19 февраля 1919 г. эвакуирован с фронта по болезни, комиссией врачей эвакуационного госпиталя в Екатеринбурге уволен со службы. 11 августа вновь поступил на военную службу в подчинение поручика Голубева, состоявшего в распоряжении Верховного правителя, и исполнял обязанности коменданта поезда «Помощь армии» имени Верховного правителя. 15 марта 1920 г. после захвата власти политическим центром в г. Иркутске отбыл в Харбин, где комиссией врачей госпиталя охранной стражи уволен от службы.

БЫТНОСТЬ в ПОХОДАХ и БОЯХ

1917 года 3-го и 5-го июля в составе юнкеров Павловскаго военного училища участвовал в подавлении 1-го возстания большевиков в г. Петрограде.

С 9-го августа 1918 г. по 19-е февраля 1919 года – в боях и походах против большевиков в составе армии Адмирала Колчака.

В августе 1964 года он написал сестре своей Александре Александровне Субботиной, матери Тани:

«Дорогая сестра Шура, не хватает слов выразить, насколько я благодарен тебе за твоё письмо. Вот уже две недели я читаю и перечитываю его. Я ведь не знал никаких подробностей вашей жизни. Вот уже 30 лет с тех пор, как я получил письмо от вас в 1934 году, писанное Маней. С тех пор переписка прекратилась.

Как ты, Шуручка, права, что мы почти не знаем друг друга. Мы разстались в 1920 году. Меня после воспаления легких отправили в Иркутск. Перед моими глазами жива сцен последнего прощания: папа, мамочка, Вася и все вы. Я до сих пор вижу, как сестра Лёля (она была такая тихая) стояла у двери и молча плакала. Ей было 12 лет, а тебе 11 в то время. Разлука была такая окончательная. Ваша жизнь и моя так окончательно отделились. Будучи теперь в отставке – больше времени думать и вспоминать прошлое, как бы мысленно снова пережить.

Жизнь прожить – не поле перейти. И вам всем, особенно тебе, Шура, выпали на долю и радости, и горести. Очень хотелось бы знать больше о твоём сыне Борисе. Мы не вполне поняли, что случилось. Ты пишешь, что живёшь надеждой его встретить. (Борис ушёл один в поход на Уральский Север – и не вернулся больше никогда. – Б.С.)

Приятно знать, что ты не одна, т. к. Таня ещё с тобой. Это должно скрасить твою теперешнюю жизнь.

Теперь знаю, что жизнь у Мани хорошая – муж, взрослые и женатые дети и внучата. Печально, что Лёля потеряла мужа и вдовствует, как и в твоём случае. Опять же её дочь Люба с нею и на хорошей дороге – в недалёком будущем. Надеюсь, что Маня и Лёля мне напишут о себе. Я даже не знаю их замужних фамилий, а также и твоей. Судя по адресу, ты носишь нашу фамилию.

(Виктор Александрович так описал своих сестёр в анкете: «Сестра Лундина Мария Александровна, родилась в 1904 г., дер. Ст. Решёта. Сейчас не работает, адрес: Свердловск, Втузгородок, 2-й профессорский корпус...

Сестра Леликова Ольга Александровна, родилась в 1907 г., г. Екатеринбург. Рабочая парфюмерной фабрики.

Сестра Субботина Александра Александровна, родилась в 1909 г., г. Екатеринбург. Врач 1-й горбольницы».)

Вот уже 44 года с тех пор, как судьба нас разделила. Я в Америке с 1923 года, т.е. 41 год. Мы все за это время стали американцами в полном смысле. Не могло быть иначе. Только в глубине души я до сих пор русский. Приехавши сюда я ни в каких организациях не состоял, т.к. они были полны интриг, а я не хотел ни словом, ни делом быть против моей родины и народа. Все силы пошли на стройку моей жизни в новой стране. Мои дети с школьного возраста почти перестали говорить по-русски, да и мой язык «поистоптался» немножко. Я перевёл и послал детям твоё письмо, чтобы они знали о своих родных в СССР.

Вот уже 11 лет с лишним по смерти Любы – матери моих детей, моей незабвенной жены. Она, как и я, была за всё русское – и не дружила с беженцами, и не любила интриг.

Девять лет тому назад я женился. Моя жена – американка, уроженка штата Пенсильвания. Наш брак очень счастливый. Мои дети, невестки-американки и внучата её очень любят. С нами живёт её мать-инвалид. Ей 83 года, у неё был апоплексический удар 5 лет тому назад и несколько сердечных припадков с тех пор, но она немножко ходит – от дивана до стола, до кровати, до уборной. Мы не можем её оставить больше чем на 2-3 часа.

Хотя капиталов у нас нет, мы всё же смогли выстроить себе очень хороший дом (с квартиркой для тёщи) в очень живописной местности – в горах на высоте 3000 футов. Чудные огромные деревья: сосна, кедр, дуб и другие породы – от двух до трёх футов в диаметре. Жена и я любим работать на воздухе, и наша усадьба теперь выглядит, как парк. Здоровье, как я и писал, в хорошем состоянии. Жене моей 58 лет, а мне – 66.

Шуручка, если у тебя будет желание писать, напиши, сколько лет было мамочке, когда она умерла – и папе. Напиши о других Субботиных, о сыне Васи – Борисе, который был лётчиком, о семье Тони Аржанниковой, нашей самой старшей сестры, да и вообще о родных, которые живы.

Передай привет всем, кто меня немножко помнит. А главное, не грусти, найди силы жить полной жизнью – во имя тех, которые нас навсегда покинули.

С большой любовью брат Федя».

Это август 1964 года. А в мае было такое письмо:

«Дорогие сёстры Маня, Лёля, Шура, получил грустную весть о смерти дорогого и незабвенного брата Вити. Вот уже больше 30 лет как мы не были в переписке. Сколько грустных и беспомощных мыслей... Какая у нас всех была молодость и какая чудная и крепкая была наша семья. Тяжело на душе. Я так и не знаю, какова была жизнь Вити, каким он был взрослым человеком, была ли у него семья, дети. Долго ли он страдал от последней болезни. Я также почти ничего не знаю о вас... Галина Николаевна мне писала, что Шура – доктор и что она потеряла мужа несколько лет тому назад. Это всё, что я знаю.

Вкратце о себе, о сыновьях. Борис старший, ему 37 лет, доктор наук по электронике. У него двое детей: Марк девяти лет и Кира – семи. Виктору – он был назван в честь незабвенного Вити – 32 года. Он гражданский инженер. У него трое детей: Эрик восьми лет, Сюзан – шести и Ранди – 1 год. Я их всех вижу два или три раза в год. Мы живём вдаль от суеты в горах Сьерра-Невада – 150 миль от Сан-Франциско.

Не знаю, кто из вас получит (и получите ли) это письмо.

С глубокой скорбью о Вите и любовью к вам ваш брат».

Виктор не мог писать ему в Америку. Его бы как-нибудь наказали. Изнали из партии, с работы? Наверное... Во всяком случае, он писал в автобиографии (14.12.53 г.): «Под судом и следствием не был. Был за границей (Польша-Германия, 1944-45 гг.) в составе действующей армии. Родственников, лишенных избирательных прав, судимых и репрессированных не имею, также НЕ ИМЕЮ И ЗА ГРАНИЦЕЙ. Во время Отечественной войны родственников на оккупированной немцами территории не было, также не были в плену и в окружении. Семейное положение: женат, жена Панькова Татьяна Павловна работает ст. экономистом в Metallurgavtomatike, родственников не имеет. Детей нет».

А в остальном... Примерно тогда же (18.12.53 г.) он получил характеристику в своей парторганизации: «Работу Госбанка знает хорошо, глубоко изучает финансово-экономическое состояние промышленных предприятий и хозяйственных организаций, находящихся на обслуживании в Октябрьском отделении Госбанка.

Вместе с партийной организацией проводит в жизнь коллектива постановления партии и правительства СССР.

Политически грамотный и систематически работает над повышением политического уровня путём посещения экономического семинара при Райкоме. Аккуратно выполняет партийные поручения».

Конечно, если уж проблемой социального происхождения его отца занимались местные представители Министерства госбезопасности, то брат за границей, да ещё бывший белогвардеец... Страшно подумать. Фёдор там у себя в Америке правильно понимал положение, а потому и не писал 30 лет – до 1956 года:

«6-го февраля 1956 г. Мои родные сёстры, я даже не знаю, в чьи дорогие руки придёт это письмо. Только сегодня получил первую весть, что вы, мои сёстры, живы. К сожалению, Галя (дочь Коли Логинова) не упоминает о Вите. Она написала, что Васи и Коли в живых уже нет. Было очень грустно узнать об этом.

Много воды утекло за эти годы. Были смутные времена: мировая война – и всё как-то смешалось. Я не знал, кому и куда писать. И, может быть по глупости, боялся повредить, если бы стал разыскивать. Я вас всех преданно и глубоко люблю, но жизнь так сложилась, что мы, наверное, навеки разделены».

Печаль невыносимая: навеки разделены... Помяни, Господи, всех скорбящих в разлуке. Они так и не увиделись никогда.

Я немножко знал мать Тани Александру Александровну, милую седую женщину, рано потерявшую мужа и сына. Каждый год мы приходили 15 июня к Тане на день рождения... Подружки вспоминали свою раннюю молодость. Вспоминали, как в 56-м отправились в Сысерть готовиться к экзаменам в институт. Как валялись дурака, катались на лодке, ныряли, плавали... Жили в частном домике у какой-то бабушки. Потом приехала мама Ляли Фурцик и увезла её в город – из-под «тлетворного влияния» Маши и Тани. Кстати, где-то там выяснилось, что матери Маши и Тани когда-то учились в одной и той же школе на берегу Исети, за дендрарием. Этот красно-кирпичный дом там до сих пор стоит – пока что его почему-то не сожгли и не разрушили наши хозяева жизни. Я там хожу-прогуливаюсь иногда вместе с внучкой Машенькой.

Ах, Мария, боль моя и радость. Она умудрялась говорить о национальной культуре, даже когда рассказывала о войне... с сепсисом. Таня Петрова посвятила этой войне полжизни:

«Огромный человек на трибуне переполненного зала – грузинский акцент, нос горбиной, взгляд прожигает. В две минуты Бочоришвили умудряется морским узлом стянуть общие боли и радости России и Грузии – политические, национальные, профессиональные, – сфокусировать их в событии, которое называется Первой областной научно-практической конференцией по сепсису. Больше всего благодарна Вахтангу Гавриловичу за рубленую фразу, скреплённую отрицающим жестом: «И никаких варягов звать не надо!»

И то правда: варягов этих развелось, и все спешат. Одни – учить, другие – с подачками, третьи откровенно в карман лезут. Четвёртые меч поднимают... Недавно слышу в трамвае в адрес объегоривших нас президентов: «Разваливать ума не надо, попробуй сделать лучше, чем было». Но то в трамвае, а это же чуть не с вершины седого Кавказа – выжимая из двух микрофонов громоподобные раскаты к бескрайним потолкам бывшей ВПШ (высшей партийной школы), куда-то в балконные пределы, набитые врачами и студентами, умудряясь нажать на каждое слово: «Век сепаратизма, в век разъединения – все соединяющие силы заслуживают всякой поддержки!» Можно больше ничего не узнавать о человеке и полюбить его, как брата, за одни эти слова. Но Бочоришвили ещё и артист великий: виртуозно сумел в тональности доброго юмора словесным росчерком создать характеры профессора Нины Петровны Макаровой, научного руководителя центра, стар-

шего ординатора Татьяны Сергеевны Петровой и заведующей Аллы Анатольевны Бородиной – трёх русских женщин, вложивших свои силы, ум, талант и волю в дело создания центра.

...Никогда не гонялась за сенсацией, а тут она сама погналась за мной. Приглашение на конференцию и зарубежную информацию по СПИДу я получила почти одновременно. Оказывается, учёные из Германии, США, Венгрии и других стран давно уже расценивают истерию вокруг СПИДа как самый крупный научный скандал конца XX века. Немецкий журнал «Раум унд цайт»: «Миллиарды, брошенные на исследование вируса ВИЧ, обеспечивают десятки тысяч научных карьер, за счёт «теста на СПИД» живёт большой бизнес, а за счёт «просвещения» в вопросах СПИДа – целые отрасли промышленности и политические направления». Это называется – «приехали»! Оказывается, сегодня сепсис (в просторечье – это заражение крови) несравненно страшнее СПИДа.

Вот и академик Бочоришвили подтверждает: «От сепсиса сейчас умирает по крайней мере в двадцать раз больше, чем от СПИДа, в Америке – около 300 тысяч в год!» Противосепсисный центр Бочоришвили был первым в стране. Он возник в полуразрушенном отделении, но это же «пустяки» для человека, умеющего смотреть не только прожигающе и твердо, но и грустно, и даже как-то растерянно: «Всякий тяжёлый большой для меня есть поиск собственной вины... Существует страшный разрыв между достижениями науки в отдельных областях... и их интеграцией, это мучит меня. Ведь специализация, сама по себе очень важная, дошла до того, что если не дополнить её интеграцией, то не только толку не будет – клиническая медицина не сможет оставаться безопасной. Что такое сепсиология – это и есть интеграция наук».

–Да, но возможно ли гармоническое развитие всех наук?

–Одна ампула противооспенной вакцины стоит больше, чем всё завоевание космоса!

–А как возникли контакты с нашей второй хирургией? Вы сегодня сказали о Татьяне Сергеевне так лирично: первая ласточка.

–В 1979 году... Это сейчас легко всё увидеть и оценить, пятиэтажное здание нашего республиканского центра выглядит внушительно. А тогда доктор Петрова и в захудалом отделении сумела увидеть ДЕ-ЛО! (Это Таня, подруга Марии с детства.)

–Вахтанг Гаврилович, как вы думаете, может ли быть специалист, и врач в том числе, хорошим специалистом, не будучи патриотом своего народа?

–Вы задали очень сложный вопрос. Наверное, может... Другое дело, что мне не нужен такой специалист, если он не патриот своей Родины. Вот это уж точно!

–Вы состояли в КПСС?

–Безоговорочно. Я же офицером был 17 лет и четыре месяца, так что состоял...

–Были военным медиком?

–Да-да, на военной службе защитил и кандидатскую, и докторскую. Я ленинградский специалист. В Ленинград я приехал старшим ординатором, уехал профессором.

–Сколько вам лет?

–Много! Шестьдесят восемь. Исполнилось 25 марта по дороге сюда, в Екатеринбург.

–Проблемы национального возрождения вас тоже волнуют? Мы все болеем этим.

–Конечно, конечно. Спасать надо русскую нацию в первую очередь, не грузинскую – рус-ску-ю! Тогда все будут спасены.

–Вы, конечно, знаете свой язык, грузинский...

Бочоришвили счастливо смеется. Я прошу его почитать Руставели. Он, победно глядя, заводит бессмертную песнь великого поэта.

Я не понимаю ни слова, но почему-то начинает теснить в груди, я точно поднимаюсь выше, выше и с каждым шагом всё невыносимее жалею всех людей и все народы. Мой диктофон давно не пищит, но я не чувствую этого, потому что он не мой – прокатный, и я не знаю, что он может предать, остановить плёнку на полуслове.

Странная история: на другой день, когда иду готовить радиопередачу на студию «Город» и это предательство обнаруживается – особо и не горюю. Первые строки Руставели всё-таки выйдут в эфир. Мы венчаем их с балалайкой Юрия Клепалова, они стоят друг друга. И потом – ещё не вечер. Противосепсисный центр будет расти по всем законам роста – городской, областной, республиканский. Бочоришвили, конечно же, приедет на Урал не раз. Тогда и запишу...»

Там же, в апрельском номере газеты «На смену!», портрет Бочоришвили, сделанный Юрием Трофимовичем Подкидышевым. Это 1992 год.

Сегодня стоит совсем пустой огромный корпус уничтоженной больницы скорой помощи, Марии давно нет на этом свете, разве что в моём сердце... Через месяц после этой публикации она обнаружила у себя шарик опухоли. А Юра Подкидышев живёт сейчас в уральском рабочем посёлке, где когда-то стояла наша круглогодичная геофизическая партия, из которой я ушёл в армию.

НОСТАЛЬГИЯ

(письма бывшего белогвардейца)

С 1927 по 34-й год Фёдор Субботин писал письма в Россию. Их сохранила Александра Александровна Субботина, мать Татьяны Сергеевны Петровой, Тани, подруги Марии. (В это же время мой дядя Ваня, Иван Михайлович Марков, писал письма своим друзьям в Канаду – Васильеву и Дерману.)

Окт. 31, 1927. Сан-Франциско.

Милая, дорогая Шурочка:

Мы все трое поздравляем тебя с днём Ангела. Шлём самые сердечные пожелания окончить университет. Мы очень и очень хотим тебя видеть доктором. Завтра я получаю моё жалование и смогу перевести десять долларов. Я их перевожу Мане, как и раньше, а они уж будут переводить тебе. До сих пор ещё не получил от Мани, да и вообще из дому письма с подтверждением получения двух предыдущих переводов.

Спасибо за твоё хорошее письмо. Рад, что ты начала второй год.

Как хорошо, что Витю освободили от военной службы. Я знал, что его не возьмут, так как у него ещё мальчиком было очень плохое сердце. Было бы трудно, если бы его взяли. Так как я понимаю – он является большим помощником вам. Жалко, что он не пишет мне.

Очень беспокоюсь о Мане. Удастся ли ей найти работу?

Шурочка, пиши мне подробнее и чаще. Нужно поддерживать духовную связь друг с другом. Может быть, ещё много лет пройдёт, прежде чем Бог поможет нам опять увидеться. Трудно рассчитывать, чтобы я смог вернуться скоро – даже из-за материального положения. Проезд стоит больших денег, а нас уже трое. До сих пор нам не удавалось что-нибудь скопить. Только купили собственную мебель пока что.

Напиши, когда Вася и Липа ждут ещё прибавления семейства.

Крепко, крепко целуем нашу родную Шурочку.

Федя, Люба, Борис.

Ноября 1, 1927. Сан-Франциско.

Дорогая Шурочка:

Как мы рады за тебя, что ты учишься. Правда, тебе приходится трудно, т.к. кругом нехватки, но уже то, что жизнь полна, что есть интерес к работе – этого одного достаточно, чтобы скрасить жизнь.

Желаем тебе сил, ума и здоровья.

Я бы очень хотел, чтобы ты поехала в Москву с экскурсией, о которой ты писала, но, к сожалению, не могу ничем сейчас помочь. А те регулярные мои 10 долларов, я думаю, недостаточны. Ну, если ты не уехала, то случай ещё представится. Я всё надеюсь, что когда-нибудь я смогу вам прислать и больше, но пока что еле еле свожу концы с концами.

На днях опять переведу Мане деньги. Ты жалуешься, что Маня тебе не пишет. Я не знаю, отчего это. Неужели вы способны поссориться или отдалиться друг от друга? Напиши ей сама.

Я Мане напишу на днях, т.к. очень беспокоюсь, устроилась ли она. Мне её очень жаль, т.к. ей пришлось и приходится до сих пор много нести на себе. По-видимому её жених – постоянный и хороший молодой человек, т.к. они всё ещё терпеливо ждут, когда смогут пожениться.

Вот, Шура, и у тебя скоро может появиться женишок. Будь очень осторожна в этом деле. Женщине приходится так много нести на себе. Во всяком случае, я очень хочу, чтобы ты сначала кончила университет. Это настоятельно необходимо.

Лёля и Витя мне совсем не пишут. Лёля, вероятно, из застенчивости, а Вите совсем не простительно. Я Лёле напишу к Рождеству сам.

Пиши мне подробнее о себе, о всей жизни и мелочах, т.к. всё же я смогу тогда представить, как вы живёте. Очень бы хотелось иметь со всех карточки.

Мы, слава Богу, живём благополучно. Люба тебя целует и шлёт привет. У Бориса уже 4 зуба. Я его зову “зубастая щука”, а он смеётся. Становится совсем взрослым. Он почти никогда не плачет, играет сам с собой, т.к. по-здешнему ребят на руках носить и нянчиться с ними не рекомендуется.

Мы всех поздравляем с наступающим Рождеством Христовым и Новым годом, желаем всего самого лучшего. Не забывай, какими хорошими и незабываемыми родителями нас одарил Господь Бог. Не убивайся очень, что их нет, т.к. это такой уж неперемный закон. Будь сильной духом, заботься о себе и создавай свою собственную жизнь.

Крепко целуем.

Дек. 27, 1927.

Дорогая Шурочка, мы очень рады, что твои занятия идут успешно, и желаем тебе сил и здоровья для дальнейшей работы.

Пишу тебе на третий день Американского Рождества – уже сидя в конторе. Мы встретили Рождество по-американски, т.к. большинство приходят поздравлять в этот день. Но всё-таки настоящий праздник будем праздновать по русскому стилю, т.е. 8 января по-здешнему. У нас большая ёлка – Борису очень нравится, потому что масса разноцветных игрушек.

Как-то встретите и проведёте Святки вы. Хорошо, что вы опять будете вместе. Нет ничего дороже и нет более сильной привязанности, чем семья. Старайтесь всегда быть ближе друг другу.

Мне всегда очень тяжело сознание, что я надолго оторван от всех. Неизбежность делает эту тоску и боль тупой, ноющей раной. Всегда, когда начинаю думать о нашей прежней жизни, о дорогих покойных папе и мамочке, – всегда чувствую себя таким несчастным и одиноким. Но, конечно, распускаться не приходится, т.к. жизнь идёт и требует сил и энергии.

Вот теперь новые заботы и тревоги – наш дорогой сынок. Слава Богу, пока мы только радуемся – он такой здоровенький и счастливый. Уже стоит на своих ноженьках. Приходится не спускать с него глаз, т.к. он ни минуты не бывает спокоен – всё двигется, куда-то торопится, лезет.

Я очень радуюсь, что тебе пришлось по душе медицина. Да и твоё желание выбрать специальностью детские болезни – мне очень симпатично. Прибавь к этому акушерство – и будет обширное поле для полезной работы.

По моему мнению, лечить болезни – хорошо, конечно, но лучше всего способствовать тому, чтобы выросло здоровое и умеющее заботиться о здоровье молодое поколение. Иными словами, наиболее благотворной деятельностью я считаю предотвращение болезней и способствование распространению простых и элементарных знаний о медицине и гигиене среди обыкновенных людей.

Я тебе когда-нибудь опишу, как прекрасно эта область разработана в Америке.

Не благодари меня за присылку денег. Я считаю моим долгом сделать всё, что могу. Конечно, нам приходилось и приходится тяжелемко, но всегда, если только смогу, я буду посылать. Если всё будет благополучно, то можешь надеяться на мою посильную поддержку регулярно и каждый месяц. Только болезнь или безработное состояние могут помешать, но пока Бог хранит.

Люба шлёт привет и целует. Передай привет всем нашим.

Крепко тебя целую, родная сестра.

Любящие Федя, Люба, Борис.

24 марта, 1928. Сан-Франциско.

Дорогая Шурочка:

Христос Воскресе! Трижды целуем и поздравляем с днём Светлой Пасхи. Желаем хорошо освежиться душой и отдохнуть от трудных занятий. Второй курс ведь, насколько я знаю, самый трудный. Так много сухой теории, которая с трудом усваивается и усыпляет. Но напряги свои силы и волю – и одолей этот курс. Если даже будут неудачи – не унывай. Не бойся, если даже придётся провалиться на некоторых предметах. У тебя, я вижу, твёрдое намерение закончить и выбиться на путь широкого и полезного труда. И конечно, тебя временные трудности и разочарования не испугают.

Самое главное – не переутомляйся. Я как большой, очень большой радости ожидаю твоего окончания. Это будет для меня праздник. А кроме того, если ты окончишь, только подумай, как были бы счастливы папа и мамочка. Мамочка особенно, она всегда была готова отдать последнее, чтобы мы учились. Я помню, как её радовали мои успехи. А её радость и для меня была как живая вода – и я с удовольствием учился.

Очень рад за то, что тебе удалось добиться стипендии. И тебе, и нашим будет немножко легче. Я по-прежнему буду посылать ежемесячно, пока всё благополучно.

У нас всё хорошо. Бориса Люба уже не кормит. Он питается коровьим молоком, манной кашей и тёртыми овощами (морковью, шпинатом и артишоками). Здесь круглый год можно иметь зелень. Кроме того, он с первого месяца пьёт рыбий жир. Сейчас ему 10 месяцев, весит 27 фунтов.

Я был очень рад вашей карточке. Вы все такие большие и такие милые, что я, кажется, ещё больше вас люблю.

А карточка милого папы вызвала слёзы на глазах. Так его жалко – и особенно жалко потому, что я его так и не увидел, хотя и мечтал об этом, и не облегчил хоть немного его жизнь перед смертью. Ему так и пришлось трудиться до самой смерти.

Милая Шура, не забывай и пиши обо всём: о занятиях, об интересах, о твоей жизни, намерениях и планах – обо всём. Я с радостью пишу вам, т.к. этим мы становимся ближе друг другу.

Напиши, что будешь делать летом и была ли на Пасху дома? Летом хорошо бы тебе пожить у тётки Дуни и отдохнуть среди деревенского раздолья, даже хорошо и поработать в деревне.

Октября 28, 1928.

Дорогая, милая Шура:

Я бесконечно виноват перед тобою, т.к. долго, кажется месяцев пять уже, тебе не писал. Наконец собрался и надеюсь, что письмо ты получишь ко дню Ангела. Мы все целуем и поздравляем тебя, дорогую именинницу. Желаем тебе, чтобы жизнь твоя сложилась в красивую, осмысленную и полезную работу. Конечно, желаем тебе успеха на выбранном тобой поприще.

Мы очень интересуемся, как начался для тебя твой третий год в университете. Много работы? Хорошо ли устроилась, как здоровье? Ты мне тоже не писала очень долго – вероятно, становится неинтересно пересылаться с далёким братом, которого ты, наверно, не так уж хорошо и помнишь. Маня мне тоже мало пишет, а другие и совсем не пишут.

Пожалуй, это и нормально, т.к. трудно любить и ощущать то, что далеко, далеко... Но в то же время надо хотя бы рассудком стараться по возможности сохранить близкие родные чувства. У нас с тобой могла бы быть не только родственная переписка, но и вообще интересная. Мы могли бы делиться мыслями, убеждениями. Я очень интересуюсь жизнью и событиями в России, но кто мне может написать об этом? В тоже время тебе, вероятно, было бы интересно многое об Америке – стране, которая живёт на 50 лет вперёд других, а особенно нашей России.

Во всяком случае, Шура, не забывай, что мы родные друг другу.

Мы живём так же – по-прежнему вся наша жизнь и интересы сосредоточиваются на Борисе. Он с каждым днём заметно растёт. Уже бойко бегает, а на улице часто берем его не в колясочке, а за ручку. На улице его всё интересует: автомобили, трамвай, собаки, кошечки. Он даже каждый дом старается потрогать ручонкой. Говорит он: папа, мама, на, бросил – и много лепечет, чего мы ещё не понимаем.

Сейчас мы заняты расчётами и мыслями о Любиной поездке к родным в Китай. Вероятно, она поедет весной около Пасхи – конечно, с Борисом, и пробудет там месяцев восемь. Это будет стоить очень дорого – и то мы еле-еле накопим на проезд вперёд. А на проезд обратно должен буду копить я здесь, когда буду один, т. к. одному жить дешевле. Собираемся переменить квартиру на более дешёвую – и вообще, чтобы скопить лишние 10 долларов, приходится себе отказывать во всём.

Хорошо, что Люба – хорошая хозяйка и понимающая подруга в жизни – не жалуется на лишения и недостатки. Хотя в душе я её жалею, т. к. за последние полгода мы никуда и “носу не показывали” – ни одного платья не сделали. Она была больна, а не было лишних денег, чтобы сходить к доктору.

Ей, вероятно, легко всё это перенести, т.к. она живёт мыслью увидеть свою родную мать, братьев и сестёр – и показать нашего Боря. Что бы я дал, чтобы опять увидеть мамочку и папу. Время сглаживает остроту утраты, но память о них жива и всегда будет жить.

Напиши, Шура, о себе. Каковы твои планы, какова жизнь... Интересно ли живёшь. Какими идеями увлекаешься? (Ах, он, наверное, ещё не понимал, что на это можно ответить только так: идеями Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. – Б. С.) По-старому, я бы спросил: как живёт студенчество? Но ведь студенчество не естопроделённая группа – как интеллигенция, рабочие и т. п. – а потому не должно иметь определённого лица, а только учиться, пройти этот путь, чтобы уж потом проявить себя.

Как тебе и нашим живётся в материальном отношении? Как ты живёшь, питаешься, как одета и обута. То же самое напиши о наших дома. Я постараюсь так же посылать, как и раньше, – покуда смогу и пока всё благополучно, т.к. думаю, что вам ещё труднее, чем нам.

Когда я думаю о вашем будущем, я не беспокоюсь ни о Мане, ни о Вите, ни о тебе, т.к. вы каждый на своей дороге. Вам не будет хуже, чем вообще среднему работнику вашей специальности в России. Но меня берёт страх за Лёлю, т. к. у неё нет зацепки в жизни. Ей нужно бы учиться чему-нибудь: на сестру милосердия или на машинистку. Вообще – вам там виднее, да и ты повлией на неё.

Ну, милая Шура, ещё раз поздравляем и целуем. Желаем успеха. Не забывай и пиши. Твои Федя, Люба, Боря.

P. S. Собираешься ли на Рождество домой? (Смешной – он, наверное, полагал, что в СССР существуют Рождественские каникулы; студенты в это время всегда сдавали зачёты и экзамены.) Береги себя, здоровье и силы. Старайся разбираться в каждом человеке. Будь осторожной.

Дек. 24, 1928.

Дорогая Шура:

Только вчера получили твоё хорошее письмо. Для меня всегда тот день, когда я получаю письма из дому, – день радости. По-видимому ничто и никогда не сгладит того чувства привязанности и любви, какое у меня к вам.

Правда, письмами не выразишь всех тех мыслей, тревог и советов, кои проходят через голову в те моменты, когда я думаю о вас.

За тебя я радуюсь, что ты выходишь на настоящий путь, что тебе нравится твоя будущая работа. Но в то же время и тревожусь, т.к. знаю, насколько трудна твоя жизнь в материальном отношении и как трудно заниматься. К сожалению, моя материльная помощь слишком мала, чтобы заметно облегчить вашу жизнь.

Но все лишения и трудности ничего не значат, если не оставляют неблагоприятного следа на здоровье. Такие лишения, когда здоровье не страдает, только закаляют человека.

Ты пишешь, что все люди эгоисты, что никому нет никакого дела до вас, и каждый занят самим собой только. Это такая правда, над которой нужно больше позадуматься и сделать выводы. Конечно, не нужно самой сделаться такой же эгоисткой, как и другие, но нужно быть практичной и самой строить и укреплять своё материальное положение.

В будущем, когда ты будешь зарабатывать, – нужно научиться знать цену деньгам и беречь их (чтобы от них слишком не зависеть). Деньги дают такие возможности и такое положение, которое приносит полную свободу от людей.

Я очень жалею, что у тебя нет возможности покупать учебники. Но помни, что настоящая школа у тебя впереди – после окончания университета, и тогда ты сможешь тратить и постепенно составить хорошую медицинскую библиотеку. Врачей делает не университет, а дальнейшая работа, вдумчивость и занятия.

Мы начали праздновать Рождество по-новому, т.е. сегодня. Конечно, будем праздновать и по-старому. У нас большая ёлка для Бориса. Сколько у него было радости в глазах, когда он проснулся и увидел блестящую ёлку, а под ёлкой – его подарки. Папка купил ему деревянный велосипед – трёхколёсный, без педалей. Он уже умеет кататься. Отталкивается ножонками и ездит. А мамочка – мохнатую собачонку-игрушку. Он так любит собачек, что целует её и кладёт с собой спать. Знакомые подарили ему ещё игрушки, – но эти самые любимые. Он уже говорит некоторые слова. Говорит свободно Маня и Битя (вместо Витя). Шура и Лёля ещё не говорит.

Люба шлёт тебе привет.

Я надеюсь, что когда-нибудь настанет время – и мы встретимся и проживём вместе. Как ни хорошо в Америке, а всё же Россия ближе сердцу. К сожалению, трудно сказать, когда мы вернёмся. Да временами думается: никогда.

Сейчас, когда у меня семья и ответственность, сдвинуться с места – даже при возможности возвращения – трудно. Нужны будут большие деньги на один только проезд, – а неизвестно, какая ещё работа будет в России.

Деньги же достаются и откладываются с трудом. Жизнь здесь вся построена на быстром их обращении. Они приходят с трудом, а уходят так легко. Всё дорого, и каждый шаг стоит денег.

Хорошо, что Люба у меня очень практичная. Благодаря ей при моём скромном жаловании я смогу ещё посылать вам, – да ещё копим на её проезд домой. Правда, у нас лишений нет, но приходится выкраивать и высчитывать каждый доллар.

Тебе будет, вероятно, интересно наше, т.е. всех русских, мнение об американских врачах. Конечно, здесь много хороших и знающих врачей, но в среднем американский врач очень плох и является скорее дельцом, чем настоящим доктором. Мне лично с ними сталкиваться ещё не приходилось, т.к. здесь много русских врачей, но то, что амер. врачи очень плохи, – общее мнение.

Зато госпитали, санатории и социальная гигиена здесь удивительно хорошо поставлены. Объясняется это опять-таки удивительной деловитостью американцев. В этом они прямо чародеи. За что бы ни взялись – всё доводят до совершенства.

Милая Шура, заботься о своём здоровье – и заботься сейчас, пока оно ещё не подорвано. Очень трудно жить с разстроенным здоровьем, да и очень трудно его поправить. Я не столько верю в силу медицины лечением творить чудеса, сколько путём предотвращения заболеваний – оздоровить народ.

Интересно, какая специальность тебе больше по сердцу?

Пиши мне чаще. Пусть эти письма войдут в привычку, – тогда это будет легко. Я всегда буду отвечать с удовольствием, т.к. вы – живая связь со всем, что было и есть дорого моему сердцу: Россия, моё детство и юность, дорогие наши папа и мама, да и все вы сами – мои дорогие малышки Шура и Лёля, Витя и Маня. Я вас никогда не забуду и всегда всё, что в пределах моих возможностей, сделаю для вас.

Люба вас тоже полюбит, когда узнает, а мой дорогой Боренька, конечно, будет любить.

29 июля, 1929.

Милая Шурочка:

Только что получил твоё письмо, писанное из Свердловска, – а то я уже собирался писать тебе. Рад, что учебный год прошёл благополучно, – и поздравляю с переходом. Ты, можно сказать, “без пяти минут доктор”.

Перед тобой открывается жизнь, полная возможностей и интересов. Очень хочу тебе выразить моё самое глубокое убеждение о жизни. По-моему, это великий дар Бога, давшего нам разум, чтобы понимать; сердце, чтобы чувствовать, и тело, чтобы ощущать её, жизни, пульс, её красоту. Это три барометра – и жизнь постольку хороша, поскольку она отображается этими барометрами.

Все тёмные стороны жизни – это результат личного безразличия, отсутствия энергии и воли. Храни в себе всегда чисто эти три вещи: разум, сердце и тело, – и помни то, что в твоей душе осталось от папы и мамочки – и ты будешь счастлива.

Ты уже задумываешься, судя по твоему письму, о будущей специальности. Выбирай себе по душе и не забывай практическую сторону. Напиши мне больше, что вы понимаете под профилактикой, и как она практикуется. Я в медицине мало смыслю и знаю о ней только общее определение, как предотвращение болезней и прививки.

Я сам мечтаю, что в будущем когда-нибудь ты сможешь приехать в Америку погостить. Но пока ещё думать рано, т.к. ни у нас, ни у тебя нет для этого денег. То же касается и меня. Я тоже думаю о будущей поездке – полетел бы прямо, – но крылья надломлены.

Мне приятно одно, что я доставил Любе эту поездку. Доехали (в Харбин) они хорошо, хотя Люба помучилась, т.к. с ребёнком много хлопот и тревог, а путь был дальний – больше 3-х недель. Вот уже около трёх месяцев, как они гостят у бабушки.

Борис здоров, очень много говорит и всему подражает. Мне даже странно читать, как Люба пишет, что он говорит целыми фразами на своём ломаном язычонке: “Дайте Боби тивакак (шоколад), потятя (пожалуйста), Боби очин хочит”. Их там любят и балуют.

Последние две недели я за них волновался из-за событий на Дальнем востоке. Там ведь чуть было не вспыхнула война. А они ведь в самом центре событий – Харбине. Как будто всё входит в берега, и я немножко успокоился, хотя писал Любе: в случае возможной опасности – выезжать.

Сам я живу одиноко и очень скучаю, т.к. жили мы очень дружно и хорошо. Неимоверно скучаю по моём сыночке, которого я люблю больше жизни. Времени свободного много, но всё же ничего особенного не делаю. Начал играть в теннис, в хорошую погоду езжу купаться (по праздникам), читаю. Развлекаюсь очень редко, т.к. стараюсь скопить поскорее на обратный проезд. Здоровье – слава Богу. Дела по службе – тоже ничего, хотя такая масса перемен, что трудно сказать за будущее.

Большого продвижения нет, хотя жаловаться нельзя, т.к. я получаю выше среднего. Здесь такая масса образованных людей и хороших работников.

Энергия и созидательный труд возведены здесь на степень божества. Страна благодаря этому процветает: нет бедности, изобилие всего. Нам, привыкшим к страданиям и несчастьям, какие мы видели в России до и после революции, казалось странным видеть весёлые и довольные лица, улыбки, доброжелательность. Люба и сейчас пишет, что её больше всего поразили грубость, подозрительность и недоброжелательность среди русских в Харбине.

Она между прочим пыталась соорудить вам посылку, – но оказывается невозможно. Хотела перевести денег, т. к. оттуда выгоднее. Я ей писал и думаю, что она успела, так что 1 августа я отсюда не пошлю и буду ждать её письма.

Хорошо, что ты устроилась на лето на жалованье. Да и работать приходится только три часа. Заработанные деньги пригодятся как нельзя лучше. Вообще, Шурочка, постарайся научиться ценить деньги и зарабатывать побольше. Они, как ни странно, – главный двигатель жизни. Нельзя слепо и безразлично к ним относиться.

Я не проповедаю жадность и скупость, т. к. и сам не стремлюсь к богатству. Но всё же всякий прогресс в личной жизни – всё даётся через деньги.

Вот ты поживёшь среди своих, отдохнёшь, и Бог тебя благословит на последний учебный год. Папа и мамочка порадовались бы на свою младшую дочку. Но их нет! Зато мы все – и я особенно – будем рады душою за тебя, когда ты кончишь!

По окончании не отрывайся от своих – Мани, Лёли, Вити и Васи с семьёй, т. к. ничто на свете не заменит кровного родства. Не забывай меня, не ленись и не стесняйся писать.

НЕ торопись выйти замуж. Поживи самостоятельной жизнью. Будешь постарше – лучше сумеешь разбираться в людях. Знай, что обязанности жены и хозяйки возьмут у тебя твою независимость. Ну, а если соберёшься замуж, то желаю тебе настоящего человека, который был бы сильным защитником и сумел бы дать тебе независимую и обеспеченную жизнь.

Вот видишь, как я много тебе высказал всякой всячины.

Пиши мне из Свердловска обо всём и вся. Я всегда прямо счастлив получением писем. Жду письма от Лёли в ответ на моё. А на Витю я обижаюсь, т. к. больше года он мне не писал.

Я понимаю, что это новое бурное время порождает новые взгляды и убеждения. Да я и сам не враг всего нового, – скорее сочувствую, так что не бойтесь писать о своих новых взглядах и убеждениях, – даже прошу писать. Мне интересны вопросы религии, брака, собственности, управления и тысячи других. Вот напиши мне подробно о браке и его формах и о семье в следующем письме.

Пока прощай, моя дорогая Шурочка. Твой брат Федя.

(27 год?).

(...) Служба моя идёт хорошо. Каждые полгода будут немного прибавлять. Сейчас хватает на жизнь – вероятно, зимой буду искать вечерней работы. Мне полагается в сентябре платный отпуск на 2 недели. Отдохну – но поехать никуда не сможем, т. к. нет средств – да и Борис ещё мал. Думаю просто провести эти 2 недели на воздухе – в парке и на берегу океана. Купаться здесь в океане нельзя, т. к. несмотря на то, что Сан-Франциско расположен очень южно и климат тёплый – его задевает в океане холодное северное течение, и вода холодная.

Печень моя меня беспокоит меньше, но всё-таки я её вылечить не могу. Приходится осторожно выбирать пищу. К докторам обращаться выше моих средств. Вообще здесь лечиться безумно дорого. Прекрасные госпитали, чудное оборудование, масса разных специалистов – но всё стоит денег.

Чем дальше, тем больше теряю связь с Россией. Как там живётся? Удовлетворён ли народ? Хотя я не думаю, да и не хочу, чтобы ты погружалась в политику. Вообще нужны честные люди и образованные работники – чтобы сеять “разумное, доброе, вечное”, как в стихотворении Некрасова. Слишком много зла, ненависти и крови пролилось в эти 10 лет. И не мечом и огнём создаётся добро. Вот почему я не могу вернуться.

Будь, Шура, знающей, честной и хорошей, создай себе жизнь и будь примером другим.

Ещё раз целуем тебя, дорогая сестра. Любящий брат Ф.Субботин.

Окт. 23, 1929.

Милая Шура:

Ты напрасно извиняешься в своём письме за безалаберность. Каждое твоё письмо мне дорого уже потому, что это частичка тебя самой, – и потому, что это связь с прошлым, которое навсегда останется для меня дорогим.

Письма из дому получаю всё реже и реже. Сейчас жду фотографий от вас, о которых ты пишешь.

Ты уже получишь это письмо к концу первого семестра. Надеюсь, что занятия твои шли успешно. Рад за тебя.

Я уже поджидаю Любу – осталось меньше, чем 3 недели. Снял квартиру, завтра буду переезжать. Новый адрес: 3133, Washington street, San-Francisco, California.

Последние дни опять прихворнул из-за моей постоянной болезни – воспаления жёлчного мешочка. Вообще мне нельзя есть мяса, всего жареного, жирного, а я не берёгся. Когда Люба здесь, то домашний стол и её забота лучше, а без неё по ресторанам я опять испортил дело.

Сегодня именная память мамочки, и я её вспоминаю. Дорогая и незабываемая – такая, каких нет. Кажется, отдал бы всё, чтобы хоть на минуту увидеть её, поцеловать и сказать, как я её люблю и вспоминаю.

Не знаю, посылает ли Люба деньги из Харбина в связи с этими событиями. Если посылать было нельзя, то по её приезде я опять начну посылать отсюда. Как дела с твоей стипендией? Не нуждаешься ли? Как живут в материальном положении дома?

Хорошо, что вы живёте дружно, т. к. всякие ссоры и недоразумения недостойны людей, связанных родством крови, детей одного отца и матери. Мне всегда бесконечно жаль того, что я навсегда оторван от родных лиц. Но жизнь не знает жалости – приходится не только мириться, но и стараться найти новые интересы и пустить корни в новой почве.

У меня всё сосредоточено в моей семье. Люба и Боби – моё счастье и жизнь. Вот скоро они приедут и, даст Бог, заживём по-старому. Люба пишет, что Борис уже говорит, соображает и рассказывает сказки. Стал драчуном, но ласковый и умный мальчик. Не знаю, узнает ли он меня по приезде. Ему было около 2-х лет, как он уезжал, а теперь больше 2,5.

Люба пишет, что она там оделась, купила много вещей, т.к. они там в два раза дешевле, чем в Америке. Один из её братьев собирается в Америку, года на четыре – учиться. Он кончил зубную школу, но практиковать трудно, т.к. город переполнен зубными врачами. Ехать в Россию тоже нельзя. Поэтому он хочет приехать сюда, изучить язык, поработать и потом уехать обратно. Я его устроил на коммерческое отделение частного университета. Родные будут ему помогать, да и здесь он для начала найдёт физическую работу часа на 4 в день.

Пиши мне, Шура, и не забывай меня. Витя совсем меня забыл, Лёля – тоже, Маня и ты ещё пишете. Так не переставайте, а то мне будет больно и горько.

АМЕРИКА

Что такое «Америка»? Что такое Америка, где живут теперь ставшие американцами потомки белого офицера Фёдора Субботина? Откуда мне знать... Можно, правда, цитировать Горького – «Город жёлтого дьявола», но это слишком уж «круто». Есть кое-что помягче. Есть, например, размышления Георгия Гачева:

«Как каждое человеческое существо есть троичное единство: тела, души и духа, – подобно и всякая национальная целостность представляет собой *космо-психо-логос*, то есть единство местной природы (космос), национального характера (психея) и склада мышления (логос). Эти три уровня находятся в отношении соответствия и дополнительности друг к другу».

...В Англии обитает *self-made man* – само-сделанный человек. И там спрашивают не «как поживаешь?», а «how do you do», «как ты делаешь дело» – с двумя do, выражая интерес к тому, как тебе работается. И даже молитва «да будет воля Твоя» звучит «The will be done», «Твоя воля да будет сделана».

В Соединённых Штатах орудует не только «самосделанный человек», он ещё произвёл «самосделанный мир» американской искусственной цивилизации. Так что там – абсолютное преобладание принципа «ургии», труда – не природы, естества, «гонии».

...Общая концепция космопсихологоса США такова. Это мир ургии без гонии, т.е. искусственно сотворённый переселенцами, а не естественно выросший из матери-и природы, как все культуры народов Евразии, где ургия (труд, история) продолжают гоню в своих формах и где культура натуральна, а население – это народ. Здесь же население не на-род (нарожденность), а съезд, собирательность иммигрантов..., из многих одно. Но в начале именно не единое, а самостоятельность индивидов.

Переселение через Атлантику – это для человека как пересечение Леты в ладье Харона: смерть и новое рождение. Иммигранты – дважды рождённые, как брахманы в Индии. Пересечение Атлантики – акт пере-крещения (анабаптизм), инициации в Америку и забвения прежней жизни. Потому такую роль в американской символике играют Левиафан, Иона во чреве кита, кит Моби Дик, плот Гека Финна.

...Американец чужд вертикали растения как принципа бытия (а вместе с тем и идее корней, и долго-терпению: дай срок! – не дают здесь срока, но всё ускоряют). Растение – дело долгое, а тут всё некогда: нет времени выращивать своих гениев в науке и искусстве – давайте-ка переселим их, переманим-пригласим из Старого Света, и будет у нас всё самое лучшее: Эйнштейн, Чаплин, Стравинский, Тосканини и т.д.

...Перехлест ургии над гонией и в том, что тут искусственно производятся потребности (а они ведь обычно были прерогативой природы человека): рекламой навязываются изделия; а жизнь в кредит и пользование вещами в рассрочку есть явное житие в настоящем из будущего (а не из прошлого, как это привычно в Евразии, где отчизны, и отчий дом, и наследственный сундук). Из ипостасей времени (прошлое, настоящее, будущее) в Америке неважно прошлое, а важно настоящее, растущее спереди, из будущего, в него растворённое и оттуда подтягиваемое. Уолт Уитмен писал: «Я проектирую историю будущего!» И: «Я пою современно-го человека!»

...Современная Америка – это уже трагедия ургии. Об этом вся их научная фантастика (Брэдбери, Воннегут...). Машины вытесняют людей с работы. Человеческие существа удваивают, умножают свои усилия, чтоб состязаться с машиной, – отсюда стрессы у тех, кто временно побеждает в скачке, и неврозы у сошедших с дистанции. Почему бы не работать умеренно всем – 3-4 часа в день, прочее время живота посвящая радости жизни, самосовершенствованию? Так нет же: шофер такси, молодой человек 23 лет, рассказывал мне, как он работает на трёх работах по 78 часов в неделю, лишь воскресенья имея свободными, снимает комнату за 200 долларов, не имеет даже подружки, – и всё для того, чтобы скопить 125 тысяч, как он рассчитывает, к 30-31 летам, купить дом и тогда жениться. От жизни он не имеет наслаждений, становится всё примитивнее, – и чего ради?...» (Георгий Гачев. Национальный мир и национальный ум // Путь. Международный философ-

ский журнал. 1994. №6).

Ну, ладно... Это всё про Таню Петрову и её родню – от Урала и до Калифорнии.

МИЛА ЯШНИКОВА, СЕРГЕЙ КАБАКОВ, ЮРА ТРОФИМОВ

А про Милу Яшникову (отчасти) есть газетный текст 92-го года, озаглавленный «Не все потеряно!». Надо сказать, что Людмилу Карповну после убийства в 1993 году Юры Липатникова избрали председателем общества русской культуры «Отечество». Она потихоньку тянет эту ляжку до сих пор... Впрочем, вот текст Марии:

«Сильна ли Русь?
Война и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали -
Смотрите ж: все стоит она!

Пушкинские строки омыают душу, хочется, залившись слезами, восклицать: «Ваша любовь к России на вас и обернулась, она взаимна, неистончаема» - и еще что-нибудь возвышенное, сердечное, и все будет малость.

Когда мы с Людмилой Яшниковой предложили студии часовую радиопередачу в день рождения Пушкина, честное слово - не ведали, что творили. С легкостью необыкновенной набрала я телефон главного редактора и, только получив «добро», задрожала осиновым листом: эка замахнулась!

Десятитомное, юбилейное (к 150-летию), послевоенное издание Пушкина - все сразу, с первого по десятый том - я вытащила из книжного шкафа впервые. Нет, томики не новенькие (собрание было подарено мне матерью на одиннадцатилетие), но очутиться вот так, один на один, со всем наследием поэта, да еще имея целью уложить Пушкина в шестьдесят минут эфира... Но отступить было некуда.

Первые два дня я в упоении листала знакомые страницы, с умным видом делала закладки, выстраивала композицию: стихи прочтут актеры - Яшникова запеленговала их в крепостных стенах филармонии; прозвучат романсы и арии в исполнении оперных звезд; один-два романа споют студенты, которых Людмила Карповна откопала в новом гулком, как спортзал, здании музыкального училища имени Чайковского... Однако чем больше я делала закладок, тем более мрачнело мое поначалу просветленное чело. «Мчатся тучи, вьются тучи; невидимкою луна освещает снег летучий; мутно небо, ночь мутна...» - нет, только бесы могли нашептать такую идейку: запихнуть Пушкина в композицию. В эфире вольный пушкинский стих, - и вдруг к нему, как солдат с ружьем, - романс оперным голосом. Опять стих - опять солдат... Яшникова с полуслова приняла мои сомнения, и мы решили не мудрствовать лукаво, а просто по-домашнему собраться, принести стихи, гитару и положить на гений того, кто соединил нас в этот день, шестого июня, по всей России.

(Вдруг сейчас вспомнил: Лизу с новорожденной Машенькой 6 июня 1939 года выписали из роддома...)

Кое-как разместились в маленькой, недавно оборудованной студии, где еще пахнет известкой и невозможно втиснуть стул, не зацепившись за какой-нибудь провод и не стронув с места микрофоны. Но вот уж верно: в тесноте, да не в обиде. Нам сразу стало уютно, и каждый мог бы объяснить отчего: Пушкин сошел с пьедестала и очутился рядом, любя нас, сочувствуя нам, укрепляя наши нестойкие души.

«Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...» - голоса выходят из академического послушания, робко изливая нечто сокровенное. Последние звуки гитары поглощает новенькая звукоизолирующая обивка, и певица просит сделать дубль: в учебном заведении, где незыблемы исполнительские каноны, которые она преподает, могут не понять ее порыв петь Пушкина «без купола» (есть такой прием, заставляющий не́бо рефлексивно выгибаться перед выдачей высокого звука). Все машут на нее руками, понимая, что дубль - это сбой с пушкинского настроения, где нет места казенной заданности.

Впрочем, заданность ушла сама собой, когда кто-то прочел:

Не дорого цену я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов...

Тесное собрание наше загудело, как пчелиный рой. Не о том, что современнее Пушкина нет поэта (здесь было полное единодушие), но о том, остается ли этот самый современный поэт нашим национальным знаменем. «Нет! - утверждал один. - Сегодня для многих Пушкин - провал, черная дыра, знамя Пушкина при-спущено». «Не согласна! - протестовала другая. - Пушкиным пропитан воздух, мы дышим Пушкиным». «Если бы мы дышали Пушкиным - разве бы с языков наших летел во все стороны сор и пошлость, разве желание заглотив кусок колбасы подавило бы духовный голод?!» - «А откуда у вас уверенность, что и в продуктовой очереди человек не сочиняет стихи?!»

Пушкин, которым мы все-таки, видимо, еще дышим, сам снимал напряженку, потому что наше опасно разгорающееся, уже чуть ли не назойливо-политическое пламя вдруг гасилось трепетным, как свеча на ветру, девическим голосом: «Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила...» В нашей лодке, качающей нас в волнах

эфира, наступило умиротворение, мы снова мирно и блаженно произносили, выпевали, слушали пушкинские строки:

Цветок засохший, безуханный,
Забывтый в книге, вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:
Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положён сюда зачем?
На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?
И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?

(И жив ли тот, и та жива ли... 23 июля я принес моей умирающей Марии три розы - в воспоминание того дня, когда она подарила мне дочь. Две красные розы увяли и облетели, а золотая стоит по сей день в голубой хрустальной вазе - уже семь лет... восемь... девять...)

«А давайте представим, что испытала бы девушка, получив вот такое письмо», - говорит вдруг Яшников, загадочно раскрывая тетрадь: «Я вас любил: любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем; но пусть она вас больше не тревожит; я не хочу печалить вас ничем...» Смешно сказать, но сидим разиня рот, как будто и не слышали никогда этих летучих строк. Когда наступает пауза, у меня, у старой баушки на вате, вырывается: «Да-а! Такая уж не сказала бы «мне до лампочки». «Она бы сказала «ну ты круто-о-ой!» - брякает Таня Голубева, как будто нарочно приставленная к нам, чтобы мы не сбились с курса, не сфальшивили, отдавшись романтической восторженности. И мы счастливо и неприлично долго хохочем, попирая законы эфира, где нынче в минуту принято втискивать столько слов, что голова распухает, как пивной котел, а сердце остается пустым и растерянным. И вдруг опять кто-то серьезно, грустно: «Да, совсем по-другому мыслим, чувствуем, живем...»

Потом были звонки: учителя, работница типографии, молодой конструктор с «Турбинки»... Оказывается, вы были с нами - и те, кто отстоял в тот день в очередях, и те, кто холоден к проблемам желудка. Вы подпевали гитаре, и проговаривали знакомые строки, и очень хотели, оказывается, ввязаться в наше шутейно-серьезное...

Поздно вечером, уже из дому, созваниваюсь с Яшниковой. Рассказываю, как прошел день, который становится началом нового дня и новых дел, потому что узелки завязаны и на завтра, и на послезавтра, и на месяц вперед. Захлебываясь, выкладываю свои восторги и получаю «наказанье»: у нее тоже был день, и он, оказывается, в сто раз насыщеннее моего, ее блокнот раздувается пуще журналистского. Говорю: «На сегодня надо поставить точку. Почитай лучше Сергея...»

Это она всегда пожалуйста. И вот мы вчетвером в двенадцать ночи: она, я, телефонная трубка и стихи Сережи Кабакова:

Грянет солнце, словно гусли!
Выйдет люд его встречать,
Чтобы пляской разогнать
Медленную пряжу грусти.
И мелодия, взвихрясь,
Прогоняет всё, что было.
Время новое вступило
В неожиданную страсть.
Так крестьяне выходили
В новогоднюю страду
И невзгоды, как траву,
Гулким игрищем косили.
Словно лебеди они
Всё искали винограда,
Опьяняясь снегопадом
На оставшиеся дни».

Наш друг Сережа Кабаков — очень интересный поэт. Большой, грузный, бородатый. Муж певицы и сказительницы Лены Сапоговой. Ставил башмаки под вагоны на железной дороге, работал в литейном цехе, ездил в вагонах-холодильниках. Можно бесконечно повторять и плакать: «Словно лебеди они всё искали винограда, опьяняясь снегопадом на оставшиеся дни...». На оставшиеся дни... У нас их больше не осталось... Он родился в Алапаевске, где прожили большую часть жизни создатель музея русской

народной живописи Степан Гаврилович Коробов, русские народные художницы старенькие Христина Денисовна Чупракова да Анна Ивановна Трофимова. Ах, какие у Анны Ивановны акварели... Она жила на втором этаже деревянного дома – сначала с сыном своим Юрием, а потом одна. Работала в какой-то конторе («Заготскот» или «Заготзерно»), а уж когда вышла на пенсию... Юра приохотил её к рисованию, вместе писали простые и роскошные букеты, у меня стоит один за иконами. Пейзажи... Тонкое изящество и свобода, аромат, благоухание.

Алапаевск мечен, как Екатеринбург. Там томилась в узилище мученицы великая княгиня Елизавета и инокиня Варвара. Потом их живыми бросили в глубокую шахту недалеко от Нижней Синячихи. Да ещё великого князя Сергея Михайловича, князя Палея и трёх сыновей К.Р. (великого князя и поэта Константина Константиновича Романова) – Иоанна, Константина, Игоря. Гаврилыч ещё в начале восьмидесятых показывал нам это чёрное место в сосновом лесу. Теперь там монастырь.

За тридцать лет до этой треклятой алапаевской шахты К.Р. посвятил Иоанну, своему первенцу Ванечке, такую вот горькую колыбельную. Как он угадал? Впрочем, глухое дворянское недовольство и брожение не утихло с декабря мятежного и страшного 1825 года. Почва содрогалась, всё время что-то клочотало под землёй. Кончалось время, чуть не целый век, когда гвардейцы ставили баб-императриц и ходили у них разнужданными фаворитами. В фаворе, в случае... Мужики-императоры взнуздали их железной рукой, а выводилшь солдат на Сенатскую площадь – так на виселицу.

В тихом безмолвии ночи
с образа, в грусти святой,
Божией Матери очи
кротко следят за тобой.
Сколько участия во взоре
этих печальных очей...
Словно им ведомо горе
будущей жизни твоей...

Горе... В начале войны, в сентябре 1914-го был ранен в ногу и умер корнет князь Олег Константинович, а скоро – и сам К.Р.

Растворил я окно, –
стало грустно невмочь, –
опустился пред ним на колени...

В 83-м вышла «Колея» Майи Никулиной. Куда-то меня понесло... цепь ассоциаций... С ней в литературном каком-то узком кружке общался Серёжа Кабаков, а мы не знакомы. Ни я, ни Мария. Лишь однажды узнали: она взяла очерк Марии про музей русской народной живописи (и его создателя) в один из сборников. Да вот и к стихам Кабакова вступительная её статья, мир тесен: «Он весь из пространства дальнего – мифологического, докультурного, где наших канонов и нашей эстетической нормы просто нет, так что он вправе с ними не считаться: он ничего не знает о том, что великий Пан давно умер и что «недохлебных дорог» не бывает. Ему не надо понимать мир и – Боже избавь – перестраивать его, его дело – путь и слово».

В напряжении великом
мы идём по одному,
как Орфей и Эвридика,
друг за другом через тьму.
Напрямик к заветной двери.
Молод, смел и невредим,
так он любит, так он верит,
что идёт она за ним.
Вся прощенье и прохлада,
в новый жар и в новый день,
только азбучная правда,
только память, только тень.
Не зовёт, не окликает
и по правилам игры –
и ничья, и никакая
до загаданной поры.
Но успевшая быстрее
умереть
и оттого
не ведомая Орфеем,
но ведущая его.

Да? Может быть... может, и так... может быть, Мария с Божьей помощью теперь служит мне поводом... «Друг за другом через тьму...» Успела ли... успел ли поэт взглянуть и увидеть тот не вечерний свет, который «во тьме светит»? И тьма не объяла его... Жаль, я не умею писать стихи. Хоть всё время пытаюсь... Иногда. Но так вот просто не умею:

Сентябрь обступает. Сгорает душа.

Уходит в тепло поднебесная птица.

Пустеет дорога. И жизнь хороша,
как утренний скверик из окон больницы...

Двадцать пять лет нет-нет да и смотрела Мария из окон... из тех самых окон... да вот я там лежал
всего трижды... по пустяковым причинам... мне не понять.

Роясь во всяких бумагах, я нашел старые листочки. Рукой Марии написано: «Отрывки из стихотворных обрывков Юры Трофимова — те, что сгодились для нашего притязательного телевидения! Стихи талантливы — ясно ли это из обрывков?». Я уж теперь не помню, но выходит: Мария успела показать городу и миру двух чудесных алапаевцев — самостоятельную художницу Анну Ивановну и ее сына Юрия. Юра, кажется, был геологом, а потом стал зарабатывать на жизнь фотографией. Работал там в забубённом алапаевском быткомбинате. Мария показала и его необыкновенные фото, но это ничего не изменило в его дальнейшей жизни, в его судьбе. Наверное... Мы не можем знать... Нам не дано предугадать...

«И еще раз о девочке, которая попирала все законы
перспективы, цвета и композиции.

Она очень мне нравилась —
с грязным бантом и коленями
в садинах.

Она говорила: я буду раскрашивать...

Я дал ей белый лист, кисть, воду и акварельные краски.

Я чувствовал, что произойдет чудо:

город станет сиреневым, улицы — синими, небо — зеленым...

Люди будут добрыми-добрыми, а солнце ярко-ярко красным.

Глазами твоими окрашу застывшее небо,
Взгляда теплом согрею дрожащие звезды...

Знаешь,

как родилась моя любовь?

Читал глаза больных детей,

Слушал рост вдавленных в грязную жижу трав,

Вдыхал и пил чистый колючий снег.

Разбивал нос, губы, глаза о прозрачные стекла своего несовершенства.

Окрашивая кровью, познавал границы...

Смеялся глазами здоровых и плакал глазами больных.

Зеленая пышная поднималась во мне трава...

На этом, пожалуй, можно и закончить про то,

как родилась моя любовь,

если бы она родилась именно так.

В колодце утонули три птицы:

смех, любовь, грусть.

Где лицо твое камень

Где глаза твои камень

Где твоя вечность камень

Песок песок песок...

Есть искусство жить.

Есть искусство лгать.

Искусства быть правдивым — нет.

Какое чудо — это невесомое перышко птичье,

и эта пыль, дорожная серая,

со следами босых детских ног...

(Иногда я хожу в наш грибной лес — по дороге, недавно испорченной железным трактором, и вспоминаю легкий жёлтый песок на том же пути и наших маленьких девчонок... С ними мы идём купаться к ближней воде под берёзами, и они просят совсем ещё не старую бабушку Маню: а нам можно босичком? По тёплому песочку? Ольга и Таня... Потом одна из них скажет отроческим стихом:

Пахнет Россия весной,

солнцем нагретой сосной...

Пахнет Россия летом,

дикой сурепкой и ветром...

Пахнет Россия осенью,

прелой листвой на просеках...
Пахнет она зимой,
снежную целиной...
И в погоду любую
я Россией любуюсь.

Это Ольга. А теперь появилась третья девчонка – Мария, но нет уже на земле ни той глубокой воды, ни молодой бабушки, ни жёлтого песочка на длинной дороге, уходящей в лес... Мы уходим с ней в поле, где бродит чёрное, белое и красное коровье стадо, где дико кричит пастух и скачет наша рыжая собака с палкой в зубах. Идём по длинной дороге к дальнему тихому лесу.)

Может быть, это ветер...
Южный ветер зимой,
приносящий тепло и тупую боль.

Остановите солнце.
Пусть светит
светит
светит.
Оранжевое расплавится в желтом.
Не стучите громко —
проснутся сны».

Ольга... Она «не такова, чтобы свет благодати мог постепенно озарять её душу, и она закрыта от него, пока не произойдёт некоего потрясения и даже сокрушения её организации. Прикосновение к другому миру происходит в ней разом: ВДРУГ падает стена и виднеются четкие очерки снежных вершин. В это мгновение так же внезапно сознаётся Ольгой тщета её прежних замыслов и несоизмеримость всего мира, в котором жила она до сих пор, с миром ей вновь открывшимся. Она не хочет, теперь, воспользоваться собою как материалом для новой стройки душевного тела, и силы её направляются теперь на самообуздание, на борьбу со своей пышностью. Тут самоотказ есть основная черта Ольги. Она крепко запирает в себе свою мощь, не проявляясь ничем особенным вовне, и наиболее стремится к скромности и смирению. В это уходит она тоже безостановочно, как ранее – в роскошь жизни. И достигает своего».

Не знаю, точно ли угадал отец Павел Флоренский... Время покажет. «С данным именем можно быть святым, можно быть обывателем, а можно – и негодяем, даже извергом. Но и святым, и обывателем, и негодяем, и извергом человек данного имени становится не как представитель другого имени на той же приблизительно ступени духовности, не как угодно, а по-своему, точнее сказать – по своему имени. Многообразны доступные ему степени просветления; но все они суть различные просветления одной и той же организации, они восходят к небу по склонам одной вершины, но это не значит, что вообще существует лишь единственная вершина восхождения. Эта единая вершина есть их единое имя».

Так ли? «Борис – непреодолим, если захотят победить, *relus amatorius*». Жаль, я не знаю латыни.

«Мария, имя всеблагоуханное, лучшее из имён, не только женских, но и всех вообще, совершеннейшее по красоте, а внутри равновесное. Идеал женственности...

Свет его ослепляет меня, и я говорю о нём в плане высшем».

...Мы все тогда висели в воздухе. Почва ушла из-под ног. Или просто мы ее не видели? Жили в призрачном мире умирающей западной культуры. У Юры полки с книгами от пола до потолка. А на полу сидит сумасшедший Ван-Гог с отрезанным ухом в руке? Сумасшедший Ван-Гог, обезумевший Ницше, свихнувшийся Врубель... Одержимость? Но к счастью... К счастью, летом 1975-го на нас обрушилась Россия. Мария по делам службы оказалась в алапаевской Раскуихе и увидела свет Преображенского храма. Белые паруса. И тут же Степан Гаврилович... Они обнялись и заплакали.

РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТИ

— Мария Кирилловна, я... я сам как бы вот... Ну кто я такой — я сам себя спрашиваю? Мне кажется, вот сам элемент этой природы... Меня эти цветочки-птички воспитали. Я вот ихнее дитё. Оно так во мне всё живет... Я всегда жене говорю, что я счастливый. Родился под счастливой звездой. У меня четыре брата погибли, а я остался. Я всю войну прошел, я остался, Бог меня бережет...

Мария тогда делала музыкальную передачу для крестьян, раз в месяц, а потому иногда разъезжала по области. Из Алапаевска её повезла в Раскуиху какая-то местная начальница — в передовой совхоз (молодым теперь уж не понять, что это такое: «советское хозяйство», принадлежащее государству). Когда на горизонте показались кресты огромного белого храма, она стала оправдываться: дескать, тут у нас один дурачок решил церкву реставрировать... вроде памятник архитектуры... А у Марии слёзы текут.

Так вот у нас получилось — сначала храм, а потом Бог. Лет через пять-шесть Гаврилыч доверил нам свои дневники — и мы решили написать «Реставрацию памяти». Не знаю, на что рассчитывали. На дворе стоял 1982 год, слово «русский» было по-прежнему под запретом... Валерий Ганичев недавно написал: председатель тогдашнего КГБ Андропов (с ноября — генеральный секретарь ЦК КПСС) был жутчайшим русофобом. Однако... Однако — наше дело написать, а там видно будет.

Страна тогда уже была неуправляемой. Тоталитаризм не имеет смысла — когда пытаешься централизованно управлять всем, не управляешь на деле ничем. Вавилонская башня обрушивалась, оседала, к ней уже поднимались клубы пыли... Впрочем, в 70-е годы башня казалась несокрушимой. Причем мы и не собирались ее сокрушать. Вокруг было столько по-настоящему интересных дел. Нас с Марией, наверное, можно считать людьми 70-х годов. Ах, как нам работалось в то время. Мария стены лбом прошибала, чтобы выдать в свет очередную радиопередачу. Вот, например, про Гаврилыча. Про алапаевского землеустроителя Степана Гавриловича Коробова. Вчитайтесь в его дневники:

«Как обычно, на работу и с работы мы с женой ходим вместе. Мне это время очень нравится. Идешь по улице среди знакомых или чужих людей — на душе ощущение радости. Хочется жить, долго жить, видеть ее глаза, слышать голос... Домой возвращались вместе с попутчицей. Молодая женщина. Зашел разговор о покупках, и жена стала вроде бы жаловаться, что никак не может купить ковер на пол. Говорила, мол, ему тысячу раз, и все бесполезно, все у него времени нету. Может, по-своему она и права, но я тоже не виноват. Купить можно этот дефицит, но придется тратить время... А молодушка сказала мне: «Степан Гаврилович, зачем вы расходуете столько сил? За общественную работу все равно вам никто и спасибо не скажет».

Ничего я ей не ответил. Пришел домой... Чувствую, что она не права, хотя высказалась вроде с пониманием дела, как проникательный человек. Наверное, просто она еще молода и многого в жизни не знает. Пока что живет тем, чтобы получить вместо двухкомнатной квартиры трехкомнатную и съездить в Ригу за мебельным гарнитуром. Со временем поймет, что счастье совсем не в этом...

В черновике подготовил лекцию «Народное искусство Алапаевского района», хочу читать её в райкоме КПСС, в исполкоме совета и еще кое-где. Это крайне необходимо. Я физически ощущаю безразличие к народному искусству. В повседневном быту мы не стали петь русские народные песни, в деревнях перестали водить хороводы. А какие это интересные танцы, величавые! Не стало увлекательных игр. Лапта, бабки, городки, качели круглые, качели на козлах, катание на конях, на санках с горы, взятие снежной горы... После Рождества ходили по домам ряженые. А взять русскую борьбу во время праздника, когда съезжались борцы со всей волости, состязались всю ночь у костра. Утром на рассвете прибежишь, а там на развилках все еще борются. Потом объявляют: «Круг унес Иванов из такой-то деревни!». Затем перетягивание на палке, упражнения с гирями. Состязания — у кого резвее лошадь. И что примечательно: во всех этих играх и развлечениях принимали участие все — и молодые, и пожилые.

Верх всего — деревенская свадьба. Это потрясающее, дух захватывающее зрелище, тут открывались все таланты. Сколько песен, интересных изречений... Таких представлений не знала, наверное, ни одна сцена мира... В народе жили легенды, сказания, сказки. И все это передавалось из поколения в поколение».

Степан Гаврилович реставрировал тогда в Раскуихе одиннадцатиглавый Спасо-Преображенский храм (сибирское барокко), чтобы создать там музей уральской народной живописи.

«В церкви совхоз разместил мельницу, в алтаре нижнего этажа — сушилку для зерна, остальное помещение было занято под склад. К 1970 году церковь находилась на грани гибели. Крыша между колокольной и храмом была раскрыта, купол второго этажа намок и позеленел, еще бы год-два, и мог обрушиться. Совхоз неоднократно собирался выломать стену в алтаре нижнего этажа, чтобы можно было заезжать туда на машине. Сильно был разрушен главный вход и выломаны оконные проемы. Штукатурка наполовину отвалилась, а кирпич выкрошился. Очень пострадали главки, местами пришлось заново делать кладку. Штукатурные работы приходилось вести по металлической арматуре. Стенная роспись в нижнем этаже была побита, в алтаре — закопчена парами и сажей от сушилки...»

«30 июля 1974 г. Совсем перестал вести дневник. Нет времени. Ушел в отпуск и неделями живу в Раскуихе. Плохо с финансовыми делами, обещали некоторые предприятия оказать помощь, но пока одни слова. Бригаду штукатуров два месяца не могу полностью рассчитать. В июле снял со своей книжки 800 рублей, еще отдал 200 рублей отпускных. А то бригада уже стала на квартиру приходить в полном составе. Сам нервничаю, и жена тоже.

В конце июля занимался с Анохиным побелкой и покраской фасада. Леса убрали, а 30 июля пошел сильный дождь. Я очень переживал, спешил, чувствовал — погода должна перемениться, и может фасад заплескаться грязью.

30 августа. Произошло важное для меня событие: наконец-то Махневский песчаный карьер и поселковый совет выдали мне на реставрацию 1900 рублей, 1300 из них вернул жене. Эти деньги лежали на книжке с тех пор, как продали корову и дом».

«28 марта 1978 г. Почти каждую ночь просыпаюсь в два часа и работаю до 4-5 часов утра. Перед этим часа два сплю. Да, это бывают, пожалуй, самые продуктивные часы моей жизни, самые, может быть, интересные минуты, когда рождаются идеи, решения. Жена каждое утро говорит: «Опять что-то ночью бормотал». Сейчас продумываю план экспозиции музея, делаю чертежи витрин, обмеряю экспонаты, привожу их в порядок и т.д.

Вечером еще раз посмотрел все расписные бураки (туеса), отобрал лучшие. На бураке простой рисунок, а радует глаз. Смотрю на живопись... и думаю: а ведь в этом вот и заключается духовная сила человека. Силен тот, кто видит красоту, она его питает. Еще раз убеждаюсь: сила духовная в народе живет и обогащает его через эти мелочи прекрасного. Умея вникать в них — в солнце, травушку, цветок, листья, — человек испытывает радость от самого процесса постижения жизни. Если удастся организовать музей... Какой это будет фильтр для очистки сердец и душ человеческих!»

Храм как несказанная красота... Архитектура... Трава, цветы, листья.. Туеса-бураки... Соблазнились...

поскользнулись, как на банановой кожуре. Когда-то сумасшедший герой Достоевского нам сообщил: «Красота спасет мир». Но кто увидел в романе, к чему привела увлеченность красивой фразой? Погибли Рогожин, князь Мышкин, Настасья Филипповна... А мы всё талдычим про красоту. Однако мир — это и есть красота, внешность, эстетика, лицо Настасьи Филипповны. Неужели это лицо спасется само собою? Космос в переводе на русский — КРАСОТА и порядок. Косметика... Живой труп. Нужен Спаситель, Логос, Христос... Нужна земная Литургия, чтобы воссияло небесное Воскресение. Но сегодня мы порабощены эстетикой, на иконы любуемся в музеях.

В алтаре, конечно, давно уже не сушилка... В храме самовары и колокольчики. Стенды с иконами, старыми книгами. Плащаница в плену... Фильтр для очистки сердец и душ человеческих? Мы тогда ничего не знали про покаяние. Может, еще успеем при жизни... Прости нам, Господи, ту хвалу, которую мы изладили во имя человеческого. Имени человеческому... Культуре... Хоть вроде и написали: «... Уходит смысл из храма, если устроить там сушилку и зерносклад, а если честно — и музей тоже. Но пусть уж лучше будет музей, чем зерносушилка...». Однако... Прости нас, не знали Тебя. Воспели прекрасную культуру, но забыли про душе-спасительный Культ. Так?

Не совсем... Были и там намеки, цитаты из Достоевского: «Красота — это страшная и ужасная вещь... Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут... Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Писали и прямо: «Мир — это и есть красота, внешность, эстетика, лицо Настасьи Филипповны. Неужели это лицо спасется само собою? Нужен сотер, спаситель, Логос». Это сейчас можно писать: нужен нам для спасенья Христос. А тогда имя Его было под запретом.

Мы жили без Церкви. Такие дела...

Красота — это великая и ужасная вещь... вещь... Помогите ему, Господи... пусть найдет силы... Чтобы ежедневно совершались там величайшие в мире Таинства, преображающие человеческие души. Открывающие путь домой. Он ведь потом реставрировал ещё и огромный храм в районном центре... Там теперь совершаются богослужения.

Они были похожи — Степан и моя Мария, они оба умели совершать свое дело несмотря ни на что, со связанными руками. А в остальном... Мария очень чувствовала человеческую падшесть, наше окаянство, пыталась победить в себе дурное. Сокрушалась... Каялась... А Гаврилычу казалось... впрочем...

Уже после ухода Марии в «Православной газете» появилась фотография Преображенской церкви и такая вот реплика с заглавием «Оживёт ли древний храм?»: «Теплеет на душе, когда видишь, как восстанавливаются разрушенные храмы, некоторые будто восстают из пепла, возводятся руками самоотверженных тружеников на средства от пожертвований, собранных по крупицам. Недавно таким способом в Раскуихе был восстановлен Спасо-Преображенский храм, построенный в ХУШ столетии. За дело взялся отнюдь не специалист по реконструкции памятников старины, а простой землеустроитель, известный в этих местах как коллекционер предметов крестьянского быта.

На реставрацию этого необычной красоты храма потребовалось десять лет. Девять куполов удалось покрыть сусальным золотом, фрески восстанавливали не только местные художники, но и помощники из Петербурга... Восстановить храм удалось, а вернуть его церкви пока невозможно: здесь был открыт музей произведений уральской домовой живописи, выставлены коллекции старинной одежды, вышивок, кружев, холстов, посуды... Церковные книги, колокола.

А ведь храм Божий — жизненный центр православного человека, место совместной молитвы, в нём совершаются таинства, и в первую очередь — величайшее из всех Таинств — Таинство Причастия, чрез которое весь мир во Христе.

Оттого и грустно, что прекрасный храм превращён в музей, а книги Священного писания и св. Отцов Церкви выставляют в нём как музейные экспонаты» (1996. №15).

К тому времени храм уже 18 лет был музеем. А мы ж тогда не знали: «Похвалы надобно считать бесовским искушением и, слыша их, творить внутреннюю молитву» (св. Иоанн Златоуст). «Часто враг внушает людям придти и хвалить другого в лицо, чтобы тем надмать сердце его. Если же кто скажет тебе: «Блаженна ты», скажи ему: «Когда изыду из тела своего, тогда буду убожена, тогда буду успокоена, если хорошо проведу жизнь свою. А теперь не верю, чтобы я была блаженна, ибо мы, люди, изменчивы, подобно ветру» (старец Макарий Оптинский).

Мы же хвалили Гаврилыча в лицо... и все прочие этим заняты... Всё время какие-то шапки и почётные ленты на него возлагают. Тут легко возомнить себя блаженным. Прости всех нас, Господи.

Мы тогда вместе с Гаврилычем рассердились на москвича Барадулина, который написал диссертацию «Возникновение и сложение стиля уральских народных росписей, ХУ11-Х1Х вв.» Потом, в 1982 году появилась в продаже его книжка «Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу». Там он пишет:

«Уральский расписной дом — самобытное художественное явление. Открытие и изучение уральской домовой росписи относится к началу 60-х годов ХХ века. В Верхотурском районе краевед Е.А.Постников показал нам старинный заброшенный дом, который, по словам жителей, был когда-то расписан. Действительно, в полумраке угадывались какие-то изображения. В тёмной после июньского солнца комнате пахло затхлостью нежилого помещения, под ногами хрустел кирпич разобранной печи. Но стоило раскрыть ставни, смахнуть со стен пыль, как на них, будто на медленно проявляющейся фотографии, возникло необычайное зрелище. Брёвна, сплошь окрашенные приятным красно-оранжевым цветом, расписаны цветущими кустами, на которых сидят птицы. Крупные цветочные розетки с округлыми лепестками смотрели будто подсолнечники, в

жаркий полдень раскрывшиеся навстречу солнцу...»

Здесь же я узнал кое-что про тот самый рабочий посёлок, в котором прошли целых четыре года моего отрочества: «В русском народном искусстве Прикамья издавна существовали своеобразные варианты композиций древа жизни. Взять хотя бы раскрашенную глухую резьбу «расписных веселок» из села Орёл. Это село, бывший Орёл-городок, одно из старых русских поселений, расположено на Каме. Жизнь его всегда была связана с рекой. Из Орла выходили знаменитые лощманы. Здесь сохранилось древнее отношение человека к реке как единственному пути сообщения; отношение, характерное для многих современных северных селений. В начале ХУІІІ века, когда село Орёл было перенесено на другой берег, а пастбища остались на прежнем месте, женщины были вынуждены ежедневно ездить за реку доить коров. Поэтому весло стало здесь предметом первой необходимости. Одновременно оно приобретало ритуальные функции: так же как и прялку, его дарили невестам. В связи с этим вёсла старательно украшали резьбой и росписью.

У орловских вёсел (тут я должен чуть-чуть поправить В.А.Барадулина: здесь говорили по-другому – орлинская школа, орлинские вёсла...) необычная форма. Они более похожи на прялку, нежели на весло, – квадратная, иногда чуть вытянутая, с закруглёнными краями лопатка, вырезанная с длинной ручкой из одного куска дерева. На обеих сторонах лопасти выступает резной орнамент – три лучеобразные розетки и розообразные мотивы, как прожилки листа, пронизывающие лопасть и зрительно связывающие её с рукоятью. Замыкает композицию облегающая края полоска трёхгранно-выемчатого орнамента. Окраска подчёркивает выступающие резные формы, плоскости разных уровней окрашены своим цветом. Ощущение движения, создаваемое прорастающими из рукояти мотивами, сближает эту композицию с композициями расписных цветочных прялок. Значит, сходство не только в близости форм. В них, возможно, отражено отношение уральцев к древнему мотиву «древа цветущего», выразившееся в создании особой прикамской композиции, для которой характерно сочетание сильного движения прорастающих стеблей, из ствола дерева возносящих тяжёлые розетки цветов и плодов».

В Орле стоит Богородичный храм, воздвигнутый в давнем-предавнем 1735 году. Его не сумели разорить богоборцы, закрыт был только два военных лета (1941 – 1943), самые ценные иконы увезли в пермский музей. Мы там в детстве лазали на колокольню и на крышу, было страшновато. Храм стоял в ограде, где росли широкошумные кедры, вдоль стен – разрушенные мраморные надгробья. Почему-то у атеистов принято осквернять могилы. Всё позволено? А после их потомки страдают до четвертого колена, где род пресекается.

Что же касается книги В.А.Барадулина... Помню нашу обиду: как же так, на музей ссылка есть, а про Коробова – ни слова. Про создателя музея. Вот мы и решили восстановить «справедливость», решили сделать книгу про человека и его Дело. И про Смысл, нашедший внешнее выражение в несказанной красоте.

Мария посадила меня за книжку в августе 82-го. Все чада и домочадцы уехали в город, а я засел в нашем любимом селе – в нашем Кашине под Сухим Логом. У речки Кунары. Разбирал Гаврильчевы записи, компоновал, отделял приемлемое от того, что никогда не пропустит цензура. Хотя она и так никогда не пропустит... Вообще-то на приволье мне обычно как-то не очень пишется. Сидел, пялился в окно на кашинские просторы. Таскался по грибы... Гораздо сподручнее создавать всевозможные произведения, когда тебе мешают. Жизненные обстоятельства должны стать невыносимыми, чтобы рука потянулась к перу, перо – к бумаге. Оставался потом в институте после работы... Писал:

«Главное, чем сегодня славен музей в селе Раскуиха, – это коллекция народной живописи. Герой живописи – цветущее дерево. Зачем нам это сегодня? СтОит ли тратить деньги, чтобы всё это сохранить? Можно ответить: ну как же, стОит – красиво, цветы всё-таки, фольклор. Можно произнести ещё много слов, которые сами по себе мало что говорят. Нам же хотелось показать, что за деревом и цветами стоит способ мышления, который и мы с вами пока не потеряли, даже если сами этого не сознаём. А утрата была бы катастрофической. (Одно утешает: это не рукавицы и не горшок на заборе.) В том образе не только модель мироздания, но и ответ на вопрос – как вести себя в этом мире, чтобы его не сломать, не разрушить...»

А позднее, уже в 1988 году, добавил: «Очень многие позавчерашние и сегодняшние «интеллектуалы» (с Арбата и других престижных улиц) ощущают себя на недостижимых умственных высотах, так что традиционные крестьянские культурные ценности представляются им предельно убогими. Их духовный собрат «с той стороны» вот что сообщил однажды (это широко известная цитата): «Большую часть года крестьяне питались черствым, трудноперевариваемым хлебом и горячей водой, чуть подкрашенной чаем. Они не умели ни читать, ни писать, весь их умственный багаж состоял из убогого запаса слов, служивших для обозначения окружающих их предметов, плюс немного сведений из мифологии, которые они получили от попа» (Лион Фейхтвангер, «Москва 1937»).

Нам бы хотелось показать, что претензии подобных «европейцев» не совсем основательны. Единственное, чему они успели хорошо обучиться в абстрактно-алфавитных книжных дебрях – это вслед за Ньютоном повторять: «Свет – это корпускула!» или вслед за Гюйгенсом: «Свет – это волна!» По их представлениям, лишь один односторонний принцип имеет право на жизнь, а другой (вместе с его приверженцами) подлежит уничтожению. Всё, что они умеют – это мыслить односторонними суждениями. Соединить их в антиномию или перейти к умозаключению для них невозможный умственный скачок, так же как совместить, скажем, централизацию с демократией. Такие вот «интеллектуалы» довели трёхсотлетний немецко-императорский централизм в России до таких чудовищных размеров, что государство превратилось при недавних наших вождах (Сталине, Кагановиче, Микояне, Молотове и др.), мягко говоря, в казарму. Ненависть ко всему живому, полнокровному, целостному, древесно-цветущему была настолько велика, что они возмечтали раз и

навсегда уничтожить крестьянскую культуру вместе с её носителями. Дело дошло до многомиллионных закланий, до геноцида.

И вот теперь мы пытаемся показать, что именно хотели уничтожить абстрактно-арбатные мудрецы. Правда, постижение сути – процесс трудный и долгий, даже мучительный. Сейчас мы просто намекнём, что всё не так просто, как можно сгоряча подумать...

Конечно, наши предки имели дело не с понятиями, а с «мыслеобразами», «мифологемами», то есть ещё не знали всех этих слов: антиномия, умозаключение и т.д. (впрочем, как и большая часть современного человечества). Но суть от этого не меняется: с помощью мифологем они умели выражать нечто такое, чего мы покамест не научились изображать посредством научной символики. Так что мы с Фейхтвангером в 1937 году вовсе не перещеголяли крестьянина по части целостности мышления. Скорее, наоборот».

Впрочем, основной мотив нашей книги был выражен цитатой из Достоевского (издатели вынесли её прямо на обложку): «Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра. Истинный делатель, вступив на путь, сразу увидит перед собою столько дела, что не станет жаловаться, что ему не дают делать, а непременно отыщет и успеет хоть что-нибудь сделать».

Все настоящие деятели это знают. У нас одно изучение России сколько времени возьмёт, потому что ведь у нас лишь редчайший человек знает нашу Россию».

Эти слова – прямо и про Марию, и про Гаврилыча. Мария прямо-таки со связанными руками умудрялась делать своё дело. Я вот недавно нашел у Сергея Николаевича Булгакова почти то же самое (он пишет про Чехова, а я бы отнёс и к моей Кирилловне... а потому меняю личное местоимение): «Она умела любить жизнь, считать её делом серьёзным и важным, требующим подвига и неусыпного труда. Нужно работать, только нужно работать... «Не успокаивайтесь, не давайте усыпить себя! Пока молоды, сильны, добры, не уставайте делать добро! Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чём-то более разумном и великом. Делайте добро!»

Она была постоянно в работе. И меня всё время толкала... толкала... без неё я уснул бы.

«Здравствуй, дорогой мой Боречка!!!!!! «Обрядовый фольклор – явление очень сложное и разнородное, и исследовать его необходимо в разных аспектах и на разных уровнях». Вот так вот! Понял? Да, целых четыре книжки в Академкниге, на 9 рублей! А в подписных Лейбница не дали, им, видишь ли, открытка не указ, подавай им абонемент, а открытку-то сами же присылали, я что ли её присылала? Сказали, что дадут в сентябре, что этого Лейбница у них куры не клюют. Или напиши мне, где взять абонемент и как он выглядит, потому что обрядовый фольклор – явление очень сложное и разнородное.

В общем, какие новости? Во-первых, у Мамзели оказался ингалипт (аэрозоль для фарингитиков), и я прямо с порога оросилась. Затем на ночь налила в нос этой вонючей масляной жижи, которую мне пропи-сывали. Утром – лучше. Я целый день орошалась и капала, и в данную минуту ваще ничего не болит (10.00 вечера).

Юля целый день шлялась с Катями и Светами, пришла рано, часов в семь, и ещё на велике час ката-лась. Сейчас читает твою какую-то мифологию.

Борюська, пиши скорее книжку и приезжай, потому что третьего сентября мы должны быть в Алапаевске, Гаврилыч не переживёт, если мы не приедем. Посылаю тебе его приглашение. И мамзя говорит, что он звонил 2 раза. Но это всё мы обсудим устно. Ты, главное, пиши книгу! Лену Сапогову он приглашает тем же манером.

Ты там скучаешь или не скучаешь? Скучай, скучай, очень полезно. А может быть не так уж полезно? А, может, ты и не скучаешь, вернее не так уж скучаешь? Здесь, конечно, утомительнее, чем в деревне. Всё время что-то происходит, какие-то новости беспрерывно сообщаются мне кем-то. Нижних соседей должны посадить, обоих: они торгуют прямо на дому водкой после семи часов в заговоре с продавщицами гастронома. Десять рэ бутылка, деньги делят. Что будет с детьми? Зоя не просыхает – ещё почище мужа, дерутся ножами. Бедные Диля, Зиля и Лиля... Вот тебе и 60-летие образования СССР! Я сегодня к ним заходила, у них в ком-нате одни стены и на полу куча каких-то тряпок, на которых спят вповалку. Полная жуть...

Боречка, я письмо своё заканчиваю, потому что пошла в ванную комнату. День прошёл очень bestол-ково, м.б. завтра начну отрабатывать какой-то ритм. Сейчас мимо меня проплывает Юля (проплывает ко сну) и велит передать тебе привет. Обвиваю твою голову сразу двумя руками и целую тебя – твоя Маша. Жду, как соловей».

В ответ пошла моя реляция: «23 авг. 82 г., понедельник, 21.45. Родные мои! Будучи педантичным и пунктуальным, пишу, как и обещал, в понедельник. Тем более что получил сегодня днём от Машеньки пись-мо – Сина передала. Так что теперь в курсе вашей протекающей жизни. Юлька, книжки в библиотеку сдай! Это между прочим. А жизнеописание моё следующее. В среду вы уехали (мой автобус опоздал, я проводил вас и около шести часов оказался в нём у переезда, а невдалеке, по-моему, стоял ваш опаздывающий поезд). В четверг я ощущал сентиментальную тоску по уехавшим, смог только немножко почитать свои конспекты (из Гаврилыча). Сходил по красноголовики по всем знакомым Юльке болотцам. Первый нашёл там, где и положено, - в начале маршрута. И потом – везде помаленьку, особенно много в одном моховом местечке на Лукоморье. Всего 25 штук! Посуху они ещё не пошли, а вылезают из мха. Такие грибки! Брильянты! Без чер-воточинки, свеженькие! Я их на нитках развесил. На всё ушло полтора часа.

Покончив в четверг с эмоциональным надрывом, в пятницу я законспектировал свой конспект (свёл его к пяти страничкам), поразмышлял. В субботу написал несколько страничек, но унистожил; продолжил

размышления. В воскресенье решил: надо составить план, что и выполнил. Сделал кое-какие наброски. Даст Бог, основную работу сделаю здесь. Впрочем, главное – погрузиться в работу, чтобы все мысли ушли именно в Гаврилыча, настроиться на Гаврилыча. Для меня настройка – это главный момент. Настроившись, могу десять лет размышлять в одном направлении. Правда, это не тот случай, ибо надо нам закончить в сентябре. Но настраиваюсь трудно – как наше фортепьяно.

Вообще, этот год у меня не творческий – то ли естественный, спонтанный перерыв в умств. деятельности, то ли неблагоприятное расположение расположение звёзд, то ли парализует снижение солнечной активности... Стёпа сейчас, после продолжительного и раздражённого мявканья, чрезвычайно неохотно протащил своё жирное пузо в подполье. Я ему объяснил недавно, что там есть дыра (кинул его туда и закрыл выход сапогом). Но, Машулька, не подумай, будто я хочу уйти от ответственности. Покойный всегда остро переживал чувство долга, а потому работал, несмо... – вот видишь, паста кончилась, а все длинные ручки вы уволокли. Ну, ничего – взял ножницы и обрезал стержень. А если паста будет вытекать? И так... работал, несмотря ни на что. Не знаю, получится ли сразу нужное качество, но остов сделаю, который можно будет править и улучшать. Да, ведь куда-то ещё надо будет поставить расшифровки твоих бесед с Гаврилычем и Христиной. Найди их.

В магазине ещё ни разу не был – нет нужды. Завтра схожу за хлебом. Хлеб (в основном) съедают Чап и Стёпа. У меня тут с молоком всё время ощущение сытости. Вчера из литра простокваши на костре сделал творог и тут же съел. Тёплую сыворотку с наслаждением слопали животные. И молоко пьют.

В Алапаевск к Гаврилычу тебе, наверное, нужно выехать днём второго сентября, чтобы ночь поспать в гостинице (закажи обязательно гостиницу, чтобы не обременять С.Г.). Утром и днём где-нибудь проболтаешься, а вечером – на юбилей. А я приеду утром третьего. Но лучше бы мне, конечно, до шестого прожить в деревне Кашино. Ты бы одна представительствовала (только не налегай в ресторации, и вообще после шести часов не ешь! Ты не ешь? Обещала! Урежь до предела потребление соли и сахара – и будешь счастлива. По крайней мере твои урологические дела наладятся). Гаврилыч, я думаю, в душе даже одобрит, что я работаю над произведением. Это лучше, чем моё присутствие на предприятии общественного питания. Если же я поеду, то будет выброшена почти целая неделя. Народ нам этого не простит. Только настроюся – и на тебе... А избу ты и сама можешь описать – даже гораздо лучше меня, я это не умею.

Не смей брать соседского щенка (ихая бабка как-то насчёт него ко мне подкатывала). Я буду в бешенстве и предприиму всевозможные репрессии. Хватит нам Стёпы, Симы и Чапа. А стол у меня стоит сейчас вот так (нарисовал нашу избушку: два окна, выходящие на плоскогорье за оврагом, стол, скамейки, слева кровать, справа бачок и кухонный стол; сам сижу на лавке за столом – спиной к зрителю, слева обозначено сердце, за окном вдали – пасущаяся корова).

Вырезал веник, уже два раза подметал. Ходил в баню. Погоды сейчас у нас хорошие, сегодня было безоблачно, а до этого каждый день к вечеру подкатывал дождь и даже гроза.

Такова моя жизнь. Да, КАК, интересно, называются книжки, которые ты выкупила? Лейбница получу сам. Я не люблю выкупать «чистыми» деньгами – у меня там есть кое-что на сдачу в букагазин, так что по приезде сдам рублей на десять, а то и больше. Как Юля обмундирована к школе? Учебники? Была у Катьки на дне рождения? Привет Антону и Лене. Целую свою Машеньку, ваш...

P.S. Поощряю Машульку за длинное и приветливое (И ОЧЕНЬ ВЕСЁЛОЕ) письмо... Завтра пойду в магазин и на почту – и может быть даже позвоню вам”.

Книжку мы дописали на исходе зимы (или весной?) 83-го. Через год помер, постояв у руля государства (полежав, потому что маялся почками) чуть больше года, генсек Юрий Андропов. Ничего не успел завинтить в государстве, только сбил провокационный «Боинг» с корейскими пассажирами. Наверное, он просто не успел понять, что надобно не завинчивать (резьба давно сорвана), а потихоньку, осторожно отвинчивать. Как в Китае... Впрочем, в Китае отвинчивали сами китайцы.

Горизонты были неопределенные. Его место занял ещё один больной старик. Уже забыл его фамилию. Какое тогда было настроение? Мария-то вся была в работе, перемежаемой болезнями. А я иногда предавался унынию, хотя тоже всё время работал свою логику. С утра до вечера проборматывал умозаключения, комбинировал так и этак понятия... И в очереди за картошкой, и на улице...

Сумерки социализма казались нескончаемыми (правда, я тогда уже понимал, что ночь грядущего капитализма будет ещё невыносимей; мне не верили, ожидали какую-то зарю свободы; причем, тяжела сама по себе «ночь земного сего жития»). В конце или середине 70-х сочинил такие стишки, которые тогда назывались «Предустановленная гармония (диалог Лейбниц – Достоевский)». А сегодня можно назвать короче – например, вместо предустановленной гармонии написать просто «диктатура» (или: «мондиализм»):

Молчали равнодушные сердито,
Шли в петлю недовольно экстремисты,
Кастраты развлекались птичьим свистом,
Эстеты распинали Афродиту...
(Эстеты развлекались птичьим свистом,
Кастраты распинали Афродиту.)
Повсюду фатума свирепые следы,
Незрячий хаос уличён и арестован,
Свободы бред давно опротестован,
Ход зла изучен, как состав воды.

(ВАРИАНТ: Повсюду хаоса свирепые следы,
Свободный выбор уличён и арестован,
Свободы дар давно опротестован,
Наш путь исчислен, как состав воды.)

Истина здесь выражена антиномически, в двух противоположных высказываниях, как и положено, когда изъясняешься посредством алфавитного письма... Фатум и хаос... Эллина понимали гармонию как соединение противоположностей. Совпадение? Если не возникает третье понятие – после соотнесения двух терминов, а происходит лишь отождествление терминов, то речь идёт просто о логическом сатанизме. Но: «...гераклитовская предустановленная гармония, в которой рок и человеческая самодеятельность совпадают в одном и нераздельном тождестве» (Лосев). Да-да... Рок и самодеятельность соотносятся, чтобы произвести новое понятие – гармонию. Можно соотнести пространство и время, попытаться выдать время за четвёртую пространственную координату. Это и будет логический сатанизм.

В гармонии нет ни фатума, ни хаоса? Фаталист не свободен? Конечно, и в хаосе не может быть свободы, даже свободы выбора. Там нечего выбирать. Хаос (в переводе) – это оскаленная пасть... Дьявольская усмешка. Однако нам сказано: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными...» В неё, в Истину, кнутом не загоняют. Там же любовь... Только иногда прописывают горькие лекарства... Исцели нас, Господи, хоть бы и железным кнутом.

А стихи кончаются вот как:
Везде Пародии свирепые следы,
Повсюду Логос уличён и арестован,
Свободы дар давно опротестован,
Наш путь исчислен, как состав воды.
Вселенная в барьерах и заглушках,
Где атом в атом чередой marschiert,
Где Лейбниц гладок, скуп, спокоен, сыт,
Где Достоевскому, как на распяты, душно...
Но, к счастью, идеал недостижим,
Неясен путь к высокому пределу,
И дураки чернят пустое дело,
И страшен красных дел кровавый грим.

Где-то прочёл: «Лейбниц (подобно карамазовскому чёрту) считает зло необходимым элементом совершенного порядка вещей, оттеняющим, по Божьему попущению, добро». Такие дела... Давно было понятно, что «коммунизм» – это сказочка, специально придуманная для дураков. Утопия абстрактного (одностороннего) «общевизма»... В нашей жизни всегда воплощена триада: всеобщее-особенное-единичное, В – О – Е. Даже когда речь идёт о собственности, то и здесь не оторвать нашу общую собственность от частной и личной-единичной. Надо лишь всех этих собственников держать в крепкой узде государства.

Что же касается плана и рынка... То у нас план без рынка, то рынок без плана (то орёл без решки, то решка без орла). Когда государство пытается планировать всё, оно в конце концов не планирует ничего, страна погружается в социалистический хаос – экономический, политический, всякий другой. Тоталитаризм чреват (обременен, беременен) хаосом... Так вот и будущая тотальная глобализация... мондиализм... Железная пята. Победа мондиализма и рыночной глобализации означает достижение обратного тому, чего хотели, – обретение неслыханного и невиданного ХАОСА (как утверждали римляне, «высшее право есть высшее бесправие»).

В конце концов Госплан не смог планировать даже выпуск и распределение мыла и зубных щёток (в 1980 году мы купили то и другое ... в Казахстане). А без мыла, согласитесь, жить невыносимо. Впрочем, как выяснилось, запрет частной собственности и торговли средствами производства был придуман лишь для того, чтобы затем стремительной отменой запрета бросить страну в хаос дикого капитализма. А там уж хватай, набивай карманы... В соответствии с диалектикой Гегеля, который утверждал, что категория, взятая сама по себе, изолированно от других, есть не что иное, как переход в противоположную категорию. Маркс-Энгельс ему поверил (у Юльки в классе учительница так и говорила: «Маркс-Энгельс сказал...»), а потому пролетарии всех стран (скорее так: революционная беспочвенная интеллигенция всех стран) под руководством своего экзотического авангарда стали создавать эту самую изолированную категорию (плановую экономику без оптовой купли-продажи), чтобы она тут же начала свой переход в собственную противоположность. Но... «беспочвенное сознание подвержено психическим эпидемиям». Они сегодня свирепствуют на земле.

В середине 80-х информаторы КГБ стали проводить осторожные опросы общественности: а как, мол, насчет частной собственности на землю? Как насчет свободных потоков информации? Как насчет привилегий номенклатурных работников? Этих информаторов было видно невооружённым глазом, и я ответил одному из них: частную собственность вводить рановато, нужна аренда земли... А свободные потоки информации и наш казарменный социализм несовместимы... Было, конечно, предчувствие, что свобода информации (как раньше – несвобода) выйдет нам боком.

Что же касается логики... Уже африканские племена во времена Гегеля и Маркса обладали культурой, позволяющей понимать, что изолированная категория никуда не переходит, но просто становится многозначно-неопределенной. Об этом можно прочесть у серьёзных исследователей мифологической культуры. Вот

английский этнограф, социолог и фольклорист Виктор Тэрнер пишет о проблеме «многозначности целого ряда символов, имеющих одновременно различные смыслы. ...Если взять каждый из этих символов отдельно, изолируя их друг от друга и от прочих символов символической сферы..., то их многозначность – самая поразительная особенность. ...В бинарной оппозиции каждого уровня каждый символ становится однозначным» (Символ и ритуал).

Прямой диаметр, если с него содрать кривую окружность (если разрушить бинарную оппозицию), становится... не поймёшь: то ли это уходящая в дурную бесконечность прямая линия, то ли бесконечная окружность. Такая амбивалентная штука: прямое, которое кривое. Логический сатанизм.

И про свой антиномический стишок... Недавно у В.И.Белова обнаружил мудрую антиномию: «Наг поле перейдёт, а голоден ни с места» – говорит пословица. У Владимира Ивановича Даля та же пословица написана наоборот и утверждает, что поле перейти легче голодному, чем неодетому. Два на первый взгляд противоположных варианта пословицы отнюдь друг дружке не мешают, просто они отражают две стороны одной и той же медали». В антиномизме – победа над лукавой амбивалентностью. Русские крестьяне это понимали всегда.

...Некоторые тонкости наших дальнейших книжных приключений передает письмо, отправленное мною Марьюшке по приезду из Москвы. Она, наверное, была тогда в деревне Головыриной – первый год. Письмо сохранила. Да она вообще, по-моему, писем никогда не выбрасывала.

Как оказался в Москве? На дворе стоял 88-й год... Меня тогда выбросили из научных сотрудников по политическим соображениям, и я решил доказать, что представляю собой некоторую научную ценность. Философ Сергей Гончаров подсказал, куда можно послать свои тезисы, и я отправился в столицу на конференцию «Философия и жизнь». Правда, на пути встретились препоны:

«Машулька моя любимейшая, здравствуй!

1. Мать не решаюсь бросать, у неё утром температура была 37,5, а днем – 35,5, так что непонятно, что происходит. Всё время лежит, ослабела после 39,5. Кормлю её фаупенициллином (дефицит – купил на Сортировке).

2. На днях вдруг позвонил проф. Демичев (один из организаторов конференции), сообщил приятную новость: сборник (где и мои тезисы) будет готов к открытию конференции. Но – Москву закрывают, а потому гостиницы не будут. Переночую (если с матерью будет всё в порядке, и я уеду) у дядюшки Михаила Степанова.

3. Звонил горкомычу (в отдел науки), тот начал было бубнить, что вот если все будут самовольно тезисы нигде не утвержденные рассылать, а потом просить командировку, то что будет... Я ему пояснил, что тезисы написаны по мотивам статьи, которую я в своё время представил аттестационной комиссии института (она-то меня и выставила из научных сотрудников). На этом мы прервали разговор, потому что ему стало некогда. Через два часа (наверное, получивши ценные указания вышестоящей инстанции) он посоветовал мне подать официально заявление на командировку, а там, мол, посмотрим.

Вчера я подал такое заявление на имя зама Пешкова и тот – не отказал. Моя нынешняя начальница тоже подписала, все печати поставлены. И сегодня я уже получил командировочное удостоверение.

4. Говорил с Яшниковой. Концерт Сапоговой прошел в малом зале. Приезжал Вилисов и детдомовцы.

5. Вот такие дела. Если матери будет лучше – отосплюсь и приготовлю кое-какие бумажки к отъезду.

6. Как там мои многочисленные внуки? Чтоб в лес ни ногой. Клещи. И в самой деревне выше головы свежего воздуха. 13.05.88».

«Любимейшая моя Машулька, здравствуй! Вот и закончилась моя экскурсия. Привез пять сборников (1 р. 20 коп. штука), больше, думаю, и не надо – не солить же. Выступал на конференции в первый и третий день (итого два раза по пять минут). Такую новую манеру решили завести, чтобы охватить как можно больше желающих. Поскольку я великий учёный, а все остальные – тоже великие, но не очень, то мне слушать их было не интересно. Много было всяких покаяний. Каялись люди, что на зарплате у партии и государства, а потому в основном говорят и пишут «чего изволите». И т.д. (Там был такой «ограниченный контингент» – в основном преподаватели философии, заведующие кафедрами и т.д.)

Заходил в отдел публицистики «Нового мира», куда нашу рукопись передал Т. Там некий Р. сделал очень удивленные глаза, когда я заикнулся про седьмой номер (где якобы должны напечатать «Гаврилыча»). Потом стал мне объяснять, что дневники С.Г. на очень низком литературном уровне; ранг журнала, мол, не позволяет печатать. Надо их, мол, очень сильно править. Вот, мол, Крупин рекомендует, но он ведь править их не возьмётся. Кроме того, комментарии надо выбросить из-за их, как он выразился, «руссистского (т.е. русского) духа».

В конце концов Р. вручил мне текст и сказал: если выбросить комментарий, то останется маловато. Давайте, мол, добавляйте ещё дневников, а там посмотрим.

Вот такие дела. Все эти месяцы папка с Гаврилычем пролежала в «НМ» нетронутая из-за «низкого литературного уровня» дневников и «руссистского духа» комментариев. Я начал лихорадочно соображать, что же делать. Это всё было во второй половине дня в пятницу. В «Нашем совр.» телефоны уже не отвечали. Елизавета Петровна, жена дядюшки, помогла мне узнать телефон Кожина – не отвечает. Тогда я сел и написал письмо Викулову. Попросил разрешения прислать ему «Реставрацию памяти».

В «Нашем современнике» немножко поговорил с Любомудровым – он как раз в Москву приехал. Чуть-чуть поговорили «за жизнь». Немного потолковали, а тут какой-то пенсионер пришел жаловаться, что у

Кожина в статье цитата из Ленина, а он её не нашёл. Ему говорят: да, действительно, ссылку перепутали. Целый час изгилялся этот старикашка, так что все разошлись. Я пошёл вместе с... забыл фамилию. Валера... Он говорит, что хотел про Сапогову делать для телерадио что-то, собирался тебе звонить, но потом как-то заматался – и проехало. Вот вроде, Машенька, и все новости. Целую тебя крепко, твой...

Не унывай! Всё равно с Гаврилычем как-нибудь пробьёмся. 22.05.88, 12 часов ночи».

К тому времени меня уже перевели из инженеров вычислительного центра снова в редакторы. После моего иронически-вопросающего письма сразу во все местные руководящие инстанции. В академическом редакционно-издательском отделе я за три последующих года прошёл такую муштру (сначала ты редактируешь, потом текст печатают набело и его читает другой редактор – с множеством замечаний, так что приходится снова править в «беловике»), что через десять лет мог спокойно подрабатывать корректором. Редактором уж больно хлопотно.

А лучше всего, конечно, сторожем, но из сторожей меня через год попросили, потому что не хотел подписывать бумагу о материальной ответственности. Но как же я могу отвечать за третий этаж, если сижу на первом – рядом с туалетом.

«Здравствуйте, мои родные! Сижу одна в избушке, дверь на ключке. Вдруг Сина под окном (а времени уже без 15 десятых, солнышко садится, надвигаются сумерки): “Маша, тебе письмо”. Как я обрадовалась! Сегодня отправила Борю к вам (болит сердце за всех, м. быть Юля от его приезда веселее завтра на экзамен пойдёт), обещала ему ночевать у Сины, но не пойду: уж лучше потрястись маленько от страха, чем в людях. Ну вот, а письмо ваше почитала – как будто повидала и поговорила, вроде и не одна. Завтра Боря приедет – и привезёт сразу много новостей: и про Юляшин экзамен, и про Антошин со Светой (?) приезд, и про внука Ваню и пр. Мария Михайловна, Вы кончайте им потакать, бегать свою квартиру разменщикам показывать... Надо – пусть Антон приедет, возьмёт ключ и показывает, а то Вы не набегаются.

Я здесь вроде бы немножко уравновесилась (во всяком случае решила на работу выйти 15-го), но не знаю, как снова столкнусь лицом к лицу со всеми этими разводами, обманами, женитьбами... Одно утешение: не война, а были бы все живы-здоровы. У нас тут одна трагедия за другой. Боря, наверное, вам расскажет: у Матрёны умерла дочь (43 года) – осложнение на сердце после гриппа, и перенесла на ногах, не было температуры, не дали больничного. А сегодня умер один мужик (40 лет). Возили сено, потом сели обмывать самогоном и отравились. Два брата. Одного начало выворачивать и остался жив, а другой помер. Помер в 9 часов вечера, и только в час ночи (когда мал-мал протрезвели) позвали Анну-фельдшерицу, Витину жену. Она до 4-х ночи сидела с покойником, ждала милицию. Сина говорит: сама она вся трясётся – боится. Конечно, девочка же ещё – 19 лет, и в самые жизненные помои окунается.

Это известие принесла утром сегодня Сина и сообщила, что должен быть третий покойник. И – жуть какая – точно! Вечером я помогала ей пасти коров, и тут одна женщина сообщила, что скорострительно скончался один дед. Вот – наспигованная этой информацией – я и сидела за штопкой, когда принесла Сина ваше письмо.

Ну что ещё? Боря, наверное, нашу жизнь осветит. Могу добавить к его рассказу то, чего он сам не знает: я собрала почти полный бидон (трёхлитровый) крыжовника. Впервые на наших двух с половиной кустах такой урожай. Сидела весь вечер – стригла усики и хвостики. Боря привезёт сахар – буду варить желе. Завтра пойду за костяникой и костяничным листом. Грибов невыносимое количество – косой коси. Народу в лесу полно, но все идут с полными вёдрами. Вчера проводили С. Она выкатала лес, где я обычно ещё до 10 августа клубнику помаленьку брала (Юля, это у Кондратьевки и в редках). Выкатала до состояния асфальта. Пустили козла в огород. Боря Вам не рассказывает эти мои человеконенавистнические признаки, хочет представить меня в лучшем виде, но уж какая есть: хотите – любите, хотите – нет.

Ну ладно, родные мои девочки, уже совсем темнеет и заячий хвостик (хвост!) дрожит. Я сворачиваюсь. Пишите, после второго экзамена сразу телеграмму!!!! Нечего уж больше отца гонять!!! Крепко вас обеих целую, ваша Маша мама.

А вот и прошла ночь, сегодня 2 августа, сейчас без пятнадцати четыре. Юлька, ты уже, наверное, сдала физику. Но как? Я не знаю, буду терпеть до 11 ч. 30 мин., когда приедет папа и скажет. Я встала сегодня в половине седьмого от стука в дверь и от Чапиной жуткой истерики по этому поводу. Он прямо визжал как резаный. Я нисколько не испугалась, поскольку было светло. Оказались за дверью грибки: попросили нож и оставили плащ болоньевый, чтоб с ним не таскаться. Через два часа они вернулись с полными сумками, и тогда я тоже отправилась в лес, чтобы быстрее время шло.

Юля, я пошла в малинник. Одна. Хвалишь? Я себя утешала тем, что уже старая – кому нужна. Однако за клубничными полянами, при своротке на самую малиновую дорожку, стоял мотоцикл, и возле него здоровенный мужик прямо у дорожки резал маслята. А я ещё в нашем лесу подобрала здоровую дубинку, повесила на неё корзинку – и через плечо. Мотоциклиста увидела сразу, как свернула на дорожку, а куда деваться? Я решительно иду, не глядя, и когда стала подходить близко, сказала Чапу: “Фу!” И он почему-то не залаял. Поравнялась с мужиком, не гляжу, а он и говорит: “Хорошие грибочки – не то, что ягоды...” Я – ноль внимания и пропентюхляла, стараясь не вилять задом, а идти спортивно и твёрдо. Чтоб знал, что если надо – и убегу, как лесная лань, и дубинкой огрею предварительно. Так, не оглядываясь, и скрылась, а потом чуть не описалась со страху. Но до малинника всё же дошла. А это ж далеко...

Малины нынче шиш, видимо помёрзла. Со всего малинника наскребла около литра. Да ещё костяники маленько побрала. Пришла, запалила костёр и сварила с остатками сахара желе. Вот такие пироги с котятами.

Их ешь, а они пищат, как говаривала, Юля, ваша славная математичка Марья Павловна. Теперь вот вам пишу. В избе – благоухание: сушится богородская травка, тысячелистник, ромашка (нарвали в поле, когда провожали Сапогову). Позавчера я провеяла сушёную клубнику. Хоть и немного её, а мешочек потрогать приятно.

Между прочим, погромыхивает, а Боря уехал в кедах. Промочит ноги в поле ночью. Ну, ничего – затопим печь да высушим. Вы, товарищи, нам пишите, не ленитесь. Дело в том, что с приходом Юрия Владимировича (Андропова) почта стала здесь работать просто фантастически: письмо приходит из Св-ска через день. Как вы меня уже забодали обе – десятую страницу катаю и останавливаться не могу. Андрей с Василием стог мечут, тут же пасётся Максимка. И Ваня бы мог пасть... Юлька, после второго экзамена – сразу теле (уже 11-я страница!) грамму дай – и тогда мы сориентируемся, когда ты приедешь к нам (или будешь сдавать ещё). Ничего страшного, если ещё – захотела лёгкой жизни! Ты и без того с Пашкой три недели ветер пинала. Юля, постарайся поступить с двух экзаменов и приезжай к маме с папой в деревню Кашину Богдановичского района Свердлов. области. Всё, я пока останавливаюсь, допишу, когда уж Боря приедет, то есть завтра утром, а сейчас пошла встречать грозу – выставлять вёдра и тазы.

3 августа 83 г., утро. Боря ещё спит, а я допишу уж, коль обещала, хотя настроение неважное (только из-за твоей, Юлька, пятёрки неважное; молодец, да я и не сомневалась). Очень грустно узнавать все эти бракоразводные подробности... Расстроилась ещё и оттого, что Боря сдал в скупку избранные рассказы Фолкнера, чтобы купить вам продукты. Очень жалко книги разбазаривать.

Ну что ещё? О погоде. Вчера дождь лил аж до половины одиннадцатого. Боря вылез на полустанке, потому что автобусов в это время не бывает. Блуждал в темноте по незнакомому лесу, вброд через речку, через канавы и рвы карьера и, конечно, вымок до нитки (особенно ноги). Но я топила печку, так что он сразу обогрелся, и всё положили сушиться (похоже, что не простыл, тьфу-тьфу). А сегодня пока – солнышко и тепло. Сейчас будем делать желе из собственного крыжовника, а потом, когда немного обдует, пойдём в лес за грибами и за костяничкой. Мария Михайловна, маленькую банку маслят (жареных), наверное, можно пустить в дело. Понемножку с картошкой.

Ну, уж пятнадцатую страницу начинать не буду, вы меня уже заговорили, в ушах звенит... Юлька, ты на полевых работах тоже подорвала себе здоровье – нельзя есть всухомятку! Ну всё, отцепитесь от меня, уже рука занемела. Будьте обе здоровы и дружны. Обнимаю вас обеих. Мама Маша”.

Может быть, в том же августе мы с Машей ходили по черёмуху? Пошли далеко, километров за шесть-семь. Шли по лесу, а потом пшеничным полем. Помню, как в черемуховой рощице лихо летал по деревьям... Маше нравилось, когда я проявлял чудеса ловкости, забираясь на деревья и ровные стены. Ну вот не было у меня житейских успехов и достижений, какой-нибудь мимолётной славы, какого-нибудь хоть самого маленького триумфа... Так я вот хоть так пытался поразить воображение своей жёнушки. Иногда дома в дверном проёме держал ноги под прямым углом минуту. Или больше? Это у меня с отрочества, когда в Орле таскал на второй этаж деревянного дома огромные дровяные клады, чтобы топить печку зимой. Лень ходить туда-сюда, так лучше притащить дрова одним махом. Брюшной пресс стал железным, на первом году воинской службы со мной мог тягаться лишь один коренастый коротышка из республики Коми. Устраивали состязания меж двухъярусных коек.

А тогда, в августе... Набравши черёмухи, отправились домой. И недалеко от дома Мария впервые пожаловалась на сердце, сели отдыхать. Потом она стала покупать нитроглицерин. Или это было уже в 84-м? Тогда с нами жил маленький Димка, сын новой жены Антона. Он играл на соседских бревнах, кои лежали на нашей поляне, – и полетел на землю, а за ним огромное бревно. Хорошо, что прежде упали старые диванные подушки – они взяли удар на себя. А Маше-то ведь от дома не видно, что же там произошло. Думала, что малышка бревном искурочило. Она его в охапку и домой, а потом выскочила на горку – и меня кричать. А я отправился в магазин, успел уж дойти до речки, ушёл метров за двести. Может, с тех пор обострились её сердечные проблемы? Я в лихорадке прибежал домой, а она сидит с Димкой в обнимку и плачет, и приговаривает: –Всё у тебя... всё хорошо? Ничего не болит?

Что же ещё там в 83-м? Да, два письма. Я тогда издал статью и назвал по-дурацки – “Процедура ответа”. Конечно, отчетливо себе представлял, что в условиях развитого социализма опубликовать её невозможно. А потому послал её людям, про которых думал: они поймут, о чём речь. Там божественный, от века сущий (то есть не мой, не я его выдумал) Метод нашёл своё выражение в системе умозаключений – были показаны математика, физика, биология, психология, ноология, логика, методология. Как единое целое. Но лишь Владимир Николаевич Топоров дважды ответил на мои письма, причём очень доброжелательно (храни его Господь).

“24.03.83. Уважаемый Борис Иванович, мне лишь недавно передали Вашу статью (я работаю в другом отделении Института славяноведения, с другим адресом). Этим и объясняется моя задержка с ответом.

Если говорить об общем впечатлении от Вашей статьи, она мне понравилась как довольно целостная и продуманная конструкция. Её явный плюс – апелляция к целому, к общему, к универсальному; неявный – Ваша интуиция, делающая Вам честь и проявляющаяся в ориентации на некоторые явления, которые Вы как не специалист в отдельных конкретных областях, строго говоря, не могли бы верно оценить без своего рода прозрений. Сказать что-нибудь более специальное о Вашей работе я, к сожалению, не могу, поскольку никак не могу считать себя специалистом или просто знатоком в избранной Вами области. (...) Всего Вам доброго – В.Топоров”.

“5.06.83. Многоуважаемый Борис Иванович, простите моё промедление с ответом (две недели был в

отъезде). К сожалению, и это моё письмо – ответ лишь по форме, но не по сути дела, поскольку никакой “процедуры” реальной помощи Вам я не знаю. Более того, всё, что я могу представить себе в сфере возможностей, рисуется мне в мрачных тонах. Мне довольно часто приходится сталкиваться с ситуацией, подобной Вашей. Поверьте – НИ РАЗУ мне не удалось кому-либо помочь. И дело, думаю, не просто в моём неумении. Уже на первом шаге, при первой просьбе сталкиваясь с той степенью равнодушия или раздражения, которая делает очевидной не только бесполезность, но и – готов сказать – безнравственность обращения с просьбами к людям этого типа. Менее всего у меня претензий к ним за их некомпетентность и даже за незаинтересованность (и то и другое следствие определенного и более или менее продуманного порядка вещей). Больше беспокоит то, что, чем талантливее предлагаемая работа, скажу точнее – чем очевиднее, что автор, действительно, ищет истину, что его интересы бескорыстны, потому что они духовны, – тем с большим подозрением и раздражением встречается такая работа. В самом факте появления такой работы начинают видеть чуть ли не личную угрозу себе, некий упрек, нарушение сложившейся комфортности. Что делать в этой ситуации, – не знаю. Но, как и Вы, чувствую и повсюду вижу признаки того, что полнота времен исполняется, что некий предел близок, что многое должно измениться. И Ваша работа, угадываемые стимулы, стоящие за ней, Ваше хорошее и столь многое раскрывающее в Вас письмо находятся для меня в этом же ряду признаков прорыва к иным горизонтам. Мне очень бы хотелось помочь Вам вполне конкретно (и теоретически я не исключаю такой возможности). Но всё-таки я думаю, что главное Вами уже достигнуто. Мне кажется, что Вы перешли уже некий важный порог и нашли нужный путь – тот, найдя который, уже нельзя отказаться от достигнутого уровня духовности, т.е. угасить ту искру Божью, которая и открывает её носителям высший смысл нашей жизни.

С добрыми пожеланиями – В.Топоров”.

Не знаю... Про “уровень” мне скажут на Страшном Суде... Одна из его статей помогла мне впоследствии: я уразумел, что человеческая интуиция выражается в сакральном ритуале. Очень важно найти СЛОВО. Интуиция – это дар Божий человеку. Она находит внешнее выражение в ритуале. То есть человеческое сообщество изначально строит свою жизнь в рамках божественной ИНТУИЦИИ, чтобы потом, после ИНВЕРСИИ терминов “деятельность/архетипы”, создать РИТУАЛ:

деятельность/архетипы = интуиция

архетипы/деятельность = ритуал.

Это изначальное человеческое состояние можно выразить двумя умозаключениями, прямым и изначальным:

воля-представление – деятельность/архетипы – интуиция (в которой снят ритуал)

представление-воля – архетипы/деятельность – ритуал (где снята интуиция).

Лишь вслед за этим человеки обнаруживают себя в состоянии абстрактно-аналитическом:

интуиция-ритуал – знание/знак – сознание (в коем снята речь)

ритуал-интуиция – знак/знание – речь (где снято сознание).

Вместо термина “знание” можно, конечно, написать привычное “значение”... Интуиция становится двойственным со-знанием себя и мира, а ритуал вырождается в речи (сакральной и профанной), чтобы потом возродиться в мифологии (“Для смысла быть тем, что он есть, это значит творить и переходить в деятельность, в творчество”. – А.Ф.Лосев.Поздний эллинизм.) Все предшествующие состояния содержатся в завершающей мифологической полноте:

сознание-речь – творчество/образ – логос

речь-сознание – образ/творчество – миф.

Деятельность – знание – творчество... Архетип – знак – образ... Кажется, в конце 70-х, ещё до нашей коротенькой переписки с В.Н.Топоровым, я был склонен писать “внешне воспроизведённый образ” или просто “произведение” – там, где сегодня пишу “ритуал”. Конечно, имелись в виду логически упорядоченные наскальные изображения, жесты, осмысленные выкрики, жертвоприношения, групповые осмысленно-упорядоченные хождения – то есть всё, что было элементами ритуала. Язык и речь у меня появлялись в середине подсистемы, “на втором этапе эволюции” бесписьменных обществ.

А вот что в конце 80-х писал Владимир Николаевич (он теперь уж академик): “Не случайно, что смысл жизни и её цель человек космологической эпохи полнее всего переживал именно в ритуале. Можно думать, что ритуал был основной, наиболее яркой формой общественного бытия человека и главным воплощением человеческой способности к ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, потребности в ней. В этом смысле ритуал может приниматься как прецедент любой производственно-экономической, духовно-религиозной и общественной деятельности, их источник, из которого они развились... Только в ритуале достигается переживание ЦЕЛОСТНОСТИ бытия и целостности знания о нём, понимаемого как БЛАГО и отсылающее к идее БОЖЕСТВЕННОГО как носителя этого блага. ...По-видимому, лишь в ходе постепенного развития в недрах ритуала формировался ЯЗЫК, перенимая функции, исполнявшиеся ранее другими системами. ... Именно ритуал составляет ЦЕНТР жизни и деятельности в архаичных культурах. ... Жертвоприношение стоит в центре ритуала... в любом ритуале явно или тайно содержится отчетливая искушительная нота” (О ритуале. Введение в проблематику).

Не случайно христианские богословы знали изначальное: Церковь была на земле всегда, человек как образ Божий возможен только в Церкви. Вне Церкви и её таинств, отказавшись от неё, люди становятся аспидами. Слугами, лакеями сатаны.

ЛЕНА КАМБУРОВА

Вот лежит на столе сейчас тут у меня машинописный кусочек: «Корю себя за эту неспособность мерить и взвешивать; из-за неё много не сделано путного, и много сделано такого, что по-хорошему надо бы мне помалкивать, а не излагать тут свои мысли и воспоминания с важным видом. Одно утешение: все мы не ангелы, и я благодарю Бога, что хоть и поздно, но одумалась, и все свои душевные силы стараюсь направить на повышение осмысленности бытия. Как сказала бы моя кашинская Матрёна Петровна: –Грехи замаливашь...»

Лена Камбурова – у истоков пробуждения. Я тогда ввалилась в гримуборную с восьмилетней дочкой подмышкой, и видок у меня был примерно такой же, как в реанимации, когда мать с обширным инфарктом, а я не понимаю, что это такое, потому что видимострашного нет, есть только предчувствие потери, и я не понимаю, что здесь черта, предел – и заявляю: «Я отсюда никуда не уйду». Врач пожимает плечами, и меня не гонят, девять дней не гонят, пока не завершается круг. Я говорю Камбуровой: «Ты должна пойти со мной», и она, как врач, быстро взглянув, отвечает – как будто между нами договорено ещё вчера: «Сейчас, я только переоденусь».

Меня тогда на концерте почему-то не было. Пришёл в филармонию уже где-то к заключительным аплодисментам и сидел «в прихожей». Внизу, в вестибюле. Слышал только аплодисменты... Откуда пришёл? С работы? Не помню... Это осень 1974 года. Запомнил, что из филармонии пошли домой к Люсе и Юре Кудряшовым, там ужинали и смотрели мои всевозможные рисунки.

У Марии тогда (после 1974 года) чуть не через передачу шли песни Камбуровой. Не всем это нравилось. И начальству – тоже. За каждую песню, звучащую в радиопередаче, – смертный бой. А её песни... Ну, не писать же рецензию. Это – как поток свежего воздуха, как горный ветер (да ещё на фоне официальной халтуры). Мария её любила «без памяти». Однажды мне сказала: всё ей отдать готова... если тебя попросит – и тебя отдам. (Ну, вот... я предмет, что ли?)

Даже в середине 70-х Лена не имела права выступать с сольными концертами. Недавно, роясь в бумажках, нашёл копию своего письма в «Литературную газету» – и тут же вспомнил, что мы с Марией тогда отправили множество писем в самые разные инстанции. А письмо в «Литературку» выглядело так:

«Уважаемые товарищи! (...) Вы меня на 100 процентов убедили в железной необходимости ежедневно реализовать лозунг: «Не проходите мимо!» Не проходите, мол, когда трое избивают одного, когда лгут, крадут, плумятся над человеческими идеалами и т.д.

Далее следует то, что я хотел бы сказать о Камбуровой.

А. О Камбуровой почти не знают; певцов с утра до вечера тиражируют радио и телевидение, однако наше РТ предпочитает пропагандировать шлягеры и рифмованные прописи.

Естественно, куда же без шлягеров... Максимализм в данном случае, как и в любом другом, очевидно, был бы излишен, однако удручает, что на фоне шлягеров и прописей ничего более не появляется.

Б. О Камбуровой иногда пишут. Чаще всего это интервью, которые о чём-то говорят лишь людям, побывавшим на её концертах. Иногда дискутируют: а что же такое то, чем она занимается? Пытаются выяснить жанр, в котором она выступает и т.д. Всё это достаточно скучно.

По-видимому, интервьюирование нужно дополнить хорошим, серьёзным и честным рассказом о её творчестве. Конечно, здесь существуют определенные трудности. Одна из песен Камбуровой называется «Как показать зиму». В самом деле, как её показать? Сообщить, что зимой температура воздуха нередко достигает тридцати с лишним градусов, вода в озёрах, графинах и чайниках замерзает напрочь, возможны случаи обморожения конечностей? Или прочесть: «Буря мглою небо кроет...» Очевидно, лишь второе мы относим к области искусства. Это – хрестоматия. Но как показать Камбурову? Рассказать о технических параметрах её голоса? А зачем? Сонаты Бетховена не оцениваются в децибеллах. Слушателю не дела до технических характеристик голоса, если даже шёпот возвышает душу.

В. Чтобы писать о ней, нужно, очевидно, выяснить для себя, что же такое Камбурова в современном русском искусстве. Пока что, как мне удалось выяснить, это просто служащая «Москонцерта», не имеющая права на сольные выступления.

Мы создаём великое общество, где люди будут предположительно обладать всеми чаемыми достоинствами. Они будут: 1) добры, 2) совестливы, 3) сострадательны к ближним, 4) будут обладать культурой чувств и мыслей, которая делает их способными ощутить дистанцию между творчеством Камбуровой и «шедеврами» Лещенко, Ободзинского, Пугачёвой и прочих (имя им – легион).

Камбурова помогает человеку не терять чувства причастности к роду хомо сапиенс – несмотря на противоборствующие тенденции, ищет в душе у каждого, пусть на самом уже дне, нечто, вырывающее его из каждодневной гонки за предметами первой и второй необходимости. Как говорили некогда, в давно забытые времена – заставляет вспомнить о душе. А зачем нам человек без души в великом обществе? Это же не будет общество ритмически содружающихся роботов, не так ли?

Г. Что же такое Камбурова – коллежский регистратор в «Москонцерте» или гордость нашей национальной культуры, человек, созидающий русское слово живым и трепетным, способным приобщить к истине, добру и красоте? (...)

Елена Камбурова должна получить право на сольные выступления. Это – минимум того, что могут сделать для неё окружающие, чтобы не потерять уважение к себе. Мне кажется, пресса способна выкрутить руки столоничальникам из «Москонцерта». По всей вероятности, эта проблема проще, чем спасение Байкала, допустим.

Д. Вопрос «что есть Камбурова?» повис как риторический...

Сейчас мы очень боимся экологических неприятностей, сопровождающих развитие цивилизации. Проблема обрастает статистикой, количественными подсчётами, мы теперь боимся захлебнуться в собственных отбросах. Очень актуальным стал вопрос об очистных сооружениях стоимостью в миллионы рублей.

Сейчас мы вовсе не боимся морально-этических неприятностей, сопровождающих развитие цивилизации (отбросами коей становимся мы сами). Проблема не лезет в арифмометр, её трудно выразить количественно и посему кажется, будто её нет или почти нет. Но не всем же так кажется... На концерты Камбуровой идут в основном молодые люди. И если это им интересно, то за них уже, наверное, бояться не надо.

Голос Камбуровой должен звучать – не потому, что ей это надо, а потому, что это надо нам. «Очистные сооружения» новой и новейшей истории (вспомним аристотелевский «катарсис», который мы ныне переводим как «очищение»)... «очистные сооружения» нового времени – Сервантес, Бах, Бетховен, Гоголь, Достоевский, Шалапин – боль, совесть и радость человечества – уже не могут совладать с потоком антикультуры. Им бы в помощь кого... Ну немножко бы капиталовложений в помощь основным фондам, созданным предками! А мы медлим, мы ждём, когда во все лопатки работающая на нас Камбурова сама сумеет поднять голову над ревушим потоком лезущих в заслуженные, народные, интернациональные, суперкосмические деятели. Ей трудно и даже невозможно состязаться с ними. А мы стоим в стороне и в лучшем случае вежливо хлопаем в ладоши.

Е. Когда эпоха топчет свои цветы, это значит, что топчет их мы.

Нет, сотрудники «Литературки», в виде исключения, их, конечно, не топчут, однако меня-то самого Вы давно успели убедить в личной ответственности за всё происходящее.

Ф. Давайте поможем себе и Елене Камбуровой. Вспомним: некий Понтий Пилат тоже очень сочувствовал одному Неудачнику, но не сумел заставить себя (в силу объективных причин, естественно)... не сумел заставить себя пойти дальше сочувствия.

Он был серьёзно наказан.

С уважением Б.Степанов».

Это октябрь 1976 года. Сейчас у Елены Театр музыки и поэзии. Недавно прочёл в газете: «Он встроено в мощный «сталинский» дом на углу Большой Пироговской, как потайной ящичек – в дубовый трёхстворчатый гардероб. Он глядит сквозь метель на точеное ярославское барокко колокольни и надвратных церквей Новодевичьего монастыря. Он стоит, таким образом, на Девичьем поле: рядом с жёлтыми шкатулками клиник Московского университета, где проходил некогда практику интерн А.П.Чехов. Рядом со зданием Высших женских курсов Герье. Рядом с надгробной часовней Владимира Соловьёва, перед которой в 1900-х годах молодые московские символисты, предводимые Андреем Белым, созерцали небывало яркие, розово-золотые и карминные зори первых лет XX века. И зори казались им знаком скорого преображения Москвы чуть ли не в Небесный Иерусалим.

Наивность и блестящий интеллект тех людей оттеняли друга (друг друга?), сливались – как голоса в дуэте. Рождённые в канун Серебряного века, «в тени колоссального музея культур», они дышали и культурой немецкого романтизма. Их ожидания были озвучены Шуманом и Шубертом. Дом немецкой песни, созданный старомосковским чудачком-энтузиастом, был местом их встреч. А великолепная камерная певица Оленина-д'Альгейм, принёсшая в Москву 1900-х истинные «Lieder» Шумана и Шуберта, была кумиром и одной из провозвестниц розово-золотого, рояльного и скрипичного преображения всего сущего».

Угу... Розово-золотое скрипичное преображение... Да ведь не раньше, чем снимут с креста мёртвое тело. Или на горе Фавор. Благодатью Пресвятой Троицы.

Андрей Белый и Владимир Соловьёв... Белый потом восклицал в отчаянии: «Да, тирания марксизма, внедрение принципов, погребенных теорией знания, при искусственной помощи Чрезвычайка – пародия, карикатура того, что естественно протекает в нас именно... мы, «гуманисты», «философы вольные» и исходящие жалобами на насилие, – мы-то есмь: утончённейшие насильники, палачи и тираны; государственная монополия мысли есть наше отражение: «страж порога»; и – да: «большевики» – мы есмь».

Иван-то хоть Карамазов кончил белой горячкой, Смердяков – петлей... А наши-то Сольцы-Карамазовы-Смердяковы из карминного и рояльного начала XX столетия... С.П.Мельгунов: «Специальностью Харьковского Че-ка, где действовал Саенко, было, например, скальпирование и снятие перчаток с кистей рук... В Воронеже пытаемых сажали голыми в бочки, утыканные гвоздями, и катали. На лбу выжигали пятиугольную звезду». Да ведь и не скрывали почти ничего в Коммунистическом манифесте ещё в 1848 далёком году некоторые любители классической музыки: «Пусть господствующие классы СОДРОГАЮТСЯ перед коммунистической Революцией».

А уж Владимир Соловьёв... «Представьте себе толпу людей, слепых, глухих, увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздаётся вопрос: что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаёте себя за здоровых, для вас нет исцеления.

Человек, который на своём нравственном недуге, на своей злобе и безумии основывает своё право действовать и переделывать мир по-своему, – такой человек, каковы бы ни были его внешняя судьба и дела, – по самому существу своему есть УБИЙЦА; он неизбежно будет насиловать и губить других, и сам неизбежно погибнет от насилия. – Он считает себя сильным, но он во власти чужих сил; он гордится своей свободой, но он раб внешности и случайности. ...Только отказавшись от своего ложного положения, от своей безумной сосредоточенности в себе, от своего злого одиночества, только связав себя с Богом в Христе и с миром в Церкви, можем мы делать настоящее Божье дело, – то, что Достоевский назвал ПРАВОСЛАВНЫМ ДЕЛОМ».

Так что без Креста и Христа рояль не рояль и скрипка не скрипка? Это я так почему-то с «серебряным веком» спорю... Культ и культура... Оторвавши себя от кulta, культура становится разрушительно-смердящей антикультурой?

А про свой театр вот и сама Елена говорит в одном из интервью (январь 2006 г.):

«Наш театр – напротив Новодевичьего монастыря. В нём два небольших зальчика, и вот уже два года мы очень интенсивно работаем. Ставим спектакли музыкальные и драматические. Один построен на песнях Окуджавы, другой – на музыке Шуберта и Шумана. Ещё один спектакль – на музыке Равеля, Дебюсси. Я участвую в «Антигоне» Софокла...

- В ваших концертах запоминаются яркие песни Ларисы Критской. Слышала, что она эмигрировала. Вам известна её судьба?

- В 1980 году Критская уехала в Америку в поисках свободы творчества, но там её оказалось ещё меньше, чем у нас. Разумеется, она занимается музыкой, но стала ещё и правозащитницей: со своими единомышленниками помогает обездоленным. Вступила в коммунистическую партию – словом, превратилась в такую американскую диссидентку.

- Как она относится к сегодняшней России, к возможности творчества у нас?

- Лариса приехала в Москву и, увидев наш театр, разрыдалась. Она сказала, что такого театра не может быть ни в Америке, ни во Франции. Это правда, такой театр возможен только у нас, в России.

- Выходит, не надо покидать родного гнезда, чтобы хорошо себя чувствовать?

- Если человека не интересует ни духовное, ни душевное – он прекрасно устроится в любой стране: найдёт себе ресторан, казино, на худой конец кафе, где ему будет комфортно, – а что ещё такому надо в жизни?

- Скажите, как вы относитесь к фальши в эстрадной песне?

- Я считаю фальшь – а попса состоит из сплошной фальши – бедствием. Песня по степени влияния на массового зрителя гораздо выше, чем кино.

Попсовая безкусица – совершенно безумное, искусственное уничтожение человеческой природы, изначально направленной на единение людей, на душевность. Так сегодня уничтожаются реки. Мы как-топлыли по Волге, и до слёз было страшно видеть эту красавицу в тине, мазуте, мусоре. Волга – аллегория России, которая загажена попсой.

Разрушение самосознания посредством попсы – не только у нас, конечно. Но масштабы влияния такого рода массовой культуры в Германии, например, не столь велики, там соблюдаются некие пропорции, не позволяющие попсе задавить всё остальное. А у нас попса перешла все мыслимые и немыслимые пределы. Я не хочу никому навязывать своё мнение, но считаю это преступлением».

Успеть, пока вертится круг
и вьётся магнитная лента...

Не ждать напряжённо момента,
когда остановится круг.

Успеть, пока кружится диск,
но только не думать о диске.

Не думать всё время о риске,
что всё не успеешь сказать.

Не надо форсировать речь.

И четко скандируя строки,
старайся не думать о сроке,
который тебе отведен.

Спокойно выкладывай их,
свои сокровенные думы,
а все посторонние шумы
сотрутся в положенный срок.

Бесстрашно выстраивай в ряд
свои путеводные вехи,
а все шумовые помехи
механик потом уберёт.

Расставится всё по местам,
и где-нибудь в памяти века

проявится вся дискотека
записанных им голосов.

Но ты говори, говори,
ты даже не думай об этом.

Смотри, каким медленным светом
исполнена рама окна.

А ты не смотри, не смотри,
как движется час календарный.

Смотри, как медово-янтарный

по дереву движется сок.
Смотри, как решительно вдруг
набухла апрельская завязь.
И всё не кончается запись,
и плавно вращается круг.

Это «Из музыкальной почты недели» (21 ноября 1980 года, утро – семь часов 15 минут), передача о Пушкине, которая закончилась Юрием Левитанским. «Успеть, пока вертится круг и вьётся магнитная лента». Мария не могла обойти вот эти стихи. Там про неё. Её магнитная лента... Успеть, пока вертится круг... И всё не кончается запись... Мария, на этой земле твоя не кончается запись, да? Пока есть люди, которые помнят и любят тебя. «А все шумовые помехи механик потом уберёт»? Вот пытаюсь сейчас выступить в роли такого механика...

Всё это пело, стучало в ритме сердца, торопило её: «УСПЕТЬ РАССКАЗАТЬ». Зачем? «Блаженны алчущие и жаждущие правды...» Я не знал никогда журналиста с такой неизбывной жаждой Правды, с такой жаждой сделать правду, праведность и справедливость достоянием людей.

Не выстоять нам самим. В одиночку. Да и русских-то уже почти убедили, будто никаких русских нет и не было на земле. Сейчас вот и «Литературка» в отчаянье затеяла рубрику «Русский вопрос»: «Каждому из нас надо сознавать: участвуя (за энную сумму или по зову души) в ежедневном унижении русских, в уничтожении целого народа и государства, каждый рубит сук, на котором сидит. И ждёт его не только метафорическая историческая пропасть, а та самая конкретная оркестровая яма, которую совсем недавно борцы за свободу в хорошо упакованном камуфляже превратили в отхожее место. Значит, выбор всё-таки есть – между человеческим оркестром, состоящим из нормальных людей, умеющих созидать, и тем, что из него сделают при любом удобном случае, если в обществе не будет консолидации ради спасения себя самого и государства в целом. ...Есть, в сущности, простой способ определить «своих» и «чужих» независимо от нацпринадлежности: работает человек на Россию или против неё, Родина для него она или «эта страна», существующая для отхожего промысла» (Наталья Айрапетова. ЛГ. 2003, январь). Там в качестве иллюстрации спящий русский пастушок Венецианова (1823-1826 гг.). А мы-то сегодня спим или уже убиты?

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!
Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!
А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заест ореховым пирогом –
Да, видно, нельзя никак...
Почему-то тут же вспомнился старый детский стишок:
Пьячет сеёй воёбей:
Выди сойнишко скоей...
Нам без сойнишка... АБИГА!

Так наша Юлька безобразничала в раннем детстве. Возьмёт да и крикнет в конце концов: абига! (то есть обидно).

Но причём здесь Лена Камбурова? Ну так... цепь ассоциаций... В каждый её приезд Мария брала меня подмышку – и в цветочный магазин. Одна корзина цветов, другая, третья... Душа нарастапашку!

“Дорогие мои, давние и любимые! А я из Уфы еду в Челябинск. А в Свердловск только в апреле 85-го. Уже трепещу. Вернее, уже предчувствую, как может быть, если буду не на выдохе... Весь прошедший год был годом дикой спешки. Спешила всё время. Дом на Соколе был каким-то перевалочным пунктом, некоей гостиницей, куда временно поселялась.

Будьте по возможности счастливы и спокойны. Обнимаю Вас всех – Лена Камбурова. 1984 → 1985”.

“Дорогие мои Машенька и Боря! Это уже становится традицией. Как только я в очередной раз оседаю в аэропорту – первое желание – тут же вам написать, ибо всё остальное время (честное слово!) заполнено до предела.

Машенька! Спасибо тебе за твоё последнее письмо! За статью о Леночке Сапоговой. Она стоит такого внимания! Фильм (“Колыбельную с куклой”) пыталась вытащить к нам на клубный песенный вечер, но мне сказали, что у них только оригинал – и потому не могут дать. Надеюсь, что его повторят по телевидению.

Весь декабрь был отдан записям на пластинку. Так хочется, чтобы случилось то, чего ожидаешь. Вот уж тогда бы я с каким удовольствием вам подарила этот диск!

Машенька! Держись... С Новым вас годом! Любви и света! Обнимаю вас – ваша Лена К. Дек. 1985 г.”

“Дорогие мои Машенька, Боря! Чувствую, что не дотянуться мне даже до нормальной открытки. Вот потому такой маленький лисий привет! (На открытке – лисёнок.) Много езжу, часто простуживаюсь, часто не в форме. С силами не очень. Но во всю пишу пластинку. Начинаю работать с новым пианистом. Сейчас в Ленинграде с Юлием Кимом и Дашкевичем.

Берегите, берегите себя. Обнимаю нежно – Лена К.
10. 02. 86 г.”

Из тех времён есть письмо Валерия Вениаминовича Кузнецова, моего однокурсника:

“Ты просил вспомнить что-нибудь про Машу. Помню, как она меня готовила к первому концерту

Лены. Это был, кажись, 1982 год. Крепко-накрепко запретила даже думать о выпивке, велела принять ванну, надеть свежую рубашку, сходить в цветочный магазин (кажется на Малышева, у реки) и купить две корзины (непреренно красивые корзины) цветов. А потом после концерта подвела к Лене и опарафинила по своему обыкновению, но у неё это вышло не обидно, хотя и ядовито.

А ещё Маша собрала к её приезду домашний концерт. И были там ребята из “Зеркала”. Они чудесно пели, у меня есть старая кассета... Жаль, нет той записи; по-моему, её не делали.

Потом помню – Лена приехала с большим горлом, Маша ходила озабоченная и сообщила мне, что Лена решила финалировать “Парусом”. Я был в ужасе, там высокое и сильное начало. Первое отделение страдал в зале. Лена подобрала спокойные вещи, не требующие большого напряжения. Во втором она стала разогреваться, и я почувствовал, как ей трудно. Не выдержал, ушёл из зала (там, если помнишь, в филармонии нет дверей), стоял возле сцены, в коридоре возле какой-то запертой двери и со страхом ждал “Паруса”. Вот слышу: начала, допела до конца – и раздался такой ор и рёв в зале, что стало ясно: она спела отлично. Я ринулся к сцене, оттуда уже выходила Лена, музыканты и прорвавшиеся поклонники. Последней прошла мимо меня Маша и прошипела: “Дурак, ты бы ещё в галльоне спрятался!”

Потом, через несколько лет, уже в Красноярске я спросил Лену, как это она сделала. У меня даже где-то есть плёнка с этим разговором. Она ответила, что научилась, поскольку часто болела, выискивать уже на сцене такие “ходы”, которые позволяли бы держать ноту, несмотря на большое горло. Примерно так.

...Хорошо помню, как познакомились с Машей. В университете, ещё на улице 8 марта, она сама подошла ко мне и стала объяснять, что наконец-то разводится с мужем, от которого давно уехала. И ты на ней женишься, но там за какую-то фигню в ЗАГСе (в смысле, за развод) надо уплатить 30 рэ, а у вас их нет. А жениться надо срочно. А развестись – ещё срочнее. Я отдал ей эту тридцатину и был горд, что она подошла именно ко мне. Она же была на курс старше, а, кроме того, другой такой эффектной девушки на факультете просто не было. Наши девчонки в сравнении с нею выглядели просто неприлично. И совершенно искренне был рад её выбору.

(А я-то был тогда уверен, что она давно развелась, и ни про какую тридцатку, естественно, не знал. Только недоумевал, чего она тянет с походом в ЗАГС. Чего-то бормотала про паспорт, которого у неё почему-то нет. – Б.С.)

Помню, как её мама, когда я приезжал, и мы оставались одни, играла на рояле и пела мне романсы: “Ямщик, не гони лошадей” или ещё что-нибудь. Помню, очень удивлялся, что она знает мои песни и даже посылает их своей подруге в Ленинград. (Людмиле Николаевне Соколовой, кажется Николаевне, если я не перепутал. Мы жили когда-то недалеко друг от друга – на Лермонтова и Жданова, недалеко от нынешнего Святого квартала; её муж оперировал плечо у юной Маши – какая-то бяка вылезала, остался шрам. – Борис.)

...Главное дело, жизнь моя практически прошла, Маша оставила в ней глубокую борозду. И хорошее, и печальное – всё равно всё это составляет мою жизнь. А помимо того – Кулибина (моя преподавательница английского в университете), Примаков, ты, Кудряшова... Юлия верно заметила: была бы Маша – всё снова бы крутилось. Но это невозможно.

Твой друг и майор в отставке, а также федеральный ветеран труда, бард и журналист, старый большой агностик...”

Потом, в конце 86-го было последнее письмо – от подруги Лены: “Маша, милая Маша! Обращаюсь к тебе с надеждой, что ты, имеющая уши и сердце, услышишь меня. С того памятного твоего звонка прошло достаточно времени, чтобы многое узнать и на многое раскрыть себе глаза – на нашу историю, культуру, общество. ...Я долго думала, почему именно Лена оказалась жертвой твоих умозаключений, но до сих пор ответа так и не нашла. Те факты, которые ты представила, бездоказательны и абсурдны. Искусство Лены – русское национальное достояние, храм духа... Я думаю, причина не в тебе. Чья-то зловещая рука играет на твоих лучших гражданских чувствах. Ей важно было выбрать именно тебя, человека искреннего и благородного по сути своей. Лена бьёт в те же колокола, что и ты. Ей действительно безразлично, чьи песни, авторов какой национальности она берёт в свой репертуар. У неё один критерий – высокий художественный уровень и духовность, нравственность, совесть. То, о чём ты пишешь, скорее можно отнести к Пугачёвой, которая разъедает, разрушает душу. Столько лет биться по сути за то же, что и ты, – и разбиться о ваш фанатизм. Это безумие, Маша. Призываю тебя во имя всего святого к справедливости. Враг есть, и она против того же врага”.

Это я тогда Машу против Лены настроил. Прости, Господи... Хотя... Там уже начинался раздрай в нашем “интеллигентском” сообществе – так что они и без меня, скорее всего, разошлись бы на мелко-политической почве.

Чего сам-то помню? Так, какие-то кусочки... Сижу под сценой и манипулирую светом, потому что осветитель в это время исполняет песню в камбуровском концерте. Помню как возвращались после долгой поездки в Синячихинский музей, машина многожды останавливалась из-за каких-то неисправностей, Лена чуть не опоздала на поезд.

Помню... Ну да, в 1985 году Маша тяжело заболела, потом началась “борьба с международным сионизмом” – и я решил выступить в роли разлучника. Подробности ни к чему... Мы с Леной растались на 20 лет.

Но, кажется, скоро мы снова с ней встретимся. Мимолётно.

Недавно всё тот же однокурсник Валерий Вениаминыч Кузнецов прислал мне разговор с Леной (Красноярский рабочий. 2006. 1 февраля):

“В Красноярске с двумя концертами выступила народная артистка России Елена Камбурова. По пред-

варительной договорённости Елена Антоновна побывала в редакции “Красноярского рабочего”, встретилась с журналистами газеты, в рамках прямой телефонной линии ответила на вопросы наших читателей. Она совсем не походила на ту ослепительную актрису в развевающихся одеждах, которая царит на сцене. Невысокая, в дублёнке нараспашку, в тёплом шарфе, свитере и длинной юбке из твида, с небрежной шапкой волос цвета порыжевшей осенней листвы, Камбурова, казалось, совсем не заботилась о производимом впечатлении”.

Лена тогда сказала много интересного (чуть выше “вопросы и ответы” – из того же интервью), но вот, на мой взгляд, главное:

“- Елена Антоновна, вы верите в Бога?

- Я приняла крещение в 1980 году, серьёзного духовного опыта у меня нет. Но последние два года делаю открытие за открытием. Посещаю церковные службы, общаюсь со служителями церкви, ничего не могу читать, кроме житий святых. Прошлый год был вообще особый, я посетила много святых мест, и это для меня сейчас главное. Под Питером есть такое место – Лодейное Поле; там расположен мужской монастырь, где покоятся мощи святого Александра Свирского. То чувство, которое я там испытала, трудно передать. Нам надо было уезжать, а я понимала, что не могу отойти от этого места. Нельзя было поверить, что мощам более пятисот лет. В обычном понимании мощи – это нечто истлевшее. А здесь руки, ноги – всё совершенно не тронуты тленом.

Когда начинаешь понимать, знать то, что раньше было от тебя сокрыто, тогда возникает вера. По моему твёрдому убеждению, если что и держит Россию, то это молитва и молитвенники, кои есть сегодня. Я знакома с такими людьми, да не только я – вся верующая Россия их знает”.

Глава 6. ФОЛЬКЛОР, творчество, песня...

Без неё тоже, наверное, Мария непонятна. Или – не совсем понятна. Ведь кроме Лены Камбуровой была ещё и Лена Сапогова. Русские народные песни, былины, Шергин... Вот нашёл журнал «Культура и жизнь» (1987, №12) с дарственной надписью: «Дорогой моей свекровушке – истинно русской женщине, с любовью. Маша, 18. 05. 88 г.» Это моей мамёнке Мария подарила. А в журнале – «При-вольные песни». Про Сапогову... А потом нашёл первоначальный вариант очерка:

«Увидела афишку – паршивенькую, синими линиями буквами: «Русские народные песни и былины исполняет Елена Сапогова». Странно: исполняет былины! Прихожу в филармонию. В зале – как в нашей кашинской церкви на киносеансе – заняты три первых ряда. Садись куда хочешь, филармония большая. Села на директорский ряд, на десятый, на бронированный – когда знаменитости.

Выходит... Сейчас, в этом почти пустом зале она, трепеща, как осиновый лист, кланяется нам и улыбается какой-то несчастной улыбкой, после которой уж никак не ждёшь от неё того, что она с нами сделает.

Она закрывает глаза, прикладывает руку куда-то к уху – как будто её ударили и она бережёт больное место – издаёт первое, протяжное, никогда мною не слышанное. Я не понимаю ни одного слова и не силюсь понять.

...Теперь я знаю песни Сапоговой наизусть, и могу воспроизвести тот первый клич, который она направила в меня: «Бэлахасэлавеемаате вяэсэновэкэлекате рано-раано...» Теперь я могу уложить его в доступные понимание строки:

Благослови, мати,
Весну выкликати
Рано-рано
Весну выкликати.

Но в том-то и дело, что меня не интересует конкретный смысл того, что льётся в мою душу. Эта женщина – посланница моих пращуров, и мне хватает под завязку, до потери воздуха, вот этого, ошеломляющего, идущего из одного только звука: я тоже оттуда!

И потом уже: в душных трамваях – чи-то липкие сетки с творогом и куриными ногами; в горемычном нашем комитете по телевидению и радиовещанию – специфика видеозаписи и специфика чаепитий с прогрессивными суждениями; в милой моей деревне Кашине – половодье, и опять снесло плотик, и Егор Сергеич, с утра несильно пьяный, колотит новый: «Пусть, так твою так, полощут советские женщины!» – я потом уже в каждое движение жизни мечтала, как инъекцию, впрыснуть слова той древней календарной песни: «Зароди, Боже, жито густое, жито густое, колосистое». А тогда... я просто целый вечер ревела – бесшумно, заткнув нос, задавив дыхание, и рёв этот вымывал из меня что-то, надутое нивесьть какими ветрами. Я, может быть впервые в жизни, осознала себя русской.

За многие годы я привыкла к её изумительной манере пения – перекачивать, точно камушки течением, окончания звука из одного слога в другой, из одного слова в новое, и смысл песни понимаю сразу. Но раньше я и не думала вслушиваться в слова: разве думаешь перевести в слова течение реки?

Она выносит на сцену стул, садится на краешек и, по-крестьянски уронив руки в колени, заводит песню-плач. Горячие ветры многострадальной земли русской, коими веет от былин, песен, заговоров, причитаний, не остывают, но с каждым днём становятся ближе, обжигают душу, требуют пробуждения.

Многое можно теперь вспомнить... Вспомнить, как её, не знавшую нотной грамоты деревенскую девочку, приняли в Саратовскую консерваторию. Как иступленно училась она, ни на шаг, ни на зачёт не отставая от однокурсников, пришедших из музыкальных десятилеток. Как прирабатывала к стипендии уборщицей. Как бегала к бабе Дусе, Евдокии Ивановне Петровой, консерваторской вахтёрше.

Баба Дуся любила и жалела студентов. Мы ездили с Леной в Саратов несколько лет назад, застали ещё Евдокию Ивановну, я писала её на магнитофон в покосившемся флигельке какого-то заброшенного саратовского дворика. Как-то вот она могла держаться на высоте по отношению к серым будням – с их суетностью, неурядицами, горестями... На самых последних рубежах своей жизни баба Дуся была, как пишут в газетах, полна жизнестойкости и оптимизма:

- Эх, я бывало припевала, припевать хотелось, а теперича что такое? – куда чево делось. М-м-м! Певница была – красная девица, а теперь всё забыла (смеётся). Вот сижу одна и разговариваю: Дуня, давай спать ложиться, давай чайку попьём – и ложись спать, времени уже много.

Сапогова: - А я-то всё помню. И как травочкой, баба Дуся, вы нас лечили...

- Гриб-то и сейчас вон стоит.

- Гриб, потом калину-то вы парили, «бьякой» нас лечили...

- М-м-м! Чтоб звучало хорошо! Ой-ой-ой, вот покажу тебе, какую палочку мне студенты подарили – ноги подпирать. Это ведь я молодая бегала, хоть бы что. А теперь всё – отживаю золотые денёчки (смеётся). Ну спасибо, живу вашими молитвами. Зинка оставила два театральных платья, одна была блестящая... Таня уехала – свои платья оставила. Из одной платья я костюм делала – она такая полная – народный хормейстер, ну вот... Она в Куйбышеве работает, вон тоже открытку прислала. Господи помилуй, физкультурой занимаюсь теперь... Вот тут работает лотошница, тоже фронтовичка, она тоже была на Белорусском фронте – и вот мы с ней развиваем физкультуру и спорт (смеётся). Вот так, милый мой, брось жену – пойдём со мной...

В Саратов ехали – в поезде познакомилась с женщинами. Одна из казачьей станицы, другая уральская, из Пермской области. Сапогова им пела двое суток. Женщины ревели, а из соседнего купе стучала в стенку: прекратите безобразие. Та, что из казачьей станицы, от избытка чувств продала Сапоговой козий пух по дешёвке. Сапогова всю семью обвязала и сама по сей день в козых варежках ходит. Вообще, надо признаться, одевается она согласно неоднозначности своего характера: то на сцену выкатит в купеческой душегрейке, золотом расшитой так обильно, что глаза потупить хочется. То по городу вышагивает в подшитых валенках с кожаными заплатками, в шапке-ушанке. Приходит и сообщает радостно: «Меня, как Софью Лорен, в троллейбусе узнают. Это про вас, говорят, кино «Колыбельная с куклой» показывали?» Или: «А меня на «Волге» к вам привезли. Опять опознали».

Документальный фильм, снятый на областном телевидении, и в самом деле, похоже, сократил путь Сапоговой к своей аудитории.

...Как-то я поехала с бригадой филармонии – там была и Сапогова – в поход по школам Екатеринбург-Свердловска. Мероприятие стояло в плане четырёх (или пяти, теперь уж не могу вспомнить точно) школ: в одной с 10 до 11, в другой – с 11.30 до 12.30, в третьей – с 13.00 до 14.00 часов. И т.д.

Сапогова, как опытная десантница, высадившись в первой школе, должна была: 1) быстренько, как царевна-лягушка, скинуть шубку и валенки, облачиться в концертное платье (можно сказать, прямо при детях – пионервожатая стояла ширмой и держала какую-то тряпку); 2) быстренько разжечь любовь к русской культуре в заведомо перекошенных от скуки учителей и ходящих на головах учениках, успевших за свою короткую жизнь (не без участия этих учителей) эту самую свою родную культуру не то чтобы невзлюбить, а тихо возненавидеть; 3) быстренько снова переодеться и быстренько передислоцироваться в следующую школу, где боевое задание требовало повторить всё сначала. Однажды получаю письмо из Перми: «Я в отчаянии. Приехала – а здесь и знать не знают, кто я и что делаю. Пыталась объяснить – слушать не хотят, говорят: площадки уже подготовлены. Вчера выступала в общежитии. Пять человек. Сидят в бигудях. Две женщины пьяные, с ребятами: матери-одиночки».

Фильм вышел на телевизионный экран, и осенью 85-го имя Елены Сапоговой стали набирать в газетных типографиях. «О ней заговорили» – такое, кажется, существует устойчивое словосочетание.

(Маша там была сценаристом... помню: выгнала оператора срочно-срочно снять обильный майский снег в городе... а Лена поёт где-то за кадром: зароди, Боже, жито густое... трамваи идут сквозь белые снега... потом отправила съёмочную команду в псковскую деревню... а уж что там получилось у Георгия Негашева, режиссёра... Получился образ, многозначный, как любой образ?

Режиссёр-документалист Андрей Отрошниченко «скорешил» её однажды снимать фильм про частушку... пришёл к нам в деревню под дождём без плащика и зонтика... Мария пообещала ему гениального народного певца и гармониста Вилисова, да потом раскаялась... Вместе с лучшими «образцами» он показал худшие... что-то бездарно-скабрёзное... а это неправда... это не наша частушка... всё что угодно можно кощунственно испохабить и опошлить... мы и так уж затоптаны в грязь. Мария отказалась от гонорара и потребовала убрать свою фамилию из титров.)

Теперь в нашей филармонии, когда концерт Сапоговой, – зал переполнен. Сам по себе этот факт – «зал переполнен» – находится вне однозначных эмоциональных оценок. Бывают переполнены не только филармонические залы – целые стадионы. Я не буду говорить здесь о чём-то конкретном, дабы не столкнуться с привычным «о вкусах не спорят». Убеждена, что в наиболее выразительных ситуациях это вопросы не вкуса, а вопросы состояния духа. После одного из концертов студентки горного института решили выбросить в своём общежитии все суперсовременные магнитофонные записи. Может быть, это крайность, синоминутный порыв, но и в самом деле хочется после всех этих привольных песен – при-вольных, они при воле-вольной, а воля-вольная – это душа наша, – хочется задвинуть в угол звуковоспроизводящие машины и прислушаться к себе: а просится ли твоя душа на волю или болтается она на верёвочке, за которую дёргает её то бит, то рок, то

какой-нибудь новоявленный бард.

Концерт в Екатеринбурге превратился в настоящий народный праздник. Рядом с Леной на сцену вышли жители села Деево Алапаевского района – целый фольклорный коллектив (от девяностолетней старухи до шестилеток). Из Пермской области приехал гармонист Вилисов – человек, одарённый природой настолько щедро, что диву даёшься: откуда у неё, у матушки, такие запасы. Пели песни парни с завода Уралмаш – молодые, чистые голоса и лица. Пели дети, у которых был уже свой песенный предводитель – дочь Сапоговой Василисы. И сама Сапогова – в тёмно-красном платье, раскинувшая рукава-крылья, и они – то ли прощальный взмах, то ли взлёт души. Всё у неё в ладу – с ней самой, с её делом, с народной песней – и это платье, и эти слова из Даниила Заточника, кои она говорит в зал безо всякой патетики, тихо, но так, что холодно становится в груди:

«Вострубим бо братие аки в златокованные трубы в разум ума своего и начнем бити в серебряные органы во известие мудрости и ударим в бубны ума своего поюще в боговдохновенные свирели. Да восплачутся в нас душеполезные помыслы!»

Я смотрю на просветлённые лица тех, кто в зале, и уже знаю: и с ними начнётся то же, что и со мной несколько лет назад. Магнитное поле русской культуры крепко держит, не даёт мелочиться, как бы укрупняет тебя в собственных глазах, и ты начинаешь требовать от себя того, на что ещё вчера, казалось, не было сил.

В последние годы моего прозрения – я ведь тоже из числа «разбуженных» и потому готовых для духовной работы – меня не покидает чувство медленного, но неуклонного движения. Пришло в движение нечто глубинное, нас объединяют уже не только сиюминутные радости и огорчения. Когда личность готова взять на себя этот тяжкий труд – это значит, что народ как целое вышел на новые рубежи.

Мы уходим в себя, и там, в собственных глубинах, находим своё прошлое, пласты древней культуры. Народ остаётся народом, как личность остаётся личностью, лишь до тех пор, пока сохраняет память».

А ведь сначала был 80-й год... «Из музыкальной почты недели»... 12 октября...

«В самом начале июля, когда заторопилась поспевать земляника, когда травы наливались и благоухали так, что первые дни нас (городских-то!) качало, как во хмелю, я и записала эту передачу. Вечорка на берегу Кунары возникла как бы сама собой: объявления не вывешивали. Натащили лавок – главным образом из банек (в избах-то теперь мебель стоит – тронуть страшно!), уселись по-домашнему – хоть и рядами, но вокруг одного стола, врытого прямо над крутым берегом, – и не заметили, как просидели до глубокой ночи. Вместе с Сапоговой...

Валентина Сидоровна: - У меня ведь много работы не сроблено осталось, я её потом сделаю. Я ведь люблю общество – посидеть... Корову подоила, оставила и пошла: посижу, мол, хоть с народом, с добрым-то. А то всё одна да одна... Хоть на людей посмотрю да себя покажу, а то уж три года как в берлоге тут сижу одна.

Аксинья Ефимовна: - У нашей мамы братья были... пели так... Приедут, так вся Кашина сходилась сюда к нам – так пели... Ну, по радио не слыхала я, чтобы так пели. И совсем без музыки.

А луговых песен сейчас не поют, как пели раньше.

Корр.: - А давайте луговую-то...

А.Е.: - Их не знают... и я не знаю... Только я слышала маленькая, как мама говорила: раньше, мол, старички сказывали, что луговые песни должны забыть. И правда: вот сколь слушаю радио – ну ни одну песню я не слыхивала луговую.

В.С.: - Мы когда сюда в Кашину приехали, здесь был... как его звали... Меркулий Михайлович. И пел точно так же, в растяжку, как мой отец. И даже одевался так же: передник у него был... тут фуфайка, а на фуфайке – передник. И вот я встану на брёвнышке, рот разину – и слушаю, как он поёт, и плачу... А пел так в растяжку: «Во-о-о-оскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла»... Они растягивали, а я не могу, у меня там хрипит... И я, торжествуя, стою: что вроде как отцовский голос я услышала... Отец так начинал хорошо, а женщины... Старики ведь одни остались в деревне после войны... А женщины все к нему подговорятся – и на телегу сдут и поют. Он начинает – они поют, а мы опять бежим за имя вприпрыжку и тоже слушаем. Это дело в войну было, мне 11 или 12 лет, а мы уж на коровах боронили в поле.

Корр.: - Каждая народная песня – это целая жизнь... А над жизнью ведь думать надо. Может быть, потому и проходил наш стихийно возникший концерт вперемешку с обсуждением проблем – насущных с точки зрения жителей Кашина.

Валентина Сидоровна: - А вот пойдём мы в магазин – и стоим ругаемся. Домой придёшь расстроенный, разнервничанный – болеешь. А раньше ведь этого не было. Раньше встретятся: здравствуй, например, Сидор Алексеич... здравствуй, Евдокия Васильевна... здравствуйте, Иван Павлович или там Арина Ивановна – вот у нас соседка была... А сейчас: кто это идёт – да черепаха Валька... А это? – Дрын-Данила. Вот нехорошо ведь, правда? Нехорошо...

Этта как-то поворачиваю возле Вали Феклушиной угла, а навстречу мне парень – и говорит: я из тебя сейчас ливер сделаю. А ты можешь представить, что со мной было? Я... руки-ноги у меня задрожали, да спасибо вот Вите Колегову, он ещё в армию не ушёл. Он и говорит: что ты, что ты, это же валеркина мать... Копы, мол, Рыжего... Ак я не помню, как дошла до магазина...

Корр.: - Сейчас позади уже лето, и мы снова в городе, у нас свои заботы и планы... И Сапогова приходит ко мне, чтобы послушать голос Степаниды Емельяновны Батаковой, её плачи, в народе называемые причетами. В них – жизнь Степаниды и других кашинских баб, вытканная изумительным поэтическим словом. В них – память о войне, тоска одиночества, с которой, видно, не разлучиться уж до конца дней.

Голубочек да ты мой сизенький,
лебедочек да ты мой беленький.
Ох, уж ты моя да ладушка,
свет-Семён же да ты Кормилович.
Оставляешь да мила ладушка,
что меня-то, да мила ладушка
со своим-то да малым детонькам.
Они малым-то ещё малёхоньки,
Они глупым-то ещё глупёхоньки...
Уж как седу да я на лавочку,
ак я скукую да по-кукушечьи,
ох я сгорюю да по-горюшечьи...
Ох я котору да думу думати,
ох я котору работу робити...
Ох уж как седу да я на лавочку,
ох посмотрю да я за окошечко,
ох скрозь немецко да я стеколышко...
Ох не идёт ли у меня да мила ладушка,
ох что нейдёт ли да он, не катится,
ох свет-Семён да у меня Кормилович (вздых, горький вздох)».

Нейдёт. Не придёт. Соедини их, Господи, в царствии небесном.

...Конечно, у Лены с Машей головушки-то не маслом мазаны – частенько и ругались, не без того. Но чего уж там: жизнь прожить – не поле перейти. Не поле... не поле...

В последние годы мы ходили на могилу к Маше с Таней Петровой, Милой Яшниковой, Ирой Хмельновой и Леной Сапоговой. Лена теперь в Саратове, но иногда навещает Екатеринбург, и в свой последний приезд подарила мне такую свою вещь про Марию.

О МАРЬЕ КИРИЛЛОВНЕ

«А у Марьи-то счастливицы
Сердце клубышком катается!..

Всякий раз, когда пропеваю слова этой народной величальной песни, вижу Машу, Марию Кирилловну – журналиста, гражданина, красивую, по-русски статную, улыбающуюся всем своим существом женщину.

Так слушать песни народные, как слушала Маша, дано немногим. Для неё хотелось петь и петь, делиться новыми песнями, зная, что поймёт, скажет своё мнение. Об одном всегда просила: «Сапогуша (так она меня называла), не торопись между куплетами, делай паузы больше, дай нам передыхнуть!»

Первый раз увидела её на своём концерте в зале Свердловской филармонии. Это был один из первых моих сольных концертов. Волновалась как никогда. Зал был на удивление полон. Начала с былины про Миклушку Селяниновича – моего самого любимого богатыря-пахаря. И вот, когда стала кланяться, увидела в центре зала, в проходном ряду, крупную плачущую женщину. После концерта она прибежала в комнату, где я переодевалась, шумная, восторженная, и стала говорить, что это вторая Елена, к которой она приходит за кулисы. Первой была Елена Камбурова, которую я всю свою творческую жизнь люблю, учусь у неё, восхищаюсь ею.

(Маша когда-то написала: “Не помня себя понеслась к Сапоговой за кулисы. Вот, говорят, надо семь раз отмерить, один – отрезать. Не всегда, не всегда... Если бы я тогда стала мерить – никогда бы не решилась. Но, к счастью, мерить не умею. Хотя рисуюсь, пожалуй: не всегда к счастью.

В гримуборной Сапогова сразу говорит мне, сладко улыбаясь: “А я видела в зале ваше лицо”. И я мучаюсь, почему она так улыбается? Зачем? Мне досадно, потому что в песнях было другое. Пойму это опять же после, когда пройдёт время: Сапогова земная! Бабочка деревенская, Михайло Ломоносов в столице – потому и улыбается всем и каждому, не знает, как приспособиться к городскому политесу, что в нём делать. Бабочка – не капуста, конечно, а бабочка-баба, она сама любит говорить: “Я бабочка гордая!” – и “ч” выговаривает твёрдо, по-симбирски, и получается хоть и игриво, но зловеще – такую не трожь!)

В 1985 году вышел документальный фильм Свердловской студии телевизионных фильмов “Колыбельная с куклой” – о нашем отношении к народной культуре, сценарий к которому написала Маша. С каким же трудом она заставляла меня сниматься в нём! А я искала всякие причины и отговорки. Она-то уже тогда понимала, что происходит с нашим отношением к народной культуре, к нашим корням, к нашей памяти.

А как она заставляла (иногда просто ругала) писать писать мои заметки о народной песне, которые благодаря огромной Машинной поддержке сложились в книжечку “На привольной стороне”, вышедшей в издательстве “Советская Россия” в 1986 году. Она напутствовала: “Пиши, как говоришь, как песни поёшь”.

Сердце её обливалось кровью о судьбе народа. Какие потрясающие душу передачи делала Маша!

Однажды летом она пригласила меня с детьми в своё любимое Кашина Богдановичского района. Божественно красивые места!

Избушечка на курьих ножках на косогоре на краю села у самого леса, которую поддерживали вековые

тополя, мелкая речка Кунара, бегущая по камушкам, жара, комары, вечерний костёр, сосны, воздух, напоенный ароматами цветущих трав и земляничных полей. Сын Маши Антон был тогда несколько месяцев в армии, а дочка Юлечка, теперь уже сама мать трёх чудных дочек – Ольги, Тани и Машеньки, сдавала экзамены в горный институт и иногда с друзьями наезжала в деревню.

Первые дни Маша водила нас по своим заветным местам. Близко – на скалы, кои нависали над Кунарой огромными богатырскими шлемами и в это время были нежно-фиолетовыми от душистой богородской травки. Далеко – на “белую глину” за земляничкой, где надо идти через множество разных ручейков и ключиков, буйно заросших лабазником, иван-чаем, над коими гудели пчёлы и летали невиданной красоты бабочки. И тут без песен невозможно. Маша подзадоривала: “Сапогуша, пой!”

Девчонаника по гаю ходила! Гу!

Молодая в гаю заблудила! Гу!

Это “гу!” выкрикивали все: и дети мои – Саша с Василисой, которые в то время ещё и в школе не учились, и Маша с мужем Борисом Ивановичем.

Песни, звуки леса сливались в одну мелодию – гимн нашей прекрасной матушке-земле. Блажу песни гукальные, а в горле ком и слёзы восторга.

Умывает красно солнышко

Руки тёплые в росе,

И Россия, как Алёнушка,

Предстаёт во всей красе...

У неё коса пшеничная,

Родниковые глаза,

И поляны земляничные

щедро дарят ей леса...

Возвращались из леса искусанные комарами да слепнями, но несказанно умиротворённые, счастливые, с полными бидончиками душистой земляники. Вспоминались строчки нашего великолепного поэта Алёши Решетова:

Зеница ока – родина моя,

Что без тебя на белом свете я?

Без белых рощ, без пушкинской строки

Я не жилец – я сгину от тоски!

Маша шла к Василию Потапычу, соседу, приносила сметану с молоком. Ягоды высыпали в блюдо, и во всём мире не было ничего вкуснее этого.

Земляничка-ягодка

Во бору родилася,

Во бору родилась-да

На полянке вызрела...

Кунара-речка по колено воробью, летом была как парное молоко. Мы садились в неё, как в корыто, бултыхались вместе с детьми и мелкими рыбёшками и блажили на всё Кашина.

На речке, на речке,

На том бережочке

Мыла Марусенька

Белье ноги...

А вечером комары поедом ели, даже химические мази не помогали. Но разводили на поляне возле избушки костёр, кипятили чай с травами и пели, пели, пели...

Иногда договаривались с деревенскими бабушками посидеть вечером, попеть, поговорить о жизни. Перед домом ставили лавки, табуретки, “чурки”. Внизу журчала Кунара, звёзды высыпали и огромными глазами глядели на нас. Вспоминали пробежавшую молодость, подзабытые, давно не петье песни...

Какие передачи осенью делала Маша о людях деревни! И насмеёшься, и наплачешься от боли и восхищения этими простыми женщинами, вынесшими на своих плечах кажется невозможное.

Голубощек да ты мой сизенькёй,

Лебедощек да ты мой беленькёй...

Ох, уж ты моя да мила ладушка

Со своим-то да малым детонькам...

Давно уж нет этих женщин – Степаниды Емельяновны, исполнявшей этот плач (не исполнявшей – плакавшей о погибшем на войне муже), Матрёны Петровны, Серафимы Васильевны, тёти Вали... Нет с нами и Маши, но в сердце моём они живут, помогают жить и петь. До сих пор звучит голос Марии, её смех, её поразительное жизнелюбие, человеколюбие, её сострадание к простым людям. А сколько благодаря Маше у меня появилось прекрасных, духовно богатых людей! По роду профессии и по природной талантливости она как золотоискатель находила их. Рядом с ней мир был наполнен добром, светом, любовью, состраданием, равнодушием. Об этом говорят все её передачи.

Как-то она познакомила меня с одним из героев очередной передачи – народным гармонистом-самоходком из села Шамарята Кишертского района Пермской области – Вилисовым Михаилом Ивановичем. Это простой землепашец “Микулушка” так живо, интересно, с крестьянской прозорливостью и тревогой говорил, что же с нами происходит... Писал стихи-песни, исполнял их под гармошку так, что зал вставал в восторге и

благодарности.

А как-то, в первые годы “перестройки” по осени мы оказались в Москве на празднике дня города. Михаил Иванович играл на гармошке, пел частушки. Я, подпевая и приплясывая, шла впереди. Маша с восторгом шла с нами и ловила недоумённо-вопросительные взгляды людей. Одни восхищались, другие – недоброльно ворчали на приезжую “деревенщину”. Позже Маша сделает об этом прекрасную передачу, будет очерк в “Нашем современнике”.

Как-то прибежала ко мне восторженно-ликующая с листочком, где перепечатала стихотворение Максимилиана Волошина “Заклинание на Землю Русскую”, чтобы я срочно его сделала. Меня оно тоже потрясло. И хотя я долго делаю и песни и стихи, но это сразу легло на сердце. И вот с той поры исполняю до сих пор, и всякий раз думаю о том, что Маша меня благословила:

...Чтобы мы его – царство Русское

В гульбе не разгуляли,

В пляске не расплясали,

В торгах не расторговали,

В питье не распили,

В словах не разговорили,

В хвастне не расхвастали...

И чтобы оно – царство Русское

Рдело-зорилось

Жизнью живых,

Смертью святых,

Муками мученых...

Вот и походила по тропинкам памяти сердца, а они вьются, вьются... и нет им конца”.

И снова Мария:

“Речка наша Кунарка хоть и невеликая, а держится, изо всех силёнок сопротивляется промышленному окружению. Держится как-то Кунарка, ещё и рыба не вся вышла, и вода на воду похожа...

Возле батюшкиных во-о-рот да

Стаить озёро-о ва-ады да-а

Ох-и лён-ы ты мой лён-ы

Лён кудрявый-и зилиа-а-но-о-о-ой...

КАШИНА

Песня плывёт, вплетаясь в зной, в жужжанье, в журчанье, в дуновение, в шорохи... Я сижу прямо посередине речки на быстринке. В этом месте ежели сядешь – вода у берегов поднимается. Я сижу в Кунарке – как в тазу, как в корыте, пескари тычутся в мои ноги, я полощу прямо в “водопаде”, который перекачивается через мои колени. Для меня всегда Родина – вот это. Именно это. Не вся Кашина, и даже не дом мой на горе под дядькиными тополями, а именно эта быстринка, и именно когда я в ней, и обязательно жарко, и вода оmyвает меня. Не захочешь да рассиропишься: разве можно одному человеку столько счастья?..

Деревня Кашина в моей жизни – статья особая, постоянно и всюду присутствующая. Как детство, которое с человеком всю жизнь, до самого края. В детстве я в Кашине жила только однажды, в войну. Мать привезла меня с тяжёлым инфильтратом лёгких, отвергла настояния врачей “поддуть” меня, закрыла уши на все зловещие предупреждения. Она привела (привезла?) меня в Иоанно-Предтеченскую церковь, где священник крестил и причастил девочку Машу. Потом сгребла в охапку и увезла из города.

Я хорошо помню соседскую тележку на двух колёсах. Да, собственно, и помнить не надо, у них и сейчас такая же – на этой тележке мать вывозила меня в сосняк.

Помню бесконечные переодевания – я вымокала до нитки, особенно во время сна. Помню питьё из сосновых иголок, землянику и бруснику, и парное молоко, которое мать вливала, вталкивала в меня всеми правдами и неправдами. Мать (с Божьей помощью) “выцарапала” меня – это было любимое её словечко с тех пор, как его произнесло лёгочное светило, которое выстукивало и выслушивало меня, и вертело на рентгене, не веря своим глазам. И вот это “Кашина не даст пропасть, Кашина выцарапает” засело во мне на всю жизнь. А теперь вот ещё поняла: Бог и мать... Её любовь к деревне была не с потолка, а тоже из детства, из её детства. Мой дед в начале XX века купил дом на горе за рекой, у самого леса – и вывозил сюда на лето восьмерых архаровцев (моих дядюшек в возрасте от пелёночного до гимназического) и мою мать с сестрой её Катей. С целью укрепления здоровья и экономии обуви.

Я не очень-то много в этой жизни умею, вот разве что слушать, прислушиваться, предчувствовать. В юности, когда на уме у меня был один волейбол и мальчики, и ветер гулял со свистом в абсолютно порожней моей голове – я уже с каким-то неизъяснимым предчувствием слушала “кашинские истории” матери. Чего стоила одна только история с садом, от которого и по сей день остались на нашей горе яблоневые и сиреневые дымы. Да в акациях, более семидесяти лет никем не стриженных, бродит в ненастье соседский телёнок... Мои дядьки чем-то прогневали отца, моего деда. И тот, уезжая на неделю в Екатеринбург, сказал: “Чтоб к следующему воскресенью на горе был сад”. И поехал себе на лошадаках за сто вёрст. А дядьки мои упирались, бедные, с шести утра и до двух ночи, возили землю и с реки песок: гора-то была настоящая – известняковая скала. В воскресенье мой дед подкатил с бубенчиками к огромному, в два гектара, саду. Думаете, он ахал и охал, и гла-

дил сыновей по головкам? Он мельком бросил: “Сделали? Ну и ладно”. Воспитывал в строгости.

Каждый год в начале отпуска – в начале новой эры, когда одним рейсом электрички рвётся связь с газозаванными улицами, с каменными лестницами, с телефонами, и ты, как бы кружась, медленно начинаешь оседать в деревенском быте, в моей семье начинаются беспредметные разговоры о том, что избу надо бы подремонттировать. Но всё равно нет денег, да если бы и были, никто не знает, где берут нынче рубероид и доски. Всем тут же становится ясно, что разговоры о ремонте переходят в планы будущего года, а я, чтобы подкрепить окончательное облегчение, неизменно вспоминаю мать: “Наш дом НИКОГДА не рухнет, его тополя держат”. Тополя – те самые, из истории с садом... Могучие, родословные тополя... Лезу в голбец – и обязательно люблю тронуть рукой их корни. Во мраке холодного подпола их видно, они действительно обхватили мой дом и не дают ему упасть.

Тополя держат дом, а меня во многом держит Кашина. Чем дальше проживаю жизнь – тем больше понимаю это. Где бы ещё я видела закаты? – в городе нет неба, есть дома до неба... Где слышала бы звук, рождающийся от соприкосновения дождевых капель с листьями?... Где дышала бы запахом трав, где, раскинув руки, обнималась бы с ветром, и где, в каких филармониях услышала бы я причеты Степаниды Емельяновны Батаковой, давшие такую работу уму и сердцу, какой я и не могла в себе предположить.

Голубощек да ты мой сизенькёй,

Лебедощек да ты мой беленькёй,

Ох, уж ты милая моя ладушка...

Степанида Емельяновна и Матрёна Петровна Федотовских – кашинские подружки матери из детства. И теперь, когда матери нет, они мои “подружки”. Была ещё Мария Артемьевна Боликова (её сын Егор Сергеич до сих пор кормит нас своей картошкой) – да ещё сидит где-то в далёкой ячейке городской многоэтажки баба Василиса, мать одноногого матрёниного соседа, семидесятипятилетнего Данилы Степановича. Бабе Василисе девяносто семь годов, но Бог пока не берёт её, хоть давно уже просится она в лучший мир, – не рада своей беспомощности.

Каждое новое лето Степанида и Матрёна встречают меня в Кашине памятью о матери. “А что, Марья, ноне ведь Лизавете-то Димитревне будет уже подико девятый годок...” Это не праздные разговоры, не долг вежливости даже – это действительно память, которая всегда потрясающе точна.

Вот так оно идёт и идёт, и вяжется, вяжется... Это уже не мои слова – сапоговские, а мне кажется, что они и мои тоже... Как-то Лена сказала мне: “Наши неграмотные бабушки – откуда у них это было? – Будь здорова как вода, будь богата как земля, будь красна как весна”. Сравнения-то вселенские. Вселенские! У колыбели мама мне пела: “Голубеньки глазки сделали салазки, сели да поехали – к дедушке захали. – Чего, деде, делаешь? – Ступу да лопату, корову горбату. Корова-то с кошку, надоила с ложку. Пора бабушке вставать – курам зёрнышки давать. Куры улетели, на сосёнку сели...” – и оно идёт и идёт, и вяжется, вяжется. До сих пор помню эти “голубеньки глазки”. Ребёнок ещё не разговаривает, а его уже воспитывают”.

...Колыбельные моего детства – забавная самостоятельность матери, заквашенная на какой-то очень приближительной народности – в смысле текстов, и в то же время очень верной – в смысле сути, в смысле жалости к дитю, в смысле угадывания, что не столько погремушки нужны ему в колыбели, сколько импульсы живой души. И глотала я эту смесь, любя и не любя её. Меня очень обижала, например, такая самостоятельность: “Баю-бай, баю-бай, пошла киса под сарай, под сараем Маша спит, кисе незачем ходить”. Было жаль себя: почему же я под сараем? И обидно: с какой стати кисе незачем ходить, с кисой всё-таки под сараем не так одиноко. (А я-то сейчас пою нашей внучке Маше: “под сараем киса спит, Маше незачем ходить”. – Борис.) Тем не менее я слушала колыбельные с замиранием сердца. Уж и большая была – во втором, может быть в третьем классе – всегда засыпала под сочинительства матери.

Вот: вспомнила всё. И детство, и мать, и Кашину, и речку нашу Кунару. А сапоговская-то река – Волга! Лена родилась в селе Бряндино Ульяновской области (Симбирской губернии). О Волга, колыбель моя... Матушка её Ольга Леонтьевна мне как-то рассказывала: “Большое село-то у нас было, дворов на пять сот. Церковь была! Ой господи, выбирать-то когда нас отудова взялись, я как вОпила: сделайте мне землянку, я буду в землянке жить”.

Где-то лет десять назад ездили они в свою Брядину. Вернулись – Лена сказала: “Лучше б не ездили. Нет там ничего. И говорить не хочу”.

ШУБАРТ

Она была очень русским человеком... А что это такое? Ну вот взгляд со стороны, Вальтер Шубарт:

“Русский рад видеть погибель, в том числе и свою собственную: она напоминает ему о конце всего существующего. Он с удовольствием созерцает развалины и осколки. Известен русский обычай на пирушках бить стаканы об стенку. Это весёлая сторона дела. Главный же смысл здесь: а пошло оно всё к чёрту! Это можно сказать и как проклятье, и как шутку. Нигде в мире не расстаются так легко с земными благами, нигде столь быстро не прощают их хищений и столь основательно не забывают боль потерь, как у русских. С широким жестом проходят они мимо всего, что представляет собой только земное. Готовность к прощению опять-таки раскрывает в себе русское предназначение к свободе. Прощающий избавляется от обиды, ему нанесённой. Тем самым он не только освобождает грешника от бремени его вины, но и себя – от гнёта ненависти к нему, тогда как месть продолжает связывать мстителя с преступником и лишает его возможности самоопределения. Идея всепрощающей любви неразрывно связана со свободой, идея отмщающего права – с зависимостью.

...Русский вкушает земные блага, пока они ему даются, но он не страдает своим внутренним существом, если приходится ими жертвовать или лишиться их.

...Свобода немислима без смирения. Русский свободен, поскольку он полон смирения; а смиренным становится человек, который чувствует свою связь с Богом. ...Тут европеец уже не может понять русского, поскольку не видит разницы в понятиях “смирение” и “унижение”. ...В то время как европеец стремится оправдаться, похвалиться своей силой, выглядеть значительнее того, чем он есть на самом деле, – русский не только открыто признается в своих ошибках и слабостях, но даже преувеличивает их, не из тщеславия, как Диоген, а из стремления к духовной свободе. ...В этом ощущении вины у русского коренится и его жажда страданий. Он хочет страдать, поскольку страдание уменьшает бремя вины. ...Из этого чувства вины рождается мысль о жертвенности как центральной идее русской этики. Только жертва открывает путь, ведущий из мира здешнего в мир иной. Без смерти нет воскресения, без жертвы нет возрождения. Это то, что я называю русской пасхальной идеей, которая, наряду с мессианскими ожиданиями, является характерной для русского христианства. ...Только русский знает и подчеркивает самоценность самой жертвы. ...Русский ставит акцент на ценности самого акта, а не его результата. Он – человек души, обращённой внутрь себя, а не человек дела, обращённый на окружающий его мир. ...Он более склонен к внутреннему совершенству, нежели к внешнему успеху. Он больше печётся о спасении души своей, нежели о “завоевании всего мира”. ...Он стремится к добродетели, тогда как прометеевский человек – к деловитости. Деловитость ведёт к успеху в мире фактов, и также приносит доход, но разбедает душу и разрушает внутреннюю свободу. Кто исповедует добродетель, тот выступает против реальности. Он свидетельствует в пользу духовного порядка, защита которого связана с большими потерями в мире выгоды. Но этим спасается внутренний человек.

Прометеевскому человеку присуще срединное состояние. Это делает его холодным, деловитым, постоянным, рассудительным. Русской душе чужда срединность. У русского нет амортизирующей средней части, соединяющего звена между двумя крайностями. В русском человеке контрасты – один к другому впритык, и их жёсткое трение растирает душу до ран. Тут грубость рядом с нежностью сердца, жестокость рядом с сентиментальностью, чувственность рядом с аскезой, греховность рядом со святостью. Россия – страна неограниченных духовных возможностей. Россия – это каскад чувств. Одна эмоция внезапно и беспричинно переходит в другую, противоположную. Как много русских песен и танцев, в которых резко сменяют друг друга веселье и грусть!»

Тут много чего про Марию. Даже такой вот широкий жест: стаканом об стенку. Угу. Мы тогда провожали Серёжу Бетёва, нашего тогдашнего друга-писателя, в туберкулёзный диспансер. Он когда-то, кажется, сидел в лагере и заработал там эту неприятную вещь...

Я как раз приехал домой из деревни, а у них – проводы. Не помню, кто ещё там был. Это ж времена нашей молодости, какой-нибудь семидесятый год. Очень сильно напровожались. Мария потом долго вспоминала, как я гладил Сергея по голове и чуть не клятвенно обещал, если что, достойно похоронить его на Широкореченском кладбище.

А про каскад чувств... Да уж – каскад. Способ существования Марии – эмоциональный взрыв. Часто она и сама была не рада. “Одна эмоция внезапно и беспричинно переходит в другую...” Что делать... Я-то в сравнении с ней вообще какой-нибудь немец-германец. Хотя... Иногда и я совершал поступки, кои за полминуты до того вовсе не планировал. Причём такие, которые потом определяли всю мою дальнейшую жизнь. Да-с.

“Смена крайностей придаёт русскому характеру нечто капризно-женственное. Это облегчает обращение к Богу, но одновременно – и вероотступничество, и измену.

...Судорожная хаотичность крайних состояний очень легко лишает русского человека его больших врожденных способностей к свободе и бросает его, без всякого сопротивления, в бездну мирских соблазнов, – так что средний европеец, способный усилием воли удержать себя от самых опасных увлечений и потрясений, кажется рядом с русским даже гораздо свободнее. Когда русский свободен, он действует инстинктивно, из слепого стремления к свободе, из презрения ко всему мирскому, в то время как прометеевский человек добивается высшей точки доступной ему свободы только сознательным напряжением воли. Когда порыв к сверхчувственному замирает, русский слишком легко позволяет увлечь себя в вихрь страстей, в котором уже нет свободы. Ему недостаёт организующей воли, которая поддерживает внутреннее равновесие. В результате получается картина, часто используемая при сравнении русских с европейцами: русский в своих вершинах может достичь таких высот, какие недоступны ни одному европейцу; но русский человек в среднем часто опускается ниже той линии, которую выдерживает средний европеец. В культуре СЕРЕДИНЫ – середина уместна и таковой должна быть, ведь это она является опорой культурной жизни. В культуре КОНЦА по-другому. Она с её крайностями вздымает вверх могучие вершины, меж которых зияют жуткие пропасти.

...Русский – метафизический оптимист. Этот оптимизм и пессимистическая оценка культуры как явления чисто человеческого – не взаимоисключаемы, а являются двумя сторонами единой основополагающей установки души.

Прометеевский человек занимает противоположную позицию. ...Для него надёжно существует только его собственное “я”; вокруг же себя он ощущает разве что смутный шум космоса. Он – метафизический пессимист, озабоченный лишь тем, чтобы справиться с метафизической действительностью. Он не доверяет изначальной сущности вещей. Он не верит твёрдо в сверхземные силы, осмысленно организующие бытие.

Он переживает мир как хаос, который только благодаря человеку получает свой смысл и оправдание. ...Это несчастный человек, куда более несчастный, чем русский, – на прометеевской культуре лежит мрачная тень забот.

...Именно потому, что прометеевская культура проистекает из изначального страха и направлена на его преодоление, я называю её носителей героическими людьми. Если давать оценку изначальному страху и изначальному доверию, то самое большее, что можно было бы сказать: изначальный страх есть проклятье, а изначальное доверие – милость. Именно потому, что русский глубоко укоренен в вечности, он может беззаботно предаваться власти мгновенья. Он способен на божественное легкомыслие и доводит его порой до крайности, до открытого вызова судьбе. ...Русский обладает той самой внутренней весёлостью, которая – по тем же причинам – свойственна некоторым буддийским народам. Из этого следует вывод: чтобы безмятежно наслаждаться временным, надо уверенно чувствовать себя в вечном. Надо внутренне подняться над жизнью, чтобы найти её прекрасной и увлекательной. Чем меньше мы ждём от жизни, тем больше она даёт нам.

...Государственная нормирующая деятельность и религиозная сдержанность стоят в обратной зависимости друг от друга. Готическая эпоха была глубоко религиозна. Она не знала юриспруденции и не нуждалась в ней. Тогда действовал живой Божий Закон, поэтому светские нормы были менее важны. XIX столетие было (в Европе) безбожным, и это стало временем величайших кодификаций. Законы росли непрерывно – и числом, и объёмом (как сегодня, в 2004 году, – в Российской Федерации; пытаемся жизнь загнать в бутылку талмудических установлений. – Б.С.). Но они не предотвратили ни соскальзывание в мировую войну, ни большевизм, ни анархию, от которых нас теперь должна спасти государственная власть, которая ошибочно полагает, что способна на это. Чем меньше в обществе религии, тем больше требуется государства. Там же, где государство – всё, религия должна угаснуть. Тотальное государство – это *социальная форма безбожия*.

...Запад утверждает: лучше умереть, чем быть рабом; русский же говорит: лучше быть рабом, чем грешником. Поскольку рабство отнимает только внешнюю свободу, тогда как греховность разрушает всякую свободу, всякую связь с Богом».

Да, так... Наверное... Вот древние евреи, например, очень хотели две тысячи лет назад обрести внешнюю свободу... свободу от римского ига... Очень хотели занять независимое государство и своё собственное национальное правительство. Но вот как она, иудейская элита, тогда уже выглядела (Матф. 23):

«Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим. И сказал: **на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи**; итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают: связывают бремена тяжёлые и неудобноносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их; все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди; расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих; также любят предвозлежать на пиршествах и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: «учитель! учитель!»

...Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! ...Вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. ...Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варакнина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что всё сие придёт на род сей.

Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликните: «благословен Грядый во имя Господне!»

И ещё (Иоан. 37, 44): «Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищите убить Меня, потому что слово Моё не вмещается в вас...»

Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины; когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи».

Так что тогдашние иудеи очень хотели, чтобы их возглавили не римляне (которые тоже, конечно, не мёд), но их собственные национальные вожди слепые, змии, порождения ехиднины, дети диавола... Не того ли хотят и некоторые из нас сегодня? «Итак не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: «что пить?» или: «во что одеться?» Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Матф. 6: 31 – 33). Сперва наша русская элита должна стать православной, а всё остальное (в том числе независимое национальное государство или, может быть, империя) – приложится. А великая своей силой и безбожием Россия Богу не нужна.

Мария дважды написала в своей книжке с телефонами и адресами:

“Господи, дай мне СИЛЫ изменить то, что я могу изменить.

Дай мне ТЕРПЕНИЕ смириться с тем, что я изменить не способна.

И дай мне МУДРОСТЬ, чтобы отличить первое от второго”.

Терпение... Дай нам, Господи, терпение...

Там же, на другой страничке, Маша переписала цитату из Гегеля. Это, наверное, год какой-нибудь 76-й. Я тогда читал его логику, и Мария переписала с какой-нибудь моей бумажки: “Свободно то, что определяется собой, а не иным.

Очень важно, чтобы человек понимал происходящее с ним в смысле старой поговорки, гласящей: “каждый сам куёт своё счастье”. Это означает, что человек пожинает только свои собственные плоды. Противоположное воззрение состоит в том, что мы сваливаем вину за то, что нас постигает, на ДРУГИХ людей, на неблагоприятные обстоятельства и т.п. Это точка зрения НЕСВОБОДЫ и вместе с тем источник недовольства. Когда же, напротив, человек признает, что происходящее с ним есть лишь эволюция его самого и что он несёт лишь свою СОБСТВЕННУЮ вину, он относится ко всему как СВОБОДНЫЙ человек и во всех обстоятельствах своей жизни сохраняет веру, что он не претерпевает несправедливости.

Человек, живущий В РАЗЛАДЕ С САМИМ СОБОЙ И СВОЕЙ СУДЬБОЙ, совершает много неслучайных и недостойных поступков как раз благодаря ложному представлению, что другие к нему несправедливы. В том, что постигает нас, есть, правда, и много СЛУЧАЙНОГО. Но если человек сохраняет всё же сознание своей свободы, то постигающие его НЕПРИЯТНОСТИ НЕ УБИВАЮТ ГАРМОНИИ и мира его души.

Точка зрения свободы: ТАК КАК нечто ЕСТЬ, то оно именно ТАКОВО, каким оно ДОЛЖНО БЫТЬ” (Гегель).

Наверное, это всё-таки 76-й год, потому что дальше, через пару страничек, записан адрес санатория, где единственный раз в жизни побывала наша маленькая Юлька: Крым, Евпатория, пионерлагерь санаторного типа “Юный ленинец”, дружина Звёздная, 9-й отряд, воспитательница Фаина Семёновна Бурузова. Где-то у Юльки была фотография, где она на берегу большого Чёрного моря вместе с Фаиной Семёновной... С тех пор прошло 28 лет... океан времени... Дальше там в записной книжке расположен раздел “Долги”: Тамаре Петр. 10 руб., Швейкиной 6 руб., Миле Яш. 5 руб., Тане 15 руб., Зоре 3 руб., Лене 10 руб., Шир. 5 рэ, Наташе Вильнер 280 р. до 18 окт., Тане Кашк. 60 р., Анне Аф. 10 р., Марии Степ. 150 р., кредит с 3.06 по 17 руб., касса взаимопомощи... Тане 2 тыс., Марии Степ. 2 тыс... Да всё и не перепишешь... И зачем? Там четыре странички уборым почерком. Я отдавал Маше все свои авансы и получки, а она уж распорядилась, как умела. Правда, тут своё небольшое неудобство: захочешь ей цветы купить, а денег нету.

Впрочем, продолжим Шубарта:

“Однажды я слышал, как русская говорила о Германии: “Даже своих детей они приучают копить”. Она сказала это с таким отвращением, словно речь шла о приучении к воровству. В представлении русских с накопления денег начинается танец вокруг “золотого тельца”. Накопление денег приковывает человека к ним. Вновь здесь идёт речь о потребности во внутренней свободе, которая удерживает русского от накопительства. Если русскому сердцу особенно близко какое-либо место из Евангелия, то это: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут” (Мф., 6, 19). Этот завет европеец не способен ни исполнить, ни признать. Он считает его предосудительным. ...Инстинкт подсказывает русским, что капиталисты – рабы. Тезис “деньги правят миром” не имеет для России общепринятого значения. Тут ничего не могла изменить никакая революция. Если русские до Октября и после него в чём-то остались одинаковы – так это в презрении к деньгам.

...Накопление денег есть страх. Жадность – тоже страх. Это – привилегия старости” (Вальтер Шубарт. Европа и душа Востока).

Мария всю жизнь – в долгах как в шелках. Широкая, бесшабашная... Ей однажды Наташа Патрушева, радиальный оператор, написала из Москвы, приглашая на регистрацию брака со своим Ленским... это 1977 год: **“Машечка, мне бы тебя в свидетели, подумай, ведь у тебя золотая голова, натура авантюриста и лёгкие руки”**.

Там же, в записной книжке на клочке бумаги: “Умирать не страшно, а страшно, что остаётся какая-то вина неискупленная. Прости, если это действительно так”. Это на бумажке из 1988 года? Кому написала? Мне? Сегодня я тебе пишу, Маша, то же самое. Все мы друг перед другом виноваты.

Глава 7. Духовная брань

РОК-Н-РОЛЛ

А дальше... Ну, вот – Мария опять встала из окопа и пошла вперёд. Почти совсем одна... На дворе перестройка... демократизация... расцветают сто цветов... но почему-то с трупным запахом. Рок-группы «Урфин Джюс», «Наутилус», «Апрельский марш», «Икс», «Кунсткамера»... Паноптикум. Сейчас, в 2005-м, у нас тут на заборах афишный рокер Бутусов уже почему-то в кожаном кресле и с толстой сигарой меж пальцев. Двадцать лет назад они были как-то попроще. Телеканал сообщает: «В 44 года Бутусов пока ещё не определился с духовными ценностями». Разве? В сегодняшней (2005 г.) газете можно прочесть: «Конечно, я в церковь хожу постоянно, причащаюсь, пост соблюдаю. Личного духовника у меня пока ещё нет, но я к этому стремлюсь. В любом случае, я в последнее время часто общаюсь с людьми духовного сана, состоящими при храмах». Конечно, тут «маленькая» деталь: люди «при храмах» пытаются (в том числе) возродить и русскую национальную культуру, а рок и попса – ныне самые главные орудия её уничтожения. Орудия главного калибра...

Потом я прочёл у архимандрита Лазаря: «Необыкновенно широко стало разливаться влияние такой бедственной стихии, как западная «рок-культура» со всеми её разветвлениями, проявлениями и влияниями. ...Эта «культура» постоянно изменяется, как хамелеон, подстраиваясь ко всем оттенкам настроения новых поколений, меняет наименования своих «новых» стилей, даже как будто иногда отвергает вчерашнее и бунтует против самой себя, чтобы этим только оживить интерес и вкус к тому же самому. Суть же её всё та же. ...Само появление «рок-н-ролла» воспринималось на Западе как начало «сексуальной революции молодёжи».

Весь путь, по которому прошла и идёт эта разрушительная «культура», направляя короткой дорогой огромные толпы в кромешный ад, – весь он покрыт срамом самых гнусных, самых страшных смертных грехов: всевозможные блудные извращения, полная «свобода любви», т.е. отвержение всякого стыда, полная распушенность самых низких страстей, наркомания... При всём при этом в той среде часто произносится имя Господа Иисуса Христа, часто можно встретить изображение креста и лика Господня... и это только ещё более должно ранить сердце христианина, видящего такое насмешничество над святынями. В песнях часто встречаются богохульные выражения, иногда явный сатанизм.

...Мик Джаггер из «Роллинг Стоунс» был посвящён сатане и во все ритуалы чёрной магии. Он сам называл себя «воплощением Люцифера». Заглавия трёх его песен явно подтверждают это: «Симпатия к диаволу», «Их сатанинским величествам», «Заклинания моего брата демона».

Джон Леннон заявил во время публичного исполнения «Дьявольского Белого Альбома»: «Христианство пройдёт. Оно съёжится и исчезнет. Я прав, и моя правота будет доказана. Сейчас мы более популярны, чем Иисус Христос. Я не знаю, что уйдёт первым – рок-н-ролл или христианство».

...Недопустимо думать, будто христианину всё-таки можно иногда кое-что слушать из такой музыки, выбирая более или менее «безобидное», и тешить этим свой слух. Нет! Не собирают с терновника виноград! Злое дерево не приносит добрых плодов. Дерево, корнями своими пьющее соки адовой бездны, не может принести безвредных плодов. Можно ли иногда христианину ради развлечения и для разнообразия пообщаться с диаволом? ...Даже самое «лёгкое» увлечение православного христианина рок-культурой есть измена своей вере, есть явное оскорбление своего Господа, удаление от Него, есть пагубная прелесть, заигрывание с сатаной. Спешите исповедоваться и не имей более к сему отношению».

Сразу же небольшой комментарий. Это из разговора с рокером Вячеславом Бутусовым (Перепечатка: Бутусов // Покров. Православная молодёжная газета. 2005. №19, октябрь):

«- Когда-то рок вообще называли музыкой дьявола.»

Бутусов: Вообще-то рок-н-ролл таковым считается по определенным структурным понятиям, потому что слишком много в нём и богохульства, и фривольности, и самонадеянности – многих вещей, которые считаются грехом в православном понимании».

Да вот и в другой сегодняшней газете можно прочесть кое-что о рок-н-ролле 80-х («Лучше покрась свой забор, друг!» – утверждает певец А.Градский...//АиФ. 2005. №40):

«- Вся совковая гитарная рок-музыка ориентировалась на лозунг в стихах: меньше поэзии, больше речовки. А теперь это вообще никак не играет. ...Я посмеялся, когда читал воспоминания Юры Шевчука – как в 1984-м его «запрещали». А его никто не запрещал! Просто Шевчук тогда никому не был известен и не нужен. ...А безвестность ставится в заслугу: нас зажимали, мол, КГБ... Да кому ты на хрен нужен! КГБ тебя свернул бы в пять минут, если бы захотел!»

У этих ребят был посыл – не музыка и стихи, а борьба. Это ошибка. Раз вышел с гитарой на сцену, будь профи – музыкантом, певцом и поэтом. А если твоя первая задача – что-то порицать, а что-то поддерживать, то ты – социальный деятель. «Социально заряженная самодеятельность». И когда теряется предмет борьбы, ты остаёшься ни с чем. Некого побеждать и даже некому проигрывать. ...А о чём ещё петь? О вечном? На это у них кишка тонка.

- Эстрада за 20 лет переродилась, как оборотень. Сначала – эпоха пафоса, в котором был свой смысл. Потом – стеб над пафосом. А теперь – стеб над стебом, глумление над глумлением. То есть – пустота. Ваша же фраза?

- А чего вы хотите?! Для настоящей критики и стеба нужен объект – общепризнанные непреходящие ценности. А их сейчас нет».

Здесь очень хорошо выражена суть «рока»: стеб, глумление (пародия на непреходящие музыкальные и прочие ценности). А если вообще всякие высокие ценности исчезли, то культура вырождается в «попсу», исчезает соотношение «Культ•культура/антикультура», всё превращается в навоз.

Да, можно бесконечно цитировать «бывших» – тех, кто лежал в истоках екатеринбургского рок-н-ролла. Вот Илья Кормильцев – «в 80-90-е ... песни на его стихи пели культовые группы «Урфин Джюс» и «Наутилус Помпилиус» (Новые Известия. 2006. №23). Он говорит:

“Рокеры, кумиры прошлого исчерпали своё историческое предназначение. Просто доживают свой век... В 80-е он (рок-н-ролл) играл протестную роль в совершенно конкретном социально-политическом поле позднего Советского Союза. Хотя, замечу, импульсы, питавшие этот протест, были направлены вовсе не против того, для разрушения чего в итоге он был использован. (Да уж... В СССР это был проект КГБ, вышедший из-под контроля, как все вообще проекты комитета. Ибо они не ведали, что творили. – Борис.) Но так или иначе этот протестный заряд был отстрелян...”

- То есть рок-н-ролл сегодня принципиально ничем не отличается от эстрады, от попсы?

- Абсолютно не отличается. Поэтому критики и не могут определить, в какой разряд вписывать многие нынешние популярные группы... Да потом и в плане выразительных средств всё, что было специфической принадлежностью рока, давным-давно используется эстрадой».

Что ж, так оно и есть: «Постоянный сотрудник и журналист легендарного американского журнала «Нью-Йоркер» в жанре занимательной культурологии (Джон Сибрук), переносит постмодернистские идеи на многочисленные факты из истории журнала «Нью-Йоркер» и американскую современную поп-культуру, описывает догму исчезновения культурных оппозиций между «высоким» и «низким», «элитарным» и «коммер-

ческим», «качественным» и «количественным» – или, по-американски говоря, между ...»высокой культурой аристократии» и «коммерческой культурой масс».

...Маркетинг стал определять культурную политику, а то, что не могло выступить объектом выгодных рыночных инвестиций, фактически исчезало или переходило в маргинальную культурную зону.

...Сибрук ...стал свидетелем «мощного тектонического сдвига», окончания определенного периода в культурной жизни и начала новой культурной парадигмы – от аристократической иерархии «высокого» и «низкого» к масс-культурной модели нобурау. Впрочем, как считает Сибрук, аристократическая культура подверглась сокрушительному удару ещё в 1962 году, когда американский поп-артист Энди Уорхол выставил в галерее «Стейбл» рисунки суповых консервов и банок с кока-колой.

Место старой американской культурной иерархии, по Сибруку, сегодня занимает новая модель культуры – нобурау – не высокая и не низкая, и даже не средняя культура. Культура нобурау «существует вообще вне старой иерархии вкуса». В этой «культуре» единственным показателем качества становится принцип «модности» и популярности, а главным источником статуса объявляется коммерческий успех. Нобурау – место, где разницы между маркетингом и культурой не существует, где они сливаются воедино» (Илья Шишкин. Апостроф//Завтра. 2005. №35).

Что ж, маммонизм-капитализм (сатанизм) отменяет Культуру, которая жива лишь в сочетании с религиозным Культом. Невозможно служить сразу и Богу, и маммоне... Как тут не вспомнить Льва Артуровича Эппле: “Ресторанная музыка...” Ресторан, возведённый в перл создания. Трактир, кабак, ставший средоточием современной цивилизации.

И вот тогда, на заре советского рок-н-ролла, на заре перестройки социализма в капитализм Мария пошла в атаку: «Слушайте радиопамфлет «Из хроники рОкового братства»... Слышны две фразы из песни: «Кто ты есть, пора открывать себя!»

Корр.: «Пора открывать себя» – кричат рок-мальчики со сцены. Зал отзывается воем, свистом, топотом. Загадочная аудитория. В перерыве посмотреть – есть даже такие, что похожи на мыслителя Спинозу (в молодости). И в возрасте есть некоторые. А визжат как резаные. Неужели больше нечем отозваться на призыв «открывать себя»? Радиокорреспондента почему-то недолюбливают, за руки хватают – прямо-таки страшно становится.

Грехов: - Я вам разрешения такого не давал!

Корр.: - Я не понимаю, почему вы все в волнение такое пришли? Магнитофон мой очень большой, и его всегда видно... Вы меня очень вежливо провели, посадили...

- Я вас сюда, во-первых, не садил... Во-вторых, прекратите запись!

-Почему? Я у вас беру интервью. У меня даже есть документ, на основании которого я могу брать интервью. Другое дело, что вы просто можете его не дать... Вы можете сказать: «Я не желаю с вами разговаривать».

- Я не желаю с вами разговаривать.

- Ну и всё. До свидания.

- Во-первых, разрешите мне у вас забрать магнитофон.

- Нет, магнитофон вы у меня не возьмёте.

- Выйдите тогда из зала!

- Нет, я не выйду из зала...

- Выйдите из зала. Пойдёмте к директору клуба, там мы с вами разберемся.

- Не трогайте магнитофон, не трогайте! (слышна возня)...

Корр.: Детектив – да и только. Но ближе к делу. То, что я увидела собственными глазами, называется «творческая лаборатория». А в ином варианте – «творческая мастерская». И так солидно, и эдак. Но было тут и третье слово, и в нём весь секрет. Это слово – «закрытая». «Закрытая творческая мастерская». При закрытых дверях, где все свои, мастера рока берут государственный флаг – и имитируют его расстрел. При закрытых дверях, под этот ужасающий «металлолом» поют зашифрованные тексты. При закрытых дверях сцена и зал обмениваются загадочными репликами, тайну которых вот так с ходу непосвящённому журналисту и не постичь. Да что журналисту! Сам председатель жюри, член Союза композиторов СССР Сергей Иванович Сиротин, похоже, озадачен не меньше меня.

Сиротин: - Вот этот клуб – что это такое? Или это секта каких-то единоверцев, или это люди, которых объединяет служение искусству? Если это не просто кликушество, а искусство, тогда то, что вы делаете, надо судить по законам искусства... И тогда встаёт тьма-тьмущая вопросов, которые, я смотрю, вы себе вообще не задаёте никогда. Возникают вопросы, связанные с самой сутью явления...

Голос: - Например?

- Например. Вон в той анкете, которую предлагает Паша Гафтыкин, есть всё что угодно: как играет барабанщик (и за это присуждают очки), как играет гитара... соответствие жанру... Лишь нет такого понятия, как...

Голос: - Гражданственность!

- Да. И ещё: идейная направленность (хохот в зале). У вас нет такой линейки, понимаете?... на которой нанесены сантиметры и которую можно было бы приложить к каждому коллективу. Приложить, измерить: вот этот лучше, этот выше, а этот – ниже...

Голос: - В гробу мы её видали! (аплодисменты).

Другой голос: - Жанр почти сработался, но ещё до сих пор не реализован.

Сиротин: - Ну, почему не реализован... Он просто не вписывается в наши привычные институты (шум).

Третий голос: - Только не в наши, а в ваши (смех, аплодисменты).

Корр.: - Ну зачем же так выразительно... Можно подумать, будто мы всем миром очень рвёмся вступить в ваше «Роковое братство» – как вы сами себя именуете...

Сиротин: - Наверное, надо пару слов сказать ещё о том, что особенно не понравилось. Я думаю, решение худсовета правильное, когда был снят этот самый «Флаг», потому что есть вещи, переступать через которые кощунственно. Недалеко от «Флага» ушла и группа «Метро» – по злобности, с которой у них написаны тексты. Я понимаю, что вас не заставишь кривить душой... Я и не хочу вас заставлять кривить душой. Если и дальше всё будет в том же духе – вы потеряете аудиторию, останетесь без слушателей.

Корр.: - А вот до этого, увы, ещё далеко, и оболыщаться рано. Много лет «металлолом» ходит в магнитофонных перезаписях, дурит нашу неискущённую, не посвящённую в рокерские тайны молодёжь. «Сиротки» из «Урфин джюса» (почему-то они называли эту свою рок-группу «еврейский сирота») – так вот, повторяю, «сиротки» из «Урфин джюса» не один год трудились, чтобы тиражировать свои опусы. И посмотрите-ка, какие сильные у них покровители. Например, Кроликов Виктор Дмитриевич – зав отделом научно-методического центра областного управления культуры. Голова кружится от весомости словосочетаний! Два года назад музыкальная редакция областного радио негромко коснулась идейных и эстетических критериев товарища Кролика устами Виндербейна Марка Семеновича, работника студии грамзаписи. И вот ещё тогда Виндербейн сообщил на всю Свердловскую область (из передачи «Перекрёсток», 11 ноября 1984 года):

«Виктор Дмитриевич Кроликов – это зав сектором, который нас курирует и оказывает нам большую помощь, потому что утверждение обычно зависит от людей более старшего поколения, а он специалист своего дела... Они ведут школу дискотетчиков, диск-жокеев... Он своё дело знает... Он ориентируется очень хорошо в этом мире музыки, и он нам оказывает помощь и поддержку».

Корр.: - Не стану спорить: своё дело Кроликов, видимо, действительно знает неплохо. Во всяком случае, шагает по ступенькам-то: смотрите, вчера зав сектором, а сегодня зав отделом научно-методического центра, и опекает уже не какие-то там шлягеры и дискотечную продукцию, а сам его величество тяжёлый рок.

Корр.: - Ну, вот – теперь я готова с вами поговорить...

Кроликов: - Ну, хорошо, что вас интересует?

Корр.: - Во-первых, какие у вас ко мне претензии?

Кроликов: - Значит, мы объясним, в чём дело. Организовано прослушивание сырого, неотсортированного музыкального материала, который пока не может идти куда-то на публичное исполнение. Поэтому это закрытая мастерская только для членов рок-клуба и для **комсомольского актива**.

Корр.: - Не спешите воспринимать интервью Виктора Дмитриевича всерьёз. Он пошутил насчёт сырого материала. Материал давно созрел, и его выпускают на широкую публику. Отныне одиннадцать рок-групп будут расстреливать своими чудовищными металлическими очередями «тысячи неискущённых, простодушных наших ребят» – как пишет «Уральский рабочий».

Да, чуть не забыла, но хорошо – Кроликов напомнил о комсомольском активе. Вот ещё один достойный защитник «великого дела», направленного на оболванивание молодёжи – инструктор обкома комсомола Дантон Хайрулин.

Дантон: - Творческие мастерские – это довольно большое событие для нас с вами. Я, откровенно говоря, ожидал более низкого уровня, потому что они были сделаны на скорую руку, очень быстро. Но, к счастью, сработали все: администратор, технический персонал.

(Ах Мария, ты тогда даже и не представляла, насколько всё и везде «схвачено» – сверху донизу. Только в 90-е годы стал виден во всей красе наш политический и литературно-музыкальный свинарник.)

Корр.: Я не буду разбирать содержание текстов и связывать логической нитью выступления рокеров с другими явлениями «искусства» в нашем городе. Просто потому, что достаточно того, что сказано. Но одну эпохальную фразу Кроликова хочу повторить его же устами – и не один раз, а, пользуясь техническими возможностями, – несколько раз, множество раз:

«Как бы вот это роковое братство оно не перешло в роковое» (повторить три раза, потом смикшировать).

Корр.: Что же касается самого рока, то он как музыкально-идеологический феномен вряд ли поддаётся воспитанию, перевоспитанию или вообще какой-либо трансформации. Так, шампанское, даже если на бутылке написать «Советское шампанское», всё равно остаётся алкогольным напитком, наносящим ущерб нашему душевному и физическому здоровью. Точно так же рок остаётся роком вне зависимости от географических или государственных границ. Вот что пишут о нём на Западе, то есть там, где он возник: «Мышление, воля и нравственное сознание подвергаются столь сильному воздействию рок-музыки, что способности к здравому суждению и сопротивлению оказываются сильно приглушенными или даже вообще нейтрализованными. В этом состоянии нравственного и умственного замешательства даётся зелёный свет разгулу наиболее диких, до этого сдерживаемых импульсов, таких как ненависть, гнев, ревность, мстительность, сексуальность».

Как видим, рок-музыка по самой своей природе, как алкоголь или наркотики, может лишь искалечить человека. Это её сверхзадача, которую она решает независимо от места или времени исполнения. Именно поэтому мы не считаем устаревшими записи двухмесячной давности. Тем более, что рок-клуб за это время лишь

расширил зону влияния, перейдя из закрытого помещения на открытую площадь. А завтра он хочет выйти за пределы Свердловска и взять штурмом область. Здесь энергия настолько велика, что хочется крикнуть SOS – спасите наши души! Только ведь никто не спасёт, пока наши дети сами не уразумеют ущербность рока.

Я не призываю административно запретить рок-музыку. Эта мера ничего не даст. Каждый поклонник рока должен найти в себе нравственные силы для того, чтобы наложить внутренний запрет. Музыка, сводящая сущность человека к его инстинктам, мягко говоря, не самой высшей пробы, вряд ли может бесконечно притягивать уважающего себя человека».

Недавно нашёл кусочек рукописного текста без начала: «После выхода передачи в эфир вокруг меня развернулась клеветническая компания. 13 октября 1986 года в Высшей партийной школе перед первыми секретарями зоны Урала выступила звёздующая отделом культуры Свердловского обкома КПСС тов. Баулова и уделила мне внимание следующим образом:

1. «Степанова воспользовалась запрещённым журналистским приёмом» (сказано было без комментариев).

2. «Выкрики рокеров «в гробу мы видели гражданственность» были спровоцированы Степановой».

16 октября молодёжная газета «На смену» отдала атакам на мой радиопамфлет целую полосу. Не буду пересказывать газету, достаточно сказать, что там мне клеветнически приписываются слова, которых я никогда не говорила, и это легко доказать, поскольку передача не стёрта. Например: «Точка зрения автора радиопамфлета в своей однозначной непрерываемости сродни фамусовской: собрать всю эту электронику, все магнитофонные плёнки и сжечь, а самих «рокеров» разогнать, чтоб и духу их в отечестве не было». Но в моей передаче было сказано нечто противоположное: «Я не призываю административно запретить рок-музыку. Эта мера ничего не даст. Каждый поклонник рока должен найти в себе внутренние силы для того, чтобы наложить нравственный запрет. Музыка, сводящая сущность человека к его инстинктам, мягко говоря, не самой высокой пробы, вряд ли может бесконечно притягивать уважающего себя человека».

Рядом с этим текстом я обнаружил кусочек своего письма доктору медицинских наук, профессору С.С.Барацу: «Обратиться к вам меня вынудили следующие обстоятельства. Моя жена М.К.Степанова является инвалидом II группы. Перед тем, как отправить в новом году на ВТЭК, её положили в отделение Дины Семеновны Барташовой (фамилию нынче изменил) – в то отделение, с которого в 1985 году начался её путь в инвалидность, когда ей был поставлен диагноз: стенокардия IV функционального класса. Во время обследования состояние Степановой ухудшилось, чему способствовала, в частности, попытка провести велоэргометрическую пробу. Несмотря на настоятельные просьбы больной освободить её от этой процедуры (в позапрошлом году она оказалась свидетельницей гибели женщины в отделении Барташовой сразу после этого «обследования»), её всё-таки отправили на «велосипед», с которого, однако, сняли, так и не осуществив диагностического опыта: у жены поднялся пульс до 140 ударов в минуту.

Выписали Степанову с диагнозом «стенокардия II – III класса», хотя состояние её ничем принципиально не отличается от прошедших двух лет. Руководствуясь этим диагнозом, кардиоВТЭК не решился определить группу инвалидности и отправил жену на областную ВТЭК, вызов откуда пока не пришёл.

После кардиоВТЭКа жена побывала на консультации у врача Барташовой, поскольку последняя не сочла возможным посмотреть её во время обследования в своём собственном отделении. И теперь, через полмесяца, тов. Барташова присвоил ей уже не II – III, а III класс.

Все эти необъяснимые врачебно-бюрократические процедуры выбили мою жену из колеи, повысились дозы нитроглицерина, участились сердечные приступы и т.д. А я слышал, что врачи дают клятву Гиппократу, в основе которой призыв «Не повреди!» Может быть, этот слух – ложный? У меня создаётся именно такое впечатление, потому что однажды врач-травматолог С.Е. Блюмкин уже «ошибочно» просверлил жене кости ног, поставив диагноз (с его слов) по мокрому снимкам. После чего, собственно, она и почувствовала резкое ухудшение со стороны сердца (см. газету «Уральский рабочий»).

Окончания своего письма я пока найти не могу. Помню лишь, что врачи Барац и Хейнонен (кажется, фамилии не путаю), будучи каким-то кардионачалством, устроили консилиум, пригласив Барташову, где и поставили снова честный диагноз «стенокардия IV функционального класса». Было сказано: такого не бывает, чтобы за год функциональный класс «прыгал» с четвертого до второго... Но врачи ВТЭК (а это такая комиссия, которая определяет группу инвалидности) заявили, что ситуация спорная, и отправили Марию аж в Москву. Куда она, конечно, не поехала. Спора-то ведь сейчас никакого нет: Барташова на консилиуме согласилась с Барацем и Хейноненом.

Вскоре состоялся то ли съезд КПСС, то ли партийная конференция, куда я опять отправил письмо. А в те времена с такого рода письмами начальство было вынуждено основательно разбираться на месте. Мне звонили из обкома КПСС, приглашали в горздравотдел, где я показал официальную бумагу за подписями Бараца и Хейнонена. Наши политические противники были вынуждены дать задний ход. Марии вернули вторую группу инвалидности. Одновременно не подтвердилась гипотеза о всепобеждающей силе «рокеров-брокеров». Ухо, конечно, надо держать остро, и покорно складывать лапки ни в коем случае нельзя. Тебя, конечно, будут уничтожать всевозможными способами, даже и физически, но... А что делать?

В каком-то 87-м или 88-м году я написал письмо в наш областной комитет по телевидению и радиовещанию, чтобы в случае чего ломали ноги мне, а не Марии. Про рок-н-ролл, театр и всякое такое прочее. По следам её радиопередач.

Ответ получил... из Риги. Во втором номере журнала «Даугава» (1989 г.) появилась статья ««Бесы»

нашего времени) (где некая дама попыталась как-то очень простенько “увязать” меня с Д.Васильевым и его московской “Памятью”):

“Сегодня мы можем спокойно и уверенно сказать, что Рижский ТЮЗ считается одним из лучших ТЮЗов страны. А аплодировали этому театру не только в Советском Союзе. Во время гастролей лицо театра – его афиша, весёлая, красивая и умная. Есть такая выездная и у нашего ТЮЗа, большой сводный театральный «orbis terrarum», выполненный художником (смотри репродукцию).

Чтобы понять её, достаточно быть человеком без предубеждений, знать репертуар театра, с интересом относиться к общеевропейской культуре, не предпочитая одно знание другому. Но... на гастролях в Свердловске и афиша и присутствие театра в городе были восприняты с неожиданной агрессивностью. Некий научный сотрудник Б.Степанов пишет в редакцию молодежных передач (а в Ригу-то как моё письмо попало? – Б.С.): «Можно вовсе не говорить о самих спектаклях, достаточно рассмотреть сводную афишу театра. Если её расшифровать, то станут гораздо яснее ИДЕИ, КОТОРЫМИ ВОДУШЕВЛЕННЫ НЕКОТОРЫЕ НАШИ РОК-АНСАМБЛИ. Афиша представляет собой иносказательное целое, которое сравнительно легко расшифровывается человеком, знакомым с иудаизмом. Ключ к афише – фигуры Адама и Евы, сообщающие зрителю, что речь идёт о ветхозаветной символике. Они расположены на фоне облака, из коего появляется рука бога Иеговы с мечом, поражающим змея. На божественном мече начертана надпись «15 лет Чукоккале» – это один из спектаклей, рекламируемых афишей. Но в системе иносказательных образов афиши «Чукоккала» – это и есть змей Левиафан, пронзённый иудейским мечом. Таким образом, афиша нам сообщает, что жить этому змею осталось всего 15 лет – до 2000 года... Иудейский меч растворяется в фигуре тупого русского мужичка с топором и дубиной. Учитывая данное обстоятельство, мы должны понимать, что это и есть змей Левиафан (он же Чукоккала), только в человеческом облике. Змей Левиафан, по мысли авторов афиши, – это НАШ НАРОД, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ЯКОБЫ НАЧАЛО ХАОТИЧЕСКОЕ И ТЁМНОЕ В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ СВЕТЛОМУ ИУДЕЙСКОМУ НАЧАЛУ.

Кто же заинтересован в том, чтобы посеять межнациональную рознь? Кто это так высокомерен и шовинистичен? Уж не сионисты ли наши доморощенные рекламируют свои идеи насчёт богоизбранности одного народа и тупой отсталости всех остальных?»

Вот такая простенькая дешифровка. Потом Степанов ссылается на В.Соловьёва, С.Трубецкого, на Каббалу, обвиняя афишу театра в сионистском звучании. Автор афиши мог бы сказать: «Дивны дела твои, господи!», узнав о себе, что он сионист.

Никто не отрицает достоинств русского философа Вл. Соловьёва, имевшего влияние на многие яркие умы XIX века. Никто не вычёркивает из истории русской культуры философа его круга С.Трубецкого. Но что предположительно ищет Б.Степанов и подобные ему люди в работах русского мистика? Его мечту о «богочеловеческом братстве во вселенной» или «на когда евреи конец света назначили»?

Увлеченные люди видят обычно мир сквозь призму своих увлечений. Одни, которые сумасшедшие театралы, опознают в «В.В. 99%» – Брехта, другие читают В.В. как «Бнай Брит» и смотрят в кривое зеркало Каббалы, магии чисел, там дальше – антропософия, Штейнер, Блаватская.

Да, существует сионизм, шовинизм, «местный» национализм. Существуют национальные проблемы, которые должны быть в процессе перестройки разрешены. Но ведь они должны быть разрешены объединением общих усилий, когда будут уничтожены границы национальной узости и национальных предрассудков.

Так кто же пытается посеять межнациональную рознь: научный сотрудник Б.Степанов или режиссёр ТЮЗа А.Шапиро, поставивший чеховскую «Чайку» в Финляндии и мечтающий увидеть гайдаровского «Бумбараша» на никарагуанской сцене?

Можно было бы написать сакраментальную фразу типа «ответ и так достаточно ясен», тем более что выступлению Б.Степанова уже уделялось место В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ, но давайте вести дискуссию (да, именно так приходится называть разговор на тему, которая, казалось, давно исчерпала себя) так, как того требуют современные условия гласности и демократизации – предоставляя слово оппоненту».

К тому времени дискуссия вступила в самую интересную фазу: Б.Степанов был вычищен уже и из старших научных сотрудников, и из младших. А потом, через 4 года, во время суда над газетой Ю.Бортникова «Русский союз» (в которой он, Степанов, даже и не участвовал, но взялся защищать на суде, потому что Бортников уже был убит) оппоненты из «Моссада» (или КГБ?) дважды пытались его убрать с использованием спецсредств. Дивны дела твои, «Даугава»...

А рок-н-ролл нынче по-прежнему процветает – теперь уж за счёт искусно придуманной конфронтации с «попсой», на фоне которой он даже выглядит почти солидно и респектабельно. Удалось доказать дурачкам и дурочкам, будто диавол гораздо респектабельнее мелкого беса? Старый технологический приём...

Недавно прочёл у Валерия Гаврилина, отдавшего жизнь великой музыке: «Что РОК – не искусство, явственно из того, что на РОК невозможно пародия. Будет тот же рок. Рок – уже пародия» (Наш современник. 2002. №1). Пародия – это шут, изображающий короля. Диавол, обезьяна Бога. Пародировать шута и сатану невозможно. Конечно, рок – из сферы развлечений и удовольствий: «Тяга к развлечениям и увеселениям – признак ОЖЕСТОЧЕНИЯ общества. Чем распространеннее, изобретательнее развлечения и увеселения, тем ожесточённее и эгоистичнее общество. От экстаза увеселения, удовольствия до экстаза убийства – один шаг. Время удовольствий и время войны – соседи» (Валерий Гаврилин. О музыке и не только... // НС. 2002. №1).

Впрочем... Впрочем, чего уж сетовать... Рок-н-ролл – это ж просто один из симптомов. Как высокая температура при тяжкой болезни. Это симптом пародийной эпохи. И самый главный, самый основательный пародист – диавол, обезьяна Бога. От него все формы пародии, в том числе рок-н-ролл.

«Есть эпохи серьёзные и есть – иронические, даже пародийные. Каждая из них – водный поток, а мы всего лишь рыбы, не подзревающие, что существует небо. Впрочем, серьёзная эпоха (вроде средневековья с его идеальными ценностями) может быть уподоблена не водным, а небесным потокам над коричнево-мутной штормовой океанской бездной. И уж тогда мы – летучие рыбы, принадлежащие пучине, но телом и духом рвущиеся в те горные сферы, о коих томится душа».

Это Мария вырезала из молодёжной газеты «На смену!» мою рецензию «Летучие рыбы». Только число и год не написала. Кажется, это 1992-й. Там на обороте перепечатка из РИА «Новости», где дифирамб Пиночету: «...много говорится об интеллектуальной помощи американских экономистов этой стране, в частности упоминается имя американского учёного М.Фридмана. ...Ещё во времена администрации С.Альенде группа из 10 экспертов, тесно связанных с предпринимательскими кругами, приступила к разработке альтернативной программы экономического развития, ставшей официальной с приходом военного режима. ...Хунта отпустила цены, одновременно провела антиинфляционные мероприятия. При этом вплоть до 1982 года сохранялась система индексации заработной платы».

Наша хунта тогда тоже по наущению янки отпустила цены, но почему-то забыла провести «антиинфляционные мероприятия». По-видимому, хунте нужна была Веймарская республика №2 – со всеми вытекающими последствиями (вплоть до повальной нищеты, комплекса униженности – и нацизма; не зря мировое правительство назначило российских олигархами в основном евреев – для разогрева «антисемитизма»). Надо же создать антикитайскую машину... Из кого? Из кого не жалко. Но к ужасу наших мучителей в этом «новом Веймаре» родился вовсе не нацизм – возродилось Православие. Слава Тебе, Господи... опять посрамил новоявленных хозяев земного шара.

А что же там дальше у Бориса Иваныча? Да, там про ту же пародийную торгово-материалистическую эпоху:

«В ироническую эпоху треска и вобла тоже иногда любопытствуют насчёт символов мира надводного, только их любопытство своеобразно. Если представить, что упомянутые символы запечатлены в книге книг – в Священном Писании, то результатом рыбьей любознательности становится превращение Писания, допустим, в «Вечерю Киприана». Это Библия, разрезанная на кусочки, которые соединены таким образом, что возникает кошмарная картина пиршества с пьянкой и обжорством. Пародия берёт священный, сакральный текст и выворачивает его наизнанку, превращая верх в низ, лицо, извините, в задницу. Не зря во время отправления «чёрной мессы» (это дьявольская пародия на католическую литургию) сатану целуют именно в этот зловонный центр, представляющий главным в изнаночной системе ценностей».

Как видим, пародия не самостоятельна, вторична: она не способна создать нечто оригинальное. На закате любой серьёзной эпохи изнаночное умонастроение эпидемически охватывает все стороны жизни человека (вплоть до одежды, когда женщины надевают мужское платье, а вместо музыки приходят «попса» и рок-н-ролл). Возникает целое племя гуманитариев – режиссёров, писателей, живописцев, поэтов и т.д. и т.п., которые тем только и живут, что претворяют вино в уксус. Европейская цивилизация, как полагали наши великие современники Алексей Лосев и Павел Флоренский, мокнет в этом уксусе уже по крайней мере лет шестьсот. Её идеалы со времён Рабле и Боккаччо прочно укоренились в области «ниже пояса». А сегодня даже душеполезные священнодействия преобразились в протестантские шоу (с раздачей подарков).

Россия стала ломиться в широко раскрытые европейские двери ещё во времена Лжедмитриев, лживо-изнаночных русско-польских царей. Русско-голландский император Петр Великий (он даже бумаги подписывал латинскими литерами – Питер) решительно перешагнул порог, а большевики-интернационалисты сделали нас европейстее самих европейцев. Правда публичный дом европейского образца поначалу создавался тайно, за глухим забором из кумача, ракет, бетона, колючей проволоки. Но вот сейчас-то мы счастливы, потому что тайный блуд наконец стал откровенным. Те сексуально-порнографические чудеса, которыми потихоньку наслаждались наши партийно-комсомольские вожди, теперь стали доступны широким народным массам. Каждый получил возможность стать полноправным участником «чёрной мессы»...

Итак, мы рыбы, плывущие в пародийно-порнографическом потоке. Так ли? Неужто никто не способен вырваться за водный горизонт? И неужели всех гуманитариев, занятых литературой и искусством, можно огульно зачислить в изнаночный легион?

Ехидный читатель, конечно, крикнет: ну, по крайней мере один человек, то есть автор этих газетных заметок, всё-таки взмахнул плавниками и оказался в атмосфере. Сразу же и ответу: нет, к сожалению, всю жизнь я, как многие, бреду с коростой на глазах и далеко вытянув слепые руки. Минуты просветления наступают лишь в тот момент, когда изредка и случайно забредаю в екатеринбургский храм Иоанна Предтечи. А вышел – и снова темнота, снова то театр, то кинозал, то художественный салон. Вот в прошлую пятницу как раз и попал в салон на выставку-продажу «Маски и лица».

Захожу и начинаю размышлять: как смотреть выставленные на продажу картины – слева направо или справа налево? Ладно, когда водят по кругу, то хоть и пойдёшь налево, да придёшь всё-таки направо. Так что всё одно... Остановится перед «Похищением Европы». Бык, похожий на толстого чёрта с рогами, то ли уже тащит, то ли приготовился тащить упитанно-голую девушку. Только и всего? Уж если пародировать миф о Европе и Зевсе, то можно бы назвать картину хотя бы так: «Похищение Антарктиды». Какие там ещё континенты? Австралия, Африка...

Ну и так далее – всё древние сюжеты:

1. «Кающаяся Мария Магдалина» (огромная обнажённая женщина и три ангелочка).

2. «Спящая муза» (голая дама спит на одном крыле, прикрывшись другим, в то время как на заднем плане её торгуют, а она ни при чём).

3. «Марс и Венера» (дурацкого вида офицер в эполетах, барышня с асимметричным бюстом, лошадь и Купидон).

А в пространственных промежутках между всем перечисленным тоже много обнажённой женской натуры (только уже без мифологических затей) и всякого ужасного абстракционизма. «Не продать, однако, – подумалось. – Нынче в коммерческих киосках эротический маньяк купит задёшево всё то же самое, что здесь предлагают за семьдесят или даже сто двадцать тысяч. Ну, дороговато, честное слово; хотя, конечно, и краски нынче не дешёвы, холст, багет, ручная работа, античный шарм. Опять же вдохновение... Да, кстати, «Кающуюся Магдалину» писал в 1992 году В.А.Пурсин. Если всех прочих изящных пародистов можно, в силу безыскусности, оставить безымянными, то В.А. вполне способен претендовать на известность. вещь, писанная им, зла и кощунственна, ибо изображено там вовсе не покаяние падшей женщины, а нечто обратное – совращение ангелов. «...Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят». Это как раз про художника Пурсина; я ему хочу оказать дружескую услугу, напомнив цитату из Евангелия – а вдруг он чего-то не знает. Не в назидание напоминаю (кто я такой, чтобы назидать), а просто под влиянием минутного доброго чувства. Сам-то я, может, в сто раз хуже его...

Наверное, честный профессиональный художник сегодня должен стать иконописцем. Вполне допускаю, что это экстремизм, но что такого найдёт у себя в душе современный русский живописец, чем он помог бы остановить духовное и физическое разложение европейского человечества? Что он найдёт в себе такого, что бы не было с наибольшей силой выражено в Православии?

Да, иконопись... Уже у самого выхода, рядом с бюстом Ильича, увидел нечто похожее. Три работы художника Б.М. Худорожкова, писанные нынче и в прошлом году: «Иоанн Богослов», «Распятие», «Мария Магдалина». Нечто столь же похожее на иконопись, как пародия на оригинал. Надобно отдать должное – это не прямолинейно злой примитив, как у Пурсина. Здесь дым, поднимающийся из адской бездны, почти не заметен. Подумаешь, мол, нельзя пошутить: одутловатый Иоанн с гусиным пером и черепом погружён в красивый пейзаж, а рядом уже написанная книга, где можно различить какие-то русские словечки: «Досифей», «победил» и т.д. Рядом многофигурная композиция «Распятие» – кукольный театр, где все слегка, совсем чуть-чуть, еле-еле улыбаются.

А про «Марию Магдалину» невозможно вообще что-либо сказать. Нечто совершенно серо-ординарное, долженствующее, очевидно, подчеркнуть кукольность и никчемность случившихся давным-давно событий. И чего это вы, мол, до сих пор носитесь с этим вашим Христом и христианством. Впрочем, как и с русским царём Николаем Вторым, изображённым вместе с семьёй на четвёртой картинке Худорожкова. Ординарная мешанская семья, женщины в какой-то дурацкой кисее, у императрицы на голове корона, больше похожая на расчёску, царь с красным значком у аксельбанта. Фоном – красные драпировки с кистями, фальшивые колонны, как в третьеразрядной фотографической мастерской. Вы-то, мол, полагали, что ваша история исполнена драматизма и патетики... Да ничуть не бывало – всё скука неприличнейшая и не о чем сожалеть.

Однако возьмите любую газету, г-н Худорожков, и вы там обнаружите: события, происходящие в нашей стране, заставляют содрогаться в надежде и ужасе весь поднебесный мир. Россия так и не превратилась в пародию. В России XX века играют не фарс, а трагедию, но слёзы здесь настоящие и кровь настоящая».

ПАРОДИЯ

Потом, лет через восемь, мне удалось сделать маленькую книжечку в 36 страниц – «ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ конкретно-иероглифического человека, абстрактно-алфавитного человека, научно-символического человека». Там был раздел «Обратные термины, инверсия, пародия», где речь, в частности, и о преисподнем хозяине рок-н-ролла и всех прочих пародийных форм:

“Бог сотворил вселенную, т.е. НЕБО (мир, не видимый телесными очами, духовный) и ЗЕМЛЮ (мир видимый, чувственный). Это космос, т.е. красота и порядок. ...Однако противник Бога, сатана, сам не обладающий творческими способностями, всё время пытается испортить творение, превратить космос в хаос, подвергая ИНВЕРСИИ соотношение «небо/земля»...

Инверсию терминов можно видеть даже и в историческом процессе. Так, средневековое фундаментальное соотношение «душа/тело», где душа – в числителе, в эпоху возрождения сатанизма (Ренессанс) подверглось инверсии, так что в числителе, на главной позиции оказалось ТЕЛО со всеми своими претензиями: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное» (К галатам 5, 19-21).

Важно подчеркнуть, что в христианском православном богословии «тело» и «зло» не отождествляются. Зло – в извращении божественных соотношений, когда тело забывает своё место и вылезает в числитель. Так и человек в Западной Европе уже чуть ли ни целое тысячелетие пытается воссесть на престоле Божиим (повторим А.Ф.Лосева: «Но признавать Бога и в то же время стремиться занять Его место – это значит проповедовать сатанизм»).

Бог НЕ СОТВОРИЛ ЗЛА. Существуют «добрые» соотношения терминов, установленные Богом (если говорить на языке логики), и существуют «злые» СООТНОШЕНИЯ тех же самых божественных терминов, подвергшихся сатанинской инверсии.

Зло не существует в качестве некой злой сущности, как свидетельствует святоотеческая традиция. Даже и бесы – это падшие АНГЕЛЫ. Зло – это извращение добра, болезнь, ведущая человека к гибели. Вот главные соображения св. отцов и учителей Церкви в изложении Макария, архиепископа Харьковского: «Зло не есть какая-либо сущность, имеющая действительное бытие, подобно другим существам, созданным Богом, а есть только уклонение существ от естественного своего состояния, в котором поставил их Творец, в состоянии противоположное» (Макарий, архиепископ Харьковский. Православно-догматическое богословие. С.-Петербург, 1868. Т.1. С.374). «Зло» не есть самостоятельный термин или понятие. Злым, лживым, пародийным становится СООТНОШЕНИЕ терминов после ИНВЕРСИИ. Именно поэтому нельзя построить такую антиномию: Бог есть добро, Бог есть зло.

Возвращаясь к соотношению «тело/душа», заметим, что это – изнанка структуры «душа/тело», пародия: «Пародирование – это создание РАЗВЕНЧИВАЮЩЕГО ДВОЙНИКА, это тот же «мир наизнанку». /.../ Античность, в сущности, пародировала всё: сатирическая драма, например, была первоначально пародийным смеховым аспектом преществующей ей трагической трилогии. Пародия не была здесь, конечно, голым отрицанием пародируемого. Всё имеет свою пародию, то есть свой смеховой аспект, ибо всё возрождается и обновляется через СМЕРТЬ» (Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С.147). Здесь важно уподобление пародии и смерти. Только вот пародия – не лучший вариант посмертного существования. Впрочем, как и «до-смертного»:

«Я могу либо осуществить в себе тот образ Божий, который составляет замысел Божий обо мне, либо явить во всём моём существе и облике определенное отрицание именно ЭТОГО образа, ЭТОЙ идеи. Но, каков бы ни был мой выбор – положительный или отрицательный, мой образ действий и вся моя жизнь неизбежно окрашены той божественной идеей, которую я утверждаю или отрицаю. Я во всяком случае связан ею. Я могу осуществить в себе либо этот замысел Божий обо мне, либо кощунственную на него ПАРОДИЮ или карикатуру (т.е. квалифицированное ИМ ЖЕ отрицание). Но от моей свободы не зависит переменить этот замысел, самочинно выбрать и осуществить в моей жизни какую-либо иную идею. Создать самостоятельно без Бога какое-либо СОДЕРЖАНИЕ моей жизни я не в состоянии. Я могу только утверждать или отрицать то содержание, которое суждено мне в предвечном решении...» (Трубецкой Е.Н. Избранное. М., 1997. С.140).

Пародия – это призрак, внешность без сути. Шут, изображающий короля. Бог предлагает каждому из нас королевский сан, но мы чаще всего свободно избираем должность шута-лицедея. Отдаём себя в услужение обезьяне Бога».

Ну, и так далее. Не знаю, понятно ли написал. Впрочем, нашёл недавно у Фёдора Михайловича Достоевского:

«Что слишком скоро и быстро понимается, то не совсем прочно. (...) Сущность дела так тонка, что всегда улетает от большинства; они понимают, когда уже очень разжуют им, а до того им кажется всегда всякая новая мысль не особенно любопытною. И чем проще, чем яснее (...) она изложена, – тем более и кажется она слишком ПРОСТОЮ и ОРДИНАРНОЮ. Ведь это закон-с.

Простите меня, но я даже усмехнулся на Ваше очень наивное выражение, что «не понимают люди ДАЖЕ ОЧЕНЬ СМЫШЛЁНЫЕ». Да эти-то скорей других и всегда не понимают и даже вредят пониманию других, – и это имеет свои причины, слишком ясные, и конечно, тоже закон» (Письмо Н.Н.Страхову // ПСС. Т.29, кн.1. С.31).

К сожалению, «смышлёными людьми» очень легко манипулировать...

ТЕХНОЛОГИИ МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ

Д-р Джон Колеман, бывший сотрудник британских спецслужб:

Манипуляция – способ господства путем духовного воздействия на людей через программирование их поведения. Это воздействие осуществляется скрытно и ставит своей задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном власти направлении. Именно поэтому она лишает индивидуума свободы в гораздо большей степени, нежели прямое принуждение. Жертва манипуляции полностью утрачивает возможность рационального выбора, ибо ее желания программируются извне. Кнут – это больно, а духовный обман можно сделать приятным.

Успех манипуляции сознанием наполовину зависит от умения отключить средства психологической защиты каждой личности и общественных групп. Перед овладением умами людей необходима подготовка – разрушение священных образов («штурм символов»). Главная задача манипулятора – вызвать сумбур в мыслях, сделать их нелогичными и бессвязными, заставить человека усомниться в устойчивых жизненных истинах. Этому весьма способствует подрыв авторитета Церкви.

Сегодня люди и не представляют себе, что мнения, которые они считают своими, фактически созданы в исследовательских институтах и мозговых центрах Америки. Новое общественное мнение по абсолютно любому вопросу можно создать и распространить по всему миру за каких-нибудь две недели. Ученые, занимающиеся процессом обработки сознания, называются «социальными инженерами». Матерью всех мозговых центров – **Тавистокский институт человеческих отношений**. Им был разработан метод влияния на большие группы людей посредством «глубоко проникающего длительного напряжения». Так называемые «шоки будущего» - название особой «психологии, ориентированной на будущее», предназначенной манипулировать целыми группами населения. После серии непрерывных шоков целевая группа населения входит в такое состояние, когда ее члены больше не желают делать выбор в меняющихся обстоятельствах. Подобно тому, как в

перегруженной электрической сети перегорает предохранитель, точно так же перегорают «предохранители» у людей. Они уже не желают принять правду и хотят, чтобы правительство оградило их от правды. Люди начинают употреблять наркотики как средство избежать необходимости делать осмысленный выбор. Разрушение идеалов уже не вызывает протеста. Включите свой телевизор, и вы увидите победу таких мозговых центров воочию: ток-шоу на тему самых интимных подробностей, специальные каналы, где безраздельно царят извращения, рок-н-ролл и наркотики. Посмотрите вокруг, и вы увидите, насколько мы деморализованы. Наркотики, порнография, рок-музыка, свободный секс, полное уничтожение основ семьи, половые извращения и, наконец, убийство миллионов невинных младенцев их матерями.

Колеман Дж. Комитет 300. – М., 2001

ОККУЛЬТИЗМ

Можно сказать: Мария боролась с симптомами, а надо бы лечить болезнь. Даже если бы и так... Однако и температура за сорок способна убить человека. Надо ли бороться с такой температурой?

Но мы уж тогда понимали, что болезнь называется: грехопадение, измена Богу, попытка стать самовлюблённым божком в царстве пародии (применительно к теме нашего разговора – в царстве «попсы» и рок-н-ролла). И сейчас-то говорить об этом почти невозможно в «условно-демократической» прессе, а уж тогда... Но Марии, как и в пору «развитого социализма», иногда удавалось лбом прошибить стену. И тут уж иногда работал принцип «Платон мне друг, но истина дороже». В 92-м году она выдала в молодёжной газете реплику по поводу штайнерианства, коим увлекался её хороший знакомый – патриотически настроенный человек. По телефону она ему сказала: если ты прав, то моя атака поможет тебе выжить в этой бесовской свистопляске. Но если уж ты и в самом деле оккультист, то извини: Карфаген должен быть уничтожен... Тогда ты не патриот, а разрушитель.

Реплика была опубликована, потом в той же газете появился ответ, её опровергающий. Мария попыталась продолжить дискуссию, передо мной сейчас лежит подготовленная к печати полемическая статья. Всё как положено: «шрифт: петит 2,5 кв., строк: 360, секретарь: подпись»... Но перед выходом в свет какие-то потусторонние силы остановили публикацию вещи, которая называлась «Рука писать устала». Так я вот сейчас попытаюсь её возобновить, потому что с тех пор оккультизм в нашей стране отнюдь не пошёл на убыль. Скорее наоборот.

«Целую неделю маялась за письменным столом, пытаюсь написать ответ. Поднесу перо к бумаге, а оно отказывается писать.

Ну да, конечно: перо считает невероятной ситуацией, которую я-то вижу как совершенно тривиальную. Уж так и этак ему растолковываю: «Пойми, не могли же мои оппоненты так прямо и написать: Рудольф Штайнер, чьи идеи легли в основу исповедуемой нами вальдорфской педагогики, был язычником, гностиком, каббалистом, пытавшимся оккультно истолковать христианство. Это очень длинно и не всем понятно. Поэтому они и написали коротко: «Р.Штайнера, убеждённого христианина, мы по праву можем назвать философ-космистом, так как в основе его учения лежит взаимосвязь между человеком и Космосом, частью которого тот является».

Но перо всё равно не пишет. «Всё это хорошо, – говорит, – но мы-то все тут понимаем, что христианство толкует о связи человека с Богом, а вовсе ни с каким не с Космосом, ещё и с большой буквы. Вот хоть в «Философскую энциклопедию» загляни. Там Сергей Сергеевич Аверинцев очень доступно объясняет: «В отличие от теизма, ставящего над природой трансцендентную личность Бога, язычество есть религия самодовлеющего Космоса. Всё специфически человеческое, всё социальное, личностное или духовное для язычества в принципе приравнено к природному и составляет лишь его магическую эманацию».

Тут мне пришлось изворачиваться: «Да, может, они описались, память подвела, а не самом деле у Штайнера всё не так...» – «Нет уж, – отвечает, – энциклопедия во всём согласна с нашими оппонентами. Ну, посмотри-ка: «Учение Штайнера представляет собой синкретическое соединение западных и восточных религиозно-окультурных учений, в которых можно выделить элементы гностицизма, пифагорейской мистики чисел, каббалистики, оккультно истолкованного христианства («христософии»), а также реминисценции из наследия Гёте, немецких романтиков и классического идеализма (Фихте, Гегель)... Была разработана целая система ступеней посвящения с обрядами инициации наподобие масонских. ...Для посвящённых читались особые секретные курсы. Человек, по Штайнеру, в соответствии с традициями древнего оккультизма образует микрокосм в составе физического, эфирного и астрального тел, причём эфирное нисходит в человека с прорезыванием коренных зубов» (том 5, стр. 522).

Что тут сказать? Про коренные зубы всё понятно, но реминисценции, инициации, гностицизм, каббалистика, оккультизм... «Да что такое гностицизм? – говорю. – Может быть, его как раз и проповедают только самые убеждённые христиане?» Перо мне прямо в лицо смеётся: «Темнота... Ну вот посмотри у Алексея Фёдоровича Лосева: «Гностицизм... – религиозно-философское учение, возникшее в 1-2 вв. на почве объединения христианских идей о божественном воплощении в целях искупления, иудейского монотеизма и пантеистических построений языческих религий – античных, вавилонских, персидских, египетских и индийских. ...Христианская церковь выступила против недопустимого с её точки зрения совмещения евангельской истории с языческим пантеизмом и мифологией» (том 1, стр. 375).

«Ага, – говорю, – церковь выступила против, а вот наши оппоненты мне разъясняют, что вальдорфский садик посетил отец Александр из Вознесенского собора, «пробыл в садике около трёх часов, освятил

его... и остался очень доволен тем, что увидел и услышал».

Перо в недоумении: «Про отца Александра в энциклопедии ничего не написано, но он, наверное, просто не знает, что такое каббалистика и оккультизм (он же не кончал семинарию). Иначе бы и освящать не стал... Вот послушай: «Каббала... – фантастическое тайное учение евреев, являющееся своеобразным сочетанием восточной мифологии с идеями эллинистической науки. Каббала возникла во 2-м веке и представляла собой смесь идей гностицизма, пифагоризма и неоплатонизма. ...В позднейший период своего развития превращается в магию, колдовство, символическое толкование «священных текстов», где каждому слову и числу придавалось особое мистическое значение. Поэтому термин «каббалистика» иногда означает вид оккультизма и спиритизма» (том 2, стр. 405).

Да, припёрло меня пёрышко к стенке. Если уж колдовство и магия, то, конечно, Православная церковь тут не при чём. А про оккультизм я и сама знаю, что там, с одной стороны, спиритизм и чёрная магия, а с другой – теософия Блаватской, Кришнамурти и Штайнера. Правда, Штайнер рассердился, когда Кришнамурти объявили новым спасителем человечества, после чего выделился, сочинив антропософию. Ищи, пёрышко, что такое «антропософия». Вдруг это и есть, наконец-то, искомое христианство... Читаю: «Антропософия – религиозно-мистическое вероучение, ставящее на место Бога обожествлённого человека» (том 1, стр. 80).

Кошмар... Это ж сатанизм... А что делать? Ведь мои оппоненты сообщают: «А в том, что идеи вальдорфцев глубоко проникнут в Россию, ей-богу, мы не видим вреда, а только большую пользу». Вот – вреда не видят и усердно работают: «Большая часть времени у нас, руководителей Лицея, уходит на беседы с родителями. В этом учебном году мы ввели даже своеобразные требования к родителям, которые они подписывают как договор».

Невероятно, просто дурно становится. Неужели подписывают, да ещё, может быть, и кровью? У них, у магов и чернокнижников, это вполне обычное дело... Но тут же себя останавливаю: не может быть, N.N. и S.S. вполне интеллигентные люди, они этого себе не позволят. Кроме того, это у нас ПОКА не принято. Чернилами – да, часто расписываемся, но не более того. Может, годиков через десять, когда оккультизм, гностицизм и каббала чуть глубже укоренятся... А сейчас вряд ли.

Сразу после сообщения о договорах и росписях идёт текст, с которым я целиком солидарна, то есть по-русски – согласна: «Очень много вопросов, чрезвычайно важных для воспитания ребенка, не освещают наша пресса и телевидение и даже частенько выпускают статьи и передачи весьма сомнительного толка, так что родителям, особенно молодым, порой бывает трудно разобраться, что к чему». Цитаты из «Философской энциклопедии», разъяснения наших виднейших учёных Лосева, Аверинцева и других придутся тут как раз к месту. В самом деле, как родителям, особенно молодым, сразу разобраться, что такое антропософия Рудольфа Штайнера. И как разобраться с гномиком... Да, «чем навредит русскому ребёнку гномик, против которого восстаёт Мария Кирилловна?» Как бы это перевести слово «гномик» на русский язык... Карлик? Вроде не то. Тут надо целый трактат опубликовать, введение в германскую мифологию. И желательно по-немецки. А для этого надо бы с родителями заранее заключить договор, чтобы они сразу же, с колыбели приучали своих ребятишек говорить и мыслить по-немецки. Это уже было, кстати, в нашей истории после реформ царя Петра Алексеевича. А в XIX веке наши доморощенные дворяне говорили и мыслили уже преимущественно по-французски.

Так вот, онемечатся наши милые ребятишки, а затем с шотландскими фонариками и германскими гномиками пойдут на улицу поздравлять русских и татарских пешеходов с наступлением вальдорфского нового года. А потом при случае будут размышлять: как перевести на немецко-вальдорфско-штайнерианский язык непонятные туземные мифологемы VEDMA, RUSALKA, DOMOVOI».

Цитаты из «Философской энциклопедии» Маша мне доверила насобирать. Мы с ней часто сотрудничали: муж да жена – едина плоть. Да...

Надо сказать, что времена тогда были суровые. Да все, наверное, помнят эти времена. Бурление, кипение, извержение вулканов. Иногда даже возникало впечатление, будто... будто Россия снова станет Россией. В конце 91-го в Екатеринбурге возник культурный центр «Русская энциклопедия», куда меня позвали главным редактором издательства. Через 10 месяцев я оттуда уволился, потому что центр умер. Но начало было оптимистическим. Была издана «История» генерала Нечволодова, состоялась презентация первого тома в Доме офицеров, телепередача «Всё впереди», где участвовали гости из Москвы (в том числе, кажется, В. Кожин, В. Ганичев, Э. Володин, В. Танаков; все они тогда приехали в Екатеринбург, но не помню, все ли пришли на телепередачу) и казак Трушников. А через день после неё – пожар в Первоуральске.

ГОСПОДЬ ВЫБРАЛ ИХ...

«В Первоуральск я поехала на ночь глядя, прямо от них. В мягком сиденье экспресса не решалась откинуться и задремать, это было бы предательством: Трушниковы остались в ожоговом центре первой горбольницы, и моя осыпанная ознобом спина слышала их боль, как будто и на ней горело мясо. Вместе с тёмным лесом плыли за автобусным окном приглушенные подсветки ожоговой реанимации. Колины и Наташины мученические глаза, плыли их окровавленные бинты, простыни, капельницы и эта широченная мелкая сетка, на которой распят Коля. Спасительная сетка, пропускающая к стогрешей спине сухое тепло обогревателей.

В Первоуральске был их дом, до шестнадцатого декабря он стоял на Шайтанке – в районе за прудом. Изгородью – прямо к воде, окнами – на улицу Рабочую. Здесь, на нескольких сотках земли, за которую Трушников отдал екатеринбургскую квартиру, построенную в МЖК своими руками, они жили с детьми

Иринкой и Артёмом. Здесь садили и копали картошку, радовались огурцовым и помидорным урожаям, пилили и кололи дрова, после снегопадов выходили с широкими лопатами за ворота, при жарком весеннем солнышке запускали щепочки-кораблики вниз по первым ручьям. Но не этому дивились одинокие шайтанские старухи, приглядываясь к молодым соседям. Более всего надрывали старухам сердце – песни. Точно солдаты, все похоронки на которых двно промочены слезами, русские песни вернулись из небытия, поселились на горке в доме Трушниковых и нежданно-негаданно начали обжигать память и вселять надежду. Без вина и не на пустом месте, а по праздникам, да не по советским, а по давнишним, уже почти старухами и забытым, зазвенела на горе гармошка, и зелёная трава прилегла под хороводами.

...Валентина Егоровна Репина проснулась ночью – светло, говорит, хоть иголки подбирай. Глянула в окно, а они – как в мареновской печи ТАМ мечутся. Коля не успел прикинуть: когда спросонок понял, что горят сени, ему бы выбить окна и вытолкнуть на снег Наташу и детей, а он решил обесточить дом, кинулся к счётчику, в котором уже сверкало. Тут секунды решали. Когда обожжённая и обескровленная, с перерезанными венами (пробивались через окно) Наташа и сынишка были вне дома, Николай вдруг понял, что нет Иринки. Он метнулся в огонь, нашарил дочку под кроватью. Она была уже, как старушка сморщенная. На девятый день после смерти ей исполнилось бы девять лет. В этот день Наташа позвала: “Иринка, где ты?” Иринка ответила, Наташа слышала явственно: “Я здесь, мама”. Двадцать шестого января – сорок дней, ангельская душа её отлетит к Богу.

Почему именно Трушниковы пошли на костёр? Промысл Божий чаще всего нам трудно уразуметь, но здесь подсказка видна. Коля и Наташа и во здравии притягивали к себе людей. А теперь, пришпиленные капельницами к своему кресту, они как будто призваны объединить всех нас. Невозможно без слёз читать эти столбики в толстой, кожаменителем прикрытой тетради: три столовые ложки, кастрюля, две миски, фланель – два метра, носки, полотенце, бокал – одна штука, блюда – три штуки, книга “Новый завет”, шарф, майка детская, чайник заварной – одна штука, паштет “Волна”, варенье – один литр, пластырь газоожоговый... Евдокия Максимовна и Георгий Степанович Ягуповы из деревни Шилепоно Белоярского района просили “Русскую энциклопедию”, где действует центр помощи семье Трушниковых, принять для погорельцев 600 граммов гусиного сала и 450 граммов мёда... Снять бы этих Ягуповых телекамерой. Или проинтервьюировать Елену Матвеевну Пастухову: она бы доказала, что справочное окошко больницы, в которое люди с улицы суют для Трушниковых вещички и продукты питания (на фоне либерализации цен и угрозы гражданской войны), куда точнее фиксирует нравственное здоровье народа, нежели кривое зеркало эфира. А в нём, мы это каждый день видим, нам пытаются доказать, что мы не народ, а волчья стая, готовые за кусок колбасы сожрать себе подобных.

...В первый день, когда по радио объявили, что Трушниковым нужна кровь, не сработало даже “спидовское” пропагандистское пугало: на Большакова выстроилась очередь в двести человек, и медики не смогли за день принять всю предлагаемую кровь.

“Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут...” В половине четвёртого ночи, догнав “скорую помощь”, Андрей и Люба Малямовы твердили белым марлевым маскам новотрубной больницы: “Чем помочь? Чем помочь? Чем помочь?” Маски отвечали: “Ничем”. Если бы обгоревших ребят оставили в их руках – теперь уж не только Иринкины бы девять дней прошли. Так ведь ещё не отдавали, сами лапки сложили и другим хотели помешать. А Смерть на поверку не так уж и сильна оказалась: как увидела нас всех-то вместе, весь-то народ, – слабость почуяла и ушла. Уходит. И, Бог даст, уйдёт.

Как не уйти, если в каждом пакетике плазмы, которую им вводят, – кровь пятнадцати человек. Пятнадцать да пятнадцать – тридцать, да ещё пятнадцать, да ещё, ещё, ещё... “И зажегши свечу, не ставят её под сосудом, а не подсвечнике, и светит всем в доме...” Как бы хотелось знать имена тех, кто светит. Но это не в нашей воле. Всех видно только с небес. Многие приходят в центр помощи – имени не говорят, адреса-телефона не оставляют. “Не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас...” Они не знают, что излучают свет. Валерий Иванович Швецов, размотавший в “Русской энциклопедии” бешеную деятельность совершенно неэнциклопедического профиля, висящий на телефонах, мечущийся в поисках обуви, жилья, мебели для Трушниковых, – он что, догадывается, что кому-то светит? Избави Бог! А медики на Большакова? Врач Ирина Витальевна Оберюхтина, Нина Сергеевна Вихриева, Борис Викторович Гавриш, медбратья и медсёстры, санитарки, перевязочные сёстры – что, они думают о том, что кому-то светят, когда сутками торчат в отделении? Да они просто на работу ходят! А Раиса Ильина – талантливый журналист... сделала сиделкой, а потом бегаёт и обивает горсоветовские пороги, клянчит для Трушниковых то одно, то другое, сует свой острый нос куда не просят. А скажи ей, что хоть на минуту бы остановилась, о себе подумала (ни жилья, ни работы, сапоги рваные) – решит, что насмехаюсь.

Свечение, свечение великое идёт от того пожара... В канун Сочельника на Шайтанке шёл такой снег, какой бывает только в другом мире, какой и был когда-то на Руси: топились печи, барахтались в снегу дети, сквозь снежную пелену – лес. Тихо. На белом пути от пожарища – я и Колин друг Слава Ушаев. Рыжие, снегом вместо шапки покрытые волосы. Мы идём к Малямовым. Братья Андрей и Алексей живут через дорогу, окна в окна, как раньше... Свои дома, свой огород, у Андрея две дочери и сын, а у Алексея – два сына. Мы вроде бы не к месту – Андрей прихворнул, лечится на печи. Алексей с андреевой женой Любой колпот свинью, дети на побегушках. Крестьянское подворье. Безлошадное пока, даже и крыльцо пока к избе не приставлено. Андрей говорит: “Коля-то если б меньше за страну болел... не сгорел бы... Никак не собрался проводку починить”.

За страну? Что за высокий слог? Нам ведь недавно объяснили, что никакой страны не было и нет. Есть экономическое пространство – и нечего за него болеть, тем более – погибать. Оно само собой с помощью

рынка выздоровеет.

Да и не преувеличивает ли Андрей? Не преувеличивает. Оттого, что мучают нашу Землю, она не перестаёт быть нашей Родиной, Домом. В этом Доме тоже сделалась неисправной проводка, который год полыхают короткие замыкания. Как потушить пожар?

Мы идём к дому, за который они, братья по духу, заплатили дорогую цену – здоровьем, нервами, добывая его из лап градостроителей, которые с удовольствием возвели бы на его месте очередную многоэтажную коробку. “Дом фольклора и народного быта” – так называется эта нездешняя “деревяшка”, памятник архитектуры XIX века, с резными пилястрами и наличниками, со строчёными задергушками на окнах. На втором этаже – горница. Лавки домоткаными половичками укрыты, столы дубовые, скатерти браные. Печь горячая, самовар.

Здесь всегда люди. Мы со Славой – темнело уж – зашли сюда. Дверь не закрывается. Пожилая женщина наведалась, расспросила, как дела в ожоговом. Кампания пацанов явилась погреться; какой-то парень искал какую-то девушку – не заходила ли. Шестилетняя кнопка с хвостом на макушке пришла похозяйничала. Сергей Саблин ни на одного пустыми глазами не поглядел, они тут трое в штате отдела культуры – ещё Слава Ушаев и Надя Пантюхина.

Саблин, Саблин... Вспомнила: я даже переписала в блокнот его какую-то полудетскую расписку, несколько раз возникающую в кожаменительной тетради, над которой я ревела в «Русской энциклопедии»: «Я, Саблин Сергей Васильевич, взял вышеуказанные вещи для семьи Трушниковых, для транспортировки в Первоуральск».

Каждую среду у них здесь вечерки, молодёжи набирается полон дом. Сейчас тишина, душа Иринки ещё где-то здесь, на грешной земле.

«По плодам их узнаете их...» Когда Колю в ожоговом стали собирать в дальнюю дорогу – из реанимации в палату – его сосед, молодой солдатик, сторевшей рукой подвешенный к какому-то спасительному крюку, такому же спасительному, верно, как Колина сетка, – поджал дрогнувшие губы: «А как же я без них?» Коля с Наташей и полумёртвые становились душою всех, кто соприкасался с ними.

Кто споёт теперь солдатiku казачью песню, кто скажет с хрипотцой, презирая обожжённое лёгкое: «На Дону традиция была: если казака смертельно ранили, его товарищи смыкали над ним казачий круг и пели весёлые песни?»

Мария Степанова.

Автор перечисляет гонорар по адресу: Екатеринбург, культурный центр «Русская энциклопедия», фонд Трушниковых.

На фото: Николай Трушников за день до пожара на телепередаче «Всё впереди».

Мария всё время куда-нибудь перечисляла свои гонорары: то в фонд восстановления храма Христа Спасителя, то в фонд «афганцев»-инвалидов, то... Да я уж теперь не упомяну. Сам-то я, по-моему, лишь однажды печатно попросил отправить мой гонорар – в Соединённые Штаты Америки в качестве гуманитарной помощи обнищавшей державе. Было противно, что Россию к тому времени правящая клика превратила в страну-побирушку. Секонд-хэнд...

Милая моя Марьюшка... За два с половиной месяца до смерти я попросил её снова написать о Трушниковых – для газеты “Казачий круг”. Она уже почти не ходила, спину перехватило, ноги не шевелились. Начались невыносимые боли. Но всё-таки взялась за перо. В её сумке я потом нашёл бумажку-черновик: “Теперь я сама без движения, и непрерывная боль, вот уже трёхмесячная боль пытается сделать из меня нечто не похожее на человеческое существо. Но (зачёркнуто: сквозь безвольный туман достучалась...) вот новость: открывается газета “Казачий круг”. Круг... круг... (зачёркнуто: для меня в этих словах совсем другое... Спасательный круг? Двигается ко мне. Казачья газета не должна выйти без Трушниковых. Я должна написать хоть немного, хоть несколько строк... Это же не сказка... С той минуты, как их с Наташей внесли в ожоговый центр). Врачи сразу сказали: “75 % ожогов. Чтобы выжили – такого просто не бывает”. (Зачёркнуто: но вот – бывает. Да разве найдутся на свете такие огни и муки, и такая сила... Пожар сожрал их 10-летнюю дочку. Сынишку удалось вытолкнуть сквозь лопающиеся стёкла. Почему они решили бороться за свою жизнь? Помню: в фиолетовой реанимации напротив Коли лежал, крючком подтянутая обгоревшая рука, – солдатик, 40% ожогов. Его запавшие глаза)... Текст обрывается.

Что бы тут ещё... Кусочек радиопередачи, письмо издалека: “Июнь 1985 года (передача вышла 30 июня, когда Маша с тяжелейшим приступом стенокардии уже лежала в больнице). Вечером ещё раз перечитала письма фронтовиков... Писать не могла – хотелось подумать. На улице уже почти темно, где-то около двенадцати... Выставила на подоконник локти, смотрю на свой притихший к ночи Покровский проспект. На углу четыре подростка – три парня и девочка – ловят “тачку”. Слышно каждое слово. Тачка – это, по-видимому, такси или другая машина, которая согласится подвезти. Они немного выступают друг перед другом. Вернее, конечно, перед девочкой. Но – немного, в пределах околоприличия, хотя очередной “тачке” по-хозяйски свистят и делают какие-то жесты. Наконец кто-то притормозил за углом, мне не видно, и главный выступальщик бежит к машине. Я не успеваю сообразить, почему остальные-то не бегут. Не едут они, что ли? А он уже возвращается с победным кличем, как будто исполнил очень важное дело. Возвращается с двумя бутылками водки. Друзья хлопают его по плечу и говорят “окей”, и девочка тоже хлопает и говорит “окей”, и они скрываются во дворе “домовой кухни”. Мне хочется им что-нибудь крикнуть, чем-то их остановить... Но что же им крикнуть и как их остановить?”

Как?

Позднее мы стали «бойцами прямого действия». Скорее всего, зря. Или не зря? Не знаю. Потом всё узнаем. За горизонтом...

Дневник: «ДО ЧЕГО ДОШЛА-ДОЕХАЛА СТЕПАНОВА»

Это надпись на тетрадке, сшитой ею собственноручно. Обнаружил её, конечно, только после... когда она ушла. В начале 85-го она упала на льду и еле выбралась потом из больницы. Весной мы встречали Лену Камбурову, после чего Мария залегла опять в больницу. Концерты Камбуровой для неё всегда сопровождались сильнейшим душевным потрясением. Там, на больничной койке, ей стали делать кровь «пожиже» – с помощью гепарина. Но при выписке не сообщили, что надо ещё и далее принимать что-то, «разжижающее» кровь (хоть аспирин). Иначе она превратится в пасту.

25 июня 1985 года её с работы увезла в кардиокорпус «скорая». В больнице ей стали варварски лить через «систему» нитроглицерин. Месяц она лежала там, потом месяц со мной, Юлей и маленькой Ольгой в Кашине. Потом опять в больнице. В сентябре мы потихоньку ушли оттуда. «Потихоньку» – то есть пешком, через Зеленую рощу, бывшее монастырское кладбище. Мария не велела брать такси. Тогда ещё по Коковинке сплошь стояли старые деревянные дома. (Это её детство.) Сейчас они исчезают, миленькие. Встают серые бездушные громадины.

А тогда еле добрели. Останавливались, я бормотал: «Говорил же тебе... надо было на такси». Постояли возле белой торцевой стены большого «дома мод», грели лица на солнышке. Там ещё стояли тёплые тополя, ныне спиленные, потому что надо устроить парадное крыльцо. Там сейчас какая-то фирма с иноземным названием. Кругом чужие буквы и чужие слова. «Земную жизнь пройдя до половины, я заблудился в сумрачном лесу...» Да ладно уж, заблудился он... Главное, не потерять в темноте дорогу туда... туда.

Врачи посоветовали Марии вести дневник, описывать состояние. И она завела эту тетрадку.

«25.09.85. Была в поликлинике. На обратном пути в трамвае начался приступ. Сняла. На улице снова. Три нитроглицерина, тринитролонг, корватон.

26.09. Практически без приступов. Клещ сидел, но тихо.

27.09. С утра гуляла – до Дома мод. С остановками, но без приступов. В 13.30 начался приступ – в кресле, никаких нагрузок не было. Два часа не могла снять, вызвали «скорую». Приступ закончился в шестом часу. Кружится голова.

01.10. Клещ не желает сидеть тихо. М.б., потому что дождь. Приступ не разгулялся, но состояние всё время на грани, постоянные усилия для его предупреждения. Сильное сердцебиение, тяжесть слева – под лопаткой и сбоку. Заметила, что от увеличения физич. нагрузки садится медведь – на спину, между лопатками. Плохо спала ночь. Гулять не решилась – лил дождь. Может быть завтра...

04.10. Перечитала сегодня свои записи – невесёлая картина. Наверное, потому, что фиксирую только негативную часть своего состояния. Попробуем выправиться. Во-первых, за истекшее время, с момента последнего тяжёлого приступа в больнице, мне удалось (теперь уже окончательно) подавить страх. Приступы я теперь встречаю почти весело: начинаешься? – ну, посмотрим, кто кого. С ощущениями за грудиной, которые называю клещом, вступила в дружественные отношения: всё своё ношу с собой. Пытаюсь с ним договориться; если не подчиняется – заставляю затихать волевыми усилиями. Соблюдение диеты (без сахара, без соли, без масла, без говядины) для меня не составляет никакого труда. Даже удовольствие от мысли, что можешь владеть собой. Труднее с эмоциями, но надеюсь на успех и здесь. Была сегодня на приёме, день прошёл без особых жалоб, всё то же.

05.10. Средний день, не гуляла, но зато увеличила домашнюю нагрузку: на соковыжималке пропустила ведро клюквы. С перерывами, но я его одолела! Увеличивала сустав.

06.10. С утра дождь, но решила погулять. Прошла 110 шагов без остановки, не быстро. Потом снова 110. Потом ещё дважды, но уже с остановками. Поднялась на этажи благополучно, с дыхательными упражнениями. Где-то часов в 14 появилась снова муторность. Что это такое – объяснить трудно. Она явно из-за грудины, но это и не клещ – хуже. Я думала, что она из-за обилия лекарств. М.б. это не так? Вот с чего сегодня? Немного отвлекает от неё валидол, но не надолго. Сделала упражнения по задержке дыхания, которым научил меня муж в больнице. Стало легче, но не надолго. Муторность так и не прошла, легла спать с ней.

07.10. День хороший. Гуляла – 440 шагов за прогулку с остановками и дыхательными упражнениями. Решила пересмотреть своё отношение к лестнице: воспринимать её преодоление не с тоской, а как возможность тренировки. Все возникавшие в течение дня давления за грудиной снимала дыхательными упражнениями. По-прежнему неприятен даже лёгкий наклон вперёд, он сам по себе может вызвать муторность. Бешенство от бессилия моего положения уступает мыслям о том, что тысячи людей, прикованных к постели, отдали бы горы золота за мою ситуацию.

09.10. Сегодня день потрясающего успеха: дошла до рынка (по Коковинке, которая Шейнкмана) и купила полкило красного перца! Постоянная дыхательная гимнастика. Постоянные задержки дыхания, поверхностное дыхание. Забываю вкус нитроглицерина. Сегодня ощутила реальную (а не интуитивную) надежду на успех, только действительно необходимо время.

Вечером прочитала в «Иностр. литературе» №7 записки Нормана Казинса «Врачующее сердце». Лишнее подтверждение, что я на правильном пути, спасение не в химии, привнесённой извне, а в собственных резервах. Надо только уметь их поднять. Жаль, что всё приходится делать самостоятельно, я даже не знаю фамилию врача, лечащего задержкой дыхания. В каком он городе? Есть ли у него клиника?

10.10. Фантастика! Сегодня зять приносит свежий номер журнала «Физкультура и спорт» №8, там статья «Серёжа затаил дыхание» – как раз о методе Бутейко. Вот и фамилия восстановлена. Теперь он получил авторское свидетельство на открытие. Если мне удастся попасть к нему в клинику – я буду здорова. Я ведь тычусь как слепой котёнок, а ведь наверняка это целая методика, если его подопечные держат без труда минуту на выдохе. Я довела свою задержку до 15 секунд (с трудом). В больнице, когда начала упражнения, было 4 секунды.

(Мария потом ездила к Бутейко в Новосибирск. Он ей сказал: мне вас учить нечему, делаете всё правильно, успехи хорошие...

Ещё надо бы вот соединить правильное дыхание с Иисусовой молитвой, но тут необходим опытный православный духовник. А мы ж были невоцерковлённые.)

Сегодня самочувствие хуже. Утром на прогулке решила добавить темп, всё прошло нормально. А поднялась домой – началась муторность, даже слегка ломит зубы. Это, кстати, в последнее время почему-то сочетается.

11.10. Неплохо прошёл день, но не гуляла. Всё-таки мне кажется, что прогулки делать рано. Наверное, я не права, но на улицу всякий раз иду через силу.

12.10. День прошёл неплохо. Не гуляла. Всё то же. Болит левая почка, ознобы.

13.10. Сегодня меня возили на машине за город. Прогулка прошла нормально, но на лестнице почувствовала себя нехорошо. И уже весь остаток дня было невесело. Не зря я не люблю теперь прогулки.

14.10. Проснулась от давления за грудиной. Весь день чувствую себя неважно, давит и муторно, слабость. Сегодня как раз идти на приём, неудачно получилось... Но главное в нашем деле не паниковать – и всё будет тип-топ.

День закончила никудашно. Приехала в поликлинику, а доктор сама на больничном, послали к терапевту, который на четвертом этаже. Поволновалась, на лестнице начался приступ, пришлось брать нитроглицерин, у кабинета терапевта – снова. Сидела около часа с приступом, на приёме начались выяснения, пришла заведующей и т.д., и т.д. Все разговоры велись – как будто меня близко нет. Кое-как добрались с мужем до дома.

15.10. Решила заставить себя погулять – и опять день нехороший. На улице всё-таки мне хуже, чем дома. Приходится часто останавливаться, делать дышат. упражнения. М.б. холодный воздух? В общем, невесело, опять я отброшена назад, опять с нитроглицерином.

Что ж, я успела понять, что в моей истории легкого успеха ждать не приходится. Померила сегодня на лестнице пульс – 110 плюс давило за грудиной и в горле. Хоть не меняйся на первый этаж.

18.10. Давит с самого утра. Кстати, забываю написать о достижении последних 10-12 дней: заметно ослабло головокружение, бывает только временами, когда не хватает воздуха. Дышат. упражнения хорошо снимают эти неприятности. Гулять не ходила. Возможно, перепад погоды. Во втором часу задавило так сильно, что пришлось принимать нитроглицерин, клеить тринитролонг. Давило весь день, отпустило где-то часам к 11 вечера.

20.10. Тяжёлый день. Приступ за приступом, муторность не постоянная – то накатит, то отпустит. Потом снова. Решила через силу погулять. Кое-как шла по улице и кое-как поднялась. После прогулки состояние ухудшилось, пульс вместо ускоренного сделался 40 ударов в минуту.

21.10. Наредкость хороший день, клещ сидел тихо. Сегодня с утра снег, м.б. поэтому было худо вчера. Гулять не ходила, болят почки.

23.10. День плохой. С утра давит и муторно. Во второй половине дня сильный приступ, муторность. Не гуляла. Последние дни по ночам печет во рту, горечь. Но это детали. Отметим плюсы за истекший период. Стала меньше реагировать на внешние раздражители. Если после больницы буквально каждый телефонный звонок провоцировал приступ, то теперь только те, которые связаны с волнениями. Полностью адаптировалась к домашним. Увереннее чувствую себя на улице. Среди минусов – по ночам появилось неприятное ощущение, что останавливается сердце.

30.10. Ночь прошла лучше, чем вчерашняя. Утром поехали в поликлинику на приём. **ВПЕРВЫЕ ВЕРНУЛАСЬ БЕЗ ПРИСТУПА, КЛЕЩ СИДЕЛ ТИХО.** День считаю неплохим, хотя во второй половине дня установилась некоторая муторность.

31.10. Сегодня провела эксперимент: решила подтереть лентяйкой пол. Плохо получается. Сразу давит за грудиной, установилась тупая боль. Вечером часа два было муторно. Не гуляла.

01.11. Боль из-за грудины распространилась на левую лопатку, болит вся левая часть. За грудиной не в середине, а ближе к сердцу. Всё-таки пошла погулять, прошла туда и обратно около трёх кварталов (все-го). Боль ничем не снимается, глотаю всё подряд: сустав, нитроглицерин, но-шпу, платифиллин, анальгин. Утихает, но не проходит. «Скорую» не вызываю, т.к. они говорят, что приступы надо снимать самим.

02.11. Очень больно. Как говорится, ни охнуть ни вздохнуть – как будто нож сидит.

03.11. Утром встала – боли нет, какие-то едва ощутимые остатки под лопаткой. На улице снег и минус 14. Наверное, это всё-таки на погоду. Ничего себе, шуточки. Слабость, колени подгибаются, но хоть не болит – и на том спасибо. Гулять не хочется. Делаю самомассаж, задержки дыхания.

04.11. С утра слабость, слегка давит, но в общем состояние неплохое. Вообще, несмотря на приступы, я иду в лучшую сторону. Если сравнивать два соседних дня, то это незаметно. Но если сравнить с тем, что было месяц назад, - сдвиги очень большие, просто разительные. Ведь я говорила с трудом.

Продолжаю дыхательную гимнастику. С 13 сентября я похудела на 12 кг. Думаю, что это тоже помогает выздоровлению. Во второй половине дня слегка давило, сняла без нитратов. В общем, считаю день хорошим, хотя и не гуляла. Берегу силы на завтра – приём в поликлинике. Упражнялась на лестнице.

05.11. С утра слабость... Поехали в поликлинику. Нерадостно съездили: всё время был волнообразный приступ, исключила 3 тринитролонга. Сильно поволновалась: предлагают инвалидность, вторую группу, нерабочую. И хотя подозрение, что я пока не смогу работать, у меня возникало не раз за всё это длительное (с 25 июня!) время, но всё равно разговор с врачами был для меня тяжёлым. Хоть и постаралась не подавать виду. Домой приехала совершенно разбитая.

06.11. Средний день. Не гуляла. Давило за грудиной.

09.11. Не гуляла. В груди тесно – как будто не хватает воздуха.

14.11. День тяжёлый. С утра ВТЭК, комиссия. Никак не могу справиться с собой. С одной стороны, довольно ясное понимание, что работать не смогу долго. С другой – невозможность допустить и мысли о том, что должна буду расстаться с работой. Неожиданно на комиссии предложили мне продление больничного листа на 4 месяца. Это срок более обнадеживающий, чем два месяца, - и всё-таки я не инвалид, а просто разболелась.

Опять начался приступ – внизу, в вестибюле. Кое-как на такси добрались домой. Здесь приступ усилился до размеров, уже почти забытых. Длился весь день, до вечера – то усиливался, то утихал. Дыхат. гимнастикой не отделилась.

16.11. Сегодня суббота, на улице солнечно. Очень хочется в лес. Наверное, поедем...

Ездили недалеко – по Московскому тракту, а потом зарулили на какую-то тихую дорожку. Лес – просто чудо! Муторность, которая возникла по дороге, вроде бы прошла. С наслаждением погуляла минут пятнадцать-двадцать. На обратном пути снова стало нехорошо. Вечер прошёл кисло, заряда бодрости не ощутила. В два часа ночи начался приступ, продолжался до шести утра. Не спала, боялась пошевелиться. Кроме сустава (дополнительного), нитролонга и пр. принимала но-шпу, платифиллин. Не нравится мне эта ночь тем, что снова появились мысли о смерти – это противное трусливое прислушивание к себе, которое так мучило меня в больнице и с которым, я была уверена, покончено. Смерти, собственно, я не боюсь, поскольку понимаю, что это переход в лучший мир, но жаль близких.

С шести до восьми утра подремала. Утром встала невесело. Ещё и почки донимают.

17.11. Сегодня опять нет аппетита. Я заметила, что приступы связаны и с едой тоже. М.б., ночной приступ случился и от того, что поела позднее обычного. С отвращением выпила чуть меньше стакана кефира. За грудиной подавливает с утра, муторно, о прогулке даже не хочется думать. В 14 часов снова приступ – давило с перерывами до 18 часов. В 22 часа – снова. Когда же это кончится?

18.11. Вечером – сильный приступ: боль за грудиной, нож под левой лопаткой, трудно дышать, муторно. Снимала нитратами. Не гуляла. Неужели мне не видать больше моих передач?

19.11. Ночь прошла не очень спокойно: во сне чувствую сердце. Если на спине, то просыпаюсь, т.к. делается нехорошо. С утра не давит, но дискомфорт за грудиной ощущаю.

Очень меня спасают ВСЕ ВОЛЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, которые совершаю по утрам. Просыпаюсь разбитая, и по мере этой своей разнообразной деятельности прихожу в состояние, при котром можно сказать: «Не так страшен чёрт, как его малюют».

1. Гимнастика дышат. в постели.

2. Умывание, обтирание по пояс, контрастная вода на ступни.

3. Катание палки сводами ступней.

4. Упражнения по задержке дыхания.

5. Массаж активных точек.

6. Промывание носоглотки (если не иду на улицу; в противном случае – на ночь).

20.11. Перечитала свои записи – и устыдилась, особенно последней фразе за 18 число! Я буду делать передачи, буду! Никаких «неужели» быть не может. Плохо занимаюсь психотерапией – вот в чём дело. Перестала заниматься самовнушением, поэтому и начала снова хвататься за нитраты. Отныне они – только на крайний случай, на самый крайний. Я никогда не видела сосуды, но представляю их гладкими, никаких бляшек ни в каком устье аорты у меня нет! Нет! У меня хорошая аорта, шикарная! Просто я раскисла, поддалась болезни – вместо того, чтобы отмечать свои достижения в борьбе с ней. А между прочим, достижения есть. У меня, например, прекратились головокружения, совсем прекратились. Разве это не достижение? Я не знаю, какого они были происхождения, но удовольствия в них было мало. Сегодня гуляла, дошла до рынка. За грудиной давит, но кто сказал, что надо сразу хватать нитролонг? Не схватила – и ничего, дошла. И по лестнице поднялась. Больше веры в свои силы. Неужели Бог для того создал такой совершенный человеческий организм, чтобы кормить его нитратами! К чёрту эти костыли! Буду обходиться без них. И никаких гнетущих мыслей! У меня хорошая аорта и хорошие сосуды, здоровое, абсолютно здоровое сердце, которое просто запугали. Его хозяйка допустила, чтобы его запугали. Отчетливо понимать, что на восстановление нужно время! Не киснуть при приступах! Не оставлять завоеванного!

21.11. День прошёл хорошо. Приступы воспринимаю с небрежением: поменьше им внимания. У меня хорошие, неспазмированные сосуды. Хорошие, кровь по ним течёт легко и свободно, никакой бляшки ни в какой аорте нет!

Гуляла, сегодня ветер, к приступу на улице – ноль внимания! Все мысли на том, что идти – это счастье,

снег – счастье... Никаких нитратов, только дыхание и вера в свои силы. Очень довольна, как прошёл день: хороший тонус, это главное.

22.11. На днях мне попала в руки книжка Гасилина «Стенокардия», и я наконец узнала, что значит четвертый функциональный класс и нестабильная стенокардия. Получается такой прогноз: год-два – и привет! Эта информация подхлестнула моё сопротивление с новой силой. Впервые в поликлинику поехала одна, без сопровождения. После приёма у Т.Ф. отправилась в кардиоцентр и предстала перед своим лечащим врачом и заведующим. И им доложила о своем решении совсем отказаться от нитратов. По-моему, они в ужасе. Они и при выписке говорили мне, что обманывать меня не хотят и хороших прогнозов обещать не могут. Тем не менее, прослушав меня тщательнейшим образом, сказали, что сердце моё НЕ СТАЛО ХУЖЕ, тоны по-прежнему выражены глухие, но они такие и были, а ХУЖЕ НЕ СТАЛО. Разве этого мало? А Т.Ф. сказала, что лучше тоны! Вышла из к/центра и твердо решила идти через рощу пешком, хотя у входа в рощу мне стало опять страшно: вдруг не дойду, начался сильный приступ. И всё-таки я дошла, держа в руке нитроглицерин и так его и не приняв ни разу за всю дорогу. Все приливы приступа подавляла усилиями воли, самовнушением и дышат гимнастикой.

Словом, в смысле приступов день был урожайный, давило и вечером, но в смысле душевного состояния – очень хороший день!

23.11. По настроению день такой же. Главное – не давать себе расслабляться, не говорить ни с кем о болезни. Сегодня я обнаглела до того, что пошла с дочерью в ЦУМ, купили ей тряпку. И хотя в магазине испытание сложнее, чем в автобусе (душно, много народу), но я продержалась, внушая себе, что я – как все, я – не больная, сердце моё – здоровое, а душно мне – потому что всем душно. И наверняка всех давит от такой мельтешни. Прямо в магазине делала дышат гимнастику, потом на улице.

Вчерашняя ночь прошла без приступов, хотя и видела нехороший сон: будто барахтаюсь в мутной воде. Но потом выбралась. Вот я и барахтаюсь, и обязательно выберусь.

24.11. Сегодня не гуляла: по-видимому, великоватой оказалась нагрузка предыдущих двух дней. Настроение стараюсь поддерживать то же. Волнообразный приступ со второй половины дня.

25.11. С утра пошла гулять, но сегодня, видимо, для меня неподходящая погода, слишком холодно. Буквально через полквартала началась «временная трудность на пути к выздоровлению» – так с сегодняшнего дня я буду именовать приступы (по совету Юрия Власова). Прочитала в журнале «Аврора» №9, 10 его публикацию «Формула жизни – верить» (муж принёс). Потрясена! Человек с переломанным позвоночником вернул себя к жизни! И сердечно-сосудистая система была в отказе. Значит, я на правильном пути. Он пишет, что мысленно расправлял и прочищал руками свои сосуды. Мне до этого далеко, но кое-что я уже умею и могу.

Так вот: «временная трудность» началась на улице и продолжалась дома – то усиливаясь, то ослабевая. В конце концов в 14 часов 30 минут вынуждена была приклеить тринитролонг, приняла корватон... Приступ не проходил. До 19 часов (когда приступ начал стихать) я приняла и предприняла всё, что и раньше: сустав, нитроглицерин, тринитролонг, но-шпу, анальгин, валидол, валокордин. И вот только к 19 часам кое-как утихомирилось за грудиной. Но продолжают болеть ключицы, левая рука. Видимо, совсем без нитратов мне рано. Возвращаюсь к двум суставам форте в день. На ночь снова приняла. Очень плохое настроение, ненавижу себя за поспешность. Надо было, очевидно, принимать хотя бы митте.

26.11. Давит плечи, и ночью разыгрался приступ поджелудочной, разболелись почки. Кладу на живот лёд – начинает давить за грудиной. Плохо прошла ночь. Прихожу к выводу, что в таких количествах нитраты и анальгин мне не идут решительно. Надо возвращаться к поддерживающим дозам сустава и стараться, чтобы не было таких тяжёлых приступов, как двадцать пятого.

27.11. Сегодня под прикрытием сустава погуляла, всё сошло благополучно, на улице тепло. Ещё прихожу к выводу, что при температуре ниже минус десяти мне на улице лучше не появляться, да ещё если ветер. Ночь прошла спокойно.

28.11. Гуляла. Не очень, правда, благополучно – сильный ветер. Два квартала вперёд прошла хорошо, потому что ветер в спину. А когда пошла назад – начались «временные трудности на пути к выздоровлению». Но всё равно рада, что погуляла, настроение бодрое.

29.11. С утра – «вр. трудности». Может быть, потому что снегопад, ломит зубы».

И уже другими чернилами: «Дневник вести больше не буду. Лучше пописывать что-нибудь поинтереснее».

Она «пописывала поинтереснее» ещё девять лет. Только рак сумел съесть её тело. Но не душу, не дух. Смертельная болезнь привела нас в Церковь. Иногда Господь даёт нам очень горькие лекарства. Мария приняла и эту чашу.

МОЛИТВА

ДАРУЙ МНЕ, Господи, помнить час кончины моей...

ДАРУЙ МНЕ, Господи, надежду на Твое милосердие, когда ужас наступающей смерти потрясет все существо мое...

ДАРУЙ, Господи, утешение Твое тем, коих я оставляю по себе в сиротстве и беспомощном состоянии...

Когда бедное сердце мое, при последних ударах, будет изнывать и томиться смертными муками, Господи, ПОМИЛУЙ МЕНЯ!

Когда частое биение сердца будет ускорять исход души моей из тела: ПОМИЛУЙ МЕНЯ!

Когда смертная бледность лица и хладеющее тело мое поразит страхом ближних: ПОМИЛУЙ МЕНЯ!

Когда холодный смертный пот оросит лицо мое, а душа с болезненным страданием будет отделяться от тела: ПОМИЛУЙ МЕНЯ!

Когда душа моя предстанет лицу Твоему, Боже, в ожидании приговора: ПОМИЛУЙ МЕНЯ!

Когда тело мое, оставленное душою, станет добычею червей и тления, кость отделится от кости и весь состав телесный превратится в прах: ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ МЕНЯ!

ТЕБЕ ПРЕДАЮ последний свой час, последний мой вздох, последний удар сердца моего, последний миг земного бытия.

ТЕБЕ ПРЕДАЮ вечную участь мою. Не отринь меня от лица Твоего, но помилуй и спаси меня... Аминь.

.....

ПИСЬМА

“Машенька, женушка, здравствуй! Это просто такая записочка. Как мы поживаем, расскажет Юлька. Позавчера был на площади, Кругловцы и др. пели песни военных лет. Впечатление, конечно, большое – но как воспоминание о детстве. День Победы... Очень было жаль, что не имеем права вот так же на площади петь русские песни.

Вчера был в ДК Уралмаша – там пели мужики и бабы, приглашенные, кажется, из села Щелкун (Челябинская область). Показали фрагмент свадьбы: причет на фоне хора. Может быть, так я буду плакать на похоронах матери, и то вряд ли – что-то со мной случилось совершенно неожиданное. Я шёл поаплодировать – и только. А тут увидел смерть великого народа. Это ужасно. Я даже представить не мог себе, что такое со мной может сотворить обыкновенный свадебный фрагмент. Это было предельно НАСТОЯЩЕЕ, мне в жизни больше никогда не пережить такого. До сих пор – как вспомню – губы дрожат. Вот ЭТО надо в фильм о Гаврилыче. Какой там тебе Покровский... Но ты оказалась очень права – надо идти через «профессионалов» – вот к этому. Там не было ряженых – были люди, среди которых прошли мои детские годы до армии – мужики и бабы из сёл и рабочих посёлков. В общем-то, ты знаешь, я и сам такой же, ты часто это обнаруживаешь по моему «фольклору» и т.д. Это моя кровь (сейчас заплачу).

Выступала перед этим женщина из консерватории и сказала, что в шестидесятых годах был сделан фильм – сняли свадьбу, как её помнили старожилы. Но фильм не увидел никто. Наверное, он где-то в Челябинске.

Целую тебя крепко, твой Борис». Это май 86-го.

«Боренька, мой родной, здравствуй! Вот видишь, какая у тебя не всегда дура жена! А помнишь, как ты говорил мне, когда я тебя звала к бабкам: «Мне это не надо». Я это не в порядке упрёка, а в том смысле, что жену всё-таки иногда тоже слушать надо.

Боря, ты не должен впадать в отчаяние, хотя я сама здесь периодически вою. Прямо под моим окном колодец. То баба Физа скребётся с ведрами, то Валя (рядом соседка)... Говорят, село было здесь могучее, очень зажиточное, дворы все капитальные, крытые подворья, все дома капитальные, на воротах резьба... Физа говорит, что она ещё застала праздники. Была молоденькая – помнит.

Боря, если мы сейчас начнём раскисать – это будет неправильно. Володя Круглов с женой ДВА года назад родили Ваню. Не на смерть они его родили, а на жизнь. И за нами дети... Пожалуйста не кисни. (Володя в конце 90-х стал священником.)

Боря, что думают киевляне дальше? Если кого-то интересует моё мнение – мне кажется, надо срочно всем перебраться сюда, что же там Галя с Наташей (и мужчины) будут облучаться! Юля говорит, что обменяться с Киевом теперь невозможно, никто туда не поедет – ну и пусть, проживём как-нибудь, в тесноте – да не в обиде.

Как они собираются проводить лето? М.б., им здесь обосноваться, в Головырино? У нашей сватьи (Нины Ивановны) есть на примете дом на две половины, хозяйка одна. С Ниной Ивановной мы очень сдружились, она чудесная женщина, очень простая, бесхитростная. Сказать, что она мне помогает – не то слово. Мне всё время приходится быть начеку, чтобы хоть в чём-то успеть ей помочь. Ходит за нами, как нянька, – просто неудобно. Слава Богу, чувствую себя вполне, третий день не давит.

Сидю, пишу тебе, а в окне три рожицы – Олина, Димина, Юлина. Оля здесь освоила боевой клич: «Ха-ха-а-а!» Это выражает полный восторг, законченный, когда дальше уже некуда. Я не ленюсь, всё время с ней гуляю 3-4 раза в день. Ну, всё, Боречка, прощаюсь.

Боренька, как мне тяжело, всё время болит душа. Не сердце – это уж ладно, как-то вроде и свыклась – а вот душа у меня болит, понимаешь ли ты... Хотя чего я спрашиваю, понимаешь, наверное. Вот когда умерла мать – тоже душа болела, и ты мне мешал плакать, хотел как лучше. И сейчас болит душа, кровью обливается в сто раз ещё хуже, чем когда умерла мать. Не знаю, как и выдюжу. Спасают Оля и Димка. Они требуют заботы, отвлекают от тяжёлых дум. Ночами сплю плохо, сон нарушился, раза по два ночью пью настой валерьянки и пустырника. Ты, видимо, тоже плохо спишь – и мне передаётся.

Сон надо восстанавливать, без отдыха нельзя, не хватит надолго. Пей травку. Я напишу Юле, чтобы тебе заварила, а ты пей, особенно на ночь, горячую. Ну, до пятнадцатого. Обнимаю тебя очень крепко, твоя Маша».

«Здравствуй, Боря! Сегодня уже другой день. Такое солнышко! Посмотрела за окно – прямо в нос мне две задницы, большая (Юлина) и маленькая (Олина). Как курицы чего-то выклёвывают из-под снега. Рядом Дима на своём велике. Дорога растаяла, всё течёт, опять видно травку. Жизнь прекрасна и удивительна. Ты там

в нашем каменном мешке ищи себе отдушины. Иди на работу пораньше, медленно, останавливайся, смотри на веточки, на травочку. Вот зря увезли от тебя Чапа, он хоть выгуливал тебя два раза в день. М.б., послать тебе его обратно? Я дала Юле команду, чтобы по вечерам выгуливать тебя. Попробуй протестовать! Поссоримся! Юля мне доложит, слушался ты её или нет. Сегодня Н.И. привезёт от тебя весточку, я просила её позвонить тебе.

Борюсяка, ну почему я тебе говорю, а ты (вот сразу же) ничего не отвечаешь? Я читаю сейчас сборники, которые прислала Мария Михайловна из Киева. С ума можно сойти, читаючи. А загадки какие смешные... Что такое: «Кривая собака в печку заглядывает»? Ответ пришли с Антошей. А пословицы! Боря, позвони Люде Коршик, пусть возьмёт у Жоры Негашева рулон с кочневскими бабами и держит у себя. Как там с «Репортёром»?

Ну, ладно. Были бы кости, а на костях мясо будет... Берёза не угроза: где она стоит, там и шумит... Богу молись, а сам не плошися (мать говорила: «На Бога надейся, а сам не плошай»)... Был со всем да стал ни с чем (это нам ещё рано, а?)... В одном дереве икона и лопата... Выдумав слово, говори... Где тонко, там и рвётся... Дураков не сеют, не жнут, сами родятся... Един гонит сто, а два тьму... Понял?

Ну, ладно, Боречка, так можно ведь целый сборник переписать. Вот последняя: два свояка, а между ними пёстрая собака... Ну пока, всё. Твоя Маша.

А вот прошли три барана (стриженные), и куры ходят. Здесь ещё куры есть. Всё. Дима требует ручку – рисовать.

Десятого мая идите к Круглову в ДК на праздник. Лучше туда, чем сюда! Лену возьми!»

Очень много грустного в наших письмах. Чего бы ни то весёлого добавить? Вот, например, моё заявление, которое сохранила Мария:

«Директору квартиры №5

Степановой М.К.

от ученика 5 «Б» класса

Степанова Б.И.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Манюнька, может хватит? Предлагаю перемирие, с чем и посылаю парламентора. К сему Б. Степанов (подпись)».

К сожалению, там нету даты – на этом клочке бумаги. Конец восьмидесятых? Я там изобразил себя (вместо печати) уже с бородой... по крайней мере до 88-го ходил с усами... В роли парламентёра выступила, конечно, Юля.

Мария тогда немножко подняла голову над водой – после тяжкой болезни, когда её отправили на инвалидность. Из-за стенокардии... По моим представлениям, современные врачи называют стенокардией гипертонию, когда аппарат уже почему-то не показывает повышенное давление. И когда «нижний» показатель зашкаливает за 120. Не знаю, почему аппарат не показывает... Что-нибудь с сосудами? Меня медсестра научила измерять давление с помощью нитки, линейки и золотого кольца.

Хотя и в официально принятой инструкции рекомендуется измерять давление (тонометром) трижды, чтобы выяснить истинные показатели... Но инструкции мы, как водится, не соблюдаем.

Мы ещё не знали, что надо помогать себе молитвой.

Недавно супруга племянника моего Димитрия спросила меня по телефону: есть ли в городе храм во имя Пресвятой Троицы? Доченька Галя увидела сон, в котором она просила Бога подарить ей ХРАБРОСТЬ, и Он отправил её к иконе Троицы. В наш кафедральный собор, недавно возвращенный Русской Православной Церкви. Там был когда-то дом культуры, и в его огромном вестибюле стоял гроб с телом моей Марии. Как раз напротив нынешнего алтаря. Гражданская панихида... Она сама хотела, чтобы гражданская панихида была именно там (но всё равно пришёл священник, слава Богу). Мы приехали туда вместе с Марией в кузове грузовика, покрытого тентом. А потом отправились с нею в храм во имя Крестителя и Предтечи Иоанна.

В наш храм...

Теперь над телом её каждый день колокольный звон.

ВОСПОМИНАНИЯ Марии («Обмен опытом»)

Никто особо и не просит, а я наладилась передвигать свои ноги в сторону молодежной газеты, три очерка уж унесла. Приду, сяду в приемной редактора и вспоминаю, пока там совещаются, как такой же сквозной — как бы махом через всю комнату — походкой и я летала не хуже этих тоненьких веточек в пятнистых джинсах с сигаретами в зубах. Приемная только тогда была беспаркетная, и кабинет редактора Валентины Ивановны Губановой — треть нынешнего. Мне нравится подмечать, ожидая приема, эту знакомую, вроде и скрываемую, значительность. Она бывает только в молодости, даже на пороге молодости, в подростковый ее период. Но вот в чем должна сразу признаться: у меня в отличие от нынешних веточек никаких, ну ни малейших оснований для значительности не было. Я писала — как на коньках скользила, качала такой незамутненный оптимизм, что только страх перед последним судом заставляет вспоминать об этом. А веточки... они как-то по-иному нынче качаются: знают политику, науку, таким словом перебросятся, что домой пришваркаешь — и к словарю.

В «На смену!» меня приняли курьером. Задача — полосы в типографию таскать и бумажки по инстанциям развозить. На машине. На «Победе»! Эта «Победа» вскружила мою бедную голову, я почему-то решила, что после инстанции могу сказать шоферу Пете: «На Шарташ! Купаться!» Петя в споры не вступал, и к концу

рабочего дня мы возвращались загорелыми. «Маша! — затягивая меня в кабинет в ужасе шептала редактор. — Ты понимаешь, что ты на работе? Тебе государство за-ра-ботную плату платит! И машина го-су-дарственная!» Я понимала на пару дней. Потом все начиналось сначала. Сейчас, признаваясь в своей греховной нетерпимости к людям, поражаюсь, как у Валентины Ивановны хватило терпения не выкинуть за ухо такого работника. Скорее всего, под несгибаемыми корочками редакторского партбилета тудилось сердце простой русской женщины, способное по-матерински прощать неразумное дитя. В конце концов свершилось: меня начала мучить совесть.

Журналистом меня сделала «На смену!» Одним махом — раз и навсегда. Что называется, по гроб жизни. Как-то во время выборов Губанова сказала: «Поедешь на Уралмаш и привезешь досыл с избирательного участка». Первый в жизни материал — и сразу досыл? Это слово леденило неотвратимостью. В глаза провальной дырой вцепилась пустота на газетной полосе среди разнокалиберных шрифтов, которую я должна закрыть собственной грудью. В состоянии, близком к восторженно-обморочному, покатила на задание. Но на избирательном участке я поняла, что и под пистолетом не подойду ни к одному человеку, что и стамеской никто не сможет разжать мой пересохший от страха рот и извлечь оттуда хоть один вопрос для исполнения недосягаемого таинства под названием «интервью». Вот этот «интер» да еще и «вью» долбился в мою голову так настырно, что я развернулась на сто семьдесят градусов и устремилась к трамваю, судорожно соображая, как от него избавиться. «Вью...вью...вью» — бесовское поскуливание диктовало сюжет. Когда я подходила к редакции, зарисовка была сляпана, оставалось напечатать и спустить в типографию. «Досылом!» Кислое уныние завершало день. А назавтра редакционная летучка отметила мою стряпню как лучший материал номера. У меня не хватило мужества признаться. Я выбрала более легкий путь: решила стать профессиональным журналистом и писать правду, как бы трудно она мне не давалась.

Правду? Но что это такое, я представляла себе весьма смутно, хотя позорная история с досылом подсказывала: это нечто, что не дает мучений совести. А совесть требовала всего-то: не наспех собирать материал да писать то, что думаешь. О том же, что я сама могла думать вывернуто, я не помышляла. Короче, на газетные страницы прямо из самых сердечных моих глубин выступила розовощекая, довольная собой ахинья. Еду, к примеру, в тюрьму, в лагерь усиленного режима, и прихожу в восторг от того, что там открыли десятилетку. Не могу сказать, что сама лагерная жизнь не тронула сердце болью. Но я как бы возрадовалась, что кроме той жути, которую впервые увидела так близко, есть просвет — вот эта школа, ее директор, двадцатитрехлетняя Людмила Пугачева, несколько учителей-подвижников. И я как бы заключила сделку с совестью, позволив в газетной публикации заглушить боли, точнее, оставив ее в «допустимых» дозах.

Все это происходило подсознательно, я была уверена, что добросовестно выполняю свое обещание, пишу правду — и радовалась, что добывать ее не так уж сложно, было бы желание.

В этом бодряческом настроении я и пришла в 70-м году на областное радио. Возможности радиожурналистики, которые я усмотрела в звуке, будоражили фантазию; не перекрестившись, я вторглась в эфир, не имея малейшего представления о его тайнах. Только клиническая самоуверенность могла позволить мне вылезти с циклом «Музыкальный репортаж» в то таинственное пространство, где каждый звук, каждое слово, образ разрастаются до невероятного обобщения. Я являлась на завод с магнитофоном и, перекрывая железный скрежет станков, весело заглядывая в усталые лица рабочих, бодро педалировала: «А какая песня у вас любимая?» Особо не задумываясь, они называли то, что было на слуху, что сеялось в эфире, прорастало в памяти короткими, не глубинными ростками, а потом без боли отмирало. На студии передача монтировалась, собиралась на рулон и в положенный час врывалась в чужие дома. На летучках меня хвалили, говорили о новаторстве, вывешивали на «красную доску». Однако эти «успехи», слава Богу, не вскружили мою голову, во всяком случае, не настолько, чтобы совсем оглохнуть и ослепнуть. Помогла и технология. Технология производства радиопередачи такова, что заставляет журналиста снова и снова вслушиваться в материал, возвращаться в изначальную ситуацию. Приступая к расшифровке магнитофонных записей, охолонувшая от внешней стороны жизни, от зримой ее новизны, я оставалась наедине с голосом и благодаря ему получала возможность взглянуть на себя и на человека, которого записала, со стороны. Прислушиваясь к этой второй жизни звука (первая, повторяюсь, при самой записи рассредоточивалась разными внешними обстоятельствами), я сделала для себя потрясающее открытие: голос, интонация, вздох, молчание (его в эфире тоже слышно!), смех могут сказать куда больше слов, самых точных и выразительных: могут выдать такую глубину чувств, которую не сумела заметить при записи; и наоборот, могут заставить усомниться в точности личного впечатления.

Теперь, когда пройден долгий радиопуть, понимаю, что Божий Промысл привел меня к этой работе, убеждена, что именно она учит настоящей журналистике — той, которая улавливает глубинные, а следовательно, духовные запросы народа. Не слишком ли громко сказано? Громко, конечно. Вся заколдованность круга в том и состоит, что профессия позволяет брать на себя многое (вторгаться в душу человека — шуточное ли дело), и это многое к тебе же и возвращается. И ты либо прорастаешь из своих героев, оформляешься в некую частицу народа, стремящуюся достойно вместе с ним нести его крест, либо мельчаешь, так и не сумев слить с ним свое сердце. Трудно, да, наверное, и невозможно сказать о себе — проросла ли я? Но твердо могу сказать, что всеми силами души стремлюсь к этому.

Итак, довольно быстро совесть моя пришла в смущение от «Музыкальных репортажей», я стала ощущать некую неловкость, хотя вроде бы ни у кого моя деятельность неудовольствия не вызывала: ни в самих трудовых коллективах, где записывались передачи, ни у студийного начальства. Под каким-то предлогом, те-

перь уже не помню, эта «клетка» была закрыта. Надо сказать, что вот это обстоятельство, «клетки» в эфире, то есть определенное время «от» и «до» под определенным, утвержденным названием (например «Из музыкальной почты недели» — я работала в музыкальной редакции — «Музыка — селу», «Я люблю музыку») весьма способствовало моему внутреннему освобождению. Чем больше я таскалась с магнитофоном по командировкам, чем больше прислушивалась к голосу самой жизни, тем более прояснялось, прозревало мое сознание, очерчивались проблемы, которые просились вон из «клеток». А поскольку «вон» делать было нельзя, приходилось в самих «клетках» исхитряться таким образом, чтобы хоть как-то донести до слушателя свое взросление и сверить с ним свои душевные импульсы. Так был изобретен совершенно новый жанр на радио — музыкально-публицистический. Наверное, это грубая формулировка, и вполне в духе «теории и практики партийно-советской печати», но за создание этого жанра совершенно искренне благодарю марксистско-ленинский режим. Он уберек меня от «большевизма наоборот». Мне кажется, если я что-то сделала по-настоящему хорошо, то лишь там, где сумела избавиться от партийной (коммунистической или антикоммунистической — не важно) прямолинейности, от псевдо-публицистичности, и попыталась создать образ. Художественный образ всегда многозначен и неуловим для «фильтровальных» установок. И одновременно любой образ — это же не горный пейзаж в окошке, а нечто, созданное человеком и несущее на себе отпечаток его личности, его эмоциональных пристрастий, идеологических и нравственных позиций. Эти пристрастия, так или иначе, вылезают наружу и сообщают слушателю, кто и чем пытается с ним общаться. Так что в порядке обмена опытом тут невозможно посоветовать чего-то определенного, например: говори образами, потому что именно это признак настоящего «журнализма». На уровне технических приемов, может быть, это действительно так. Но ведь приемами легко овладевают и те, кого справедливо считают представителями второй (после проституции) древнейшей профессии. Что же здесь посоветовать: говори образами, но не будь продажным? Наверное, каждый из нас постигает НАСТОЯЩЕЕ в жизни лишь в той мере, в какой пытается сделать своими православные ценности. А уж они, эти ценности, светятся (или не светятся) в наших трудах. Взглянув с этой самой высокой точки зрения, я отчетливо понимаю, что журналисту надо бы иметь в запасе хотя бы еще одну человеческую жизнь, чтобы успеть достаточно далеко уйти в своей внутренней работе. Если бы в каждом из нас, вне зависимости от партийной принадлежности или национальности, хотя бы лишь теплилось божественное «возлюби ближнего, как самого себя» — сколь далеки были бы мы от сегодняшней всененавидящей розни, от распада семейного и государственного, во многом организованного силами и красной, и желтой журналистики.

Но вернемся к методу. Итак, я пришла к мысли, совсем нехитрой: надо органично соединить документальную запись с песней. При этом я понимала, что запись должна быть интересной, для чего надо, во-первых, уметь находить добрых, честных, искренних людей и, во-вторых, уметь разговаривать с ними. Я не знаю, можно ли научить разговаривать с людьми. Наверное, отчасти можно. Здесь исходное правило: человек должен чувствовать, что он вам интересен, что вам интересно общаться именно с ним, что все сказанное им вам необходимо до зарезу. Только не нужно все-таки понимать это как технологический прием. Человек В САМОМ ДЕЛЕ должен быть вам интересен. Если вы только изображаете интерес — он это почувствует и запись получится казенно-скучной. Но все это одна сторона дела. Другая сторона — песня, которая тоже должна быть честной, искренней и к тому же талантливой. Из двух этих сторон возникает единое целое, некий третий смысл, образ, в котором остаются и исчезают текст и песня.

Конечно, не враз я все это поняла, и метод не сразу открыл свои возможности, да и сейчас, думаю, они до края не достигнуты. Да и есть ли этот край в эфире?

Когда я решила заглянуть в тайну эфира поглубже? Может быть, когда услышала голос бабушки Анны Федоровны Юшковой со станции Монетная, к которой совершенно случайно угодила в день ее столетия, и она потом, в эфире, на мой вопрос, красива ли была в молодости, как бы сквозь вековую толщу повторила, как при встрече: «Красива — не красива, но ить уж не еко же место!» — и тихо засмеялась. Я слушала ее разумную, задумчивую речь, прокладываемую поговорками и меня слегка морозило: эхом множилось в эфире голоса русских крестьянок, таких же репрессированных, как она, только убиенных или не вынесших репрессий и умерших до срока. Она осталась — для того, чтобы подать голос за всех за них, чтобы мы почувствовали, сколь мудры, просты и величественны они были, с каким достоинством и смирением принимали жизнь и смерть.

Свое могущество эфир являл мне каждый раз. То, что на магнитной ленте было делом частным, в эфире укрупнялось как сквозь сильный оптический прибор. Так было, когда радиоволны размножили и отпустили в бесконечность голос девятнадцатилетней пьяной девочки. Я записала ее в рабочем общежитии камвольного комбината (это была цикловая передача «Перекресток»). Заплетающимся языком, всхлипывая, она твердила: «Я не хочу пить! Я не хочу пить! Вы знаете, что здесь творится, в этом общежитии, что здесь творится! У меня в Ирбите мама... я уехала... думала, в театры ходить... пусть все услышат... я не хочу пить, не хочу!» Этот полудетский и уже сиплый, сорванный голос кричал о всенародном горе, страшной беде. Главный редактор Дина Наумовна Ц. брезгливо морщилась: зачем это в эфир, что — люди лучше станут?

Но вот загадка: еще больше морщилась она, когда я пробивала передачу о Михаиле Ивановиче Вилисове, пермском гармонисте, чудом уцелевшем на лесоповалах, не задушенном колхозными оброками, не перемолотом партсобраниями, вынырнувшем из своих бесперспективных Шамарят и бесшабашно пропевшем на всю вселенную: «Эх, нам хотели запретить по нашей улице ходить, ой да стены каменны пробьем, по нашей улице пройдем!» Старинную улошную частушку эфир укрупнил до политического обобщения, зацепив такую глубинную боль, так остро царапнув уснувшую память, что ни я, ни сам Вилисов долго не могли

опомниться от шквала хлынувших писем. В областном комитете по ТВ и РВ на передачу навесили табличку: «Шовинистическая». Было самое начало перестроечного переворота.

Желание высказать наиболее тащит неудержимо, мешает соблюдать последовательность и хронологию, но пусть так уж и будет. Способностью раскладывать по полочкам мне никогда уже не овладеть, я рада, что дала себе волю, что могу рассказать.

Итак, инструмент найден, ключ к тайнам эфира у меня в руках. Это открытие оглушило, я поняла, что передо мной открылись фантастические возможности, и должна признаться, опасений, что не сумею ими воспользоваться, не было. Я работала «в усмерть», порой муж рассыпался до седьмого сна, дожидаясь меня в обшарпанном редакционном кресле, и мы бежали домой и в два, и в три часа ночи сквозь гулкий безлюдный город. Мой муж был конечной инстанцией, самой высокой планкой, которую я должна была преодолеть. И дело было не в одном взаимопонимании и духовной совместимости собратьев по профессии. В моих глазах Борис Иванович — журналист особой высоты, отмеченный столь редкой одаренностью, что и в наше «плюралистическое» время все еще нет приюта его статьям. (Мы с Марией любили друг друга, а потому она смотрела на меня через увеличительное стекло. Впрочем, есть там и правда: мы всегда отдавали на суд друг дружке свои рукописные работы. Я не решаюсь «из скромности» выбросить эти её слова. - Борис.) Его одобрение означало для меня полное бесстрашие в борьбе за дальнейшее продвижение передачи к эфиру, так как всё остальное было уже делом технологии.

Была еще одна «инстанция», с которой я всегда сверялась: это наши монтажницы Нелли Гарипова, Елена Неустроева, Нина Хворова, Анна Тищенко, Алла Крайнова, Наталья Патрушева. Монтаж и собирание передачи на рулон — это конечная стадия ее создания. Здесь всегда вылезает фальшь, если она где-то пристроилась, всегда обнаружится нарушение чувства меры. Переборщишь или, напротив, не доберешь доли секунды в какой-нибудь паузе или вздохе, или смешке — и всё, можешь считать себя обреченным на провал, то есть на недоверие слушателя. Только с монтажницами можно было сверить себя в самых тонких мелочах. Если они были уверены — беспрекословно слушалась их совета, если сомневались — мучилась сама и мучила их, по десять раз переделывая какой-нибудь видимый пустяк. И когда в результате все-таки получалось нечто, что успокаивало нас всех, мы были счастливы без меры и, бывало, даже вместе ревели, когда результат наших страданий замерялся секундомером, и мы слушали уже как бы отстраненно. Я до сих пор люблю мучить себя вопросом: какой из шести этапов создания радиопередачи самый сладостный? Первый — неувимый, безвременной, когда только зарождается тема? Или когда ты получил запись и безмерно любишь свой тяжелый «Репортер-6» за то, что не подвел, не посадил батареек, записал все до вздоха? Или тот, когда расшифровываешь, помечая звуковые, интонационные стыковки и уже непроизвольно «лепишь» сюжет? Или когда пишешь? Или когда ищешь песни, копишь их годами, как скупой рыцарь, и ждешь того часа, когда только эта, только одна она? Или, наконец, когда сводишь всё на рулон? Это конечная часть работы, итог, к ней страшно приступать, и очень хочется, потому что только здесь, в монтажной, станет ясно: получается или нет.

«Из опыта радиожурналиста...» Скажу так: ничего нового не смогу (да и никто другой) приставить к краеугольному камню любого дела, которое хочешь делать счастливо: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Написала и тут же позвонила в техотдел, необходимо свериться: не сфальшивила ли, не возвела ли самовольно личные радости в ранг всеобщих? Трубку сняла оператор Нина Хворова, она сказала то, что для журналиста может быть самой высокой наградой: все мучения с моими передачами они вспоминают с радостью, потому что для них это было время ТВОРЧЕСТВА.

Итак, изобретенная музыкально-публицистическая основа давала возможность приступить к серьезной созидательной работе. Сразу хочу оговориться: это теперь я более или менее могу собраться с мыслями, что-то проанализировать, и то, как видите, весьма сумбурно, а тогда все шло на уровне интуиции. Не в коем случае не задирала я пальца вверх и не произносила: «Сейчас будем созидать!» В рамках студийной командно-административной системы и планового производства, контролируемого партией, я составляла тематические (перспективные) и развернутые (ежемесячные) планы. Они были невинные, как нынешние нумерованные продуктовые талоны. Глядя на них, невозможно было предположить, какой продукт будет отовариваться. Больше чем уверена: утверждая эти планы, Дина Наумовна всякий раз надеялась получить то, что утверждала, и всякий раз получала нечто иное. Поэтому и начинались вокруг каждой передачи бои (короткие или затяжные), которые велись с переменным успехом для обеих сторон. Хотя стоп. Со «всяким разом» — преувеличение. Первые три передачи нового цикла «Где же вы теперь, друзья-однополчане...» и последующие обзорные по письмам прошли на ура, и Дина Наумовна пожаловала мне областную журналистскую премию, о чем позднее, думаю, не раз пожалела. (Маша приклеила к темно-зелёной почётной грамоте свою подмигивающую физиономию — выглядывает из кашинского окна в каком-то молодом и далёком 69-м году.)

Первые бойцы нового формирования, будущего радиополка, Афанасий Сергеевич Кобяков, фронтовой шофер 20-й Криворожской ордена Суворова гвардейской стрелковой дивизии, и его однополчанин хирург Александр Николаевич Герасимов никого не насторожили. Правда, в «Герасимове» Дину шокировал «оголенный живот» мертвой женщины, который Александр Николаевич вскрыл перочинным ножом в воронке, и из крошечного ада рвущейся в клочья земли вынес знамя жизни — спасенное дитя. Дина никак не могла объяснить мне, что бы она хотела получить взамен правды жизни, твердила нечто невразумительное насчет натурализма. Однако быстро поняла, что стерильной палаты ОММ здесь не получится. Передача вышла, и эфир тут же сработал: совсем не патетический рассказ солдата о фронтовом эпизоде стал иносказанием о России.

Фаина Григорьевна Черепанова, фронтовая сестра милосердия, вальсирующая под собственное мур-

лыкание на язвенных бревнах-ногах в тесной хирургической палате, которая свела нас, тоже еще не спугнула начальство. В тексте передачи лишь робко обозначено было то, что всё настойчивее набирало силу в эфире, в звуке: фронтное поколение наших отцов и матерей — это история народа, оно, даже искалеченное, помогает нам понять себя сегодняшних, сравнить, признать степень нашего измельчания и дает силы идти дальше, в свою историю, держась за связующую нас нить. Наш радиополк формировался вроде бы стихийно. Я высматривала своих героев в очередях, в транспорте, на улицах, или разыскивала по письмам в редакцию. Лежит на столе пачка писем, и вдруг одно из них, всего-то навсего с музыкальным приветом фронтному другу, приведет в движение что-то внутри, там, где душа, и я с этим письмом, точно с миноискателем, иду или еду по указанному адресу. Так я нашла в деревне Верх-Дуброво командира орудия Григория Яковлевича Удилова. Семь раз он был тяжело ранен — в голову, в ноги, в грудь — и все равно возвращался на фронт.

— Наумов Александр Петрович — он меня спас. Вот немец, значит, пикирует на нас и бомбы опустил. Они летят, визжат... И вот слышу: по мне где-то кровь льется — просто так и булькает. Память не вышибло, а души. Потом как-то головой пошевелил, и у меня земля-то просыпалась сюда, сверху-то, мне как вроде облегчило дыхание... (Потом про певчих птичек на войне.)

В конце передачи, когда, кажется, сил уже нет слушать эту потрясающую прозу, сносить речевые обыденности, до которых не подняться ни одному литератору, Удилов еще добавит, а эфир по своему обыкновению укрупнит и унесет, как пророчество, в сегодняшний день: «И не должны мы никому — ни живым, ни мертвым. Все, что с нас требовалось, — все мы сделали...»

Одна женщина, отец ее тоже прошел войну, сказала: «Может, грех говорить, но я рада, что отец умер — хоть не увидел того, что сейчас делают с его поколением».

Христина Денисовна Чупракова, творившая из обычных тряпочек шедевры, ни один из которых не вернулся с международных выставок народного творчества, обернувшись для Отечества валютой, а для Христины Денисовны жалкими грошами, на которые она даже дров не могла купить для своей алапаевской избушки, когда-то сказала мне: «Ковры-ти не я делаю, это машинка моя, она сама шьет, са-ама». Что-то слегка похожее было и со мной. И я, и не я делала «Однополчан». Каким образом, например, сиплый, астматический голос станкового пулеметчика 368-й Карачнинской дивизии Владимира Ивановича Кудина, одного жителя дома престарелых на Семи ключах, соединялся с гитарой и женским пронзительно-нежным и трепетным голосом, я объяснить не могу. Но он соединялся, и плывущие слова песни «дом при дороге, он во мне самой, в открытом настежь сердце, грустно в нем...» были моими словами и моей любовью к великому поколению.

Надо сказать, однако, что сама обладательница голоса была, кажется, озадачена и даже раздосадована приземленным применением «высокого слога». Но, может быть, я ошибаюсь... Такая тонкая лирика должна была соединяться с чем-то другим, не столь мужицким, не столь пропахшим кровью и потом? Во всяком случае, это было видно по сопротивлению Дины Наумовны. Она с пеной у рта доказывала, что тут нужна совсем другая песня, и только единственное оружие мое — гласность! — которое я приводила в действие в те далекие доперестроечные годы, разевая варежку на все четыре этажа нашей идеологической конторы, выручило меня и на этот раз.

Точно такая же история происходила с песнями Высоцкого, которые я стала привлекать к себе на службу. Помню, какую невероятную схватку выдержала из-за «Охоты на волков». Конечно, не держал в уме бард, покойная голова, моего капитана морской авиации, когда хрипел «рвусь из сил и из всех сухожилий...». В те времена плохо шли в стране пластинки и книжки барда, в основном тиражи множилось в Парижах и Нью-Йорках, и, конечно, он рвался здесь из всех жил и сухожилий — каждому хотелось в то время быть услышанным в родном доме. Но я по-своему услышала Высоцкого. Я приставила его намагниченный хрип к тихой речи капитана морской авиации, настолько тихой, что записала ее на предельных уровнях. Без малейшего нажима он описывал картину воздушного боя над круглым, как шар, морем, где горизонт сходится с водой. «Там страшно, и надо иметь натуру. Если такой натуры нету — не подходишь, я вам правду говорю». После слов «наши парни управляли своими «Яками» так, что позвонки растягивались...» без гитарного проигрыша начиналось: «Рвусь из сил...»

Сейчас я бы все сделала иначе, всё не так, и слова бы написала может быть какие-нибудь менее плохие, и не яростный хрип дала бы, а, может быть, песню отца Романа... Но, видно, никому не дано перепрыгнуть через самого себя, каждому овощу свое время. Я была зеленым, незрелым овощем, многого не знала, да я ли одна?

И все-таки Бог миловал меня, потому что, даже используя Высоцкого и Окуджаву, я оставалась в пределах русской отечественной журналистики. Осмеливаюсь на такую заявку в первую очередь потому, что где-то лет через шесть работы на радио (конечно, непростительно долгий срок!) я поняла, что во мне самой идет какая-то работа. Все больше начинали трудиться совесть и душа. Конечно, в этом была не моя заслуга, но властное влияние моих героев. Если же точнее и честнее — Промысл Божий, который сводил меня с такими людьми.

Наша первая встреча со Степаном Гавриловичем Коробовым случилась у подножия Спасо-Преображенской церкви, в те времена, когда дух отрицания, именовавший себя «научным атеизмом», всюду правил бал. Видеозапись телепередачи «Живет на земле человек» шла под высоким напряжением. Подвиг блаженного Степана, не позволившего взорвать храм в Раскуихе, а потом дерзнувшего взяться за его восстановление, был опасным подвигом. Под нашей идеологической вышкой впервые возникла угроза серьезного и совершенно конкретного разговора о воскрешении национальной памяти.

Видеозапись отслеживали все имеющиеся на студии начальники, и только Степан Гаврилович произнес: «Я счастлив, что произошла встреча с этим зданием. У меня два брата на фронте погибли, а я остался...» — как тут же затрещали внутренние телефоны, запись была остановлена, и дружеский голос Дины сказал в трубку: «О том, что братья погибли, а он остался, — убери». — «Но почему?!» — «Люди могут неправильно истолковать, сделают вывод, что Коробова Бог сохранил, чтобы он восстановил эту церковь. Будешь упираться — снимем всю передачу». Это были опытные ребята, они всегда умели найти точку, по которой надо бить, как бы размыто она не обозначалась. Допустить «снятия» передачи я не могла, потому что Степану Гавриловичу в это время грозило «снятие» с работы и «снятие» из партии. На студии об этом не знали, и я все уши прожужжала начальству: о Коробове скоро заговорит вся страна, а мы окажемся в отстающих. Накануне выхода передачи в эфир обзвонила все сущие алапаевские власти, поблагодарила от имени областного телевидения за поддержку подвижника. Вот каков главный опыт журналиста — как объехать начальство.

«Где же вы теперь, друзья-однопольчане...» — эти позывные (их без сантиментов, как-то очень искренне спел однажды под гитару актер Владимир Марченко) тоже помогали формировать наш полк. Вступил в него и Степан Гаврилович (восемнадцатилетним мальчиком он защищал Москву, был командиром пулеметного взвода); и однорукий артиллерист Василий Иванович Четин («Вы понимаете, я когда шел к западу — я не рассчитывал, что меня убьют, и как непокоренный, понимаешь, писал домой, что меня пуля не берет»); и безотказная пехота — сапожник Иван Сергеевич Орехов, отринувший благоустроенную квартиру, которую я выбила ему взамен холодной, полуразрушенной халупы; и парикмахерша Анфиса Николаевна Лялина, на всю жизнь скоронившая в сердце своем образы раненых наших мальчиков («Посмотрите-ка, с Ленинградского фронта каких привозили нам: заходишь в вагон — пахнет, нельзя зайти, слышишь — обморожены. Привезут их — ломают, ломают, у них культы одни останутся на руках и ногах. Отломят — у него снова загнивает, снова загнивает — гангрена. Птица мне запомнился. Так звали его все — Птица! Приехали — он из вагона вышел, в тапочках, в халате по снегу пляшет. В руку был тяжело ранен. И все пел, и все пел — и больно ему, не больно — поет и только»). И многие, многие...

Передачи о ветеранах никогда не получались передачами только о прошлом, в них жил сегодняшний день, и победившие фашизм были в нем не сами по себе. Это были наши отцы и деды, и когда пятилетний Миша Плеханов рассуждал на всю вселенную о том, что случится, если прервется связь поколений, и перечислял мне поименно всю свою родословную — было тепло от сознания, как крепко сумел укорениться во внуке инвалид войны, бывший сапёр Николай Васильевич Плеханов. Его образ так и остался во мне, так и дошел до меня через Мишу. Сам же ветеран лишь в эфире услышал, как его пятилетний внук, обитатель первого попавшегося журналисту детского садика №541, выдержал экзамен на верность.

(Люди писали Марии письма. Хорошие письма. Лишь однажды пришлось ответить вот так (это 78-й год):

«Уважаемый товарищ Ерошкин! Отвечать на письмо, подобное Вашему, очень сложно, поскольку оно больше похоже на приговор, который не подлежит обжалованию. Однако остановлюсь на сути дела. Я очень хорошо понимаю Вас: когда хочется услышать одно, а слышишь совсем другое, то настроение портится. Вы хотели услышать концерт, поэтому в Вашем письме сказано очень мало по сути передачи, а есть лишь упреки по адресу песен. Но дело в том, что передачи под рубрикой «Где же вы теперь, друзья-однопольчане» построены в форме очерков о судьбах фронтовиков. Это совсем не концерт. Песни здесь несут вспомогательную нагрузку, они должны более или менее точно отвечать сюжету передачи. Вы были очень невнимательны, иначе бы поняли, что сначала была не «короткая вступительная беседа журналиста Лебедевой», а рассказ о своей тяжёлой фронтовой судьбе бывшего солдата А.Ф.Махнёва. А потом прозвучала песня большого, трагического накала, потому что после слов «выброшенная вместе со мной на парашюте радистка погибла, ударившись о дерево (распорол себе живот)» — немыслимо, даже просто нелепо давать, как Вы пишете, «спокойную, лирическую и душевную песню».

Далее Вы пишете: «Потом дуэт в таком же ДУРАЦКОМ духе для современных ШАЛОПАЕВ, но только не для фронтовиков и ветеранов труда». Что же тут скажешь? Нам часто пишет молодёжь, есть, вероятно, там и «шалопайи», но никто из них не счёл возможным написать в таком тоне. В общем-то некие слова не принято употреблять даже в устной беседе, и они это прекрасно понимают. Ваш тон тем более оскорбителен, что речь идёт о песне, сделанной по стихам бывшего фронтовика. Если бы Вы внимательно её послушали, то, уверяю Вас, поняли, что есть в ней не только «раз-два-три».

Опять цитирую Вас: «Далее зачем-то появились голоса молодёжи, которые учатся прыгать с парашютом». Повторяю, из Ваших слов видно, что Вы почему-то не вслушивались в передачу, которую так резко критикуете. «Голоса молодёжи» появились потому, что молодые очень тепло и ласково говорили всё о том же своём учителе, бывшем десантнике А.Ф.Махнёве. Передача о трудных боевых дорогах участника войны предназначена и для них, сегодняшних школьников, которые завтра, если понадобится, сумеют отдать жизнь за Родину. Там, кстати, шла речь и о том, как бережно и чутко Махнёв воспитывает молодёжь. Причём он шефствует как раз над такими «шалопаями», о которых Вы пишете с нескрываемым раздражением. Он до сих пор чувствует ответственность за их судьбу и поэтому делает всё, чтобы раскрыть в них самое лучшее.

Теперь по поводу того, что Вы пишете обо мне лично. Передачи под рубрикой «Где же вы теперь, друзья-однопольчане» идут ежемесячно, и Вы первый, кто обвинил меня в «халтуре». Уверяю Вас, я не способна халтурно к ним относиться уже просто потому, что на войне погиб мой отец. Вы пишете: «Дайте нам пожалуйста спокойно послушать любимые песни и хорошо отдохнуть». Убедительно прошу Вас понять (если поймёте, то не будете обижаться) — это передача вовсе не рассчитана на бездумный отдых. Это всегда рассказ о самой

тяжёлой из войн, о судьбах фронтовиков, который сопровождается песнями, отвечающими ситуации. Рассказ о минувшей войне не может, при всём моём желании, настроить на хороший отдых. Он во многом адресован и новому поколению, не пережившему, к счастью, войны. Он рассчитан на то, чтобы вызвать к ветеранам войны огромное уважение и признательность за их ратный подвиг.

Что же касается отдыха, то по Свердловскому радио очень часто исполняются песни любимых Вами (и мной) певцов: Марка Бернеса, Клавдии Шульженко и других. Вы всегда можете услышать их, например, в утреннем концерте (вторник) в 8 часов 15 мин. – «Музыкальные приветы воинам».

Редактор М. Степанова. 24.03.78 г.» – Борис.)

Постоянное душевное мое нахождение, бытие рядом с фронтовиками, подстегивало гражданскую совесть, звало к более активной жизненной позиции, как принято говорить. Оттачиваемые с каждой передачей «технологические» приемы манили: попробуй возможности разных жанров! Так рядом с «Однополчанами» появилась другая жанровая крайность — музыкальный фельетон.

Начальство поначалу приветствовало «творческий поиск», и первая передача, которую сделал мой нештатный автор (назывался фельетон «Магнитофонный мальчик»), возражений не вызвала. Это было похихикивание с явной нехваткой сердечной боли, даже и радостное, по поводу несчастных первенцев, начинающих уже тогда попадать под грохочущие, перемальвающие мелодичную русскую душу гусеницы заокеанского ритмического нашествия. Последовавший за ним радиопельетон «Пляшущие человечки», записанный мною на танцплощадке парка Маяковского, уже «прокачивался» на всех этажах радиокомитета. Думаю, именно потому, что в нем заметно проступила, а в следующих фельетонах разрослась до обобщения тема трагической судьбы брошенного поколения — так называемых трудных подростков. Помню, как в диком грохоте танцплощадки я оказалась в эпицентре пьяной драки. Какая-то необоримая сила всегда толкала меня, когда на моих глазах кого-то били, я вечно с криком кидалась сначала под бьющий сапог или кулак, и только потом, когда каким-то чудом и сама оставалась цела, и останавливала драку, мне до тошноты становилось страшно. Я и сейчас вижу то пьяное недоумение в мутных глазах, которое устало осталось на меня из бритой головы, раскачиваемой развинченным телом.

И все-таки тот фельетон был слаб, теперь я бы даже сказала — беспомощен. Слаб по техническим причинам. Я поняла, что должна овладеть еще одним беспощадным законом радио: умением качественно, то есть БЕЗУКОРИЗНЕННО СЛЫШИМО снять на звуковую пленку любую, самую экстремальную ситуацию. Это значило, что надо уметь, не отключая сердца, включать холодный рассудок, который следил бы за микрофоном, за уровнями, за работой всего тяжелого семикилограммового агрегата, висящего на плече и называемого «Репортер-6». Я так любила этот «агрегат»!... Чем больше выказывал он мне свою преданность, чем больше радовал незаурядностью, а главное, готовностью помогать мне, воплощать в звуке тонкости, которые не могло описать, обсказать слово, тем менее в тягость был его непомерный вес и объем.

Пожалуй, впервые я до конца осознала его возможности, когда однажды села за расшифровку и услышала то, что не открылось до конца даже во время записи. В подворотнях Эльмаша я записала пятнадцатилетнего Сашу С. Его очень близкое дыхание, легкое, но все равно какое-то укрупненно-ущербное пришепывание и стариковская серьезность, с которой он исполнял дворовый фольклор, ударяя по расстроенным гитарным струнам, как по чему-то живому и тоже беззащитному, были невыносимо, не по-детски трагичны.

Прощай, прощай, любовь моя, прощай,
Не в силах больше я скрывать печаль,
Не целовать мне больше губ твоих,
Я буду только вспоминать о и-их...

Разумеется, не обездоленные дети находились под прицелом музыкального фельетона «Гитара в подворотне», а взрослые лощеные штиблеты и сапоги, нескончаемо плывущие мимо этой самой подворотни. Всероссийской подворотни, в результате духовного разложения народа набитой несмысленными, будущим тюремным контингентом.

Папка мой давно в командировке,
И не скоро возвратится он.
К моей мамке ходит дядька Вовка,
Он вчера принес одеколон...

Нет более страшных документов эпохи, чем эти записи. Начальники понимали это не хуже меня. Из-за «папки в командировке» шла торговля на высшем комитетском уровне. Председатель телерадиокомитета лично и точно отмерил степень допустимости этого обвинения нашей экспериментальной эпохе: чисто имели право прозвучать только первые две строчки. Дядька Вовка уже обязан был идти на микшере. Спасибо монтажницам, они исхитрились так смикшировать, что куплет все же не был до конца забит. Зато ни председатель, ни Дина Наумовна, сильно озабоченная моей все возрастающей инициативой, не смогли бы, даже если бы очень захотели, снять песню, которая с легкой руки Валентины Толкуновой спустилась из голубых гостиных ЦТ и ЦР на дно жизни и, переплавившись в надрывном голосе Володи Б., теперь уже сгинувшего где-то в тюрьмах, вернулась беспощадно-правдивым оборотнем:

Поговори со мною, ма-а-ма,
О чем-нибудь поговори-и,
До звездной полночи до са-амой

Мне снова детство подари,

— выл одинокий в бескрайнем эфире мальчишеский голос, и тоска эта была беспредельна.

«Гитара в подворотне» вылилась в целую эпопею, которая перевела меня на новую ступень познания народной жизни. Вцепившись, как клещ, в химерическую идею переселения подворотни во дворцы культуры, я начала раскачивать «пост-скриптумы» по следам фельетона, немало веселя, как теперь понимаю, своей наивностью тех, кто был посвящен в глубинные причины обвала национальной духовной жизни. Мне позволили даже «побороться за правду», пошугать директора ДК П.Н.Шварца (фамилию меняю). Вдвоем с лейтенантом милиции Верой Новгородцевой мы вынудили Шварца предоставить нам комнату для работы с трудными. Отобрать в подворотне таланты, затем провести большой концерт и в конце концов открыть в ДК клуб «Твой друг гитара» – такова была программа-минимум. Шварц и исполкомовско-райкомовские чиновники пошли на это в полной уверенности, что подворотня в ДК не пойдет и «никакого кина не будет». Нас заверили в этом, предоставив огромную дворцовую комнату №3 и весело прищипив на нее бумажку с надписью: «Прослушивание. Вторник, четверг, с 18 до 21 час.» Трудно сказать, откуда была такая уверенность в провале. Может быть, оттого, что в каких-то кабинетах уже было решено похоронить весь тираж афиш, который мы выбили из ленинского союза молодежи. Афиши возвещали о конкурсе дворовых гитаристов. Может быть, оттого, что наши намерения отдать личное время в распоряжение эльмашевской шпаны казались бредом сумасшедших.

Однако знатоки просчитались. Сведя к нулю информацию о задуманном деле, они не учли бесперебойной работы сарафанного радио, через которое весь состоящий на учете, а также еще не зарегистрированный в детской комнате милиции вольнолюбивый контингент Эльмаша был благополучно оповещен о некоем подозрительном внимании к нему со стороны взрослых.

Сначала они начали высаживать десанты. Разведчики приходили по трое-четверо, разумеется без гитары, и усаживались возле двери, благоразумно оставляя за собой возможность слинять при первой же подозрительной акции. Таковой могло быть движение руки к портфелю, попытка наша встать из-за стола, который стоял на другом конце комнаты, на безопасном расстоянии. И т.д. Они тут же вставали и, ерничая, торопливо раскланивались: «Прослушивание окончено, спокойной ночи». Мы терпеливо ждали. Вера Вениаминовна лучше меня знала, что они вернуться. Подворотня проверяла свои впечатления несколько раз. Лишь когда мнения разных разведсоставов совпали (на это потребовалось не менее двух недель), она сделала навстречу нам первый шаг. Сначала в сеть пошла мелкая рыбешка — дворовые лирики типа Саши С. Но очень скоро пред нашими очами стала возникать настоящая шпана, отягощенная авторитетом детских колоний и даже тюрем.

Конечно, главную роль здесь играла Вера, ее святая любовь ко всем обездоленным детям вообще и в отдельности к каждому ребенку, который проходил по ее ведомству или просто встречался на ее пути в холодном, грешном мире. Первый человек в моей журналистской жизни, действительно возлюбивший ближнего своего, как самого себя. И больше себя. У нее были муж и ребенок, и она не боялась притаскивать домой и отмачивать в домашней, семейной ванне двенадцатилетних несчастных дур, которые цеплялись по подвалам горнорею. «Вера, одумайся, ты погубишь собственное дитя», — взывала я, чувствуя, что делаю нечто нечестное. «Я не могу, мне их жалко», — отвечала она. У нее всегда были печальные глаза и веселая детская улыбка.

Прослушивания набирали обороты и в конце концов достигли критической точки. Было отчего вздрагивать директору Шварцу: в третью комнату набивались целые полчища подростков. И по семьдесят человек, и по девяносто. Вооруженные до безобразия расстроенными гитарами (почти все инструменты к тому же были склеены изолентами и вдохновенно разрисованы сюжетами из личной жизни), юные гитаристы сотрясали культурный дворец рвущимися из сердца песнями. Временные рамки, установленные дирекцией для забавного опыта, полетели вверх тормашками: после девяти вечера «мероприятие» только разгоралось. «Мы построим солнечные людям города», - мечтал неопикуемый артист и музыкант Вовка С. «Людям города, людям города!» - самозабвенно подхватывала вся подзаборная братия.

Надо отдать должное: директор дворца быстро понял, что со всем этим шутить не стоит. Думаю, большую помощь этой сообразительности оказал «Репортер-6» - микрофон он держал остро! Мой верный помощник, приставленный чуть ли ни к самому носу Шварца, с точностью до вдоха фиксировал подавленность директора. Через два месяца прослушиваний Петр Николаевич, ставший к тому времени действующим лицом первого пост-скриптума к фельетону «Гитара в подворотне», понял, что придется все-таки готовиться к большому концерту. В начале января была определена и дата - первое апреля. День смеха...

Между тем милицейские сводки зафиксировали потрясающую цифру: за месяцы музицирования в паркетах ДК преступность в районе упала на 43 (или на 42?) процента. Еще бы! Мало того, что до двенадцати ночи подворотня услаждала наш слух в комнате номер три, - мы потом еще провозажались с разговорами о жизни до двух, до трех ночи. Очень хорошо помню первый такой вечер, когда мы с Верой Вениаминовной вышли из двери, а они ждали нас на улице. Это означало высшую степень доверия. К тому времени это доверие сделалось уже двусторонним: я, например, не задумываясь, отдавала провожатым свой вволю натрудившийся, отяжелевший тяжестью записанных кассет магнитофон, и не помню, чтобы хоть раз мне захотелось оглянуться, проверить - цел ли он в руках моих оруженосцев, которые отставали от нас, впередсмотрящих (мы выслеживали трамвай) - иногда и на полквартила. Эти провожанья растянулись на месяцы. Подворотня лепилась к нам с большой душой, и как-то незаметно мы оказались причастны жизни и Михаила Н., который ухаживал всегда первым, потому что его ждали три младших брата, брошенные пьющей мамой; и девятиклассницы Ирины В., которая шепталась с нами, стоит ли ей рожать; и Игоря В., любившего какую-нибудь подробность

своей экзотической биографии изложить исключительно по-английски, и тут же нам, без толку прошедшим вузы, перевести на русский в юмористическом ключе.

Все эти взросло-детские, сложно-простые, хохмацко-трагические истории переполняли душу до края, и она начинала мучиться совестливостью, вспоминать собственное благополучие.

Большой концерт приближался. Шварц, комсомольские, партийные и советские покровители подворотни расстарались на славу. Не где-нибудь, а в большом зале ДК шли ежедневные репетиции - Петр Николаевич называл их «акклиматизацией». Опыт отработывался по всем правилам современной науки: не в склеенные синей изолянтной гитары лупили наши артисты светлеющими мартовскими вечерами, начисто позабыв про пьяные драки и прочее ритуально-беспризорное времяпровождение, но скребли обломанными ногтями сверкающие струны импортных дворцовых инструментов. Не дремал и ленинский комсомол: он шиканул закупкой призов. Двадцать новеньких деревянных гитар ждали своего часа. Советская милиция готовилась к празднику на специальных оперативках. Ирина В. шила платье из желтого шелка. Разумеется, и я, ничтоже сумняшеся в своем героизме, ждала этот день, заполучив в подручные к «Репортеру» стационарную звукозапись и четыре сорокаминутных рулона пленки.

Наконец, день смеха наступил. Господи, как их оказалось много! Даже выдавшая виды Вера Вениаминовна была потрясена - дворец оказался переполненным. Они явились красивые, причесанные, белые воротнички рубашек выложены на ворота пижжак. Сохранились фотоподтверждения: Надежда Медведева снимала их на пленку. (Как на звуковой ленте слышна, так на фотографии видна едва проступающая горькая печать одиночества и его родной сестры - ущербности. В глазах, в улыбках, в позах.)

Как только первый артист появился на сцене и с отчаянностью первопроходца рванул струны роскошной австрийской электрогитары, и провозгласил в какой-то незнакомой, неуличной тональности, однако на недостижимом градусе вдохновения: «Улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя-а-а!» - зал взревел, зашелся восторженным улюлюканьем, топотом, свистом. Надо отдать должное: подворотня умела поддерживать своих в ответственные минуты. Тонкой свечкой возникла на краю сцены Ирка в новом ядовито-желтом платье, из-под которого предательски торчали два стоптанных войлочных сапога. Песню ее про то, как «оставила стая среди бурь и метелей одного с перебитым крылом журавля» подхватил тощий подросток (подранок!). Жилистая, напряженно вытянутая шея его как бы стремилась к законченности того, о чем начала выпевать Ирка: «Я стою машу ему, как другу, хочется мне думать про него, будто улетает он не к югу, а в долину детства моего». В зале буря. Наше студийное начальство, вздрагивающее от обилия впечатлений на дворцовом балконе, поначалу решило, что артистов освистывают. И только повысив бдительность, с трудом уразумело, что вопли и свист - высшая форма одобрения. Увиденное настолько не стыковалось с кабинетным знанием сегодняшней жизни, что оно, не досидев и до середины концерта, отбыло с валидолом под языком в безопасное место, прочь.

Нам же всем вместе предстояло пережить два ключевых момента вечера, два его ликующих финала. Когда в заключение концерта откуда-то с небес опустился штaketник и на нем двадцать новеньких, как одна, гитар, - началось то, что действительно описанию не поддается. Артисты, распределившиеся уже в зале среди своих дружков, неслись на сцену получать приз, и зал каждый раз неумоимо реагировал, ликуя чистосердечно и чрезвычайно громко. Подворотня покидала дворец со сказочной добычей - гитары получили все.

Вторая победа была стократ важнее первой. Во дворце, окруженном милицейскими машинами, ни один из тех, кого окружили, и с кем, по прогнозам милицейских оперативок, могли возникнуть инциденты, - окурка не бросил! Подворотня продемонстрировала невиданное достоинство и порядочность. Она никого не подвела - ни любимого инспектора, ни областное радио в моем лице. Только теперь, слегка поумнев, я понимаю, какое множество зайцев можно было отстрелять в результате этого эксперимента - не овладей подворотня в сжатые сроки необходимым этикетом. Однажды, еще в дни прослушиваний, Вера показала мне содержимое дивана в своем кабинете. Владельцами самодельных стальных финок и деревянных, все с той же синей изолянтной обрезов были кающиеся грешники - сочинители клятв про начало новой жизни. Эти клятвы, а потом их пре-ступления были бесконечны. И взрослому трудно справиться с безмерным одиночеством, а этим, с перебитой душой, - чего говорить. Вот и была Вера Новгородцева их единственным пастырем, отпускающим грехи. Каждый раз, опуская облитый слезами раскаяния нож в обшарпанный милицейский диван, они уходили счастливые, искренне веря, что «этот раз» - воистину последний.

И вот - ни одного окурка в подарок милицейскому оцеплению!

Закончилась эта история буднично: подворотня благополучно вернулась на место, Шварц и чиновники поставили галочки по случаю проделанной работы, Веру Новгородцеву вскоре выкинули из милиции (у нее оказались в запустенье какие-то бумажки в отчетах, в общем - за неумение трудиться!), я загремела в больницу.

Конечно, никакого клуба «Твой друг гитара» во дворец не пустили. Подворотня быстро поняла, какую шутку с ней сыграли, и как будто даже не обиделась, а с покорностью заняла свое привычное место, находя радость в воспоминаниях. Она поверяла эти воспоминания новеньким, брэнчащим своим подарком, честно заработанным и полученным «без булды»:

Во дворцухе мы собрались,
Милитоны улыбались, Броня в парикмахерской застрял.
Прибежал, намылив шею, не мечтал, что пнут взащею -
Вот и весь апрелевский финал...

Я же долго еще боролась. По выходе из больницы пробила второй пост-скриптом, «вскрыла» лицемерие Шварца и т.д. Может быть, это и было стрельбой по воробьям - с точки зрения исторической: какой-то

Шварц, какая-то исполкомовская Подаркина - в них ли дело? Но был в этой передаче живой документ, смонтированный из первоапрелевских выступлений, который и тогда был, и сейчас есть, и в будущее уйдет как исторический (если не выбросят мои потомки). Нескончаемая цепь надтреснутых детских голосов, отмеченных печатью незаурядного природного таланта, еще и еще раз напомним, как непросто все устроено в нашей земной колыхали, сколь зависимы все мы друг от друга, сколь по-родственному тесна наша человеческая семья.

Эту связь я стала ощущать на себе. Лодка, разбившаяся об эльмашевский эксперимент, оставила меня на пустом берегу. Я вдруг наконец-то остановилась в своем журналистском беге и, опустившись на колени, тихо легла в травы, лицом к земле. Я услышала отдаленный звук. Он не то чтобы позвал или указал путь, но как-то успокоил, уравнил, утихомирил. Образумил - вот точное слово.

Конечно, и однополчане, и все мои герои из народа (я только однажды сделала передачу о чиновнике, он писал нескладные, но искренние стихи и был порядочным человеком) потихоньку подвигали меня в нужном направлении. И тянуло меня всегда к простым людям, думаю, потому, что я никогда и не уходила от них. Но то было неосознанное движение... Эльмашевская же эпопея вдруг начала властно требовать от меня осознанного выхода из тупика.

Где-то на этом перевале я сделала передачу, которая начиналась пустяковой песенкой про жизнь в полосочку. Вот, дескать, не надо унывать: сегодня черный цвет, а завтра будет белый. Оттолкнувшись от замечательной идеи, я дала «Колею» Высоцкого, которая заканчивается рефреном «выбирайтесь своей колеей». Дальше шел разговор с молодежью о народных песнях, о наших бабушках, о великом русском языке, который мы утратили, наглотавшись газетной мертвечины. Разговор подкреплялся дивной - и по тональности, и по структуре - речью Ивана Даниловича Коробова и Христины Денисовны Чупраковой, незатейливой простонародной песенкой про то, как закуржело одеяльце без милого друга. Песенка сама попросилась у Христины, это было слышно в эфире, и как-то по-родственному прилепилась ко всему звукоряду передачи, который и стал той четко прорисованной колеей, которой нам, русским, следовало выбираться из трясины национального самозабвения. В конце была песня в исполнении любимой моей певицы Камбуровой – про коней. Они ходят над рекою, ищут водопою, но слишком берег крут. «Вот и прыгнул конь буланый да с той кручи окаянной ... синяя река больно глубока». Конечно, Елена выбирала репертуар исходя из собственных соображений, но в контексте моей передачи прочтение песни было однозначным: только на берегах родной реки можно найти радость и жизни, и смерти, и бессмертия.

Передачу к выпуску в эфир запретили - решительно и бесповоротно. И тогда я решилась на претупление: «спутала» рулоны и вместо залитой передачи выдала эту. (Сейчас, слушая нелицитованный (безцензурный), «свободный» эфир, думаю иногда: вот на вас-то, разбойники, уж точно уздечку надо. Тащите людей в пропасть, и никакие уроки истории вам не впрок.) Надо ли говорить, каким это было чрезвычайным происшествием... Однако остановить в эфире передачу никто не решился. На другой день началось следствие, нацеленное на увольнение. Однако наш начальник Игорь Степанович проявил невиданный по тем временам демократизм: журналистское собрание постановило объявить мне выговор и лишить гонорара. Смирно приняв наказание, я получила возможность работать дальше.

С той поры я стала горопиться. Видимо, чувствовала, что очень скоро «глубокая синяя вода» накроет меня с головой. Но мощное, разрастающееся с каждым днем влечение «к водопою», предчувствие спасительной гибельности его было неизбежным, сознательно единственным, бесконечно счастливым. Если что-то удалось мне сделать путного в эфире - так это передачи последних «застойных» социалистических лет. Они были разные по форме и жанрам, строились все на том же, некогда освоенном музыкально-образном основании, но в них начали проступать признаки некоей зрелости, упрямой направленности. Наверное, поэтому самые разные герои - молодая воспитательница городского детского сада Ольга Л. с ее деревенским проголосьным пением; парни из политклуба Уралмаша, сделавшие народную песню главной политической песней дня; неистребимые старухи из вымирающих уральских деревень, рассыпавшие в беспределье эфира свою веселую поэтическую речь и неубиенные песни; исполнительница народных песен и былин Лена Сапогова; кытлымские многодетные Николаевы, взявшиеся своими силами восстанавливать отечественный генофонд... И многие, многие были тем народом, который и сам себя народом всегда осознавал, и других звал к тому же.

Дина Наумовна, а может быть и те, кто за ее спиной осуществлял контроль за движениями русской души, терпеть все это и дальше, по-видимому, не собирались. «Я с тобой работать не могу, уходи», - заявила мне Дина однажды во время очередной схватки над «патриархальщиной», «натурализмом» и «архаикой». «А я с тобой не могу, сама уходи», - я была искренна в своем неразумии, в своем неумении понять, почему древние песни моего народа, которые запела молодежь, нельзя выпускать в эфир. Это был самый пик нашего многолетнего единоборства. Тут же в качестве дополнительной нагрузки (вместо «Музыки селу») мне поручили составлять концерты для стереовещания. Пришлось вооружиться счетами и считать бесконечные часы, минуты и секунды... Хотя, конечно же, велик был соблазн хлопнуть дверью.

В конце января 1985-го я упала на заледенелой улице, «скорая» отвезла в больницу, где доктор Немкин (я изменяю имена и фамилии всех своих... недоброжелателей), напевая, просверлил мне «по ошибке» кости обеих ног, воткнул стержни, повесил шестикилограммовые гири. Лишь на вторые сутки заведующий отделением (после ходатайств мужа и наших друзей) проверил рентгеновские снимки и отпустил меня домой - вместе с соседкой по палате, тоже по ошибке попавшей «на вытяжение». Вскоре местная газета опубликовала мои впечатления, Немкиным заинтересовался прокурор, но... мне он показался достойным жалости. Только оказавшись на инвалидности с едва фурычащим сердцем, я начала понимать, что выдворена из эфира

окончательно. Что даже если когда-нибудь и соберусь с силами - это будут разовые выхлопы. Сила же эфира в его постоянном и ровном дыхании.

Конечно, у меня отобрали мой старый «Репортер-6», студия получила новые, «седьмые». Мой, говорят, списали. От него остался зимний стеганный чехол, сшитый свежесваренной, и кульки, набитые кассетами. В них звуки времени, голоса, которые расскажут моим внукам, что в наш железный век мы умели верить, надеяться и любить.

ХРИСТИНА

1985 год для меня - рубеж. Второй звонок. Первый прозвенел в 74-м, когда «поехали» почки. Теперь уж чуть не померла, увели на инвалидность. Бог в Церковь звал, а я пока не слышала... Но на самом пороге успела съездить в Алапаевск, к покойной Христине.

...Когда-то Христина Денисовна сказочной бабушкой выходила на это крыльцо, кланяясь, скоморошничая: «Проходите все, кто любит в куклы играть!» А сейчас, три года спустя после пожара, кто не знал - и не догадался бы, что здесь было крыльцо. На обугленных столбах вздрагивали на ветру какие-то клочья, вроде бы тряпичные. Глухой провал в кирпичном крошеве вызвал расплывчатую догадку, что здесь была печь. И сразу - последний виденный мною образ Христины - на кровати, придвинутой к этой печи, занавешенной по всем сторонам света. Это было невыносимо - видеть ее в замкнутом пространстве... Дул ветер злой, холодный. Если бы из глаз моих хлынули слезы - он остудил бы их и высушил почти одновременно. Но слез не было.

Мои глаза остановились на придавленном снегом бугорке. Он чуть виднелся у самого порога, вернее, у того места, где были три года назад порог и дверь в дом Христины Денисовны. Я наклонилась и стала разгребать липучий снег, и поняла, что это пачки писем. Я рыла снег неспешно, несуетливо - как будто ничего сверхъестественного во всем этом и не было. Как будто само собой разумеется, что письма не сгорели в пожаре, в котором все сгорело дотла. И сами божи люди - Христина и ее глухонемой сын Александр. Как будто само собой, что эти бумажные листы переходили из рук в руки - от весны к лету, от лета к осени, от осени к зиме, от зимы к весне, и те поливали их дождями, посыпали снегами, ветром трепали... И как будто бы само собой, что эта груда являла сейчас на своей поверхности знакомый моему взору почерк. Вот тут была долгая тупая заминка: я никак не могла вспомнить, чей это почерк. А когда поняла, что мой, - не удивилась, не содрогнулась, сказала своей спутнице, что Христина подает нам знак, чтобы мы побольше напрягались во спасение Отечества. (Когда я стал «собирать» эту вещь, нашлась фотография, где Мария ласково положила голову мне на плечо...)

Ее изба стояла на улице Колногорова в Алапаевске под номером сорок. Вывернешь, бывало, зимними сумерками на ее улицу - и первым делом прикинешь, топит ли Христинушка. Ничего, конечно, толком не увидишь, однако веселее побежишь по снежку. Бежишь - и на соседей Христининых глазом косишь: у этого ставни резные, у того - крашенные, тут поленница вылезла, этот лавку у ворот держит, как положено, а тот без лавочки стоит, хозяйева, видно, нелюдимые. А может, руки не доходят...

Вот и знакомые березы - как сестры, далеко от дома не ушли - прямо под окнами. Стукнешь в расписанное морозом стекло и замрешь в сладком предчувствии. Так, как радовалась Христина, не радовался и ребенок: увидит тебя, и уж слышно, как хлопают двери - одна (из избы), другая (из сеней), и уже сыплются с крылечка ласковые слова да причитания. Открыла ворота, обхватила, ткнувшись лицом куда-то пониже плеча, и сразу доложила: «Я новый ковер изладила - называется «В мире животных». Шибко ндравится». И поведет в свой диковинный дом, колдуя словами. И обязательно запутается в одеяле на двери и напустит холоду.

А по теплу всё по-другому. Ворота не заперты, дернешь шнурочек - поднимется крючочек. Ворота хлопнут, и, пока заглядишься на георгины под окнами, - она уже на крыльце. Вот летом-то она и баловалась: проходите все, кто любит в куклы играть. Но уж и ты ей подыграй: не вздумай мимо цветов пройти, стой, охай, ахай, руками всплескивай, пока не заслушается и не подытожит наконец небрежно: «Георгин-от совсем с ума сошел - выше дома полез, ну его!» Вот теперь можно подниматься в дом.

Думаю, каждый помнит замиранием сердца сопровождаемое чувство из детства: предвкушение сказки. Чувство это особенно разбирало в сенях, где встречал меня знакомый тигр - кот ученый! - пристроченный к спинке старого дивана. Ковер был давнишний, уже и отгоревший, и за эту поблеклость выселенный Христиной в сенки. Но к старости суть вещей не меняется. Вот и тигр этого характера своего не сменил, а даже, пожалуй, смягчил напускную свирепость.

Он напоминал мне моего свекра. Была у Ивана Трофимовича манера: сведет брови, лицо сделает всмятку - как будто ему тухлое яйцо в нос сунули, - прорычит, к примеру: «Ма-ать! Ну где ты там?!» (это если сыны, снохи, внуки, внучки уже, допустим, распределились за праздничным столом, а мать, то есть моя свежесваренная, задерживается на кухне, обихаживает пирог после духовки, как после бани, - укутывает и устраивает «отдыхать»). На этом вся его свирепость и кончалась, и среднестатистическая судьба чудом уцелевшего потомка вятских крестьян и ремесленников не ожесточила его дальше вот этих смешных, по-детски беспомощных тигриных рыков.

...Поздоровуюсь с тигром - и в сказку! Да нет же, сначала в присказку, все как положено, потому что чудеса, которые начинались с порога Христининой избы, только предвещали настоящее чудо, возникающее после, раскрывающее себя со всей художественной мощью лишь в горнице. А присказка начиналась с ковра «Родина моя», который неизменно висел в «прихожей». Этот ковер был почему-то совсем маленьким - если сравнивать с другими. Христина Денисовна любила достаточно раздольные полотна, а этот, самый «привиле-

гированный», неснимаемый, сделала маленьким. И я хороша - спросила бы ее: отчего так? - нет, не спросила. И теперь вот гадаю: поди-ка так и задумывался он неснимаемым, именно для этого узкого простенка шитым, чтобы всегда перед глазами - в избу лиходишь, у печки ли лежишь. Хотя лежала Христина мало. Пока не оставили силы, все строчила свои матерчатые поэмы у маленького оконца, возле которого стоял ее безотказный конь - старинная швейная машинка. Они были единым целым, вместе уносились в сказочные дали - прошлые, настоящие и будущие. И кто знает, может быть «Родина моя», в которую, как в зеркало, гляделась каждый день художница, и давала ей силы до последних дней.

Чей промысел - магнитная запись? По чьему наущению издалил ее человек? Почему нехорошо морозит меня, когда, соединив себя электрошнуром с Прошлым, слышу земной голос Христины: «Этот ковер зову «Родина моя», в деревне Кутеневой я родилась. Это река Мугай, слышали, наверное? Там птицы много гнездились, а тут луг был, люди собирались. Знаете, что такое луг? Гулянье! Вот этот мужчина, его Гусь прозвали, он рыбу ловил здорово. Так вот я его тут на память посадила, этого Гуся. А там большущий дуб стоял, на лугу-то.... А по реке-то все цветы, цветы, цветы растут - все хорошее! И вот эта Империя вся - она лезет ко мне, мне надо что-нибудь да сделать старинное! Вы меня извините, не слушайте меня (плачет)...»

В своей покосившейся избушке Христина сфокусировала богатства Империи, которых нам, страждущим, хватило бы не на одно поколение. Она не опускалась до скаредного перечисления сокровищ, но, комментируя одну из несомненных вершин своего творчества, не упомянула главенствующий алмаз - белого в яблоках коня. Почему? Не слышу ответа, не могу пробиться, в ушах - только шелест газетных страниц о раскрестьянивании, расказачивании. И в шелесте этом - не прорисованные, не ясные, бесшумно мчащиеся кони...

Христине жаловаться бы на горькую судьбу: семью просеяли через раскулачивание, потом война, потом потеря сына - «в тридцать шесть лет сынок лег в землячку», вечная нищета (23 рубля пенсия!). Да что говорить?! Землю бы поливать слезами. Она и поливала. Только поливает слезами - а цветы растут. Что за притча такая? А все та же самая: «русская леность» да талант. «У меня эта зараза с малых лет, я не могу никуда ни идти, ни ехать - мне надо делать что-то, каждый день я что-нибудь да пошарапаю: то плетешки плету, то шиваю, то рисую...»

Но войдем наконец в самую сказку. С точки зрения искусствоведа, Христинину горницу, бесспорно, следует величать храмом искусства. Вообразите: открываются две голубые дверные створки, и ты, усталый путник, намотавшийся по дорогам жизни, вдруг воспаряешь в пределы такой чистоты и света, что тут же, прямо на пороге, к тебе начинает возвращаться готовность с любовью и радостью продолжать свой земной путь. Это ли не исполнение назначения высокого искусства? Однако у проницательных профессионалов попрошу высокого соизволения по-прежнему называть мир народной художницы просто сказкой. Простое слово как-то и в разговоре легче поворачивать...

Итак, терем Христины Денисовны был обставлен следующим образом. Слева, между дверями и окном, в простенке, стояла горка с посудой. Посуда была наполовину казенная (так Христина называла все магазинное), наполовину самодельная, расписанная красками и украшенная золотинками. Казенная стояла на средней, самой видимой полке и имела, как я понимаю, более высокую в глазах Христины художественную ценность, чем самоделки наверху и внизу. Правда, одной бумажной сухарнице все же было позволено находиться среди этой «роскоши», в ней всегда лежали какие-нибудь печенюшки да крендельки. Роскошь, понятное дело, была копеечная - простое стекло, даже не «под хрусталь». На верхней полке стояли собственного приготовления контейнеры для круп, на нижней - цветистая глиняная и картонная посуда. Полочки были устланы резными бумажными салфетками, к которым у Христины была своя страсть. По моим наблюдениям, она в принципе не переносила белого листа, и даже письма иногда писала на бумажных салфеточках, и мне приходилось вертеть эти салфеточки так и эдак, чтобы распутать ниточку ее детского почерка, спотыкающуюся среди веселых узоров.

Все это богатство в горке охраняли прославленные конькобежцы Роднина и Зайцев в творческом дуэте с какой-то восточногерманской парой. Фамилию иностранцев Христина не могла воспроизвести и называла их просто «Пуф-Пуф», добавляя при этом вопросительно: «Поди не обидятся?»

Тут же придется забежать вперед и сказать о том, что изба Христины Денисовны была еще и суверенной территорией некоего кукольного народа. Всесильная художница виртуозно пользовалась телящиком, умудряясь вытянуть из него редкие зерна среди гор шелухи. «Это у меня Анна Карелина со своей работой, со своей семьей», - вздыхала она. Она и осуждала Анну за измену мужу, и жалела ее, и, желая исправить положение - снять с Анниной души муки совести, которые, по ее понятиям, должны были терзать Каренину, усадила их всех вместе: Алексея Александровича, Анну и Сережу. Вронского же загнала на коня и оставила в стороне.

Она и Аксинью шолоховскую судила строго: «Я пока смотрела кино и все на нее злилась: мужа в армию проводила, а сама свои дела устраивала». Однако сшила ее красавицей; видно, оставила все-таки в сердце своем место для снисхождения.

Кого только не прописывала Христина Денисовна в своей избе: «Вот куды вы, девки, попали, беда! Это у меня штангист, фамилию-то забыла, он ведь штангу поднимает знаешь сколько? Двести пятьдесят килограммов! Какой дядька! Как мне его не сделать, правда? Глина-то ведь есть - давай лепить!» «Гагарин, бедный мальчик... Ну я уж его так сделала - на память чтобы, и шью да плачу - тебе надо еще летать, а ты, бедный, в землячке лежишь».

И все же главные кукольные ее вершины - те, что пришли к ней из детства. В сценах крестьянской жизни Чупракова воссоздала дореволюционную деревенскую жизнь, всю, до мелочей. Все праздники и все крестьянские работы, которые были ее кровным делом, пока их большую семью не распылили, не растрясли в жестоком раскулачивании.

Сейчас, когда я вижу этот Христинин народ, промыслом Божиим сохраненный и переселенный Иваном Даниловичем Коробовым в деревянную часовенку Нижнесинячихинского музея, я слышу чей-то приглушенный голос: «И пойдут праведники в жизнь вечную». Мне страшно прикоснуться к витринному стеклу, я боюсь потревожить этот безвинный тихий народ - идущий за плугом, возводящий, точно храмы, пахучие травяные зароды в знойный сенокос, пастушьим рожком возвещающий день прошедший, колокольным звоном осыпающий землю.

...В Христининой горнице между южными окошками, которые выходили во двор, стоял комод. На его белой поверхности, исстроченной традиционным ришелье, был вечный праздник. В рябиновых и яблоневых кущах (Христина переводила в них любую тряпичную зелень, тщательно вырезая каждый листочек и с помощью крахмала добиваясь впечатления неувядаемости) свистали соловьи, прогуливались разнаряженные девицы в шелках и бусах. Парни были и городские, в черных костюмах да при галстуках, и деревенские - в косоворотках да сапогах. И те, и другие с непрерывными гармошками. Гармошка и всеобщее гулянье таили, надо полагать, в себе идею собирания жизнелюбивых сил, а звери и птицы, представляющие на Христинином комодке все широты, еще лучше укрепляли эту идею.

На круглом столе, который стоял в центре западной, уличной стороны, была кремлевская башня. Скорее всего, она и замышлялась идеологическим центром горницы, она и в самом деле первой бросалась в глаза прямо с порога. Башню охраняли два солдата с винтовками, и строгие силуэты елок за их плечами подчеркивали почетность и ответственность службы. «Мир они тут у меня охраняют, день и ночь в карауле, день и ночь. Не будет мира - куды все денемся?» - говорила Христина, и вопросительный ее взгляд из-под очков цеплял пришедшего: согласен или есть другое мнение?

В углу между комодом и столом, был телевизор - почти единственный источник, связывающий Христину Денисовну с внешним миром в последние годы. Она очень любила русскую классику и, как те солдаты у башни, стояла на страже, пыталась ее сохранить. Отношения с телеэкраном, помимо ее воли, были похожи на отношения лесозащитной полосы с суховеями - в самых изысканных новациях, паразитирующих на классике, угадывала она телестрапню, останавливала ее наступление своим творчеством, создавая незамутненные образы героев Пушкина, Толстого, Шолохова. Она написала портреты писателей да развесила в горнице на почетных, хорошо обозримых простенках. Рядом с близкими родственниками.

- Христина Денисовна, а это Пушкин?

- Пушкин. Мало, что ли, походит? Ну, я сама понимаю, надо бы пошире лицо сделать...

- Что-то грустный он здесь, почему?

- А почему - кто его знает (вздыхает). Видишь, он ведь на Красных полянах жил тогда... Осень - листья-те ишь опадают, опали уж, ой, батюшки!

- Ой, портрет Толстого!

- Так я вам говорю: женщины хохотали над ём: «А борода-то, девка, гляди-ка, борода-то!» Так они сроду, что ли, Толстого не видали?... Это тоже Толстой, в молодости только. Мне вот надо Некрасова где-то взять, я бы его еще нарисовала, пока сил маленько, скоро уж отрисуюсь... Ой, Господи, ох... Так вот посмотрю на картинки-те, они у меня почему-то получаются (смеется). Сама не знаю, как они получаются. Очень трудно, конечно.

- Христина Денисовна, это шедевр!

- Я первый раз слышу это слово - что такое?

- Шедевр - это значит самое лучшее!

- Ма-а-атушки, да вы же мне говорили, что ты художник, а я вам отвечала, что я любитель.

- Только настоящий художник может так нарисовать. Вы же, Христина Денисовна, сами чувствуете в душе, что вы художник, правда?

- Вон «В мире животных»... Ковер этот, как умру - мне с собой его положьте, так ндравится, вот так! Потому что я и животных-то люблю, я и людей-то люблю, Господи, и надо мне, чтобы люди-те мои шарашки видели, вот охота, чтобы видели люди - вот дурак какой, а?

Лишь однажды я видела Христину в гневе. Случай этот льстит моему самолюбию, и поэтому негоже бы его публично вспоминать, если бы не взятое обязательство рассказать о народном мастере все, что мне ведомо.

Я крепко захворала, об этом знали в Алапаевске, поскольку связь не прерывалась. И вдруг получаю посылочку, подписанную знакомыми каракулями. Распечатываю и столбенею: Христина Денисовна сделала для меня коврик «Райский сад». Описывать его красоту и гармонию не берусь, убеждена, что это никому не подвластно - ни дилетанту, ни искусствоведа, ибо кто может описать состояние души? Что касается сюжета - здесь слова поискать можно. На зеленом фоне, заменившем традиционный для Христины черный, - арка, райские врата. Арка прорисована четырьмя линиями. За пределами сада - цветное сияние; в самом саду - диковинные деревья с розовыми и сиреневыми плодами. И дерево, усыпанное до самой вершины белыми ромашками; домик, в который так и манит заглянуть. На замшелом пне из настоящего мха сидит медведь и лакомится малиной, и она сама норовит ему угодить в пасть тяжелыми сладкими ягодами. В саду стол, возле

него - стульчик. Стол не пустой, на нем чайник и две чашечки. Наверное, животные, похожие то ли на собачек, то ли на овечек, гуляя среди сиреневых деревьев, все-таки забредут сюда на чашку чаю - на берег речки, которая тут же и течет, вмещая двух рыбок с блестящими глазками и растрепанными плавничками, двух уток с решительными клювами и красными лапками и неизменного рыбачка на лодочке - розовощекого и в шляпе.

Получив такой царский подарок, я продержала его дома до выздоровления, которое пошло вдруг полным ходом, а выздоровев, отправилась в Алапаевск, чтобы поблагодарить Христину Денисовну, но все-таки заявить ей в присутствии Ивана Даниловича, что не чувствую за собой морального права позволить шедеврам народного искусства оседать у себя в доме. Христина выслушала мою речь и вдруг неожиданно для нас сильно пристукнула сухой рукой по столу, взглянула обиженно и даже зло: «В музей не отдашь! Я его тебе сделала, когда ты болела, и в церкви освятила!» Я поняла, что разговор окончен, и Степан Гаврилович замахал на меня руками, призывая уходить с опасной тропы.

Пусть не подумают, что я одна была такая - меченая Христининой любовью. Через Колногорова 40 прошли сотни людей, и среди них Христина постоянно находила объекты своего особого расположения. И каждый раз, не откладывая в долгий ящик, принималась строчить ковры, расписывать свои фанерки, шить куклы...

В прошлом году я сделала на телевидении передачу о Чупраковой - великой художнице, чье имя еще не знает по-настоящему народ, как не знает он сотни и тысячи имен, выношенных в незамутненных его глубинах. Передача называется «Успеть рассказать...» Надеюсь, сумею дописать о Христине Денисовне то, что не дописано. Надеюсь многое успеть... Многоликость современной журналистики несколько пугает, но не настолько, чтобы откачнуться и не иметь с ней дела вообще. Сама-то когда поумнела? Достаточно ли? Сильно сомневаюсь... От этого весело. Значит, еще есть чем заняться в этой такой долгой и такой короткой жизни.

ПЕСНЯ

Мария дописала последнее предложение весной 92-го: «Значит, еще есть чем заняться в этой такой долгой и такой короткой жизни». Ее уже точил рак, но она еще не знала. Узнала летом, и мы с ней в июле съездили в Верхотурье, в Свято-Николаевский монастырь. Он еще только вставал из руин. Молились в церкви, с ребятишками-паломниками убрали мусор возле храма, бродили по городу. Монах Ксенофонт, приехавший в здешний химвесхоз за живицей для ладана, читал нам наизусть (мы стояли на автобусной остановке)... читал наизусть апостольские слова о любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла...» Мы с ним познакомились еще в монастыре. Мы еще не знали, что любовь побеждает смерть. Смерть угрожала разлукой, а мы не знали...

Мы еще ругались и мирились, еще раздражались и мирились, еще сердились и мирились, как будто земной наш путь (рука об руку) был по-прежнему бесконечным. Впрочем, это только про меня. Маше врачи каркали смерть уже в конце 70-х, и с тех пор она всегда чувствовала ее дыхание. Однажды даже видела за окном.

Но... Ее время было таким плотным, что 55 лет ее жизни мне бы не прожить и в 255. В 1987 году она отправилась в Москву - вместе с Леной Сапоговой и Михаилом Ивановичем Вилисовым, гениальным певцом и гармонистом из Шамарят, исчезнувших с лица земли. Мне про эту поездку не рассказать, пусть уж лучше сама...

«Он шел по ГУМу - потертое пальто и фуражка - как воин-освободитель. Гумовские своды безоговорочно принимали натиск его гармошки, толпа расступилась - сначала изумленная, и уже через минуту счастливая. Какой-то мелкий старик бежал впереди и злобно приговаривал: «Безобразие!! У нас так не принято!» Вилисов широко улыбался ему.

Люди дезертировали из очередей, лепились на перила, махали шапками, а он шел себе - как будто не в каменной столице действие происходит, а в родных его Шамарятах. Только не в нынешних - где в живых остался один его дом, а другие и живые не живы, и мертвые не мертвы, стоят под крестами заколоченных досок, - а в тех совсем недавних и не забытых, когда в праздники и не столько еще народу собиралось, и не одна гармошка нахальничала.

Ох, нам хотели запретить
По нашей улице ходить,
Ой да стены каменны пробьем,
По нашей улице пройдем!

«Пройдем, дядя Миша!» - в восторге поддакивал парень с новенькими кроссовками под мышкой. Он шел за нами с первой частушки и уже уловил, что Вилисова зовут Михаил Иванович.

«Я - Югославия», - крупный, презентабельный дядя счел необходимым представиться Михаилу Ивановичу. Он довольно легко колыхнулся и радостно потоптался в такт гармошке. Тут уж не выдержала Сапогова. Пыль из-под каблучков - вошла в круг, возникший как по команде оргкомитета, - и предъявила Вилисову претензию:

Гармонист, гармонист,
Хорошо играет.
Почему вы, гармонист,
С нами не гуляете?
- Эх, милашка моя,

Приуважь-ка меня,
Посередке алой лентой
Опояшь-ка меня, -
быстренько сдался в плен Михаил Иванович.
- На гармошку новую
Накину шаль пуховую.
Если я не чернوبرова -
Ищи чернوبرовую, -
наступала Сапогова.
- Неужели, Карюшко,
От столбика отвяжешься.
Неужели, милочка,
Меня любить откажешься, -

подливал масла в огонь гармонист, не забывая при этом и гумовский интерес: в круг проталкивались новомодные москвички, и головушку Михаила Ивановича, видать, запокруживало. Дугой возникла крепостная стена: мужчины стояли, отрешенно прижав покупки. Сапогова била дробь, коротко и легонько вскрикивая на проигрыше: «Ах! Ах!»

- Что-то голосу не стало
У меня, у молодой, -
Напоил меня залеточка
Холодной водой.

В гумовском воздухе, густо насыщенном дефицитной торговлей, колыхнулась слабая тень русской ярмарки. У Михаила Ивановича объявился соперник. Какой-то мужичок - явно командированный - с кличем «Во дает столица!» пошел впрысядку. Но Сапогова, словно опомнившись, однако не сбавляя дробь, уже шла к боковому выходу, в проулок Сапунова. Вилисов на ходу делился своими переживаниями:

- Эх, сад-виноград, отходили в рошшу...

Как в воду глядел. Только укоренились в проулке - милиционер под козырёк: «Ваши документы». Совсем как в лучшие времена. И как из-под земли тот мелкий старик - глаза навывкате: «Я предупреждал!» Что ж, документы - так документы. Я милиционеру шепотом: «Это народная артистка России Елена Андреевна Сапогова, а это...» Не слышит: «Пройдемте». Толпа загудела. Тогда Михаил Иванович, тонкий политик, взобрался повыше - благо под ноги попал гранитный брусок - и сказал: «Значит так, уважаемые москвичи и гости столицы. Если народ скажет, что русская гармошка ему не нужна, - ведите меня в кутузку. А если...»

Это было в Дни Москвы. Мы возвращались с последними электричками, Михаил Иванович падал в подушки, и ночью у него носом шла кровь. От переутомления. Вставали в шесть утра, чтобы выйти к первым пассажирам метро - проводить их на работу. Люди сияли, а то и плакали, пытали Михаила Ивановича: «Откуда ты такой взялся?» И он с места в карьер начинал свою радостную пропаганду: «Нас целая Россия таких-то. Только мы сами себя подзабыли малость, подрастеряли. А теперь снова все вместе собираемся».

Он привык один в поле... Впервые увидела его в екатеринбургском ДК - в заснеженных валенках, в ушанке, с рюкзаком, в котором ехала гармошка. В клубной комнате собралась молодежь, слушали его несколько часов. Я, стараясь не ударить лицом в грязь, задеревенелой рукой водила метровый штыр с микрофоном, который, как известно, способен увековечить мысли, голос, смех, дыхание и даже детское швыркание носом, когда он, к примеру, вскидывался: «Ну чо? Ишо мало? Ну давайте, я буду петь вам женские частушки,- как будто бы я влюбленная женщина», - и, конечно, восторженный хохот слушателей, и, конечно, сами частушки, неслышанно чистые, протяжные.

Ой да кудреватая береза
Листьями оделася.
Ой да нагляделись мои глазки
На кого хотелося...

- Вот слышу: мужик российский всю жизнь пил. Вранье! Может, городской сапожник... Не пили крестьяне-то, даже до войны не пили у нас мужики. На моей памяти: в гости за двадцать верст едут - вот такие наперстки были маленькие, туда десять-двадцать граммов не входило - губы замочат, пробку заткнут да в шкаф поставят. Все! Даже в голове нет, что надо там рюмочку еще налить. У нас в доме чекушка была на год. Я ведь не вру вам... И вообще недопустимо было, чтобы женщина пила, с рождения и до смерти женщине ни одной капли не разрешалось. Чай действительно пили. Ну а попили, что делать? - песни петь! Таланты-то... разве мало их. Песни сочиняли - вся Россия пела...

Дина Наумовна сильно морщилась, когда подписывала передачу о Вилисове. Мы торговались, как на базаре, за каждое слово.

- Прежде мы себе дом строили сами. Объявляли «помочь» - собирались мужики все вместе и разом собирали сруб. Потом этого не стало... Метод простой: увеличили количество выходов. Раньше их было девять в год на каждого крестьянина. Эти 90 обязательных выходов на колхозные поля всех удовлетворяли: и землю мы пахали, и убирали урожай. Представьте, сколько остается времени, чтобы строить дом, водить хоровод, справлять праздники. Потом ввели двести семьдесят выходов. И совсем не осталось времени даже на то, чтобы сделать свою хозяйственную работу: там навоз откинуть, сена и дров привезти. Сначала работали

ночами, днем - в колхозе. А потом народ выдохся, ночами не стали работать. Поняли, что захлебнулись. И построить дом возможности не стало. Я бы пошел соседу помочь, но запишут прогул. Весь год у меня трудовой пропадет. Исчезла возможность построить собственное гнездо: каждая пташка, мышь, зверь строят себе гнездо, и нет в природе такого, чтобы кто помешал. Даже рябчик сидит на гнезде - лиса проходит мимо. Я охотник всю жизнь - не было такого случая, чтобы хищник во время гнездования мог гнездо порушить: запах уничтожает природой, такое у нее самосохранение. А человек, высшее разумное существо, потерял возможность создать себе гнездо. Вы пройдите в деревне Ярино - в каких домах жили крестьяне, какие наличники резные, ворота как отделаны! Я сколько сил положил - хлопотал через колхоз, чтобы снова строить крестьянские дома. Не типовые, а крестьянские. Во-первых, эти дома, как люди, - все разные. Во-вторых, ведь если колхозник построил сам - государство это не заденет ни на грош, ни на копейку. А сейчас построить типовую квартиру - надо минимум семь тысяч. А через два-три года вся эта халтура, которую строят шабашники, начинает гнить. Летят миллиарды государственных денег по всей нашей России, чтобы дать шабашникам обогатиться. А все эти деньги могли бы остаться у государства в казне.

Ой, запряги, братишка, Рыжку,
Ты, сестра, подай гармонь,
Ой да я в последний раз проеду
По деревеньке родной...

Один этот тридцатиминутный прорыв Вилисова в эфир ухнул - как не было. Но на студию хлынули письма. Да что на студию - не сомневающиеся в торжестве истины, добра и красоты соотечественники строчили прямо на главпочтамт: «Гармонисту Вилисову». И сотрудники главпочтамта, спасибо им, не стали наворачивать волокиту. Разыскали меня, взяли адрес Михаила Ивановича и затруднили себя пересылкой писем. Давно уж - с тех пор, как «раскопали» его пермские фольклористы, и он, оглушенный неведомым ему вниманием, кинулся в объятия фольклорных фестивалей, - изрядно добавилось работы на почтовом отделении Осинцево в Кишертском районе. Аж из Америки, из Индии идут Вилисову письма: феномен «непотопляемости» русской гармошки стал предметом изучения зарубежных фольклористов. Однако... Вилисов пишет: «Читаю письмо Клавдии Александровны Кунцевой, а сам дрожу от волнения. О России все ее чувства. Ради одного такого письма стоит петь! Мне некоторые культурные начальники у нас в районе говорят: надо созреть до профессионализма, тогда и выступать. - А если не созрею? - спрашиваю. - Так и помалкивать?»

Из письма Рябухина Григория Ивановича (деревня Большая Лавровка Полевского района): «Вилисова слушали на одном дыхании, смеялись, хотелось плясать от радости, и в то же время слезы накапывались на глаза - просто так такое не бывает, поверьте мне. Я даже на один дух написал новую песню. Сейчас перед народом поставлен давно рвавшийся вопрос: или правда жизни и рассвет, или скатываемся по наклонной лжи и неразберихи. Главное в перестройке - человек. Какой он будет через годы, такой будет и высота нашего всеобщего подъема. Для этого надо восстановить в человеке стыд, совесть, честь, разыскать душу, почистить ее, отогреть, чтобы человек снова мог различать добро и зло, радоваться, а не быть живым роботом, как сказал Михаил Иванович».

...Вилисов никогда не изменял своей земле, никакие силы не могли вытолкнуть его из деревни, где жили его отец, дед, прадед. Михаил Иванович поднимает пятерых: два сына уже почти на ногах да три малые дочери. Из двух некогда сомкнутых деревень - Шамарят да Гарей - одна совсем погибла бы, если бы не Вилисов. Взял да поставил новый дом - пусть люди видят, что и один в поле воин.

Пропагандистских курсов Михаил Иванович не кончал, у него всего три класса. Вся его «агитация и пропаганда» - сущая самодеятельность.

- Причины варварского отношения к природе опять упираются в казнокрадство. Вот покосы: завалены чащей, сучками, обрубочными остатками. Пятнадцать лет на каждом собрании говорят об этом колхозники, но вопрос не решается. Приняты меры не в защиту природы, а в ущемление крестьян. Местному населению, крестьянам запретили вывозку леса даже и зимой. Сначала летом, а теперь и зимой. Будут судить, если я стану возить лес хлыстами. И чтобы рубили мы только в зимнее время. Из века в век крестьянин рубил лес весной или осенью, но зимой... Ну подумайте - по грудь пахать снег, в лесу же полуметровый снег! Это же физическое уничтожение крестьян - нечем отапливать дом. Крестьянин бежит из деревни, форменно бежит! И никто не отвечает в газетах, - мы с мужиками сколь бумаги извели, - почему запрещено только местному населению рубить лес. Шабашники приезжают - рубят, вагонами отправляют на юг. Идет взяточничество в крупнейших масштабах. И ни один казнокрад, ни один уничтожитель природы у нас в районе не был до сих пор привлечен к суду.

Посмотрите, с какой хищнической хваткой уничтожаются реки. Это же мертвая вода: все фермы, гаражи, предприятия лепят к речкам. Я у нас над рекой три года стрекозу искал. Негде жить животному миру. Ведь и войны никакой не надо, это понятно нам, мужикам. И все ради желудка и сиюминутных мод. Человек теперь не хозяин на земле, а пришелец какой-то разовый...

Нужно реабилитировать трудового русского мужика. Многих сейчас реабилитируют, а его пока нет. Я считаю, что до войны шла политика уничтожения разумного русского человека под видом борьбы с кулачеством. Кулак - это наглый, бессовестный человек... А не тот, кто умел себе мельницу построить. Вот, между прочим, сейчас появился настоящий кулак в деревне. Это, например, тракторист, не говоря там о бригадире или прокуроре. Тракторист возит мне сено или дрова, а я должен его весь год водкой поить. Да что я... Старушки безлошадные вынуждены покупать ему эту водку, брагу варить. Вот где настоящий кулак.

Ну, не все, конечно... Есть еще истинная русская душа. Вон тракторист Кинев сам лес трелевал, сам вывез без меня, а когда я пришел рассчитываться, он говорит: я поболе твоего заробливаю, у тебя дети еще, ты деньги заворачивай туда. Это наше, русское... Все-таки сколько есть погани, столько и добра...

Я вырос в семье, где мы, дети, старшим не имели права перечить. Так воспитывались все поколения до нас. Факты подтверждают, что не было у нас в деревне поганных крестьян. Все блюли и совесть и чистоту. Не дворянство, а именно это безграмотное крестьянство было совестью государства Российского. Про другие нации я не знаю, я говорю про русских. А сейчас любой пацаненок может тебя «послать», он не считается ни с возрастом, ни с опытом жизни. Его даже трудно убедить, что вот это поганое, а это - светлое.

Письмо Вилисова: «Здравствуйте всей семьей! Вот время выбрал несколько минут, садили картошку, тракторист вспахал, да дождь линул, земля сырая, нельзя топтать. В эти дни хожу в лес по чагу - березовый гриб - для сдачи в аптеку. Один рубль тридцать копеек за килограмм. Комаров - тучи, а клещей вчера снял с себя сто две штуки, а сегодня только тридцать шесть. Потому что после дождей. Люди боятся сейчас в лес ходить из-за клещей, а я всю жизнь на них вообще не обращаю внимания. Охота с центнер чаги собирать: зарплата за май. (Позднее М.И. все-таки переболел энцефалитом...)»

Новосибирские газеты вознесли меня на такой пьедестал, что мне и во сне не снилось. Читаю, а у самого слезы. В апреле ходил по МТФ с гармонью, чаепитие организовал с доярками. Про бюрократические метастазы тоже поговорили. Людям нравится, но не нравится начальству. Одна радость: начальство - не народ, а с мужиками у меня общий язык. Еле выбил зарплату за этот месяц. Не знаю, на сколько еще здоровья хватит, и, сами знаете, жена инвалид второй группы. Читаю книжку, где пахнет русской довоенной деревней, а во что она превратилась, причины и прочее - надо и мне описать как очевидцу. Тут ты, Маша, тысячу раз права.

Низко кланяюсь всем и «Отечеству». Михаил Вилисов».

Вилисова так много, такой он разный... Вдруг скажет: «Слушай, стихи написал», - и прочитает с по-темневшим лицом:

Ни дом срубить, ни песню спеть
Свою родную русскую...
Душе такое как стерпеть?..
Иду тропой узкою,
Вокруг болото - грязь да вонь!
Лишь небо далью синею.
Там, слышу, ржет крестьянский конь
Набатом над Россиею!

Помолчит и вдруг, точно путник, который знает, как расхолаживает пауза - минута слабости, - возьмет балалайку, обнимет черными натруженными пальцами и заведет протяжные любовные частушки, о каких ни в жизнь понятия нам не давали наши обожаемые средства массовой дезинформации. Сами, поди-кось, не слыхивали...

Ох, не садися, милый, рядом,
Плечико о плечи-и-ко,
Ох, изныло-изболело
По тебе сердечи-и-ко...

Бесконечная нежная вязь цепляется за сердце, и ты уносишь эти ласковые звуки, эти дивные стихи с собой - в трамваи, в магазинные очереди, к подножью каменных ульев...

Голос Вилисова - это не только правда-матка, высказанная в лицо человеку, преступившему законы крестьянской (христианской) нравственности. Его голос - это правда народного искусства, противостоящая бездушным тенденциям современной поп-культуры. Этот голос никогда не умолкал. Только раньше нам казалось, будто жизнь - это стремительная смена форм. Кадриль под гармошку сменяется вальсом, потом приходит фокстрот, твист, рок, тяжелый рок... А Вилисов остается где-то там - чуть ли не в ретроградном семнадцатом столетии.

Но рок стал наконец настолько тяжелым, что захотелось сбросить его с плеч и разогнуться. Его разнуданная чувственность - это лишь самый сильный по звуку сигнал нашей сегодняшней нравственной неустроенности. Нам захотелось принять очищение... И тут мы услышали далекий голос, услышали нашу собственную тысячелетнюю песню.

Вилисов поет нам из будущего. Из нашего будущего, где все мы наконец-то осознали, что народное творчество - это не просто красивая игрушка (поиграл да бросил). Старая крестьянская песня была частью огромной культуры, каплей в великом потоке религиозных, нравственных, интеллектуальных, музыкальных, хозяйственных традиций. Именно эти давние ценности, даже если мы их не видим на поверхности, не осознаем и вроде бы не помним, остались где-то в глубинах подсознания и не дают разнуданному хаосу окончательно смять наши души, нашу личную и народную совесть, нашу семью и нашу государственность. Именно эти ценности мешают нам, слава Богу, стать сиюминутными призрачными существами (разовыми пришельцами, как говорит Михаил Иванович), сошедшими в этот мир лишь за кормом и пойлом.

Только благодаря им мы по сю пору не потеряли способность слушать и слышать Вилисова. Значит, не все еще в нас сломалось, и душа по-прежнему взыскует истинного и настоящего».

ПАССИОНАРИЯ?

Вот захотелось мне загнать Марию в какую-то классификацию, какой-то приклеить к ней ярлык. Ограничить её рамками, хотя стилем её жизни был всегда выход за пределы всех и всяческих рассудочных схем

и рамок. Перебирал всевозможные слова, пока не остановился на одном: пассионарность. Это Лев Николаевич Гумилёв обратил внимание на таких людей, пассионариев. Смотрите, как красиво: пассионарность, или импульс к исключительной активности... способность к сверхнапряжению во имя поставленной цели... Да ведь можно и прямо цитировать:

«...Поведенческий импульс, направленный против инстинкта личного или видового самосохранения... Пассионарность отдельного человека сопрягается с любыми способностями: высокими, малыми, средними; она не зависит от внешних воздействий, являясь чертой конституции данного человека; она не имеет отношения к этическим нормам, одинаково легко порождая подвиги и преступления, творчество и разрушение, благо и зло, исключая только равнодушие; и она не делает человека «героем», ведущим «толпу», ибо большинство пассионариев находятся именно в составе «толпы», определяя её потенциальность и степень активности... Творческое сгорание Гоголя и Достоевского, добровольный аскетизм Ньютона, надлом Врубеля и Мусоргского – это тоже примеры проявления пассионарности, ибо подвиг науки или искусства требует жертвенности, как и подвиг «прямого действия». ...К пассионариям же, хотя и меньшего напряжения, относятся безымянные строители готических соборов, древние русские зодчие, сочинители сказок и т.п., по внутреннему влечению выстрадавшие эти трудные профессии. Понятно, что к ним принадлежат и талантливые летописцы...»

Мария писала летопись эпохи («успеть рассказать», пока... пока... «доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем»). Писала не «в стол», пробивалась в эфир, в кровь раздирая лицо. Однажды к ней прямо на работу пришла мать с малолетним сыном – посмотреть, как выглядит этот человек... честный человек... который почему-то не тонет в море сумрачной лжи. Сказали: «Мы вас слушаем каждый месяц... хочется жить на земле».

Гумилёв: «Личность даже большого пассионарного напряжения не может сделать ничего, если она не находит отклика у своих соплеменников. А именно искусство является инструментом для соответствующего настроения; оно заставляет сердца биться в унисон. ...Недаром эллины чтили Гомера и Гесиода наравне с Ликургом и Солоном, а древние персы Заратустру даже предпочитали Дарию I Гистаспу. ...Поскольку не может быть поэта без читателя, учёного – без учителя и учеников, пророка – без паствы, а полководца – без офицеров и солдат, механизм развития лежит не в тех или иных персонах, а в системной целостности этноса, обладающего той или иной степенью пассионарного напряжения. ...Именно отсутствие внутренней поддержки «своих» определяет гибель этносов от немногочисленных, но пассионарных противников. «Бойся равнодушных», - сказал перед смертью писатель XX века».

Что ж, за две тысячи лет до него прозвучали слова: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих». Изблую... «Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг...»

Что же касается пассионарности... Не ею, конечно стоит село, город и этнос, но праведностью праведников: «Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу место сие. Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел: может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять».

Авраам продолжал говорить с Ним, и сказал: может быть найдётся там сорок. Он сказал: не сделаю того и ради сорока. ...Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу ещё однажды: может быть, найдётся там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти. И пошёл Господь, перестав говорить с Авраамом...»

К сожалению, в Содоме был только Лот (да и тот пришелец), давший приют Ангелам Господним, а все остальные давно стали наглыми гомосексуалистами: «Ещё не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом. И вызвали Лота, и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь, и сказал: братья мои, не делайте зла. Вот, у меня две дочери, которые не познали мужа...»

И что же? «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и все жителей городов сих», вместе с их гнусной и политически-корректной пассионарностью.

Есть сумрачная пассионарность Врубеля, изображавшего печальных демонов, и есть святая пассионарность его современника Феофана Затворника... Александр Македонский однажды заявил: «Людьми, которые переносят труды и опасности ради великой цели, сладостно жить в доблести и умирать, оставляя по себе бессмертную славу». Что ж... может и так... Однако... Наша пятилетняя Таня сказала бы Александру: «Это гордыня!»

Господь каждому из нас заповедал святость. Иначе как же в рай-то? Ведь просим: со святыми упокой... Сподобилась ли Мария? В последние свои два неподвижных месяца она обрела на страшном своём кресте терпение, кротость и любовь. Исцелилась душа... Господь ей сказал: чадо! прощаются тебе грехи твои. Да, так! Я это видел. Иеромонах Софроний когда-то написал: «Афонское монашество, в своем трезвенном недоверии человеку, держится правила Отцов: «Никого прежде конца не ублажай». Монахи говорят: «Посмотрим, как будет умирать». Мария всю жизнь вела невидимую брань и в конце концов – победила. Я

видел два её лица: потемневшее (на целые сутки), с каким идут в ад, и просветлевшее навсегда, как лик, удостоенный Рая. Мария была участницей битвы (за Русь, за Церковь, за русскую культуру), наносила удары, и потому, подобно каждому воину, нуждалась в очищении. И Бог очистил её великим очищением, давши силы его перенести. Она победила смерть.

Пассионарии, по Гумилёву, могут быть и разрушителями, и созидателями. Это как энергия урана, которая освобождается либо в свирепой бомбе, либо на мирной электрической станции... Так? Важно, в чьих руках химический элемент... или сердце человеческое – в Божественных или бесовских. «Пассионарность – это способность и стремление к изменению окружения... Импульс пассионарности бывает столь силён, что носители этого признака – пассионарии не могут заставить себя рассчитать последствия своих поступков. Это очень важное обстоятельство, указывающее, что пассионарность – атрибут не сознания, а подсознания, важный признак, выражающийся в специфике конституции нервной деятельности» (Этногенез и биосфера Земли).

«Пассионарность обладает важным свойством: она заразительна. Это значит, что люди гармоничные (а в ещё большей степени – импульсивные), оказавшись в непосредственной близости от пассионариев, начинают вести себя так, как если бы они были пассионарны. ... Два-три пассионария могут повысить боеспособность целой роты».

Угу... Если я когда-то шёл в штыковую атаку, то лишь потому, что рядом со мной шла Мария. Помяни нас, Господи, во царствии Своем... А точнее бы назвать её подвижницей. Да-да... Она же совершала и совершила подвиг – во имя спасения душ человеческих. А потом и своей души. Блаженны алчущие и жаждущие ПРАВДЫ...

В конце концов пришло понимание: ЗАЧЕМ? Зачем эта жизнь? Мы что-то должны сделать, что-то главное... что-то успеть... Должны СПАСТИ СВОИ ПАДШИЕ ДУШИ – с помощью спасительной Церкви, Святой Православной Церкви, тела Христова. А если получится ещё кому-то помочь... «Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к тебе обратятся». Мария учила своей жизнью и смертью.

Столько совпадений... В грозу второго июля, за два месяца до смерти, она в коротком сне пережила минуту – и о ней не могла рассказать словами. Я спросил: это было блаженство? Она сказала: я поняла, что скоро умру. И второго августа, в день смерти её бабушки Татьяны, над городом гремела гроза. Именно в этот день она сама приготовилась к смерти и попросила прощения у всех. А потом ушла второго сентября – в холодный осенний день. И вслед за ней второго января – моя добрая сватья Нина. И через два года второго марта – её муж Александр. В чистом поле упал лицом в снег. Я не знаю, что это значит. Просто Господь дал понять, что Он смотрит на нас? Второго февраля родилась моя внучка Наталья...

А помертная участь Марии... У кого спросить? Когда-то архимандрит Пантелеимон произнёс «Воспоминательное слово» в первую годовщину после кончины архиепископа Серафима (Соболева):

«Когда Николай Соболев перешёл на 4-й курс Академии, то инспектор-архимандрит Феофан поставил ему ребром вопрос – будет ли он монахом. Николай, считая себя по смирению недостойным монашеского подвига, очень мучился этим вопросом, не зная, какова воля Божия о нём. За разрешением своего недоумения он обратился письменно к о. Иоанну Кронштадтскому, но тот ничего не ответил на его письмо. Он спросил о том же старца Анатолия Оптинского (Потапова), но старец написал ему, что заочно не может дать ответа на его вопрос. ... В это время он читал житие св. Серафима Саровского – раскрытая книга лежала у него на столе. В грустном раздумье Николай стал ходить по комнате. Но вдруг его озарила мысль: «Какой же я неверующий! Ведь св. Серафим Саровский и сейчас жив. Он у престола Святой Троицы. Он и сейчас может разрешить все недоумения и вопросы, если мы с верою будем обращаться к нему в своих молитвах. Пойду я сейчас к столу, на котором лежит книга с жизнеописанием св. Серафима Саровского. Обращусь к нему, как к живому, упаду на колени, буду умолять его решить мой жизненный вопрос: жениться ли мне и быть священником или принять монашество?»

Так Николай и сделал. Положив земной поклон, с молитвой раскрыл книгу и прочёл то место, которое ему попало» (Архиепископ Серафим (Соболев). Православное учение о благодати).

Да вот и у меня всегда рядом святой Исаак Сирин: «И почему сначала поставил нас в этом мире, водрузил в нас любовь к долголетию в нём жизни, и внезапно похищает нас из него смертью, немалое время хранит нас в бесчувственности и неподвижности, уничтожает образ наш, рассыпает тело наше, смешивает его с землею, попускает, чтобы состав наш разрушился, истлел и исчез, и чтобы вовсе не оставалось ничего от естества человеческого; а ПОТОМ, во время, какое определил достопоклоняемую премудростию Своею, когда восхождет, воздвигнет нас в ином образе, какой Ему только известен, и введет нас в другое состояние? Сего не мы только человеки надеемся, но и сами святые ангелы, не имеющие нужды в этом мире...» (Слова подвижнические. М., 1993. С. 101). Это апрель 97-го.

А потом в мае 2000-го: «Знаешь же и сам ты, что не дела отверзают оную заключенную дверь сердца, но сердце сокрушенное и смирение души, когда препобедишь страсти смирением, а не превозношением. Ибо больной сперва смиряется и прилагает попечение о выздоровлении от своих недугов, а потом уже домогается сделаться царём; потому что чистота и душевное здравие суть царство души. ... Грешник, приносящий покаяние, получая здравие души своей, входит с Отцом в область чистого естества и царствует во славе Отца своего» (с. 255). Да-да, всё так и было.

А потом в июне: «Одержавшие победу в брани внешней – избавились и от внутреннего страха, и ничто насильственно не теснит их, не беспокоят они бранью, угрожающей им... А когда кто затворит врата градские, т.е. чувства, тогда ратует внутри и не боится находящийся в засаде вне града» (с. 288).

И ещё в декабре 2002-го: «Но оногo духовного ведения никто не может приять, если не обратится и не будет как дитя. ИБО С СЕГО ТОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОЩУЩАЕТСЯ ОНОЕ УСЛАЖДЕНИЕ НЕБЕСНЫМ ЦАРСТВОМ. О царствии небесном говорят, что оно есть духовное созерцание. И обретается оно не делами помыслов, но может быть вкушаемо по благодати. И пока не очистит себя человек, не имеет он достаточных сил и слышать о нём, потому что никто не может приобрести оногo изучением» (с. 217). Два тяжких месяца на исходе души была она дитятею. Бог даровал смирение и кротость.

И вот уж апрель 2003-го: «Как чувственным солнцем наслаждается каждый соразмерно чистоте и приемлемости силы зрения, и как от одного светильника в одном доме освещение бывает различно, хотя свет не делится на многие светения, так в будущем веке все праведные нераздельно водворяются в одной стране, но каждый в своей мере озаряется одним мысленным солнцем и по достоинству своему привлекает к себе радость и веселие, как бы из одного воздуха, от одного места, седалища, видения и образа. ...Каждый, по данной ему благодати, веселится внутренно в своей мере» (с. 311). В будущем веке все праведные водворяются в одной стране... А мы молимся: со святыми упокой...

И наконец 2 сентября 2003 года, девять лет со дня успения: «...Ум его (подвижника) в краткое время воспарит как бы на крыльях, и возвысится до услаждения Богом, скоро придет в славу Его, и по своей удобо-подвижности и лёгкости плавает в ведении, превышающем человеческую мысль» (с. 357).

Со святыми упокой, Христе, жёнушку мою Марию... Я знаю лишь о святости последних её месяцев, но вовсе даже и не помышляю о том, чтобы её прославить на этих страницах. Я лишь хочу, чтобы люди помнили её, поминали и молились за неё, потому что сам через день-другой уйду – и кто знает, получу ли там в дар возможность молиться. Впрочем, на её могиле теперь – свечи. Может, кому-то она помогает...

Недавно включил православное радио и услышал слова священника: «Мы себя экономим, жалеем себя тратить... А когда человек в благодати, то себя не щадит – в любви, в милосердии». Мария себя никогда не жалела, не экономила, нет. Я не знаю более щедрого человека. Сторела, как свеча, поставленная у Христова Распятия...

Что-то ещё добавить? Вот она опять остановила время, и можно заглянуть в прошлое. Однажды (в конце 70-х или уже в 1980 году) она поехала туда, куда зимой тридцатого уехала из Москвы моя мать, изгнанная из семеноводческого техникума дочь «кулака»... На уральский Север.

Там кедры, горы до неба...

ПЯТЁРКА ПО ЭТИКЕ

«НИКОЛАЕВЫ... В Кытлым я приехала перед «днём работника леса». Наш «газик» уже проскакал по делянкам и остановился возле конторы. И тут я увидела Нину. Она вышла на конторское крыльцо в телогрейке, под пуховым платочком ясные, ясные (синие, это верно, не в этом же дело!), очень ясные глаза. Мои попутчики, местные начальники, закивали: «Это Нина Николаева, наш завхоз, женщина редкостная, к тому же героическая и единственная на район, у неё девять детей. Да ещё депутат».

...На завалинке сидели молодые ребята – семечки дождём. Мне кажется, я научилась безошибочно вычислять таких ребят. Из компании «трудных». И вот Нина к одному: «Да как давно не видела – да как вырос – да когда в армию – да не узнать – да какой хороший, да какой пригожий – да когда-то и мой Вовка таким будет...» Ох, знала я, что значит для такого парня и это материнское причитание, и эта маленькая рука на глупой и лохматой его голове.

В дом Николаевых на улице Строителей 18 я пришла, когда Нины не было дома. У ворот стоял мальчик-с-пальчик и выкручивал дыру на колготках. Не отрываясь от дела, он пропрыгал на одной ноге до крыльца – меня проводил – и сразу дал обратный ход, таким же скоком. Видимо, приносить в дом дыры на колготках за доблесть не почиталось.

На крыльце сидел сам Николаев, Виктор Петрович, чего-то колотил. Познакомились. Действительно, в дому четыре сына и пять дочерей – старшему, Вовке, 13 лет, младшей, Раечке, четыре месяца. Я спросила, не страшно ли: столько детей!

- А чего страшиться? Вырастут, вода вымоет, хлеб выкормит. А то что – одного да двух... Так народу не будет совсем. Мы будем пополнять за всех (смеётся).

- У меня двое – и то я считаю, что я мать-героиня.

Я и не слышала, как во двор вошла Нина, под её прикрытием двигался, не отпуская дыры, маленький Саша.

- Здравсьте, Нина.

- Здравсьте. Дак почему вы сидите на крыльце-то?! Ой, ну надо же какой! Человека на крыльце принимает!.. А я в школе была.

- Мама...

- А ты колготки почему так? Иди сними скорее, надень шортики. Он сам одевался сегодня, встал, ещё и Настю в ясли отвёл, он у нас взрослый.

- Сколько же этому взрослому лет?

- Четыре годика, пятый.

Это только самое-самое начало, я ещё не вошла в дом. А потом, в доме, мы говорили о том о сём, ну и о семейных делах, конечно.

- Нет, пусть женщины рожают, государство помогает много. Вот смотрите: в школе бесплатное питание – а иначе мне за каждого надо было бы два рубля в неделю отдавать.

- Мама, у меня рука болит!

- Саша, я разговариваю, тихо. Болит рука, правильно, но я разговариваю – и тихо! Поговорю, потом с тобой буду разговаривать... Значит, по два рубля за каждого – это я говорила. Шестидесят рублей государство дает как пособие на детей. Конечно, желательнее бы получать его после восьми лет, а не до восьми, тяжело после восьми. И через почту я ещё 27 рублей получаю, горсобрес доплачивает. За многодетность, наверное. В магазине меня все пропускают без очереди, это безо всякого. В промтоварном тоже, если что есть, не отказывают: это, мол, на твой садик. Это продавец так (смеется)... Редко в глаза, а за глаза сплошь и рядом говорят: «Куда ты их». Некоторые просто смеются надо мной. Я не бываю в декретах, я просто стесняюсь, думаю, вот – люди осудят, а потом рожу – пусть говорят!

- Как без «декретов»?

- Да так, работаю, а потом – ну, день-два там остается, чувствую – сдаю и ухожу (смеется). Я стесняюсь, просто стесняюсь.

- Вам сколько же лет, а?

- Мне много, тридцать три.

- Больше двадцати восьми не дашь.

- Женщина с каждым родами омолаживается на пять лет. Саша, принеси большие фотокарточки. Большие, где мы всей семьёй сидим, которые дядя Саша Дёмин нас фотографировал...

Ну хоть бы в доме беспорядок был... Или хоть бы знала Нина, что корреспондент в гости заявится – потому и прибрала. Вот начальники про неё сказали: «Женщина редкостная, единственная на район». А она обыкновенная, она нормальная – такая, какими были тысячи наших бабушек. У моей Татьяны Семеновны было двенадцать детей, а у вашей сколько?... Это мы в глазах бабушек – увидь они наши куцые семьи – редкостные и единственные на район. Я, конечно, понимаю: другие времена и всё прочее, но – всё-таки...

- Мне покоя никогда не будет – это я знаю... У меня подруга врач, она говорит: «Ой, Нина, это же тебе волынка на всю жизнь». Я говорю: «Надя, ну а что бы я делала?! Я не представляю... Ну что бы я делала?» Ну, для чего мы живём? Ну, не для себя же! Жить вот вдвоем, мне кажется... надоели бы друг другу. Не знаю, это мои понятия... В роддоме я потихонечку под одеялом вязала всем носки. Врач в последний день у меня нитку заметила в тумбочке: «Николаева, ну что ты делаешь?!» (смеется). Я не знаю... женщины спят, а я не могу даже спать.

...Вот соображаю, сколько лет назад это было – наше первое знакомство, если тогда младшей Николаевой была Раечка и ей было четыре месяца, а теперь младший Николаев уже Ванечка, а не Раечка, и ему семь месяцев, а Раечке скоро четыре года. Они оба – и младший наследный принц Ванечка, пятый сын, и Раечка – были у меня в гостях этой осенью. Правда, не по весёлому поводу. Нина приехала с ними и с Наташей, второй по старшинству, определять Раечку на операцию в институт травматологии и ортопедии – врожденный и просмотренный врачами вывих бедра. Мы с Ниной повели Раечку в больницу – в неведомую и страшную, и она кричала на все три этажа, когда две женщины в белых халатах отрывали Раечку от Нины. Наташа осталась с братом – деловито и спокойно, и Нина не делала ей никаких особых наставлений.

А вечером мы пошли с Наташей в зоопарк. Перед самым закрытием – мы были там совсем одни – бродили, сами слегка похожие на тех, кого рассматривали. Наташке четырнадцать... Она сама признается, что любит «поговорить». А Нина: «С работы приду – Наташа всё приберет, обед стоговит». Ну, конечно, с помощниками, они у неё на побегушках: ты – картошку чистишь, ты – лук крошишь, ты – морковку трёшь. А Наташа – шеф-повар. И в школе в основном пятёрки, ни одной тройки.

На обратном пути зашли в магазин канцтоваров. Наташа четыре дневника купила и несколько альбомов для рисования. А потом ещё арахису в гастрономе: старшая сестра едет из большой столицы!

Недавно перебирала старые письма, нашла первое после после нашего знакомства с Ниной письмо:

«Дети все здоровы, ходят в школу, в садик, в ясли. У нас две коровы, тёлка, одиннадцать овец, поросята. Николаев сейчас занимается хозяйством, мы его зовём завфермой. Маленькой моей восемь месяцев, очень интересная девочка. Она у нас вместо куклы, ребята все её таскают на руках. Николаев, как обычно, говорит, что эта лучше всех. Это он про всех так говорил...»

Видеть, как дочка лежит в белой палате загипсованная, с пересохшими губами, Николаев не смог. В Свердловск не ездит. Нина сильнее его, умеет не плакать. Умеет смеяться и рассказывать сказки Раечке и другим малышам в воскресные дни свиданий. Эти часы достаются ей – дорога-то не с Химмаша на Уралмаш... Приезжает утром (ночь в пути), а вечером уже надо уезжать – в Карпинске будет ждать муж с мотоциклом, чтобы быстрее к грудному ребенку.

- Я другой раз – придут с улицы, ага: Вовка здесь, Наташа здесь, Витька здесь, Кольки нет, Настя, Саша, Лена, Ваня на руках, Вика... Ой, сколько же ещё? Ещё одной не хватает. Я сосредоточусь, потом уже начинаю искать (смеется).

Почему-то больше других я любила в детстве рассказы матери о том, как их семья – пятнадцать человек – садилась за стол и как без обеда оставался тот, кто опоздал хоть на минуту. Подозреваю, что к моим восторгам и хорошей зависти (дух захватывало: за столом столько детей, как гостей в праздник!) примешивался

эгоизм единственного ребенка: уж меня-то мамочка никогда не оставит без обеда, скорее сама останется. Этот эгоизм рос вместе со мной и сейчас, наверное, во мне благополучно сохраняется. И, конечно, его я должна благодарить за то, что так неумело хватаюсь за руль семейного корабля.

РЯБИНИНА... Вспоминаю Анну Александровну Рябинину. Она померла теперь уж, а для меня всё живая. Она говорила: «Они умные были, наши деды и прадеды наши. Вы знаете, они очень умели растить людей, а это большое искусство. Можно гору сделать всего, а вот дитё вырастить – очень сложное дело».

У неё было двое детей, больше Бог не дал – так она взяла и ещё пятерых чужих воспитала. Она умела это делать, потому что умела воспитывать... себя. Когда первый раз мы пришли в её белоснежный кружевной дом с фотокорреспондентом Надей Медведевой, Надя не успела снять ни одного кадра: хлопнулась в обморок. И мне, виды выдавшей, стало головокружительно... Сидишь – как на облаке – на белоснежном диванном чехле, рука на белоснежной, измереженной вдоль и поперёк, колом накрохмаленной скатерти, глаза слепит белизна накидушек, подзоров, салфеточек, а в уши льётся неземной перезвон коклюшек. Вот и попробуй тут не хлопнуться в обморок после того, как выпал сюда из битком набитого автобуса.

Анна Александровна жила на первом этаже современного пятиэтажного дома. В кухне она вырыла себе голбец: ну русский же человек – картошка, соленья-варенья. Как без подполья? (Там и домовину для себя поставила.)

- Анна Александровна, а как же фундамент?

- А фундамент я, Машенька, обошла...

Не было для неё понятий «не могу» или «не хочу». Кружева она плела такие, что в руки брать боязно. В музее Суздаля хранятся...

- Я не устаю, только почему-то ноги не ходят. Видимо, они только устают, а я сама – нет (смеется). Я со всей душой – каждого бы научила! – ведь я бесплатно, никаких денег не беру ни у кого, не надо мне деньги, завтра мне умирать, какие там деньги, только учитесь. Вот я с детьми сейчас дворовыми всё время... Ох, очень сложное дело – с детьми. Вы знаете, они один от другого портятся, как фрукты (смеется). А кружева плетут с азартом. Я и прошлое лето работала с ними – так мальчики лучше плетут, чем девчонки.

- Вы прямо во дворе с ними занимаетесь?

- На улице. С одним работаю – остальные смотрят, в очередь стоят. Или руки ушли мыть, пока до них очередь не дошла. У человека основное – чтобы голова с руками была согласована. Ведь у конструктора если в уме мысль зародилась – он её выкладывает на бумагу, если у художника зародилась мысль – он сейчас выкладывает. Вы знаете, никакими лекарствами, никакими лекциями ничего этого нельзя заменить, и когда человек кропотливо сам что-то делает – он очищается, он нравственно становится богаче. А если не создавать красоту – жизнь-то ведь серенькая будет. И ведь для этого времени специально никто не выделяет, а успевать надо. Мне вот 74 года, а я всё по графику живу, всё по графику (смеется). Жизнь, конечно, очень сложная, но надо ею уметь управлять. Прежде всего, конечно, собой надо управлять. Я и говорю: прошлый раз налила кружку молока, поставила на край, ну а руки-то старые – тут же столкнула. Я и сказала: ты не будешь есть, пока не почувствуешь, что это делать нельзя – на край ставить (смеется).

- Себе сказали?

- Себе. Это было утром, и до вечера другого дня я не ела. А так хотела есть! Но раз не дают, так что делать-то? Я смирилась. Так теперь наливаю – далеко ставлю.

.....

Вот уж Нина Николаева у неё погостила бы, вот поговорили бы они на разные жизненные темы... Не получилось, не сошлось... Анна Александровна ушла, и пришла Нина:

- Раньше веселей жизнь была. Шестьдесят девятый год я вот помню... Народ как-то был победнее, победнее, а жили лучше, веселее, дружнее жили, а сейчас... Каждый старается: картошку не посажу, а куплю. А я – нет. У нас вот огород да ещё на поле сажаем.

Уборочная на николаевских полях достойна кисти изографа: на лопатах – сыновья, на вёдрах – девчонки, Ванька – в коляске, Нина с Виктором – повсюду.

.....

...Однажды я присутствовала на суде – супруги разводились и делили имущество. Там, кажется над всем «экономика» превозблудала: рубли, копейки, босоножки, платяной шкаф и телевизор... Так и хочется рассердиться и сказать: вот если бы выбросить все эти презренные деньги и вещи, то было бы... хорошо. Так ли? Упразднить трамвай, чтобы без билетов не ездили? Мне кажется, всё дело в том, что там, в этой расходящейся семье, осталась одна и только одна экономическая функция семьи – и ничего больше. Можно ли жизнь основывать на одной экономике? Прочна ли такая социальная ячейка (семья в данном случае), где разговоры только об одном: рубли, килограммы, сантиметры, килокалории? А эмпирии любви, сострадания, терпения? Мы сейчас даже на производстве, где, казалось бы, чистая экономика... мы теперь даже на производстве среди железа и алюминия стали понимать нечто такое, чего раньше чуть-чуть не понимали. Мы уже теперь разговариваем про морально-психологический климат в коллективе и так далее. То есть экономический экстремизм пошёл резко на убыль, наверное? Но как бы не уподобиться маятнику, качнувшемуся совсем уж в противоположную сторону (мы ведь не можем так расчленивать наше общество, чтобы поставить семью совершенно отдельно от всего прочего). Мы с вами знаем множество примеров, когда дети в семье ровно никакого

отношения не имеют к её хозяйственному бытию. А потом, уже в новой семье, начинаются раздоры супругов-белоручек: кому пол мыть, кому кашу варить. Создаётся парадоксальная ситуация: необычайное внимание к экономическим проблемам в масштабе общества и предельное невнимание к ним же на уровне семьи. Нет, без экономической семейной функции тоже не обойтись. В любом микросообществе, если не желать его распада, необходимо дело общее для всех. Для всех – до единого, как в семье у Николаевых. Пока что такое общее дело – хозяйственные заботы. Тут терпение вырабатывается, чувство долга, ответственность. Ещё сострадание, умение, способность побывать в шкуре другого, друга, супруга. Если каждый день надо принести в бак воды из колодца, а к печке – дров... Это уже кое-что. А в доме со всеми удобствами каждый день надо следить, допустим, за наличием картошки и хлеба. За чистотой полов, белья и посуды. Терпение, ответственность... и чувство: если ты чего-то не сделаешь, то другому будет плохо (голодно, холодно, неуютно; и тут уж, при всеобщей экономической семейной разрухе, почва для конфликтов, распрей).

У Николаевых не бывает распрей.

- С мужем мы хорошо живём. Ну, я ему поперёк никогда ничего не скажу. Если он захихует – вообще промолчу, у нас скандалов не бывает. Ну как... просто это... может быть, ещё от меня зависит... Все говорят: ой, Нина, он у тебя с характером! Это уж ты скрываешь там что-то... Я не скрываю. Если он сказал – значит, он правильно... Он старше меня, он меня всему научил, я ничего не умела делать, а он – всё. У них в семье так было заведено: что мальчик, что девочка – делают одинаково. Он любую работу сделает лучше меня, я не спорю с ним, и мы... Я не знаю, я поперёк ему ничего – и хорошо живём. Ну, где-то и поругаемся, но я никогда ничего поперёк ему не говорю. Я знаю, что он всегда прав. Много зависит от женщины, чтобы вот хорошо жить с мужем. Вот сейчас в посёлке слышу: тут скандал, там скандал. Баба сама начинает: а, ты такой-сякой! Так он – мужчина! И уступить надо друг другу. Вот я сейчас промолчала, а он потом... может, сначала и не скажет... а потом: правда, ты права ведь...

- Мне кажется, Виктор Петрович, вы должны молиться на Нину, правда?

- Тогда церковь надо делать тут у меня (смеется), чтобы молиться.

- А как вы насчёт воспитания, как делите, всегда ли приходите к единому мнению?

- Бывает, она вон скрывает потихоньку этих друзей у меня...

- Что скрывает? Их проступки какие-то?

- Вот-вот... Ей потом попадает за это дело. Этот что-нибудь набедокурит или этот, а мамка возьмёт – и не скажет. Я ведь зря не строжу: сделал плохо – получи по заслугам.

- Ох, я их прикрываю... Как же, они ведь маленькие. Надо, чтоб у человека кто-то был, кто всегда простит и пожалеет...

КАРБЫШЕВЫ... «Нетипичная семья, – скажет современный горожанин. – Очень уж детей много. Да и хозяйство вон какое!» Но я и сразу сказала, что нетипичная. Это исключение, которое может стать правилом – при нашем большом желании. И при том, что мы поймём: не в числе детей и не в хозяйстве дело, а в духе доброжелательности, трудолюбия, терпимости. Да, подчёркиваю: в духе терпимости к чужим недостаткам и нетерпимости – к собственным. Это не совсем, конечно, то, к чему призывают иные классные руководительницы на школьных собраниях. Однако не будем очень уж с ними спорить...

Правда, для горожан семья Николаевых нетипична совсем в другом смысле: просто потому, что это – сельская семья. В городской семье много своей городской специфики: трудности с транспортом, ясли далеко, с продавцами отношения вовсе не патриархальные. И так далее. Так, может быть, это городская специфика работает на распад семьи? Может быть, в ней какая-то роковая предопределенность к разводам и прочим семейным неурядицам? Вряд ли. А чтобы не быть голословной, приглашаю вас в семью горожан Карбышевых, к Андрею и Наде. До некоторых пор, по крайней мере во время нашего разговора, у них был один-единственный сын, а недавно появилась дочка.

- Жили на ЖБИ на частной квартире. Я думала: сдам все экзамены, сделаю за следующий семестр проект и тогда рожу сына (смеется). А он у меня родился восьмью месяцами, как раз в середине сессии. Вот я из роддома да сразу на экзамены. Я вообще не знаю, как я этот четвёртый курс кончила, потому что у Андрея дипломная защита была, а у меня четвёртый курс. Значит, там четыре курсовых, лабораторные... Вот... Жили на квартире, попеременно бегали в институт – то он, то я (смеется). Он дипломировался на заводе, так ему ещё работать надо было. Вот до сих пор не знаю, как я этот курс кончила. Серёжка тут ревет, Андрей не знает, как с ним справиться. Он соску в сгущёнку макнул (хохочет), ребёнку два месяца...

Андрей – он очень быстрый, он всё делает удивительно быстро, но всё до того некачественно – я смотреть на это не могу (смеется). А я вылизываю каждый уголок, но делаю всё очень медленно. А потом он – жаворонок, я – сова, ещё и из-за этого никак не могли друг друга понять. Как только приходит десять часов, он говорит: у тебя какие-то заботы, какие-то дела... Ему спать в это время надо. А у меня утром ничего не получается, посуду – и то не всегда успеваешь вымыть, вот... А потом, в общем-то, я говорю: бежать мне было некуда, совсем некуда, и кровать у нас всегда была одна (смеется). И поэтому деваться было друг от друга некуда: подуешься, походишь – потом опять вместе.

- Так вот трудности и не разломали вашу семью?

- Тут, наверное, дело не в трудностях, а в точке зрения на трудности, в нашем к ним отношении...

.....

Здесь я непременно прерву течение беседы, чтобы попросить ещё раз прочесть только что сказанное

Надей: дело не в трудностях, а в нашем к ним отношении. Не трудности ломают семью и ограничивают число наших детей. Можно принимать их как должное и переносить с достоинством, а можно от них бегать всю жизнь, не так ли?

- Я только видела, что муж – очень хороший человек. И очень надёжный человек. Я была уверена, почему-то я была уверена, что мы с ним не расстанемся, он никогда не предаст. Он был несколько эгоистичен, поскольку... Ну, там родители, конечно, баловали... Это поначалу, по-моему, у всех. Не привык просто он заботиться ни о ком, всегда ведь заботились о нём, он ни о ком не заботился. А потом, когда появился Серёжка, а он, как вы видите, копия его, абсолютная копия... мы оба стали другими – надёжнее. Я когда кормила Серёжку и смотрела то на одного, то на другого, я была, наверное, самая счастливая в это время. Разве ж разделима любовь к тому и другому?

.....
Они живут недалеко от Каменных Палаток, в Екатеринбурге, на девятом этаже. Свили своё гнездо, как птицы – высоко. И облака близко, и лес – из окна, а им мало: ещё и лоджию сделали садом.

- Сорок шесть ведер земли... Горох, цветы, земляника, клубника, гладиолусы.

- Земельный участок в поднебесьи...

- Да, висят сады Семирамиды... Мама у меня повар по специальности, она прекрасно готовит, я же ничего не умела. У меня родители считали: учишься, только хорошо учишься. Я училась без троек, им больше ничего от меня не нужно было. Я почти ничего не делала, и вышла замуж – ничего не умела делать, а научилась – куда денешься, научилась. Мне вот матушка-свекровушка книгу подарила – «Кулинария». Большую вот такую – со мной одного года выпуска. Там куча рецептов – три тысячи с чем-то. Учусь... Для меня самое главное, чтобы из сына вырос хороший человек. Я очень хочу, чтобы из него вырос хороший человек. Главное, чтобы он был добрый и отзывчивый к людям. Сегодня нос разбили две девочки ему в кровь, он отмахнуться не мог – они же, говорит, девочки! То приходит: девочка какая-то ему букварём запустила, вот здесь вот остался след от букваря – ну что сделаешь... Помню случай такой: покупали апельсины, их было сначала много, а потом остался один и лежал, лежал долго на столе, никто не мог осмелиться к нему подойти. Как-то за ужином Серёжка взял нож, поделил его на четыре части, разрезал: одну положил себе, одну Андрею и две мне. Ну всё-таки ребенок, хочется лучшие кусочки ему положить. Я говорю: я не хочу, Серёжа, спасибо. Тебе, значит, две, а мне одну. Он говорит: нет, ешь. Андрей, значит, тут же схватил: а я, говорит, хочу! Серёжа на него очень строго посмотрел, говорит: ну и что же, что ты хочешь? Это – маме.

Здесь можно перепутать: кто Серёжа и кто Андрей? Отец, сын... Может быть, отец сказал сыну: не тащи всё себе на тарелку, будь мужчиной, не привыкай к самому-самому вкусенькому. А может, сын учит смеющегося отца, потому что сам успел чему-то у него научиться...

Правда, тут область сугубо личных побуждений и личных вкусов. В самом деле, другой отец будет говорить: молодец, тащи всё себе на тарелку, иначе – пропадёшь. Один говорит – тащи, другой – не тащи. Кто прав при такой самой абстрактной постановке вопроса? Смотрите: дети прямо-таки замерли в ожидании ответа, потому что очень часто и они, и мы принимаем многое просто на веру. Да, в слове «тащи» тоже свои преимущества и соблазны: сладко есть, мягко спать. А применительно к семейной жизни? Какой принцип способствует процветанию семьи и какой её разрушает?

Нет, морализировать под занавес я всё-таки не хочу, но можно просто вспомнить в заключение, что есть такие старые слова: «мораль», «этика». Мы говорили раньше об экономическом воспитании и о воспитании трудом, делом. Но ведь и там, где вроде бы об этике человеческих отношений и речи нет (бери больше – кидай дальше, чего уж тут?)... И там всё-таки без этики не обойтись. Хорош будет отец семейства и педагог, который только учит: трудись, трудись, а сам палец о палец не больно ударит... И здесь этика – в совпадении слова и дела или просто в том, что хозяйственные распоряжения отдаёт человек, который работает больше всех.

Конечно, хотелось бы ещё и слов, совпадающих с делом, хотелось бы правильных слов о правильной жизни. Ведь не бессловесные же мы создания? И сразу вопрос: а что такое правильная жизнь? Я знаю мать, которая ничего не могла ответить дочери: почему такие-сякие живут «хорошо», всё у них есть – и шубы, и кольца, а эти твои хорошие люди живут кое-как, одно демисезонное пальто пятнадцать лет носят? Что тут ответить? Может быть, так: пятнадцать лет носят пальто потому, что драп очень хороший...

Очевидно, должно существовать искусство отвечать на такие вопросы. Наверное, есть соответствующая наука... Давайте поищем в школьной программе: физика и геометрия, биология и зоология, русский язык и французский язык. География... Есть всё, даже эстетика и кружок балльных танцев, только этики нет, нет науки о нравственных отношениях в обществе, нет науки о нравственности. (Сегодня можно сказать: нет православного учения о смысле человеческой жизни, о спасении души...) Много внимания внешнему миру и мало – внутреннему. Нет книги со множеством поучительных историй, с разбором житейской практики, с изложением тысячелетних взглядов на хорошую жизнь, на приличную жизнь и на жизнь неприличную, плохую.

...А несколько шире посмотреть на проблемы этики поможет талантливый учитель литературы. У него столько помощников: Пушкин и Гоголь, Достоевский и Толстой, Белов и Распутин... Они могут объяснить очень многое, в том числе и правила поведения в семье: будь терпелив; не прячься за печку, когда другие работают; не будь упрям, то есть не добивайся своего любой ценой (часто цена – распад семьи); имей мужество самому расплачиваться за свои ошибки (стыдно, когда за твои ошибки расплачиваются брошенные тобой дети); поэтому – будь терпелив, не тащи всё себе на тарелку, не требуй: мне, мне! (мне – любви, милосердия,

каши, сосисок, а другим – после, что останется). Помните Нину Николаеву: «Муж всегда прав»? Конечно, мы с вами такие умные, что понимаем – это преувеличение. Но способны ли мы с вами, такие умные, на подобное самоотречение? Может быть, стоит учить нас этому в школе? А потом уж жизнь покажет, чего стоят наши пятёрки по этике...»

Это девятый номер журнала, осень 85-го. Марию уже душит стенокардия, и выход очерка – радость... Конечно, она не могла тогда написать: надо читать на уроках Евангелие – всем желающим. В её телефильме об исполнительнице народных песен хотели дать всего-навсего колокольный звон, но пришлось заменить каким-то эмоционально-насыщенным звуком.

«И вот, некто подошел сказал Ему: Учитель Благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.

Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего ещё недостаёт мне?

Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.

Услышав слово сие, юноша отошёл с печалью, потому что у него было большое имение.

Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.

Услышавши это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус возрев сказал им: человеку это невозможно, Богу же всё возможно» (Мф. 19, 16-26).

Однажды я прочитал... где-то прочёл и записал, к сожалению, без ссылки на источник: «Священник говорит невесте и жениху, что жизнь вместе – это мученичество. И венцы, которые над ними держат в храме, это мученические венцы. Вот в чём дело. Они, вступая в брак, идут на мученичество во имя Божие... Мученичество в браке церковном засчитывается человеку как подвиг. Поскольку венчание – это таинство, человек в церкви получает с самого начала силу от Бога для терпения всего, что будет потом».

ВОЙНА

В декабре 1986 года было создано екатеринбургское историко-культурное объединение «Отечество». Отечество, Родина, Россия... При слове Россия из глаз текли слёзы... Не часто мы слышали его. Всё больше Советский Союз... Муниципалитетский Союз... Советские-муниципалитетские люди... Почти абстрактные американцы... А тут вдруг возникло ощущение, что можно за неё положить голову на плаху. Что нынче появилась такая возможность. Именно за нашу Россию...

Общество возглавил бывший однокурсник Марии (она вместе с ним училась зимой 1964-65 гг. целых полтора семестра, а потом сбежала на заочное отделение)... возглавил журналист Юра Бортников. Маша в то время только-только разогнулась немножко после тяжкой стенокардии (стала инвалидом второй группы). Зря, конечно, я позволил ей тогда влезать в политику. Она и без того совершала столько душеполезного. Но... Жизнь не перепишешь набело. А мы были такими желторотенькими... Во всяком случае - мы с Марией. Сразу же сели на росинантов и поскакали защищать русскую театральную классику. Посмотрели пару спектаклей, ужаснулись («приужахнулись»). Бортников созвал зрительскую конференцию в начале 87-го. В доме работников искусств. Как сумел раздобыть зал? Знатoki сегодня говорят, что тогда помещение можно было получить только с помощью «комитета». Не знаю... Бортникова тогда опекал писатель Серёжа Бетёв, он однажды написал книжку про милицию и мог, наверное, «пробить» зал в ДРИ.

Сергей умер потом от туберкулёза. Мы его ещё в 70-м навещали в диспансере на Чапаева. Он предлагал: бери у меня денег, бросай работу и пиши книжку. С гонорара отдашь... Я, правда, не поверил, что смогу написать такое... эдакое... что могло бы напечатать издательство эпохи развитого социализма. Кроме того, мы к тому времени шибко устали от нищеты, и я никак не мог бросить работу.

На конференции мы критиковали аж самих режиссеров-постановщиков. Самого Пипеля! Он потом получил Государственную премию. Переехал в Москву. И Ахахана... Он тоже уехал в Москву – на повышение... Друзья-приятели отправили в Москву мои рецензии и всевозможные фотографии («вещественные доказательства»). В девятом номере «Нашего современника» было опубликовано мое письмо - и началась жизнь, полная удивительных приключений. Очень громко стали кричать в центральных газетах известный критик Пичин, знаменитый артист Улючин и некоторые другие лица (Иванов, Сидоров, Петров и Рабинович). Даже вышеупомянутый прибалтийский журнал чуть позднее уделил внимание моей нехорошей персоне. Можно бы, наверное, их сразу всех процитировать, но лучше все-таки сначала посмотреть, из-за чего сыр-бор разгорелся. Вот одна из двух моих рецензий «Беглость ума и благонравие»:

«Занавес открывается. На сцене - старая русская изба с заколоченными ставнями, вокруг которой высятся ничего не поддерживающие бутафорские колонны. Слева над колоннадой громоздится бог весть как туда затащенный гипсовый Вольтер в кресле, справа на крыше почему-то лежит сено. Симметрия, значит, такая... В центре - на той же крыше - сооружена башенка с площадкой, обнесенной могильной оградой образца 1987 года. Эту площадку моет дворový в сапогах, красной рубашке и с плеткой на руке. Вот он разогнулся, перекрестился и выплеснул грязную воду из ведра прямо на французского мыслителя. В это время на крыше появляется госпожа Простакова в спальном халате. Дворový опускается на колени. Так начинается

«Недоросль» Д.И.Фонвизина на сцене свердловского ТЮЗа.

Госпожа Простакова сходит с крыши на землю и заводит всем известный разговор с Тришкой, который якобы обузил кафтан. Все это время помещицу сопровождают раболепные дворовые со стулом и опухом. Один из них наряжен в рваный полушубок без рукавов, в лапти и бархатные штанишки, другой - в камзол и штiblеты «прямо из Парижа». Тут же бродит уже знакомый нам «краснорубашечник» с плеткой. В конце концов неугодившего Тришку дворовые хватают за руки и бьют с размаху о колонну. Таким ударом укладывают в гроб римского легионера, но Тришке - ничего-с...

Появляется брат Простаковой Скотинин - в парике, ботфортах, с корзиной и свиной-копилкой. Вся компания «распивает бутылку», причем свою долю получает и прислуживающий здесь лакей в неизменных лаптях. Он опускается на четвереньки, хрюкает, изображая свинью, за что Скотинин лично льет ему вино прямо в широко открытый рот (наверное, много репетировали).

Вскоре появляется русский офицер Милон. Он шумно обнимается с чиновником Правдиным, снимает с себя походную одежду и вытряхивает из нее пыль, как бабы трясут грязное одеяло. В дальнейшем Милон только тем и занят, что вопит и бросается на людей с обнаженной саблей, а Правдин каждый раз силой удерживает его от смертоубийства. Так и бродят они по сцене - два краснорубашечника: дворовый с плеткой и дворянин с саблей (все та же излюбленная симметрия).

Потом приезжает Стародум - дядя томящейся у Простаковых Софьи. Это старый, толстый, лысый, слепой и глухой субъект с висящей на нем сбруей: лорнетом и слуховым рожком. Ему от роду шестьдесят лет, а выглядит на все девяносто. В разговорах он рычит, хрюкает, все время нелепейшим образом тянет ухо к собеседнику, в самых патетических сценах на потеху публике переспрашивает: каво? Мы-то до сих пор считали его возвышенным резонером: «Ум, коль он только что ум, самая безделица. С прегблыми умами видим мы худых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену уму дает благодравие: без него умный человек чудовище».

Однако прегблый ум режиссера Д.Ахахана видит благородного российского гражданина по-своему. Наверное, режиссеру очень хочется крикнуть: ничего благородного в этой вашей русской истории не было вовсе! И он совершает прямой подлог, выворачивая наизнанку фонвизинский текст. У Фонвизина, например, вот как:

«Правдин. Итак, вы отошли от двора ни с чем? (открывает свою табакерку). Стародум (берет у Правдина табак). Как ни с чем? Табакерке цена пятьсот рублей. Пришли к купцу двое. Один, заплатя деньги, принес домой табакерку, другой пришел домой без табакерки. И ты думаешь, что другой пришел домой ни с чем? Ошибаешься. Он принес назад свои пятьсот рублей целы. Я отошел от двора без деревень, без ленты, без чинов, да мое принес домой неповрежденно: мою душу, мою честь, мои правила».

У Ахахана все наоборот: «Правдин. Итак, вы отошли от двора ни с чем? Стародум (достает свою табакерку). Как ни с чем? Табакерке цена пятьсот рублей». Текст оборван - вроде бы пустячок, но Стародум между тем совершенно растоптан. По Фонвизину, он принес домой неповрежденными свою душу и честь, а по Ахахану - чужую табакерку.

Создается впечатление, что этот простенький прием понравился режиссеру чрезвычайно. Он умудряется выворачивать ситуации наизнанку в течение всего спектакля... Вральман там выглядит по меньшей мере графом Калиостро. Наверное, чтобы подчеркнуть высоту своего полета, в одной из сцен этот немецкий кучер начинает вдруг произносить звук «р» почти совсем по-французски. Правда, с одесским акцентом. Вообще, это единственный цивилизованный человек в России, он даже физзарядку по утрам делает. Ему сам Правдин в подметки не годится. Этот дурачок в свободное от разговоров время обычно торчит на крыше и бессмысленно пялится в трубу...

Зато Митрофан каков! На ученье он является в римской тоге (больше похожей, правда, на обычную банную простыню) и в головном уборе чуть ли не из Оксфорда. Садится за стол с древнейшими манускриптами и медной чернильницей. Еремеевна приносит череп, дворовые кантуют гипсового Вольтера и хором поют под балалайку: «Науки юношей питают...»

Что происходит потом, все знают преотлично: Митрофан не может разделить триста на три, читает часослов через пень-колоду... Да что там Митрофан. Ахахан пытается разьяснить нам, будто в своем отношении к Просвещению, к Европейской Мысли ни дворовый с плеткой, ни Митрофан, ни Стародум принципиально друг от друга ничем не отличаются. Эту самую Мысль в спектакле представляет, воплощает, символизирует, естественно, Вольтер, до сих пор остающийся кумиром нашей французско-нижегородской образованщины. Ах, ах, бедный Вольтер: дворовый вылил на его «статуй» ведро грязной воды, Митрофан нахлобучил ему на уши свою «ученую» шапку, Стародум швырнул на него, как на вешалку, плащ Правдина...

Неужто Россия во мгле окончательно и бесповоротно? Нет, отчего же: у режиссера под рукой масса изобразительных средств. И он пользуется ими, чтобы хоть что-то противопоставить этому мрачному царству. Смотрите: на столе, стоящем посередине сцены, помаленьку собирается комплекс предметов, сошедших прямо с цветной иллюстрации к произведению Еремея Иудовича Парнова «Трон Люцифера»: книги, перо, чернильница, череп, розы, свеча. Букет масонской символики. Поверить, что все эти предметы оказались на столе случайно, - все равно что предположить, будто обезьяна, случайно ударяя по клавишам, может воссоздать трагедию Шекспира. И вот с этого стола дворовый мальчик Тришка потихоньку таскает литературу. Просвещается, стало быть. А просветившись, он, надо полагать, когда-нибудь в будущем попытается перевернуть Россию (совершив здесь, допустим, великую февральскую революцию 1917 года).

Но причем тут масоны? Мы с ними знакомы разве что по газетам, освещающим преступную деятельность неонацистской итальянской ложи П-2. По-видимому, Ахахан хочет напомнить нам, что в русской жизни конца 18-го столетия они играли не последнюю роль. По всей вероятности, он жаждет нам сообщить, будто масоном был сам Д.И.Фонвизин, а стало быть, крайне необходимо сделать причастным масонству хотя бы портного Тришку, еще покамест не испорченного русскими национальными традициями. Однако уже каких-нибудь сто лет назад некий С.М.Бриллиант писал в биографическом очерке: «Принадлежность к масонству требовала серьезности мысли и чувства, известного настроения, к какому Фонвизин как раз был совершенно не способен. Здесь обряд строго соединялся с нравственным обязательством, тогда как видима набожность Фонвизина ни к чему не обязывала... Холодный, рассудочный ум Фонвизина удержал его от чересчур горячих увлечений, хотя не спас от ханжества...» (Бриллиант С.М. Фонвизин. СПб, 1892. С.72-73).

Что-то не получается... Выходит, не ходил Денис Иванович в масонах, а посему никак не мог считать, будто у них в кармане вся правда и будущее России. И за это некий Бриллиант очень на него сердит. Может быть, и режиссер Ахахан тоже рассердился за что-то на Фонвизина, а вместе с ним - и на Россию? Иначе чем же объяснить, что все благородные герои «Недоросля» выглядят в лучшем случае дурачками? Чем объяснить, что их монологи о жизни нравственной и безнравственной усечены до предела или выброшены вовсе? А то, что все-таки оставлено, они произносят, чаще всего, поворачиваясь спиной к зрителям...

Показательна в этом смысле сцена похищения Софьи. Правдин и Стародум невнятно распинаятся о благонравии на верхотуре за могильной оградкой, а в это время из окна прямо под ними дворовые вытаскивают Софью в мешке. Зал прямо-таки покатывается со смеху. Детей «от семи классов и выше» учат смеяться над Стародумом, когда он говорит: «Я желал бы, чтоб при всех науках не забывалась главная цель всех знаний человеческих: благонравие. Верь мне, что наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродетельную душу».

Что ж, и театр можно превратить в лютое оружие... Нас приглашают посмеяться над людьми, коих Василий Осипович Ключевский, наш выдающийся историк, называл «академиками добродетели». Нас приглашают посмеяться и над самой добродетелью, ибо она оскорблена и унижена в этом спектакле. Кстати, в порядке повышения нравственного и общеобразовательного уровня можно бы порекомендовать постановщикам «Недоросля» (в часы отдохновения от утомительных трудов) почитать того же Ключевского: «Ничего смешного нет и в знаменитой сцене ученья Митрофана, в этом бесподобном, безотрадно печальном квартете бедных учителей, ничему научить не могущих, - мамыши, в присутствии учащегося сынка с вязанием в руках ругающей над учением, и - разбираемого охотой жениться сынка, в присутствии матери ругающегося над своими учителями... Если современный педагог так не настроит своего класса, чтобы он не смеялся при чтении этой сцены, значит, такой педагог плохо владеет своим классом, а чтобы он был в состоянии сам разделять такой смех, об этом страшно и подумать».

В спектакле свердловского ТЮЗа реализуется именно то, о чем страшно подумать. Не к злу и беззаконию воспитывают здесь отвращение, но учат презирать свое отечество, русскую историю. Вот уж подлинно: «Ум, коль он только что ум, самая безделица...»

Поскольку опубликовать это почему-то невозможно (даже и «Наш современник» потом дал какую-то выжимку), пришлось всё прочитать в актовом зале института народного хозяйства. Там общество русской культуры и много всякого другого народа встречались с председателем московского общества «Память» Д.Д.Васильевым, а после все желающие выходили к микрофону. Гласность, свобода и демократия. Дмитрий Дмитриевич показал пленку: как взорвали храм Христа Спасителя. В президиуме вместе с ним, Бортниковым и Баркашовым сидел сам заведующий городским отделом культуры Алялин. Руководил происходящим, а потом написал жалобу... уж теперь не помню – куда. В горком КПСС?

Потом пошли всем «русским обществом» куда-то на квартиру. Васильев показал себя там умным и убедительным оратором. Правда, мне досталось... Он стал рассказывать про всевозможные масонские знаки, и получилось, что я и академик Лихачёв одинаково прикладываем к лицу два пальца правой руки – средний и указательный. Все стали на меня внимательно смотреть, но Дмитрий Дмитриевич меня пожалел и объяснил присутствующим, что в данном случае... ну, когда речь идёт обо мне... это просто привычка.

Баркашов тогда ещё не был начальником РНЕ, а просто сопровождал Васильева. Уже позднее, когда Бортников был убит, наши местные баркашовцы попытались овладеть его деревянным домом, где собирался «Русский союз». Я был решительно против контактов с ними, но почему-то оказался во время одной из встреч сидящим между двумя молодцами с экзотической символикой на рукавах. Лишь потом догадался – почему... когда на панихиде у царского креста опять обнаружил справа и слева от себя людей с нарукавными знаками, очень похожими на свастику. А прямо перед собой увидел фотографа. У меня уже был опыт эпохи развитого социализма, когда на уборке моркови «фотокор» захотел меня запечатлеть – и в эту самую секунду рядом в фривольной позе оказалась наша весьма почтенная дама. Подскочила и изогнулась, как кошечка в интересной ситуации. У меня глаза на лоб... Ну-ну...

Надо полагать, комплектуют компетентные органы фотодосье на всякий случай. Мечта: на всех русских в России напялить свастику, чтобы прогрессивное человечество не возмущалось, если придётся повторить геноцид. Что ж, работа такая. Спаси их, Господи...

Что же касается театра... Недавно прочёл в «Литературной газете»(2005, №12-13):

«Что бы сказали Мольер и Островский, посмотрев «Тартюфа» в МХТ, «Грозу» – в «Современнике», «Последнюю жертву» – в «Ленкоме?» – так, в меру жёстко и конкретно, был сформулирован подзаголовок недавнего заседания клуба «Свободное слово» Института философии РАН, к участию в котором были при-

глашены философы, литературоведы, критики, практики и любители театра. Публикуем фрагменты этого большого, заинтересованного и вышедшего в конечном итоге далеко за пределы частных, хотя и характерных сценических примеров, разговора.

Людмила САРАСКИНА, литературовед

...Ставить классику на театре КАК ОНА ЕСТЬ (то есть не меняя белое на чёрное) стало немислимой роскошью, давно не виданным в мире чудом. Увидеть в русском театре Чехова или Толстого, Достоевского или Островского, как они есть, практически невозможно, это недостижимая мечта, такая же, как вечная любовь или абсолютная истина – в мире, где всё относительно и где вневременные ценности потеряли цену. ...Театр сегодня выходит за все мыслимые пределы допустимого прочтения классики, создаёт тот самый БЕСПРЕДЕЛ...

Режиссер А.Ж. – уже не только скандальный, но и культовый – поставил «Три сестры»... Действие проходит на Соловках, в бараке, сёстры-зэчки разливают водку, пьют на троих и поют: «Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей юности полёт». Как измываются над «Чайкой» – об этом знают все, кто ходил на последние «версии» пьесы, столичные и гастрольные. ...Тригорин любвеобильный бисексуал, любит и Аркадину, и Нину Заречную, а также всех персонажей мужского пола и возит с собой портрет юноши в курьезных трусах.

Вообще тема «про это», тема эротики и порно – чуть жёстче, чуть мягче – это главный конёк скандальных спектаклей. Валерий Б. осуществил в своём Театре на Юго-Западе, как о том с восторгом сообщает критика, сценическое продолжение «Анны Карениной», написанное О. Ш.: в результате суицида на железной дороге Анна не умирает, но остаётся без руки, без ноги и без глаза, Вронский попадает под пули на Балканах и лежит парализованный. Левин вожделеет к Анне и утоляет свою страсть с криками и воплями, что у его жены Кити нет таких шрамов и рубцов. Вот «бренд» этого спектакля.

...Или вот Пётр Верховенский расстёгивает ширинку и, извините, мочится на забор, ведя напряжённый разговор со Ставрогиним, которого, как мы помним, он почитал своим кумиром. Зачем? Вопрос «зачем?» мучительно меня преследует – зачем это делается?

...Русская классика в течение последних десяти-пятнадцати лет испытывает колоссальное гонение. Тот, кто немножко за этим следит, тот это знает. Русской классике ставится в вину вообще всё – что именно она способствовала развалу страны, именно она деморализовала общество и своим морализаторством сформировала народ, не способный к рынку, к вхождению в мир западной глобализации. Она, дескать, расслабила людей, лишила их мускульной силы и держит население в цепях тоталитарных моральных устоев. ...Есть целое направление, которое требует запрета русской классики в школе, ибо она, дескать, «портит» людей, оставляет их в старой, традиционалистской ментальности.

Эстетика постмодернизма, которая обслуживает глобалистские настроения, поддерживает тезис, согласно которому русские – неэффективный народ. Россия – лишняя страна на карте мира. Эта эстетика не мирится со статусом русской литературы как общемирового культурного достояния. (...)

Валентин ТОЛСТЫХ, философ, председатель клуба

...В отношениях современных авторов с классикой меня больше всего поражает и возмущает беспардонное, ничем не аргументированное переименование и передёргивание смысла изображаемого на сцене и экране, вплоть до противного, как в той же «Грозе» в «Современнике». Сами осмыслить или придумать, выудить в реальности ничего не могут, а вот поохальничать с готовыми «образцами» всегда готовы. (...)

Л. САРАСКИНА

Задаю себе ещё один вопрос: если современный театр очень хочет, чтобы по сцене гуляли наркоманы, мерзавцы, подлецы, зачем нужно трогать русскую классику? Есть много свободных литературных сил, много ловких перьев – ну напишите пьесы, где наркоман забавляется с проституткой, подлец дружит с негодяем; создайте современную драматургию под собственными оригинальными названиями и гуляйте, ребята, сколько хотите. Но нет. (...) Нужно, чтобы тот самый школьник, который не читал «Анну Каренину», пришёл в театр, посмотрел и сказал: и это ваша классика? И вы хотите, чтобы я это читал? Чтобы мы это изучали? Вот это вы и называете великими духовными ценностями? (...)

Я более чем уверена, что наши разговоры, увы, не будут иметь никакого результата, никакого резонанса. Даже если бы говорили с Лобного места, с трибуны Кремля, никто на это бы не реагировал. И только полная безнадёга даёт право говорить свободно. То, что политический заказ на отстрел русской классики есть, я в этом абсолютно уверена. (ТО, ЧТО ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ НА ОТСТРЕЛ РУССКОЙ КЛАССИКИ ЕСТЬ, Я В ЭТОМ АБСОЛЮТНО УВЕРЕН. – Б.С.). Политически целесообразно культуру закопать, свести её с пьедестала, посыпать пеплом и сказать – всё, нету. Кому-то выгодно считать, что Сорокин, Лев Толстой, Виктор Ерофеев, Достоевский – один чёрт. Главный тезис, который выдвигает постмодернизм, – это смерть автора. (...) Вместо автора есть переписчики, скрипторы, интерпретаторы.

И что такое тезис «постмодернистская чувствительность»? Это такое переживание событий, когда нет ни чёрного, ни белого, нет ни добра, ни зла, нет высокого, низкого, красивого, безобразного. Всё одинаково, и всё – всё равно. И главное – что всё можно. Вот у Достоевского сказано: (если) Бога нет, (то) всё дозволено». \Слова в скобках также принадлежат Достоевскому. – Б.С.\

Что ж... Л.Сараскина говорит: «Я более чем уверена, что наши разговоры, увы, не будут иметь никакого результата, никакого резонанса. Даже если бы говорили с Лобного места, с трибуны Кремля, никто на это бы не реагировал». Как видим, ситуация стала... хуже? лучше? В 86-м году нас стали топтать... теперь не

обращают внимания... Ну да, клуб «Свободное слово», который аж в самой Москве, в Институте философии Российской академии наук, так просто не затопчешь. Может, упразднить его всё-таки вместе с академией? Но вот беда – против кощунственного попраения русских святых теперь выступают даже и русские великие артисты: «Галина Вишневская собиралась отпраздновать круглую дату в Большом театре, на сцене которого она блистала более 20 лет. Однако после скандальной премьеры оперы Чайковского «Евгений Онегин» в постановке молодого режиссёра Фимы Чернушкина (меняю фамилию, чтобы не обиделся. – Б.С.)... певице пришлось изменить свои планы. Побывав на первом представлении нового «Онегина», она написала открытое письмо генеральному директору Большого Анатолию Иксанову, в котором решительно отказалась от «любезно предоставленной возможности» отметить юбилей на Новой сцене... «Оригинальную» трактовку бессмертного произведения – герои пушкинского романа в стихах представлены в ней истеричными алко-голиками, страдающими маниакально-депрессивным синдромом – оперная прима назвала «кощунством» и «публичным осквернением наших национальных святых» (повторю прописными буквами, уж больно точная формулировка: «ПУБЛИЧНЫМ ОСКВЕРНЕНИЕМ НАШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СВЯТЫНЬ»). Такое прочтённое классики Вишневская сочла личным оскорблением (повторю: ЛИЧНЫМ; жаль, что наши власть имущие не воспринимает театральное-телевизионное сатанизм как личное оскорбление)... В ответ г-н Иксанов заявил, что необходимость новой (то есть кощунственно-сатанинской. – Б.С.) интерпретации классических произведений – веление времени» (и тут он совершенно прав, ибо мы живём во времена торжествующего европейского сатанизма, когда свиньи попирают своими пятаками и копытцами всё самое чистое и святое). Это текст из газеты «Версия» (2006, №42).

Естественно, главный заказчик, заинтересованный в «отстреле русской классики» – это САТАНА, пародист, обезьяна Бога, высшая радость коего – кощунственно надругаться над святыней. Интеллекту трудно, почти невозможно в этом признаться, но... На рубеже тысячелетий мне довелось написать вот такой текст.

ЛОГИЧЕСКИЙ САТАНИЗМ

Закон противоречия только тем и хорош, что запрещает отождествлять предикаты противоположных (точнее — обратных) суждений антиномии: Б ≠ не-Б, волна ≠ частица, пространство ≠ время, душа ≠ тело, орел ≠ решка. «Лосский в своей «Логике» объясняет, что закон противоречия, конечно, не есть выражение несовместимости каких-либо двух качеств, как, например, красного и синего. Он выражает нечто более значительное, а именно, что «красное не есть не красное» или что «краснота, поскольку она является краснотой, не есть отсутствие красноты» (Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. С.403)

Как известно, похожий запрет был сформулирован еще пророком Исайей: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким!» (Книга пророка Исаии. 5, 20). Именно логический сатанизм, как и положено по штату, провозглашают шекспировы ведьмы: «Зло есть добро, добро есть зло. Летим, вскочив на помело!» (Шекспир. Макбет// Трагедии. М., 1983. С.540).

Кто только не летал на метле в логической мгле вослед упомянутым персонажам! «Рассудок анализирует, расчленяет, противопоставляет: получается формальная диалектика — А и не А; Мережковский чувствует себя в своей тарелке, он успокаивается только тогда, ко да он устанавливает дихотомию — две противоположные стороны — как будто бы некое непримиримое противоречие; установив его, он начинает блуждать вокруг него, играть им, многозначительно подмигивая при этом читателю; он думает, что от этого противоположения родится что-то значительнее, глубокое, мистическое, и сам начинает везти себя как некий мистический жрец. Начинается диалектическое священнодействие; противоречия непримиримы — тело мира разрывается, трагедия и мрак, и вдруг луч света — жрец мистически подмигивает и дает знать, что дело поправимо, что А и не А — где-то в последнем счете суть ОДНО И ТО ЖЕ. «Мужчина или женщина?» — Противоречие. Разрыв. Мрак и ужас. — «Ничего». Мужчина есть женщина. Женщина есть мужчина. (Кстати, в соответствии с этой логикой победившего сатанизма сегодня сконструирована наша жизнь: женщина есть мужчина, мужчина есть женщина, равноправие — отождествление «предикатов», вплоть до отождествления одежды. — Б.П.). Тайна, откровение. Исцеление. «Добро или зло?» — Противоречие. Разрыв. Трагедия мира. — «Ничего». Добро есть не что иное, как зло. Зло есть не что иное, как добро. Бог и дьявол — одно и то же. (Вспомним пророка: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом». — Б.П.). Христос есть Антихрист. Антихрист есть Христос. Тайна мира разоблачается. Откровение. Примирение. Исцеление. «Бог или человек?!» — Бог есть человек. Человек есть Бог. Мудрость. Глубина. Озарение. /.../ Ложное истинно. А истинное ложно. Это — диалектика? Извращенное нормально. Нормальное извращенно. Вот искренно-верующая христианка — от христианской доброты она отдается на разврат конюхам. Вот христианский диакон, священнослужитель алтаря — он мажет себе лицо, как публичная женщина, и постоянно имеет грязно-эротические похождения в цирке. /.../ Изумленно следишь за этими образами и провозглашениями. Откуда они? Зачем? Куда ведут? И почему русская художественная критика, русская философия, русское богословие десятилетиями внемлет всему этому — и молчит? Что же, на Мережковском сан неприкосновенности? Высшее посвящение теософии? Масонский ореол и масонское табу?» (Ильин И.А. Одинокий художник. М., 1993. С.152, 160).

Конечно, Мережковский не оригинален, он просто шел в ногу с эпохой, накрывшей Западную Европу в послеренессансное время. Даже и Оруэлл ничего не исказил и не преувеличил, когда написал на белом фасаде лондонского Министерства Правды лозунги партии: «Война — это мир», «Свобода — это рабство». Эти лозунги ничем (НИЧЕМ!) не отличаются от заклинаний шекспировских ведьм или формул Мережковского.

Русский мыслитель А.Ф.Лосев (монах Андроник) однажды сформулировал четыре главных тезиса ТЕОРЕТИЧЕСКОГО САТАНИЗМА (почему-то иных чрезвычайно раздражает указание на то, что Алексей Федорович принял постриг; странно, но факт):

«Во-первых, ...не существует никаких абсолютов, в том числе абсолюта истины, абсолюта добра и абсолюта красоты. /.../

Во-вторых, если не существует никакого надприродного абсолюта, то таким надприродным божеством является не что иное, как сам человек, который по самому существу своему вполне природен, а не надприроден. Таким образом, божество вовсе не отрицается, а только им является сам человек. Но признавать Бога и в то же время стремиться занять Его место — это значит проповедовать сатанизм.

В-третьих, человек есть порождение природы и истории. Поэтому богом является все то, что создано природой и историей. И чем оно более природно и исторично, чем более оно красиво и естественно, сильно и здорово, тем более оно божественно. Красота заключается в красоте и силе, существующих и действующих вне всякой морали.

В-четвертых, поскольку человек есть существо максимально естественное, то выраженные в нем природа и история тем более интересны и красивы, чем более выразительны и разнообразны. Поэтому присвоить себе чью-нибудь вещь с разрешения ее владельца — это прозаично. Но своровать чью-нибудь вещь без ведома его владельца — это красиво и поэтично. /.../ Мирное состояние общества — прозаично и скучно. Но та кровавая борьба, которая происходит в нем в силу неравенства составляющих его элементов — это прекрасно и эстетично. А это так и должно быть, поскольку сатанизм является также и эстетикой зла. Сатанизм — это не «оправдание добра» (если употребить термин Вл. Соловьева), но оправдание зла.

Из этих четырех тезисов ТЕОРЕТИЧЕСКОГО САТАНИЗМА...» И т.д. (Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990. С.531-532).

Итак, признавать Бога и в то же время стремиться занять Его место — это значит проповедовать САТАНИЗМ. Божество вовсе не отрицается, а только им является сам человек... Человек есть бог, бог есть человек. Сегодня нищие-мережковские сверхчеловеки пытаются отождествить консерватизм и революцию (отождествить константу и переменную — так, чтобы константа исчезла вообще). Провозглашается необходимость «консервативной революции», «совпадения традиции и авангарда» и т.д.

В современной политике реализуется антиномия: 1) политика есть сохранение традиции (консерватизм, константа); 2) политика есть изменение, реформа, революция, взрыв традиции (переменная; причем перемены тем стремительнее, чем слабее консерватизм). Логический сатанизм провозглашает: «Консерватизм есть революция, константа есть переменная, коричневое есть красное»... Впрочем, коричневое и красное соотносятся как абстрактный нацизм и абстрактный интернационализм, но не как консерватизм и революция. И нацисты, и интернационалисты в XX веке называли себя революционерами.

Профессиональные разрушители пытаются исполнить свое назначение самым примитивным способом — отождествлением противоположностей, что на практике ведет к уничтожению всех и всяческих общественных структур, нравственных норм, религиозных заповедей. Их лозунг: «Все позволено!» (т.е. позволено все недозволенное). Если же говорить о политике, то сегодня есть очень большое желание и в самом деле превратить российских красных — в коричневых, потому что либеральный капитализм («маммонизм») предполагает обрести устойчивость, создав соотношение «нацизм/коммунизм» (на государственном уровне — Россия/Китай). Поэтому предпринимается попытка перековать русских коммунистов в нацистов, объяснив им, что «красное есть коричневое». Но как объяснить нашим мудрецам, что русских, как показывает опыт, можно ненадолго сделать абстрактными интернационалистами, но никак невозможно (в массовом порядке) — нацистами коричневого цвета? Не тот «менталитет»... Существует соотношение Москва•Рим/Берлин, то есть, если брать шире, — славяно-романо-германская структура, где «компоненты» не взаимобратимы до тех пор, пока существует структура как целое. Точно так же существуют другие структуры, очень похожие на атомную «нейтрон•протон/электрон», например: мистерия•трагедия/комедия; Небо•земля/подземелье; Православие•католицизм/протестантизм; сакральная речь•литературная речь/разговорная речь. И так далее.

Это антиномические структуры, где субъект антиномии (мистерия, Небо, Православие, сакральная речь) обеспечивают существование обратных предикатов: трагедия/комедия, земля/подземелье, католицизм/протестантизм, литературная речь/разговорная речь. Разрушительные функции везде берет на себя знаменатель соотношения, когда забывает свое место и принимает гордое решение стать числителем (совершает ИНВЕРСИЮ). Протестантизм тогда замещается по меньшей мере атеизмом, подземелье — преисподней, разговорная речь — жаргоном. Революционная деятельность такого «знаменателя», как правило, упраздняет сакральные традиции (вместе короля на троне восседает шут). Понятно, затеявший инверсию «знаменатель» рубит тот самый сук, на котором сидит, поскольку носитель зла уничтожает не только жертву, но и себя самого.

Логический сатанизм, конечно, возможен еще и по добросовестному неведению простого факта: любой отдельный термин есть предикат суждения. Субъект суждений антиномии, как мы знаем, — это бывший репрезентант А-ряда, первое ПОНЯТИЕ возникающего умозаключения, тогда как предикаты — это обратные ТЕРМИНЫ, определ-ения, односторонние половинки, лишь вместе, в одном соотношении составляющие ВТОРОЕ ПОНЯТИЕ умозаключения. Если отождествить эти термины, то исчезает соотношение, исчезает антиномия, исчезает второе понятие умозаключения, исчезает само умозаключение. К счастью, это невозможно. Силы адавы способны не уничтожить, а лишь вывернуть наизнанку соотношение терминов, подвергнуть его инверсии. Отождествление обратных предикатов ведет к инверсии. Происходит ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ

терминов. Если, допустим, есть соотношение Бог/человек, то при отождествлении образуется такая пара: Бог есть человек, человек есть Бог. Бог назван человеком, человек — богом. Возникает обратное соотношение: человек/Бог.

Вот ещё один конкретный пример: если есть репрезентант «кон» (такое «китайское» слово без приставки и суффикса), то почему бы не выяснить: а что такое «кон»? В ходе размышлений рассудок обнаруживает антиномию, которая давно существует в русском языке: 1) кон есть ис-кон (начало), 2) кон есть не-искон (конец). Кон есть сразу начало и конец — любой этимологический словарь это подтверждает. Искон и конец друг друга определяют, ставят друг другу предел, границу, ограничивают друг друга. Если по одну сторону границы расположился «искон», то по другую — «конец».

Если же попытаться сделать предикат «искон» (начало) субъектом некоего суждения, то мы и получим логический сатанизм: начале есть... что? Некое не-начало. Что же такое «не-начало»? Черт из табакерки немедленно подсказывает: «Начало есть не-начало, т.е. конец» (добро есть зло, сладкое — это горькое, консерватизм есть революция, традиция есть авангард). Ныне адептов логического сатанизма — хоть пруд пруди. Нынче можно просить даже и про некую партию, желающую «воссоединить в своей идеологии старообрядчество и постмодерн». Важно лишь понять: какая из множества «старообрядческих» сект имеется в виду...

Слово «ПОСТМОДЕРН» тут как раз кстати, потому что это просто другое название логического сатанизма, являющего себя ныне в литературе, кино, театре и пр. Эпоха победившего постмодерна — это время наконец-то одолевшего (одолевшего?) все препятствия европейского сатанизма, шедшего к своей победе с начала второго тысячелетия. Это победа разрушителей христианской культуры, пиррова победа, которая разрушает и всю так называемую западную цивилизацию.

Постмодернизм реализовал рецепт, которому не одна тысяча лет: «Отсутствие, исчезновение, размывание всяческих понятий и ценностей (история, традиция, новаторство, стиль, истина реальность, смысл и прочее) превратилось в течение второй половины XX в. в один из главных потоков мышления человека о себе, в особенности же в орбите постструктуралистской мысли 70-х и 80-х гг., с ее ключевым понятием «постмодернизма», прилагательным к сознанию, ментальности, обществу, искусству. Лиотар, Бодрийар, Деррида, Джеймсон, Делез, Гуаттари стали классиками и «светочами» этих умонастроений. Они описали человеческое «Я», которое, в сущности, утратило себя. /.../ Именно проблема утраты себя, невозможности сказать хоть что-либо определенное о чем-либо, касающемся человека, превращается в центральную проблему художественной критики и философии культуры накануне конца тысячелетия. Блестяще написанные книги и статьи толкуют в это время о том, что искусство отбрасывает или разрушает принципиальные различия между смыслом и бессмыслицей, прекрасным и уродливым, значительным и незначительным и т.д. /.../ В одном из тех пассажей, которые принесли автору славу «учителя жизни» и духовного вождя, Жан Бодрийар писал, что к концу века люди утратили способность РАЗЛИЧАТЬ И ПРОТИВОПОСТАВЛЯТЬ друг другу все то, что прежде было ПОЛЯРНЫМИ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЯМИ. «В политике смешалось «левое» и «правое», в средствах коммуникации — истина и ложь, в мире предметов — полезность и бесполезность, а природа и культура сливаются на уровне сигнификации». ...Рождающиеся на такой почве артефакты (визуальные, словесные, звуковые) Фредерик Джеймсон назвал «шизофреническими». В этом по-американски прямолинейном определении подразумевается отсутствие структурированной, организованной, целостной точки зрения на мир» (Якимович А.К. Тоталитаризм и независимая культура//Вопросы философии. 1991. №11. С.16). «Невил Уэйкфилд, один из лучших исследователей постмодернистской культуры Запада, вспомнил даже о таком страшном биче «общества вседозволенности», как болезни иммунных систем. По его словам, культура также как бы утратила или разрушила своя прежние иммунные системы, которые прежде давали уверенность в том, что человек умеет отделять факт от фикции, истину от лжи, реальность от воображения» (там же. С.17). «Примечателен и многозначителен тот факт, что независимая культура в СССР (т.е. искусство, литература, мысль, развившиеся альтернативным порядком относительно официальных инстанций и постулатов) в известных отношениях изоморфны современной и параллельной культуре Запада. А именно, наша независимая культура постоянно задавала вопрос о разумности и безумности бытия, постоянно уклоняясь от определенного ответа и заставляя подзревать, что такого ответа не существует. Она свидетельствовала о смешанности, смазанности, неразличимости всех прочих возможных смыслов и ценностей... Например, картины, альбомы и «инсталляции» И.Кабакова ... являются собой эксперименты, призванные подтвердить исчезновение иерархических структур и бинарных оппозиций». У В.Войновича «слабый оказывается сильным, умный — глупым, невиновный ... злейшим преступником» (там же. С.17,19). Возник «тип личности, который характеризуется утратой способности различать и противопоставлять смысловые оппозиции.. Темное и светлое, хорошее и дурное, разумное и неразумное становятся «безразличными» или плохо различимыми, изменчивыми или аморфными. Сумеречное, «расфокусированное» или «раздробленное» сознание, «личность без свойств» (т.е. уже не личность в прежнем понимании слова) — таковы результаты этой эволюции (или, точнее, де-волюции) человеческого существа» (там же. С. 20).

В сакральном мире существует абсолютный запрет: нельзя термин-предикат делать субъектом суждения, чтобы не возник соблазн отождествления противоположностей. Предикаты антиномии находятся в ОТНОШЕНИИ друг к другу, что записывается просто: бесконечность/нуль, утверждение/отрицание, правый/левый, коричневый/красный, нацист/интернационалист и т.д. Логический сатанизм, господствующий в эпоху десакрализации (секуляризации) мира, — это логика разрушения всех и всяческих структур, в том числе государственных. Однако в конце концов, когда уже нечего разрушать даже и в душе человека, наступает разрушение разрушения. И тогда приходят новое небо и новая земля.

Не надо думать, будто логический сатанизм имеет место лишь в нравственной сфере или в литературе,

искусстве. Как некий технологический прием он возможен даже в естествознании. Конечно, и тут речь идет о болезни разума, заводящей его в тупик. В физике, например, теоретик иногда пытается свести одно из понятий (или один из терминов) к другому: время — к пространству (попытка выдать время за четвертую пространственную координату), вещество — к полю.

Тут тысячелетний способ мышления, заключающийся в отождествлении противоположностей, когда, например, вещество рассматривается как такая область в пространстве, где поле чрезвычайно сильно. Здесь в фундаменте древнейшее изречение: «Всё есть Ничто».

Конечно, это добросовестное заблуждение современных ученых, чересчур доверившихся своим древним философствующим предшественникам. Все не есть ничто. Бог творит «все» из ничего. «Все» — это вселенная, космос, который (в качестве субъекта антиномий) может быть наделен противоположными предикатами, в том числе предикатами «бытие» и «не-бытие» («становление»), которые нельзя отождествлять. Здесь абсолютный логический запрет, сформулированный еще пророком Исaiей. Все его нарушители сразу же входят в зону «логического сатанизма», т.е. в тупик» /ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ конкретно-иероглифического, абстрактно-алфавитного, научно-символического человека. Екатеринбург, 2001/.

АТАКА

За давностию лет у меня создалось впечатление, будто атака началась после публикации моего письма в московском журнале. Но документы опровергают это мое впечатление. Их раздобыл Бортников... Уже через полмесяца после зрительской конференции в Свердловское отделение союза журналистов СССР пришло письмо от председателя правления местной нашей организации союза театральных деятелей РСФСР и председателя секции критики (назовем их условно Усиньев и Бубин): «От имени правления Свердловской организации СТД РСФСР хотим обратить Ваше внимание на характер и идейную направленность общественной деятельности членов СЖ СССР Бортникова Ю.В., Степановой М.К., Степанова Б.И. В последнее время их выступления на различных городских собраниях, на телевидении и радио носят выраженный националистический характер, для чего используются подлинно благородные понятия - любовь к своему отечеству, утверждение истоков своей национальной культуры. Особенно отчетливо это выразилось на заседании общества «Отечество» 30 января 1987 г. О характере этого заседания Вы сами сможете сделать вывод из текста расшифрованной магнитофонной записи, которую мы прилагаем.

Мы совершенно уверены, что люди, состоящие в самом партийном из творческих союзов, должны особенно ответственно относиться к своей общественной деятельности и строить ее только на позициях марксистско-ленинской идеологии. Подписи».

Однако самый партийный из творческих союзов никак не откликнулся на жалобу театральных деятелей РСФСР. И тогда осенью атака была возобновлена: «16 февраля с.г. мы направили Вам письмо, в котором выразили критическое отношение к выступлениям членов вашего Союза (имя рек), носившим ярко выраженный националистический характер. Мы приложили и стенограмму заседания историко-культурного общества «Отечество», на котором обсуждались спектакли свердловских театров с участием названных лиц и прозвучали профессионально-безграмотные, клеветнические по своей сути, оскорбляющие достоинство советских художников измышления. До сих пор Ваша организация не выразила своего отношения, не ответила на наше письмо, что, думается, противоречит самому характеру взаимоотношений между творческими союзами... Нас удивляет столь долгое молчание руководства СЖ, его безразличное отношение к нашему обращению. Надеемся, что сейчас мы получим Ваш ответ. Подпись».

Тут уж отмолчаться было невозможно, поскольку после публикации в «Нашем современнике» поднялся всесоюзный гвалт. Очень громко закричали и затопали ногами великие актеры, знаменитые критики и журналисты. Зазвенело в ушах у деятелей обкома КПСС. Поэтому 29 октября 1987 года было принято постановление президиума правления областной организации СЖ СССР «О работе первичных организаций комитета по РВ и ТВ (там состояла на учете Мария), редакции журнала «Уральский следопыт» (там возглавлял первичную организацию Ю. Бортников), многотиражных газет г. Свердловска (там состоял на учете научный сотрудник Б. Степанов) по воспитанию у членов Союза журналистов нового мышления в понимании истории и отражении этих проблем в средствах массовой информации и пропаганды».

Работа первичных организаций «по воспитанию нового мышления в понимании» была признана «не в полной мере удовлетворительной». В пункте втором постановления наши действия были осуждены, а первичным организациям было предписано рассмотреть наши отчеты «о выполнении требований Устава СЖ СССР». Пункт четвертый потребовал «от секретарей первичных организаций (имя рек) коренной перестройки воспитания у членов Союза нового мышления, высокой партийности в понимании истории партии и государства, отражении этих проблем в средствах массовой информации и пропаганды на основе требований ЦК КПСС и 6-го съезда СЖ СССР».

Бортников был строго предупрежден «об ответственности за выполнение требований Устава СЖ СССР по активной борьбе за дело КПСС, ведении решительной борьбы с любыми проявлениями буржуазной идеологии и другими чуждыми социалистическому образу жизни взглядами и явлениями».

Надобно сказать, что все постановления реализуют (или не реализуют) люди. Конечно, я сходил на заседание своей первичной ячейки, но там меня, грешного, большинством голосов осуждать не стали, хоть и были, естественно, желающие (особенно старался бывший главный цензор области).

Иным было положение в академическом институте, куда я в 73-м году ушел с областного телевидения

- на должность научного сотрудника, редактирующего всевозможные тексты: научные рекомендации, сборники статей и тезисов, доклады и т.д. Попутно я сдавал кандидатские экзамены и упоенно занимался логическими измышлениями. В 87-м году как раз была готова статья на сорок с лишним страниц «Формализованная процедура ответа» (прикладной аспект: «Логические основы амбивалентной экономики»). Однако тут случилось все то, что случилось... Уж не знаю, на каком уровне принимались решения (мне намекали, что давит обком КПСС), но наши мудрецы срочно осуществили «антисемитскую акцию», заменив моего русского начальника евреем, который и назначил мне досрочную переекспертацию. Нашелся лишь один человек в аттестационной комиссии, поддержавший меня - доктор наук, социолог Борис Павлов. (Мы с ним когда-то по заданию высоких партийных органов в одной команде с упоением косили в лесу крапиву – на корм скоту.) Все остальные послушно выполнили приказ, и в начале 88-го года я оказался на должности ... инженера институтского вычислительного центра – с резким уменьшением зарплаты. Но решил ни в коем случае не увольняться. Пришлось срочно овладеть искусством общения с нашей огромной ЭВМ и попутно писать протесты в самые разные инстанции.

С Марии в это же время «сняли» вторую группу инвалидности (знай, мол, наших). Она тогда пыталась еще «внештатничать» на радио, выдала передачу с обзором читательской конференции. Про издевательство над классикой в нашем оперном театре и ТЮЗе. После этого (через полгода?) сняли с работы Люду Коршик, главного редактора, а Машу в эфир больше не пускали. Такие дела...

«Боречка, это я. Только разъединили нас – и я вспомнила, что забыла сказать: Кузя же приехал. Он позвонил из аэропорта, весь больной, чуть ли не кровохаркающий, обвешанный дитями – своими и сестринными. Сестра тоже с ним. Сказал, что едет отлеживаться к матери, появится через неделю. Значит, было это в среду двадцатого – вот и соображай.

В студии пока ничего хорошего. Новый начальник Копосов объявил Люде Коршик выговор приказом по комитету – за новую программу «Час пик», которая выходит в 7.15 утра. Алла Бородина говорит, что она даже на работу из-за этой передачи опаздывает – так здорово! Вышло 3 или 4 выпуска, и началось. Тексты затребовали в обком КПСС, Людке выговор, а вчера Копосов снял весь выпуск очередной и заявил: «Завтра придётся объявить вам, Людмила Петровна, строгий выговор». Кугар и Дина от него не выходят. Про Швильку сказал, что она на студии «единственный принципиальный журналист». В присутствии Кугара заявляет, что партийное взыскание, которое Людка получила за «Семеновские передачи» – это мизер. Все «книжники и фарисеи» на коне! Шищенко вещает в коридорах: она ни минуты не сомневалась, что «справедливость восторжествует». Может быть, я безнадежный оптимист, но мне кажется, что он ведет себя так, чтобы ИХ успокоить. Люда говорит, что я полная дура, что он ей заявил прозрачно: «Мне нужны такие главные, при которых бы я спал спокойно». Собирается уходить сама, пока не уволил по статье.

Настроение сам понимаешь какое. Радийщики наши тоже все в трансе, так все начали суетиться с этой программой. Я одну слышала – своим ушам не поверила.

Потребовали у Копосова собрания – он сказал, что не собирается тратить время на обсуждение вещей, для него очевидных. Звонила Виктория Степановна из Первоуральска, читала по телефону копию письма Вилисова «президенту» Громько – насчет алкоголизации народа. Читала и плакала. Ты бы хоть ему письмо написал – просто о том о сём. Его надо поддерживать, он там совсем один. Ну, ладно, хватит про это, переделается – мука будет.

В ванной у нас блеск и нищета куртизанок. Сделала твой коврик (казахский хлопчатобумажный орнамент, под которым я в детстве спал. – Б.С.) – на секретер сбоку, и подлокотники на кресло, очень красиво. Я хоть рада, что тебе погода фартит. Живи себе, второго такого рая тебе не будет. Да, ты ведь ещё не знаешь, что при выезде из Кашиной мы купили у Степаниды Емельяновны два ведра картошки, 4 кг чёрной смородины и 2 кг малины. Так что кое-какие запасы формируются.

Сижу и пишу тебе письмо на новом месте (приснишь жених невесте) – за секретером. Долго не могла сосредоточиться, отвлекают фотографии. А потом стала смотреть в окно – и поехало. Не знаю, как буду к секретеру привыкать. Тебе хорошо, ты к нему привычный... Да тебе и всё равно, лишь бы было где притулиться.

(В последний свой год на земле она поставила почти совсем к окну наш лакированный стол и вылезла к нему утром прямо из постели в одной ночной рубашке, чтобы писать свои последние вещи. Смотрела в окно на тополя и клёны. Они стоят до сих пор на Коковинке. Коковень – это стужа. Впрочем, скоро тополя и здесь уничтожат.)

Ну всё, Боречка, я закругляюсь. Юля с Пашей пошли в магазин, я отправлю с ними письмо.

Обнимаю, твоя жена».

Это июль 1988 года.

Вместе с письмом лежит бумажка, где Мария перебирала варианты заголовков (теперь уж не узнать, к какому-такому своему тексту):

О чём ты хочешь спросить?..

Может, завтра выйдет солнце?..

Уныние бесовское далече от меня отжени, Господи!

Да, конечно, надобно стать на колени и попросить: «Уныние бесовское далече от меня отжени, Господи...»

Может, завтра выйдет солнце?

РЕПОРТАЖ С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ

Последние годы... Мария в Москве, Новосибирске, Новокузнецке. И пишет, пишет... летопись эпохи.

Осенью 88-го повела свою старую полузабытую подружку в «штаб», в «Уральский следопыт» – к председателю Общества русской культуры Юре Бортникову (я тогда с ним уже «не дружил» – в силу множества политических несогласий), а потом оттуда звонок: вызвали скорую, Маше плохо. Я быстро туда, и мы поехали в нашу больницу скорой помощи... в приёмном отделении всё время ела нитроглицерин... у меня на сердце смертная тоска... как всегда... Однако добрая дежурила женщина, быстро определила Машу в палату, поставила укол, а мне сказала: сейчас она будет спать, всё будет хорошо. На следующий день она уже отпросилась из больницы.

Однажды ей, впрочем, поставили такой укол, что чуть не выбросилась из окна лечебного учреждения – такое возникло состояние. В каком это было году? В 87-м? Мария потом сама нажала на медсестру, и та призналась, что ей назначили дро... дра... перидол... пиредол... что-то эдакое, ординарное, на что она однажды уже реагировала именно таким образом. И всё-таки назначили вторично. Лучше (по возможности, конечно) в больницах не лежать, если увлекаешься политикой.

Конечно, петля на шее у Марии появилась ещё в конце 70-х, когда она соединила в своей журналистике песни военных лет, русский фольклор, Лену Камбурову (а это Пушкин, Мандельштам, лучшие вещи Окуджавы, Рубцов, Лермонтов, Тютчев – такой русско-еврейский благородный синтез, нож в сердце националистическому кагалу), наши песенные и прочие памятники истории и культуры. У Марии была такая широкая палитра. Одна из её работ начала 80-х – «Скорая помощь». Зам председателя телерадиокомитета Михаил Степаныч Прохоров, добрый мужик, сразу схватил передачу и спрятал в сейф: «Ты, Мария, дура что ли?» Он-то понимал, какая петля затянется, если передача пойдёт по высоким инстанциям.

Она там путешествовала по городу с бригадой скорой помощи: страна травилась таблетками... денатуратом... водкой... погибала в одиночестве и нужде... она выворачивалась блевотиной, хрипела и хакала ей в микрофон. И тут же:

Воистину великолепны великие замыслы,
рай для людей, всеобщее братство...

Всё это было бы достижимо,
если б не люди...

Ах, если б не было людей!

Надо идти на штурм –
освобождать человечество,
а они не спеша
идут в парикмахерскую!

Сегодня на карту
поставлено будущее,
а они говорят,
что недурно бы выпить пи-ва...

Люди только мешают,
путаются под ногами,
вечно чего-то... чего-то...
чего-то хотят.

От них одни неприятности!

Ах, если б не было людей...

Я цитирую песню по памяти, но если путаю, то не очень. Теперь ситуация вывернулась наизнанку: в человеческие души льётся лишь пиво и парикмахерский одеколон (если говорить о приоритетах Государства). Но такую передачу и сегодня не пустили бы в эфир. Лена Камбурова сделала песню на грани возможного. А в соединении с трагическими записями Марии всё это звучало приговором системе абстрактного социализма... а сегодня бы прозвучало приговором системе бандитского капитализма. Что делать... без Христа любые социализмы и капитализмы – «две дороги к одному обрыву» (так, кажется, сформулировал проблему математик Игорь Шафаревич).

Вот так. Как Марию ещё тогда не убили? Ещё тогда. В начале третьего тысячелетия в областном комитете по радиовещанию и телевидению нашли два рулона Марии: с этой передачей и с концертом Лены Камбуровой. Нашли – и размагнитили. А потом и сам комитет «размагнитили»...

«Вольный голос. Лёша Коляда тут же подставил плечо песне, а потом, разом, – и девушки, и все вместе, утопая в распевах, стали раскачивать её, разводить по закоулкам души.

Плакать я не смею,
А тужить не велят,
Только мне велят
Да потихонечку дышать.

Нет, я не могу надеяться, что воскресшая из мёртвых казачья песня прорвалась сквозь дым студенческих сигарет... Но к кому-то всё же протиснулись далёкие звуки, толкнули к нашему острову. Один встал за спиной. Другой, видно, стыдясь приблизиться – нет ещё с Запада разрешения любить родные песни! – рискуя

порвать пятнистую джинсовую униформу, присел на корточки в стороне, у расписания. Третий встал напротив – глаза в глаза. Руки на груди. Ещё молодая пара – да с младенцем! Пацану года три. Слушай, слушай, малыш. Пройдёт время, и тебе всё это вспомнится: эти косы – тяжёлыми струями по цветистым шалам, эти чистые глаза, эта казачья печаль и вольница.

... Уходили с биофака МГУ – как пришли. Не зваными, не провожаемыми. Хотя нет, не точно: какой-то биолог с бантиком на голове припрыгивал сбоку, муторно взвизгивая. Знаем, дескать, мы этих лаптей, давили – не передавили. Те, что слушали, а потом и подпевать пробовали, не одёрнули. Может, не рискнули. Может, не мелочились.

С казачьей песней (Бутров, Данилишина, Борзаковская, Коляда, Рыжова, Маранина, Кокунько, Гетенко) нас свела судьба. В многомиллионной Москве, среди преисподних метро, среди хитросплетений наречий, точно зная все неисповедимые пути и не смущаясь отпущенным трёхдневным сроком, она прочертила крестом две дороги и в точке пересечения соединила нас. (По Божьей воле?)

В первый вечер, когда мягкомебельная зелёная гостиная ЦДЛ... сначала оцепенела от голоса Лены Сапоговой, а потом качнулась под каблуками этих с виду тихих аборигенов, я подумала: ничего себе... откуда? Ну всё же вытоптано, выжжено, обеззвучено – так откуда же? Вроде и рублено было со знанием дела – под корень. Откуда же у Наташи Борзаковской или у Ларисы Данилишиной этот многовековой проголосный звук? Разве тому учат их в институте Гнесиных? А Марина Рыжова? Кто она в конце-то концов – техник-экономист или баба рязанская, не замутнённая столичным мегаполисом? Как уберегли они свои простоволосые головы, не состригли косы, не урезали юбки, не размалевали лица?..

Из ЦДЛ – пешком по вечерней Москве до метро. Песня, вырвавшись на улицу, играет прохожими, заставляет оглядываться, смеяться и даже менять маршруты и следовать за собою. Очарованная этим песенным шествием, я не сразу оценила их подвижность. Только потом, назавтра, в прокуренном вестибюле биофака...

На улице Разина (бывшая Варварка), где они собираются по вечерам в братском корпусе бывшего Знаменского монастыря, иностранцы щёлкают фотоаппаратами. Их экскурсовод, представившаяся Ниной из Прибалтики, изумлялась, покачивая шестиконечной звездой в ухе, и восхищалась, и спрашивала, много ли в России ещё таких. Мы отвечали: целый народ, только он спит пока, как Илья Муромец.

А тут, как по заказу, появилось ещё одно безмерное существо – учительница литературы и русского языка с выводком пятиклассников. Юлия Дмитриевна Шургина... У них задача: до последнего пилястра изучить архитектуру Москвы, а значит, и историю, и имена, Россию прославившие. Когда девушки привечали гостей, слетела весть о завтрашнем дне. Назавтра, в день сорока мучеников Севастийских, едем в Подмосковье жаворонков закликасть. Юлия Дмитриевна со своими птенцами объявила, что они едут с нами.

Но ведь был ещё день, и днём мы ходили смотреть костюмы. Что говорит нам народный художник СССР профессор И.С.Глазунов? Он говорит: «Русский народный костюм – это самая высокая, самая яростная исповедь русского народа о своей истории». Воистину так. Костюмы Василий Бутров покупал в деревне Секирино Рязанской области. Оказывается, там шьют и по сей день и запоны, и шушки, и рубахи с полетами. Секиринские полеты – только ахай! Так и переливаются на плечах шитьём да украшением. А знаете ли вы, что такое размётка? Украшение на грудь, разметанное широко, от предплечья до предплечья. А на него сверху ещё одно – поднизь. А на поднизь – чОпка. Нанизываются из бисера, жемчуга. Надень такую красоту в три слоя да собери волосы под кичку (головной убор) – любая дурнушка царицей будет. Несколько часов рассматривали, примеряли запоны, шали, коски. Не могли наглядеться, насытиться. Марина Рыжова когда поёт – вижу и слышу в ней всё испытавшую вековую старуху. А тут с этими костюмами – как дитя малое. Испримерялась, извертелась, исщебеталась.

Я бы вдохнула тяжёлёхонько,

Возлетела бы да возвилася бы да высокохонько,

Полетела бы – да у меня крылышков нет...

Красота песни, одежды одухотворялась словом, смыслом...

И вот наша поездка. Накануне девушки, подозреваю, долго не спали: пекли жаворонков. И когда шофер битком набитого рейсового автобуса, впопад и невпопад подпевавшего «казАчкам», заявил, на конечной остановке, что повезёт нас дальше, до самой усадьбы Пришвина, к нему к первому в кабину посыпались жаворонки, и пирожки, и конфеты. Дети Юлии Дмитриевны тоже явились с полными кошелками и ещё в электричке пошли по вагону, угощая всех направо и налево. Шофер объявил, что приедет за нами в 17.30. Это было, честно говоря, кстати, потому что с нами было много детей. Только школьный выводок был на новенького, остальные – опытные певчие, ученики Ларисы и Наташи. Пятилетняя Настя Ганичева, например, уже запевала со стажем.

Жаворонки, жаворонки,

Унесите от нас,

Жаворонки, жаворонки,

Зиму холодную...

Дети с восторгом отсылали жаворонков в небо, думаю, буквально воспринимая смысл закличек. Мы же, взрослые, подбрасывая испеченных птиц – кто выше! – над обрывом, выпроваживали с зимою злые исторические ветры, за короткий срок оголившие нашу Русь, иссушившие нашу память.

Только бы успеть оттаять, пустить корни, подняться.

В доме-музее Пришвина нас ждали. Был стол – от стены до стены. Мы не уместились за него все, но в комнату всё же втиснулись, как-то распределились по углам, по лавкам, по креслам – и были все вместе. Директор музея Лидия Александровна Рязанова и её помощники угощали нас горячей картошкой и чаем. Стол ломился от вкуснейших обыденностей: у кого рыбка, к кого пирожки, у кого сладости – выложили всё. Лидия Александровна, кстати, тоже, видно, из разряда «безразмерных». Двадцать лет здесь, в Дунине, бережёт имя писателя, ни строчки не написавшего против совести. Рязанова и сама живёт по-пришвински, подтверждая его слова, что яблоня смиренно рождает только то, к чему она призвана. Она не может быть ни грушой, ни сливою. В этом году в музее закончена работа над 8-томным собранием сочинений М.М.Пришвина.

Песни в тот день лились, как вешние воды.

–Никто нас не разлучит, ни Бог, ни громада, ни добрая рада, – пела Сапогова.

Всё это слушали дети. Самому малому было три года. Эти дети и вся эта духовно единая семья за столом в пришвинском доме держали во мне веру в неминуемое воскресение России, когда через день мы сели в поезд, и он повлёт нас домой, на Урал, к стенам родного Екатеринбурга. В поезде, как известно, сладко спится и у окна хорошо думается. Вот и думалось: мы много сил сегодня тратим не на то, нас дразнят то с экрана, то из «видика», то с пластинки, то в печати. Мы сердимся, подрываем себя раздражением и гневом. Не проще ли отринуть козни и начать упорно собирать свое русское застолье – доброе, мирное, созидающее».

Это «Советская Россия», 1990-й, апрель. За два-три года до этого Мария как раз и пыталась пером и микрофоном воевать с чумой рок-н-ролла, её выталкивали с рокерских междусобойчиков, рвали с плеча магнитофон... Рокеров опекал обком КПСС, комсомол, КГБ, отдел культуры советского исполкома. Не давали в обиду.

Кто-то ей сказал, обратил внимание, что имя группы «Урфин джус» можно перевести на русский очень смешно: еврейский сирота. И что, мол, русский рок на самом деле в своих национальных (безнациональных!) основаниях всё-таки скорее еврейский рок (как позднее «русская мафия» или «новые русские»). И что он служит всё тому же комиссарскому делу – искоренению русской национальной культуры (кстати, и еврейской – тоже). И уж тогда стало ясно: только Православие и народная культура могут противостоять... могут оказать сопротивление тотальной сатанизации молодёжи. Но они ж сами всё время находятся под уничтожающим огнём...

Мария пишет: «Если утеряна эмоциональная связь с народными песнями (в переводе на русский – если они ничего не говорят сердцу), то дело тут почти безнадежное, тут никакие словесные доказательства ничего не докажут.

Можно доказать, что дважды четыре – восемь. И можно под угрозой двойки заставить это выучить. Но нельзя силой, насильно заставить полюбить отца с матерью, деда, прадеда. Любовь – это же дело деликатное. Нельзя приказать: сейчас же полюби свою родину, её древнюю культуру и её старые песни, сейчас же иди в малый зал консерватории слушать причеты Дарьи Спиридоновны Воробьёвой. Можно лишь попросить: послушайте, пожалуйста... Может, вы тоже найдёте здесь что-то близкое себе, родное, без чего трудно жить.

Увы, зал был почти пуст. Но вот ведь интересно: я пишу это и как будто сама себя обманываю, потому что ощущения пустого зала как раз и не было. С самого появления деревенских женщин, когда они, бестолково потолкавшись у двери, двинулись к месту выступления – полукружью стульев – и, расположившись, с ходу поделились с нами своими переживаниями: вот, дескать, не знаем, как и споём – в зале стало как-то очень уютно. Мы тут же откликнулись, заверив, что всё будет хорошо.

Не велела, не велела

Мать за реченьку ходить...

– тихонько постукивая по руке соседку, затянула Валентина Михайловна Ермакова. Песня взялась сразу, поплыла к нам, ища дорогу к сердцу. Негромкая, неброская, печальная, красивая, долгая – как сама жизнь. Где-то на середине вдруг случилась заминка. Валентина Михайловна сказала нам: «Ничё. Исправимся щас», – и песня продолжила дальше.

Бурниновские все в годах, хотя и не старые. И песни у них не самые старинные. Они потом, после выступления, сетовали: «Песельницы-то все перемерли, мы тогда уж спохватились». Они в одинаковых, недавно пошитых костюмах. Мне кажется, это стесняет песню, как бы укорачивает широту её. Может быть, от того, что сразу в памяти: неживой экран телевизора, а в нём – одинаковые лицом и статью павы в кокошниках с блёстками тянут обездушенную русскую песню с экрана к нам.

Бурниновские, конечно, не павы. Они настоящие, живые. Они брякают нам в зал какие-то языковые мелочи, которые в нашей городской речи уже, кажется, и не способны родиться. И поют – плакать хочется, и вовсе не от печальных слов, а от какого-то необъяснимого счастливого чувства: жива ещё русская песня! Но с костюмами хотелось бы так: либо из сундуков – как вышли за ними каменноозёрские, – либо обычная, нынешняя одежда.

А из Каменного Озера получился и в самом деле букет. Во-первых, все в костюмах и платьях бабушек и прабабушек. Говорят, собирали по всей деревне – сундуки перетрясали... Во-вторых, там почти всё молодёжь. Собственно, бабуси только две: Антонина Ивановна Воробьёва и Дарья Спиридоновна Воробьёва – обе под чёрными кружевными платями. А Тамару Николаевну Пруткову хочется называть просто Тамарой, но нельзя, она – учитель, ведет в каменноозёрской школе русский язык и литературу. И говорить не надо, что её дети – не «немтыри», знают русские песни, свои собственные. Не городской романс «Вот мчится тройка почтовая», а вот эти, деревенские, уральские:

Ой, не было ветров,
Ой, не было ветров –
Вдруг навенули,
Вдруг навенули...

Галина Алексеевна Осинцева обеих дочерей замуж выдавала по-старинному. Они и нам пели в тот день свадебные песни, и Дарья Спиридоновна причитала по невесте, а мы ревели и швыркали носами. А потом были плясовые хороводы, и консерваторский пол принял жизнеутверждающую дробь каблучков: сначала каменноозёрских, потом бурниновских и зрительских – вместе.

Ой, не было гостей,
Ой, не было гостей –
Вдруг наехали,
Вдруг наехали...

Песни были знакомы мне. Вспомнила новогоднюю ночь, когда встречали 85-й. Типовая квартирка Лены Сапоговой на девятом этаже уралмашевского небоскрёба будто раздвинула свои пределы: клуб политической песни ДК УЗТМ явился в полном составе. Потомство, принесённое на руках и привезенное в колясках, галдело и пугалось под ногами, беспрепятственно завладевало самодельными трещотками, гусями, бубнами, стоял невообразимый гвалт, и одновременно с ним вошло в квартиру и тихо стояло где-то не слыханное и не виданное мною никогда прежде умиротворение. Как мы пели в ту ночь!

Да, я гордо пишу: «мы», потому что теперь уже знаю кое-какие народные песни, и дома, когда одна, блажу на всю квартиру, пугая бедных соседей. В общем же хоре научилась тихонько, с краешку приставлять и свой голос, и дух захватывает от того, что он не помешал, никуда не вылез, а живёт в песне вместе со всеми.

...Между прочим, руководитель клуба Владимир Теплов (он теперь ещё и председатель фольклорной секции совета областного отделения Общества охраны памятников истории и культуры) – выпускник нашей консерватории, его жена Наташа – тоже. Год за годом складывались так, что народная культура стала главным делом их жизни».

Это из молодёжной газеты «На смену!», март 86-го. Даю только кусочки, отрывки...

Потом мы все вышли из филармонии и почему-то встали под аркой. Потому что шёл дождь? Стояли и пели протяжную и печальную русскую песню. Почему-то до сих пор помню, как мы тогда стояли и пели. А ведь с тех пор минуло чуть не семнадцать лет...

На улице дождик,
с вёдра поливает...
С вёдра поливает,
брат сестру качает:
Вырастешь большая –
отдадут ты замуж...
отдадут ты замуж
во чужие люди...

Мы вот чуть не сто лет всё мыкаемся во чужих людях. А может триста?

...Летом 89-го Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры наградило Марию грамотой («третья премия – авторские материалы, опубликованные в уральских газетных изданиях и журнале «Наш современник»). Она тогда говорила: «Только русские песни... Больше знать ничего не хочу». Сердилась на меня, когда я вдруг нечаянно начинал бунчать себе под нос какое-нибудь танго конца 30-х годов.

А в сентябре 91-го Маша решила срочно-срочно, быстро-быстро ... обвенчаться. Ей тогда казалось, что мир рушится (августовский фарс, угроза гражданской войны и т.д.). Вечером восьмого сентября (в воскресенье) зять мой Павел привез меня из деревни, а Мария говорит: «Боречка, мой хороший, завтра пойдем в церковь, я уже договорилась. Иначе всё невероятно затянется - чуть не до следующего воскресенья...»

Как с печки упали... Но если мир рушится, то, само собой, нам нужно успеть обвенчаться. Икону Господа нашего Иисуса Христа я купил в притворе за пять минут до таинства (икону Пресвятой Богородицы и дореволюционное Евангелие подарил Иван Данилович Самойлов в Алапаевске еще весной 81-го). Венчал нас отец Иоанн Осипович вместе с диаконом Георгием Еремеевым. Отец Иоанн как раз и крестил раба Божия Бориса в феврале 1989 года. Тогда меня Мария тоже срочно-срочно выгнала. Не выгони - так я бы еще три года ходил вокруг да около, размазывая интеллигентские сопли. Ждал бы вдохновения, озарения, осияния - не знаю чего еще там. Нашего брата иногда надо просто подтолкнуть.

Кстати, икона Божией Матери пришла тогда к нам вовремя - чтобы спасти от смерти Марию девятого апреля. Так? Она тогда чуть не погибла на кладбище, отправившись туда в день рождения своей матери. Но Богородица нас пожалела и послала мне сон, под впечатлением которого я сбежал с работы, чтобы отправиться вместе с нею. Говорят, чрез икону соединяются вечность и время, мир невидимый и мир видимый. Это окно в мир иной.

Был у Марии еще бумажный православный образок, оставленный ей матерью. Однако она оставила его в сумке на стуле весной 1992-го. Мария присутствовала тогда на медицинской конференции в бывшей совпартшколе, ее героиня врач Алла Бородина куда-то отправилась на машине - и Мария срочно-срочно бросилась за ней, оставив сумку. К закрытию она не успела, сумочку сдали на вахту, где она исчезла вместе с иконой. Вскоре Маша обнаружила у себя шарик - раковую опухоль. Я готов согласиться, что потеря иконы и

рак совсем никак не связаны. Может, потеря - просто знак беды?

ОТЕЦ ГЕРМОГЕН

Церковь... венчанье... отец Иоанн и отец Георгий... Однако теперь уже нет диакона Георгия, а есть игумен Гермоген (Еремеев). Он стал монахом в конце мая в тот год, когда Мария преставилась. И вот совпадение: 25 мая, в день рождения Марии, празднуют святого Гермогена... За 18 дней он воздвиг церковь во имя св. Николая Чудотворца, в коей венчались моя внучка Ольга и моя дочь Юлия. Очень уютный, тёплый храм на краю парка.

Отец Гермоген... О нём есть записи в предсмертном дневнике доктора медицинских наук Ивана Ивановича Бенедиктова, изданном недавно в нашей епархии (стараньями отца Сергия Суханова):

«29 сентября 1999 г. Среда.

Господи, благослови.

Вчера произошла удивительная встреча с иеромонахом Гермогеном, который в 1995 году был настоятелем Крестовоздвиженского храма и мне подарил очень интересную духовную богословскую книгу – протоиерея, магистра богословия Григория Дьяченко «Духовный мир. Рассказы и размышления, приводящие к признанию духовного мира» – с дарственной надписью: на молитвенную память дорогому Ивану Ивановичу Бенедиктову от настоятеля Крестовоздвиженского храма. Иеромонах Гермоген (Еремеев), 13. 05. 95 г., Екатеринбург. И подпись. Встреча случайная, но, как говорят философы: случайность – это непознанная необходимость. Встреча должна была быть. И он, о. Гермоген, рассказал мне о чуде, которое произошло с ним. Думаю попросить его написать о себе подробнее и о чуде.

Дело в том, что, когда он был в Ульяновске, в него стреляли и пробили оба лёгких. Пуля, попавшая в левое лёгкое, по траектории движения должна пробить сердце, но хирурги, оперировавшие его, удивились: пуля изменила направление полёта и не повредила сердце, потому удалось его спасти. Это было в Великий пост. Отец Гермоген через 10 дней после двухсторонней торакотомии отправился в храм помолиться. В храме в то время читали покаянный канон св. Андрея Критского. Было физически тяжело... На 4-й песни (последняя Богородичная) было сказано: «Где восхочет Бог, – там нарушается порядок природы, ибо Он творит – что благоизволит», и эта фраза пронзила сознание. Ведь с ним именно это и произошло. После посещения храма он стал быстро поправляться.

(Да, отец Гермоген – удалой игумен. Как-то в ночь на Крещение встречаю его в мокрой рясе: хоть и кашляю, мол, а принял ледяную купель. И вот как стало хорошо! – Б.С.)

8 октября 1999 г. Пятница.

Писать статью о монахах приостановил, жду информации от о. Гермогена. Он сейчас мне рассказал немного о своей прошлой жизни.

1. Верил в Бога с детских лет. В детстве услышал о Николае II, ему показывали старые фотографии императорской семьи. Он очень переживал, когда речь шла об убийстве Царя и его семьи в подвале Ипатьевского дома. Когда приезжал писатель Владимир Солоухин с делегацией из Москвы – к шахте, куда были сброшены тела убитых, то о. Гермоген сопровождал их. Рассказывал подробно.

2. Окончил только первый курс музыкального училища. Обладал хорошим голосом. До этого служил в храме: читал и пел. Из-за этого исключили из училища.

3. Затем пел в хоре оперного театра, а в последующем исполнял вокальные номера. Однажды поехал с театральной группой в Пензу на гастроли, где, кроме театра, пел в церкви. И однажды пришлось по ложной справке пропустить выступление в театре, а вместо этого – петь в церкви, и за это ему был объявлен строгий выговор с предупреждением.

4. Это побудило уйти из театра, поступил по контракту в ансамбль советской армии и поехал в Германию на гастроли, где женился. Но и там, по зависти к его успехам, пришлось оставить ансамбль и вернуться в Свердловск».

Я помню: в 1987 году о. Гермоген (тогда просто Георгий) ходил в наше общество русской культуры. Потом стал диаконом, вёл занятия воскресной школы для взрослых в Доме культуры имени Горького. Мы там его навещали с Марией. По каким-таким делам? Не помню. В 1993 году он служил в Иоанно-Предтеченском храме, и там я его встретил случайно и передал ему нашу газету «Глагол», которую нёс в епархию. Там была статья на целую полосу в защиту архиепископа Мелхиседека.

Он же и Марию причащал у нас дома в последний раз, а потом отпевал перед главным алтарём Кафедрального собора на старом кладбище. Через год совершил панихиду у могилы.

Недавно у него был концерт в филармонии. Знающие люди говорят: «Голос необычайной силы и красоты». Да, это так – я слышал на богослужении.

Глава 8. Церковь. ДРУЗЬЯ и ВРАГИ

ВАВИЛОН

После 1985-го мы с жёнушкой занимались всевозможной культурно-политической борьбой. Весной 93-го пустили в свет, на вольный ветер четыре номера небольшой газеты «Глагол» (совместный выпуск газеты Липатникова «Русский Союз» и «Евразии» Цыбули и Буртника; его, этот «несанкционированный» выпуск, быстренько закрыла наша инспекция по охране свободы печати).

Один из номеров был целиком посвящен американскому памятнику жертвам сталинских репрессий. В городском совете Екатеринбурга шла тогда война двух враждующих лагерей - «за» и «против» сооружения пятиэтажного монстра. На бывшем ипподроме должна была возникнуть огромная голова, плачущая головами поменьше. Против движения чудовищного символа выступил наш архиепископ преосвященнейший Мелхиседек. И вся артель, объединявшая потомков палачей, пострадавших (и не пострадавших) во время междоусобной брани, обрушилась на православного архиерея.

С этой газетой я отправился однажды в епархию, чтобы показать ее владыке. Может быть, наш газетный стон был слишком резким? Не знаю... Судите сами:

«Они были бесплезны, невидимы, но стали вдруг ясно различимы, и тут же себя торжественно наименовали: Ва-ви-лон! Мы-то даже не подозревали, дурачки. Думали: это просто Свердловск, красный город Свердлова, град бетона и стали. Но Вавилон... Что бы это значило? Шумер, Месопотамия, Ассирия... Может быть, что-то объяснит Апокалипсис: «...Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Спасибо Ефиму Е. с радиостанции «Город» - все нам объяснил. Из недели в неделю звучит его радиоголос, течет-ползет-бежит радиопередача «Вавилон» по земле и собирает в себя, вбирает, ассенизирует всю «мерзость земную». От передачи к передаче он лепит и приближает к нам фигуру «жены, сидящей на звере багряном, ...с семью головами и десятью рогами... И на челе ее написано имя: тайна, Вавилон».

Сколько же там рогов и хвостов - в этой первой мартовской передаче и сколько голов? Молчашие, кричащие, отрубленные. Головы-слезы, головы-маски... Половина звучащего времени была отдана памятнику-мемориалу, посвященному жертвам репрессий. Впрочем, в «Вавилоне» не посвящают. Страшные головы-маски «посквернены» жертвам репрессий. Мимо с ребенком не пройти - станет заикаться от страха, какая уж тут святость.

Владыка Мелхиседек, архиепископ Екатеринбургский и Курганский, попытался сказать свое слово, попробовал возразить, но поднялся крик, как на горе Брокен, куда собираются известные дамы на метлах. Городское и областное радио, «Вечерний Екатеринбург», «Уральский рабочий» - прямо-таки зашлись в негодовании: ах, что такое - православный архиепископ посмел высказать собственное мнение (уж так бы себя и называли, как честный Ефим Е.: «Вечерний Вавилон», «Вавилонский рабочий» и т.д.)

Ефим Е., как всегда, был самым откровенным: «Православие - это тоталитаризм! Православие наступает! Скоро у нас будут только кресты и часовни!». Жуткая, однако, картина: журналисты вавилонских средств массовой информации мечутся меж крестов и средь колокольного звона. (Как это, бедняжки, упустили: взрывали, взрывали и недовзрывали - оставили церковь на кладбище да два собора под музеями - без крестов и колоколов).

А теперь учат владыку уму-разуму: «Памятник жертвам тоталитаризма (а репрессиям подвергались все) не должен выражать культурные традиции и сакральную практику никакого отдельно взятого народа. Это было бы просто кощунством по отношению к другим народам, ставшим жертвами тоталитарного насилия. Именно поэтому философское, духовное и нравственное содержание памятника должно быть общечеловеческим, интернациональным по сути...» (это Ефим А. из «Вечернего Вавилона»).

На наш взгляд, общечеловеческий памятник может быть воздвигнут только на общечеловеческой территории, то есть в Антарктиде. В Татарстане он будет выражать татарские национальные традиции, в Башкортостане - башкирские, в Удмуртии - удмуртские и т.д. В той русской области, центром которой является Екатеринбург, он, разумеется, должен хоть как-то отражать русские национальные традиции. «Интернациональными по сути» были и остаются тысячи безликих статуй, как правило, указующих перстом куда-то в неопределенную «общечеловеческую» даль. В России сегодня, наверное, нет ни одной мононациональной области, но это вовсе не значит, будто в связи с этим нужно продолжать семидесятилетнее проектирование «никакого» народа».

В статье подробно разбирались и некоторые другие аргументы вавилонских дезинформаторов. Вот ее конец: «Что ни говори, иногда полезно внимательно послушать обитателей Вавилона... Владыке Мелхиседеку не безразлично состояние души этих обитателей, он их просит: остановитесь, опомнитесь. Нет, в ответ хула и поношения. Но, может быть, все дело в том, что они не знают прогноза? Может, они просто не ведают, что творят? Тогда пророчества Апокалипсиса насчет Вавилона их остановят? Ведь может статься, что ни депутаты, ни журналисты, ни «православный» американский скульптор просто не читали этой бессмертной книги... Ну, так специально для них: «...Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы... Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучений их будет восходить во веки веков; и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью... Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу».

Хорошо, если услышат. Однако, скорее, эти пророческие слова вызовут лишь новый приступ антирелигиозной ярости. А жаль...»

Кстати, автор скульптурного монстра Э.Иннокентьевский (меняю фамилию) к тому времени уже успел опубликовать в «Вопросах философии» свои воспоминания:

«Наш кружок, начатый при Сталине, пережил и Хрущевский период, хотя строгая конспирация в последние годы была уже не нужна. Некоторые из его бывших участников стали довольно крупными функционерами в партии. Это произошло в период оттепели. ...В разных областях было довольно много таких людей. Я с ними расстался, но надо сказать, что эти люди не выдали, откуда ноги растут. Один из учредителей кружка

– Владимир Шрейберг – стал парторгом студии документальных фильмов.

Сплетение между катакомбной культурой и правящим слоём – сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Сейчас, когда я уже несколько лет на Западе, я всё чаще задаю себе вопрос: что же заставило меня покинуть Россию? Главными, разумеется, были внутренние расхождения с советским мировоззрением. Нет, не в политическом плане, хотя и в политическом они тоже были. Но основные мои расхождения с режимом носили, скорее, метафизический характер.

...Если власть и не была любима мной, то, по крайней мере, я хотел её видеть в качестве грозной и демонической силы. А на протяжении всей своей жизни я встречался с обыкновенным, распущенным люмпеном, который занимал гигантские посты. И больше того, в сознании народном и мировом являлся героем. И вот этот разрыв между правдой истории, правдой победы, морем крови и невзрачностью, мелкотравчатостью, вульгарностью «представителей» истории ранил меня. Так, пожалуй, закладывалось моё основное, внутреннее противоречие со сложившейся властью и теми, кто её олицетворял на всех уровнях.

...Я всегда знал, что история – это не девушка, и в ней было очень много насильников, злодеев и садистов, но я не представлял, что великую державу, весь мир и саму историю могут насиловать столь невзрачные гномики, столь маленькие кухонные карлики, и это меня всякий раз оскорбляло. Я был согласен на ужас, но мне нужно было, чтобы этот ужас был сколько-нибудь эстетичен. Этот же, бытовой, мещанский ужас людоедов в пиджаках, варящихся в собственной лжи, морально разрушал меня.

...Я бывал в Кремле и трущобах, бывал повсюду, где только мог бывать советский человек, я жил как бы не в горизонтальном, а вертикальном направлении. Я общался с министрами, членами Политбюро, помощниками Хрущёва и Сулова, встречался с очень многими людьми из партийной элиты.

...Ко мне в студию в конце концов стали приходить и Сахаров, и Максимов, и Амальрик, и многие другие. Это потому, что наш кружок накопил профессиональный аппарат, где социологией занимался социолог, а не литератор, и в том ключе, в каком он, а не партия, считал нужным.

Когда наступила оттепель, многие из моих тогдашних друзей, считавших себя коммунистами либерального толка, пошли служить, чтобы изменить структуру общества изнутри, пошли в Сперанские, благо их пригласили. ...Многие мои друзья и напарники по «катакомбной культуре» шли в аппарат, шли в «зелёньки» с надеждой смягчить систему и поняли лишь позже, что попали в ловушку, так как из аппарата возврата нет.

...Нынешние комиссары не только не берут на себя ответственности, но сами толком не знают, где она лежит. Я как-то пьяный, злой, в присутствии крупного чина КГБ и своих друзей из ЦК (КПСС) говорю: «Ну, кто же из вас меня всё-таки не пускает? Вот вы говорите, что КГБ, а ты, Лёничка, говоришь, что они!» И тут они, тоже пьяные, между собой сцепились. Было очевидно, что никто из них сам точно не знал, как это происходит. Но каждый из них настаивал, что это – не он.

...Неверно было бы предположить, что в коммунистической элите нет не только здравомыслящих, но и патристически страдающих за родину людей, конструктивных сил. Но объективные условия таковы, что проявлять они себя могут часто лишь конспиративно. ...Впрочем, конструктивные начинания иногда переплетались и с партийной интригой. Как-то главный идеолог Москвы Ягодкин выступил в «Новом мире» с невероятной ждановской статьёй. Ко мне приходит один западный корреспондент левого толка и спрашивает – что Ягодкин делает? Ведь он льёт воду на мельницу западных ястребов, врагов примирения с Советским Союзом! Я рассказал об этом одному парню из ЦК (КПСС). А тот говорит: а почему бы тебе не сказать западной прессе, что по мнению московской интеллигенции Ягодкин льёт воду на мельницу антисоциалистических сил... Я так и сказал. Потом поступил запрос от итальянской КП (Коммунистической партии), и Ягодкина сняли.

У меня был значительный круг влиятельных друзей, имевших доступ к власти. Но когда я был в России, мне казалось, что они действуют недостаточно активно, что они не хотят рисковать и вступать в действительный конфликт. После приобретения западного опыта я пересмотрел своё отношение к ним.

...В связи с этим мне припоминается забавный эпизод. Только в данном случае «конструктивные силы» помогали не диссиденту, а партийному начальству, а «диссидент» тоже принимал в этом участие. Всю ночь мы сидели в моей мастерской и готовили тезисы одному из шефов ЦК (КПСС) для его поездки в Италию, где он должен был встречаться с видными интеллектуалами. У референтов ЦК было достаточно информации, но, видимо, они хотели услышать какие-то свежие идеи от меня, чтобы их шеф мог щегольнуть неожиданностью взгляда. Мы сидели всю ночь, пили, страстно спорили и очень много работали. Под утро, обалдевши от невероятного количества сигарет и выпитого, один из референтов ЦК, ярый кстати антисталинист, говорит: (...) «Ребята, мы же знаем наших коллег на Западе. Вы можете себе представить, чтобы люди, занимающие наше положение, бесплатно, не имея от этого никакой выгоды, сидели всю ночь и работали не за страх, а за совесть, чтобы их мудака-начальник не выглядел мудаком за границей? Да ещё проклятый скульптор сидит и помогает...»

Наверное, «проклятый скульптор» Инкогнитинский здесь всё-таки несколько преувеличил насчёт «не имея от этого никакой выгоды». А заказы-то-с? Сам же иногда приоткрывает занавес: «Мне удалось сделать самый большой рельеф в мире, 970 квадратных метров. Опять-таки, используя пазы в системе. ...Последнее время я сделался самым высокозарабатывающим скульптором в СССР».

И вот такого внушительного и способного человека мы попытались остановить в Екатеринбурге...

На архиепископа вскоре началась мощнейшая вавилонская атака, подключили даже центральную прессу — газету «Известия». Мария организовала сбор подписей в булочных и других присутственных местах, чтобы поддержать владыку. Написала о нём большой очерк. Мы с ней пытались защитить его в «Уральской газете»:

«В октябре 1918 года Святейший Патриарх Тихон писал совету народных комиссаров: «Не проходит дня, чтобы в органах вашей печати не помещались самые чудовищные клеветы на Церковь Христову и её служителей, злобные богохульства и кощунства»... С тех пор минуло 75 лет, однако создаётся впечатление, что кое-кто из нынешних сотрудников газеты «Известия» по-прежнему на боевом посту. Недавно (17 ноября 1993 г.) здесь появилась заметка, сочинённая в духе тех самых поминаемых лет. Чего стоит один лишь заголовок — «Служил Владыка за бутылку». Чтобы сразу же осмыслить его чудовищность, достаточно поменять в заголовке всего одно слово: «Служил Редактор за бутылку». Можно ли себе представить, чтобы редактор отдела, готовившего этот материал к печати, служил в данном случае кому-то всего-навсего за пол-литра водки?»

Помимо мелких и злобных оскорблений в адрес Его Высокопреосвященства архиепископа Мелхиседека, в упомянутых записках, подписанных неким Милеем С., содержатся утверждения, мягко говоря, не отвечающие действительности. Вот одно из них: «...все восемь лет своего пребывания на свердловской кафедре архиепископ Мелхиседек занимался профессиональным разрушением епархиальной, церковной жизни Среднего Урала».

О том, как «разрушается» епархия, могли бы рассказать сухие цифры: когда Владыка приехал на Средний Урал, здесь было 22 прихода, а сейчас их около ста. По-видимому, если бы его деятельность была в самом деле разрушительной, то число церковных общин упало бы вдвое или даже до нуля. Тут мы прибегнем опять к аналогии. КПСС, например, сократилась за последние два года с 18 млн. членов до едва ли пятисот тысяч. Это ли не свидетельствует разрушительной деятельности партийных иерархов? О том, как люди, бросившие партийные билеты, разрушают сегодня страну, я уж не говорю...

Точно так же выглядят и прочие инсинуации Милея С. (...) Недавно, 24 ноября, зал дворца культуры РТИ был заполнен людьми, собравшимися со всего города. С ними встречался Владыка Мелхиседек и священники, приехавшие с паломническими целями из Москвы (ректор и преподаватели Свято-Тихоновского богословского института). Гости выразили поддержку Владыке в это трудное для него время, в дни несправедливых гонений. Точно такой же была реакция огромного зала, почтившего своего архиепископа вставанием. Здесь же было собрано множество подписей под таким обращением: «Встанем на защиту архипастыря нашего! Возвысим голос протеста и укора газете «Известия», подвергшей Владыку хуле и клевете. Молим Господа о здравии Владыки, хотим, чтобы он и дальше духовно окормлял нас и наших детей, будучи архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским. В пояс кланяемся Его Высокопреосвященству за всё, что делает он с помощью Божьей для прихожан».

Как видим, даже недружелюбные выпады служат укреплению Церкви, сплочению православных. (...) Мне рассказывали, будто Милей С. ныне собирается покаяться, ибо за клевету придётся отвечать не только здесь, но и в Царствии Небесном. Дай Бог, чтобы это известие было правдой, хотя верится с трудом в стремительное обращение грешника. Но в любом случае мы знаем, как к нему относиться. ...Помолимся же всем миром за духовное здоровье господина С.»

Но... в таких случаях говорят: враг был сильнее. Архиепископ Мелхиседек стал окормлять паству в Брянской области, и в начале 1994 года нашу епархию возглавил новый епископ (владыка Никон). Он сумел продержаться целых пять лет... Владыка Мелхиседек потерял двух сыновей. Сейчас на покое. Епископ Никон — в подмосковном храме. Недавно нашёл его обращение к руководителям и сотрудникам средств массовой информации. Разве они могли простить такое:

«Кощунственная пропаганда разврата врывается в каждый дом. Редкая из екатеринбургских телекомпаний не имеет постоянной так называемой эротической программы. Причем время этих телепередач медленно, но неуклонно сдвигается с ночной поры на часы, когда у телевизоров собираются дети и подростки. Те же телеканалы, которые пока удерживаются от собственных развратных программ, демонстрируют фильмы самого сомнительного свойства — якобы для того, чтобы познакомить нас со всеми сторонами западного искусства. При этом комментаторы не торопятся сообщить нам о тех протестах, которые вызывало это «искусство» даже у себя на родине.

По прошествии трех лет остаются актуальными горькие слова из обращения общепархиального собрания в 1994 году о том, что пресса «стала сама рупором пропаганды насилия, безнравственности, всяческих лжеучений. Она сосредоточивает свои силы на прежнем негативном отношении к Церкви Православной и другим традиционным для нашей Родины религиозным конфессиям, широко открывая объятия любому «пророку» с зарубежным акцентом». Эти горькие слова относятся сегодня к большинству средств массовой информации».

Свора телеканалов вскоре стала свирепо жрать нашего епископа живьем, обвинили в разврате, нашли даже священников и монахов, готовых покинуть своего архиерея. Треть иереев епархии отпала и пала, как когда-то треть ангелов.

К нам в епархию приезжал высокопреосвященнейший митрополит Солнечногорский Сергей: «Разжигается конфликт, вся эта грязь выносится в светские круги, используется телевидение, радио, печать. У меня возникает вопрос: **а церковные ли это люди?** Насколько они действительно радуют за чистоту Церкви? У нас принято довольно строго — **кто не с епископом, тот вне Церкви.** Они — клирики екатеринбургской

епархии, и, конечно, Владыка Никон довольно мягко поступает, что в этой ситуации он их не отлучил, не запретил к служению. Но они должны осознать свой грех и увидеть, что поступили нечестно и нехорошо» (Православная газета. 1999. №10).

Теперь нас окормляет владыка Викентий. Господи, спаси его и сохрани. Скоро и на него пойдут в атаку. (Уже пошли... В начале 2002 года написала в прокуратуру «Атиква». Я забыл, как переводится это слово на русский язык. В лавках епархии, мол, продаются «Протоколы сионских мудрецов» и всякая прочая «неправильная» литература).

Кстати, второго сентября – день хиротонии Его Высокопреосвященства. И второго же сентября Господь позвал Марию к Себе. Ах, как все мы связаны здесь.

...После нашего «антивавилонского» газетного выпуска студия «Город» в лице ее начальника очень рассердилась, и мою женушку изгнали из эфира. С областного радио ее тоже изгнали (она иногда делала там «внештатные» передачи, потому что была на пенсии по инвалидности). Блаженны изгнанные за правду... Замышляла сделать цикл детских радиопередач «Сорока-белобока», но - не судьба... Потом к нам вернулось лето, и Мария отправилась с дочкой и внучками в деревню. Лето 1993 года, последнее лето на собственных ногах... Мы даже сумели пройти с ней от станции по лесу до нашей деревни. Конечно, с привалами, с останками. В последний раз спел нам в широком поле последний жаворонок... в последний раз... Жаль, не умею вот так: «в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на землю». И даже потом ходили по ягоды в лес, шли по старым вырубам, заросшим высокой травой и мелкой берёзой. По длинным бороздам, где стоят крошечные саженцы... Она любила брать землянику... И нас вымочил наш последний летний дождь.

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА и ТЕЛЕВИДЕНИЕ

А через год – разлука. Как же успокоить себя, если Мария ушла... Перед сном каждый раз картины её страданий. Острый приступ тоски. Она однажды написала в своём письме: если с тобой что случится – я умру или сойду с ума. А я вот... От поминок остался крымский портвейн, стал принимать на ночь. Потом подумал: что ж – буду спиваться? Тогда уж точно мы с ней никогда не встретимся.

Я и раньше, ещё когда Мария заболела, стал ходить в нашу церковь (почему-то сначала на вечерние службы в воскресенье, когда читают акафист). Так печально мы устроены – вспоминаем о Церкви лишь в болезнях и бедах. А уж в разлуке стал ходить на всенощные. Помажет батюшка лобик благоуханным елеем – и на целую неделю уходит тоска. Чудо...

В год, когда Мария ушла на тот берег, в епархии возникла «Православная газета». Там иеромонах (потом игумен) отец Димитрий (Байбаков) иногда печатал мои произведения. В 1997 году – даже фрагмент моей «Логике» («Во что верит неверующий»). Впрочем, эта публикация стала возможной только потому, что «моей» логики не существует, но есть Логика Церкви, её «основные формы мышления». По образу и подобию Бога...

Отец Димитрий – очень смелый человек. В своём приходе издаёт ещё и «Православный вестник», где можно прочесть такие вещи: «Глобализация – это прежде всего процесс власти, а точнее установления мирового господства весьма ограниченным кругом лиц. Это – процесс взламывания национальных самобытных и самодостаточных культур, их обезличивания... Это – процесс принудительного вовлечения экономик независимых государств в открытое экономическое пространство, где они сталкиваются с многократно превосходящим капиталом, сконцентрированным в руках (по выражению Александра Игнатова) «малочисленной элиты, объединённой этническим родством и инициацией в ложах деструктивной направленности». Сталкиваются и разбиваются об нее вдребезги, чтобы затем быть поглощёнными и ассимилированными «мировой системой». Глобализация – это также комплекс политических преобразований и масс-медийной обработки сознания отдельных людей, ведущие к их обезличиванию, деморализация и секуляризация мировоззрения. ...Россию к этому процессу допустили лишь тогда, когда она, развёрнутая политическим и экономическим стриптизом перед Западом во времена Горбачёва, изнасилованная шоковой терапией Гайдара и подстреленная у Белого дома, почти полностью потеряла волю к сопротивлению.

Чему можно уподобить такую выстраиваемую на наших глазах транснациональную надгосударственную «вроде как управленческую» систему? Как это ни неожиданно, тоталитарной секте, масонской ложе, мафиозной организации, ибо ей внутренне присущи не только характерные для перечисленных структур организационные принципы, ...но также и принципы мировоззренческие: (1) единая вера, содержащая теологическое оправдание совершаемой деятельности; (2) историческое и метафизическое обоснование предопределённости своего возникновения и органичной взаимосвязи с общечеловеческой каузальностью бытия; (3) наличие собственных уникальных и единообразных обрядов и таинств.

...В глобалистском будущем наличие веры и тоталитарность общественного устройства предполагают, что, помимо общей регламентации жизни человека в обществе, ритуализации непременно подвергнутся, во-первых, акт вступления человека в систему, а во-вторых, акт причастия к ней. ...Для чего системе необходима «добровольность» вступления в неё? Дело в том, что человек, заявляя о желании принадлежать ей, как и при крещении, пострижении, посвящении или инициации отрицается себя прежнего и рождается вновь. Христианин при этом получает от Бога ангела-хранителя и имя, а образовавшаяся системная единица – свою (электронную) тень и личный код» (Конст. Гордеев).

Как я туда пришёл... кто-то меня рекомендовал... Отец Димитрий тогда сидел в узенькой комнатке. Мы с ним сразу обговорили темы трёх газетных выступлений: культурный центр на Эльмаше, реклама, «церковь не в брёвнах, а в рёбрах»... С последней темой я так и не справился. Даже и писать не стал, потому что – и в брёвнах тоже. Отец Димитрий построил недавно прекрасный храм во имя святого Пантелеимона-це-

лителя. А реклама... Там я выступил в роли православного максималиста... вместе с Алексеем Федоровичем Лосевым, которого люблю цитировать. Так что отец Димитрий даже сделал приписочку: «Редакция подчёркивает, что не во всём разделяет точку зрения автора материала». Но Лосев там, конечно... Да вот почитайте:

«Феодализм есть всегда традиционализм и отсутствие идеи прогресса (писано это в 30-е годы, и потому Лосев, недавно пришедший из концлагеря, говорил о «феодализме» и «феодальном человеке», а не о средневековом христианстве и христианине). Это очень стабильная и созерцательная система. Здесь сознание человека устремлено в личностные глубины бытия, своего и чужого; и отсутствие развитой хозяйственной деятельности, неразвитость рассудка и примитивность техники и всей культурной жизни этому только способствовали. Феодалный человек не потому не имел развитой техники, что был глуп и беспомощен, но потому, что она трансцендентально связана с культурой изолированно-рассудочных функций субъекта, а феодалный субъект – целостная личность. И не потому здесь мало прогрессировала наука и люди были неграмотны, не знали настоящей медицины и санитарии и при каждой эпидемии мерли как мухи, что они были хуже современного культурного европейца, глупее его и ниже его. Но это было потому, что отвлечённая наука не нужна целостной личности (а мы сегодня – не целостные, но узко специализированные, частичные существа. – Б.П.), что грамотность в азбуке – дело слишком маленькое для глубин духовной жизни личности, что умирать в болезнях, нищете и грязи не только НЕ МЕШАЕТ СПАСЕНИЮ ДУШИ, НО СКОРЕЕ СПОСОБСТВУЕТ ЕМУ, так как этим развивается сознание его ничтожества и, следовательно, смирение перед абсолютной личностью (т.е. перед Богом. – Б.П.). Поэтому-то с феодалной точки зрения и является бессмыслицей всякое «освобождение» человека, и оно, строго говоря, отрицает весь экономический, художественный и научно-технический прогресс. Нельзя освободить совесть. Разве совесть может не быть свободной? Совесть только в одном случае может быть несвободной – это когда она затемнена... Максимальная свобода, какая возможна, уже человеку дана. Все прочие «свободы» есть только новое обезличение и закабаление, ЕСТЬ ТОЛЬКО ПОКЛОНЕНИЕ САТАНЕ»...

Я был страшно рад, что удалось цитировать Лосева. Ах, как это важно – понимать, что максимальная свобода, какая возможна, УЖЕ ЧЕЛОВЕКУ ДАНА Богом. И надо суметь ею воспользоваться, чтобы спасти свою несчастную душу. Я и сейчас пока не умею проникнуться глубиной этой мысли. Да-да...

Тогда же, осенью 96-го, я пошёл в церковь Успения Пресвятой Богородицы, чтобы написать о таинственном культурном центре. Это на Эльмаше, в бывшем кинотеатре «Родина», на краю зелёного парка. Там окормляет приход отец Сергей Суханов, бывший кинорежиссёр (когда-то закончил ВГИК). С ним и матушкой Евгенией я уже был знаком около трёх лет. Весной 93-го он приехал к нам, чтобы исповедать, причастить и соборовать мою Марию. Ей оставалось жить на земле чуть больше года. И вот я написал про то, как после церковных таинств произошло частичное исцеление: Маша стала дышать носом, а до этого лет 15 мучилась – капала в нос всевозможные капли. Сколько «химических» литров впитал её бедный организм за эти годы...

Помню семь восковых свечей в чаше с жёлтым пшеном, многократное чтение Евангелий и помазание лба, горла и рук освящённым елеем. Может, и рак бы ушёл, но я уговорил Марию съездить ещё и к бабке на Вторчермет. Кашу маслом, мол, не испортишь. Э, смотря каким маслом... Прости нас, Господи. Церковь не велит прибегать к услугам знахарок. Заклинание, заговор – это же не православная молитва.

Потом отец Сергей причащал мою мать. В 90 лет она собралась на тот берег. Месяца три не вставала, думаю – всё. Но после исповеди и домашнего причастия она опять поднялась. Исполняется Божественная заповедь: чти отца своего и мать свою – и будешь долготелен. Она ж взяла к себе родителей в невыносимое время, когда они бежали из родного починка. Могла бы и сама пострадать, но не испугалась. Они умерли у моей матери на руках потом – лет через пятнадцать. И вот.. Да, свершилось такое вот чудо: моя Мария Михайловна Маркова-Степанова чуть не померла ещё в 1972 году; тогда ей сделали изотопный анализ и выяснилось – из двух почек работает только одна, да и то на четверть. Один мочеточник совсем закрылся, катетер не проходит, почка «засохла». А чудо в том, что с тех пор прошёл 31 год, а она всё ещё с нами. Ей пошёл девяносто четвёртый год... Едет на почечной четвертинке чуть не полвека.

Потом её причащал отец Александр Игонин из храма во имя святого Иннокентия. Я его встретил на улице возле церкви, и мы сразу обо всём договорились.

Да что там... Жизнь вокруг Церкви и в ней самой – непрекращающееся Чудо. Как-то у дочкиной сослуживицы стала недомогать внучка: что-то похожее на эпилепсию, ночные страхи. И вот бабушка стала читать каждый день большой «Канон за болящего». И всё прошло. Правда, ещё и к чудотворной иконе приложились с молитвой о помощи.

Всё это касательно физического здоровья. Но самое большое церковное чудо – возвращение нам здоровья духовного. За это и на смерть можно пойти... чтобы потом воскреснуть в тихой радости.

...Наверное, я стал бы работать в «Православной газете», но позвонил отец Сергей и предложил телевидение. А с отцом Димитрием я, мол, всё уладил... Ладно, пусть будет так. В ноябре уже поехал в Верхотурский мужской монастырь вместе с телевизионным оператором. Мы там были с Марией летом 92-го паломниками. А теперь вот осень 96-го... и без неё...

Православный телевизионный канал – хорошая школа. Многому научился, многое увидел в Церкви изнутри, не со стороны. Отец Сергей Суханов поднял тогда меня, как камушек на дороге. Почистил рукавом, посмотрел – годится. И стал я разговоры разговаривать перед телекамерой. В основном с людьми на улице, в церкви, в тюрьме (и с преподавателями духовной академии и Свято-Тихоновского богословского института, приезжавшими в Екатеринбург, чтобы принимать экзамены у заочников). Пригодился старый опыт: я ж работал на областном телевидении в 72–73-м годах. Говорил и с нашими екатеринбургскими батюшками: иереями

Владимиром Зязевым, Петром Мангилевым, Алексием Долгоруковым... и другими, другими. Иногда мы сядились перед телекамерой с игуменом Гермогеном (Еремеевым), с отцом Владимиром Поммером. Естественно, всё это не самочинно, а по благословению. Да – да... Отец-то ведь Гермоген Марию и отпевал.

Но всё проходит. Через четыре года наш канал прекратил существование... От безденежья. А 31 января 2005 года возник православный телеканал «Союз». Круглосуточное вещание. Его окормляет игумен Димитрий (Байбаков).

Да, но я ж не закончил про газету. Отец Димитрий продолжал печатать редкие мои произведения. Появилась «царская тема»... В 97-м году наши господа уже готовили и предвкушали потеху с человеческими останками, найденными в Поросёнковом логу под Екатеринбургом. Ещё в 70-х годах кто-то дал санкцию найти их, а потом объявить царскими. Возник даже фонд «Обретение» – как собрат соответствующего американского фонда. Дружба была такая, что для дальнейшей перекопки лога собирались пригласить морскую пехоту с Гавайских островов, о чём трубили на всех перекрёстках. И тут вот мне пришлось написать нечто... написал, да и отнес в «Православную газету», почти даже не надеясь на публикацию. А отец Димитрий взял да и напечатал:

«Если отвлечься от «потусторонних влияний» советских МВД и КГБ, которые, естественно, не были промонархическими и православными влияниями, то на каком же другом фундаменте могут базироваться эти монопольные права общественного (!) фонда: извлекать и скрупулёзно исследовать чужие останки, строить павильоны-музеи и мемориальные комплексы-парки на общенационально значимых территориях? Может быть, это не правовой, но нравственный фундамент? Может быть, такое право даёт искреннее почитание царской семьи и даже любовь к ней?»

Трудно дать количественную характеристику такого тонкого чувства, как любовь. Но о любви ли и почитании говорит, например, очень простой и обыденный факт, зафиксированный в «Протоколе осмотра места происшествия» (Свердловск, 11-13 июля 1991 г.): «На глубине 25-30 см был обнаружен небольшой кусок ржавого цинкового ведра, ржавый чайник, ржавая миска диаметром около 30 см, небольшой ржавый хозяйственный нож... По пояснению свидетелей Алдогина и Гасильева (фамилии теперь уж меняю), проводивших в 1979 году поисковые раскопки на этом месте, указанные предметы брошены ими в яму во время её закапывания... На глубине 40-50 см был обнаружен... фрагмент левой тазовой кости человека... Нож и миска изъяты и упакованы в полиэтиленовые мешки... Остатки ведра и чайника не изымались» (В.Алексеев. Гибель царской семьи: мифы и реальность. Екатеринбург, 1993. С.218).

Как можно назвать людей, которые превратили человеческое захоронение (и даже царское – как они говорят) в свалку хозмусора? Нет, лучше их никак не называть, но помолиться: прости их, Господи, ибо не ведают, что творят. Или ведают? Не знаю... Могу лишь догадываться, что всё-таки ведают, если судить по выставке «Романовы: возвращение в историю» и по недавно вышедшему сборнику «Вторые Романовские чтения» (Екатеринбург, 1997).

На выставке есть стенд, который по нравственной своей сути выглядит точно так же, как кусок ржавого ведра, ржавый чайник и миска, брошенные в могилу. В лучшем случае эту акцию можно выдать за псевдообъективистский подход, нравственно уравнивающий царя и его хулителей. Очень точно такой подход отражён в письме некоего необъяснённого американца Пола Чэндлера губернатору Свердловской области и председателю фонда «Обретение». Да простит меня Господь, но более отвратительного письма я, наверное, в жизни своей не читал:

«Музей «Ипатьевский дом и исторические места» должен быть политически справедливым в отношении обеих сторон. Яков Юровский не должен выглядеть садистом, который любил убивать детей. Путеводитель должен объяснить, что люди, участвовавшие в убийстве, происходили из КРЕСТЬЯНСКИХ семей, которые преследовались отцом Николая Второго и его предками. Они убивали не семью, они убивали СИМВОЛ вековых страданий, тюрем и нищеты... Этот мемориал был бы уместнее, чем церковь на месте дома Ипатьева... Я знаю, туристы приедут туда. И Екатеринбург мог бы извлечь значительную прибыль из этого...» (Вторые Романовские чтения. Сборник, изданный музеем и фондом «Обретение». С.88).

Какая страшная инструкция: надо быть политически справедливыми «в отношении обеих сторон» – убийц и убиенных, распинающих и распинаемых. Это сродни той древней точке зрения, которая уравнивает, наделяет одинаковым нравственным и «политическим» статусом Христа и Иуду, Бога и сагану. Садист Юровский, убивающий детей, не должен выглядеть садистом. К тому же, оказывается, убита была вовсе не семья, а всего лишь символ. И главное: надо объяснить всем, что убийцы происходили из КРЕСТЬЯНСКИХ семей. При этом надо забыть, например, комментарий к книге «Письма царской семьи из заточения» (Нью-Йорк, 1974): «По оценке составителей комментариев, со времени поселения в Ипатьевском доме августейшие особы «находились в руках екатеринбургской преступной шайки», к которой они относили Шаю Голощёкина, Янкеля Вайсбарта (Белобородова), Янкеля Юровского, Пинхуса Войкова и Г.Сафарова... Главным организатором убийства они называют Янкеля Свердлова, а соучастниками Григория Апфельбаума (Зиновьева), Моисея Урицкого, Льва Бронштейна (Троцкого)...» (В. Алексеев. Гибель царской семьи. С.34). Вот такие крестьяне...

И православная церковь на месте убийства, оказывается, не нужна, а нужен восстановленный дом Ипатьева, чтобы «извлечь значительную прибыль из этого». Из чего – «из этого»? Из крови царственных мучеников? Да, интересный выбор предстоит сделать властям Екатеринбурга и области: Храм на крови или прибыль из крови...

Как же всё-таки сложится участь тех мест, что связаны с убийством царской семьи? Глава администра-

ции области А.Л.С. издал в 1995 году постановление №113: «В целях введения в статус исторического памятника мест, где производилась попытка уничтожения останков семьи императора Николая Второго и сокрытия их в районе Старой Коптяковской дороги и создания здесь памятного мемориального участка в структуре Свердловского областного краеведческого музея постановляю...»

...Мы уже знаем теперь, как трепетно почитают семью царственных мучеников некоторые учредители фонда «Обретение» и сотрудники музея. Если отдать им «памятные места», то у Ганиной ямы, наверное, возникнет памятник Юровскому, нежно обнимающему царевича Алексея.

Как известно, в России «концепция архитектурного оформления» (слова из письма президента американского фонда «Recovery») места гибели местночтимых святых давно продумана. (С начала 90-х годов волею Божьей, воплощённой в решении архиепископа Мелхиседека, Царская семья уже была прославлена.) Это храм или часовня и монастырь.

Можно, конечно, говорить и о необходимости всенародного покаяния... Но кто объединяет русский народ в единую душу живую, способную каяться в грехах? Разумеется, Православная наша тысячелетняя Церковь. Многочисленные секты способны лишь раздробить её, душу, на враждующие кусочки. Больше ведь и нет у нас института, наделённого совестью. Академия наук что ли будет каяться или театр? Так они функционально заняты вовсе не тем.

Душа народа – это его Церковь, а тело – государство. Тело смердит, когда из него вынимают душу».

Конечно, я воспроизвожу лишь кусочки. Слава Богу, там в газете я не всё других поучал, но однажды даже покаялся. Было стыдно всё время выступать в роли учителя и разоблачителя. Правда, отец Димитрий тактично выдал это моё покаяние под рубрикой «Литературная страница». Вот кусочек оттуда:

«Помню: в храме святого Иоанна Предтечи уже богослужение кончается, сейчас пойдут все к целованию креста, а в это время... В это время... Возле праздничной иконы появляется нищий. Я его иногда вижу в церковном дворе. Не часто. Почему-то не часто он приходит сюда. У него нет обеих рук, нет кистей... И вместе с ним идут две девчонки лет пятнадцати – с курточками на головах. Видно, он объяснил, что женщины надо покрыть голову, когда заходишь в храм. А у них – ни носового платка. Задрали курточки на головы. Смешные... Нищий (ему лет 35-40) что-то говорит, мне не слышно, что-то говорит и прикладывается к иконе. И девчонки прикладываются, а потом все идут целовать крест.

Вот так он милостыню подал – тем, которые из его ребра. Они, нищие калеки, более всех других... они более других милостивы к нам. Как их благодарить за мужество жить дальше... За слово, улыбку и жест, которые мы получаем взамен – меняем наши рубли-копейки на лёгкое шевеление их губ.

Исполнены мужества жить дальше. А за что же нам все наши горести? По слову Божьему: «кого люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся». Да в чём каяться-то, мол... Сколько всяческих бед и болезней. А в чём каяться? Зависть, жадность, раздражительность, злость, тщеславие, гордыня... Равнодушие. Хорошо живём. Однажды, давным-давно, в обеденный перерыв бреду домой – в правой руке двенадцать килограммов картошки, в левой – две булки хлеба и батон. Эпоха развитого социализма, начало 80-х... Для сокращения пути – через дворы. Навстречу женщина с выпученными глазами: «Там на земле человек сидит – то ли ногу сломал, то ли вывихнул... Но ему уже «скорую» вызвали». Хорошо, думаю, что вызвали. Бегу дальше, а там и в самом деле мужичок сидит. «Отведи, - говорит, - меня куда-нибудь в подъезд». А я ему: «Ты подожди, сейчас «скорая» подъедет».

И дальше – домой, с картошкой и батоном.

Жестокость? Нет, наверное. Просто равнодушие. Бесчувствие к любой боли, кроме собственной. К тому же сосредоточенность на собственной картошке (бывает ещё – на даче, лощёных самках, золоте, дивидендах и проч.). Куда же это я, мол, картошку дену (и батон), если ближнего куда-то потащу. Стыдно... Бес попутал? Очень соблазнительно всё на него свалить.

Всё получилось почти по евангельской притче. Помните? «Сказал Иисус: некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шёл тою дорогою и, увидев его, прошёл мимо. Также и левит, быв на том месте, подошёл, посмотрел и прошёл мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев его, сжалился...»

Запутался я в словах моих. Начал о других, а закончил собой. Хотел сказать: нищие КАЛЕКИ на паперти и у ворот иногда понимают нечто такое, чего мы никак не уразумеем. Ибо часто не имеем мужества претерпевать жизнь со всеми её страданиями. Сколько сейчас самоубийц... Чуть ли не в двадцать раз больше, чем было в старой России. Ещё в начале XX века. Дело тут, наверное, в отношении к страданиям: я хороший, а жизнь плохая, даже невыносимая, и дай-ка я себя убью, чтобы ничего невыносимого не претерпевать. Не любим наказаний. Не за что наказывать? Ходим грязными, без очищения. Не хотим чистить себя в церкви на исповеди. Не в чем, мол, каяться. Если, например, часто кричим на ближних, бранимся, раздражаемся, то потому, что они плохие, а я хороший. Да? Терпеть, смиряться, прощать – это не для нас. Пусть лучше «они» терпят моё раздражение, пусть лучше «они» меня прощают. А вообще-то мир устроен отвратительно, и если добрый Бог существует, то почему же я, такой хороший, претерпеваю несчастья?

Что ж, если мы с вами считаем себя праведниками, то надо бы нам знать, что праведники и даже пророки, по слову Апостола, «были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козых кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли... Вы ещё не до крови сражались, под-

визаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: «сын мой! не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьёт же всякого сына, которого принимает». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? ... Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным чрез него доставляет мирный плод праведности. Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена...»

И ослабевшие колена... Бывает такое в жизни, что невозможно вытерпеть. Невозможно. Но претерпеваешь и идёшь до конца, потому что никаких других вариантов нет. Сердце разрывается, руки дрожат, но всё равно идёшь до конца. И какое счастье, когда рядом добрый самарянин, а не равнодушный чурбак вроде меня самого. Тогда в начале июля моя Мария уже не могла сама поворачиваться в постели на бок. Я тихонько перемещал её больную руку и двигал ноги. Но однажды при повороте её настигла страшная боль, рука стала пульсировать... Я не понял, что метастазы уже успели сделать своё дело, и рука сломалась. Мы с ней не поняли, что случилось. Дело было в деревне, я в полубреду тихо-тихо вернул Марию на спину, дал таблетку и без головы, в какой-то страшной судороге побежал к соседям. Рита примчалась к нам, а Женя Мартынов, Евгений Степаныч, завёл быстро мотоцикл, и мы поехали.

Уже на выезде из деревни пошёл дождь, а Евгений в одной рубашке. Я сижу в коляске в штормовке и в свитере, а он в рубашке. Так и доехали до поликлиники, в которой уже никого не было. Что делать? Нет, не снял ни штормовку, ни свитер, не отдал соседу, моему самарянину. Тут уж осознанная жестокость: пусть хоть он и заболит, а мне заболеть нельзя. Не имею, мол, права. И ещё дальше поехали – он в мокрой рубашке и на ветру. Нашли в другой больнице медсестру, которая поехала на «скорой». Но наркотик, мол, не имею права, потому что ваша жена у нас здесь не на учёте. Набрала в шприц баралгин, который я и сам мог бы... У меня он был... А что ей делать, если все ампулы на учёте? Если инструкция. Возможны злоупотребления...

Мария лежала не шевелясь всю ночь и полдня, иногда забываясь, а я рядом сидел, рядом с ней. Мы готовились помирать. Но вечером моя добрая сватья Нина Ивановна, жившая в избе недалеко, отправила свою доченьку Люду в город за «скорой помощью». Это семьдесят километров. И там всё сладилось, зять наш Павел нашёл врачей, которые помнили небольшое добро, сделанное им Марией. Её вынесли прямо на матраце, поставив 20 кубиков обезболивающих. И мы с ней поехали. А наши маленькие внуки остались со сватьей... Мы с ними вместе пели за два дня до этой катастрофы «Солдатушки, бравы ребятушки» – в четыре голоса, в два взрослых и два детских. Перед этим мы с Марией проплакались, потому что дочка уехала в город – рожать другую Марию... И спели вместе в последний раз, что в голову пришло: ты не вейся, чёрный ворон... врагу не сдаётся... Она тогда уже простила мне все мои грехи, накопленные за всю нашу долгую жизнь. Сон видела, где Ангел говорил ей добрые и укоризненные слова. А потом днём во время грозы забылась на минуту, открыла глаза и говорит: теперь я поняла, что скоро уйду... пережила минуту невыносимого блаженства... или секунду?... теперь уж скоро помру.

Я держал её за щиколотку... наверное, молил Бога отдать часть её боли мне, окаянному... не помню... и моё запястье раздирала боль. Со святыми упокой, Христе, душу рабы Твоей Марии, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Дай нам, Господи, силы претерпеть эту земную жизнь, это странствие земное, временное, помоги не сойти с ума и не покончить самоубийством, дабы не гореть после смерти в вечном адском огне.

...На Главном проспекте, на асфальте, недалеко от магазина «Океан» (или «Рыба»?) летом сидела больная девочка. Просила милостыню. Рядом лежал молитвослов с псалтирью. «Наклонитесь, - говорит, - дяденька. Я что-то скажу...» Берёт меня за руки и начинает что-то тихо и неразборчиво говорить про двух потрёпанных, измызганных алкашей. Они стоят неподалёку. Они, мол, шесть тысяч рублей требуют, а я, конечно, не отдам. Ещё чего... И повторяет всё одно и то же, одно и то же и крепко держится за руки. Я сижу рядом на корточках и понимаю, что ей никаких денег не надо, а только бы держать чьи-то тёплые руки в своих руках».

Глава 9. ПРОЦЕСС

Но всё это – потом, когда Мария ушла. А тогда... В августе 93-го на редактора газеты «Русский союз» Юру Бортникова наехала машина. Он тогда мечтал создать всероссийскую партию, 12 августа вместе с приятелем встречался в Челябинске с «местной патриотической группой». Девятнадцатого Юра умер в больнице, - и Мария вернулась из деревни в Екатеринбург: похороны, выпуск последнего номера газеты - в память о погибшем. Раньше мы с его газетой не сотрудничали, потому что «Русский союз», на наш взгляд, больше занимался «французскими» проблемами, чем русскими. Не вдохновляла и его политическая программа: с одной стороны, создание республики из пятидесяти пяти «чисто» русских областей, то есть дальнейший развал страны, с другой - территориальные претензии к странам СНГ... Однако... Возможна и такая программа... кто знает... Мы-то предполагаем, а Бог располагает. На панихиде в Вознесенской церкви мы плакали, уткнувшись носами друг в друга (через год ушла и сама Мария; она тут уже видела, наверное, свои похороны), а в ноябре 93-го я вместе с Юрой Цыбулей и адвокатом Сергеем Котовым стал защищать его газету в суде. Мария попросила, а я не мог отказать, чтобы не подумала, будто я струсил. Тем более, что претензии цензуры к газете были самые дурацкие.

Вот как мне пришлось описать ситуацию в «Евразии», выходявшей тогда в Екатеринбурге от силы раз в два-три месяца.

«Цензура теперь у нас называется «инспекция по защите свободы печати и массовой информации»... Но задача инспекции, как прежде, тащить и не пущать. Тащить, естественно, в суд. Первое предупреждение,

второе предупреждение - а потом пожалуйста бритесь: «Ответчики допустили публикацию материалов, нарушающих требования ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой информации», недопустимость злоупотребления свободой массовой информации, за что истцом 01.03. 93 г. в адрес редакции было вынесено официальное письменное предупреждение». А в предупреждении речь вот о чем: «В статье Ю.Бортникова «И все-таки где русское государство?» имеется взятая в скобки фраза: «Мы, русские, пережившие неслыханный геноцид, имеем право на вооруженное восстание во имя самосохранения», что подпадает под определение ст. 70 Закона РФ по признаку публичного призыва к насильственному свержению государственного строя».

И зачем Юрий Васильевич взял ее, эту фразу, в скобки? Может быть, без скобок она бы не выглядела как призыв? Без скобок ее вполне можно бы истолковать как простую констатацию: при наличии геноцида народ имеет право на восстание против тиранов и угнетателей. «Всеобщая декларация прав человека» нам так и объясняет: «...Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения».

Но так вот получается у нас в Екатеринбурге, что для защиты свободы печати надо сразу пресечь все такие высказывания. Подумаешь, эка невидаль - геноцид. Нельзя уж истребить миллионов сорок - сразу восстание. Да вы сначала в суде истцу объясните, что такое геноцид... Ах да - уничтожение отдельных групп населения по расовым и национальным (религиозным) мотивам... Тягчайшее преступление против человечества... Органический связан с фашизмом и расовыми теориями, пропагандирующими расовую и национальную ненависть - господство так называемых «высших» рас и истребление так называемых «низших» рас.

А в России... Да вот почитаем у Михаила Бернштама: «За три неполных года революции, 1917-1920 до осени, уничтожено новой властью только путем террора и подавлений около шести миллионов человек - участников народного сопротивления и просто мирных жителей сел и городов...» (Стороны в гражданской войне 1917-1922 гг. М., 1992. С.71). «...Режим на территории России по существу оказался режимом оккупационным, а война 1917-1922 годов была интернационалистско-социалистической оккупацией России» (там же. С.76-77).

Среди ландскнехтов-интернационалистов были латыши, поляки, евреи, мадьяры, китайцы (19 процентов Красной Армии в 1918 году). Некоторые еврейские наблюдатели, будучи за рубежом, даже позволяли себе такую научно не обоснованную самокритику (сборник «Россия и евреи»): «Теперь еврей - во всех углах, на всех ступенях власти. Русский человек видит его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе армии, совершеннейшего механизма самоистребления. Он видит, что проспект Святого Владимира носит славное имя Нахимсона, исторический Литейный проспект переименован в проспект Володарского, а Павловск - в Слуцк. Русский человек видит теперь еврея и судьей, и палачом...» (цитируется по: Наш современник. 1989. №11. С.165).

Потом в России полегли еще миллионы и миллионы. Вот Юрий Васильевич Бортников и написал: русские, мол, пережившие геноцид, имеют право на восстание. Он же был редактором газеты «Русский союз», поэтому и писал про русских. Но ему вскоре прислали предупреждение из вышеупомянутой Инспекции по защите свободы: вы, мол, публично призываете к насильственному свержению государственного строя. Наверное, имелось в виду, что Юрий Васильевич планирует окружить парламент ОМОНа, а потом расстрелять его из танков. Правда, ни ОМОНа, ни танков у Бортникова никогда не было. Да сейчас уж и не понять, про какой государственный строй идет теперь на суде речь: про уже свергнутый 4 октября или про нынешний. Вообще-то про нынешний Ю.В.Бортников никак не мог написать, потому что его убили машиной еще при старом режиме - в августе 1993 года.

Но судебный процесс пошел: заседания суда состоялись 2 и 3 ноября. Судят, собственно говоря, убитого Бортникова, потому что он был в газете и швец, и жнец, и на дуде игрец. Судят за призыв и за разжигание розни между евреями и русскими. Общество еврейской культуры «Атикава» и отдельно инспекция по защите еще летом жаловались прокурору. А вот теперь иск газете «Русский союз» - на предмет ее закрытия, хотя министр господин Шумейко уже и без того ее закрыл - своим волеизъявлением. Когда люди публично критикуют сионизм, то это почему-то в министерстве называется фашизмом. Хотя сионизм от нацизма совсем почти не отличается: «Раса еврейского народа является лучшей расой из всех, потому что она была создана путем отбора лучших в каждом поколении». Это из учебника еврейской философии для сионистских израильских школ (цит. по книге: Ф.Алестин. Палестина в петле сионизма. М.: Юридическая литература, 1988. С.134). Про евреев же как таковых Юра никогда не думал ничего плохого, а только одно хорошее...

И в заключение: мы знаем, что Христос словесно бичевал не Иудею как таковую, но лишь лукавых книжников и фарисеев, то есть, грубо говоря, тогдашнюю иудейскую интеллигенцию. Когда же его распяли, Он прошептал: «Отче! прости им, ибо не ведают, что творят...»

Что же сегодня шепчут запекшиеся уста России?»

Через месяц, в следующем газетном номере под шапкой «За нашу и вашу свободу!» мы сочинили «Страницу русско-еврейской дружбы №1», где показали, что юдофобской пропагандой занимается как раз сионистская газета «Москва-Иерусалим»:

«Почему мы решили выпускать именно такую страничку, а не русско-узбекскую или, допустим, русско-бразильскую? Главным доводом тут послужил судебный иск нашей региональной инспекции по защите свободы печати. ...Региональная инспекция утверждает, что уже закрытую газету «Русский союз» надо ещё раз закрыть – за разжигание розни между русскими и евреями. ...И вот мы решили подстраховаться, а заодно и помочь братскому еврейскому народу в борьбе с сионистской опасностью. Точно так же мы помогли бы не-

мечкому народу, если бы ему сегодня реально угрожал национал-социализм. Интернационализм у нас в крови, мы всё время настроены на помощь братским народам – тут уж ничего не поделаешь. Помогаем рублями, долларами, нефтью, кровью, газом, рудой и так далее. А теперь вот и этой страничкой. Потому что у евреев в России только одна маленькая газетка «Москва-Иерусалим», выходящая тиражом всего в 30 тысяч экземпляров. (Я тогда совсем уж «упустил из виду», что на предыдущей странице той же газеты Мария так вот процитировала «Наш современник»: «1,5 млн. общего тиража патриотических изданий, выходящих на русском языке, против 60 млн. тиража русскоязычных, но проповедующих русофобию, оскорбляющих национальное достоинство русского народа».)

И вот это единственное национальное средство массовой информации ведет совершенно разную работу по охаиванию собственного народа. Какой-то оголтелый антисемитизм, начиная с заголовка «Бирштейн и Якубовский: КГБ или Моссад? Как два еврея всю российскую политическую верхушку повязали». «Русский союз» в аналогичном случае позволил бы себе лишь такое выражение: «как два сиониста...» А «Москва-Иерусалим» юдофобствует: «В принципе это хрестоматийное правило, давно пора его знать: всякая крупная торговля Родиной не обходится без евреев. Говорю это без тени иронии, благо происхождением дозволено вести такие речи, не рискуя быть заподозренным в юдофобстве и апологетике всё объясняющих «Протоколов...» ...»Трудно смириться, когда миф о еврее, как о мелком бесе при «большом народе», приобретает реальные черты».

Каково? Еврей – мелкий бес. Даже в жар бросило. Причём не просто бес, а – мелкий. Причём не какое-нибудь отдельное лицо еврейской национальности, а еврей как таковой. Здесь уже, наверное, уголовной статьёй пахнет, если учесть дальнейшие уточнения: «Теперь Россия, равно как и другие страны СНГ, разграбляется, очевидно, КАК ЗАХВАЧЕННЫЙ ГОРОД... Мародёры нуждаются в посредниках. Их роль выполняют иностранные бизнесмены и авантюристы, среди которых действительно много бывших советских граждан... Среди них, действительно, в основном евреи, так как две последние волны эмиграции были по преимуществу еврейскими».

...Единственное, что может хоть как-то оправдать в глазах международной общественности сионистский печатный орган – это заявления вроде: «Российские евреи, в каком-то смысле, большие государственники, чем израильтяне». Тут газета стоит почти даже на русских патриотических позициях. Она здесь не охаивает, а отдаёт должное: «Напомню, что евреи в СССР были не безответным нацменьшинством, которому нет дела до общегосударственных дел, но одним из народов, внесших основной организационный и духовный вклад в строительство и поддержание этого грандиозного сооружения».

Что касается защиты этого «грандиозного сооружения», то: «Вместе с нашими историческими союзниками русскими... наши отцы сломали хребет фашистскому зверю...» Вот – никакого национального чванства! Ведь могли бы просто написать: «Наши отцы сломали хребет...», даже и не упоминая русских. Нет, проявили врожденную скромность и смирение».

Сейчас принято констатировать, что «международный сионизм» устроил в России 90-х годов прямо-таки Веймарскую республику. Специально бросил её в пропасть нищеты. Специально кричит на всех перекрёстках о своём всевластии в России. Еврейские олигархи специально кричат о своих невероятных богатствах и разжигают ненависть к евреям. Зачем? По глупости... Чикагско-арбатские мудрецы почему-то решили, что одни и те же экономические условия в Германии и России непременно рожают одно и то же – нацизм. Зачем? Чтобы опять создать противостояние нацизм – коммунизм (только теперь уже в виде противостоящих России и Китая). Однако десять истекших лет показали, что русские скорее исчезнут с лица земли, чем станут нацистами. Коммунистами – пожалуйста... Нацистами – увольте-с. Как будто даже и Достоевского мудрецы не читали о нашей всемирной отзывчивости – до самозабвения... Теперь уж, думаю, дураку понятно, что срочно надо искать другую кандидатуру на коричневую роль. Скорее уж Соединенные Штаты... Тут уж и сексуально-революционного Эдичку соломинкой не раздуешь, не сделаешь из него мученика, вслед за которым помчатся миллионные массы.

Теория заговора? Злодеи снова собираются создать противостояние нацизм – коммунизм... Может быть. Но приходится констатировать: либеральный капитализм и без всяких заговоров рождает это противостояние. Так, нейтрон стабилен лишь тогда, когда он противостоит соотношению «протон/электрон», составляя с ним единую систему (атом). Приходится часто пользоваться этой аналогией, ибо она помогает уяснить суть дела. Нейтрон сам по себе, вне противостояния, выворачивается наизнанку и становится соотношением «протон/электрон»... Чтобы войти в противостояние с другим нейтроном и стабилизировать его. Но в данном случае, когда речь идёт о либеральном маммонизме, никакой стабилизации быть не может. Потому что противостоящая пара опять будет создана вовсе не для успокоения ситуации, но для конфликта и катастрофы. В которую будет вовлечён и сам маммонизм. Как в 1914-м и 1939-м. Стабилизация возможна лишь в случае отказа от маммонизма (если он будет поставлен на место, как в средние века, когда банкир-ростовщик был фигурой презираемой).

На той же «Странице дружбы №1» был ещё кусочек из статьи Вадима Кожинова «Сионизм Михаила Агурского и международный сионизм» (НС. 1990. №6): «...Можно отграничить два принципиально различных явления, которые (несмотря на всё их различие) постоянно обозначают – притом как сторонники, так и противники – одним и тем же словом «сионизм».

Первое – это национальное (и в своих крайних, экстремистских выражениях – националистическое) движение, которое в наиболее чистом виде или даже преобладающая часть израильтян и, добавим, евреев,

стремящихся поселиться в Израиле, действительно ставит перед собой цель возрождения национального бытия и сознания.

Но есть и совсем другой сионизм, который представляет собой по своей внутренней сути вовсе не собственно национальное, но международное политическое (и основывающееся на грандиозной экономической мощи) явление...

Со второй половины 1960-х годов израильский сионизм оказался в подчинении (всё более увеличивавшемся) у «международного сионизма». Я полагаю, что значительная часть израильтян направляет все свои усилия на развитие самостоятельного еврейского общества и государства, но факты свидетельствуют о том, что положение Израиля зависит (и чем дальше, тем больше) от воли международного сионизма...

В США происходит своего рода интенсивная «денационализация», или, вернее будет сказать, интернационализация евреев. Естественно, этот процесс и его носители оказываются враждебными собственно национальному сионизму и в самих США (где, правда, «националы» составляют меньшинство), и в Израиле. В работе Д.Е.Фурмана достаточно развёрнуто говорится о всё обостряющейся вражде и борьбе двух сионизмов.

В начале этой статьи приводились суждения М.Агурского о том, что в 1920-1930-х годах в СССР «главными и почти исключительными врагами» сионизма (разумеется, «национального») были евреи-интернационалисты. Сегодня в США явно создалась вполне аналогичная ситуация, хотя и с характерным отличием: евреи, которые противостоят традиционному национальному самосознанию, называют себя не интернационалистами (как это было в СССР), а сионистами.

Не хватило в газете места, чтобы цитировать дальше: «Люди, которые считают нужным или необходимым противостоять сионизму, должны сегодня отдать себе ясный отчёт в том, что АНТИСЕМИТИЗМ – МОГУЩЕСТВЕННОЙШЕЕ ОРУЖИЕ В РУКАХ СИОНИЗМА, и каждый, кто выражает национальную неприязнь к евреям (а не борется против сионистских политических деятелей, независимо от того, евреи они или нет), выступает – хотел он этого или не хотел – как прямой пособник сионизма, в конце концов, даже как невольный агент сионистской разведки, распространяющей слухи о готовящихся погромах.

Стоит указать на курьёзное положение дела: любые нападки на евреев во многом попросту бьют мимо сионизма, так как /.../ большинство участников сионистской политики не являются евреями. ...Сионист и еврей – это совершенно разные сути, которые недопустимо отождествлять или хотя бы даже сблизать, как недопустимо, скажем, ставить знак равенства между немцем и фашистом (к сионизму принадлежат люди самых разных национальностей; это полностью относится и к фашизму)...

А.Лилиенталь приводит весьма уже давнее, но прямо-таки проникновенное признание Давида Бен Гуриона: «Если бы у меня было столько же власти, сколько желаний, я бы подобрал... преданных нашему делу молодых людей... и послал бы их в страны, где евреи погрязли в греховном самодовольстве. Этим молодым людям я бы приказал... преследовать евреев грубыми методами антисемитизма под такими лозунгами, как «грязные евреи!», «евреи, убирайтесь в Палестину!»

...Сионизм в США за последние десятилетия во многих отношениях утратил и продолжает утрачивать черты действительно НАЦИОНАЛЬНОГО движения, – хотя и выдаёт себя за таковое, и мнится таковым в умах очень многих людей».

Что тут сказать... Один из самых честных и благороднейших евреев И.М.Бикерман когда-то давным-давно написал: «**Кто сеет ветер, пожинает бурю.** Это сказал не французский остроумец, не буддийский мудрец, а еврейский пророк, самый душевный, самый скорбный, самый незлобивый из наших пророков. Но и это пророчество, как многие другие, нами забыто; **ВМЕСТЕ С МНОГИМИ ВЕЛИКИМИ ЦЕННОСТЯМИ МЫ И ЭТУ ПОТЕРЯЛИ.** Мы сеем бури и ураганы и хотим, чтобы нас ласкали зефиры. Ничего, кроме бедствий, такая слепая, попросту глупая притязательность принести не может. ...Я знаю цену этим людям, мнящим себя солью земли, вершителями судеб и во всяком случае светочами во Израиле, светоносцами. **Я знаю, что они, с уст которых не сходят слова: чёрная сотня и черносотенцы, сами чёрные, тёмные люди.** ...Уже тот факт, что наши жертвы составляют только часть жертв, поглощённых губительной смутой, требует от нас с повелительной необходимостью, **ЧТОБЫ МЫ МЕНЬШЕ КРИЧАЛИ О СВОИХ ПОТЕРЯХ.** Пора нам понять, что **плач и рыдания не всегда свидетельствуют о глубокой потрясённости рыдающего, чаще о душевной распущенности, о недостатке культуры души.** ...**Выставление напоказ своего горя,** своей только боли свидетельствует не только о недостатке душевной дисциплины, но также о неуважении к чужому горю, к чужим страданиям, к тому же – к таким страданиям, которые не должны быть чужими. (Это и к вопросу о спекуляциях на холокосте, хотя Бикерман в 20-е годы не мог их предвидеть. – Б.С.) ...Если мы свои потери можем ещё определять гадательными числами, то русские и этого делать не могут. Кто считал русские слёзы, кто русскую кровь собирал и мерил. Да и как считать и мерить в этом безбрежном и бездонном море!» (И.М.Бикерман. Россия и русское еврейство//Наш современник. 1990. №11).

(Судья не разрешил приобщить к делу «Страницу русско-еврейской дружбы №1», потому что Истец возражал – областной защитник свободы вместе с «Атиквой».)

Кстати, в декабре 91-го В.Кожин с супругой, В.Ганичев, Э.Володин и В.Танаков были все вместе у нас в Екатеринбурге на торжественном открытии культурного центра «Русская энциклопедия». Я только что привёз из Кемерово первый том «Сказания о Русской земле» генерала Нечволодова. Там его печатали, а я к торжеству должен был притащить из Кузбасса 100 экземпляров. Помню, был в сенной лихорадке, ел горстями супрастин... голова дурная... Из сэкономленных командировочных заплатил шофёру, так что он сумел подогнать автобус к самому вагону и помог мне утащить книжки в крайнее двухместное купе.

Смешное совпадение: Танаков тогда тоже притащил на себе из Москвы несколько тюков с «Русским вестником». Он был заместителем редактора... Потом ушёл в дворники.

Тогда на Вознесенской горке уже стоял царский крест. Мы приложились и отошли, а Эдуард Володин остался, чтобы совершить земной поклон. Вот так его и запомнил коленопреклоненным на белом снегу. С нами был ещё Никонов, наш хороший уральский писатель. Теперь уж их нет с нами на земле.

...Конечно, в моем репортаже из зала суда не было сказано главного: никакие оккупанты не оседлали бы Россию, если бы её не предала так называемая элита. Элита... О её качестве и отношении к России очень ярко говорят открытия бывшего вице-премьера российского правительства и председателя Госкомимущества РФ Альфреда Коха:

«Сейчас Россия появилась, а она никому не нужна (смеётся). В мировом хозяйстве нет для неё места... Россия никому не нужна, не нужна никому Россия, поймите (смеётся)... Русские ничего заработать не могут... Они так собой любят, они до сих пор восхищаются своим балетом и своей классической литературой XIX века, что они уже не в состоянии ничего сделать.

Сырьевой придаток. Безусловная эмиграция всех людей, которые могут думать... Далее – развал, превращение в десяток маленьких государств... Я, откровенно говоря, не понимаю, почему хаос в России может стать угрозой всему миру. Только лишь потому, что у неё есть атомное оружие?... Чтобы отобрать у неё атомное оружие, достаточно парашютно-десантной дивизии. Однажды высадиться и забрать все эти ракеты к чёртовой матери... армия не в состоянии оказать никакого сопротивления» (США, радиостанция WMNB, 23.10.98. Цит по: Михаил Назаров. Тайна России. М., 1999. С.444).

В декабре 93-го в патриотической «Уральской газете» (она уже давно экономически задумана) Юра Нисковских опубликовал мой воображаемый «Разговор с Аксаковым» - по случаю 170-летия Ивана Сергеевича. Разговор складывался из прямых цитат:

«Столица Российской империи назвалась с самого основания своего именем не русским, а немецким. Это немецкое наименование новой столицы Русского государства знаменует собою дух и направление всего послепетровского периода русской истории. Немецкие чины и прозвания, немецкий язык в изданиях Академии, не русский язык в дипломатических документах, не русский, немецкий строй администрации, немецкие канцелярские порядки даже в области церковного управления, изгнание русского языка из домашнего и светского употребления в высших общественных сферах - неужели все это только внешность, пустяки, мелочи? Неужели все это не внешние признаки глубокой внутренней болезни, расколовшей духовную цельность нашего народного организма? Не объясняют ли они нам название России, отчуждение от ее народных потребностей, истории, преданий, не здесь ли должны мы искать истолкование того ненационального направления в политике, которого держались мы до самого последнего времени? Не здесь ли, наконец, ключ к разгадке, почему в настоящую пору так слабы внутренние связи наши с окраинами... Дрогнула вера в свою народность, закралось сомнение в своих духовных силах, поникло чувство личного народного достоинства - чужая народность вторгается в такой народ, хозяйничает в нем, и государство, при всем наружном величии и блеске, слабеет, никнет, и не в состоянии удержать не только те приставные части, которые только и держались внешнею силою, но и те, которые по-видимому приросли к нему органически.

Мы зазнались... Мы, то есть небольшая кучка, так называемая интеллигенция, космополитическая по характеру и даже по составу, если вспомнить, что уже теперь чуть ли не треть русских студентов - евреи. Зазнались перед тем громадным большинством, которое зовется русским народом, как зазнались листы пред корнями в известной басне Крылова...

- Но что же делать? Где искать учителей, пророков, наставников? Неужели не в среде высших образованных классов?

- А кто у нас первый разрушил цельность общей народной жизни, подорвал органическую силу народного творчества, кто отсекся от своей народности, от своих исторических и бытовых преданий, от духовного единства с народом, кто обезьянничал из всех сил, кто раболепствовал иностранцам, кто искажил нашу жизнь чужеземными формами, кто налагал на русский народ чужие законы развития, кто по очереди был то немцем, то французом, то англичанином, то тем и другим и третьим вместе, кто вертелся, как флюгер, по дуновению всех западноевропейских социальных и политических теорий, - кто, как не мы, как не высшие образованные классы? Что было бы с Россией, если бы не было у нее устоя в русском народе!

- Значит единственное наше упование...

- Простой народ. Вспомним все фазисы, через которые прошло развитие нашей общественной мысли, и поблагодарим Бога, что у нас есть простой народ, есть такое зерно, которого не удалось нам раздробить молотом дворянской заемной цивилизации. Это зерно сберегает в себе всю сущность нашего народного я, нашей национальной личности, всего того, почему Россия - Россия. Слава Богу, что народ наш так неподатлив, так недоверчив, так упрям, так упорен, так тяжел на подъем, что все усилия переряженных из «образованного класса» разбиваются о его неподвижность. Именно благодаря консервативной силе и охранительным элементам этих миллионов устояла Русь против всех бурь и невзгод, на нее налетавших».

Разночинцы-интеллигенты вместе с дворянскими потомками декабристов тащили Россию в пропасть. Там, на ее краю: «кругом измена, и трусость, и обман» (по словам царственного страстотерпца императора Николая). Все предали царя и Россию, изменили присяге - высший генералитет, даже иные великие князья... А на дне пропасти... Впрочем, может быть, Россия - на кресте, а вовсе не на дне пропасти? Может быть, скоро - воскресение? Или только после Страшного Суда?

...А наш суд закончился ничем. Точнее, он так и не закончился. Судебный процесс ушел в песок... Где-то в перерыве между его заседаниями (а они, перерывы, длились полмесяца и больше), мне чуть было не устроили скоропостижную смерть. Отлежался после укула камфоры — и пошли с Машей выгуливать Жульку, которую она подобрала возле школы. Собака долго кашляла. Потом выяснилось, что у нее воспаление легких.

Чтобы укрепить мои телесные силы, Мария накупила мне... шоколадок. А я ничем не мог ей помочь... Приближался апрель 94-го, когда она перестала выходить на улицу. Метастазы, возле телефонной будки перекрестило поясницу. Хорошо, Павел (зять) оказался дома, быстро прибежал и увел через дорогу и на третий этаж. Месяц потом сидела дома, а в мае уехала с внучками в деревню. Зря, наверное: в городе я читал ей на ночь канон Богородице, она засыпала, уходила боль и тоска...

Я, конечно, не мог читать ей общеукрепляющие проповеди, не мог назидать. Сопел на кухне, выжимал морковный сок, покупал какие-то лекарства... Лишь однажды в одной из рецензий, где речь шла о совсем другом человеке (написал ее по просьбе Марии, как почти все свои газетные безделушки), я попробовал ее утешить. Надеялся: она поймет, что это и про нее. «...Если не очень бояться, то много чего можно успеть. Ну да: если знать и верить, что не все кончается с этой жизнью. ...Мы знаем, по слову Евангелия, что нет больше любви, чем когда отдаешь жизнь за други своя. А потому повторим вслед за святым Серафимом Саровским: «Если б ты знал, какая сладость ожидает душу праведного на небеси, то ты решился бы во временной жизни переносить скорби, гонения и клевету с благодарением. Если бы сама эта келия наша была полна червей и если бы эти черви ели плоть нашу во всю временную жизнь, то со всяким желанием надобно было бы на это согласиться, чтобы не лишиться той небесной радости, какую уготовал Бог любящим Его».

Всякий русский, окунувшийся в политическую жизнь современной России, вскоре убеждается, что его плоть начинают есть черви самого разного калибра. И это надо принять как факт, чтобы с достоинством переносить скорби, гонения и клевету - в надежде на небесную радость, ожидающую нас за смертным порогом.

...Знание часа смерти Господь дарит лишь самым верным. Причем неважно, что станет ее причиной - пуля или тяжелая болезнь. Прочие люди чаще всего проживают жизнь так, будто впереди тысячи или даже миллионы лет, которые можно невозбранно тратить на пустяки и житейские дрязги. Те, кто получил ведение последних лет или дней на земле, обретают неоценимый дар. Они, если истинно веруют в Бога и бессмертие души, успевают переменить нрав, обрести долготерпение, кротость, воздержание, чтобы признать своим царство радости и любви».

Тогда мы ещё только прикоснулись к Церкви, но Мария сразу же повела туда внучек. Да... И сразу все оказались в океане слов, задающих тон всей последующей жизни. Маша написала в тетрадке: «30. 10. 92 г. Таня и Оля собираются на улицу. Ольга почти уже совсем оделась, а Таня скачет по комнате полуголая. Таня: «Оля, нельзя так быстро одеваться, это гордыня!»

Мария любила своих внучек... Да что там внучек... Однажды в троллейбусе увидела пьяненькую молодую женщину (возвращалась из кафе с дружеской пирушки). Испугалась за неё... мы проехали с ней до конечной, попросили в диспетчерской стакан воды. Маша вызвала у неё рвоту, а потом привела домой, где сразу договорилась, что к концу недели она придёт в церковь, чтобы креститься. Та, конечно, не появилась... Мы все болеем нетерпением, ждём, что за словом сразу же последует дело... Пытаемся помочь траве расти, тянем её вверх... а она вылезает из земли и может засохнуть. Но... От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься... Помоги, Боже, найти настоящие слова.

Вот она нарисовала... мимолётно... в ноябре 93-го. У неё ещё были в запасе девять месяцев земной нашей жизни:

«Стоим на главном проспекте, ждём трамвай. Юрий Подкидышев – фотоаппаратура наперевес, Юлия Санатина – сине-серые глаза и я, стара баушка на вате. Ждём трамвай, всматриваемся в жизнь. Бригада независимых журналистов. Единомышленники. Борцы за народное счастье и противники диктатуры. Вместе делали ныне закрытые газеты «Русский союз» (последний номер), «Глагол» – пока демократия не взялась за дубинку. Теперь вот «Евразию» иногда выпускаем.

Вроде неплохо знаем друг друга, а вот не знаем – поди ж ты. Открываю на днях «Уральскую газету» – там Юлины стихи: «Нет, конечно же, всё не так! Да и мы не те, что вчера...» Тайна, тайна великая каждый человек. Вот сейчас идёт пролонгированный судебный процесс над газетой «Русский союз». Истец Перлаков, представитель демократической цензуры, клеит уже убитому в августе машиной Юрию Бортникову призыв к свержению государственного строя. А люди по телевизору увидели Перлакова, погружённого в судебный процесс, и звонят со смехом: «Так он же читал нам в институте научный коммунизм, основы государства Российского много лет раскачивал коммунистической пропагандой. Подавайте на него в суд, мы пойдём в свидетели!» И смех и грех. Этого истца, ей-богу, жалко даже. А, собственно, где гарантия, что я сама не смехотворна? Стою вот тут, на остановке, что в голову приходит – то и мелю своим собеседникам. А им, может, мои тирады – лишние? Почему Юля смотрит куда-то мимо, сквозь все эти политические тонкости? На какой остановке она сочинила это: «Было лето – кислое совсем. Яблоком пропахло недозрелым...»?

А трамвая всё нет, и мой трёп мне самой неинтересен. Вдруг вижу: в толпе девушка. Тонкая, как... ну как что? Как веточка, принято писать. Но она на веточку не похожа. Что-то серьёзно-чистое в светлобровом лице, замкнутом цветистым платком, что-то из прошлых столетий в летящей походке, в длинном, до снега, пальто с большим песцовым воротником. Кидаюсь, не видя машин: «Девушка, простите... Откуда такая яви-

лась в эти отряды курток, штанов и лосин? Боже! Как красиво! Как женственно! Вы сами шили это пальто?»

«Сама», – ответ явно по инерции. Потом спохватывается, лицо становится строгим, неприступным: «А вы, собственно, что хотели?» – «Ничего», – лепечу. Я уже чувствую, что проиграла, не запаслась терпением и напугала бедную незнакомку. Первая глупость всегда потянет вторую. Представляюсь: «Я журналист. Можно, мы вас сфотографируем?» – «Нет, – она окончательно закрывается. – Журналист... Я не читаю газет. Извините». Она обходит меня и летит, не касаясь снега – как слаломистка, в толпе никого не задевая и всё набирая и набирая скорость.

Юрий Трофимович с Юлей уже возле меня: «Ну что ты людей пугаешь? Разве так можно?..»

Нельзя, милые мои, конечно, нельзя. И всё-таки: что это было? Чьё видение? Дуновение? Прошлого или будущего? Или того и другого вместе? Говорят, наша жизнь – поток, бегущий сразу в двух противоположных направлениях»...

В конце 92-го, уже смертельно больная, Маша отправилась в дальний посёлок, на запад. А в 93-м вышел её очерк в «Уральском следопыте» – «Кленовая моя, Кленовая...» Она работала до последнего.

«В Кленовую пришла зима. Уже в три часа ночи, глянув в подрисованное окошко, я догадалась, что утром нам придётся вспахивать белый снег. Чем до боли цеpleяет Кленовая: здесь слова обозначают то, что и должны обозначать: речка – так речка, а не какая-нибудь говнотечка. Лес – так лес, рябчики на столах не переводятся. По ягоды пойти – не с трёхлитровым бидончиком с восхода до заката спину гнуть – а ведро, не сходя с места. Вот и снег: уж и вправду – белый!»

Раннее утро, светово ещё не обозначенное. Пылим мы с Юрием Трофимовичем по снежной целине, он рыцарски пашет впереди, ботиночками прокладывая дорогу. Обычное дело, мелочи, так и должен поступать мужик – не мне же его за собой вести. Но перевёрнутость нынешних представлений всё же обрабатывает, и я готова прослезиться. Ладно, колючий ветер со снегом в лицо не даёт, да и Трофимыч обижается, когда его благодарят».

А начинается очерк так:

«Глава первая. В ЛАДОНЯХ БОЖИИХ

Самым сильным впечатлением того весеннего дня была служба. У стен разрушенной Свято-Никольской церкви сам архиепископ Екатеринбургский и Курганский Мелхиседек осеняет крестом наши повинные головы. Довольно ветрено, но свечи не гаснут, а только трепещут, пугают возможностью погаснуть, и мы, не умеющие ещё всем сердцем полагаться на волю Божию, прикрываем – каждый свою – свечи ладонями. Кленовские стоят, склонив головы, некоторые на коленях. Нас окружают зелёные горы, такие высокие здесь, что кажется: лес этот с облаками на его вершинах – нездешний, и голоса певчих – голоса незримых в вышине. На литургии много молодёжи – парни рослые, красивые: дети льнут к свечам. Мы все – как будто в ладонях Божиих, жалемые и прощаемые на этой Кленовской земле...»

Юра сделал там снимок как раз вот такой: Мария стоит с горящей свечой. Прикрывает свечу ладонью. Сейчас огромная фотография висит над кроватью Ольги, нашей внучки. Может, эта свеча удержит её на всю жизнь возле Церкви? В Божьих ладонях, в свете, тепле и радости.

Мария почти всегда делала свои газетные вещи как репортаж. Каждый мог путешествовать вместе с нею, ходить с ней по снежной целине и по лестницам, входить в дом, в квартиру, в церковь:

«В Кленовой уже почти ночь; 603-й, красноуфимский, обронив нас прямо на приснеженную железнодорожную насыпь, уходит, рассекая темень огнями. Мы идём с Подкидышевым вслед ему до переезда. Здесь нас должна встретить Тамара Яковлевна на своём «мерседесе», то бишь «запорожце». Но никого нет, только два приземистых мужика с котомками да высокий парень – руки в карманы – обгоняют нас. Кленовские горы в ночи завораживают больше, чем днём. За ними, где-то в глубине неба, свет – здешнее «северное сияние».

Я ещё не знаю, что завтра вечером здесь, в деревне, мне прочтут стихи оттуда, с этого тихого мерцающего неба. Стихи Валерия Клёнова:

Кленовая моя, Кленовая,
ты тоска и радость моя.
Здесь от хутора и до края
В старых окнах душа твоя...

Валерия убили в городе: подошли на улице и ткнули чем-то острым, беспощадным... Я ещё не знаю этого, не вижу синих глаз его сестры Нины, протягивающей мне черновики недописанных стихов. Я стою за переездом, как бы у входа в село, и просто чувствую и понимаю, что этот свет с неба что-то означает.

...Второй час ночи. Мы сидим на маленькой кухоньке, согретые травяным чаем, планируем завтрашний день. Глава администрации сыплет и сыплет в мой блокнот имена. Я на глазах созреваю и уже готова бежать по заснеженной кленовской дороге – на ферму, в тракторный парк, в школу, в больницу, в пекарню, в аптеку, в детский сад – навстречу людям, которых не знаю, но очень хочу узнать».

И пошли Маша с Юрой рано утром: на ферму, к механизаторам, в детский сад.

«...Я противник детсадовского воспитания. Сама росла на воле: одна под замком с двух лет – лишь бы не ходить строем на горшок – и детей с пеленок в казарму не отдала. Но 27-й Кленовской – статья особая. Прохаживаясь по этому уютному дому и вспоминая свою единственную военную Машу с криво пришитой рукой и плоским, прямо на тряпичном лице нарисованным носом, я в который раз убеждалась, сколь неоднородна жизнь. В 27-й сама бы пошла хоть завтра, в любую группу и в любом образе – хоть куклой, хоть мишкой плюшевым. Уменьшилась бы до размеров Карика и Вали, уселась бы за белую скатерть против вон

той Алёнушки и попивала бы из расписной чашечки «как будто чаёк». И носились бы со мной, как с писаной торбой, не только дети, но и все эти чудные молодые женщины... Сама заведующая справлялась бы о моём здоровье. Ничего покушного я бы не носила, всё индпошив, а детишки никогда не ссорились бы из-за меня, ни из-за других кукол, потому что крестьянские дети не приучены хапать, не поддаются на соблазн для них ничего не стоит. Детский садик – это тоже опора совхоза, все связаны здесь кровными узами, воспитатели и родители ходили в одну школу, и крестные в деревне не считают, наверное, всех своих крестников.

Почему-то коренные кленовские все синеглазые. (А мы-то вот с Марией в этой нашей земной жизни были кареглазыми, и дети наши.) И в глазах больше неба, чем речек – незамутненная синь и грусть. Нина Павловна Изгагина, заведующая, всё шутит, шутит. А глаза печальные. Мы сидим в её кабинете – самой крохотной и тёмной комнатке, наверняка задуманной строителями как подсобное помещение. Нина Павловна без ломания отвечает на мои вопросы...»

Люди всегда с удовольствием отвечали на её вопросы. Что-то в ней было эдакое... Эдакое – незнамо какое, за что люблю её до сих пор. По сю пору и навсегда?

«Свято-Никольская церковь стоит в лесах, в самом центре села. За спиной у неё река Пут – внизу, где-то у подножья; пред изувеченным Ликом храма – все мы, грешные, непокаянные. Тамара Яковлевна говорит: «Пока не восстановим – не будет нам покоя».

На трехсотлетию села, когда заканчивалась служба и голоса певчих перелились в магнитофонный колокольный звон, усиленный динамиками, не могу оторвать глаз от иконы Божьей Матери. Она вынесена из рабочего кабинета Ноговициной и стоит теперь на обвалившейся паперти и плачет о нас невидимыми слезами. Помогите нам, Божья Матерь! Научи опомниться! Шепни в наши забытые роком уши: «Вы дети Святой Руси...»

Мы снова покидаем Кленовую. Метёт, метёт на дорогу, автобус продвигается медленно, осторожно, качается за окном снежный лес. Нас посадили к артистам (автобус заказной)... Мы сидим с Подкидышевым в самом конце длинного салона, на голову мне то и дело наезжают чёрные кожаные (или клеенчатые?) чехлы, в которых полосатые костюмы. Чехлы садятся на голову так настырно, что сопротивление бесполезно, и выход один – терпеть.

Я и терплю, и думаю о Клёнове, Нинином брате. Он ведь не Клёнов был, это псевдоним. Ему выпала тяжкая земная доля: кленовым листом, сорвавшимся с родимого дерева, кружить и кружить и нигде не находить причала. Ещё мальчиком мечтал о небе: летать бы среди звёзд и глядеть, как падают они и гаснут в тёмных озёрах. Но в лётную школу не приняли, закончил авиатехническое училище, младшим лейтенантом ушёл в армию. После неё попал на философский факультет университета, где схлестнулся с комсоргом Бурбулисом. Пришлось уйти, закончил наш горный институт.

Валерий жил в городе как неприкаянный. Вроде бы и семья, и работа есть, но... Механизмы были не его делом, последнее время он всё чаще повторял: «Так я устал, надо в деревню уезжать». Уже после смерти брата Нина найдёт эти строчки, обращённые к родненькой Кленовой: «Млечный путь над твоею дорогой, август дарит таинственный свет, звёзды падают в огороды...» Жизнь оборвалась, как строчка: бежала, бежала и – стоп.

Душа Клёнова исполнила свою детскую мечту – поднялась к небу (только-только прошло сорок дней), притулилась над деревенским кладбищем. Будем ждать теперь, когда из маленькой точки над рекой Пут рванётся навстречу ей колокольный звон. Не магнитофонный – малиновый».

Маша не дождалась, ей оставалось пребывать на земле меньше двух лет. А ходить по ней своими ногами – и того меньше, всего-то годик с небольшим. В Иоанно-Предтеченской церкви Екатеринбурга под иконой святого Серафима давно стоит ящичек для пожертвований – на реставрацию кленовского храма (рядом – «моя» икона Богородицы – Всех Скорбящих Радость, я ж родился шестого ноября). Колени батюшки Серафима Саровского утвердились на камне, мы припадаем к иконе, но... Пока что в Кленовском совсем недавно чудесным образом воздвигнуто хорошее двухэтажное здание, где обосновались молитвенный дом и воскресная школа. Через десять лет после того, как Мария и Юра пахали там ботиночками снежную целину. Млечный путь над твоею дорогой, август дарит таинственный свет...

Через неделю... или через месяц... после своего дальнего кленовского путешествия они вошли в подъезд уралмашевской шестнадцатизатжки. «Подкидышев, оглядывая обшарпанную бетонную стену коридора, на которой болтались почтовые ящики с вывороченным нутром, стал говорить мне, что Таню в ТАКОМ доме не снять, надо на природу – чтоб опавшие листья у ног и берёза у плеча. Конечно, иметь дело с берёзой да травой, да речкой – мечта каждого, и могу себе представить, какой была бы возле берёзы Таня, но, увы, не среди берёз живём мы, добровольные узники каменных кварталов, и я должна была поглядеть на Таню дома, в четырёх стенах.

В лифтовую клетку с нами втиснулась влюбленная пара и пожилая женщина с сумкой, из которой торчал починенный сапог с белым номером на подошве, и мы в какой-то нелепой близости поплыли вверх, стараясь не глядеть друг на друга.

Договариваясь с Таней по телефону – она звонила мне с автомата, и было слышно хуже, чем по сельской междугородке, – я забыла спросить этаж, и мы вышли наугад на четырнадцатом. Кое-как разглядев номера квартир, нацарапанные прямо на стенах, поняли, что надо спуститься ниже. Отыскали пешеходную лестницу и, минуя леденяще-открытый, какой-то гибельный балконный пролёт, пошагали вниз, раздражаясь гулкостью собственных голосов.

Вот уж чего не представляла – так босую Таню... Год назад она пела на вечере русского романса.

Гремело фортепьяно и звучали голоса студентов музыкального училища имени Чайковского. Она устремила взор куда-то в далёкие выси и запела небесным голосом. Слушатели завозились в сумочках, отыскивая платочки. Отчего они плакали? Трудно объяснить... Трясти слова «русское возрождение» уже не хочется – залапали, замусолили их на стылых пропагандистских перекрёстках. Но люди плакали, и от этого никуда не деться. Она пела, чуть покачиваясь, как тростинка в безветренную погоду, и, казалось, не она поёт, но ангел небесный кружит над нашими горестными приватизируемыми головами.

Так и была она для меня этот год нашего знакомства существом околосемным, хотя и встречались мы в самых бытовых сценах жизни. А теперь вдруг эта босомогость и застенчивая радость, с которой она расталкивала наши одёжки в тесной прихожей. Ничего ты, журналист, в людях не понимаешь, спустишь на землю: она же в доску наша, простая русская девчонка.

В доме пахнет пирогом, под ногами крутится маленькая Аня, Анна Юрьевна двух с половиной лет. Мы проходим в комнату, где пианино, диван, столик и два кресла – роскошь былых времён. За окном, в застеклённой лоджии кроличьи шкурки на верёвке – развешаны, как бельё. «У тебя что, муж скорняк?» – «Нет, инженер, но жить-то надо».

Да уж...

Свернуть Таню на промывание бытовых трудностей не удаётся. Единственная деталь, которую она проговаривает с расстановкой, это – СЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ! ТЫСЯЧ!.. востребованные с неё в Уральской государственной консерватории и положившие конец её обучению в высшем заведении. Разве может её семья заплатить такие деньги? Я говорю Тане: а может, это промысел Божий? Может, ты лучше сохранишь свой дар, не подставляя его под опыление устоявшихся стандартов? Таня смеется и называет имя уважаемого человека, который говорит ей то же и тоже считает, что раз дан голос, неразъёмный с душою, так и служить он будет для просветления души.

...Бабушка услышала, что Таню терзают журналисты, и решила принять участие в создании образа любимой внучки: «Она ведь меня как купает, знаете ли! Ни один пальчик на ногах не забудет. Я наклоняться вовсе не могу, так она всю меня вышоркает, намочит – ну как ребенка!» У бабушки очки, и огромные линзы мешают взглянуть в глаза, но я с голоса чувствую, как сияет она, расписывая Танины подвиги.

Мне хорошо в этом доме, и Подкидышеву, кажется, тоже не грустно. Юрий Трофимович усердствует так, как если бы его привели в дом всемирно известной певицы. Он отлично знает, что в газету больше одного снимка не возьмут, но всё снимает и снимает, как будто кто-то из будущего попросил его об этом.

...Нас приглашают к чаю. На стол Таня накрывает проворно и вместе с тем как-то застенчиво-грациозно. Умела бы я писать стихи – хоть в стихах описывая это лёгкое скольжение вокруг стола. Иголочка-Таня и ниточка-Аня, которая точь-в-точь повторяет мать. В итоге перед нами скатерть-самобранка, и в центре её пирог. Вместо того, чтобы углубляться в изучение характера моей героини, я, кажется, слишком торопливо соглашаюсь отведать его и, не дождав первого кусочка, начинаю выспрашивать рецепт, тем более он мне оказывается сердечно близок – дешёвый.

Что же касается характера и «тайников души» – я ведь кое-что уже знаю о них. Их легко разгадать, если глядеть в Танины глаза. В них такая глубина, что становится страшно: с такой родниковой чистотой трудно жить в наше время... Но что же я делаю: ведь понимаю, что это обывательский испуг. Нет, нет, я так не думаю и прости меня, Таня. Я знаю, что ты счастливая, потому что сохранить себя такой, какая ты есть, – счастье.

Однажды мы стояли с Таней на остановке в «час пик», в центре грохочущего, гудящего Города. Мы спешили в дом писателей Урала на вечер, посвящённый Пушкину, и всё не могли выбрать троллейбус, в который можно втиснуться. Я беспрерывно смотрела на часы, спускалась с поребрика, чтобы лучше видеть, скоро ли очередное, распираемое изнутри транспортное чудовище подползёт к остановке, и гадала, вберёт ли оно и нас, наконец. Таня стояла спокойно, в какой-то внутренней тишине, только едва заметно покачиваясь. Я поняла, что она поёт.

Как я завидую ей! Мы в троллейбусной давке оберегаем авоськи, с тоской подсчитывая просаженные гроши, соображаем, сколько же порций можно сварганить из купленного за триста рэ килограмма и хватит ли понюхать остатков на завтрак или всё подчистится в ужин... А она... Она не то чтобы не думает об этом, но думает иначе, потому что в нас во время такого думанья кипит раздражение, а в ней звучит музыка. Или молитва?

...За окном быстро темнеет, и нам пора. Перевернём по деревенскому обычаю чашечку кверху дном – мы окончили чаепитие, спасибо хозяевам. Мы ведь и пришли-то, собственно, только сфотографировать Таню. А писать... Писать о ней, наверное, буду долго ещё. Пределы, кои оставлены для её голоса, определит только время. А я люблю дожидаться его суда».

Это газетный номер, увидевший свет в ноябре 1992 года. Повторяю: Мария уже всё знала про свой рак. Но... «писать буду ещё долго». Да чего там... Я и сам через год надеялся – вот дотянем до лета... вот что-нибудь... вот как-нибудь... Господи, помоги. Теперь себя убеждаю: Бог лучше знает то время, когда надо взять нас к Себе. Он хочет спасения души моей Марьюшки, а не моего душевного комфорта. Нашёл вот свою старую бумажку, где убеждаю себя: «В раю будет всякий, за кого, любя, молится после успенья хотя бы одна живая душа на земле. Значит, искорка любви теплится в душе усопшего и молитвами можно разжечь её в пламень». Такой вот премудрый пискарь.

Какое счастье, что в любой её газетной и журнальной вещи так полно присутствует она сама. Нужно только читать очень внимательно. Милый мой журналист...

Глава 10. Девяносто третий год

ГОНЧАРЕНКО, ВЕРХОВСКИЙ, ВОРОБЬЁВ

Объединяю этих очень разных, иногда даже противостоящих друг другу людей одной строкой заголовка. Мне всё равно не понять, что же их в действительности разъединяет, да и не моё это дело. В 90-е годы их так или иначе объединяла борьба с разрушителями России.

...Роковая и роковая перестройка Государства закончилась его распадом. Весной 93-го, во время противостояния президента и парламента, мы ещё успели выдать репортаж (до нашей земной разлуки – ещё больше года):

«Отлученные за политические убеждения от наших демократических средств массовой информации, мы решили прибегнуть к известному кустарному жанру – листовке. Купили 300 граммов муки, сварили клейстер и пошли на главную площадь города, чтобы хоть таким способом высказать своё отношение к президенту и его команде.

Но не тут-то было. Только бережно промокнули чистой тряпочкой листовку на стене горсовета – позади топот ног: «Пройдёмте!» Благо идти недалеко – к милицейской будке как раз напротив памятника Ильичу. Помнится, она здесь появилась в конце 70-х – начале 80-х, когда кто-то у ног вождя мирового пролетариата написал «Свободу политзаключённым!» Сам первый секретарь Свердловского обкома КПСС тов. Ельцин как раз и придумал будочку, посоветовавшись, по-видимому, с окружением.

Стоим возле будки, рядом милиционер с дубинкой смущённо улыбается, а другой внутри таинственно переговаривается с начальством по телефону. Холодно. Наконец, нам оглашают приговор: листовки изъять, задержанных переписать и отпустить. (У меня тогда был один документ на троих – читательский билет публичной библиотеки. – Б.П.)

Первое нас не устраивает, второе и третье – со всей душой. Снова закрывается будка, снова консультации «на высшем уровне». Теперь решение соломоново: листовки изъять в количестве 1 шт. каждой разновидности, второй и третий пункты – в силе. Пока нас переписывают, приезжает автомобиль с мигалкой. И ещё ребята в милицейской форме и без оной откуда-то набегают.

Раздаём каждому по экземпляру. Берут, читают, видят, что в листовках ничего особенного: «Нам нужна твёрдая власть. С Ельциным мы рухнем» (и карикатура).

Допытываемся у офицера из машины с мигалкой:

- А почему наши листовки клеить нельзя?
- На здании горсовета ничего клеить нельзя из санитарно-гигиенических соображений.
- Так вон же американская фирма «Ле Монти» свои бумажки развесила. «Багира» в публичный дом зазывает. Это можно?
- Это можно...

В конце концов разговор сводится к следующей сентенции: «Поймите нас правильно. Вы к власти придёте – ваши приказания будем выполнять. А пока что за политические листовки, если появятся на площади, накажут дежурных милиционеров».

Что ж, каждый готовится к референдуму, как умеет. Господин президент монополизировал «электронные» средства массовой информации. Ему подчиняются госбезопасность, армия, МВД, милиция. Может быть, для убедительности скоро танк поставят у нас на площади?»

Потом, в мае, эту нашу вещичку опубликовала газета «День». А ходили с листовками мы с Машей да Раиса.

Танки вышли к парламенту через полгода...

Тогда же, в начале 93-го, в «Русском вестнике» (№2) вышла предостерегающая статья:

«Пока мы не опомнились, после мертвечины коммунистической цензуры – без передышки, под грохот речей о «свободе» – пришла «демократическая» грязь. Но в духовном отношении и то, и другое имеет один источник – дьявола, и сводится к одной цели – антихристианству.

...Одолеть врага и выйти на духовную свободу мы можем только с помощью Божьей, молитвой и постом, благодатной силой таинств святой Православной Церкви. Иначе мы так и будем попадать в ловушки, которые в изобилии расставил нам враг. У него есть испытанные приёмы на этот счёт.

Первый – это еврейский вопрос. Нет ничего лучше, испытаннее для того, чтобы оклеветать и обессилить русское патриотическое движение, чем свести его к еврейскому вопросу. Дьяволу только этого и нужно – чтобы мы считали врагом кого угодно, только не его, нашего настоящего, реального врага, действующего через грех, который есть в каждом человеке. Это не значит, что не нужно быть внимательным к антиправославным, антинародным замыслам – это будет уже другая ловушка, с другой стороны. Но в том-то и дело, что без истинного воцерковления мы будем постоянно попадать то в одну, то в другую ловушку, давая врагу осуетить себя духом мира сего.

Второй приём – это одеть нас в соответствующую форму, дать нам в руки красные знамёна, факелы, портреты Ленина, Сталина, книги Гитлера. Под любыми предлогами. Явно и тайно – так же, как почти незаметно он ввёл в оформление газеты «Память» и в орнамент изображённой в ней русской рубахи – свастику (1992, №4, с.14 и 16). В какую бы сторону ни были загнуты концы свастики, какие бы исторические «основа-

ния» у неё ни были, её духовная суть одна: лишь бы только не икона, не православный крест.

Вот почему святитель Тихон не благословил Белое движение. Они говорили: «Хоть с дьяволом, только бы против большевиков». Но дьяволу только этого и нужно. Так же, как сегодня ему нужно, чтобы мы говорили: «Хоть со Сталиным и Гитлером, только бы против сионистов». Но победа реальная может быть только с Богом.

Вот почему наша Церковь, как мать, оберегает нас от подобных ловушек».

...После Пасхи Марию соборовал иерей Сергей Суханов, у которого я потом работал на православном телевидении вплоть до начала нового тысячелетия. А через месяц после соборования мы с ней уехали в деревню – до августа, когда был убит Юрий Липатников, председатель «Русского союза». Его отпевали в храме Вознесения Христова, а сороковой день пришёлся уже на конец сентября – на время противостояния парламента и президента.

Тут опять появилась Раиса. С одной стороны, это несчастная и бездомная овечка, а с другой – прямо какой-то неистовый Виссарион. Карбонарий. Да-с... В сентябре 93-го Раиса быстренько накарябала плакат: «Ельцин — путчист! Его место в Матросской тишине!», и мы встали вдвоём возле огромного дома, где обитала наша областная власть. Мария не могла придти, поскольку сидела дома с внучками. Было холодно... Снегопад... Депутаты и функционеры администрации ходят туда-сюда, одобрительно хмыкают или неодобрительно хмурят брови. Один остановился и начал срамить: вы, мол, десять лет назад за такое где бы оказались? А сейчас вам Ельцин разрешил, так вы и обрадовались...

А чего он нам разрешил? Мы без его разрешения пришли. Как и недавней весной – после его «недоворота».

На следующий день туда пришёл чуть не весь «Русский союз», стояли долго со всевозможными плакатами. Опять замерзли, свернули транспаранты в трубочку. Уже стояли как самые обычные обыватели, готовые разойтись. Но тут приехала милиция, майор с лейтенантом стали что-то выкрикивать, за руки хватать. Мы очень удивились: чего это они теперь-то беснуются, когда и повод совсем исчез? Лейтенант предложил пройти в отделение, и мы отправились к милицмейским машинам... Но вмешался какой-то подполковник,хватило ума нас отпустить. Испугался: а вдруг Ельцин в самом деле скоро окажется в «Матросской тишине»?

Потом вместе с депутатом горсовета Алексеем Гончаренко организовали «комитет защиты конституционного строя», который и заседал у Алексея в рабочей комнате. Кстати, там вместе с нами присутствовал также и директор вышеупомянутого штайнерианского лицея (личные наши отношения остались по-прежнему доброжелательными... он потом «завязал» с вальдорфской педагогикой... впрочем, и лицей его потом задавили городские власти... в дружеских объятьях).

Выпускали всевозможные листовки и клеили их на стены, стояли в пикетах... «Русский союз» митинговал на Плотинке, вдали от коммунистов, которые боролись с антинародным режимом под тем самым памятником Ильичу... А я в перерыве катал внучек на лошади в Историческом сквере. Их не с кем было оставить дома.

Однажды (уже 6 октября) высадили десант возле ракетостроительного завода имени Калинина. Шла домой смена, а мы раздавали листовки... Минут через 10-15 быстро снялись и исчезли в метро. ОМОН прозевал нас.

Вот кусочки наших машинописных пресс-бюллетеней под рубрикой «Нет Конституции плохой или хорошей. Есть Конституция действующая. Иначе – гражданская война»:

«Пресс-бюллетень №3. Из интервью председателя Екатеринбургского горсовета Сакмарева пресс-центру комитета защиты конституционного строя: «Я не считаю, что в стране государственный переворот. И вот так говорить, что надо сейчас стоять на защите данной конституции – это гнать дальше зайца в тупик. – Корр.: Карманнику вы также посоветуете не соблюдать конституцию? – Сакмарев: Эта конституция на карманника работает».

№4. 30 сентября на площади перед кинотеатром «Космос» по инициативе комитета прошёл многочеловечный митинг в поддержку конституционного строя России. Выступали народные депутаты областного, городского, районных советов, представители общественно-политических объединений, партий, общества «Долой трущобы», граждане.

Принята резолюция: «Сегодня ясно, что Ельцин не способен управлять Россией, за него правит камарилья. ...Если мы предадим Верховный Совет, Россия не простит нам Ельцина. Спасение сегодня в решительных действиях в защиту конституционного строя, в одновременных выборах президента и Верховного Совета с достаточным сроком для подготовки к выборам. Ведь на этот раз мы не должны ошибиться в наших кандидатах!»

Граждане, призываем вас к всеобщей политической стачке в защиту законно избранной власти, против государственного переворота! Требуем отозвать Екатеринбургский ОМОН из Москвы!»

№ 6. Шестого октября, 15 часов 45 минут. В 16 часов проходная завода им. Калинина начнёт выпускать первую смену. Мы стоим в пикете рядом с «торговыми точками»: после работы у проходной можно купить на ужин рыбу, изрядно помятые помидоры, бледное мясо.

Наши плакаты написаны наскоро – темп и качество диктовали кровавые события в Москве: «Ельцин объявил войну своему народу», «Соотечественники! Требуйте эфир для оппозиции!» Нас в пикете одиннадцать человек. Кто без плакатов – с листовками, в которых весь кровавый день 4 октября расписан по минутам.

Начинает подходить народ. Какие-то две женщины сходу кричат нам, что мы красно-коричневые. Мы не обижаемся, их зомбировало телевидение, они не виноваты. Готовимся к тому, что сейчас, когда выйдет смена, агрессивная реакция удесытерится. Но происходит прямо противоположное. Люди, минуя рыбу и помидоры, идут к нам. У пикета образуется текучая толпа, сотни рук тянутся к листовкам. ЛЮДИ ХОТЯТ ЗНАТЬ ПРАВДУ.

ОДА ЧЕТВЁРТОМУ ОКТЯБРЯ

Наш президент наконец победил полностью и окончательно. Раз и навсегда. Чего-то надо теперь сказать по этому поводу, но так, чтобы не попасть в тюрьму. Наверное, было бы благоразумно теперь его расхваливать каждый день. Например так.

Да здравствует вождь народов России, самый мудрый в мире реформатор!.. Да здравствуют самые свободные в мире цены на хлеб!.. Да здравствует наш кремлёвский самый лучший в мире соловей, посуливший нам счастливую жизнь к концу 1992 года! Он даже перевыполнил своё обещание, потому что счастливая жизнь наступила гораздо раньше. Теперь у нас самая низкая в мире плата за электричество, квартплата и пр. С президентом связано всё самое драгоценное в нашей жизни: расцвет духовности у нас в России, ликвидация чиновничьего воровства и коррупции, искоренение проституции и грязной порнографической пропаганды. Он освободил нас от цензуры: левый, правый, центрист и даже самый простой человек вне партий и политики может прийти на телевидение и запросто высказать своё плюралистическое мнение. Он создал самую сильную в мире армию – почти как в (Южной) Америке или в Новой Гвинее. Нашим детишкам он подарил самое счастливое в мире детство.

Вместе с ним надо бы пропеть оду нашим радикальным демократам. Но уже просто не хватает слов, дыхание перехватило: такое впечатление, будто железная рука держит за горло...

НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ!

На Россию надвигается ночь. Но мы ещё не в кромешной тьме. И это не первая ночь в двадцатом столетии. Вспомните: в 1917 году рухнула великая империя, в 1918-м убит русский император с семьёй, уничтожено русское дворянство, купечество, в 1929 году началось уничтожение русского крестьянства, продолжилось уничтожение казачества.

Вместе с физическим геноцидом шло уничтожение народной души, насильственное изъятие из неё Бога. Сегодня духовный геноцид в расцвете. Но оглянитесь вокруг: несмотря на массивную пропаганду насилия, жестокости, порнографии, несмотря на духовное растрепывание, истекающее из теле- и радиорупоров, – мы живы! Мы живы – несмотря ни на что.

Атеистический красный режим рухнул и точно так же рухнет жёлтый режим, введённый перекрасившимися партократами. Власть сатаны – князя мира сего – призрачна. Она влачит существование, только паразитируя и попирая святыни. Но святыни бессмертны. Поэтому – не отчаивайтесь! С нами Бог, если мы Его не забыли. Мы же Его не забыли?

ПАНИХИДА

Шестого октября мы собрались у креста на Вознесенской горке. Пришли на православную панихиду по убиенным в Москве. Душам погибших нужны наши молитвы.

Ветер гасил свечи... На всякий случай приехали милицейские машины, но хулиганов не было – никто не посмел кощунственно помешать нам и священнику исполнить свой долг: «Вечная память невинно убиенным в междоусобной смуте и православным защитникам Отечества...»

За театром юного зрителя что-то горело, шли к небу клубы чёрного дыма. Слава Богу, это пока не дым гражданской войны. (Это написала Мария.)

НА ПРОВОДЕ МОСКВА

Закрывается газета «Советская Россия». В связи с чрезвычайным положением? Но почему другие газеты выходят? Дозваниваюсь до корреспондента «СР» Галины Орехановой. Она была свидетелем кровавой провокации в Москве.

Мария Степанова: Галина Александровна, сейчас вы дома... а днём? Что с газетой?

Г.О.: Газета закрыта, но мы на рабочих местах. Были попытки вышвырнуть нас из здания, но мы на провокацию не поддались. В интервью, данном компании Си-Эн-Эн, главный редактор В.В.Чикин выразил надежду, что после отмены чрезвычайного положения газета начнёт выходить.

М.С.: Почему средства массовой информации не называют количество жертв? Не называют имена – только некоторые?..

Г.О.: Жертвы прячут. Людей погибло жуткое количество, в основном простые люди. Скажите, как в Екатеринбурге, на Урале переживают события?

М.С.: Тяжело. Люди уже давно начали понимать, что за «свободу» принёс им Ельцин и его команда. Телевидению не верят. Желание знать правду неостановимо. Несмотря на угрозы из Москвы, люди звонят к нам в комитет, приходят, предлагают помощь.

Г.О.: Дай-то Бог. Одно вам могу сказать: если в регионах не поймут, не узнают, что на самом деле произошло в Москве – с Россией скоро будет покончено. Не дайте разогнать Советы.

М.Степанова. По телефону: 07.10.93 г., 20 час. 45 мин.

НОВОСИБИРСК

Новосибирским комитетом защиты конституционного строя выпущено до 5 октября девять пресс-бюллетеней. В них – правда о происходящем в Москве.

В городе идут митинги. Один из них – у Новосибирского радиотелецентра. Не побоялись наши товарищи сказать, что они думают о тех, кто визжит о «победе» ельцинизма.

Председатель областного Совета В.Муха исчез из облсовета после посещения Новосибирска С.Шахраем. Людям объяснили: председатель устал.

БЕЗ НАРКОЗА

Что такое куча? Одна песчинка – это куча? Нет... А две? Тоже нет... А три? Вроде тоже не куча... Ну, так сколько песчинок надо уложить рядом, чтобы иметь право сказать: да, это самая настоящая куча?

Можно и по-другому. Бурбулис – это народ? Нет... А Бурбулис с Шумейкой? Нет... А Бурбулис, Шумейка да ещё какой-нибудь Шейнис? Вроде тоже пока народа не получается... Но если присовокупить к Бурбулису сто пятьдесят миллионов нашего брата, то всё в порядке.

Правда тут начинаются проблемы иного рода. Если все мы вместе с Бурбулисом, Гайдаром, Ельциным, Шейнисом, Боннэр и другими – это народ, то как понимать такие заявления: «Мы сделали вывод, что единственный выход: это реформы по чилийскому варианту. Но мы почему-то думаем, что их проводил в жизнь Пиночет. Ничего подобного. В его задачу входило одно: не мешать американским экономистам из гангстерского города Чикаго проводить экономические реформы. В случае чего перестрелять или разогнать демонстрацию. Проще говоря, там провели операцию без всякого наркоза, только держали больному руки, ноги, чтобы он не дрался. У нас нет денег на наркоз. Нужна команда, которая сумела бы сделать в этих условиях операцию. У Гайдара, например, есть интересные ребята: молодые, ищущие». Это из интервью депутата Свердловского областного Совета Евгения Королёва («На смену!») 1992, 15 января) – про то, какие они с Бурбулисом хорошие мыслители и практики.

А проблема тут такая: почему бурбулисов нельзя резать, зашивать и снова резать, а всех остальных – можно? Или всё-таки бурбулисы – это не народ? Но в любом случае: спасибо за откровенность. Уже на пороге предупредили, что резать будут по живому. В роли живодёров – сытые, лоснящиеся московско-чикагские мальчишки, а «силовые структуры» услужливо держат нас за ноги и за руки. Кто вот только трупы таскает после очередной бойни?»

Такой получился пресс-бюллетень.

...Ночь с третьего на четвёртое октября провели в горсовете у Алексея Гончаренко. Я хотел всю ночь героически сидеть на стуле, но Мария устроила мне спальное место. Уж сейчас не помню... стулья сдвинула? Сама ушла в другую комнату вместе с Раисой. Там на диванчике прикорнула. Да ведь, наверное, и не спала... Там же, у Гончаренко, были наши друзья: Юра Цыбуля, Юра Савельев (первый мне потом денег на дорогие лечебные капсулы достал, а второй – дал автомобиль свозить Марию на последнее соборование; по сю пору им благодарен).

В воздухе пахло грозой, сновали туда-сюда омововцы... Мария вечером вручила мне магнитофон, и мы с ней отправились интервьюировать председателя городского совета. Но уговорам он не поддавался, как и милицейский полковник, мчавшийся в сопровождении свиты по коридору. Ах, не хотели они переходить на сторону законного парламента...

А мы-то, наверное, очень хотели, чтобы к власти пришли Руцкой с Хасбулатовым... Хорошо, что Руцкой потом всё-таки прикоснулся к власти, и все увидели, что это за фрукт. Такие мы были русские национальные политики... Впрочем, мы защищали парламент, а не Руцкого с Хасбулатовым... Да? Но к власти в любом случае пришёл бы... нужный человек?

В ноябре 93-го Маша ещё успела написать: «Итак, последняя сессия горсовета. Стою в дверях, гляжу, как рассаживаются депутаты. Внешне всё – как обычно. Рукопожатия, какие-то негромкие друг другу слова. Кто-то вроде бы и весел. Это натянутое «вроде бы» сильно бросается в глаза, потому что над Россией тучи, и нормального человека это обстоятельство развеселить не может. Даже если он «перспективный» депутат, и его после разгона Советов возьмёт к себе глава администрации. Тучи над Россией пролились кровавым дождём. Пока в Москве. Это грозно притаившееся «пока» где-то и здесь, в этом зале с мягкими креслами цвета бордо...

Вечер этого дня завершился вполне в русле логики предшествовавшего действия: в комиссию по самоуправлению ворвались караульные из милицейского отряда быстрого реагирования и надели наручники на депутата А. Гончаренко. Подробности – ниже, в интервью «Ледяной ветер».

Мария передала эстафету мне, а бесстрашный Юра Нисковских всё это напечатал в своей «Уральской газете»:

«И вот теперь, наконец, можно бить депутатов. Раньше была какая-то неразвитая, даже недоразвитая демократия: если он народный избранник – так его и пальцем не тронь. Сидишь за столом в пятнистой форме, берет, пистолет в кобуре – сидишь, чтобы депутата не обидели. И вдруг теперь всё наоборот, теперь эти депутатишки оказались как бы в концлагере... Сторожа теперь снова начальство – как в 1927-м или 37-м...

Может быть, преувеличиваю? Что ж, послушаем депутата, председателя комиссии по управлению и

самоуправлению.

– 29 октября, после сессии, где нам объявили об упразднении екатеринбургского Совета, я пошёл на своё рабочее место. Пятница, надо было завершить все дела в комитете защиты конституционного строя. Впрочем, я и до этого раньше десяти не уходил. В 21.50 появилась охрана – двое из отряда быстрого реагирования горУВД: «Вы всё ещё тут? Быстро выметайтесь!» Я попытался объяснить: необходимо минут пять, чтобы закончить работу на ЭВМ, ровно в десять уйдём (здесь же была журналистка из нашего пресс-центра). «Нет, убирайтесь мгновенно!» По-видимому, ощущение силы и власти пьянит... Милиционер подошёл, вытащил из розетки тройник, бросил за шкаф. Мне показалось, что он и в самом деле навеселе. Кто-то из депутатов праздновал похороны Совета – может быть, поднесли? Так или иначе, намарку час работы на компьютере. Что делать? Попытался позвонить в милицию. Но: «Никаких звонков, выметайтесь!» Набросились, заломили руки, потащили из комнаты. В коридоре стали бить по ногам, кричат: «Лежать!» Как собаке... Повалили на пол, пошли выгонять Раису Николаевну. Та в это время успела набрать телефон дежурного горУВД: «Приезжайте, в горсовете избивают депутата Гончаренко!»

Схватили её за руки: «Уматывайте!» Еле-еле успела собрать вещи, куртку выбросили в коридор – на стол. Газовый баллончик из кармана покотился на пол. Я уже был на ногах. Швырнули в лицо куртку, опять вывернули руку, толкнули вниз по лестнице: «А сейчас ты побежишь с такой скоростью, как мы захотим!»

Внизу, в вестибюле, стали надевать наручники, снова крик: «Лежать!». Опять пытаются повалить на пол, бьют по рукам. На левой замкнули наручники, выкручивают – до сих пор красный след. Один схватил за голову, давит вниз, а другой бьёт ногой в грудь – раз, второй, третий...

Раиса Николаевна кричит: «Что вы делаете!» – «Ладно, – рычат, – пусть стоит... Так наденем...» Замкнули наручники на втором запястье. А из Ленинского райотдела уже приехали старшина и сержант с автоматом. Стоят, смотрят.

Мне команда: «Вперед по коридору!» Затолкали в дежурку: «Лицом к стене!» Стали писать рапорт дежурному по Ленинскому райотделу. Советуются: «Может, напишем, что пытался применить баллончик?» Изъяли депутатское удостоверение, сняли наручники и передали меня с рук на руки приехавшим милиционерам, которые повезли меня на машине.

В райотделе сочинили протокол: статья 165 – неповиновение работнику милиции. Я стал писать объяснение. Долго писал. Стали торопить: что, мол, писать – пора уходить. Чувствуется, что не рады, хоть не они это гадкое дело затеяли. Попросил провести медицинскую экспертизу – на предмет отсутствия у меня в крови алкоголя. Отказались... Ровно в 12 ночи отпустили, вернув удостоверение и баллончик, на который особого разрешения не требуется.

Вот так закончился последний рабочий день в горсовете. Из Москвы дует холодный ветер... Ледяной циклон дошёл и до нас».

Много лет спустя я изложил беседу с Алексеем Гончаренко: «Родился в Нижнем Тагиле, на Гальянке – рабочей окраине города. Мать была рабочей в цехе ремонта металлургических печей, а отец – железнодорожным диспетчером. Сначала и своей квартиры не имели, снимали угол у друзей. Хозяйка наша – баба Лиза – отправила своего сына в храм крестить меня – месячного младенца. Уже впоследствии поселились там же в одноэтажном казённом домике с печкой. А там, знаете, какие ближайшие проблемы: уголь, дрова, вода из колонки, огород... Конечно, рабочая окраина – район суровый, но отношения между людьми были чистые и справедливые. Даже дети подчинялись неписаным законам чести: скопом одного не били, лежачего не трогали. Если идёшь с девчонкой даже по чужому району – никто не тронет... Так что жизнь людей с рабочих окраин мне понятна, тут мне объяснять ничего не надо – я сам оттуда».

Хотел бы я найти слова, чтобы успеть рассказать обо всех, кто был рядом или уж совсем недалеко от Марии. Вот Анатолий Михайлович Верховский, умный и мужественный человек... Он мне однажды объяснил и рассказал: откуда есть пошли останки в Поросёнковом логу и кое-что другое. (А отец Дмитрий Байбаков опубликовал мои «комплексные исследования» в «Православной газете».) Анатолий в своё время изложил гроб для Марии в мастерской Юры Савельева. Он и первый настоящий крест воздвиг на Ганиной яме, а потом – деревянную церковь без стен на Вознесенской горке. Своими руками столяра и плотника...

Через два года отец Дмитрий опубликовал ещё одну мою вещь, озаглавленную «Кругом измена, и трусость, и обман?» (В Екатеринбурге приговорен к тюремному заключению человек, защитивший от поругания святыню). Я подчёркиваю факт публикации, потому что очень просто о чём-то написать, а вот ты поди-ка обнародуй... За этим всегда стоит мужество издателя.

«Представьте, вы пришли к месту гибели своего отца. Пришли в день его рождения, чтобы помянуть, прочитать заупокойные молитвы. И вдруг некий гражданин увидел вас из окна троллейбуса, специально покинул транспорт, подошёл к кресту и принялся говорить гадости: «Чего ты его считаешь, он же такой-сякой...» Да с матерком.

Вы ему говорите: «Уйди, дорогой, не бери грех на душу», - а он не слушается. Вы его берете за шиворот, а он всё равно не хочет уходить. Машет руками, отбивается, губу вам расквасил. Потом, споткнувшись, падает лицом вниз, уходит. И возвращается на милицейской машине. Вас хватают, везут в отделение, возбуждают уголовное дело по факту ваших «хулиганских действий». В конце концов суд объявляет вам приговор: назначить наказание в виде одного года лишения свободы («Ивдельлаг»). По статье 112, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Наверное, надо было тогда стерпеть поругание отца... И даже стерпеть кощунственный жест: хочу,

мол, помочиться на этот ваш крест...

Конечно, сейчас можно бы сказать: извините, господа, всю эту историю я просто придумал. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Но, к сожалению, здесь придумано только одно: находящийся ныне в тюрьме Николай Борисович Воробьёв 19 мая 1997 года пришёл почтить память не своего собственного отца. Он пришёл к месту гибели Царственных Мучеников – помазанника Божия Николая Второго и его семьи. Пришёл к деревянному Храму-на-Крови. Вот что пишет в своём ходатайстве в Кировский районный суд г. Екатеринбург владыка Никон, епископ Екатеринбургский и Верхотурский: «При вынесении приговора по делу Н.Б.Воробьёва прошу учесть следующее: в день памяти Императора Николая Второго ...гражданин П.Н.П., как показали свидетели, подошёл к группе почитателей святых Царственных Мучеников и нецензурно выразился в адрес Императора, затем непристойным действием попытался осквернить Крест, стоящий на месте убиения Царской семьи. Воробьёв Н.Б. пытался удалить богохульника со святого места.

На месте, где произошёл инцидент, установлен освящённый закладной камень будущего храма Храма-на-Крови. Прискорбно, что это событие находится в ряду таких событий, как взрыв Креста, поджог часовни и других строений на этом святом месте. Мы полагаем, что Воробьёв Н.Б. защищал почитаемое православными людьми место от поругания».

Православный епископ напомнил суду: на Вознесенской горке уже не в первый раз совершаются святотатства. Не осуждайте человека, защищающего святыню. Впрочем, надо полагать, наш сегодняшний судья искренне не понимает, о чём его просит Преосвященный владыка. Святыня? Что такое святыня? Помнится, Высоцкий пел: «И ни церковь, ни кабак – ничего не свято...» Не свято? Наверное, каждый раз надо объяснять, что такое святыня.

Так вот, в «Словаре русского языка» С.И.Ожегова святыня определяется так: «1.То, что является особенно дорогим, любовно хранимым и чтимым. «Враги попирают народные святыни». Национальная святыня. 2.Предмет или место религиозного поклонения (устар.)». Ожегов полагал, что второе значение слова «святыня» устарело. Это понятно: атеистам казалось, будто Православная Церковь вот-вот исчезнет с лица земли (мы, мол, всё это упраздним в ближайшей исторической перспективе). В 1994 году был переиздан «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н.Ушакова, где религиозное значение слова «святыня» стоит, как и положено, на первом, на главном месте: «1.У верующих – предмет религиозного почитания... Святое, священное место; место, где находятся предметы поклонения или где оно совершается... 2.перен. Что-н. особенно дорогое, заветное, любовно хранимое и чтимое». И здесь же о слове «святотатство»: «1.Кошунство, богохульство, поругание церковной святыни. 2.перен. Оскорбление чего-н. заветного, особенно дорогого, святого».

Важно понимать и такую простую вещь: если человек или народ перестали защищать святыни, то они близки к исчезновению. Когда про кого-то говорят: «Для тебя нет ничего святого», то это значит, что речь идёт о пропащем, злом, вероломном человеке, с которым невозможно вместе жить. А народ без святынь – это вообще нечто непредставимое. Недаром в мире живёт пока ещё такая истина, выраженная, кстати, одним не самым известным философом: «Нация есть ничто иное, как соборное лицо народа, творчески живущее исповеданием своих святынь» (Фёдор Степун).

Мы уже поняли: создаётся впечатление, что ни судья В.А.С., ни работники Кировского РОВД даже и не знают этих слов – «оскорбление святыни». Так, при расследовании оно совсем не принималось в расчет, а уголовное дело было возбуждено «по факту хулиганских действий» Николая Воробьёва. В приговоре суда чуть ли ни главным объектом исследования стал «механизм падения потерпевшего».

...Николай Воробьёв полагает, что П.Н.П. сознательно выступил в роли провокатора, а следствие и суд имеют заказной характер. Впрочем, он счастлив, что пострадал за Царя-Мученика. Бог не каждому даёт такую возможность. Сегодня Государь вряд ли написал бы: «Кругом измена, и трусость, и обман». Сейчас, через восемьдесят с лишним лет после его убийства, слава Богу, кругом не одни изменники и трусы. В начале века Россия не сумела защитить Православного Царя, но сегодня есть люди, готовые защитить его честь даже под угрозой лишения свободы.

Правда, в сфере нравственности пока по-прежнему царит такой хаос, что судьям порой невозможно объяснить самые простые вещи. Хотя всем нам надо бы тут и азбуку вспомнить. Например, хорошо бы понять: к деревянному Храму-на-Крови, что стоит на Вознесенской горке, идут лишь те, кто почитает Православного Царя. Все, кто почитает его убийц, должны идти в другое, ведомое им самим место. Потому что Храм-на-Крови – это Дом молитвы, а не дискуссионный клуб. В Храме мы приобщаемся к Истине, а не ищем её в спорах. Поэтому не надо идти к месту гибели Царя и его детей, чтобы сказать людям: «Почему вы царя прославляете, он ведь добровольно отрёкся от престола и получил такую кару» (слова П.Н.П., цитируемые в приговоре суда). Приходить к Храму-на-Крови и говорить такое – кошунственно, оскорбительно, безнравственно. Тут такая степень цинизма, что не отличишь от патологии. Такого ещё не было на Руси – ходить на поминки, чтобы говорить гадости о покойном».

Так вот получилось, что о царственных страстотерпцах мне пришлось трижды говорить в газете. Третий свой «материал» я уж не буду цитировать. Речь там о кошунственных восковых фигурах, изображающих царственную семью.

ДОЖДИ...

Ах, как мы вечером пели в селе Приданниково на бревнах возле дома, где она квартировала (на сту-

денческой картошке). Пели, между прочим, песни Окуджавы, кои только-только пошли в мир. Я их привёз из Йемена – ребятам-танкистам дал плёнку, и они переписали. Их там несколько человек сидели в охране у посла, а посольские деятели, наверное, иногда дружно пели песни Булата. Передают мне плёнку – и пугают: у-у-у, смотри: найдут Окуджаву на границе – все плёнки размагнитят!

Ну, вот...А потом мы сидели в огороде (говорит: «Погоди, схожу в избу за телогрейкой, а то уже холодно») и всё про себя друг другу рассказывали. Домой уж в ту ночь не пошёл – постелила мне на полу в избе, где они жили с Валей Орёл. Перед смертью Маша вспомнила, как ещё до этой первой встречи она старалась в студенческом общепите поставить передо мной чашку вне очереди. Первому. Она там работала на кухне, а я – грузчиком;мы возили картошку на овощехранилище. Тысяча девятьсот шестьдесят четвертый год... Спросила: ты помнишь? ты это заметил? Конечно... да... я это запомнил на всю жизнь. Любовь с первого взгляда.

В том же году ехали в трамвае - старой деревянной «пятёрке» красного цвета. У неё не закрывались двери. И возле дендрария я предложил ей: давай прыгнем, далеко возвращаться. Умеешь? И она прыгнула вслед за мной - и грохнулась на асфальт. Возле дома, где когда-то работал Брежнев, будущий генеральный секретарь. До сих пор ее жалко. Даже фамилию запомнил: ехали к ее хорошей подружке Лорке Грашук теперь уж тридцать девять лет назад. Она приехала издалека к своей матери на побывку, но мы ее не застали. Там стояли старые деревянные дома - за ювелирной фабрикой, ближе к речке...

Потом выяснилось: не прыгала никогда, а тут прыгнула. Любовь... А я дурак, как сейчас понимаю, - с окамененным нечувствием.

Помню, как летела она мне навстречу в дендрарии. Там сейчас возле аллеи часовня, а тогда был, наверное, какой-то склад. Майская первая зелень... Летела счастливая, в только что сшитом собственноручно оранжевом (с лёгкой чёрной цветочной графикой) платье... Наверное, долго ждал ее, сидя на скамейке, - потому и запомнил? Или запомнилось счастье?

Помню, как впервые расстались в городе после колхоза. (Приехали на ее остановку с вокзала, там по улочке Дзержинского под Вознесенской горкой тогда ходил трамвай – и, сворачивая на Толмачёва, гремел до главпочтамта; почему-то потом я часто во сне ездил там на трамвае или пешком ходил через горку мимо ипатьевского дома... Иногда, во сне же, прыгал с трамвая в снег.) Только расстались, а я вдруг вспомнил и рванул вслед за ней стометровку – мимо «сталинского» дома с колоннами. Задохнувшись, свалился в яму и завопил: - Маша, ты не сказала мне телефон! Она часто потом вспоминала... Она думала, что свалился из кокетства, а я задохнулся... никогда так быстро не бегал. А на следующее утро открывается дверь в моей общежитской комнате на Уралмаше - и на пороге она! А я еще валялся с книжкой на кровати. У неё не было адреса, и она разыскала меня, махая у носа маленьких начальников газетным удостоверением. И, кажется, сразу потащила меня к своей матери - показывать. На улицу Лермонтова, дом 15, квартира 10, телефон Д8-15-65.

Через несколько лет после ее ухода в город из Москвы на месяц привезли икону св. Николая Чудотворца. Я тогда работал на православном телеканале у отца Сергия Суханова, всё время разговаривал с людьми и чуть не каждый день прикладывался к ней. Сейчас икона в московском храме Христа Спасителя. С горки от Вознесенского храма виден наш бывший дом на Лермонтова. И, наверное, святой Николай дал моей несчастной голове такой утешительный диалог: - Маша, ты же не сказала мне телефон! - Боречка, тебе телефон не нужен. Иди спокойно через ночь земного сего жития. А утром я тебя встречу...

Встретишь?

Помню дожди... Брели как-то с маленькой Юлькой тёмною ночью от Сухого Лога к себе в деревню. С последнего поезда – через цементный завод. Дорога уходила вниз, в темноту, в мокрую преисподнюю. Оттуда с ревом поднимались огромные самосвалы. И мы сообразили, что погружаемся в карьер. Открытые разработки.

Помню, бежали с трамвая к себе домой. Середина семидесятых? Город утонул в дожде, было бы просто смешно укрываться под зонтиком. Бежали от Главного проспекта, от музыкальной школы. На секунду попытались встать под каким-то балконом. Куда там... Мимо магазинчика на углу, мимо «Кварцсамоцветов», мимо огромных тополей на Покровском проспекте, где когда-то гремели копытами гневные рысаки деда Марии... В далёком начале двадцатого века. (Нет теперь тополей – уничтожены летом третьего года по приказу наших новых хозяев... мешают строить очередную огромную железную лавку.)

В 93-м году, в последнее её пешеходное лето, мы ходили по ягоды и так же промокли. Собирали землянику на вырубке - и вдруг налетели тучи. Я бросился к соснам, нагнул молодую березку, стал ломать и навешивать зелёные ветки. Получился шалаш, мы уселись под сосной, но Маша, правда, скоро замерзла, и мы отправились домой под дождем. Шли километра три. Я повесил себе на спину березовую веточку, а она смеялась: зачем? Говорю: так теплее! Смеётся... Через год после ее успенья там случился низовой пожар, наша березка уцелела, но стоит мертвая. И хвоя под сосной, где сидели, выгорела. Я потом написал там ножом на закопчённой подсочке: Маша + Боря = любовь. Да? Смешно? Скоро и эту сосну уничтожат.

И мы сгораем, и сосны.

А потом и небо свернется, как свиток.

Глава 11. ВРЕМЯ и БЫТИЕ

Мост через реку был исковеркан дорожными машинами, которые глухо рычали за высоким забором. А рядом по склону к реке уходили деревья... Уходили из города к реке. Убегали. Это дендрологический сад, где по весне всё буйствует и цветёт. Вот – шагнул просто-напросто в сторону – и ушёл навсегда в катакомбы под землю из этого мира. Или наоборот? Или совсем не так? Мир остался там, под землёй, в катакомбах, а здесь

вольный простор и ослепительный свет.

Мы-то шли по своим важным делам. Надо было получить счёт за электричество. Никто ж его не принесёт домой. Вот мы и пошли, я и внучка Маша, и было ей девять лет, а мне шестьдесят. Туда просто приехали на трамвае. Это очень мне знакомая трамвайная остановка. Отсюда долгие годы путь лежал прямо к старой городской больнице, где чуть не ежегодно лежали мои мать и жена, Мария Михайловна и Мария Кирилловна.

Обычно я аккуратно сворачивал пальто и клал его на скамейку в приёмном покое, а потом поднимался на второй этаж, минуя вахтёра, чтоб его не огорчать. В раздевалку пальто всё равно не примут, потому что карантин, или не вовремя, или... Там, в приёмном покое, был такой длинный коридор со скамейками у краше-ных стен, где мы сидели и ждали. Или ждал я один. Ждал чего-нибудь хорошего несмотря ни на что. Однажды привёз Марию на «скорой», а приступ не отпускает. Всё время ела нитроглицерин... и моё сердце тоже уми-рало и задыхалось. И что же? Теперь и старая наша больница умирает, скоро останутся только стены, трава и кустарник. И пыль упадёт, и пепел, и скроет руины, как будто тут не было ничего. Как будто я тут никогда не стоял под окном.

Ну, ладно. Мы получили электрический счёт, но не возвращаться же домой на прозаическом трамвае. И мы пошли пешком, но вовсе не домой, а совсем в другую сторону. Туда, где под тем самым мостом одино-ко звучала флейта. Там у воды сидела древнегреческая Эвтерпа, неизъяснимая лирическая муза? *«Чистый восторг зовущей тишины»*. Это немецкий мыслитель блаженно беседует с японским профессором, а я недо-уменно цитирую. Я сейчас внимательно читаю их двусложный разговор в книге с твёрдыми корками «Бытие и время». Там мыслитель мечтает осмыслить двусложность понятий, но сам почему-то не может уразуметь, чего же он хочет. Это ж ясно: в каждом понятии – два полюса. *Само восторгающее приходит каждый раз к явленности... приходит в своей прелестной полноте на невозвратный миг... веяние тишины озаряющего вос-торга*. Ну да, Мария явилась в оранжевом платье с каким-то чёрным узором. С косым подолом – первый блин комом. Она только что сшила его собственноручно и поспешила на долгожданное свидание с ненаглядным мужем. Промчалась сквозь дендрологический парк – мимо часовни, где тогда униженно хранился какой-то инвентарь. «Они» пытались унизить часовни и храмы. Они... убогие? Несчастные. Ах, как их жалко. Как им помочь, рассказать... Ведь уже плавают нездешним восторгом небесные горизонты.

Твоя улыбка, когда шла мне навстречу по длинной аллее мимо часовни святого Александра. И как передать словами твою улыбку? Выражение невыразимого. Снова нам улыбнись – открыто, простодушно, смущённо, чтобы все увидели твою улыбку в её цветущей полноте. Да? «Но это ведь только тебе, а не всем».

Там, за дендрарием, у реки о сю пору стоит кирпично-коричневый старый дом, где когда-то, в двадца-тые революционные годы двадцатого века располагалась старая школа. И там сидела за партой юная Елизавета, мать моей роскошной недолговечной Марии, про которую я пишу уже одиннадцать лет, и всё только о ней: хожу по кругу, как слепая старая лошадь, вращающая грузоподъёмный ворот... Почему «они» до сих пор не уничтожили эту бывшую школу, почему не сожгли, не растоптали, не разломали огромной железной бабой, не изломали бульдозером, танком, атомной бомбой? Время и бытие. Им же ведь нужны тут у нас огромные баш-ни, казино, рестораны, бордели и... и... Зачем? Ну как же... Да все знают – зачем. Это мы тут у них, а не они тут у нас. Нас здесь пока только терпят с нашими маленькими часовнями, храмами и старыми двухэтажными школами у реки, несущей древние воды в далёкий океан. Мы же здесь странники, мы потихоньку и согбенно уже отправились туда...

Да, где-то внизу у реки глухо звучала флейта, а нам же с Марией всё равно идти именно туда. Там наша блаженная городская власть совершенно бескорыстно соорудила деревянную лестницу, ведущую к влажной реке, и деревянный летучий мостик над весёлой весенней водой. Мы стали спускаться по длинной лестнице и тут увидели внизу старушку в такой опускающейся на глаза грибообразной шляпе. Она просто играла на флейте, а люди подавали или не подавали ей милостыню. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. И она же ведь не просто так... Она играла на флейте, то есть давала нам подаяние, озаряла восторгом наши увядающие сердца. Теперь там, к сожалению, опять починили огромный мост, там снова грохочут трамваи, и больше никогда нам не услышать... никогда.

А тогда мы просто стояли на светлом деревянном мостике над текучей водой. Ах, какая милость... она вышла к нам с флейтой. И больше никто никогда её не услышит. Или я стоял там один-одинёшенек? Всё перепуталось в старой седой голове. Обрывки воспоминаний. А мы-то с Марией ведь шли по совсем другому мосту – там, где когда-то проехал давным-давно император Александр. Но с какой же Марией? Сначала с моей совсем молодой невестой в октябре тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года – от Рождества Христова. Мы шли с ней немного навеселе из университетского общежития, где я что-то пел и играл на одной гитарной струне. Ну, чем же её поразить и обрадовать? Мы уже повернули налево – туда, где до сих пор почему-то стоят старые дома и большая кирпичная стена. Там сейчас академический институт? Сидят древние учёные и листают старые исторические манускрипты... Про то, как люди рождались, любили и умирали. Там всё это написано про каждого из нас. И вот я залез на высокую кирпичную стену забора, отделяющего двор от улицы. А Мария ахала и восхищалась. Да я ж тогда больше ничего и не умел. Чем ещё обрадовать свою милую?

Мы тогда с ней учились на факультете журналистики, так что я теперь могу во время увлекательной игры с внучкой Машенькой торжественно написать «Акт об изъятии крокодильего хвоста в благороднейших целях». Впрочем, создавать такие вот акты нас почему-то не учили. Мы прилежно изучали постановления Партии и Правительства, объясняющие, как и для чего надо писать полезные статьи, очерки и корреспонден-ции. Естественно, в благороднейших целях. Чтобы построить рай на земле. Никто ведь тогда не знал, что он

давно уже тут. Что надо просто пройти через мост, где когда-то ехал император, – и сразу свернуть к реке, где деревья и травы, и огромное поле одуванчиков. Я и Маша рвали букеты и дули изо всей силы. И пушистые зонтики летели по ветру.

Сначала она убежала к воде по крутой тропинке вниз – и скрылась за лопухами, так что я стал тревожно вытягивать шею. Тёмные струи воды под старым каменным мостом. Но тут же она испугалась: а вдруг эта разлука навсегда? Как всякая разлука... И вот уже её косички тут рядом со мной, и мы дуем на одуванчики. Мы там стоим два года назад. Вон там – смотрите... время наконец-то остановилось. Мы там стоим на краю цветущей золотом поляны.

Ах, как скучно... Потом люди становятся взрослыми скучными людьми. Ходят в магазины и казино, пьют пиво и водку, чтобы убить время. Время спасения. Уничтожить его, растоптать. Ну ладно, ладно... Ещё далеко... Пока что мы идём по улочке, оставшейся нам в подарок от дальнего века с барышнями и рысаками. Как это «они» упустили? Кирпичный таинственный забор с аркой. И мы тихонько вошли во двор. Вот высокое крыльцо без ступенек и дверь, которую давным-давно никто не открывает. На крыльце много лет лежит старый поблекший коврик. Снег его покрывает, а потом снова растаивает. А он лежит и лежит, никому не нужный.

Старый таинственный двор, полуразрушенная кирпичная стена с кучей всякого мусора рядом. Старые деревья. Трава-мурава. Но мы же ведь куда-то идем вместе с Машей? Мы знаем тайну. Маленькой дочке моего племянника однажды ночью приснился вот какой сон. Она просила у Ангела храбрости, чтоб не бояться чёрной сердечной смуты и всяких прочих невзгод. И он послал её в храм к светлой иконе Пресвятой Троицы. И вот мы тоже пошли в этот храм. Мы же паломники-странники. Когда наступила разлука, там стоял гроб с телом Марии, данной мне в жёны. Это было в потоке времени... там был дом культуры, в алтаре – раздевалка, и певцы пели под куполом, а мы с ней иногда сидели и слушали, и, может быть, кто-то играл на флейте, услаждая наш слух. *Однако в ночи ужасающего Ничто впервые происходит простейшее раскрытие сущего как такового.* Смерть и время царят на земле?... Да-да... Бытие в потоке времени? Маленький островок любви и воздержания... в бушующем потоке тёмных страстей. Это тоже они, «они»... Спаси нас, Христе, – тоном-погибаем. Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя вещи.

А тогда собрались наши друзья, пришёл иеромонах Гермоген (Еремеев), и мы все отправились на панихиду в Иоанно-Предтеченский храм. Сияющий остров в ослепительной тьме. Иногда извлекает нас из катафалка времени туда... в вечность. Церковь испросила у Бога милости для моей совсем не старой жены, уплывающей на тот берег. Идущей по гулкому мосту? Там золотые одуванчики, невечерний свет и времени больше не будет.

В конце концов мы с маленькой Машей, наверное, всё-таки дождалась трамвая, чтобы уехать домой. Мы приложились к Иконе и отправились в свой собственный дом, который скоро тоже разрушат. Давным-давно это было, два года назад. Или сорок?

Там когда-то сидела на тёплой кровати совсем маленькая семилетняя Маша и бормотала: «Кулебяка подобрел от встречного ветра... Как? Ему ветер принёс правила доброго жития... и три шоколадных конфеты. Ему надо хорошенько поспать, и он проснётся добрый и хороший».

Нам пока ещё не скучно в этом непонятном мире.

Когда дед исчезал из дому когда-то давным-давно (допустим, ходил платить за электричество), прабабушка Маша даже и кресло иногда придвигала к двери в его комнату, чтобы кошки не гадили под кровать. И четырехлетняя Машенька знала: если дедушки нет, то дверь почему-то закрыта. «А когда ты умрёшь, дверь будет закрытой? Или открытой?»

Или вообще никаких дверей больше не будет никогда.

НА ТОТ БЕРЕГ

Май-июнь последнего нашего года Маша жила в деревне, пока в начале июля не сломалась рука (местастазы). Недавно нашёл бумажный листочек: мама моя Мария Михайловна написала письмо, да не успела отправить: «Маша, сижу я сейчас одна в тоске и тревоге, и так мне захотелось с тобой поговорить – так, о чём-то житейском, запросто: о Юле, Антоне, детях, о их тревогах и заботах... И послышалось мне, что раздался звонок. – Кто? – Серый волк! Я открываю, а там стоите вы с Борей, оба здоровые, весёлые, приехали из деревни. Как обычно заходите, раздеваетесь, ты спрашиваешь: звонил ли кто по телефону? Я перечисляю. Идём в кухню пить чай, вы рассказываете о деревенских делах, говорите, что Павел в отпуске и остался с Юлей, а ты решила побыть дома, завтра пойдёшь в церковь – помолиться, поблагодарить Бога, что помогает тебе справиться с болезнью. Согласилась и меня взять с собой...»

Я каждый вечер и утро молю Бога: Господи, сделай так, чтобы Маша исцелилась, чтобы всё в нашей семье было благополучно. Чтобы Юля благополучно разрешилась от бремени, чтобы снова в наш дом пришла радость. Друзья звонят, спрашивают о твоём здоровье, желают добра. Поправляйся же ты, пожалуйста! Да поможет тебе Бог, исцелит тебя!»

Мать умела быть незаметной: два последних наших месяца тихонько хлопотала на кухне – ей шёл 85-й год, полуслепая, теряющая слух. А мы с Машей плыли на лодочке – на тот берег.

10 июля 1994 г. Поворачиваемся на тот бок, где сломанная рука. Сейчас там Машенька и спит. Вчера ей димедрол поставил, ночью донимали боли в ногах - обезболивал. Болит душа.

Ночью, после наложенья лангеты, Маша страдала: зачем ты внушаешь, что выздоровеет рука, будем

садиться и т.д. Я уже приготовилась уходить, а ты... Но я знаю, что ей дорог этот мир и хочу дать ей надежду, даже сам веруя, что она сможет подняться. А все говорят одно: метастазы, метастазы... Сегодня Нина приходила с маленьким сыном Петей - говорит то же самое. У нее недавно помер от рака отец. Маша ей: ты врач, сколько мне осталось жить? А та: от двух недель до месяца... Это правильно? Не знаю. Знаю, что на все воля Божья, а мы ничего знать не можем достоверно. Вот сейчас пишу все это, чтобы НЕ ЗАБЫТЬ (надо написать про Машу, если она уйдет от нас домой, надо успеть рассказать). Я ей пообещал: напишу (хоть она и не просила). Сказал ей: ты очень большой, великий человек... Конечно, потом нас Сам Бог измерит, взвесит, но, мне кажется, человеку легче помирать, когда ближний вот так про него думает.

31 июля, вечер. Где-то в начале двадцатых чисел делаю отчаянную попытку сесть - подымает голову, говорит: помогай! Я бросаюсь к ней, помогаю, мы поднимаемся градусов на сорок пять... Я после этого: Машенька, ну ты предупреждай же меня в следующий раз, если захочешь сесть. Она: если стану предупреждать, то испугаюсь... Лучше так - без предупреждения... Больше мы с ней не пытались сесть.

Сегодня через полчаса после трамал-коктейля (это укол обезболивающий) сделала несколько глотков простокваши, съела два персика, и вдуг - боль. Дал еще и аспириин. Говорит: чувствую, за меня ангелы с бесами борются. Бесы подначивают: кричи от боли, катайся по полу...

Потом перекрестилась и сказала: - Огради мя, Господи, силою честнаго и животворящего Твоего Креста и сохрани мя от всякого зла.

Я плачу. Она не велит. Мать тут подошла, она ей пожаловалась (смешная - не без гордости), что вот, мол, я плачу... Да, это было еще до боли, потому что Маша громко моей тугоухой матери сказала: вот, дескать, - плачет. А потом, когда охватила боль: «Может, оттого, что громко сказала...»

Сегодня впервые ничего не ела, кроме черешни, слив и апельсинки (всего по чуть-чуть). Впервые не смогли ни разу за день перевернуться на бочок хоть на минутку - боль, «сейчас нога сломается». Назад вернулись, долго унималась боль. Что делать? Помогите, Господи. Я в отчаянии.

Звонил Пете, Петру Василичу, который накладывал лангету на сломанную руку. Говорит: вполне возможно, что сломается и нога. Он считает, что рак в четвертой стадии. Дни проходят, как в бреду: от укола до укола, от перевязки до перевязки, от туалета до туалета. Завтра еще магнитная буря - самочувствие ухудшится. Я так надеялся, что перелом руки из-за старой костной болезни, а боль в ноге - полиартрит. За соломинку хватаюсь. Господи, помоги.

Маша говорит: а ведь было время - могла я на бочок поворачиваться, ручку под голову класть.

УТРО 2 августа. Говорит: - Как я любила пальцем закрутить твои волосы (прежде чем уснуть). Казалось - держу крепко-крепко. И вот оторвалась...

Очень ласково погладила меня по голове и закрутила волосы, я сидел в старом кресле рядом, ждали - когда подействует обезболка.

После обеда - гроза, с сердцем плохо, собралась умирать. Просила у всех прощения. Сожалела, что у всех других не может... Чтобы хоть как-то утешить, дал Маше тетрадь и ручку. Она написала на прощанье всем ласковые слова.

ВЕЧЕР 5 августа. Ушли Юля с детворой и Антоша. Завтра, в субботу едут в деревню по хозяйству, а утром зайдут к нам, чтобы попытаться повернуть Машу на бочок - там вроде уже пролежень. Я сам сегодня ее ворочал ненадолго на левый бок и камфарным спиртом мазнул.

Говорит: - Как бы Юленьке объяснить: хоть мы и поругиваемся, да любим друг друга. Ты позвони ей...

Я понимаю: тебе страшно. Но мне лучше с тобой вдвоём на нашем кораблике. Мне спокойнее, если больше никого нет...

Замотала бороду пальцем: вот и не отпущу... А сама уже спит. Я ей дал таблетку снотворного, да поставил безэйфорийный наркотик анфин. После него нет галлюцинаций. Пльвем на тот берег в одной лодочке. Я от нее почти не отхожу, поставили рядом для меня детскую кровать - так и пльвем. Моя голова на запад, ее - на восток. Как будем отправлять всякие нужды, особенно большую, когда ноги больше полминуты не продержат согнутыми - от боли? Я сойду с ума.

6 августа. Под вечер я расспрашивал Машу про детство. Рассказала, как на спор по краю крыши пятиэтажного дома ползли - от одного чердачного окна до другого. На Лермонтова. Это уж девятиклассница. Хоть там и ограждение было, но все равно страшно.

Потом дядю Сеню вспомнила - как к нему из санатория с подружкой сбежали. «Он был как ребенок. На мельзаводе работал в конторе. Там его любили за справедливость. А когда он нас на телеге вернул в санаторий, то нас сразу в столовую - кормить. Да еще поставили полную кастрюлю компоту и огромную чашку бельяшей». Дядя Сеня был когда-то мобилизован в артиллерию адмирала Колчака, в белую армию. Чуть не потерял руку - осколком вырвало бицепс, впоследствии рука стала сохнуть. Полгода сидел в ЧК, но потом отпустили...

Через некоторое время с трудом пописяли. Говорит: наверное, сумела, потому что представила эту полную кастрюлю компота... Потом одолела боль. Сейчас дремлет после укола: анфин, но-шпа, платифиллин.

Да, еще вспомнила: однажды в пионерлагере в консервной банке насолила грибов, поставила в тумбочку и на следующий день съела. Со страшной рвотой увезли на скорой.

7 августа. Говорит: я всегда с ужасом вспоминаю, как с тобой и маленькой Юлей шли ночью из Сухого Лога в деревню. С поезда. Незнакомая дорога идет вниз, в карьер, дождь, темнота, а оттуда, как из преисподней, лезут огромные машины...

Поцеловала меня в глаз, когда я наклонился. Это, говорит, мое изобретение - поцеловать в глаз. Очень сладко.

- Помню: я в беленьком платочке, меня отец держит на руках. Он был громадный, я на какой-то головокружительной высоте - не комната, а не знаю что. И отец со мной танцует. Мне жутко и сладко. Мать как-то сказала: ты не можешь помнить, тебе было меньше двух лет, когда отец ушел на фронт...

Мать говорила: отец был геолог, попал в Екатеринбург по распределению. Похоронки не было, пришла бумажка: пропал без вести. А матери давали пособие на меня, как дочь погибшего. Его звали Кирилл, он мне имя придумал: пусть, мол, будет Мария Кирилловна, как у Пушкина в «Дубровском»... После войны я однажды гостила в Москве у его матери, моей бабушки Августы. Она была обрусевшей немкой из старой дворянской фамилии... Предлагала еще до войны моей маме: давайте я заберу Машу к себе. В 50-е годы она попала под поезд при посадке в электричку...

- Как выглядел наш дом? Это был двухэтажный барак. Заходишь - направо деревянная лесенка, махонькая площадочка, потом коридор. Прямо - четыре квартиры. И еще направо длиннющий коридор - буквой пэ. Отростки считались более привилегированными. Мы жили в общем коридоре в семнадцатой квартире. В одном из «привилегированных» отсеков жил дворник Степаныч (а она - Степановна). Во дворе была чистота идеальная. Степаныч ходил в шапке с кожаным истертым верхом, висячие уши, драный мех.

В бараке была текучка во время войны - отселяли, заселяли... Родионовы и Гладыревы, видимо, после войны заехали - семья летчиков. Я не понимала, какое нас немислимое связывало время. Очень опасно терять память. Потом тете Клавье скажешь: я переживала, что мы не общались... Из барака мы выехали в комнату на Лермонтова в 56-м году.

- Машенька, какое самое светлое у тебя воспоминание?

- Почти вся жизнь - светлое воспоминание. Мироощущение такое - жизнь как радость. Я от боли устала, боль измучила, но от жизни, борьбы, пеленок, от лука, картошки - от этого невозможно устать. Я это всё люблю. Я даже иногда думала... Можно было всё успевать, страшно много шло впустую.

Для меня самой новость, что так переношу эту болезнь. Значит, дал силы Господь. Очень быстро смирилась с мученьями, поняла - это мой крест, я должна всё перенести...

Как я вмешивалась всегда в драки - ведь у меня хвост трясся... Однажды с Валей Казариновой были в Красноуфимске. Там мужик свою беременную жену стал пинать на перроне. Нож достал: убью! Да на три буквы... Я туда бросилась... Валька меня хватает, мужика еще кто-то схватил. Когда сели в вагон - прямо смерть физическая, голова кругом, сердце зашлось... От жуткого страха.

А уж в последние годы... Как-то от «Аметиста» на Малышева тебе позвонила - встречай! И вдруг из Центрального ресторана выкатывают двое и начинают драться. Это метров сто от меня, через два уличных перехода. А я стою и думаю: я уже другая, я не я, я туда не побегу - сердцебиение, боль за грудиной... Единственное - подошла к мужикам и попросила: подойдите, разнимите, ведь они убьют друг друга ногами. К счастью, подошел троллейбус. Села и думаю: предала себя... Раньше бы кинулась с ором: ты что делаешь, ведь это же человек!

ВЕЧЕР 8 августа. Вспомнила, как дядя Сеня на Нижнеисетской горе грузди брал. Перешли дорогу, идущую на Арамиле. Откуда брал - непонятно... За час-полчаса ведро грибов в уже исхоженном месте. - Дядя Сеня, как ты их видишь? - Ты чо, не знала, что я землю насквозь вижу? - Ну дядя Се-е-еня.... - Правда, правда... Ах, какой мерзавец, смотри!

Думал еще поговорить, но Маша попросила снотворное. Перед этим подтыкали пеленку с клеенкой и марлей - для писанья (а это долгая процедура). И опоздали с уколом. Боль была страшная с полчаса. Да и потом чувствовалась, а со снотворным - уходит. Попросила меня: «Читай — да воскреснет Бог и расточатся врази Его... Читай, будет легче». Я прочёл много раз, потом рот стала раздирать зевота. Наверное, врагу не понравилось...

9 августа. Душат слезы: ставлю укол, а вся нога уже заколота, припухла. Куда завтра буду тыкать? Бужу Машеньку, спящую наркотическим (после анфина) сном. Бужу, чтобы не напугать уколом.

- Ты чего плачешь?

- Тебя жалко...

- Все еще жалко? Запиши... Я такой анекдот придумала: ты чего плачешь? - Тебя жалко... - Все еще жалко?

НОЧЬ, одиннадцать сорок пять, ставлю укол: - Маша, сейчас поставлю укол, немножечко проснись, чтоб не страшно.

- С тобой мне ничего на земле... не страшно...

10 августа. - Смотри: вот какие у меня теперь игрушки - колокольчик (по имени Боренька), карандашик (если надо где почесать), спичечный коробок (с заостренными спичками-зубочистками)...

Вспомнила, как Маше Штейнберг, соседке по палате, всегда привозили чего-нибудь вкусенького. Говорю: - Я у тебя тут в чемодане увидела морковку. Взяла одну и съела. На тебе сто рублей.

А это плата за всю смену в пионерлагере... Потом на работе мать этой Маши подает моей матери сотенку: возьмите долг, это ваша Маша заплатила за морковку.

А до этого на все деньги за первую смену купила чашку земляники - съели всей палатой. Мать как-то наказала. Как - не помню, но очень сильно.

11 августа. Сегодня в девять утра говорит:

- Ноги анестезировались, давай на бочок спину протирать...

А на спине возле лопаток вдоль позвоночника тянется темное пятно. Таня Петрова говорит, что метастаз. Стали сначала сгибать ноги. Шепчу: «По-ти-хо-о-онечку, по-ти-хо-о-онечку... Господи помилуй, Господи...» Петя сказал по телефону, что и ноги сломаться могут. Потом правой рукой ее ноги ворочаю, а левой - спину. А она своей правой рукой (единственное, что еще действует) подтягивает себя за край матраца. Повернулись кое-как, и тут выяснилось, что и пеленку под ней надо менять - мокрая. А она уже не может. (После говорит: - Как будто я вагонетку своими пальцами пыталась удерживать...)

Кое-как выдернул из-под нее две сложенные простыни и клеенку, подвел пеленочку и клеенку в пеленке.

Вчера Маше говорю: - Снотворное примем? А она: - Я же еще не писала... Смотри, обписяюсь - сам будешь в луже лежать.

Она духовно совсем преобразилась, прощения у моей матери попросила: ревновала, говорит, - прости, мама. И у Тани с Аллой Бородиной... Они нам полжизни помогли. Таня матушку мою все в свою больницу в отчаянном положении определяла. Лечила. Алла внучке моей Ольге однажды губу зашила, да и со «скорой» помогла, когда в деревне случилась катастрофа. Сегодня Таня Петрова с Милой Яшниковой принесли простыни и сто тысяч рублей. Они с Машей с детства подружки. С Милой познакомились еще в пионерлагере, в конце 40-х...

...Я написал еще одно заявление - продлить отпуск без содержания на месяц, до 29 августа. А что дальше... Петрова прочит Маше еще год такой жизни (и страданий). Во мне теплится слабая надежда: подживет сломанная рука - и там же левой ногой станет лучше, как правой. Можно будет на бочок поворачиваться.

Недавно Маша сказала: - В это трудно поверить, но это хорошо, что мы с тобой так вместе из-за моей болезни. Вдвоем...

Подумал: если люди в другой жизни - как ангелы на небесах, то каково же ангелу-хранителю. Он же смотрит на наши муки, плачет, сострадает страданиям, он все время на каторге любви...

13 августа. Вспоминает: были мы с матерью в Синарке. Партия стояла в Уфалее, а в Синарке - подразделение какое-то. Почему-то у меня всю жизнь был пунктик - проверять себя на храбрость, на выносливость. Ребятишки собрались и решили проверить: сумеем ли мы постучать в окошко ночью, в форточку? Мы думали, что мы очень умные, видимо... Сумеем ли мы дождаться глубокой ночи... А дело было в августе, ночи темные. Сомнений, естественно, не было ни у кого, что сумеем. Началась работа над планом. Народ был суровый в Уфалее, чтобы не попасться - нужен план. Выбрали зажиточный дом, с большим палисадником, садом. Когда стемнело, привязали веревкой к форточке свеклу - за хвост. Это требовало тоже отваги - залезть и привязать. Даже сейчас страшно вспоминать, потому что могло страшно закончиться.

Свекла стукнула в стекло, из окна кто-то выглянул, постоял, ушел. Свекла опять застучала. Тогда на крыльце появился человек с вилами в руках и пошел к кустам. Тут-то мы и поняли впервые, что не все согласны быть участниками наших игр. Тут игра соприкоснулась со страшной жизнью. Оказывается, есть люди, не согласные играть... Человек пошел и стал тыкать вилами в кусты. Мы замерли в ужасе. Он потыкал и ушел, думая, видимо, что мы убежали. Конечно, это был урок... Сейчас-то понятно: в доме могли быть больные люди, тяжело больные - как я... Могли испугаться...

Я, вообще-то, была вредной. В войну у нас на постое была Таня - беженка из Ленинграда, с которой мать, помнишь, дрова пилила. Так у ее дочки, когда она спала, я валенки прятала. И подсматривала, как она проснется и захныкает - где валенок?

Вот однажды и со мной поиграли на той же Синарке под Уфалеем. Там попали на сенокос. Машу посадили на лошадь - возить волокушу с сеном. В конце дня мужики водочки поддали (не знаю - местные или рабочие геологической партии). Распрягли лошадь, спросили: хочешь быстро домой прискакать? - Хочу! Пригнали круп папиросой, и лошадь рванула через бурелом... И несла, пока не доскакала до барака, где мы жили. Там женщина сняла с лошади: - Маленькая, кто же это так ссильничал?.. Три недели лежала на животе, мать примочки из трав делала.

Это все вечером тринадцатого Маша рассказывала. Был тяжелый день, магнитная буря, чаще ставил уколы, днем давал снотворное. А вот около десяти вечера - просвет.

Говорит: ты прав, как все многозначно... Такая со мной невысказанная история - а есть в ней что-то, без чего жизнь оказалась бы неполноценной. Мы бы не испытали такой глубины чувства... Любви, жалости... Мы с тобой плывем сейчас по таким глубинам на своем кораблике...

- Да, Машенька, мы сейчас на границе с иным миром... только сейчас научились любить.

Все время плачу. Она это видит и чувствует во мне брата, который любит ее и жалеет до последнего предела. Боюсь, как бы скорбь не сожгла меня до того, что не в силах буду ей помочь в этом тяжелом плаванье.

Господи, помоги, не оставь, уменьши страдания Марии, жены моей...

Я молился, а она: - Еще скажи: она не ведала, что творила, Господи...

14 августа. Утром открыла глаза: — Боречка, это я опять здесь стону — ничего не изменилось...

Днем позвонила в колокольчик, я прибежал с кухни, а она в полузабытье:

- Боречка, время уходит, а тебя всё нет... Где ты...

Вспомнил: в начале июня иду со станции в деревню около десяти часов вечера. Обычно меня Юля встречала с собакой. А тут смотрю - в проулке они с Машей стоят. И радость, и страх... Подбежал с мешком за плечами, обнялись. Вместе побрели домой, посидели на лавочке. Это был ее последний дальний поход. Смотри, мол: я еще жива, может мы с тобой не расстанемся... Может, мы...

Через две недели мы ее с Пашей (она его называла: самый лучший в мире зять)... мы с Пашей носили ее в баню. Юля говорит, что вся изохалась: как хорошо! А 25 июня в последний раз посидели с ней на нашей

высокой веранде, смотрели на реку, на дальний лес.

Сегодня приехал Юра Подкидышев, сделал моментальное фото: Маша смотрит на меня, а я держу ее за руку, как в судороге, а другая рука у нее на голове. В последний раз... здесь на земле...

15 августа. Вчера звонил сын. Говорит, что у них с женой закончился очередной отпуск, но жена хочет прихватить еще две недельки без содержания, чтобы теперь уж приходиться ко мне и как-то помогать.

По моему вызову приходил хирург из поликлиники. Вошёл в комнату, посмотрел на Марию и, не говоря ни слова, убежал. Только дверь хлопнула...

На спине у Маши вдоль позвоночника синее пятно стало давать отпечаток на простыне: сегодня рано утром мы с ней отчаянной попыткой вдвоем перевернулись на бочок. На крестце, где боли, тоже появляются небольшие синие пятна. Метастазы. С каждым днем страдания Марии будут все неизмеримее, и как я буду на них смотреть? Господи, зачем ты нас покинул... Или...

Вчера вечером сквозь сон, когда я менял марлечку у нее на груди, проспиртованной ваткой на спичке чистил рану:

- Не плачь, Боречка, все там будем...

17 августа. С недельку назад Маша все пыталась вспомнить песенку: «Миленький ты мой, возьми меня с собой...» Ощущение невероятности происходящего: опять утро, опять все то же, это не сон... Я говорю: возьми меня с собой, а она сердится: тут у тебя дети и внуки, не торопись.

Ничего не ест, пьет нарзан, два раза арбуз откусила. Были у нее сегодня в двенадцать Люба Макашина и Юлия Санатина. Люба была такая бодрая, что я даже удивился. А она была просто взвинченная - потом вышла на лестницу и расплакалась.

18 августа. Были после двух часов Сергей и психотерапевт (имя-фамилия из головы выскочили). Попытались облегчить состояние Маши. Она попросила лампадку зажечь. Какая-то тут экстрасенсорика, гипноз, Маша забеспокоилась. Прости, Господи, если что не так. Как бы душу не повредить. (Потом, через несколько лет, исповедался в грехе, а вот как на Маше это сказалося?)

После их визита дочь Юлия, сноха Света и я перевернули Машу на бочок, сменили пластырь там, где метастаз (синее пятно, мокнет), обтерли камфарным спиртом, перестелили простынь. Больше суток не мочится. Есть позывы, но не может. Пьет нарзан, ничего не ест. Наркотик ставлю вместе с сильнейшим обезболивающим трамалом. Время между уколами сокращается катастрофически. Сначала ставил через четыре-пять часов (промежутки в пять часов бывал иногда ночью), потом через три с половиной, в последнее время - через три часа, а сегодня вообще иногда терпеть не может: дважды пришлось ставить через час и через час сорок. Потому и на визит психотерапевта согласился. Прости нас, Господи...

Маша сказала сегодня, когда все ушли:

- Мне кажется, я осталась одна в лодочке... Ты рядом, но в другой.

Действительно, последние несколько дней она со мной говорила сердито, как раньше - до тридцатого июня. Все я делаю плохо. Наверное, уже плохо себя контролирует, сознание уходит. Господь не поставит ей в вину, миленькой моей. (Недавно нашёл свой листочек из 94 года: «Она хотела, чтобы мы были вдвоём, только вдвоём, а я через месяц сорвал себе спину и уже не мог один поворачивать её. Она и рассердилась. Я не сразу, а только теперь понял – почему. Потому что я не имел права срывать спину, только я должен был оставаться с ней, ей больше никто не нужен. А я сорвал спину – значит, нужны теперь ещё какие-то люди, помогающие её ворочать, разрывающие наше уединение, наше путешествие к смерти».)

Маша спит... Проснулась, с сожалением узнала: все еще вечер того дня, когда приходили врачи. Глотнула чуть-чуть нарзана, пьет из бокала, не хочет из поильничка. И опять уснула. Бедная... Пора ставить анфин, но-шпу и платифиллин.

19 августа. Маша, девять тридцать, вечер, после укола: «Странно, говорю сейчас с тобой и одновременно вижу: гуляют люди, бегают ребятишки, а я сижу на краю бассейна, бьет фонтан, я болтаю в воде ногами... Ты где-то рядом...»

Сказала: из-за твоего терпенья бесы оставили меня. А в деревне приходили мысли о самоубийстве, эти рогатые подсказывали разные способы.

Да, сейчас мы любим друг друга по-настоящему. Сейчас мы ласковы и добры вот так, как можно быть ласковым и добрым на этой страшной земле. Успели, хоть и на краю...

Веду себя целый день, как истеричная баба - слезки на колесках. Все время принимаю кофеин для долгого пребывания на ногах - наверное, от этого плаксивость. Да еще магнитная буря, видимо, бьет по голове. Отпустили меня сегодня женщины на улицу. Был в церкви, молился, заказал обедни за здоровье здоровых и за упокой покойных.

Были у Маши в двенадцать часов Валя Смирнова и Нина Ерофеева. Маша просила прощения: обижала вас, грубила... Оставили мне тридцать тысяч и арбуз.

Маша не велит пить на ее поминках спиртное. Но я же не могу ей врать: - Машенька, все равно будут выпивать и на моих, и на твоих поминках. Люди в скорби и в радости испокон веку пьют вино. И Христос из жалости к нам превратил воду в вино в Кане Галилейской...

Согласилась... Говорит: - Только водку не надо... А ты с Антошей всё равно не пей.

Под вечер говорит: - Сегодня я уйду...

21 августа. Маша все время во сне - от всевозможных уколов. Иначе бы металась. Сейчас открыла глаза: -Боречка... Сел к ней, положила руку мне на голову. Во сне дышит ртом, от этого и от лекарств пересохло

горло, язык плохо слушается, с трудом иногда ее понимаю.

Даже сквозь снотворное становится иногда невмоготу неподвижность: поднимаю, сгибаю ей правую ногу, сама берется рукой за веревочку, протираю бок.

Думали: наступит лето, будем бродить по лесу, мухоморы без кожицы кушать - и полегчает... Господи, избавь Машеньку от страданий.

Письем в длинную марлю, в баночку уже не может. Под нее натекло. Шутит: - Издалека долга течет река Волга...

Потом: - Где Юля? - В деревне, на огородных работах. - Вот умру без дочери и сына....

Знает, что ночью я с ней вожусь. Поэтому днем, когда сама засыпает, командует: - Давай, ложись быстрой, пока сплю... Но это когда контролировала себя. Сейчас все время под снотворным.

Как-то вспомнила: в студенчестве мы с ней ходили однажды в детский садик, где дежурила ее однокурсница Валька Орел. Там они побились об заклад - кто съест целый арбуз? Валя съела, а Машу рвало. Сожалела о своей необузданности.

Ох, необузданная была всю жизнь. Еще до нашей свадьбы приехали к нам в рабочий поселок - для показа моим родителям. Отправилась с той же Орлихой в лес к Чусовой. Говорит: пойдемте ходить босыми ногами по воде. А на дворе октябрь, но не смогли отговорить. Пошли с Валькой срочно костер зажигать. Впрочем, может, пошутила, а сама где-нибудь просто прогулялась?

Сколько мук приняла от характера... Как жаль... А сейчас уж жалости предела нет, разрывается сердце. Спит под снотворным и наркотиком, ротик открыла, исхудала, под глазами темно...

ДОЖИЛИ до 22 августа. Вчера сквозь сонный бред сказала: - Боречка... А потом еще несколько добрых, ласковых слов. Сколько хороших слов она мне оставляет. Они меня держат на свете. А могла бы, по моим грехам, наказать как-нибудь словесно. Шире ее души - не придумаешь. Никогда не было в ней мелочности. Щедрее человека я не встречал. Никогда.

23 августа. После десяти утра пришла сноха, я на часик побежал по магазинам, стиральный порошок кончился и т.д. Приходится много стирать всяких тряпочек. Многометровую марлю для малого туалета. Пришел, а Маша говорит: - Ты уплываешь...

Месяц мы с ней плыли вдвоем в лодочке. Теперь стали появляться посетители. Друзья иногда навещают. Иногда я на них сержусь, а Маша этого не любит и сама на меня сердится, ворчит, начинает придирается: то не так сделал и вот это не так. Однажды я захныкал: ты всё на меня, а за других заступаешься. Почему? Она очень серьезно ответила: - Потому что ты всё мне простишь...

Но последнюю неделю она опять очень ласкова. Глаза почти все время закрыты. Анфин слегка усыпляет, пипольфен (он еще и противорвотный) - тоже усыпляет, а теперь еще промедол. Маша говорит: - Промедол мне не нравится... Я: - Усыпляет? - Нет, пьянит, дураком становишься...

Промедол ей стали выписывать теперь вместо анфина. Однажды Маша после него увидела жуткий сон и сказала: больше не ставь. Я был в отчаянии: что делать, если анфин больше не выписывают? Пришлось претерпеть страшную войну с врачом. Даже в поликлинику ездил, наслушался от одной из врачей всяких гадостей. Говорит: - Вы ее убиваете наркотиками, ставьте иногда анальгин. Не хотела слушать, что даже трамал не снимает ей боль. И много было там такого, о чем не буду рассказывать. Прости их всех, Господи... Хорошо еще, что Маша так и не успела рассказать мне свой жуткий сон. Забыла? Он бы сейчас терзал меня.

Говорю: - Давно нарзан не пила... Хочешь? - Да, я забыла... Достань фужер под хрусталь, буду шиковать...

И уснула. Стоит фужер с пузырьками газа на стенках.

... У меня на ногах тяжелые тапки. Говорит: когда ходишь - отдается. На исходе укола хотел закрыть ее ножку простыней, а она: не закрывай, больно... А я не всегда помню, что на исходе укола простыню лучше не трогать. Марлеву на грудь сейчас меняю уже не через три-четыре часа, а реже - часов через десять. Маша теперь и не просит чаще менять, про грудь не помнит - перевязка чаще всего во сне, после укола.

Писяли сегодня утром удачно - были вчера подложены две клеенки с пеленками, причем вторая достаточно далеко - под поясницу. Это всегда такая сложная процедура.

Во время поворота набок, который делали чуть не вчетвером (я, Юля, жена брата Рита и зашедшая навещать Мила Яшникова), Миле стало дурно, и она повалилась на Машу. Хорошо хоть, что руки подставила и оперлась о постель. А недавно я один исхитрялся ворочать - и ноги держал, и спину, и умудрялся протирать.

Хорошо - помогают антирвотные средства. Рвет редко, последний раз - вчера утром желчью. Попила чуть воды - и вырвало. Сегодня съела немножко арбуза и дыньки. Регулакс не стала, хотя уже две недели без стула.

Паша вчера принес валерьяновые таблетки. Проглотил две штуки. Все время, чтоб шевелить ногами, пью кофе и глотаю кофеин. На дворе дождь. Спасибо, лето холодное, а то бы еще жара добавила Маше мучений. Паша меня выручает с рецептами и лекарствами (сам за ними бегают). Как сын мой. Господи, укрепи меня. «Боречка, ты уплываешь?» Нет, милая, я тут с тобой навсегда. Такая вот патетика... Жизнь была такая, какая была, - и мы стали чуть лучше только на ее исходе. А раньше... Всегда помнится только хорошее, а его... целая жизнь. За что нам этот дар? Жалкой протоплазме - бриллианты божественной любви... Маша в таких случаях говорит: - Немыслимо!!

24 августа, утро. - Боречка, раздвинь шторы... Прости, это не каприз... Я иногда говорю, что хочу умереть... Это неправда. Дерево за окном - капля жизни... Встречаю утро...

Такое было крохотное «окно сознания». Потом стала пить нарзан («Это - как дыхание!»). Потом рвота.

Долго кашляла. Сознание помутилось: «На каком этаже меня рвет?»

Сейчас в полудреме. Ходил на кухню согреть воды в поильничке. Говорит (с закрытыми глазами): «Где ты был, я тебя потеряла...»

Антон сегодня получил рецепт, взял 20 ампул анфина. Даже не хочу писать, сколько с этими «препаратами» нервотрепки. Откуда будет очередной удар? Господи, дай силы и разум упредить.

25 августа. С утра вырвало, после двух - опять. Говорит: «Боречка, подплываем...» Дай Бог, чтобы к Царству небесному. Думаю, что так, потому что цену за вход Машенька платит невероятную, а Богу не изменила. Ласковая моя... Укрепи меня, Господи. Я часто так ей и говорю, утешаю: про нас, мол, еще рано толковать, а тебя Бог к Себе заберет — столько страданий претерпела, но Ему не изменила, не упрекнула ни в чем.

26 августа. Есть мнение: 1) ставить обезболивающий укол лишь при болях, 2) ставить укол против рвоты лишь после рвоты, 3) как можно реже менять повязку на груди.

Но я подумал и увидел: 1) эдак Машу восемь раз в сутки будет сотрясать невыносимая боль, из которой придется ее вытаскивать увеличенными дозами наркотиков, 2) ежедневно будет изматывать рвота (а я сегодня ее легко предотвратил с помощью церукала - поставил укол еще до того, как она проснулась и попросила пить), 3) если менять повязку раз в сутки, то возникнет гнойное болото с невообразимым запахом (Маша и без того иногда морщится: из-под мышки пахнет потом; я протираю, но она все равно попросила привязать тряпочку через плечо).

Еще говорят: чего она много спит? Пусть, мол, будет в сознании. Я думаю: для чего? Чтобы безмерно мучиться предсмертными скорбями - духовными и физическими? В сознании она вспоминает, что лежит уже два месяца на спине, начинает «прилипать» и чесаться кобчик, спина, бок - хочется раздирать там всё карандашом (я его изъял у Маши, так она однажды хитро попросила спичку - поковырять в зубах, а сама стала расчесывать бок). Теперь у нее на уме, когда в сознании, уже не кратковременные детские воспоминания, не вечерний фильм по телевизору (Антоша маленький ящик принес)... Теперь все время мучительные попытки засунуть руку под бочок и под другой... Я пытаюсь ей помочь, но всё это снимается только лекарствами...

Сегодня пришли Света и Рита, и мы повернули Машу на бочок, заклеили метастаз между лопаток у позвоночника, обработали пролежень на пояснице, сменили клеенки-пеленки. Потом они меня отпустили на часок (чтоб с ума не сошел), и я пошел в церковь. На церковном дворе встретил отца Георгия Еремеева, диакона, нашего старого знакомого. Маша была зимой у него в гостях: показал ей фильм об Иерусалиме, дал ей тамошнего еля, песочек-камушки со Святой земли.

(...Надо бы ненадолго уйти от старых записей. Сейчас ночь, февраль 2001 года. Днями и ночами собираю главы нашей книги, которую назову, наверное, «На каторге любви». Тугодум... Как сделать эту нашу повесть, - придумал совсем недавно. Шесть лет в моей несчастной голове валялись какие-то разрозненные куски, никак не связанные между собой. Наконец Бог послал радость: я понял, что книга о Марии давно нами написана, надо лишь осмыслить ее как целое.

...В мае 93-го мы шли семь километров от станции до нашей деревни. Шли лесом под горку, потом полем, а в небе пел жаворонок. Между небом и землей... Говорю: -Маша, он же сладостней соловья. -Нет, соловей душевнее...

С тех пор много лет жаворонок не слышу (перевелись или уши заложило? или без Марии петь не хотят?). В общем-то, и слышать не хочу. Отпели нам соловьи да жаворонки. В последний свой месяц Кирилловна сказала: - Зря в политику ударились. Надо было Церкви помогать. Будет Церковь - будет Россия. А без Церкви она не нужна Богу.

Чего уж там... Она успела написать про архиепископа Мелхиседека - большой очерк. Защищала его в газетах, по магазинам собирала подписи в его поддержку. Конечно, надо бы раньше... В 85-м году, когда прозвенел второй звонок... Но мы тогда были поглощены «эстетическим гуманизмом», народной песней... А сам-то народ... Где ты? Уходит народ-хлебопашец, крестьянин-христианин. Затеплится свеча в городских катакомбах?

Баю-бай, баю-бай,
Ты ничо больше не бай,
Ты ничо больше не бай,
А Богородицу читай...
Богородица Богу молится,
Богу молится, низко кланяется...

Недавно нашел бумажку, где Мария написала слова этой колыбельной. И другую бумажку - кусочек черновика:

«Я сижу прямо посередине речки на быстринке. В этом месте ежели сядешь - вода у берегов поднимается. Я сижу в Кунарке - как в тазу, как в корыте, пескари тычутся в мои ноги, я полощу тряпки прямо в «водопаде», который перекачивается через мои колени. Для меня всегда родина - вот это. Именно это. Не вся деревня Кашина, и даже не дом мой на горе под дядькиными тополями, а именно эта быстринка, и именно когда я в ней, и обязательно жарко, и вода омывает меня. А тут еще....» На этом запись обрывается. Обрывается земная жизнь на полуслове.)

26 августа 1994 года. Пятница. На церковном дворе встретил отца Георгия. Сейчас он иеромонах Гермоген - ему дадено имя святителя, чья память совершается 25 мая, в день рождения Марии. Столько совпадений... Рассказал ему, в каком состоянии Маша, и он решил тут же ехать ее причащать. Говорит: Мария

Кирилловна просила похоронить ее здесь, на Ивановском кладбище, возле храма Иоанна Предтечи...

Пока он готовился, я поставил укол, ибо время уже пришло (анфин, трамал, но-шпа, церукал). Маша открыла глаза, посмотрела осмысленно, узнала отца Гермогена и говорит: «Пути Господни неисповедимы...» Была рада, что причащается. И у меня - радость, потому что неизвестен ни день, ни час, а состояние тяжелейшее.

27 августа. Маша спит. Иногда просит пить, утром даже пару микроскопических кусочков арбуза пожевала и выплюнула. Потом малины с сахаром попросила, чуть-чуть слизнула с ложечки и запила нарзаном. Говорит: хочу, чтоб вырвало... (Когда тошнит, то после рвоты - облегчение.) Однако не рвало... Выпила в конце концов треть бокала минералки. Все еще пьет из бокала, хоть и с закрытыми глазами. Правда, иногда открывает и недоверчиво смотрит вприщурку - из бокала ли?

После нарзана отрыжка. Сам знаю, насколько легче при этом становится. Когда пьет минералку - сердится на меня. Все кажется, что я хочу отобрать бокал. Помнит, что я когда-то ее уговаривал за раз меньше выпивать, чтоб не рвало. Говорит: - Сама.... Держит бокал сама, но скоро засыпает.

Милая моя. Уж еле теплится, а всё - самостоятельная. Как бы я хотел, чтоб всё наоборот: я бы уходил и помер, а ты - похоронила. Но... Всю жизнь я так полагал, что сбудется цыганкино предсказание, и я уйду в 56 лет. Я в детстве бродячей цыганке хлеба дал, когда с матерью жили в детдоме среди зеленых гор. Сейчас мне пятьдесят два, а Мария уже пошла... Нет, конечно, Богу виднее: кто бы ее стал провожать без меня, даже страшно подумать...

У Юли Машенька приболела, который день сидят дома. Олю с Таней папа взял в деревню, поехал копать картошку. Таня недавно упала и разбила подбородок. Возили к Тане Петровой - зашивать, она как раз дежурила.

Сейчас делаю уколы через четыре часа: с трамалом анфин и но-шпу, добавляя церукал и пипольфен.

Поцеловал ей волосы. Проснулась, не открывая глаз. Попросила горячего сладкого чаю (еле понял, попросил написать на бумажке, но и там уже неразборчиво). Отпила два глоточка. Говорит: - Заболела рука... - Сломанная? - Нет, правая.

Значит, и эта скоро сломается. Говорю: - Машенька, давай разомнем ножки, согнем ненадолго... Завтра надо будет на бочок поворачиваться...

Она: - Теперь уж всё...

Не захотела. И опять спит. Три часа назад пипольфен поставил, а то была беспокойной - слегка, немножко.

Завтра Успенье Богородицы. И моя Мария на подходе... Лежим параллельно на кроватях: я в одну головной стороной, а она - в другую. В страшном сне не снилось, как будем расставаться.

Как-то говорю ей: - Ты стала красивой, похудела. Губы...

Она: - Смеешься... Зубы страшные... Я видела: все умершие от рака лежат с открытым ртом.

Теперь думаю: наверно, в одиночестве помирали.

28 августа. В седьмом часу с Ритой закончили подмывать. Маша: - Боречка, поехали... - Куда, Машенька? - Ты сам знаешь куда...

Недавно, в семь тридцать вечера, застонала (я готовил укол). Подошел: - Что, Машенька, больно? Пора укол? - Да... Чем ты намазался? - Это я брызгалкой в горло пшикнул... Каметон. - Где Оля? - Скоро их Паша привезет из деревни, а Юля дома с Машенькой, она приболела...

- Возьми меня за руку...

Я взял, она поднесла руку к запекшемуся рту - и поцеловала. Я тогда не понял, что Маша попрощалась со мной.

30 августа. Вчера около семи утра мы с Пашей сменили пеленки (он сегодня ночевал за стенкой). Он ушел, а я поставил укол с пипольфеном - и с тех пор мы уже никак не общаемся. Ночью Машенька плохо спала. Я немножко пилил ее: почему не стала глотать снотворное... Давал ей водички во рту пополоскать, а она сразу проглотила. Полоскать уже нет сил...

Сам совсем не спал, а потому ушел подремать, когда пришли Юля с Машенькой. Потом пришел сын, у Маши тихо слезы потекли, но говорить уже ничего не могла.

Вчера хоть постанывала и даже, мне кажется, согласное движение губами сделала, когда спросил: надо ли укол. Ночью спал вполглаза при лампе (Антон наконец за стенкой, они теперь будут с Пашей по очереди здесь присутствовать ночью). Сейчас двенадцать дня, Маша давно не стонет, только тяжело и мерно дышит. Глаза приоткрыты со вчерашнего дня - невидящие. Несколько раз читал «Канон молебный при разлучении души от тела». Утром стал читать вслух еще и Евангелие, а тут подошел Антон, позвал позавтракать. Я ему препоручил с третьей главы от Матфея. Дочитал до середины: надо высморкаться, позвонить... Уже давно сидит на кухне. Но мать, думаю, порадовалась... Когда-нибудь вспомнит... Может быть, это воспоминание когда-нибудь вернет к Евангелию.

1 сентября. С понедельника Маша без сознания. Неподвижна, только мерное дыхание через рот. Помню: незадолго до беспамятства все искала колокольчик, просила его в руки, зажимала в большой руке и с ним спала.

Продолжаю ставить уколы, потому что на боль реагирует - тень по лицу (если ногу для туалета чуть приподнять или руку). Что тебе снится, милая? Веду этот дневник, как в бреду, потому что обещал написать про неё.

2 сентября. В десять пятьдесят утра Маша преставилась. Я закрыл ей глаза.

Боря, ты хоть скучай обо мне. И вспоминай только хорошее, а всякие мои дурацкие выходки не вспоминай. Боря, как реветь охота! Утешаюсь, что сентябрь будет уже наш. Спокойной ночи. Твоя Маша. (Это она написала мне на целину, в студенческий стройотряд – в прошлом тысячелетии, в июле 1965 года.)

9 августа. Я вот подумала, что мы, может быть, с тобой ничего проживем жизнью, а? Ты со мной всю жизнь будешь? Милый. Всё, пока, я побежала. Дождик идет. Но все равно: вперед!

Мы с ней прожили всю её жизнь. А сейчас... Сейчас... Через холодную земную ночь...

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго усопшую рабу Твою Марию и, яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная ея согрешения и невольная, возставляя ю во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ. Ихже ради в Тя Единого верова, истинного Бога и Человеколюбца, яко Ты еси Воскресение и Живот, и Покой рабе Твоей Марии, Христе Боже наш. И Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Со святым упокой, Христе, душу рабы Твоя, идеже несть болезнь, ни вздыхание, но жизнь безконечная.

Помяни, Господи, во Царствии Твоем всех скорбящих в разлуке...

УТЕШЕНИЕ св. Феофана Затворника: Прощай, сестра. Господь да благословит исход твой и путь твой по твоём исходе. Ведь ты не умрёшь. Тело умрёт, а ты перейдёшь в другой мир, живая, себя помнящая и весь окружающий мир узнающая. Там встретят тебя батюшка и матушка, братья и сестры. Поклонись им и наши им передай приветы и проси попечись о нас. Там лучше тебе будет, чем здесь. Так не ужасайся, видя приближающуюся смерть: она для тебя – дверь в лучшую жизнь. Ангел-Хранитель твой примет душу твою и поведет её путями, какими Бог повелит. И будь крепкой верой, что Господь и Спаситель все грехи кающихся изглаждает. Изглажены и твои грехи, когда покаялась. Эту веру поживее восстанови в себе и пребудь с нею неразлучно. Даруй же, Господи, тебе мирный исход. День, другой – и мы с тобой! Скоро свидимся. Потому не тужи об остающихся. Прощай! Господь с тобой!

День-другой – и мы с тобой... В последние годы ты оставалась дома, а я уходил на работу. Ты ставила внучек на подоконник, и все махали ручонками... Потом, когда ты ушла в мир иной, к окну подходила мать – пока смотрели её глаза. Можно жить на земле, пока хоть кто-то машет тебе рукой на исходе из дома?

Впрочем, Таня сказала бы мне: «Это гордыня, дедушка...» К тому же теперь моя второклассница Мария машет мне с лестницы, когда бежит в свой класс.

Машенька, до свиданья.